

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

6



1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (806)

Июнь, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Сквозь листву, стихи	3
ВИЙВИ ЛУЙК — Красота истории, роман. Перевела с эстонского Елена Каллонен	6
АЛЕКСАНДР ТРУНИН — Под незаметным небом, стихи	64
М. КОНИССКАЯ — Злые годы	65
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Рассказы	103
АЛЕКСАНДР КУРГАТНИКОВ — Альпинисты после восьми вечера, очерк нравов; Обыкновенный жук, рассказ	118
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Утренник, рассказ	126
МАРИАННА СМИРНОВА — Синий сад, стихи	132
МАРИЯ ГОЛОВАНОВСКАЯ — Почтальон	133
ЛАУРА САЛМОН — Московские воспоминания, стихи. Перевела с итальянского Марина Палей	138

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО — Над изумрудным морем облака, стихи. Публикация Беллы Клещенко. Предисловие Владимира Мику- шевича	139
ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ — Записи 20—30-х годов. Из неопубликован- ного. Вступительная статья и публикация А. Кушнера. Приме- чания А. Чудакова	144

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕВ НАВРОЗОВ — Есть ли литература на Западе?	187
--	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН — Тайбола	199
----------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ДИКТАТУРА ПАРТИИ ПОГУБИТ ДЕЛО». Из писем В. И. Лени- ну. Публикацию подготовил И. Браинин	218
---	-----

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

С. А. СОШИНСКИЙ — Чудо обновления	231
-----------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Майя Кучерская. Не все пропало. И. Роднянская. «И много ль нас, внимательных, как я...». Андрей Василевский. На платочке.	238
<i>Политика и наука</i>	
Вячеслав Маркин. Глазами естествоиспытателя. Г. Чернявский. Страсти вокруг пророка. Р. Баландин. Доступно о космологии.	247
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	255
SUMMARY	256

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ЛЕОНИД БЕЖИН. Усыпальница без праха (Александр I — старец Федор Кузмич). Записки сентиментального созерцателя.

ПЕТР ВАЙЛІ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Потерянный рай. Фрагменты книги.

БОРИС ЗУБАКИН. Стихи и письма. Публикация А. Немировского.

АНАТОЛИЙ КИМ. Поселок кентавров. Роман.

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания.

М. КУРАЕВ. Дружбы нежное волнение. Записки провинциала.

МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ. Поэты и постмодернизм.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ. О католицизме. Перевел с польского Вл. Британишский.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Мейер).

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сонечка. Повесть.

Д. ШТУРМАН. «Человечества сон золотой...»

Во второй половине 1992 года «Новый мир» предполагает опубликовать первый том книги АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА «Апрель Семнадцатого».

С согласия автора второй том его книги будет напечатан в петербургском журнале «Звезда».

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel: 089/26 30 76, fax 26 30 77

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

✱

СКВОЗЬ ЛИСТВУ

* *
*

Океан — это то, что Господь
отделяет от суши с морями,
чтоб сберечь добиблейский хаос,
но в кудрях побережий, как в раме,
в ожерелье песка и руды,
запечатавших дату творенья.
но немых — без вселенской воды,
сохранившей секрет говоренья.

Океан мириадами уст
(мириады очей открывая)
говорит, как безвиден и пуст
был простор до последнего края,
говорит, говорит, говорит,
словно ждет задыханья и крика,
чтобы слить Моисеев иврит
с люциферовой трелью санскрита.

Этим словом, вне рынков и войн,
но одной только дикостью зычной
прозвучавшим на кончиках волн
в первозданности преждеязычной,
этим злом звуковым обуян,
голосит языками как спьяну,
затыкая нам рты, океан,
океаном кренясь к океану.

Август 1991.

* *
*

Это солнце, которым полны небеса
и раскрашены: розовым — синий
горизонт, золотым — негустые леса,
млечным — полосы авиалиний,

это солнце, которого идольский диск
с неприязнью терпеть, но не ссорясь,
я привык, как и всепроникающий сыск,
сквозь листву, сквозь малейшую прорезь,

это солнце, с которым прощаться пора.
и вот-вот, и, увы, не до завтра, —
понял я, что люблю, что блаженна жара,
что сиянье — бесспорная правда,

понял вдруг, в двуединую вперившись синь
океана и воздуха — с пляжа,
где «о'кэй» говорят, когда надо «аминь»,
где земля поновее, но та же, —

что люблю. этот блеск, эту подлинно жизнь,
тягу, властную даже в ненастье;
то, на что поглядел раньше всех, и без призм,
Бог — и выпустил в небо на счастье

Август 1991, Кейп-Код.

Ветеран

Зубы съедены. В меру пьян.
В правом — горлышко, в левом — вобла.
И на весь автобус баян
парусит «Амурские волны»

Шрам ли, родинка ли на нем,
на артисте в плешивом плюше.
то — родителей помянем,
то — фанерные все вы души.

Подпевай — ни-ни языком молоть.
Пой, а жизни не трогай нашей.
Если в зону опять — то с тобой, Володь.
а в окоп — то с Шульженкой Клашей.

Жаль, сходить мне: заждался внук,
видишь детского сада садик,
где амур без стрел, пионер без рук?
То-то вот. До свиданья, братик.

Мне спасибо скажи да рукав почисть.
Я не только вальс, я и танго...
Когда есть мелодия — чем не жисть!
Дребезжи, автобус-жестянка.

Апрель 1990.

* *
*

«Сон — это смерть, а смерть — не знаем что», —
писал не сумасшедший Чаадаев.
Но мысль его сквозь сердца решето
просыпалась, любовью не истаяв.

Не тем, что одиноко был умен,
меня он тронул. «Мысли...» Мысли — ветошь.
А тем, что одиноко умер он,
за спинку кресла головою свесясь.

Декабрь 1990.

* *
*

Памяти Александра Сопровского.

Прикосновеньем легким губ ко лбу
я словно сдул с лежащего в гробу
последний дым обличия земного
и разглядел сквозь сумму черт судьбу,
тем паче что осталось черт не много.

Где, где косящий хрупкой зернью глаз?
Что видит он теперь? И видно ль что-то
там, где не то моря бескровных плазм,
не то секунд заледенелый пласт
и многое, с чего не сделать фото?

Он умер молодым. Мазок кнута
лишь эпителий тронул; кислота
штрих только закрепила, ткань не выев.
Но ведал он, как те, чья плоть чиста,
каким усилием кожу выскреб Иов.

И это знак не скорби, а судьбы.
Он сгинул. Нам осталось друг у дружки
спросить, куда он направлял стопы,
в какую глушь, и сбился ли с тропы.
и верил ли, что движется к опушке.

Прости, душа. Прощай, бездушный труп.
От слипшихся идей и тесных групп
ты наконец-то ускользнул всецело,
оставшись холодком на нервах губ,
узором букв и именем удела.

Декабрь 1990

* *
*

То, на что не жалел я чернил,
хрупких грифелей, стынувшей пасты, —
сохранил, если что сохранил,
в черепках, да и те разномастны.

Да и те для меня лишь в цене,
потому что не облик, не фразу
возвращают разбитыми мне,
но судьбы стофигурную вазу.

И, как будто беспал и незряч,
на осколки наткнувшись и глянув,
не рисунков, а их недостач,
не наличий ишу, а изъянов,

переходов, и стыков, и дыр,
а не красок и черточек милых,
по которым распялили мир
мягкий уголь и перья в чернилах.

Это, в общем-то, ноль, ничего.
Даже хуже: ведь что ускользало,
то, быть может, еще не мертво —
беспредельности чуждо лекало.

Не вживишь наших глаз и руки
гончару, что задумывал вазу
и сберег лишь затем черепки,
чтобы ими скрести мне проказу.

Март 1989.



ВИЙВИ ЛУЙК

*

КРАСОТА ИСТОРИИ

Роман

К ВЕЧЕРУ НЕБО СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ И ОБРЕТАЕТ СВОИ ПРИВЫЧНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ. Превращается в купол и свод. С какой-то странной и угрожающей неотвратимостью накрывает военные комиссариаты, отделения милиции и паспортные столы. И тому, кто находится под этим сводом, никуда не скрыться.

Тот же свод накрывает памятник «Русалка» в Таллинне, так же как и перрон и железнодорожный мост в Риге. Накрывает картофельные поля и яблоневые сады, равно как и пограничные заставы и казармы. Внизу, к югу, еловые леса постепенно переходят в буковые. Наверху — Северный Ледовитый океан и Беломорканал, строительство которого унесло больше человеческих жизней, чем мы вообще можем себе представить. Наверху находится также Карельский перешеек, где и по сей день лежат кости погибших в финскую войну. Внизу, в горах, расположились замок Дракулы и государство Чаушеску. На склонах гор меж черных гладких стволов буков вздымаются огромные полотнища тумана, словно сон и дым.

Что-то происходит. По кабелям через воздух, воду и землю рассылаются тайные приказы. Бумага боится света. Среди еловых и буковых лесов, полей и могил, древних равнин, ветра и сгущающейся темноты стоят жилища людей. На деревьях светятся белые яблоки, их косточки уже стали коричневыми. Зреют хлеба.

Что делается сейчас в мире? Чем занимается Брежнев? Пьет ли он растопленное сало, заедая его медом, и отправляется спать под двумя шубами? Держат ли его еще ноги и ворочается ли язык? И что вообще происходит? И где?

Ниоткуда не доносится ни звука. Тишина простирается сверху от берегов Ледовитого океана вниз до Дуная. Только газеты шуршат. Да еще льется мрачный вечерний свет на переставшие существовать государства, где и теперь живут люди, хотя у стен имеются уши. Тетя Оля сама была свидетельницей страшного голода. Мертвых не складывали в избах и не сжигали, как говорят некоторые. Поначалу люди еще ползали, а после каждый умирал там, где его настигла смерть. Там и оставался. Перед смертью люди выли. Официально этот страшный голод называли аварией. Аварийный район закрыли. Засекретили. Кто вывез Ольгу оттуда, никому не известно. Ей дали пососать сахар одного из покойников, но почему у покойника оказался сахар и почему он его сам не съел, когда еще был жив, и кто вообще был этот покойник, тоже никто не знает.

Теперь голода нет! Теперь каждая кухарка умеет управлять государством! Главное, только бы не было войны!

Сэму удалось уехать, а Анне пришлось учить убийцу грамоте. Могила дедушки находится в Нью-Йорке. Где-то еще есть могилы. В ящике стола лежат черные конверты с фотографиями и даже письма.

Занавеска колыхается. Пленительность сгущающихся сумерек — это понятие родом из чужих языков. Телефон фыркает и позвякивает. На него брошена толстая зеленая диванная подушка. Не стоит спрашивать почему. Это выяснится само собой. За окном, словно вырезанные из железа, чернеют листья деревьев. В воздухе по-летнему пахнет дымом и огнем. Кажется, что листья не шелестят,

а грохочут. Этот грохот заполняет весь город. Проникает в окно и заглушает все слова, которые произносятся нынешним вечером. Их можно перебирать в памяти сколько угодно, но они навсегда останутся заглушенными темным железным скрежетом. Это слова не эстонские. Вернее, это слова, произнесенные не на родном языке.

Она сидит посреди просторной, наполненной вечерним светом комнаты и позволяет руке другого человека, мужской руке, ощупывать свое лицо и голову. Рука молодая, но опытная. Привыкшая к костям, как рука хирурга, распиливающего их, или рука ангела в Судный день, воскрешающая мертвых. Она со скрытым интересом разглядывает неопределенного вида существо из глины, над которым трудятся искусные руки и которое мало-помалу действительно пробуждается к жизни. Отстраненно замечает, как оно обретает душу. У этого изваяния не раз переделывались веки, и кончик носа, и даже уши. Ее веки, ее кончик носа и ее уши. Ее поражает умение этого человека так похоже воплотить ее в глине. Она смотрит и болтает ногой. Еще сегодня днем она с высокомерием думала про себя, что ее вообще невозможно воспроизвести так, чтобы в произведении ощущалась душа. Безусловно ее высокомерие проистекает оттого, что Господь еще не приказал своему ангелу проучить ее. Господь еще приглаждается и ждет.

А она тем временем следит за движениями мастера, мерит его взглядом, пристально наблюдает, беззастенчиво и подробно изучает, как ребенок гостя. Весь день она смотрела, как этот человек лепит из глины бюст, но только теперь замечает, что этот человек действительно существует.

Глядя ему в глаза, она лишь сейчас подмечает в них нечто, что удивляет и завораживает ее. Видит в них собственное отражение, и только это. И не из глины, а из плоти. Видит те сорок восемь килограммов мяса и костей, находиться внутри которых требует от нее больше мужества и стойкости, чем можно было бы предположить. Для этого необходима сила духа или, по крайней мере, какой-то механизм. Скорее механизм, поскольку они становятся все дороже и дороже и их следует беречь как зеницу ока. Механизмы нужно любить. Их даже должно любить!

Несмотря на это, она уже написала две книги и смутно ощущает, что слова надо пропитывать кровью, дабы они доходили до сердца, но делать это надо так скрыто, чтобы, не дай Бог, никто не догадался, что, собственно, с этими словами сделано. Она продавала их и выкидывала. У нее то же имя, что будет и впредь, но тогда оно будет воздействовать по-иному. Этому имени двадцать один год. Его будут пробовать на вкус и удивляться, и одни будут ждать, что скажут другие. Все эти игры пройдут мимо нее, она их и не заметит. Выйдет сухой из воды.

Ей хочется стоять на свету и в то же время видеть, что творится в темных углах. Пятиконечные звезды и свастика притягивают ее так же, как глаза людей и все, что в них отражается. При виде розы у нее возникает непреодолимое желание съесть ее. Она съела множество роз. Она точно знает, какой вкус у одуванчика и какой у яблоневого цвета. То, что у лепестков сирени вкус горький, знает, кроме нее, весь эстонский народ. Каждый год, когда возле сараев и картофельных борозд зацветает сирень и кусты ее стоят подобно посланцам из неведомых миров, кажется, будто на Таллинн и Тарту вновь опускается та самая мертвая тишина, которую описывают в своих воспоминаниях оставшиеся в живых. Чем слаще запах сирени и чем гуще синева неба, тем опаснее для жизни кажется пребывание в Балтийских государствах. Об этих государствах никто ничего не знает, существуют ли они вообще. Жизнь в них непонятна и таинственна. Пятьдесят лет здесь всего лишь миг, сновидение и дым, окутывающий развалины и голые фундаменты. Здесь искрящийся весенний ветер может даже вдохнуть жизнь в кости умерших и поднять их со дна могил. Средь бела дня тут слышали по радио голос нечистого. При виде здешней сирени никогда не знаешь, цветет она сегодня или в прошлом, или же это всего-навсего пронизанный тоской пейзаж, который виден даже по ту сторону границы.

По ночам здесь бодрствуют. Навостряют уши и прислушиваются, не появился ли нечистый.

Цветет своим чередом сирень, и на смену старому, стертому с лица земли правительству приходит новое и опять начинает заседать.

Она же всю свою жизнь играла картинками и словами на фоне истории Балтийских государств. Греческими и римскими мифами она пользовалась как

расхожим каталогом, выбирая из него богов. Ни один из них не нравился ей настолько, чтобы ограничиться только им. Она то и дело листала книгу с конца до начала и с начала до конца, изучая иллюстрации, готовая взять что-то от каждого божества. У кого-то хитрую улыбку, у кого-то крылатые сандалии. Разглядывала их колени и уголки рта, словно части велосипеда, которые она не может собрать так, чтобы получился новый и более качественный.

Как уже было сказано раньше, ангел Господень еще не явился, чтобы проучить ее

Сейчас еще только август 1968 года. Паркет поскрипывает, от сквозняка из-под книжных шкафов и стульев красного дерева взметаются клочья пыли. Они кружатся посреди комнаты подобно серым ведьминским клубкам. Через два часа она сядет на поезд, и тот, пронзительно свистя и отвратительно сотрясаясь, повезет ее через Валмиеру, Цесис, Сигулду, Валгу и Тарту в Таллинн

Чем тщательнее тот человек обмеряет ее кости, тем ей интереснее, ведь никто прежде так жадно и сосредоточенно не разглядывал их. Никто прежде не хотел с их помощью разрешить для себя загадку жизни и не пытался воспроизвести их с помощью глины, дерева или камня, словно кости божества.

Она наклонила голову, как собака, пытаясь понять, что ей говорят, и не подает виду, что ничего не понимает. Больше всего ее приводит в замешательство выражение «дело в том». Она слышала его неоднократно и даже встречала в книгах и тем не менее не решается сказать, что оно означает. Есть множество и других таинственных слов. Она была уверена, что знает мир слов как свои пять пальцев, до самого основания, однако выяснилось, что стоит только проехать несколько сот километров на поезде — и этот мир исчезает, как голубая дымка. Несколько сот километров на поезде могут превратить человека в бессловесное животное.

«Почему мы не говорим по-немецки?» — нетерпеливо спрашивает тот человек, но немецкий язык притаился где-то в глубине мозга и по приказу не вспоминается. Говорить по-немецки еще никогда не возникало необходимости. Упражнения она в свое время писала. Может без ошибок написать: «Der große, bunte, fettige Hahn sieht nach links und nach rechts und kräht lauter», а также «Wenn der Morgen schön ist, geht der Onkel zur Arbeit zu Fuß». Так что поначалу из разговора у них ничего не получается, и они должны с этим смириться. Им надо научиться, пользуясь малым количеством слов, говорить о многом. Кажется, будто жизнь предъявила им требование, звучащее весьма патетически, но, к счастью, сами они не отдадут себе в этом отчета. Листья на деревьях становятся совсем черными, большой город затаил дыхание, сейчас по радио начнут передавать новости, вечер окончательно вступил в свои права.

Ее это не касается. Имя этого человека отнюдь не кажется ей литературным или избитым, только очень непривычным. Лион. По телефону он называет себя Лев. Почему, об этом они не говорили. Раньше она ни одного еврея не знала, кроме разве заезжей школьной учительницы, сын которой работал бухгалтером на лесопилке. В детстве она наблюдала и за школьной учительницей и за бухгалтером с лесопилки, но не подметила в них ничего такого, что свидетельствовало бы об их особых связях с Иисусом, которого предали, и с Иудой, который получил за предательство тридцать сребреников. У бухгалтера на крышке портсигара красовался портрет Сталина, и говорили, будто это защищало его от преследований. Его мать, учительница, держала старую рыжую пушистую собаку и вязала из ее шерсти кофты тому, кто не боялся запаха псины. Продавала она также козье молоко, которое никто не покупал. Могла ли у нее быть какая-то связь с Иеговой, твоим богом? Или с Иисусом, который умер, был похоронен, воскрес на третий день и вознесся на небо, где сидит одесную Отца своего и явится именно тогда, когда Его больше не ждут?

Что могло связывать Лиона с этими людьми и что в нем особенного или необычного? Одно очевидно — он должен опускать глаза, если хочет, чтобы они его не выдали, тем более в государстве, где его называют Львом! Итак, первое — это глаза. Второе — кожа. В былые времена при свете древней луны эта кожа могла бы быть предметом гордости девушки, после того как она попарилась в бане. Кровь просвечивает сквозь кожу как тлеющие угольки. Вполне возможно, что даже запах крови просачивается сквозь нее и реет в этой комнате подобно невидимой красной шторе. Будь здесь кошка, она тотчас бы заметила на голой шее пульсирующую жилку и стала бы подкарауливать ее. А она, что сделает она?

Изучая глаза и кожу этого человека, она чихает, потому что в комнате полно пыли и стоит запах сырой глины. Она рассмотрела в этом лице все, что можно было рассмотреть, и оно ее больше не интересует, поскольку в этот момент ей снова хочется оказаться в Таллинне и рассказать, как было в Риге. Ей снова хочется быть властительницей слов, а не их невольницей. И для этого ей надо проехать всего лишь триста километров наверх, к северу. Там она создаст миф о сегодняшнем дне. Будет хозяйкой этого дня. С помощью слов сделает его зримым и безопасным во всех отношениях.

Она представляет себе места, где бы могла сейчас находиться, но где ее нет. Представляет себе, как рассказывает длинноволосям новоиспеченный миф о своем гипсовом бюсте. Возможно, польщенно — да, пожалуй, так — добавит, что этот бюст делается для выставки. А возможно, будет держать это в тайне. Воображение ее разгулялось — она не забывает и о фоне, им станут завсегдатаи кафе, старушенищи, сидящие за угловым столом и с остервенением поглощающие пироженные Официантки спуют, и свет проникает в большое окно, как обычно. У латышского писателя Скальбе она намеревается позаимствовать одну фразу о реке Даугаве. Эта фраза звучит так: «В Даугаве плавала большая рыбина». О зловещем железном скрежете листьев ей в Таллинне рассказать будет нечего, поскольку она его, по сути, и не заметила, хотя по правде говоря, временами ей как будто что-то слышится.

Ее взгляд подобен тихой воде, однако выражение лица меняется у нее настолько, что кажется, будто при этом меняются и цвет глаз и линия судьбы. Тому кто смотрит на нее с близкого расстояния, легко могут припомниться свирель, босые ноги, лен и рожь, но точно так же могут померещиться и безвинные младенцы и крупные жулики, пользующиеся своими широкими улыбками, как птица крыльями — неожиданно распахнут их и сложат на лету.

Все это оставляет о ней какое-то сомнительное впечатление и вынуждает неоднократно пристально взглядываться в нее. Она сама подстригает падающие на глаза волосы, и ее зашитного цвета рубашка с погонами довольно-таки поношенна. На спине она выцвела гораздо больше, чем на груди. Даже широкий кожаный ремень у нее имеется, как и у других, как у всех, кто вдыхает воздух этого года и меняет уличную картину столиц. Этот ремень она выклянчила у тартуского мальчишки по прозвищу Женевьева.

Под стулом валяются ее сандалии, их ремешки подобно ножам врезаются в голые пальцы. (Но только тогда, когда пройдено два километра. Это она точно вычислила.) От крови ремешки раз от разу становятся тверже. Надо бы размочить их в водке и отбить топором.

Что касается одежды других, то она вычитывает по ней новости, как из газет, знает, что означают грязные парусиновые тенниски или незамысловатый цветок, нарисованный на спине рубашки. Тот, у кого короткие волосы, гроша ломаного не стоит. У Лиона как раз короткие волосы. Даже уши видны. Верно и то, что еще сегодня утром Лион разглядывал ее сандалии и рубашку с погонами с очевидной и вполне понятной отчужденностью, а сама она с явным презрением смотрела на мягкий голубой джемпер Лиона с этикеткой «Pure Wool Reine Wolle». Джемпер, по ее мнению, стариковский. Тем не менее она положила на него глаз и с удовольствием продала бы его в комиссионке. Про себя она недоумевает, почему Лион еще этого не сделал и не купил на вырученные деньги халвы или пирожков с вареньем. Точно так же, как она не имеет ни малейшего представления ни о дяде из Нью-Йорка, ни о могиле деда, ни даже о том, что означает слово ОБИР, так и Лион не имеет понятия ни о дешевых пирожках с вареньем, ни даже о том, что такое крупные деньги. Крупные деньги — это сто рублей.

Этот человек и не догадывается, что меньше чем за триста километров находятся поселки и старые уездные городки, поля и заливные дуга, над которыми даже в самый солнечный летний день кружатся легкие черные перья из крыла ангела смерти. Что среди болот и топей, пастбищ и поросших кустарником выгонов для лошадей вьются узкие белые дороги. Что внезапно в небо поднимается острый церковный шпиль — и вот ты уже в Эстонии, в поселке Колга-Яани, где в одной уже исчезнувшей с лица земли могиле сто лет тому назад была похоронена старушка по имени Элл, которая собирала мочу, собачий жир и крапиву, поймала с полчиным привидение в облике хозяйки, заорала: «Снимай юбку!» — и так отхлестала ее по толстому белому заду освященным рябиновым прутком, что кровь брызнула.

Совсем рядом с Колга-Яани еще в 1923 году в люльке вместо ребенка была найдена живая шука с широко открытой пастью и глазами, как у барана. Старая хозяйка своими ушами слышала, как из-под котла неслись заклинания: «Кровь колдуна на кашу! Кровь колдуна на кашу!» Перед бывшей пожарной и по сей день еще видят Эйнара и Оскара. Хотя Эйнару проткнули штыком горло и пригвоздили к воротам гумна, а от Оскара на поле боя осталась лишь обгоревшая фаланга пальца да закоптелая общая тетрадь с песнями, где тупым карандашом размашистым почерком было записано:

Обратного пути нам нет,
Перед глазами смерть.
Но так ли велика цена,
Чтоб нам погибнуть за тебя,
Свободная Эстония, моя страна.

В стальном огне орудий
Звучит из пламени нам сатанинский смех...

Однако наступлению будущего все это не препятствует. В будущем и в поселке Колга-Яани людям придется толпиться в магазине и покупать свиные уши и прелую муку, потому что куда ты иначе денешься, приходится покупать, а не то сам полезай на стол, когда дети, возвратясь из школы, начнут канючить: КУШАТЬ! КУШАТЬ!

В будущем лица у людей и в Колга-Яани недоверчивые и покорные, люди давно привыкли к угрозам. В будущем молочные бидоны и чайники эстонцев украсит непонятная и таинственная угроза: «Ну, погоди!» — выведенная кириллицей.

Невзирая на это, из земли будут вновь и вновь упорно пробиваться подснежники и анемоны, купальницы и иван-да-марьи, полевица и ромашка, словно бульдозер и не вдавил их навсегда в глину и грязь. В черном речном омуге отражаются огромные полотна неба, рядом с которыми даже новая дорогая свиноферма с ее навозной жижей воспринимается как нечто незначительное.

Картофель высаживают в мае и убирают в сентябре. В июле он цветет. Его лиловые и белые цветы возвышаются над бороздами совсем как могильные холмики, где похоронены история и великое забвение. Пожелтевшие альбомы стихов и найденные в бункерах и окопах общие тетради не отражают ничего иного кроме грусти заката над темными елями.

Желтые апрельские мотыльки кружатся раз в году над равнинами с прошлогодней травой и обвалившимися бункерами подобно строкам из народных песен. Неизвестно, откуда они появились и куда их гонит ветер.

О том, как сегодня ночью движутся по потолку тени, как внезапно умолкает радио и перехватывает дыхание, пусть расскажут те, кто встретил эту ночь в Праге и кто бодрствовал во тьме. Это могут сделать Милан Кундера и Вацлав Гавел. Задним числом все узнают, что это была за ночь. Кто не увидит живого Брежнева, тот, возможно, увидит мертвого Чаушеску. Что-то каждый сможет увидеть.

Ей же хочется взглянуть на свой железнодорожный билет, потому что поезд вскоре отправляется. Хочется взглянуть, какое у нее место и счастливый ли номер. Пока она роется в кармане в поисках билета, ее взгляд падает на старое потемневшее зеркало, которое висит на стене подобно клочку черной ночной тьмы, заключенной в раму. В зеркале видны стулья, полки и зеленый, цвета бильярдного стола, диван со множеством цветных подушек. Комната, отражающаяся в зеркале, слегка покачивается, словно она только что возникла на пустом месте. Ночная тьма бросает тень на все, что там находится. Даже собственное лицо кажется ей каким-то оголенным и пугающим, будто лишенным мяса и костей. Теперь ничто не защищает это лицо, и от него тоже не защищен никто.

Она опускает голову, шея обнажается, и на нее как нож гильотины падает поцелуй.

Эта написанная гораздо позже и совсем другим писателем фраза могла бы возникнуть сейчас на полу у их ног как титр из немого фильма, но она все равно не смогла бы прочитать ее, потому что стоит один на один с этим человеком и видит совсем близко от себя кожу его лица и ресницы, говоря о которых нельзя не вспомнить известное старое изречение, слашавое клише из сказки: «Кровь с

молоком. Черное дерево». Сделав глубокий вздох, они меряют друг друга странным взглядом, рассматривают как вещество и материал, как слово и знак, как линию и форму, как добычу. Этот взаимный холодный затаенный взгляд, который они оба разом перехватывают и принимают к сведению, перемешивается с привкусом крови от поцелуя и на мгновение превращает их в товарищей по играм и братьев по оружию.

Если б кто-то со стороны увидел выражение их лиц, то сразу вспомнил бы притчу о двух водяных, которые встречаются на деревенском празднике под липой, куда они пришли втайне друг от друга, чтобы заманить деревенских девушек и парней с мельницы.

Шелестит липа, стая реактивных самолетов с ревом устремляется в латышское воздушное пространство, билет на поезд уже не нужен, его можно выбросить. Последующие часы она сжимает как человеческое сердце или как черные, с красной мякотью ягоды. Она раздавливает их и выпивает сок.

Здесь нелишне будет отметить, что в ее душе оставила след Великая Пятница 1951 года, когда на землю опустилась темнота, повалил густой снег, трясогузка примерзла лапками к земле и во дворе в жестяной ванне боролась со смертью большая щука, которую должны были прикончить сразу после того, как детям будет прочитана глава из Библии, где на картинке изображено жертвоприношение.

Во время пауз, когда переворачивалась страница, она могла слышать, как рыба бьет по ванне хвостом и ванна отчаянно и тоскливо громыхает. Предсмертная агония большой рыбины, дребезжание металла, снег, лед и слова Священного Писания — все это входит в ее представление о любви, как и приказ: «Разожги огонь и возьми нож!» Именно поэтому, глядя в упор на этого человека, она решает: «Если б мне потребовалось принести Иегове жертву, то теперь я знаю, где ее взять. Я возьму ее здесь».

В комнате стемнело. Именно сейчас брежневские танки вошли в Прагу. Ангел Господень улыбается насмешливо и нежно. У него нет в руках ни огненного меча, ни копья или пики, ни соленых розог, а всего лишь навсегда стебель крапивы, который придает силы противостоять злу и хорошо очищает кровь.

Дым заводских труб вертикально поднимается в небо, погромыхивает железо, голые электрические лампочки освещают коридоры и лестничные клетки. Никому нельзя доверять. О себе лучше ничего не говорить. Страх поблескивает в свете голых тусклых лампочек подобно куриному яйцу, маслу или сливкам, подобно бумаге с анкетными данными. Облака будто листовки реют над пустынными песчаными берегами Балтийского моря, следами сапог и собак-ищеек. Леса стонут в Богемии и Моравии, ветер гнет к земле литовские хлеба и латышский лен. Больше веры! Больше надежды! Больше любви! Нельзя забывать, что под подушкой находится телефон, по нему нельзя разговаривать, пока не будет выучен тайный язык. Кто его освоит, тот волей-неволей станет участником всего происходящего. Надо вспомнить, что по телефону нельзя употреблять такие слова, как «книга», «бумаги», «документ», «чемодан», «письмо», «мужчины». Книга может оказаться запрещенной, а то и напечатанной за границей, бумаги то же самое, что и документ, а документ всегда можно подделать. Чемодан — признак того, что вещи перевозятся из одного места в другое. А какие вещи? Из какого места? Письмо же может быть переправлено кем-то через границу. Мужчины могут думать и иначе, повод для таких предположений есть. Мужчины всегда внушают большее подозрение, чем женщины. Для надежности мужчинам надо давать женские имена, Париж называть Киевом, а Нью-Йорк Москвой. «У тети» означает в Киеве, а «у дяди» — в Москве. Не стоит также попусту упоминать Таллинн и Ригу. О масле и куриных яйцах говорить можно всегда. Даже желательно. Говорить можно и о собаках, но не о наморднике, потому что слово «намордник» привлечет внимание, а нужно ли это. О тете Оле, матери, поликлинике, капусте и свекле можно говорить сколько угодно.

Время пусть будет дневное, поскольку вечер уже по своей сути вызывает подозрение. О ночи же лучше молчать, избави Бог от ночи.

Если хочешь сказать: «Приеду в будущую среду в восемь вечера» — то скажи так: «Тетя Оля пришлет матери в будущую среду восемь черных пуговиц для пальто, которые просила у нее мать». Или же восемь с половиной килограммов черной смородины. Или семь банок маслин, черных, а не зеленых. Или шестирублевые черные тапки. Вечер, во всяком случае, черный. Следует нау-

читься говорить о жизни тети Оли то, что надо. Ни в коем случае нельзя сказать «телеграмма», надо сказать «пачка масла». Научиться этому можно. Медведей и тех обучают танцевать. И не следует всему удивляться. Если проявляют беспокойство о том, что «в последнее время ничего не слышно о зяте Кузьминичны, поди знай, может, уже и не занимается больше искусством?», то это означает, что бумаги на выезд снова где-то застряли и чиновник, который должен был по знакомству все устроить, находится в отпуске, командировке или переведен в другой отдел. Все, кто устраивает что-то по знакомству, — зятя Кузьминичны. Это надо запомнить и не теряться, если они оказываются женщинами, а не мужчинами. Тем не менее они зятя. Сама Кузьминична существует, ей привозят латышский мед и деревенскую пряжу, которую мать сама ходит покупать на рынок.

О матери и тете Оле она знает сегодня еще очень мало. Даже в будущем она станет долгое время неверно истолковывать самые простые слова, поэтому об этой семье, которую она до сегодняшнего дня еще и не видела, у нее и позже останутся какие-то таинственные и нелепые представления, о которых она никому не скажет. Ей упорно кажется, что тетя Оля ловит по вечерам щук, ибо сама слышала, как говорили, будто у тети Оли по вечерам болят руки, похожее звучание этих слов на чужом языке вводит ее в заблуждение. Тайный язык еще больше все запутывает. Она никогда не знает, говорят ли просто о покупке масла или сливок или же из ОВИРа получены плохие новости.

Паркет поскрипывает сам по себе. Уже совсем темно. Ничего не видно. Возможно, в темной комнате носятся взад-вперед целые десятилетия, а возможно, сквозняк колышет занавеску. Если б не было так темно, то видны были бы сейчас все ее позвонки, каждый в отдельности. И хотя увидеть их невозможно, человек, стоящий рядом, пересчитывает их так, словно делает заявление или дает клятву, — голый рукой, один-одинешенек. Оба своих имени, как тайное Лион. так и явное Лев, свой завтрашний день и даже могилу дедушки в Нью-Йорке он с трогательной доверчивостью отдает сейчас во власть улыбки и взгляда, которых сам он в темноте и не видит.

Он не догадывается, что эти самые пальцы, которые он лепил из глины и даже дважды переделывал и косточки которых он изучил за сегодняшний день как свои пять пальцев, что эти самые пальцы выводят теперь по-эстонски над его лопатками русское заклинание: «По щучьему велению, по моему хотению» — и что губы, уголки которых он тоже, как ему кажется, изучил и тоже несколько раз переделывал, что эти губы улыбаются ночной тьме так, словно судьба человека и мировая скорбь всего лишь насмешка и шутка.

Ангел Господень хмурит брови и приближается. В гробовой ночной тишине с запада на восток перемещаются страны и народы, так, что даже собака не залает.

В МРАЧНОМ И СВЕРКАЮЩЕМ СВЕТЕ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА ПОБЛЕСКИВАЕТ СТРАХ ПОДОБНО СЕРЕБРЯНОМУ ГОРЛУ, которое способно только шептать и сипеть. ТАСС что-то передает, но ничего не слышно. В Стокгольме и Хельсинки, Гамбурге и Вене, возможно, и промелькнет в вечерних новостях фотография жертвы самосожжения — отчаянный, вызывающий неприятие протест длинноволосого против танков, а фоном явятся живописные виды Праги и брженевские войска. То, как чешский парень поливает себя бензином и чиркает спичкой, никак не сочетается с ковром в европейской гостиной, и поэтому телевизор выключают. Во рту зевающего зияет бездонная первобытная темнота. На все падает горстка серого пепла.

С этого времени в Эстонии, Латвии и Литве начинают строить только большие и очень большие здания. Особенно внушительные размеры требуются для хлебов и школ. Порой ребятишки из младших классов, возвращаясь из дальней школы, сбиваются с пути, садятся не в тот автобус и до самой ночи не могут попасть домой. Потом не в состоянии объяснить, где они провели ночь. Может быть, в избушке у людоеда? Может быть, в лесу, где живут привидения, или в подземном царстве? По радио сообщали о несчастном семилетнем ребенке, который в поисках своего дома заблудился поздним зимним вечером в незнакомом поселке, не решился спросить у кого-нибудь дорогу и следующим утром был найден на автобусной остановке замерзшим и застывшим, с ранцем за плечами, который он так и не снял.

С тех пор все живые изгороди по краям дорог вырубаются, поля должны быть открытыми и широкими, а дороги и реки словно проведенными по линейке. Если же они не такие, их такими делают. Много рассуждают о судьбе певчих птиц, ежей и зайцев. Никто не говорит другому, что он на самом деле думает.

По берегам озер и рек строятся финские бани. Кое-кто после вечеринок остается спать на полке и упаривается там, но никого это не пугает. Вечерами собираются в банях и у коптилен, обглаживают кости, пьют водку с пивом, угощают и мальчишек, горланят и буянят. Пустые бутылки разбивают о камни. Взгляды становятся подстерегающими и наглými.

И все же написанные книги непоколебимо стоят на полках как угроза и избавление, обещание и тайная клятва, хотя по приказу государства их не раз сжигали в огне и рубили топором. Поднимая взгляд от этих книг, можно увидеть новыми глазами, как тревожный утренний свет по-прежнему раз в день переходит в спокойный вечерний отсвет, как плывут облака из начала столетия, по-прежнему проносясь над Австрией и Венгрией, Ригой и Таллинном, над мировыми войнами, иллюзиями, иронией и любовью, над огнем и водой, к его концу. Что каждая весть рано или поздно дойдет до места назначения и что ничто не кончилось и не кончится. Все происходит разом, как всегда.

Невесты в белых платьях проносятся по необъятному брежневскому государству как гонимая ветром труппа актеров. Они кладут свои с трудом раздобытые дорогие свадебные букеты к сапогам Ленина, и их живые обнаженные белые шеи пугающе беззащитны перед изваянием покойника.

Партийные руководители Восточного блока подходят к памятнику своим профессионально отработанным шагом, на них темно-синие плащи, во рту поблескивает золото, виски серебрятся несмываемой краской. Они возлагают к ногам монумента живые розы, купленные на партийные деньги, розы такие свежие и красные, словно их корни окропили кровью. Партийные руководители улыбаются и с довольным видом шуртятся. А Дубчека разве сегодня нет? Где Дубчек? Может, нам сообщит об этом ТАСС? Тассовский же оракул отвечает без того, чтобы ему задали вопрос: «Хотя Дубчек не воспрепятствовал действиям ревизионистских и враждебных социализму сил, тем не менее поддерживаемые международным империализмом контрреволюционные планы провалились. Призыв чехословацких партийных и государственных деятелей, коммунистов и рабочих услышан, вооруженные силы дружественных братских стран вступили в Чехословакию».

Все это остается за горизонтом, и, несмотря на эти сообщения, по небу длинной торжественной чередой плывут огромные летние облака со сверкающими краями. Кто долго смотрит на них, тот с легкостью может забыть, какой сейчас год, жизнь бесконечно длинна, времени достаточно, и дорога не ведет ни вперед, ни назад, а прямо вверх.

В этот полдень пляжи совершенно пусты. Ни один из пригородных поездов так далеко и в такое уединенное место не отправляется. Лиону это побережье хорошо знакомо, он бывал здесь, ждал и смотрел, не будет ли ему какого-нибудь знака. Просто так, без всякого предзнаменования, трудно решить, что делать. Может, и правда приподнять занавес над землей обетованной и собственными глазами поглядеть, что же там, за ним? Как же быть?

Всего лишь две недели назад Лион видел на этом взморье радугу, которая упиралась концом в большой ивовый куст, словно лестница из сна Иакова. Она поднималась из куста и была как семицветное видение. Если бы знать теперь, был ли то знак или просто случайность. Лион с жаром убеждает себя, что в предзнаменования он не верит, не может верить, разум запрещает. Не то придется верить во всякую чепуху.

При этом его глаза насмешливо глядят сквозь сказанные им слова и видят за ними куст ивы, где стоит лестница Иакова. Чтобы стереть эту картину, Лион берет ее руки и так крепко прижимает их к своим глазам, что перед ними теперь лишь крошечная тьма, в которой пляшут огненные искры.

Одна-единственная тень падает от них обоих на песок, обдуваемый ветром и испещренный следами птичьих лапок, на лиловые прибрежные цветы, на мгновенно промелькнувшую где-то вдали фотографию жертвы, погибшей в огне, на тишину и свет. Беспричинная радость подобно языку пламени вспыхивает в мозгу.

С обеих сторон длинные песчаные побережья исчезают за выпуклостью земного шара. Внизу они становятся белегами Литвы, Польши и двух Германий.

Это взморье начинается в Саулкрасти, но необязательно кончается в Травемюнде. А наверху Эстония — светлое пустынное небо, коровы, стоящие по брюхо в воде, редкая соленая растительность прибрежных пастбищ и пронзительное завывание ветра. Отсюда вверх пути нет — впереди вода и оружие.

На дюнах растут ивы. Их покрытые красной корой ветки полыхают мрачным суровым светом. Весной и осенью полая ледяная вода обжигает их. И в конце концов от них остаются лишь белые просоленные остовы. От песка поднимается запах долго пролежавших на солнце карандашей и сухой пожелтевшей бумаги. Сюда по ошибке залетают за вересковой пустоши пчелы и ищут дорогу назад. Хотя небо глубокое и ярко-голубое, как икона в алтаре, над горизонтом повисла предостерегающая дымка. Песок под ногами издает звук, похожий на хлопанье крыльев

Гудение пчел, мелькание ласточек. Призрачные, ускользающие из рук часы, время во всем своем блеске, без прошлого и без будущего. Запах незнакомых медоносных растений и запах крови сквозь кожу.

Они просидели полтора часа в электричке, пошли наугад через сухой шуршащий сосновый лес, застряли в чаще молодых елей и обрадовались, увидев море. Она подстерегающим взглядом следила за Лионом, идущим впереди нее, не спускала с него глаз, как с раскрытой книги, часового циферблата или приоткрытой двери.

Она заметила, что лесные цветы, сосны и поросшие мхом равнины не признают Лиона за своего. Он не сливается с ними и не исчезает, а каким-то странным образом бросается в глаза, как оказавшийся в лесу книжный шкаф. И потому его пребывание здесь кажется каким-то зловещим и вселяет беспокойство. Оно как бы связано со смутными временами, побегам, укрытиями. Особую тревогу внушает спина Лиона. Здесь она кажется старой и одинокой, не такой, как в городе. Наблюдая за Лионом, она увидела в зарослях полосатое птичье перо. Ей кажется, что это перо кукушки или сарыча, а не какой-нибудь безобидной птички. Пером кукушки она тихонько дотрагивается до его спины. Лион ничего не замечает. Так он никогда и не узнает, что за его спиной была сделана серьезная попытка доказать свою верность и объяснить в любви.

А затем они вышли к морю, к тому самому кусту, где стояла лестница Иакова. Здесь, на берегу моря, с ними произошло то, о чем они до сих пор равнодушно не отдавая себе отчета, читали лишь в книгах. — само время властно заявило о себе во всей своей силе и могуществе.

Это они меняются и движутся, а не время, которое течет совсем не так, как думают они. То, что они считают движением времени, всего лишь навсего дни их собственной юности, их собственная старость, их брэнность, и над всем этим парит белая птица, в воздух поднимается запах водорослей и волн, дует ветер. Даже в Праге и Москве не все еще потеряно, пока дует живой ветер и небо меняет свою окраску.

Они не знают о Праге ничего, а Москва их не интересует вовсе. Их день лежит на пустынном берегу как подарок идола с коварной улыбкой. Они отламывают от этого дня сверкающие часы и беспечно кидают через плечо. Однако у них все же хватает здравого смысла ничего при этом не говорить. иначе из их уст можно было бы услышать весьма затертые слова.

В конце концов они разводят меж дюн костер, сухие мертвые ветки ивы словно созданы для этого. Пламя не имеет цвета, оно просвечивает насквозь. и кажется. будто костер на песке и не горит вовсе. а это всего лишь мираж. О том, что остается у них невысказанным. говорит пламя. Говорят красные и белые скелеты ив, сверкающие кварца в камне и белая полоска, которую прочерчивает в небе над морем военный самолет.

Здесь нет телефона и здесь не пользуются тайным языком. А вещи можно называть их подлинными именами, если, конечно, они у них есть. Перо, принадлежащее не то кукушке, не то сарычу, одним небрежным движением бросается в огонь и сгорает, и никто так никогда и не узнает, как звалась эта птица. У всего, что видит глаз, лишь временные условные названия. Какие именно, зависит от языка. Возможно, только ангел Господень знает истинные имена, услышав которые даже голый песок и безжизненный камень могут прийти в движение, но ангел Господень повернулся спиной и умыл руки. Икры ног у него сверкают, когда он заходит в море.

От костра поднимается дым, тени сгущаются, время молчания миновало. Лион приподнимается на локтях, плечи его загорели и блестят, как полированное дерево, словно он сам, без помощи Иеговы высек их из мировой плоти и до блеска натер своими ладонями. В наступающих сумерках отчетливо виден цвет его глаз — они не черные и не карие, как можно было предположить, а темно-желтые с рыжеватым отливом, пчелиного цвета.

Лион начинает говорить — пространно, горячо, употребляя совершенно незнакомые и непонятные ей слова. Но к одному высказыванию он возвращается снова и снова: «Нет ни одной страны, где земля была бы столь священна, чтобы носить ее в мешочке на груди».

Она, к кому обращен этот вызов, должна была бы ответить, признать его недействительным и отбросить, должна была бы дать Лиону покой и утешение, но вместо этого она подозрительно молчит и рисует на песке ухмыляющиеся рожи. Она вполне довольна собой, уголки ее рта приподнимаются в усмешке. Теперь она видит собственными глазами и слышит собственными ушами, что Лион ей доверяет. При этом она, по правде говоря, и не слышит, о чем идет речь. Ее кроткая улыбка скрывает многое, что и для нее самой является неожиданностью.

В сущности, ей хотелось бы сейчас самой стать этим Лионом, цвет глаз и ровный загар которого она беззастенчиво разглядывает горящим воровским взглядом. Она как кукушка или ворона, стремящиеся завладеть чужим гнездом и самым дорогим сокровищем — ни больше и ни меньше как телом и душой. Будь это в ее власти, она прямо здесь, на горячем песке, средь бела дня, под рокот самолетов и повторяющийся каждый час далекий шум электричек самым циничным и варварским образом вырвала бы через ноздри душу Лиона и вдохнула в него свою.

Надо сказать, что с каждым поцелуем она все ближе и ближе к своей цели. Ей уже кажется, что Лион появился на этом свете по ее приказу и именно сейчас. И все же слово «земля» в устах этого человека заостряет ее внимание и переносит из страны сомнительных иллюзий в реальную жизнь, где люди скрывают свои самые потаенные мысли, где все происходит по раз установленному порядку и где невозможно пропустить ни одного биения пульса и ни одного часа жизни.

Про себя она недоумевает, что Лион употребляет такие изжившие себя слова, как «мешочек» и «земля». Особенно «земля». Это напоминает ей о старушках в платках и передниках, причитающих: «Какой нынче от меня, старухи, прок, зачем только земля носит» и «В землю пора, уж и не знаю, когда меня смерть возьмет».

О земле она кое-что знает. Никогда не перепутает серую, легкую, песчаную землю с тяжелой, красноватой, глинистой, видела в земле дождевых червей, картофель и свеклу, ржавые ножи, пуговицы, голенища от сапог, корни елей и кости животных. Глядела на дно свежерытой могилы, видела там следы ног и лопат. Угроза: «Ибо земля ты и в землю отыдеси» — делает землю заклятым врагом, с которым у нее свои счеты.

С моря дует легкий теплый ветер, меняет свое направление и вздымает вверх искры от костра. Падая, эти живые огненные искры превращаются в серые хлопья пепла. Лион приносит и подбрасывает в костер еще одну охапку сухих ивовых веток, они с треском разгораются. Приносит также белый, выброшенный на берег тростник, он быстро воспламеняется, и от него во все стороны разлетаются огненные брызги. Воздух, вода и огонь становятся к вечеру беспокойными и приходят в движение.

Это состояние беспокойства передается и Лиону, он уже не может усидеть на месте, встает и снова садится, ищет новое, более удобное положение, поворачивается спиной к морю и спрашивает у всего, что видит — у камней и воды, сосен и ив, — и у всего, чего сейчас не видит — у темноты, которая пока еще скрывается за горизонтом, у старых, ушедших под землю государственных границ, у Белого и Черного морей, у самого Брежнева и у руководителей каждой из союзных республик: почему он должен ломать шапку перед государством лишь из-за того, что в кармане у него паспорт этого государства? Почему он должен целовать здешнюю землю, когда его могилы совсем в другом месте?

Книжные слова «целовать землю» и «могилы» становятся в его устах повседневными и будничными, как слово «вокзал» или «домоуправление». В голосе Лиона появляется суровость, лицо мрачнеет. Он горбится, застывает на

месте, и плечи его словно покрываются пылью. Ему страшно, что он получит из ОВИРа отрицательный ответ, что зять Кузьминичны переведен на другую должность и больше не занимается искусством. А что означает на тайном языке «заниматься искусством»? Организовать отъезд.

Однако положительного ответа он боится сейчас намного больше, чем отрицательного. Боится, хотя решение уехать принял так давно, что уже и не помнит. Возможно, в ту пору, когда у них еще была собака Носсон, подбиравшая и съедавшая все окурки, какие только находила на земле. Вероятно, это было во втором или третьем классе, потому что осенью, когда он перешел в четвертый, Носсон стал ходить по пятам за курильщиками и алкоголиками и больше уже домой не возвращался. Лежал у пивной будки, однажды тетя Оля увидела его там, но Носсон отвернулся, ошетинился и сделал вид, что никакой тети Оли не знает.

С того времени началась подготовка к отъезду, поскольку исчезновение Носсона явилось знаком — нечего больше медлить, надо действовать. Носсон уже не помеха, незачем размышлять, как долго еще проживет собака. Приготовления к отъезду заняли столько времени, что в промежутке взяли новую собаку по кличке Кинский, но и у него морда уже успела поседеть.

Для Лиона сборы означали то, что во вторник вечером он занимался немецким, а в четверг английским. Тайный язык и обращение с телефоном он освоил играючи. Тетя Оля часто звонила ему и всегда спрашивала Льва, а он бодро отвечал: «Лев слушает». Он сам до сих пор не понимает, почему Лев, хотя в его паспорте значится Лион. И тем не менее Лион уверен, что там, где не надо было предъявлять паспорт, это пошло ему на пользу. Особенно в школе.

Здесь, у костра, он признается и в том, что изваял двух доярок из бронзы и голову Ленина из местного камня, чего до сих пор стыдится. За голову Ленина он даже получил в Москве премию. Эту голову он видит во сне, и всегда одинаково — он быстро идет по коридору ОВИРа, а за ним бежит вприпрыжку голова Ленина без туловища, маленькая, гладкая и темная, похожая на собачью. Он пытается прикрыть ее полой пальто, ужасно боится, что Кузьминична увидит, рассердится и скажет: мол, зять больше искусством не занимается.

Когда Лион рассказывает об этом, в его глазах загорается мрачное веселье. Он описывает свое старое американское пальто из ворсистого материала, с длинными лапами, в то время как в государстве Брежнева носили короткие. Он даже иллюстрирует свой рассказ картинками и рисует на песке портрет Кузьминичны. Труднее всего даются ему серьги и дужки очков. Песок сухой и осыпается, но Лион ползает по берегу, стирает одни линии, дорисовывает другие, пока широкое лицо Кузьминичны не становится похожим на посмертную маску Бетховена.

Оба и художник и наблюдатель, катаются по песку и хохочут, беспечность их поразительна. Такое впечатление, что ни одно государство не может погасить блеска их глаз и сверкания улыбок. Их не волнуют судьбы тысяч политзаключенных и тайны психбольниц. Какое им дело до других. Что из того, что земля вокруг них проклята. Этому все равно не поверит никто из тех, кто побывал здесь и пожил под крылышком «Интуриста». Это страна обетованная, где книга стоит столько же, сколько буханка хлеба, где квартплата смехотворно низка, где важна не только внешняя красота и где не испытывают страха перед завтрашним днем.

На краю огромного государства, на этом последнем клочке земли, они рисуют портрет Кузьминичны, нисколько не думая ни о городах, которые шумят у них за спиной, ни о шкафах с картотеками, где, возможно, уже значатся их имена. Ангел Господень не берет в руки большие ножницы и не перерезает их улыбки, они стираются сами собой. С неба вниз падают еще не прожитые годы, тень расставания подобно черному пологу накрывает лица, пламя костра замирает, и ветер не дует. А потом небо вновь закрывается, тень скручивается и исчезает, дым опять начинает кружиться на одном месте. Все как прежде.

Лион говорит, что не знает, живет ли он на чужбине сейчас или станет жить на чужбине в будущем, а она глубокомысленно отвечает, что этого не узнать до тех пор, пока не наступит будущее. От Лиона она слышит, что от государства можно и освободиться. Невероятно, но эта мысль никогда не приходила ей в голову. Она взбудоражена этим настолько, что в кровь расчесывает укусы слепней на своих гладких блестящих лодыжках.

Голова ее полна цветных глянцевых фотографий из журналов, всякого хлама, которому она тайком позволяет проникнуть в лабиринты своей памяти, стыдясь и одновременно желая этого. Если б ей пришлось выбирать между серьезным романом и пошлой иллюстрированной газетой, она выбрала бы и то и другое. Она видела, как над Веной парит женщина, на бюстгальтере которой выведено «Триумф». Видит, как Изольда наливает Тристану в чашку рекламируемый кофе. У подножья финского водопада плавает лебедь из Царства усопших, держа в клюве страховой полис. Феи хором поют: «Диор! Мерседес! Вольво! Браун! Диор! Мерседес! Вольво! Браун!» Повсюду раскиданы ключи от машин, кольца с бриллиантами и банки с пивом. Зубы у суперменов белоснежные, затылки налиты кровью. Лион должен серьезно подумать о существовании таких мужчин, поразмышлять над этим, а он вместо этого рассказывает биографию Вархола, описывает скульптуры Генри Мура и передает, что ему говорили об освещении в Америке. «Освещение там желтое. И тени желтые. Не думай, что они синие», — предупреждает Лион. Он признается, что все время думает о скульптурах Мура и что особенно его мучают их тени. «Эти тени работают. Работают на скульптуры!» Он тоже наблюдал за тенями своих скульптур, но с ними что-то не так, они не работают. «Если тень живет, значит, скульптура завершена», — открывает он ей свою профессиональную тайну.

Говоря, он не упускает из виду ни свою, ни ее тень на песке, взгляд его становится отсутствующим, руки покорно повисают, ибо им дано слишком трудное задание — сделать из живого тела мертвую фигуру, у которой, однако, была бы живая тень. Он не прощает ей, что она двигается, меняет выражение лица, живет и изменяется. Ведь Лион сам выбрал для этого лица подходящее выражение, сам, своей рукой придал ее шее нужный наклон, и в таком положении она обязана оставаться. Ее шейные позвонки должны подчиниться руке, которая их касалась, и взгляду, который вдохнул в них жизнь.

Лион кладет руку ей на шею, словно на самом деле хочет согнуть ее, и их тени снова сливаются. Никакое слово не в силах передать той щемящей грусти, которую они оба ощущают, но ни один из них не может перейти тот поставленный перед каждым смертным рубеж, который защищает одно существо от другого. Не будь этого барбера, они смогли бы тут же поменяться плотью и костями, как одеждой. Завладеть кровью друг друга, обменяться черепами и легкими, войти в их темную влажную массу, передать один другому свои почки, сердце и позвоночник, распрямив его словно блестящую устрашающую пружину. С любопытством и ужасом они следили бы за этим взаимным перевоплощением.

Воздух влажен, как соль пролитых слез. Ветер меняет направление. Лион остается стоять один на ярком солнце, когда она, стряхнув его руки со своей шеи, расправив спину и высоко подняв голову, идет к воде. Мысленно Лион представляет ее себе законченной желтовато-коричневой деревянной фигурой. Правда, он не совсем уверен в том, что это за дерево. Березу и грушу он тут же забраковывает. И останавливается на орехе. Именно в этот момент она оборачивается, и на ее лице отражается неподдельная, нескрываемая радость, которая делает ее такой же безгрешной и беспощадной, как дневной свет, такой же свободной от власти времени, как трава, которая исчезает в октябре и снова появляется в мае, такой же недостижимой, как горизонт. Каждый ее шаг испаривает песок.

Она останавливается у одинокого кустика ежевики и обедает все ягоды до одной. Темно-красный сок стекает по ее пальцам, и она небрежно вытирает их о живот. Одно ясно — это движение она уже никогда больше не сможет повторить. Никогда ее день не будет таким молодым. Никогда, во веки веков. Такова патетическая подпись под этой картиной, на которой нет ничего, кроме полоски песка, моря и судеб людей, живущих в этот день.

Она заходит в воду по грудь и только тогда начинает плыть. Вода не плещется, волны не вздымаются, вокруг тишина и пустота, как будто за спиной захлопнулась дверь.

Не надо забывать, что тут плавает та самая девочка, которая в 1956 году шла по зеленой лесной тропинке, на лице — классические солнечные блики и древний, как поэзия, узор из листьев. Под мышкой она держит толстую книгу, название которой «Русский лес». Прочтешь ее она считает своим долгом, раз уж взяла в библиотеке. Девочка собирается залезть на черемуху, есть там ягоды и читать книгу. По обе стороны тропинки сверкают голубые колокольчики, словно

они стоят в алтаре в стакане воды. Ели распространяют темный запах смолы, а навстречу ей по той же тропинке вышагивает сынишка колхозного бригадира, ему дано простое задание — поглядеть, не поспела ли в лесу малина.

Мальчишке лет пять-шесть. В руке у него пищай резиновый петух. Дорожка вьется через малинник, и дети не могут не встретиться. Они останавливаются, колупают ногами землю, теребят пуговицы и щиплют с куста ягоды. Сын колхозного бригадира по меньшей мере лет на пять моложе ее, а выглядит совсем крошкой, что с того, что, когда вырастет, станет здоровенным, как бык.

Скользящие тени листьев придают лицу девочки лукавое выражение, она мерит мнущегося в нерешительности мальчишку с головы до ног хитрым взглядом и зазывает: «Пошли, покажу тебе одно тайное место!» Поскольку тот не знает, что ответить, и не двигается с места, девочка требовательно произносит: «Ну!» — и хмурит брови. В ее ясных глазах вспыхивают темные искры. И вот уже мальчишка послушно семенит вслед за ней в густые еловые заросли, где надо остерегаться, чтобы не выколоть глаз.

Через какое-то время она выталкивает мальчишку из зарослей на залитую солнцем поляну. Запах скошенной травы заполняет все сверкающее и переливающееся воздушное пространство. Бабочки перепархивают из света в тень и снова неожиданно возникают. Там, куда падает тень, земля черная, словно вход в преисподнюю. Едва слышно шелестят деревья. Все видели эту поляну, ее рисовали бесчисленное количество раз и описывали на разных языках. Это именно та поляна. Мальчишка стоит с разочарованным видом, он не замечает здесь ничего особенного, готов уже захныкать и сердито пищит своим резиновым петухом.

Мальчишка не испугался бы, не прошепчи она ему: «Не бойся! Я с тобой!» — и не подтолкни его вперед на яркий свет. Теперь всю эту искрящуюся и шелестящую поляну заполняет шепот: «Не бойся! Пока я здесь, он сюда не придет!»

Хрустит ветка, кусты смыкаются словно потайная дверь, и та, что шептала эти слова, исчезает. Затаив дыхание, она прокрадывается на другую сторону поляны и выглядывает из-за ветвей. Посреди сверкания и великолепия июльского дня стоит маленькая серая фигурка и не решается издать ни звука. Лишь обеими руками прижимает к груди желтого петуха. Позднее, дома, потерявшийся и с трудом найденный мальчишка не может сказать ничего вразумительного.

Спустя двадцать лет какой-то мужчина на ревущем бульдозере стирает с лица земли эту поляну вместе с кустарником. За что получает зарплату и премию. Будь его власть, он никогда бы не позволил солнцу светить над этим местом.

Возможно, что семьсот лет рабства, привидения, русалки, подземные духи не что иное, как плод воображения эстонского народа и предмет исследований фольклористов, но, может быть, каждый эстонский бульдозерист знает, что это такое.

Имеет ли Лион какое-то отношение к этой истории, выяснится только в будущем. Сейчас же он сыплет в костер песок, покуда огонь не гаснет, а затем, скрестив на груди руки, стоит над этим могильным холмиком. Никто не знает, о чем он думает. Он напряженно следит за тем, как медленно возникает из воды ее тело и как оно обретает прежние очертания. Плечи снова становятся плечами и колени коленями, а не какой-то неясной зыбью под толщей воды. Губы от долгого купанья посинели, и вся она покрылась гусиной кожей. Выйдя на берег, она тут же наступает на осколок электрической лампочки, которую подхватила где-то и вынесла на песок волна. Тонкое стекло мгновенно, и не причинив особой боли, впивается в мягкую ткань ступни.

Естественно, что она опирается рукой на плечо Лиона и, стоя на одной ноге, разглядывает свою подошву. Затем садится на песок и командует: «Бери нож!» — эта фраза настолько проста, что каждый должен уметь произнести ее на чужом языке. Не говоря ни слова, Лион сжимает у себя под мышкой мокрую, с налившим песком ногу, делает одно-единственное ловкое движение своим дорогим швейцарским перочинным ножом и извлекает осколок стекла из ранки. Тонкая струйка крови не стоит того, чтобы об этом говорить. И все же при вечернем освещении она сверкает подобно дешевому украшению. Оно достается Лиону. Кровь имеет вкус крови, кому бы она ни принадлежала!

А кому принадлежат брежневские танки? Кому принадлежит печаль западного неба и яд книг? И эта пара влюбленных, которая бесстрашно бежит босиком по берегу, и каждая их жилка полна пьянящего ветра?

Сегодня ТАСС ничего больше не сообщает. На берегах Даугавы, так же как и на берегах Финского залива, из кранов в кастрюли, кофейники, ванны и тазы течет вода. Из холодильников достается масло, нарезается хлеб.

Бог солнца, даже глазом не моргнув, мчится прямо сквозь железный занавес на Запад. Его голые раскаленные колени сверкают над странами, где предпринимаются попытки государственных переворотов, и над ракетными базами так же неотвратимо, как они сверкают над кронами яблонь и поставленными сушиться подойниками. И, следуя законам природы, его колесница покидает Красную площадь в Москве всегда на час раньше, чем Рижское взморье

БЕЛЫЕ ТАРЕЛКИ СТАВЯТ НА СТОЛ, А ЗАТЕМ УБИРАЮТ. Хлебный нож забывают положить на место. Кофейную гушу и старую чайную заварку выбрасывают. Окна распахнуты в августовский вечер. Занавеска колыхнется так легко, цветы в вазе пахнут так сладко, и круг света, отбрасываемый лампой на потолок, излучает такое тепло, что создается впечатление, будто там, внизу, в Праге, осень еще не вступила в свои права, и будто здесь, наверху, в Риге, государство не сможет наложить лапу на человеческие судьбы, и будто деятельность балтийских военкоматов не что иное, как плод воображения или забава.

Каждый, кто высунет голову из окна, тут же втянет ее обратно, потому что вечер темен и бескраен, как смертная обитель. За окном в воздухе возникает ангел Господень, в руке у него записная книжка, и он пишет. То, что он запишет под сегодняшним числом, будет знать только он, как и все, что он видит сквозь ребра людей и стены домов. Однако два слова — дым и соль — он обязательно внесет туда в память о сегодняшнем дне, ибо считает, что государство — это всего лишь навсего голубой дым — был и нет его, а человеческая жизнь и плоть, по его мнению, не что иное, как соль, которая растворяется. С ним можно поспорить, да и спорили, можно попытаться с помощью книг объяснить, да и пытались, что человек — животное, но он и внимания не обращает. Спорить с ним все равно что толочь воду в ступе.

На небе появляются первые звезды. Несомненно, среди них есть такие, что упадут в эстонскую крапиву, латышскую лебеду и чешскую грязь и пыль.

Лион, словно все, что происходит сегодня за горизонтом, их вообще не касается, открывает дверцы шкафа и ящики с бельем и вытаскивает оттуда, как из пасти хищника, банные простыни и полотенца. Видно, что стопки чистого белья и любовно и заботливо сшитые мешочки с ароматическими веществами, перехваченные ленточкой, вызывают у него чувство неловкости и растерянности. Когда появятся мифическая мать и таинственная тетя Оля, никому не известно. Известно лишь то, что они сидят на даче, притом вместе с отцом. Об отце речи раньше не было. Это первый раз, когда отец вступает в игру.

Но если быть до конца честной, то речи не было об очень многих вещах, например об ее жилье в Таллинне, где из крана течет лишь ледяная вода и где не столько живут, сколько разыгрывают некое подобие жизни. Не было речи и о полотенцах и простынях, выброшенных в печку, поскольку кто-то вытирал о них перепачканные краской кисти; ни об одежде и пластинках, которые постоянно кочевали с места на место и обменивались. И конечно, не было речи о том, что у кого-то нет ни сестры, ни брата, ни отца, ни матери. О родственниках не говорят. Отец и мать? Что это за создания?

Поскольку она долго не бывала там, где варят варенье, жарят котлеты или гладят белье, то абсолютно уверена, что уже никто и нигде ничего не варит, не печет и не гладит. И когда видит теперь на столе вишневое варенье, сваренное тетей Олей, а в шкафу белье, выглаженное матерью, она потрясена. Ее очень удивляют и варенье и простыни, как удивляет и то, что Лион пользуется ими, не предчувствуя ничего дурного, словно он и не слышал ничего о мюзикле «Волосы» и о будущем мира. Выходит, ничего не изменилось! В доме порядок, и варенье по-прежнему стоит в шкафу! К чему тогда все эти полуночные кайфы, этот цветок на спине рубашки, все слова, и краски, и судьбы мира! Зачем же тогда сжигали мосты, развенчивали отцов и пренебрегали картофельными салатами матерей!

Чего она ждет, когда, протянув руку, кладет ее на линию судьбы того, кто рядом? Какое-то мгновение они стоят друг против друга у двери в ванную, держась за руки, словно послы, чьи государства вопреки всем ожиданиям объединились, хотя еще неизвестно, в чьих интересах. Не хватает только того, чтобы они, обменявшись бесхитростным взглядом и ослепительной официальной улыбкой, заявили: «Поздравляем! Сил вам и удачи!» А может, им надо настойчиво прошептать друг другу: «Не бойся! Я здесь!»

В глубине души она ждет, что Лион разорвет все связывающие ее путы, кинет их через плечо и, несмотря на это, останется рядом, найдет ей оправдание, поймет и утешит. Но как он сможет сделать это, если сам — еще и трех лет не прошло — подобострастно, с холодным расчетом улыбался своей учительнице и руководителю дипломной работы. Поймав в свои сети большую хищную рыбу и с затаенным интересом и страхом понаблюдав, как она бьется, он в нужный момент дал ей глотнуть воздуха. Во всяком случае, Лион блестяще защитил диплом, и все, кто был на защите, до сих пор помнят невинный, как у младенца, взгляд этого парня. Однако с тех пор руководительницу постоянно преследует страх. Ей неизвестно, что думает про нее Лион и что знает о ней государство. Никто не в силах помочь ей.

Длинные острые стрелки стенных часов подрагивают, время движется, и кажется, будто кости его похрустывают. Часы бьют, и их звонкий ясный женский голос разносится по квартире как наказ жить и действовать, пока еще не истек срок жизни.

Лион хлопывает дверцы шкафа и протягивает ей аккуратно сложенную банную простыню, которую она небрежно перекидывает через плечо. Твердой рукой она закрывает на задвижку дверь чужой ванной с матовым стеклом, открывает краны и швыряет на пол то небольшое, что было надето на ней. Даже банное полотенце с давно позабытым запахом снега и лаванды, до того чистое, что вызывает чувство неловкости, она ни с того ни с сего комкает и тоже кидает на пол, хотя на стене полно свободных крючков.

Она оценивающе разглядывает ванную комнату. Та кажется ей явно стариковской. Главным образом из-за ножек ванной, отлитых из чугуна, но пытающихся произвести впечатление, будто они из бронзы. Да и белый, с облупившейся краской стул и рама зеркала, инкрустированная ветхими деревянными водяными лилиями, напоминают ей стариков и лавки старьевщиков. а не страницы журналов, где рекламируется мебель в югенд-стиле.

Она зорким взглядом охотника разглядывает все, что ее окружает, не упуская ни одной жестянки, бутылочки или коробки. Особенно ее привлекает все, что блестит. Как и можно было предположить. Она перекладывает с места на место ножницы, пинцеты и лезвия и наслаждается их дьявольской и опасной готовностью к чему угодно. Клише «одна в чужой ванной комнате» она дополняет своеобразными деталями. Если кого-то интересует в чужих ваннах комнатах запахи душистого мыла и дезодорантов, то ее внимание привлекает каменная кружка цилиндрической формы и в ней три чужих зубных щетки — одна белая, как кость, вторая красная, как губы, и третья черная, как эбеновое дерево. Белый камень кружки в коричневато-красных прожилках. Неясно, что больше напоминает этот камень — белые колени древних богов или чистую холодную мякоть летнего яблока с коричневыми косточками.

Она держит кружку в руках, пока та не становится теплой, затем снова ставит на полку. Три зубных щетки и тюбик дешевой мятной латвийской пасты так и остаются лежать в раковине.

Самовольно она открывает шкафчик под зеркалом и роется в нем в поисках шампуня, который находит, лишь перевернув все содержимое шкафчика вверх дном. Обнаружив наконец подушечку яичного шампуня, она раздраженно швыряет его обратно в шкафчик. И неожиданно находит там зеркало с длинной ручкой, красивое, но потускневшее, а также коробку из-под обуви и в ней бактерицидный пластырь, кусочки янтаря, пемзу и несколько тупых карандашей. На пол катятся таблетки, желуди, шишки и целая коллекция граненых стеклянных пробок от старых флакончиков духов, их маленький Лион считал когда-то своим самым драгоценным сокровищем.

Она как попало захпихивает все это снова в шкафчик, с трудом закрывает дверцу и наконец-то может залезть в ванну и открыть душ. В ту же секунду на нее со всех сторон устремляются прямые, тонкие и плотные струйки воды,

напоминающие металлические прутья клетки. Она стоит в клетке голая, откинув назад голову. Возникает естественный вопрос, откуда она явилась и кто ее выпустил. Тем более что, выйдя из ванны, она натирает свою мокрую спину дорогим и весьма редким кремом для век. И обильно мажет им ступни ног.

Однако один ящик остался у нее неисследованным. Там она находит темно-красный фланелевый мешочек и тут же развязывает перехватывающую его ленточку, оставляя на мягкой материи жирные пахучие следы крема. Из мешочка выползает тонкая каштановая коса, туго перевязанная с обоих концов простой дешевой ниткой. Коса не запылилась и не пахнет, как можно было бы предположить, глядя на нее, старыми духами или нафталином, от нее исходит привычный запах только что вымытых волос. И когда она касается тела, ощущение такое, что это всего-навсего чужие волосы — холодные и одновременно теплые, гладкие и жесткие, неприятные и притягивающие. Их все время хочется пропускать меж пальцев.

Что она и делает, не догадываясь, что это девичья коса матери, отрезанная не где-то, а в Варшаве. Точнее, в 1932 году в варшавской парикмахерской, которой уже не существует, и где Ада делала бабушке несравненную укладку. Маме были подарены ко дню рождения каникулы в Варшаве у бабушки и прическа, которую по возвращении в строгую латышскую гимназию пришлось тут же расчесать и начать отращивать волосы. Эту отрезанную косу так в конце концов и не отдали дедушке. Ее должны были положить ему в гроб, когда он умрет. Просить у государства разрешения поехать на похороны никто в 1952 году не решался. Играть с этой косой нельзя.

Ей же играть с ней никто запретить не может, потому что с этого момента коса навсегда ее собственность. Впредь у нее всегда будет возможность глядеть на мир, что она сейчас и делает, через эту нестареющую, мягкую каштановую косу, которая так и не была положена в гроб. Сейчас она и сама не знает, когда и где позволит ей снова возникнуть из глубин памяти. Предугадать это невозможно, как само будущее.

Хотя за спиной у нее эстонские еловые леса, панорама Таллинна и морозное стекло двери латвийской ванной, перед глазами уже простирается раскаленное белесое небо и резкий зловещий ветер гуляет по широкой Маршалковской и по уже не существующей Крочмалнат — по всем тем улицам, известным как улицы Варшавы, но оставшимся теперь в новом, суровом и безрадостном городе Восточного блока. Как улицы Варшавы они существуют уже только в памяти. Призвав на помощь память, любой, даже сам И. Б. Зингер, может возродить Варшаву из мертвых, сделать такой, какой она была, открыть покрытые пеплом и пылью комнаты и двери кафе, наполнить помещения биением сердец и людскими судьбами. Может, не дописав страницы, под воздействием цитаты из Ницше заставить безвозвратно исчезнуть холодный зимний варшавский день, увидеть мысленным взором давно погасший отблеск заката на стенах, услышать по радио речь Гитлера и различить за мерцающими звездами насмешливый лик Иеговы.

Однако в памяти поэзии, в памяти прозы и драмы все иначе, чем в хаосе жизни. В них нет места знакомой каждому и скрываемой друг от друга униженности; кофе не проливается на белоснежную манишку, туфли не натирают ногу, а тех, кто спешит на роковое свидание, не настигает потребность забежать в туалет посреди центральной улицы, и на них не нападает предательский кашель. Руки никогда не становятся потными, и с самого начала всегда ясно, почему происходит то или иное.

И несмотря на это, светящийся пунктир памяти проникает сквозь любую тьму, прошлое проявляется в будущем, а будущее в прошлом. Что посеешь, то и пожнешь. Как на небе, так и на земле. Если был 1968 год, то непременно наступит и 1971, будет плавиться от жары асфальт и раскаляться мостовая, и эстонские туристы будут спешить в варшавские универмаги. «Солидарность» и «Валенса» пока еще только слова, которые никому ничего не говорят, но уже посеяны, так что придет и пора жатвы. Сейчас же эстонцы жадно роются в польских товарах, хотя даже им они кажутся дороже и хуже, чем можно было предположить дома.

И она в их числе и тоже разглядывает туфли и перчатки, мысленно подсчитывая деньги. Как и остальные, она никак не может решить, что купить, потому что необходимо все. Близится конец рабочего дня, вскоре магазины

закроются. В универмаге, правда, горят лампы дневного света, тем не менее кажется, что электроэнергию экономят. В помещениях вообще не ощущается жар раскаленных улиц. Здесь сыро и сумрачно. Как ни странно, но в этих новых зданиях пахнет затхлостью и йодоформом. Лампы жужжат и гудят, свет дрожит.

Старые, скукожившиеся продавщицы с пронзительным взглядом, в пожелтевших кружевных воротничках напоминают призраков. Их покрывает то ли изморозь, то ли пыль. Порой они переходят от одного прилавка к другому и шипят. Особенно усердно они стерегут обувной отдел.

Хотя в витринах выставлены женские, мужские и детские туфли и даже тапочки для младенцев, эстонцы упорно ищут для своих жен, невест и дочерей дорогие высокие зимние сапоги из гладкой кожи, но именно таких сапог не находят. И негодуют на польский народ, что сейчас еще не сезон для зимних сапог. Прямо-таки упрекают его. Не могут простить. Стоя у прилавков, напоминают все преступления, совершенные шляхтой. В то же время в полутьме высоких полок их подстерегают, подобно кровожадным зверям, вечерние туфли по сногшибательным ценам. Лак блестит и переливается, замша же, наоборот, поглощает свет. Кожаная подкладка телесного цвета матово светится, золотые буквы фирменного знака напоминают надгробные надписи. Женщина, которая наденет эти похожие на копыта туфли, может быть вполне довольна собой — теперь и ее ноги похожи на ноги нечистого, как того требует мода.

Тут же рядом стоят чемоданы и портфели, змейками извиваются кушаки и ремни, свисают подтяжки, платки и намордники. Все эти вещи не стоило бы перечислять, если бы эстонцы, и она в том числе, не увидели их впервые в таком огромном количестве. До чего же бедна должна быть страна, откуда они родом, если даже польские туфли с твердыми носами и грубые чемоданы создают у них впечатление роскоши и изобилия!

Под стеклом прилавка лежат перчатки. Разложенные веером и небрежно кинутые, словно снятые с невидимой руки. В этом сыром, населенном призраками универмаге странно видеть перчатки, которыми размахивают на железнодорожных станциях и летном поле, которые забывают то в кафе, то в такси, — неприятельные, сентиментальные, старомодные, находящиеся за железным занавесом перчатки из вчерашнего мира.

Уже выйдя на улицу, она еще долго находится во власти этих перчаток. Их запах провожает ее до первого перекрестка.

На улице все изменилось. Солнце начинает садиться, небо как жидкий огонь и дым. Из подворотен выходят старики, нагло озираются. Трамвайные рельсы красновато поблескивают, люди и здания кажутся призрачными. Те, кто бывал в Варшаве, разумеется, лучше нее знают Бельведерский замок, восстановленные площади и фонтаны старого города, церковь Святого Креста, урну, где лежит сердце Шопена. Но знают ли они час, когда опускается темнота? Об этом никто не говорил.

А говорили о двух польских художниках, талантливых, как дети, и злых, как собаки. Говорили о том, как поляки закидали камнями машину с советским номером, в которой ехал известный эстонский писатель. Когда разъяренный писатель выскочил из машины, те радостно воскликнули: «Ах это вы, уважаемый господин, а мы уж подумали, черт те кто едет!» Кто-то нашел в Варшаве на кладбище пачку денег. Кто-то купил детям вместо американской жевательной резинки порванные презервативы. Кто-то видел Гротовского, кто-то Ольбрыхского.

Ей же по сравнению с другими удастся увидеть очень мало. Из-за того, что в 1968 году в Риге она так легкомысленно потянулась к чужой косе, многое, в том числе и Варшава 1971 года, видится ей как бы сквозь ореол этих волос, которые так и не были положены в гроб в час Великого Расставания. Печать грусти, которая исходит от этих каштановых волос, ложится на все вокруг. На воздух, оконные стекла, быстро проходящую и вечную любовь, бледные лица незнакомых людей, политику Брежнева и Джонсона, киноафиши и ее полосатую трикотажную рубашку, которую сегодня надо непременно постирать. И если к утру она не высохнет, то в такую теплую погоду ее можно надеть и сырой.

Именно в тот момент, когда она принимает решение относительно рубашки и уже думает переходить улицу, из зримой темноты появляется нечто доселе не замеченное, и все, кто собирается пересечь улицу, отскакивают назад. Трамвай тормозит так резко, что рельсы брызжут искрами. Вихрь захлопывает крылья устремившегося из поднебесья вниз ангела смерти, как он захлопнул бы метал-

лические створки. Волосы у людей встают дыбом, над головой взметаются бумаги и мусор, в темноте не различить, ведет ли кто-то за собой свой старый велосипед, красный стеклянный отражатель которого ярко светится, или в воздухе в самом деле перемещается огненный шар.

Поначалу ей кажется, будто все следят за этим шаром, но потом она замечает на земле меж рельсов что-то, что привлекает всеобщее внимание. Затем это что-то укрывают брезентом. Ангел смерти исчезает, прибывают полицейские и врачи. Водителю трамвая насильно запикивают в рот желтые таблетки. Водитель закатывает глаза и сопротивляется, но врачи с помощью двоих мужчин разжижают ему челюсти.

Она же, оглядываясь через плечо, крадется прочь, и никто ее не останавливает. И хотя она была поблизости, когда произошел несчастный случай, ей неведомо, видели люди велосипед или шаровую молнию. Никто не знает, что произошло.

Часто бывает, что даже случайный свидетель всплывает совсем не там, где что-то случилось, начинает давать показания гораздо позднее, говорит о Горбачеве, а думает о Ленине, путает конец с началом, повторяет слова, которые все уже слышали, бредит о прошлом и будущем, о забвении и смехе.

Теперь настал последний срок вернуться в 1968 год и посмотреть, продолжает ли она пропускать сквозь пальцы чужие волосы или уже оделась и даже вытерла пол в ванной. Она могла бы поторопиться, поскольку времени меньше, чем она думает. Ее босые ноги, которые она намазала кремом для лица, оставляют на полу блестящие следы, и надо немало потрудиться, прежде чем от них избавиться.

Она долго, с живым интересом разглядывает себя в зеркале, словно имеет дело с дикарем, ребенком или старым знакомым Нарциссом. Особенно ее занимают сейчас раскрасневшиеся от жары щеки и кажущиеся особенно черными в полутьме ванной зрачки. Остается лишь надеяться, что, когда она выйдет из ванной, они вскоре обретут привычный цвет бронзы и стали, причем быстрее, чем можно предположить, поскольку все окна открыты и по комнатам гуляет свежий ветерок.

Когда она наконец выходит из ванной, в квартире темно и пусто, словно за этот промежуток времени действительно прошло несколько лет. Стелянные подвески на люстре позвякивают, и этот звон следом за сквозняком волнами расходится по квартире. Все лампы погашены, и только телевизор, который она раньше не заметила, освещает пустую комнату, где даже шкафы и полки могут участвовать в жизни государства. В их гладких боковинах отражаются магические картины — собрания обкомов, трудовые подвиги коллективов и успехи армии. Даже чашки, стоящие в буфете, не смеют отставать от жизни, потому что продолжительные аплодисменты заставляют дрожать все вещи, которые в нем находятся.

Кое-что она уже поняла и намотала себе на ус, она знает, что это вовсе не ателье, а жилая комната, хотя в углу стоит ящик с глиной и рядом с ним прикрытая пластиком фигура. А ателье — это дача на берегу моря, совсем близко от города. Там живут тетя Оля, новый пес Кинский и, в промежутках между ссорами, мать. Денег у тети Оли больше нет, потому что все, что у нее было, она отдала Лиону на постройку ателье. Лион защищает ее от матери и теперь уже сам при поддержке отца, не прибегая к помощи матери, устраивает вызов и для тети Оли.

Неожиданно сквозь шум телевизора она слышит, что Лион с кем-то разговаривает на кухне. Она вздрагивает, не знает, спрятаться ли ей куда-то (но куда?) или дожидаться здесь, что будет дальше.

Она догадывается, что висючая лампа отбрасывает на кухонный стол круг света и что в темноте, у края этого круга, сидят мать с сыном. Забытый на столе хлебный нож кидает отблеск на произнесенные здесь слова.

Она быстро находит себе укрытие — залезает на подоконник за штору и пристраивается рядом с мясистым алоэ. Телевизор что-то торжественно вещает. Свет уличного фонаря падает на красную вазу, и цвет ее напоминает холодный ноябрьский закат. В одном из ящиков стола лежат письма от тех, кого уже нет в живых, письма с разных концов света и на разных языках. В другом — жестяная коробка, полная забытых, растаявших и превратившихся в пестрый жалкий комок леденцов, сборник стихов русского поэта, запрещенный после револю-

ции, и завернутый в блестящую шелковую бумагу маленький горностаевый воротник. Поскрипывают половицы.

Почему она не наденет сандалии и не выберется потихоньку из дома? Послышался бы шелчок закрываемой наружной двери — и все. Отозвался бы он в чьем-то сердце и надолго ли, ее бы это уже не касалось. Уже завтра она была бы в Таллинне, как с луны свалилась бы. Какое ей дело до политики Брежнева или чьего-то сердца, до смысла слова «ОВИР» или тайных разговоров о преследовании евреев. Все это для нее так же непонятно, как язык зверей и птиц.

В дверях появляется чья-то тень, это Лион. Он сразу же выключает телевизор и хотя сначала в темноте ничего не видит, однако света не зажигает, а садится на пол перед глиняной фигурой и шепчет: «Где ты? Иди сюда!»

Когда она выходит из темноты, он, не говоря ни слова, берет ее ладонь и прижимает ко лбу, словно это вечная печать. а не предательская и недолговечная человеческая рука.

В коридоре слышатся быстрые шаги, зажигается свет. И она оказывается лицом к лицу с женщиной, чьи волосы она недавно пропускала сквозь пальцы, не зная, чьи они. Несмотря на это, она не опускает глаз. Кажется, будто вся мебель с любопытством взирает исподлобья на Лиона и ждет, что тот скажет. И не только мебель.

Лион медленно поднимается, сбрасывает с еще не высохшей глиняной фигуры пластику, обматывающий ее словно мумию, и произносит с такой торжественностью, что это можно воспринять и как насмешку: «Мама, это все, что я тебе скажу». Мать делает шаг назад, как будто принимает участие в какой-то давней и надоевшей игре, шурит глаза и сухо заявляет: «Отлично, даже в глине отлично. Но тебе не кажется, что ты немного переборщил? Мне не нравится здесь и здесь тоже. Над этим тебе надо еще немного подумать. Сейчас она слишком беззащитна, что ли»; с этими словами она отходит от глиняной фигуры, подходит к живой и с интересом разглядывает ее со всех сторон. Лион же с облегчением и несколько устало, словно и это входит в правила игры, говорит: «Перестань, мама! Довольно!»

В комнате становится тихо. Даже дыхания не слышно. Голова матери на уровне плеча сына, волосы у нее по-прежнему густые, однако короткие, седые и завитые. Глаза в крапинку, но скорее зеленые, нежели карие. Что же до их выражения, то тут вполне уместно употребить слово «озорные». если б они не были сейчас такими изучающими и настроженными. Глядя в эти молодые, то и дело меняющиеся встревоженные глаза, задаешься вопросом — куда подевались кружевной воротничок, гольфы и белые гимназические манжеты и кто скрывается за серой латышской кофтой и старой юбкой, полученной от богатой американской родственницы? Мать крепко сжимает под мышкой сумочку, камень в ее кольце брызжет разноцветными искрами. Это явно не стекляшка.

Сын подталкивает мать вперед к глиняной фигуре и живой модели и непонятно кому из них говорит: «Запомни, это моя мама». А обращаясь к матери, произносит: «Запомни, это твой ребенок».

Брови у сына еще насуплены и руки вызывающе скрещены на груди, а мать уже улыбается своей самой ослепительной улыбкой. И хотя между матерью и сыном, похоже, существуют свои договоренности и свои правила игры, сразу становится ясно, что если мать порой и одерживает победу, то исключительно из милости сына.

Сейчас у матери появилась хорошая возможность. Она вскидывает свою седую голову и говорит таким тоном, будто считает совершенно естественным, что у всех рубашки на спине должны быть выцветшими, ноги босыми и волосы растрепанными: «Du armes Kind, laß du dich umarmen!» Взгляд Лиона становится настроженным, и в тот же миг в воздухе распространяется теплый запах мыла и лимона, словно платяной шкаф широко распахивает руки и касается щекой щеки. Затем этот миг проходит, и вернуть его уже невозможно.

Никто не знает, который может быть час. Все стеклянные подвески в квартире по-прежнему позвякивают, складки на шторах топорщатся, словно кто-то пытается выбраться из-за них. Где-то капает кран.

Мать накрывает телефон еще одной диванной подушкой и говорит: «Следующий отходит в одиннадцать пятнадцать. Лион, будь добр, проводи меня», — и в ее голосе на мгновение проскальзывает одиночество старости. Лион снимает руку, которая по-прежнему лежит у него на затылке, и сообщает: «В маминой

сумочке моя повестка в военкомат». Мать машинально, с привычной для нее насмешкой поправляет: «Твой рецепт от кашля, мой дорогой». Сын так же насмешливо повторяет: «Да, мой рецепт от кашля», но ему не удается сохранить бесстрастный тон, и он с надеждой и как-то по-детски спрашивает: «Мама, ты что-нибудь придумала?» Мать же настойчиво, словно и не слыша вопроса, повторяет: «Так ты пойдешь меня проводить, Лев?» И все же не может удержаться, чтобы неодобрительно не заметить: «Почему ты спрашиваешь, если прекрасно знаешь, что этот рецепт надо передать под прилавком. Надо отдать его Лео, если он еще не вышел на пенсию».

Сын берет в прихожей хозяйственную сумку матери, кидает внимательный заговорщический взгляд в глубину комнаты и встречает улыбку, пожалуй, слишком беззаботную, принимая во внимание серьезность момента.

До нее еще долетают звуки шагов матери и сына по мостовой, однако тишина большой пустой квартиры уже окутывает ее. Когда она гасит лампу, комнату, как в древние времена, освещает луна. Высунув руку в окно, она выводит в светящемся воздухе словно в школьном альбоме со стихами

Луна светит светлехонько,
Мертвец летит быстрехонько.
А ты, золотко, не бойся!

Потом раздумывает, что бы еще написать, и добавляет: «На память. 21 августа 1968».

НА ОКНЕ НЕ СТОЯТЬ! ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ! На телефон не отвечать! Мебель не передвигать и стулья по полу не таскать. Верхний свет по вечерам не зажигать, а включая настольную лампу, не забывать задернуть шторы.

Всю жизнь ей хотелось своими ушами услышать эти приказы и запреты. Их опасная суть казалась ей такой заманчивой, пугающей и соблазнительной. Она постоянно ждала, что когда-нибудь все же что-то произойдет — начнется война, налетит ураган и сорвет с домов крышу или, по крайней мере, кто-то умрет. Ей надоело, что поезда придерживаются расписания, что работа в учреждениях начинается и кончается в определенное время, что люди скрывают свои истинные желания.

В своей заносчивости она полагает, что знает значение даже таких слов, как донос, облава и НКВД, потому что в пятидесятых годах, будучи ребенком, пряталась под обеденным столом и частенько подслушивала тайные разговоры взрослых. И даже собственными глазами видела ружье, а также большой коричневый платяной шкаф, который спас человеку жизнь, поскольку в этом шкафу, как говорили, в 1941 году во время кровавых событий жил один эстонец со своим маленьким сыном. Сын заболел дифтеритом и задохнулся на руках у отца, а отцу каким-то образом удалось перебраться в Швецию, и если он не умер, то живет там и по сей день.

Ей же кажется, что, имея в виду именно этот тяжелый темно-коричневый шкаф, Гёте написал свою хрестоматийную балладу об отчаявшемся отце и больном сыне. Во всяком случае, она упорно связывает сведения о тайных убежищах и охоте на людей со стороны НКВД с туманной и сумеречной пустошью из баллады, где немецкий отец, прижимая к груди своего умирающего сына, неизменно скачет на коне и будет скакать до тех пор, пока вышеупомянутая баллада не исчезнет из школьной программы.

Подытоживая, можно сказать, что ее представления о тяжелых временах и людских страданиях оторваны от жизни и почерпнуты из книг. Она точно знает, как все должно происходить! Мировым войнам должно предшествовать солнечное лого, заполненное танцевальной музыкой, игрой в теннис, запахом одеколона и кофе со сливками, шелестом деревьев и сверканием воды на пляже. Никто в целом мире не ведал еще, что это за роковые числа 1914 или 1941, а вот гляди-ка, в какой-то миг на цветущий кустарник упала тень прогуливающегося Александра Блока или читающего газету Томаса Манна, семя сомнения брошено в землю, и тотчас же цветы жухнут, отдыхающие поспешно разъезжаются, в небе появляются призраки, похожие на дирижабли, появляются знаки и приметы в виде русских, немецких и американских самолетов. Даже 1968 год уже предопределен и ждет своего часа.

Десятилетия пронеслись как на крыльях, и вот уже августовский дождь 1968 года стучит в окна. Над Ригой повисла черная, со сверкающими краями туча, она напоминает кочующую книгу псалмов. Плотный дождь хлещет по Даугаве. Большая рыба высккивает на какой-то миг из реки, хватая воздух и оглушенных дождем комаров и мух, бьет хвостом по воде и исчезает в своем подводном царстве.

Выйдя из подъезда, Лион раскрывает зонт, но, несмотря на это, полы его тонкого серого плаща тут же намокают и становятся темными, как кладбищенский песок. Он спешит под проливным дождем к трамвайной остановке, но, дойдя, резко поворачивается, бежит обратно, быстро поднимается по лестнице, долго не может найти ключ, наконец открывает дверь, идет, оставляя за собой повсюду, как собака, мокрые следы, сует ей в руку свой любимый перочинный нож, с которым он обычно никогда не расстается, и записную книжку с адресами двух бронзолитейщиков, размерами и местонахождением гранитных глыб, которые, быть может, удастся получить, ценами на мраморные блоки и обрезки красного дерева и, что самое важное, телефоном крановщика. Под обложкой записной книжки спрятан засушенный ландыш, лесная лилия, сладостное и горькое воспоминание о прошлом лете и имени, начинающемся на букву «Г». Эта записная книжка не предназначена для чужих глаз. Лион передает ей свое сокровище, сопровождавая избитым и старым как мир распоряжением: «Храни, пока не вернусь! Жди!»

Теперь Лиону действительно надо поторопиться, коль скоро он хочет успеть на московский поезд. Но он успеет, если только постарается. Если сделает глубокий вдох. Через нос, а не через рот! И не шумно, как животное, а беззвучно, как дух! Если не хватит легких, придется их вырвать! Если ноги не пойдут, придется их отрубить!

Как только за Лионом захлопывается входная дверь, она подходит к окну, все еще сжимая в руке нож и записную книжку, и смотрит ему вслед, ничуть не заботясь о предостережении: «На окне не стоять!» Откуда ей знать, что большая осенняя облава уже началась и что рано или поздно появятся люди в форме и станут выявлять места, где скрываются призывники, уклоняющиеся от военной службы. Так что ничего удивительного не будет, если резкий звонок в дверь нарушит ночной покой. Если ей никак не объяснить им исчезновение Лиона, то лучше затаиться и не подавать виду, что в квартире кто-то есть.

Итак, она живо похоронена сейчас на четвертом этаже дома времен Ульманиса, в квартире номер двадцать четыре, из кухонного окна которой виднеется темная огромная крона дерева. Желтизна пока еще не коснулась ее. Блестящая от дождя, она кажется надежной, как венок из жести или надгробный памятник. За этой кроной исчезают грозовые и снежные тучи, дни и годы, будто их никогда и не было. Посреди задымленного, закопченного, свинцового неба это дерево как один-единственный Господь Бог твой. Она долго смотрит в окно на это дерево, словно на открытку, где, кроме привета, ничего нет. Но на тайном языке он может означать нечто гораздо более значительное и серьезное.

Затем она чертит по всей квартире магический круг и с удовольствием, поскольку никто ей теперь не мешают, отбирает те вещи, которые намерена рассмотреть поближе, к примеру, три разноцветных тома, из которых красный носит название «Альфонс Муча», синий — «The Jewish Almanac» и коричневатозеленый — «Федор Достоевский». Она берет их с полки и раскладывает на диване, где они легкомысленно и пестро сливаются с цветными диванными подушками. Особенно если смотреть издали.

Однако ощущение беспокойства не покидает ее и заставляет провести по комнатам еще один круг. На этот раз ее внимание привлекает календарь на стене кухни. К своему большому удивлению, она обнаруживает, что не была в Таллинне всего два с половиной дня. Но само собой разумеется, этот календарь не сообщает, чей день длиннее — человека или истории.

Если б она не знала, какое сегодня число, то, глядя сейчас в окно, готова была бы увидеть ноябрьский или даже декабрьский день — голые кусты, сугробы, гололедицу и меховые шапки — и крайне разочарована, когда видит, что еще только конец августа и люди беспечно разгуливают с непокрытой головой, словно за это время ничего не изменилось. Ей трудно поверить, что, пока она отсутствовала, в Таллинне вышли всего две «Вечерние газеты» и что из Риги в Таллинн отправилось всего пять поездов. Ей кажется, что лето за эти два с

половиной дня состарилось и остыло, как глаза тех, для которых всё, вся предыдущая жизнь и текущее десятилетие спрессованы в эти два дня — вчерашний и позавчерашний. Тут она, как всегда, преувеличивает, однако это не меняет дела.

Стоя в растерянности перед календарем, она внезапно вспоминает о своем новом плаще, который так беспризорно и одиноко висит сейчас в Таллинне на вешалке и шуршит сам по себе. Ей кажется, будто этот плащ живет сейчас своей собственной жизнью и делает то, что ему заблагорассудится.

Мысленно она роется в карманах этого плаща, и в руки ей снова попадает короткое, официальное, напечатанное на служебном бланке Союза художников письмо Лиона, в котором он сдержанно представляется ей (при этом в двух словах припоминает таллиннскую выставку и то, что случайно они оказались за одним столиком) и просит «по возможности в двадцатых числах августа быть в Риге, чтобы в течение четырех-пяти часов попозировать ему». Теперь, разумеется, этот текст кажется ей особенно забавным и немедленно ассоциируется с доярками из бронзы и головой Ленина, и она недоумевает, как вообще могло случиться, что она ответила на это послание.

Кстати, мысленно роясь в карманах своего оставленного дома плаща, она ищет в них вовсе не эту скомканную записку, а нечто совсем иное. Там должен находиться и находится плоский белый морской камень. На его гладком боку нацарапан номер телефона, и то, что кроется за этим номером, еще настолько интересует ее, что вынуждает мысленно наделять Лиона другими, гораздо более светлыми глазами. Какое-то время она сосредоточивается на их разрезе и выражении, а затем поступает с этими светло-серыми глазами так, как не поступили бы бережливые и аккуратные люди даже со своими пуговицами, — она выбрасывает их и забывает о них навсегда вместе с телефонным номером, который еще два с половиной дня назад значил для нее так много вместе с истинно эстонским именем и белым камнем.

Витая в мыслях где-то далеко, она тем не менее все это время рассеянно разглядывала кобальтово-синюю супницу. Супница стоит в кухне на подоконнике, наполнена землей, и в ней растут пышные ярко-красные альпийские фиалки. Плотные пестрые листья, полураспустившиеся бутоны и твердые, как бы застывшие цветы создают впечатление, будто на подоконнике возвышается свежий могильный холмик. Небесное пространство, облака и крыши можно увидеть только через этот обильно усыпанный цветами холмик. Цветок выглядит настороженным и опасным, словно под корнем у него прячется душа квартиры, домового или привидение. С этим цветком стоит быть поласковой, что она и делает. Трется, как кошка, щекой о цветы и листья. Затем идет в комнату и с довольным видом садится на диван, одновременно открывает все три вытасканные с полки книги, но не листает их, а ждет.

Она и понятия не имеет, принадлежит ли этот Лео, во власти которого отдать приказ переложить учетную карточку Лиона из одного ящика в другой, по своему званию и чину к рядовым или же верховным ангелам. Ни малейшего представления не имеет она и о том, как организована работа военкоматов и какой терминологией там пользуются. Ей известна лишь одна магическая фраза, и она звучит так: «Не годен к действительной службе в мирное время».

Лео живет в самой столице, за горами и реками, по другую сторону бараков и рабочих поселков, котельных и пунктов приема стеклотары, газопроводов и станций переливания крови. Как Лео в Москве захочет, так в Риге и поступит. Достаточно одного телефонного звонка. Кому как не Лео знать, как вершатся дела!

Но Лион сам должен явиться пред очи Лео — это единственное условие, которое может обеспечить успех. Там он ни в коем случае не смеет глядеть исподлобья, как чукча, или угодливо улыбаться, как китаец. Непременного надо будет передать привет от тети Оли и заодно вручить старую, однако ничуть не пожелтевшую фотографию, на которой запечатлен шестилетний Лео, держащий за руку четырехлетнюю тетю Олю. У тети Оли на щеках милые ямочки, а маленький Лео весь так и расплылся в улыбке. Короче говоря, судьба Лиона зависит теперь от этих двух ребяческих лиц и воспоминаний, если они еще сохранились. И если они вообще найдут дорогу к кабинету, где за двойной дверью под портретом Брежнева восседает Лео.

Какое-то время ангел сопровождает Лиона на его пути к Лео. Он внезапно появляется прямо из воздуха на самой верхней пустующей полке плацкартного вагона, и от распространяемого им сияния жиденький чай в дешевом стакане

Балтийского железнодорожного управления начинает как-то особенно и многозначительно светиться. Поезд, сотрясаясь, пересекает Валдайскую возвышенность, стаканы в жестяных подстаканниках ритмично позвякивают, на сероватые наволочки падают хлопья сажки. Лион стелет постель и ложится лицом к стенке. Он пытается представить себе завтрашний день, но как ни старается — видит лишь одно. Фигуру, вылепленную из самого дешевого и вселяющего страха материала — из плоти и костей.

Поезд громыхает. Пассажиры дремлют. Над тайнами сновидений висит плотная завеса, которую со дня смерти доктора Фрейда никто не решился приподнять. Сколько гектаров месива, грязи и следов бульдозеров, сколько кубометров зараженной фабричными отходами воды, сколько оставленной гнить древесины отделяют сейчас этот поезд от Рижского вокзала? На бескрайних равнинах шелестит нескошенная трава, по раскисшим дорогам ползут открытые грузовики, везущие неизвестно куда замороженные свиные туши. Что за люди живут в этих призрачных селениях, остается загадкой. Даже картофельная ботва на полях настолько чахлая, словно осталась без небесного благофления.

Возможно, все эти равнины и дали лишь плод воображения и обман зрения, вымысел тех, кто едет в командировку. Столицы балтийских государств по-прежнему стоят на своем месте, сколько бы поездов ни исчезало за далями. На своем месте в гостиниой рижской квартиры стоит и ящик с глиной. Эту глину стоит рассмотреть поближе, потому что в ней больше жизни, чем в какой-либо другой, когда-либо виденной. Эту глину Лион согрел изо дня в день своими руками и так долго мял, пока холодная, безжизненная масса не превратилась в вещество, из которого можно вылепить тело, а если повезет, то даже душу и тень.

Неудивительно, что, думая о Лионе, она подходит к ящику и оставляет в глине отпечаток своей руки. Этот след кажется беспомощным и пугающим, как наскальный рисунок. Она недовольно и критически разглядывает его, а затем оставляет рядом с ним отпечаток своих губ. Для этого ей приходится опуститься на колени. Может быть, это печать и обещание. Во всяком случае, поцелуй. Не исключено, что даже с политическим привкусом.

Из политических терминов она знает лишь два — война и мир. Всячески старается избегать студенческих дискуссий на политические темы и молодежных диспутов, где бросаются в глаза разодетые рабочие парни с короткой стрижкой и крепко сбитые, деревенского вида девицы, изо всех сил старающиеся выяснить будущее мира. Она же упрямо, безо всякого разумного повода уверена, что у ее мира другое будущее.

Один русский парень, считавшийся подпольным гением, показал ей как-то в кафе завернутую в газету книгу — «Доктор Живаго». Слухи о тайных циркулярах и людях в штатском она считает преувеличением и блефом, хотя и слышала, что за распространение некоторых стихов Иосифа Бродского (который живет в Ленинграде) и Пауля-Эрика Руммо (о котором никто не знает, где он проживает) могут вызвать. Эти слова она повторяет беззаботно и машинально, как попугай, а остальные, ей подобные, так же беззаботно и машинально кивают. Вызвать звучит так же туманно и значительно, как Финская война, Венгерские События и Три Балтийских Государства.

Кое-кто, правда, говорит, что из-за Бродского и Пауля-Эрика по мозгам, пожалуй, еще не получишь, а за что получишь — неизвестно. Знать бы! А может, получишь по мозгам, если, не подзревая дурного, поцелуешь Льва, тайное имя которого на самом деле Лион. Свое полное невежество она скрывает, как и остальные, за многозначительной улыбкой или случайно запомнившимися фразами. Она смело произносит слова, истинное значение которых ей совершенно неведомо.

Розги, которые ангел Господень уже давно приготовил, со свистом прорезают воздух. Это ангел пробует их. Она же беспечно думает, что свист этот проникает через открытую форточку с нижнего этажа, где включено радио. Что-то витает в воздухе.

Ей становится не по себе, и непонятно зачем она надевает сандалии. Затягивает потуже широкий ремень, который мог быть взят из платяного шкафа как офицера Марса, так и воришки Меркурия, и, кинув взгляд в зеркало, остается вполне довольной.

Тотчас же выясняется, что самая пора была в полном обмундировании поглядеться в зеркало, ибо входная дверь со смазанным замком неслышно,

словно сама собой открывается, от сквозняка начинают позвякивать стеклянные подвески люстры, и в комнату входит отец. Его появление подобно грому среди ясного неба. Манжеты рубашки так же белоснежны, как и его зубы. Вывести отца из себя, похоже, не так просто, как можно было бы предположить. Приходится пожать ему руку, поскольку он редко протягивает ее для приветствия. А если и протягивает, то непонятно, делает он это из вежливости или из желания пошутить. Крылья ему может подрезать разве что простодушный офицер Марс. остальные же боги во главе с переменчивым Меркурием помогут ему еще шире расправить их.

О том, что отец прибыл в Ригу из-за железного занавеса, где постоянно проживает, Лион не обмолвился ни словом. Может, оно и лучше, если не все знаешь. Тем не менее она в замешательстве. Хоть бы полслова сказал о тихом, богатом цветами и скотом кантоне Тургау, куда из Милана, Парижа и Мюнхена всего лишь несколько часов езды, но куда почтовая открытка из Риги может идти три месяца, а то и все полгода.

Откуда ей было знать, что оброненная матерью фраза: «Отец приехал из Каунаса и привез свежего деревенского масла» — должна означать, что отец прибыл из Мюнхена и привез свежие новости с Запада (Которые, правда, быстро устарели, поскольку самые свежие новости с Востока дошли сюда за одну ночь.)

Из-за слов «Каунас» и «деревенское масло» у нее немедленно сложилось об отце собственное мнение, ни в малейшей степени не соответствующее действительности. Отец не держал в руке клетчатой авоськи, не сутулился, и во рту у него не было золотых коронок. По-русски отец говорит, правда, чисто, но с каким-то непривычным гортанным звуком. Свежий запах одеколона «Chanel Pour Monsieur» сам по себе уже большой удар по ее представлению об авоське и золотых зубах. Но еще больший удар — блеск глаз, который играет на его лице и даже на узких ладонях. Эти глаза все подмечают, связывают концы с концами, улыбаются и подтрунивают, кажутся непрístupными, однако, несмотря на это, притягивают. Они как проворные коричневые славки, беспечно перелетающие с куста на куст, хотя, преследуя их, можно легко оказаться в чужом мире, куда нога человека просто так не ступит.

У отца все идет хорошо. С каждым днем все лучше и лучше. Он дышит спокойно, всегда невозмутим и не отстает от жизни. На границе грозной империи всегда смотрит прямо в глаза мрачным людям в форме, и на таможене его никогда не трясут. Однако вывезти свою семью из империи отцу пока не удалось, хотя прямо никто вроде бы не возражает, наоборот, обещают дать разрешение, причем с каждым разом становятся все любезнее. На этот раз Кузьминична получает мягкий розовый свитер, сумочку для дочери и новое японское чудодейственное лекарство для своей престарелой матери, страдающей диабетом.

Оказывается, что именно отец настоял на том, чтобы сыну дали такое неудобное, старомодное и литературное имя. Вообще сын отрада и надежда отца, его слабость. А если выразиться еще более высокопарно, то он ему как дочь, для которой отец готов поймать жар-птицу, выкопать с корнем заморский аленький цветочек и принести его под полой. До сегодняшнего дня сыну не были нужны ни жар-птица, ни аленький цветочек, ни жевательная резинка и шариковые ручки. А теперь, в самый неподходящий момент, когда забот и так полон рот, ему, еврею, вдруг понадобилась эстонка!

Лион поговорил с отцом с глазу на глаз. Без ведома матери, но с согласия и при поддержке тети Оли он попросил отца прийти на городскую квартиру и поговорить там с неизвестно откуда взявшимся существом прямо и откровенно, как с собственным ребенком. Не испугать, подбирать самые простые слова, произносить их медленно и спокойно. Если понадобится, то повторить вопрос. Вести себя естественно и по-дружески, как с героем романа Я. Вассермана Каспаром Хаузером. Говорить в основном о практических делах, потому что никто, кроме отца, так толково этого не сделает. Естественно, поговорить и об ОВИРе. Не появляться перед сыном без ясного, прямого, традиционно романтического слова да. Прощь сына беспощадна, как человеческое сердце.

Отец в замешательстве, хотя старается этого не показывать. Он не знает, с чего начать. К тому же не совсем уверен, на каком языке говорить, чтобы его поняли. Все-таки он делает попытку, отодвигает от стола твердый, неудобный,

с ножками-лапами стул, предлагает ей сесть и сам садится напротив. Обращается к ней на «вы». Извлекает из глубин памяти слово «Эстония» и пытается связать его с какой-то картиной или по крайней мере с названиями и цифрами, но никак не может ничего вспомнить, кроме поблекшей цветной иллюстрации из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. На иллюстрации изображены мужчины в шапках-ушанках и тулупах и женщины с корзинами. Женщины в больших платках и полосатых юбках, из-под которых виднеются толстые, в раскорячку ноги, а глаза у женщин голубые, как летние цветы. У отца смутное подозрение, что в энциклопедии Ефрона об эстонцах сообщается следующее: «Крестьяне (в том числе мытная обслуга и различные ремесленники) в Эстонской и Лифляндской губерниях. Духовная жизнь небогата». На основании этих данных отец полагает, что эстонцы все еще освещают свои жилища лучиной и шьют одежду из овечьей шкуры. Учитывая это, становится понятно, почему отец, оглядевшись по сторонам, облегченно вздыхает, не увидев нигде ни корзин, ни шапок-ушанок, ни платков, ни лучины, ни барана.

И словно в ответ на свое оторванное от жизни представление отец приносит совсем не то, что собирался произнести. Он говорит: «Все это мелочи, есть другие, гораздо более важные вещи». Эти неожиданные для обоих слова подкрепляют искра света, вспыхнувшая в глубине зеркала, и затянувшееся молчание.

Отец с недовольным видом откидывается на спинку стула. Его лицо остается в тени, как в сцене допроса из какой-нибудь бездарной пьесы. Вопросы, которые он начинает задавать, настолько формальны, что удивляют и его самого. Один из них звучит так: «А разве ваши друзья и родные (осторожное и обобщающее друзья и родные, а не навязчивое и конкретное друг и родители) не обеспокоены тем, что вы уехали из дома?» И не может удержаться, чтобы не добавить: «Ведь вы так молоды!» Совершенно очевидно, что это замечание излишне, поскольку, услышав его, та, кому адресован этот вопрос, начинает обиженно болтать ногой, однако, прибегнув к испытанному средству защиты, которым она весьма недурно научилась пользоваться как на русском, так и на эстонском языке, произносит: «Я вполне самостоятельна». Если это возымело действие на такого старого пройдоху, как главный идеолог республики — правая рука Москвы, — то почему бы этой фразе не подействовать на какого-то там отца.

Но она недолго торжествует свою победу, ибо отец снова пододвигает свой стул к столу, делает над собой усилие, строит действительно короткие и простые фразы, говорит ясно, дружеским ободряющим голосом, пока не доходит до цели, однако цель у него недостижимая — понять сердцем, с каким созданием он имеет дело и чего, собственно, это создание хочет для себя в будущем. Чем доброжелательнее и яснее его вопросы, тем неопределеннее пожимает она плечами. И это движение никак не вяжется с ее настороженным и самоуверенным взглядом.

Постепенно отец отказывается от простых и коротких фраз и с трудом отбрасывает представление о лучинах и овцах. Патетическим голосом оратора он спрашивает: «Так вы действительно верите, что на этом, как бы получше выразиться, на этом бесперспективном языке, да, именно бесперспективном, — подчеркивает он, а затем без запинки продолжает, — можно выразить все новые мысли и все старые и новые чувства?»

Ответ отцу нравится, он звучит по-детски трогательно, словно в церкви на конфирмации: «Верю!» Но это не тот ответ, которого ждет отец. Поэтому он прижимает к глазам свои легкие, как у пианиста, руки и какое-то время сидит молча, погруженный в раздумья. Слышно лишь его дыхание, свидетельствующее о том, что отец жив и, подобно всем остальным, несет тяжкое бремя жизни.

Когда он наконец поднимает голову, становится ясно, что освежающий запах его одеколона, непроницаемая улыбка и только что заданные вопросы ровным счетом ничего не значат. Перед лицом будущего они преходящи и исчезнут, как день и час. Спектакль окончен. И когда отец приказывает: «Смотри мне в глаза», то не смотреть нельзя. В углу притаился ангел тьмы, бесстрастно перелистывающий записную книжку. Часы тикают громче, вода из кухонного крана капает слышней, в зеркале переливается ртуть. Взгляды обоих одинаково беспощадны.

Отец поднимается из-за стола и с такой силой опирается руками о его край, что стол вздрагивает, словно они только что вызывали духа. Отец коротко, с угрозой и без какой бы то ни было логической связи произносит: «Ну что ж.

Пусть будет по-твоему.— И сухим, официальным тоном добавляет:— Запомни, эти самые слова я вынужден был сказать сегодня в два часа ночи и своему сыну Лиону».

Голубые эстонские леса и белые клеверные поля внезапно уходят в безбрежную и бездонную даль. Темная бездна чужой жизни разверзлась перед ней, угрожая в любую минуту сомкнуться над головой. Неизвестно почему кровь приливает к ее щекам, она прикрывает их волосами, словно отец поймал ее с поличным. Возможно, что он и знает кое-что о ребенке, которого заманили на лесную поляну, и о торжестве обольстительницы, таком сладостном, что затмевает все остальное.

Не подавая виду, догадывается он о чем-то или нет, знает или не знает, отец продолжает этот странный монолог, который весьма далек от деловой беседы на практические темы. Отцу остается еще рассказать одну притчу, ту самую, которую он рассказал ночью и своему сыну Лиону. «В будущем вы можете напомнить друг другу эту историю,— замечает отец и сухо добавляет:— Разумеется, если у вас будет это будущее».

Сверив свои наручные часы со стенными, отец принимается рассказывать. Рассказ короткий и отнюдь не новый.

В одной деревне два бедных старика, муж и жена, живут у сына из милости. Это самая несчастная пара, которую когда-либо видели. Их сын, человек суровый, выполняет тяжелую работу, получая за нее, как это водится, гроши. Кроме стариков-родителей, ему приходится кормить еще жену и пятерых детей. Однажды, когда старики решили уйти в лес умирать, открывается дверь и в лачугу заходит незнакомый человек с белой обезьяной. Незнакомец хочет отдать ее. Старикам обезьяна ни к чему, ведь кормить ее нечем, в доме, кроме пустого мешка из-под муки, ничего нет. Мужчина стал их уговаривать: мол, обезьяна эта не простая, а та самая белая обезьяна, о которой каждый хоть раз в жизни что-то да слышал. Обезьяна может исполнить любое желание, если только оно есть. А желания найдутся всегда, почему ж им не быть. Старики, еще минуту назад и не думавшие брать обезьяну, теперь начинают шепотом советовать, а незнакомец покорно ждет, держа шапку в руке. Глаза у обезьяны блестят и хвост ходит, как у кошки. Посоветавшись, старики робко говорят, что хотят двести франков. Этого им до смерти хватит, и тогда не придется есть сыновний хлеб. Стоило им только это произнести, как раздается стук и в дом входит чиновник, держа в руке двести франков, положенных по страховке, и известие о смерти сына.

Отец не говорит: «Если чего-то пожелаешь, то бойся исполнения своего желания»,— такую очевидную мораль он считает безвкусицей. Однако подобающую при этом паузу все же выдерживает, разглядывая длинные выгоревшие колючие ресницы, за которыми вспыхивает вызывающий чувство отчуждения огонек. Тонкие пальцы уже долгое время теребят карандаш со сломанным грифелем. Отец считает своим долгом неуклюже и неумело погасить этот огонек. «Ну-ну-ну!»— говорит он успокаивающе, и это звучит как предостережение.

Затем отец бросает нарочитый взгляд на телефон, все еще прикрытый подушкой, и слишком громким и отчетливым голосом спрашивает: «Так что же я хотел взять в этой комнате? Зачем я пришел?» Как вопрос, так и ответ несомненно предназначены стенам, у которых есть уши. Ответ таков: «Ну конечно, мне надо было взять две бутылки армянского коньяка». После чего отец со скрипом, как в радиопьесе, открывает дверцу буфета и извлекает из темноты две бутылки, держит их какой-то момент за горлышки, как зарезанных гусей, а затем заворачивает в шуршащую коричневую бумагу.

Вслед за этой процедурой вновь возникает достаточно длинная пауза. Она ждет, что отец уйдет, но он все не уходит и не уходит, как будто ждет кого-то, кто должен с минуты на минуту прийти. В отношении отца она еще ни к какому выводу не пришла — то он кажется ей слишком молодым, то опять-таки слишком старым, то непонятным и опасным, а то простым и сломленным заботами. Но, во всяком случае, непостоянным.

По правде говоря, она сомневается, отец ли это вообще. Но тогда кто — этого она тоже не знает. Если б она не была политически так неграмотна, то могла хотя бы подумать, что отец кагэбешник. Но о КГБ она знает так же мало, как и о заграничной жизни. Возникает даже вопрос, каким образом отец вообще попал в квартиру. Из-за границы! Она же собственными ушами слышала,

как отец открыл ключом входную дверь, не исключена и возможность, что он появился из-за занавески или из третьей комнаты. В третью комнату она успела заглянуть мельком и то лишь проходя мимо приоткрытой двери. Кто знает, что это за комната. Тут же ей вспоминается предостережение — не впускать людей в штатском. А может, отец — человек в штатском? Спросить об этом не у кого.

Она сомневается уже и в том, случайные ли это дети, что играют во дворе в классики и громко пререкаются, или они изображают детей, играющих в классики, а на самом деле выполняют секретное государственное задание, о котором догадывается разве что воспитательница детского сада, если это вообще воспитательница. И эти две старушки, сидящие на скамейке у двери, кажутся ей чересчур правдоподобными, как будто они сидят там с определенным умыслом. Подлинная жизнь государства может быть скрыта от глаз случайного очевидца так же, как и загробная жизнь.

Она сидит съезжившись на чужом стуле, за чужим столом, подперев кулаками подбородок, рассеянно катает по столу карандаш и думает, что лишь одной ей ведомо, что такое человеческое сердце.

Ночь и день делят Землю на восток и запад, как черная стена и белая стена, как забвение и смех, от которых отскакивает любой крик о помощи. В просвете между штор виднеется полоска голубого лифляндского неба, где стоит маленькое белое облако. нереальное и далекое от жизни, как эскиз обложки какой-то книги или страница художественного альбома. Этому далекому древнему облаку нет дела до костей умерших, покоящихся в земле, до костей живых, до вихря на улице, газеты на столе или биографии генерала Ершова, того самого генерала, приказу которого подчиняются все брежневские войска в Праге.

Незнакомец с белой обезьяной бредет по двору — он то ли пришел, то ли уходит.

НАДО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО КОГДА ОТКРЫВАЮТ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, то в квартире раздается холодный звон стеклянных подвесок на люстре. К этому надо привыкнуть и не вздрагивать каждый раз.

Хотя отец и подждал тетю Олю, он тем не менее вздрагивает, когда взлетает занавеска и комнату оглашает резкий звон подвесок. При появлении тети Оли вся квартира оживает и приходит в движение. Первым делом тетя Оля, не заглянув в комнату и не обратив внимания на присутствующих, отправляется на кухню. Тотчас же там начинают хлопать дверцы открываемых и закрываемых шкафчиков, звякать посуда и журчать вода — прозаические и знакомые звуки повседневной жизни, в чьей власти погасить витающие в воздухе опасения и вопросы.

В гостиную, цапая пол когтями, врывается Кинский. Гладкий, блестящий и пятнистый, словно щука или окунь, он в знак приветствия машет отцу хвостом, обрубленным согласно всем правилам. Пасть у него приоткрыта, обнажая черные десны и безупречные клыки. Тяжелая боксерская морда нависает над белой манишкой. Взгляд грустный и вместе с тем властный, как у начальника. Не хватает только портфеля и очков. Поскольку волею судьбы рук у Кинского нет, он поднимает лапу и начинает настойчиво цапать отца по колену, пока тот наконец не догадывается снять с него ошейник. Кинский тотчас же теряет к отцу всякий интерес, тяжело вздохнув, забирается под стол, с мрачным видом кладет морду на лапы и с явным неодобрением уставляется на чужие сандалии с торчащими из них голыми пальцами.

Только сейчас тетя Оля, улучив минутку, входит в комнату, руки у нее мокрые, через плечо перекинута кухонное полотенце. Она неожиданно оказывается крупной и внушительной и напоминает как своим обликом, так и выражением лица большой неприхотливый цветок, то ли георгин, то ли подсолнух. Ее коротко, вровень с ухом, стриженные волосы зачесаны назад, чистые и белые, словно чепец сестры милосердия. На затылке они скреплены круглым коричневым гребнем. Такие гребни носили пожилые женщины в пятидесятых годах, их выпускали русские и украинские фабрики, и стоили они копейки. Странно еще, что на тете Оле нет коричневых, в рубчик детских чулок.

Когда тетя Оля бросает взгляд на отца, то сразу становится ясно, что отец — это ее любимый избалованный младший брат, каждый жест и слово которого всякий раз по-новому радуют ее. Вообще доставить тете Оле радость не так и

трудно. Ее радуют хорошая погода, приветливая продавщица молока, новый бутон в цветочном горшке, отменный аппетит Лиона и новые туфли матери. Тетю Олю знают все. Она всегда скажет, что делать, если в толпе потеряется ребенок или собака, если из носа пойдет кровь или в глаз попадет соринка, если к дому подъедет ночью черная машина, если нигде не раздобыть чулок и белья, да и сахар только по карточкам, и если в дом пришла смерть.

В комнату тетя Оля входит так естественно, словно всего лишь пять минут назад вышла из нее. Похоже, сейчас ее интересует только горшок с алоэ на подоконнике. С озабоченным видом она ощупывает пальцем землю, достает из-за занавески маленькую лейку с длинным носиком и осторожно и нежно поливает растение. Ее движения медленны и уверенны, как у человека, который точно знает, что было, что есть и что будет.

Проходя мимо той, что притулилась у краешка стола, тетя Оля ободряюще и по-свойски хлопает ее по плечу. А своего брата, то бишь отца, берет за руку, и хотя отец по старой, укorenившейся в нем привычке упирается, она, как всегда, настаивает на своем. И отец идет за ней на кухню. О чем они там говорят, никогда не узнаешь. Возможно, разговор этот очень важный, потому что даже Кинский внезапно вылезает из-под стола, зевает, потягивается и, не обращая на нее ни малейшего внимания, облизываясь, направляется на кухню.

Оставшись одна, она первым делом, подобно собаке, сладко зевает и потягивается. Затем прислушивается, что происходит на кухне. Но ничего не слышно. Даже звука голосов. Кажется, будто все, что надо было еще сделать, уже сделано. Все совещания проведены, переговоры закончены и договоры подписаны. Возможно, даже кровью. Все может быть.

Углы комнаты кажутся пепельно-серыми и чужими. На небо набежала очередная дождевая туча. Вскоре тетя Оля вновь заходит в комнату и приглашает так естественно, будто делает это изо дня в день: «Ну, драгун, пошли пить чай!» Надо, однако, заметить, что при этом в голосе тети Оли все же сквозит легкая ирония, не исключено, что под влиянием отца.

Ярко-красные альпийские фиалки на кухонном подоконнике бросают отсвет на проворно снующие руки отца. Тетя Оля разливает чай не из простого повседневного чайника, а из великолепного фарфорового, круглые белые бока которого украшены скрещенными мечами и золотыми щитами. На первый взгляд может показаться, что чайник украшают берцовые кости и черепа. На столе подобно зернистому песку с берегов Балтийского моря белеет сахар. Ложки и зубы постукивают о края чашек.

Отец и тетя Оля обмениваются взглядами. Тетя Оля, видимо, по взаимной договоренности с отцом произносит: «Теперь Лион больше уже не вернется к нам». Та, кому предназначено это сообщение, спрашивает серьезно и с неподдельным испугом, как и предусмотрено сценарием: «Почему?»

Ответ тети Оли совсем из другого времени и другого места. Это время и это место остались под обломками вчерашнего мира. Там уже давно все залито бетоном и асфальтом, оборудованы стоянки для машин, построены конторы и универмаги. Но тетя Оля не виновата в этом. И потому отец не поднимает удивленно брови, когда тетя Оля, извлекая из-под развалин ответ, торжественно заявляет: «Потому что теперь ты его дом, а не мы».

Под тяжестью этого старомодного ответа не остается ничего иного, как опереться о стол голыми острыми локтями. И при этом еще взять в руки нож и нарисовать его кончиком на гладком куске масла глаза, рот, нос и усы. Тетя Оля с недоумением наблюдает за этим, она не помнит, чтобы за чайным столом видела нечто подобное. Отца же, как всегда, веселит растерянность тети Оли.

Затем кусок масла снова приглаживается, как история брежневского государства или площадка для стоянки машин. Вполне возможно, что все, что здесь произошло, лишь плод воображения тети Оли. Во всяком случае, выражение глаз, устремленных на тетю Олю поверх разукрашенного куска масла, такое неподдельно пылкое, словно жизнь для них не что иное, как какой-нибудь фильм Феллини или Висконти. Как проза с определенным количеством страниц. Как поэзия, плата за которую исчисляется иначе, чем за прозу. Как вопрос стиля.

Отец молча следит за этим немим разговором. По выражению его лица видно — кое-что в этом разговоре ему понятно. Затем благодарит тетю Олю за чай, дурачась, жмет Кинскому лапу, которую тот, привставая, поочередно протягивал всем сидящим за столом, и приносит из комнаты свой портфель, в

которым позвякивают бутылки коньяка. Обменивается с тетей Олей незначительными фразами, если не владеть тайным языком, их нельзя понять даже при самом большом желании.

Взгляд отца скользит поверх плеча тети Оли куда-то вдаль, дальше, чем можно было бы предположить, вероятно, что во двор, где бродит незнакомец с белой обезьяной. Отец растерянно улыбается, лицо его начинает подергиваться, он как-то странно, на полуслове, обрывает разговор и исчезает прежде, чем тетя Оля успевает отдать ему свою тяжелую сумку с бутылками молока, чтобы он отvez ее на дачу.

Дождевая туча переместилась, вечернее солнце играет на чайнике и освещает дальние крыши и окна домов. Даугава, Неман и Висла поблескивают в этом свете подобно новой колючей проволоке, привязавшей к Балтийскому морю целые страны и народы. По радио обещают приток холодного воздуха с берегов Ледовитого океана вниз, на юг.

Такой внезапный уход отца все же огорчил тетю Олю. Помочь тут может какое-нибудь лакомство. Раздобыть его для тети Оли суший пустяк. К большому разочарованию Кинского, из холодильника достается банка домашнего персикового компота, содержимое которой разливается в две широкие стеклянные чашки и посыпается тертым шоколадом.

Компот тети Оли поражает ее так же, как огромная банка вишневого варенья и глаженные простыни. В самом деле, она словно с луны свалилась, иначе знала бы, что против компота протестует тот, кому компот больше всего по вкусу.

Однако удовольствие от лакомства несколько омрачено расплывчатой тенью, скользящей по потолку и стенам. Такое впечатление, будто во комнату через окно одна за другой устремляются низкие темные тучи. Между тем небо полностью очистилось, и если тучи еще и есть, то только где-то на горизонте.

Быстро, несмотря на предупреждение, она высовывает голову из окна, смотрит направо и налево и, пользуясь случаем, как вор, набирает полные легкие свежего бодрящего воздуха. Наискосок через улицу горит старый коричневый деревянный дом. Над крышей поднимается черный дым и взлетают языки пламени. Дым и отбрасывает тень на стены кухни. Дом горит так буднично, словно это вполне обычное явление, в котором нет ничего опасного. Разумеется, она отлично знает, как действует на человека настоящий пожар. Этот никак не действует. И ничуть не напоминает описания в книгах горящих домов, занимающие не одну страницу. Если он что-то и напоминает, так это рисунки сумасшедшего.

Ее удивляет, что тетя Оля воспринимает этот пожар так серьезно. Она стоит у окна как пригвожденная, и ее белые волосы становятся попеременно то красными от огня, то темными от дыма. Кто знает, что видит сейчас тетя Оля и что она уже видела раньше. Во всяком случае, она напрочь забыла о той, кто, разочаровавшись в зрелище пожара, снова садится за стол и, провожая взглядом тень от дыма, пьет компот прямо из банки. Ей и в голову не приходит, что этот горящий дом мог быть чьим-то жильем и что тетя Оля, возможно, знает людей, живущих там.

В открытое окно проникает дым и запах гари. Быть может, именно сейчас горят одежда, горшки с цветами, подушки, одеяла и кровати. Из дома выносят грудного ребенка, и он копошится на асфальте среди впопыхах сложенного барахла. Время от времени ребенок издает радостные возгласы.

В этом дыму постепенно возникает и обретает очертания весенний день 1984 года. В тот день она своими руками воткнула в землю десять больших семян цветной фасоли. И все десять педантично записала в своей записной книжке, потому что все десять должны обязательно взойти и уже в июле дать многочисленные побеги и цветы.

Она бросает на таинственную полоску земли довольный взгляд, вдыхает запахи майского дня и поднимается на чердак. Там она начинает усердно рыться в ящике с книгами, где лежат старые школьные тетрадки и детские книжки, такие, как «Винни-Пух» и «Алиса в стране чудес», а также учебник по истории КПСС, книжка с картинками «Яйцо» и «Анатомия» для восьмого класса. Открыв ее, она видит скелет, который, скалясь, демонстрирует свою грудную клетку и тазобедренные кости, просвечивающие сквозь огромный, нарисованный красным карандашом бюстгальтер и чернильно-синие трусы.

Выражение ее лица, когда она смотрит на картинку со скелетом, становится каким-то странно отрешенным, словно прошедшие годы пролетели мимо как пули, не задев ее. И даже если какая-то из пуль все же попала в нее, как это случилось в 1968 году, то она сама вырезала ее из своей плоти, положила в жестяную коробочку и время от времени рассматривает умиленным взглядом ветерана. Но по сравнению с тем, что ждет ее впереди, 1968 год не стоит даже того, чтобы о нем упоминать. Ангел же Господень смотрит сквозь ее высокомерные мысли прямо в сердце, но не говорит, что он там видит.

Она же видит из свежепокрашенного чердачного окна голые деревья и черных певчих птиц. Снизу, со двора, слышатся тяжелые шаги, это ходят вокруг дома отец и сын, с удовлетворением глядя на дело своих рук — на дом, аккуратно обшитый белым смолистым тесом. Этот дом их собственность, плоть от плоти и кровь от крови. Но это другой отец и другой сын. Не евреи, а эстонцы. И не в Риге, а на острове Вормси, что в Балтийском море. Время все же настолько подвинулось вперед, что в брежневском государстве на трон взошел Черненко. Состоялись пышные похороны, все помнят, как тяжелый гроб громко стукнулся об землю, и ветер разнес этот звук по всему государству. Вынашиваются новые планы. Развернулась кампания по отчуждению дач государством. А на этом острове дача уже почти готова. Из ее чердачного окна виден весь двор и слышно все, о чем там говорят.

Она откладывает в сторону учебник анатомии и наостряет уши. Во двор зашел третий мужчина, незнакомый, но не с белой обезьяной, а с охапкой жердей для гороха, которые он нарубил в зарослях кустарника. Горожане, замаскированные под сельских жителей, то бишь отдыхающие, критически разглядывают обшивку дома.

Внезапно незнакомец без всякого вступления произносит: «Ну так вот, из Москвы поступило распоряжение. Поглядим, будут ли и у нас конфисковывать дома». Хозяин отвечает: «Пусть только попробуют, черт побери!» — и швыряет на землю новый топор.

На фоне белесо-голубого северного неба, сжав зубы и напружинив шеи, стоят трое мужчин. Они стоят здесь еще со времен Ливонского ордена, стояли всю финскую войну и в годы Большого Голода, и с губ их готова сорваться все та же угроза: «Скорей своими руками подожгу этот дом, нежели отдам его!» Эта угроза тайлась в труте и огниве, лучине и пакле, во флягах с керосином и папиросных окурках. Теперь ее носят с собой в нагрудном кармане вместе с зажигалкой и хранят в канистре с бензином в углу гаража. Никогда не знаешь, когда она снова понадобится.

У тех, кто впитал в себя эту угрозу вместе с родным языком, вид пожарищ и голых фундаментов не оставляет горестного чувства, вернее, они вообще не испытывают никакого чувства. Все это неотъемлемая часть родного пейзажа. Без этих пепелищ и оголенных фундаментов эстонский ландшафт утратил бы свою выразительность, тайный смысл своего существования. Где еще найдешь такое пугающее количество бурьяна и ненавистных одуванчиков, как не в исчезнувших с географической карты государствах между Балтийским морем и Дунаем. Сорняки и одуванчики разрушают уличное покрытие и ступени лестниц, могилы под их тяжестью оседают и становятся ровней с землей, сорняки бурно прорастают даже меж желобов и кровельной кладкой. Крыши протекают, кошки и бродяги мочатся в подъездах. На далекой Балтике сквозь многоязычную грусть виднеется одинокий церковный шпиль. Город похож на призрак или на остров мертвых. Однако чрезмерная элэгичность тут же исчезает, если взглянуть на все с близкого расстояния. Тяжелые самосвалы уже в порту забрызгивают твое пальто грязью, скрежещут краны, бурлит жизнь. Даже ангел Господень улыбается непроницаемо, как секретарь райкома. Выхода нет. С людьми будь как будет, а вот скворцы должны каждую весну возвращаться сюда, потому что больше им деваться некуда. Повсюду давно свои скворцы.

Дует ветер. Белые и черные крылья птиц ловят воздушные потоки. Сквозь угрозы и проклятия слышен веселый и насмешливый щебет скворцов. «Своими руками подожжем», — угрожают мужчины. При этом не могут не проверить, прямыми ли получились углы и ровно ли легла обшивка. Один из них чертыхается: «Так и есть, под окном криво!» — а второй ворчит: «Не болтай!» Затем мужчины умолкают, поглаживают обшивку и с затаенным страхом и притворным

превосходством, как обнаженную женщину или пустой гроб, разглядывают большой белый дом.

Чуть в стороне от этого дома, к северу, находится фундамент сгоревшего пастората, заросший за сорок лет ельником, мохом и подснежниками. Ветки сирени, посаженной покойным пастором, живописно переплелись с ветвями елей. За фундаментом простирается дикий каменистый берег, где дважды в день в установленное время появляются вооруженные солдаты с собаками-ищейками. Порядок есть порядок. Так положено. Ordnung muß sein.

Наверху раскинулись Аландские острова, внизу, на юге, находится город Рига. Рига так же далеко, как и Стокгольм. Ближе всего Москва, потому что с Москвой у всех мужчин жизненно важные связи, закрепленные на банных посиделках изрядным количеством водки и пива. Мужчины знают, что представляет из себя Москва и чего можно ждать оттуда. Время же Стокгольма еще не пришло. Или уже давно миновало. Никто не знает, что делается в Стокгольме. Неужели там тоже протираются рукава и автомобильное железо такое же мягкое, как здесь? Возможно ли, что и там погода меняется, скворцы заливаются и спины ноют?

Всякий раз, глядя на север, в сторону Стокгольма, мужчины видят две грязные колеи, оставленные гусеничным трактором, фундамент развалившегося хлева, ясени и скворечник, который сторит вместе с птенцами, если дом будет подожжен.

Годы соединены между собой, как позвонки у человека. Она слышит угрозу поджога в 1984 году, а видела пожар в 1968 году. Все еще попивая свой компот, она не упускает из виду широкую спину тети Оли, закрывающую весь вид из окна. Но возможно, что невооруженным взглядом и не разглядишь ничего.

В конце концов тетя Оля отходит в сторону и вздыхает так тяжело, словно увидела сейчас в окно Хрустальную ночь в Берлине или Большой Погром в Одессе. К счастью, тетю Олю отвлекает от ее тревожных мыслей тяжелая хозяйственная сумка, из глубины которой она извлекает огромную гроздь винограда и окатывает струей воды продолговатые, похожие на желто-зеленые стекляшки ягоды. Затем кладет блестящую гроздь на блюдо так осторожно и нежно, словно сама вырастила ее в своем винограднике, выдула из расплавленного стекла или же привезла с земли Ханаанской.

Меж тем дом через дорогу уже успели потушить, ну и бог с ним. Лишь черные хлопья пепла реют в воздухе. Тетя Оля отшпикивает от грозди виноградины и с удовольствием разглядывает их. Вопросов тетя Оля не задает, не то что отец. Зато она нашла себе нового слушателя, которому хочет рассказать сон Достоевского. Такое впечатление, будто этот сон — тети Олино сокровище, которое ни ржа не берет, ни моль не ест. Поэтому тетя Оля очень редко и лишь в особо важные дни рассказывает его. Этот сон — одно из самых страшных детских переживаний Лиона.

Сегодняшний день, по мнению тети Оли, столь важен, что не рассказать этот сон она не может. Неизвестно, то ли потому, что пришла повестка в военкомат, или что-то происходит на Востоке и Западе. Сон, вернее, его пересказ, значит для тети Оли то же самое, что для всего еврейского народа пепел и яйца. Горе, которое слишком глубоко, чтобы его можно было выразить словами.

Вероятнее всего, что тетя Оля собирается рассказать сегодня сон Достоевского единственно ради этой неизвестно откуда взявшейся особы с прядями выцветших волос, которая взбаламутила их жизнь, а сейчас сидит, покачиваясь, на стуле за кухонным столом и треплет Кинского по шее.

К самому сну тетя Оля подходит исподволь, как бы между прочим. Сперва рассказывает о том, что видела, когда отправилась во вторник на противоположный берег Лиелупе. К чему ей было отправляться во вторник за реку и где вообще находится эта река Лиелупе, остается, несмотря на объяснения, неясным. Пробелы в ее рассказе можно заполнить, прибегнув к собственной фантазии, если, конечно, таковая имеется.

Как уже было сказано, тетя Оля начинает издали, с корней валерианы, которые она называет то ласково валерьянкой, как старого знакомого, то многозначительно и таинственно смертельным корнем. Выясняется, что каждое лето тетя Оля предпринимает два похода за реку. Первый, более приятный, когда цветет липа и светит солнце, чтобы собрать липовый цвет. И второй, менее

приятный, когда жухнут стебли валерианы и из-за кустов выползает ночь. Так было и в этот вторник. Тетя Оля отправилась в путь спозаранку, взяв с собой, как всегда, корзинку с гребком и старыми кожаными перчатками. Гребок — чтобы выкапывать корни, а перчатки — чтобы собирать их и отряхивать от земли, а отнюдь не для совершения какого-то таинственного масонского обряда, как легко можно было бы подумать, судя по выражению тети Олиного лица.

Едва очутившись в пойме реки, где она обычно собирала корни, тетя Оля вдруг ни с того ни с сего сбилась с дороги. И тут началось! Во-первых, она забрела в какие-то густые заросли, а выбраться никак не могла. Во-вторых, упала в недавно вырытую возле зарослей канаву и нашла там новехонькие костыли. А костыли уже сами по себе плохая примета. В-третьих, повсюду, и в пойме, и в кустах, и даже в канаве, оказалось полно всяких птиц. Ворон, воробьев, незнакомых птиц с красным брюшком и желтыми хвостами, птиц с толстыми лапками и птиц с кривыми клювами. Одна из них была длинная и полосатая, как галстук, передвигалась на двух лапках и квакала, другая толстая и круглая подобно арбузу, с глазами страшными, как у тигра. Возможно, сова. А вот что за птица, похожая на галстук, неизвестно. И все они только и делали что семенили взад и вперед. И ни одна из них не взлетала.

При виде этого зрелища тетя Оля остановилась и стояла до тех пор, пока не устали ноги. Наблюдая за птицами, она сказала себе — запомни, Ольга, все, что видишь, ибо сейчас обязательно должно что-то произойти, либо вернуться сталинские времена, либо еще что, но добром это не кончится. В сталинские времена птицы тоже расхаживали, летать уже не хотели, настолько отъелись, поскольку урожаи постоянно оставались необранными.

Вот так, делая многозначительные паузы, тетя Оля постепенно приближается к сну Достоевского, однако он так и остался нерассказанным. Она никогда не услышит его в изложении тети Оли. Спустя годы прочитав: «В небе стояла полная луна. Она разделилась на три части, а затем эти три части снова стали одним целым. Потом от луны отделился шит, на котором старославянскими буквами было выведено: Да! Да! Эти слова двигались по всему небу с востока на запад и сами освещали себе путь», она никогда уже не узнает, это ли сон Достоевского или какой-нибудь другой. Дребезжащий звонок в дверь прерывает тети Олин рассказ. Звонок острый, как бритва, и неожиданный, как порез. Тетя Оля даже не двигается. Сидит, как и сидела. Только лицо становится непроницаемым. А Кинский нервничает взад-вперед между кухней и прихожей. Когти его стучат, белки глаз поблескивают. Тетя Оля шепчет: «Кинский, фу!» Звучит как на китайском языке, однако действие возымело. Кинский с виноватым видом ложится и больше не порывается встать. Воцаряется тишина. Стоявший за дверью должен был убедиться, что дома никого нет, и уйти. Звонок уже не должен звонить. Однако он все же звонит. Звонит и звонит.

Тетя Оля закрывает глаза. Может, ее теперь и не видно. Зато она в отличие от тети Оли полностью на виду, осознав это, она больно вжимается грудью в край стола. Вместе с виноградом тетя Оля вынула из сумки несколько куриных яиц. Они все еще лежат на столе и от каждого удара сердца вздрагивают. Кое-где на их белую скорлупу налипли хлопья саж.

К ЗВОНКАМ В ДВЕРЬ ОНА ОТНОСИТСЯ ТЕПЕРЬ СПОКОЙНО. Набралась храбрости. И даже слегка разочарована, что дверь до сих пор стоит на месте и не взломана. Тем не менее время от времени она подкрадывается к двери, прикладывает ухо к ее коричневой деревянной поверхности и прислушивается. Однако еще ни разу она не услышала на лестничной площадке ничего интересного. Только мяуканье кошки, брюзжанье старушек и детский щебет.

На кухонном столе стоит блюдо и на нем — ее свобода, ключ от входной двери, который тетя Оля перед уходом торжественно туда положила. А под чашкой оставлен листок из тетрадки в клетку с перечнем продуктов, которые тетя Оля собственноручно поставила в холодильник, с пометками, в какой очередности их надлежит съесть.

Под номером один значится жареная курица. Сразу за курицей следует пачка творога, его можно есть по собственному усмотрению — либо с вишневым вареньем, либо с медом. Не будучи уверена, правильно ли ее поймут, тетя Оля на всякий случай нарисовала внутренность холодильника. Эта неуклюжая схема напоминает двигатель внутреннего сгорания в разрезе. Продукты с коротким

сроком хранения помечены на схеме цифрами, к которым тянутся толстые кривые стрелы. К примеру, груши помечены номером пять, и, следовательно, всерьез их воспринимать не стоит. А яйца и масло вообще без номера.

Как и можно было предположить, она начинает с груш, бросая на курицу и творог торжествующие взгляды. От груш ее не может оторвать даже очередной звонок в дверь. Хладнокровно выждав несколько минут и убедившись, что нового звонка не последовало, она подходит к окну и сквозь щель в шторе выглядывает во двор. Никого нет за исключением какой-то тетке в мужской куртке, не то дворничихи, не то почтальонши, которая как раз выходит из подъезда.

Гораздо больше настойчивого звонка она боится тихого стука отворяемой двери и очередного появления отца, что совсем не исключено. Сейчас она тщательно осматривает третью комнату. Если только отец не стал привидением, то в третьей комнате его точно нет. Даже за шторами, потому что она и там все проверила. Слоняясь из комнаты в комнату, она все больше и больше сосредоточивается на одном-единственном предмете, а именно на ключе, который лежит на белом блюде и похож на рыбку, правда, не совсем на рыбку, а скорее на блесну в виде рыбки. Если ей вздумается, она может сунуть этот магический кусочек металла в карман, смело захлопнуть за собой дверь и, не сжигая мостов и не отрезая пути назад, отправиться на все четыре стороны. Вернуться она сможет в любой момент, и никто не узнает, где она на самом деле была, даже если пойдет на вокзал и будет разгуливать возле билетных касс или изучать расписание автобусов на стене автобусной станции.

Однако вместо этого она листает записную книжку Лиона и разглядывает его перочинный нож. Обнаруживает спрятанную внутри ножа маленькую скаутскую пилку и пробует на карандашах, достаточно ли она остра. Но зубцы пилки настолько затупели, что об них ломается не один хороший карандаш фирмы «Фабер».

Однако чем бы она ни старалась занять себя, в голове вертится один-единственный вопрос — позвонил ли Лео туда, куда надо, и значится ли уже в бумагах Лиона спасительная резолюция «не годен к действительной службе в мирное время»? Дальше этого она пока не думает.

Тетя Оля поклялась ей немедленно сообщить, если Лион позвонит из Москвы и скажет, как обстоят дела. Если все в порядке, то скажет, что ему удалось купить для матери синие чашки. Ну а если нет (к этому тоже надо быть готовыми), то коротко проинформирует, что синих чашек в Москве не нашел и лучше, если мать приедет сама и поищет.

Все проще простого. Следует только набраться терпения. Если что-то и покажется сейчас неясным, то с этим надо свыкнуться, и тогда все само собой рано или поздно выяснится. Времени у нее предостаточно. В гостиной она уже успела заглянуть во все незапертые ящики. Что же касается запертых, то тут у нее возникают предположения и подозрения, не выдерживающие никакой критики. Поэтому нет смысла их и высказывать. Разумеется, ей трудно себе представить все содержимое этих ящиков, там может оказаться и серебро — дедушкин нож для разрезания бумаги и складни, где хранится Пятикнижие, давно не чищенные и черные, как железо.

Один из запертых ящиков полностью занимает загадочная шкатулка с осколками стекла. Этой шкатулки не должны касаться чужая рука и чужой взгляд. В ней лежат темные блестящие осколки всех бокалов, которые, начиная с четвертого колена, женихи в знак непрочности человеческой жизни давили каблуком в день свадьбы. Все женихи, разбившие бокалы, давно уже умерли.

В незапертых ящиках, к счастью, ничего ценного не хранится. В них она находит лишь черные конверты со старыми фотографиями и пачки писем на немецком, русском и английском языках, а также всякую случайную мелочь — закладки, ключи с кольцами и без них, пилки для ногтей, почтовые марки и довоенные путеводители. Она листает какие-то запрещенные книги и, шелкнув, открывает черную готовальню, где на бархате вместо циркуля лежит сильнодействующее снотворное, про которое все давным-давно забыли.

Когда ей надоела копаться в ящиках, она прямоком идет в ванную и снова достает из шкафика красный фланелевый мешочек с уже знакомой каштановой косяй. Стоя перед зеркалом, она примеряет ее себе на голову и наслаждается

тем всеобъемлющим чувством страха, которое без всякой на то причины испытывает в напряженной тишине квартиры, расплетая косу. Когда чужие волосы начинают струиться по спине, ее, как это ни странно, охватывает сладкий ужас. Глядя на нее сейчас, можно было бы почти поверить утверждениям знающих людей, будто красота оружия и правила охоты на людей возникают не где бы то ни было, а в человеческом сердце. И она тайком, подобно вору, наслаждается сладостью ужаса, мало того, при первой же возможности она захочет снова испытать это чувство.

В будущем ей представятся такие возможности. Не говоря, конечно, о настоящем. Как уже было сказано, она способна смотреть на будущие события и места сквозь этот сладкий ужас 1968 года. Ее память подобна двери, в которую может войти кто угодно — человек в штатском, военный или мужчина с белой обезьяной.

Итак, она на время покидает ванную комнату в Риге и предоставляет потоку времени перенести себя в 1972 год, на залитую заходящим солнцем площадь в Варшаве. Воркуют голуби, на широкий мокрый край фонтана вскарабкиваются дети, тут же сидят девушки, похожие на парней, и парни, похожие на девушек, их пол можно безошибочно определить разве что по размеру обуви. Ноги у парней больше, это уж точно.

От мостовой поднимается зной, площадь раскалена. Пристроившись между детьми и хиппи, она с наслаждением погружает руки по локоть в мутную и, что удивительно, очень холодную воду. На поверхности плавают голубиные перья, бумажные кораблики, пена и окурки. На дне поблескивают монеты. Время движется вперед и назад, с ним можно делать все что захочешь.

Вода плещется. Хиппи загадочно улыбаются, жуют колбасу и изображают из себя падших ангелов. Ромашки, которые они держат в руке, и перехваченные тесьмой волосы принадлежат скорее к миру иллюзий, нежели к данному календарному году.

Она смотрит на отблеск заходящего августовского солнца, смотрит, как взад-вперед передвигается время, затем решительно встает и самым прозаическим образом поворачивает налево.

За этим вечером следует длинный день в доселе не виданном уголке земли. Окна в автобусе не открываются, из потолочных люков летит черная угольная пыль. Трава выжжена, и листья на деревьях пожухли. Хлеб жнут серпом. На голове у польских старух зловещего вида черные платки, одежды они в приталенные длиннополые жакеты, нигде ни до, ни после она таких не видела. Дует порывистый ветер. Поля и равнины похожи на театр военных действий, даже облака над ними напоминают голубые казенные конверты, в которых может содержаться извещение о смерти.

Эстонцы в Освенциме ехать не желают. Шепотом возмущаются: «Лучше бы показали лагерь в Сибири». Любой смог бы прямо сейчас, в автобусе, поведать какую-нибудь жизненную историю о сибирских лагерях смерти, эти истории передаются из уст в уста от отца к сыну и от матери к дочери словно заклинание или проклятие.

Прибыв наконец на место, они, продолжая ворчать, нехотя вылезают из автобуса. Подтягивают брюки и приглаживают волосы. Внимание вновь прибывших привлекает киоск с газированной водой, который они тут же начинают штурмовать. Ядовито-красная и ядовито-желтая жидкость шипит, пенится и брызжет в лицо. Эту подкрашенную воду можно было бы выпить и в тысячах других мест, но только здесь, глядя поверх картонного стаканчика, увидишь ржавые рельсы и деревянные вышки, которые любой из них мог видеть на фотографиях.

На площади стоят в ряд пыльные автобусы. Тут же рядом жилые дома. Во дворах цветут подсолнухи и георгины, на веревке сушатся ползунки, на балконах сидят кошки и умываются лапкой. Хозяин красит забор. Картина бесхитростная, непритязательная и идиллическая.

Они проходят через знаменитые, в действительности же маловпечатляющие небольшие ворота с надписью «Arbeit macht frei» и оказываются внутри. Внутри все похоже на какую-нибудь сельскую школу в первый учебный день. Слышится покашливание, люди с букетами гладиолусов, словно испуганные родители, переминаются с ноги на ногу на посыпанных красным гравием дорожках среди низких мрачных кирпичных строений. Торжественное собрание

либо вот-вот начнется, либо уже закончилось. Не хватает только школьников в белых носках.

Люди вытирают пот и смотрят по сторонам. Кто-то плачет, кто-то смеется. И плач и смех смешиваются в какой-то странный гул. Теперь и эстонцы подают голос. Те, что сзади, спрашивают у впереди стоящих: «А волосы вы уже видели? Где тут волосы?»

В конце концов стоявшие сзади пробираются к небезызвестной куче волос. При виде выцветших, пыльных и спутанных волос все испытывают чувство разочарования. Тут же поблизости выставлены сапоги, очки, зубные щетки и кружки. Стекла очков поблескивают насмешливо, словно знают что-то новое и необычное об аде и кабаре, о человеческом сердце и заповедях Господних.

Пояснения дает маленькая смуглая женщина, бывшая заключенная. Она — в какой уже раз — оживленно и жизнерадостно рассказывает историю о тысячах женщин, которым давали в день лишь ведро воды — помыться и попить. Кажется, будто она рассказывает сказку, которая начинается всегда одинаково: «Es war einmal... Однажды... Как-то раз...»

Бывшая заключенная душой и телом принадлежит лагерю, она его ветеран и патриот. И кормится благодаря лагерю. Посетители с нескрываемым любопытством разглядывают ее голые ноги и руки, ищут рубцы и шрамы и глубоко разочарованы, не обнаружив их. На всех произвело бы большее впечатление, будь у нее вместо ног берцовые кости, сунутые в туфли.

Руководитель эстонской группы профформы ради спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а как вы попали в лагерь?» Женщина охотно отвечает: «Моего мужа звали Иосиф, а меня зовут Мария. Спросили, не собираюсь ли я произвести на свет Иисуса, вот и отправили в лагерь». «Слишком красиво, чтобы быть правдой», — сомневаются некоторые, но остальные призывают их к порядку. Женщина смотрит на тех и на других пронизательным материнским взглядом.

Они проходят мимо удостоверений личности, шестиконечных звезд и смертных приговоров назад, во двор. Группе надоело слушать обстоятельные объяснения женщины. Весь этот лагерь кажется эстонцам маленьким и похожим на декорации. Здесь нет золотых приисков, глухой тайги и валяющихся за деревней не преданных земле тел умерших. Ничего такого, что соответствовало бы представлениям эстонцев о лагере и лагерной жизни. Кто-то упорно отколупывает кусок штукатурки от дома, где проводились опыты над беременными женщинами. Всем жарко, и все вспотели. Воспоминания и сведения о помещенных, где шло уничтожение, о надзирательницах, о докторе, прозванном ангелом смерти, они слушают вполуха.

Остаются еще камеры и печи. В камерах не задерживаются, потрескавшийся бетонный пол и пустые вешалки не производят никакого впечатления. В конце концов подходят к печам. Все замечают, что из топки вытекло что-то черное и маслянистое. Кто-то спрашивает: «А эти печи мыли?»

После чего экскурсия возвращается к автобусу. И тут выясняется, что на его пыльном боку прямо под надписью «Совтрансавто» нацарапаны по-польски какие-то слова, при ближайшем рассмотрении их удается разобрать: «Не забыли 1968 год?» — и затем непонятная угроза: «Убирайтесь домой, убийцы!»

И снова эстонцы делятся на два взволнованных лагеря, причем одни твердят: «Мы же эстонцы! Мы ни при чем», а другие, до которых все доходит медленнее, удивляются: «Вот черти! Что говорят», — и в их голосе слышится тайное злорадство.

Когда они подъезжают к отелю, начинается ветер, и стекла открываемых дверей неприятно дребезжат. На лифте они поднимаются наверх, в комнаты с голыми казенно-зелеными стенами и тоскливым неуютным освещением. По окнам начинает барабанить дождь, резкий свет лампы тонет в еще более резком свете молний. Ветер хлопает плохо закрытыми окнами. На кроватях лежат открытые чемоданы, на стульях раскидана одежда. За тонкой дверью, в коридоре, польском коридоре, слышны приглушенные голоса и шарканье ног. Может быть, по этому длинному коридору как раз сейчас движется темная людская масса, все в пальто и с узлами в руках. Эта масса покачивается и гудит, поднимается из глубины времени на поверхность и вновь погружается обратно.

Всякий раз, когда вспыхивает молния, струи дождя за окном мрачно поблескивают, и каждая молния на темном польском небе напоминает начертанное по-немецки слово «судьба» — Schicksal.

Но это ничто по сравнению с будущим и Бухарестом, где с губ маленьких пионеров, ребра которых можно пересчитать по одному даже под рубашкой, и днем и ночью по радио и телевидению, на площадях и трибунах не сходит вселяющее ужас имя диктатора. Где каждый кусок с огромным трудом раздобытого мяса имеет привкус мяса принесенного в жертву животного. Где в дорогих ресторанах из вазочек с десертом выползают обсыпанные сахаром ягодные черви. Где каждый может получить зуботычину и заодно остаться без записной книжки и отснятой пленки, если у него хватило наивности вести здесь записи и снимать. Где уже в 1941 году в мясных лавках вместо говяжьих туш видели расчлененные тела евреев.

Это ничто по сравнению с Нью-Йорком, где перед отелем «Плаза» ветер гоняет взд-вперед полиэтиленовые мешки для мусора, черная блестящая поверхность которых словно для того и создана, чтобы ангел Господень мог сделать на ней свои записи о конце мира. Вполне возможно, что он записал там ответ на вопрос, почему дом Кафки в Праге сотряснулся, когда вошли брежневские танки, и почему надгробия на старом еврейском кладбище дрожали и приподнимались сами собой.

Может быть, ангел Господень ответит и на такой вопрос: почему трагичное всегда комично и почему крик о помощи известных чешских драматургов, поэтов и писателей, когда во время комендантского часа в Праге совершалась кровавая расправа, крик, который никто не услышал, определит будущее многих народов. а возможно, и всего мира?

Кто знает, не написано ли на полиэтиленовом мешке несколько слов о том густом черном дыме, который ни с того ни с сего вырывается из разбитых окон в Гарлеме, ползет к Центральному парку и превращает все созданное с изначальных времен рукой человека в хлам для мусорной свалки, лишает привлекательности, накладывает на все налет грусти и никчемности. Гигантский город расправляет свои шуршащие черные пластиковые крылья, и тень их кажется тенью будущего. Эта тень протянулась даже туда, куда по всем законам разума дотянуться нельзя. Она падает на прошлое, на Ригу и на осенний закат 1968 года, отблеск которого играл в окнах, выходящих на запад.

Эти холодные угасающие лучи заставляют ее вновь стать пленницей этого года. Как бы она ни забавлялась, как бы ни примеряла на себя чужие волосы, наступает момент, когда беспокоество вынуждает ее бросить взгляд на часы, и тогда на ее юном лице появляется выражение, которое старо как мир. Это может быть выражение лица человека, который ждет, или выражение, суть которого удается понять лишь в будущем.

Холодный ветер колышет черную поверхность воды. Большая рыбина давно спит на дне Даугавы, сунув голову под корягу. Ближе к ночи ветер усиливается, ломает в садах кроны яблонь и прибывает к земле незрелые хлеба. Темноту городов освещают неоновые вывески с угрожающими надписями «МЯСО» и «КИНО». Вспыхивающие в подворотнях и в тени киосков огоньки сигарет заставляют запоздалых прохожих убыстрять шаг. Гарнизоны, запретные зоны, картофельные поля и детские песочницы движутся по заранее намеченному пути к концу истории. У того, кто, затаив дыхание, вслушивается в темноту, может сложиться впечатление, что мир камней, растений и животных вздыхает, как человек.

Гаснущий холодный свет рисует на стенах комнаты диковинные знаки, с каждой минутой они тускнеют и в конце концов исчезают, сливаясь с обоями, и в том виде, в каком существовали, появятся не раньше чем через год. Тогда, когда снова позволит час и время года. Когда круг замкнется.

Белое блюдо на кухонном столе еще видно, но ключ, лежащий на нем, в темноте уже не различить. Мысленно она вновь и вновь возвращается к этому ключу, и, судя по выражению ее лица, нетрудно убедиться, что в ее бесперспективном языке, как и во всех остальных языках, все же есть слово «любовь» и что именно это слово она сейчас мысленно произносит. Чем высокопарнее и сентиментальнее слова, которые она выбирает, тем труднее застигнуть ее за этим занятием. Тем высокомернее и неопределеннее она пожимает плечами, отменяя таким образом от себя все сомнения.

Она привычным движением открывает наугад первую попавшуюся под руку книгу, ища в ней предсказания и наставления. На этот раз палец ее останавливается на столь знакомой всем театрам строчке: «Иванов (смеясь). Не свадьба,

а парламент! Браво, браво...» — за которой следует другая, еще более известная строка:

«Иванов. Оставьте меня! (*Отбегает в сторону и застреливается.*)

Занавес»

Это чеховское указание или наставление вызывает на ее губах какую-то особенную улыбку, и для того, чтобы точно описать эту улыбку, надо лишь заменить одно избитое слово другим. Слово «нежный» словом «загадочный» или наоборот. Несмотря на нежность, в этой улыбке нет теплоты. Она холодна, как месяц март, так же переменчива и ветрена и возникает скорее в воздухе, нежели на земле. Даже угроза, крошущаяся в ней, из какого-то чужого, космического пространства.

Эта улыбка отражается сейчас, несмотря на вечерние сумерки, и в лежащем на кухонном столе продавленном серебряном подносе, который позабавил красноармейца в тот день, когда тете Оле исполнилось десять лет. На этом подносе как на санках тетя Оля не один или два, а по крайней мере двадцать раз скатилась с ледяной горки, и не в платье, а с голым посиневшим задом. Красноармеец весело покрикивал «А ну, Сарра! Живей!» — и, чтобы ободрить и воодушевить ее, стал кидать на лед горящие газеты, пока разъяренный офицер не поймал тетю Олю под горкой и непонятно почему отдал серебряный поднос заорав: «А ну проваливай!»

Этот серебряный, с неведомым прошлым поднос ничего ей не говорит, как и твердые стулья на звериных лапах, привезенные из дома покойного деда, которые в детском воображении Лиона странствовали гуськом по лесам и горам, ища повсюду, по всем странам, дедушкину могилу, чтобы оплакать его. И лишь у берегов Атлантического океана поворачивали назад и через Варшаву возвращались в Ригу. Любовь и скорбь, связанные со всеми этими вещами, заполняют сейчас эту темную и притихшую квартиру.

Чтобы нарушить эту тишину, она плюхается животом на диван, но тут же вновь прислушивается и постепенно напрягается, словно закрученная до отказа пружина. В ней происходит что-то, что требует от нее предельного внимания, сил и энергии. Кажется, будто ее запястья на глазах становятся тоньше, скулы острее и ресницы колючее. Она ждет. Делает глоток из чаши ожидания, словно кроткая Женевьева.

Тресчат радиоприемники, набираются газеты, призывникам уже обрили головы и кинули волосы в мусор. Сопротивляющимся заламывают за спину руки. Обритые наголо парни скрежешут зубами, считая единственным признаком свободы человека неостриженные волосы. Судорожные всхлипывания призывников сводит к нулю быстрота, с какой растут волосы, по сравнению с тем временем, которое требуется для обретения свободы человечеством.

Ветер, который всегда завывает и бушует на фоне исторических событий, свирепствует и сейчас, швыряет песок в лица бредущих под покровом ночи чешских писателей, они трут кулаками глаза и от этого кажутся по-детски беспомощными. Ангел же Господень пронесется у них за спиной, они его даже не замечают, и пишет в холодном, струящемся над балтийским побережьем воздухе: «Беги, свободное дитя, возьми с собой и спрячь свободу мира». На этом месте рука ангела замирает, он задумывается, а затем все же добавляет: «Насилие к свободе тяготеет, завоевать ее и подчинить стремится...» — и с интересом ждет, когда же поэт одного из бывших маленьких балтийских государств (волосы у которого сравнительно длинные, а радио настолько вышло из строя, что, ловя передачи свободных западных станций, он ничего, кроме зловещего треска, не слышит) поймает эти слова в воздухе и запишет на бумаге. Эти слова еще долгое время реют и струятся над здешними берегами, живут своей жизнью.

Она же меж тем, съездившись и обхватив колени руками, лежит на диване в Риге, лежит затаив дыхание и мысленно требует, чтоб ожиданию пришел конец. Требует так, что кружится голова и перед глазами вспыхивают искры. Какое ей дело до погон начальников или нерушимости государственных границ. Она не видит и не слышит, не сопереживает, не испытывает сострадания. То, как она лежит, свернувшись клубком под старым халатом и прижимая руки к горлу, чтобы согреть их, могло бы показаться трогательным, не будь эта поза столь характерна для всех, кто ждет. По движению ее губ можно уверенно сказать, что она повторяет старую знакомую молитву, напевное и классическое начало которой: «Господи, сделай так, чтобы...» — заканчивается эклектической, серой,

казенно-канцелярской фразой: «...чтобы они написали „не годен к действительной службе“»..

Для большей точности следует отметить, что подобные неуклюжие молитвы целыми потоками поднимаются в ночное небо Восточной Европы. Они повисают над кранами, телефонными проводами и песчаными карьерами словно страницы, вырванные из личного дела. Куда они исчезают, к кому попадают. ни одна живая душа не знает.

Из-под кучи подушек глухо, как из преисподней, раздается телефонный звонок. Она прислушивается. Поднимает голову. Принимает этот приглушенный звук за звонок в дверь. Проходит какое-то время, прежде чем она соображает взглянуть на телефон. И хотя наказ не брать трубку укоренился в ее сознании, тем не менее звонок притягивает ее как магнитом. А ведь ей должно быть ясно как дважды два, что сюда ей никто не позвонит. Но так как ей это не ясно, во всяком случае не настолько, чтоб она могла спросонья ответить, сколько будет семьёй восемь, то она подходит к телефону, сбрасывает подушки на пол и берет, вернее, хватает трубку.

Как уже было сказано, всю квартиру заполняет плотная, почти что осязаемая тишина. Даже не слышно, как капает кран. Тем явственнее слышен шорох, доносящийся из черной трубки.

Внезапно шорох стихает, и вполне заурядный воинственный женский голос на чистейшем русском языке рывкает: «Говорите!» Она еще крепче прижимает к уху телефонную трубку. Край ее давит на ухо, словно приставленное к нему дуло пистолета. В этот самый момент она слышит дыхание, не отдавая себе отчета, что и ее собственное дыхание тоже отчетливо отдается в трубке, которая напоминает теперь уже не оружие, а живые, горячие, прижатые к уху губы. Губы не произносят ни слова. Не нарушают запрета.

Затем раздается щелчок, дыхание прерывается, доносится лишь ничего не говорящий шорох. В темноте вода в Москве-реке тускло поблескивает, как шелк на отворотах царского времени камзолов. Лион стоит на улице перед зданием телеграфа, затем собирается с духом и исчезает в подземном переходе, оставив огромный город реветь, гудеть и барахтаться в копоти и пыли. Все телефонные будки, гастрономы и кабинеты рывками устремляются в завтрашний день, находятся на пути к будущему, о чем сообщают и лозунги на стенах зданий. Рывками движется к будущему и площадь Дзержинского вместе с одноименным памятником, черным и тяжелым, как часть механизма.

Прозаические, прикрытые целлофаном блюда с колбасой и ветчиной в кремлевских буфетах движутся вперед в сверкающем потоке времени. На мгновение этот поток выносит на берег блюда с кремлевскими бутербродами, и тут же к ним тянется рука случайно попавшей на съезд писателей женщины-делегата из-за Урала, в глазах которой, когда она выуживает бутерброды из потока времени, появляется затравленный и приниженный блеск. Она намеревается купить побольше этих бутербродов. Не для того, чтобы съесть их на месте, в Кремле, а чтобы отвезти домой, потому что ей хочется, чтобы ее муж и две дочери из рабочего города за Уралом тоже приобщились к кремлевскому таинству.

Официант, который вместе со всем Кремлем вырван на миг из потока времени, отказывается продавать бутерброды навынос. Официанту лицо этой женщины-делегата почему-то сразу не понравилось. Женщина приходит в возбуждение, начинает пыхтеть и отдуваться, портфель у нее падает и открывается, оттуда выкатываются апельсины, выскакивают коробочки с колготками, происходит черт те что.

Остальные делегаты гурьбой собираются в дверях, поправляют галстуки и начинают сонно, и при этом злорадно усмехаясь, раскачиваться с пяток на носки и обратно. Все делегаты тяжелые и темные, как памятник Дзержинскому или сейфы для хранения денег и тайных циркуляров. От делегатов распространяется запах типографской бумаги и армянского коньяка, вступающий в единоборство с едва ощутимым, но от этого еще более безрадостным запахом хлорки, витающим в коридорах.

Некоторые многоопытные делегаты, не один раз побывавшие в кремлевских буфетах, разглядывают выставленное на прилавке горячее грибное блюдо с непонятным и незнакомым названием жульен. На ходу поправляя галстуки, делегаты устремляются к жульену и исчезают из виду, поток времени уносит их вместе с гудящими колонными залами. Даже мавзолей Ленина вздрагивает и

сотрясается, как будто покойник стремится выбраться из-под стекла. убежать и скрыться где-нибудь.

На ступеньках спускающегося в глубь земли эскалатора позади Лиона стоят двое мужчин в сетчатых рубашках и по очереди рассказывают друг другу анекдоты. Действующие лица Абрам и Сарра. В авоськах у мужчин в такт смеху подпрыгивают арбузы величиной с футбольный мяч, при виде этих арбузов люди глотают слюну.

Телефонная трубка оставила на виске и ухе Лиона красный след горячих губ. Внизу, в туннелях, завывает черный подземный ветер. На мраморные розоватые стены открытых тайных переходов метро наталкивается угроза: «Осторожно! Двери закрываются!»

НОЧИ ВСЕ БОЛЕЕ ВЛАСТНО ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ. ОДНАКО НЕ-СЛЫШНО, СЛОВНО МЕЖДУ ПРОЧИМ, само по себе, за счет дней. Так что не стоит понапрасну удивляться, что дни становятся все короче и короче, а ночи. напротив, все длиннее и длиннее.

Много ли прошло дней и ночей или мало, не знает никто, даже народам и государствам трудно прийти в этом вопросе к общему мнению, не говоря уж об отдельной личности. ТАСС все чаще и все торжественнее сообщает о том небывалом расцвете культуры и экономики, которого неожиданно достигли нынешним августом трудящиеся Чехословакии.

Порой радио, включенное на первом этаже, доносит до нее эти бодрые сообщения. Но она легкомысленно пропускает их мимо ушей, поскольку превосходство, с каким она и ей подобные относятся к любым политическим заявлениям, до сих пор было таким же естественным, как и дыхание. Тот, кто хочет заслужить свободу слова, красок и бытия, не должен позволять вводить себя в заблуждение ложью средств массовой информации.

Воодушевленная этим тщеславным и коварным лозунгом. она ни разу за эти дни не включала ни радио, ни телевизора. Наоборот, она всячески выказывает им свое презрение. Не вытирает экран телевизора, успевший уже покрыться густым слоем пыли, нагромождает вокруг радио тяжелые альбомы по искусству. которые ночью перетаскивает на диван и, лакомясь купленными тетей Олей черносливом, изюмом и инжиром, до рассвета перелистывает их. Когда луна заходит и начинают громыхать первые трамваи, она в последний раз кидает кристальный взгляд на зеркала, двери и шторы, а затем гасит лампу и сладко засыпает, окруженная Венерами, раковинами, черными квадратами, горящими жирафами и мягкими диванными подушками, под боком у нее косточки от слив и хвостики от яблок.

В таком состоянии и находит ее тетя Оля, которая спит мало, встает рано не в силах дожидаться, когда же наконец ночь окончательно перейдет в день. К тому же у нее сегодня свежие новости. И вот она здесь, разумеется, с Кинским. и тут же принимается хлопотать и действовать. Спящую будят, и пока она умывается, тетя Оля успевает протереть пол мокрой тряпкой. Затем вытирает пыль и при этом любезно раздает советы. С уборкой у нее связаны многочисленные воспоминания и наблюдения. Она сравнивает пучки куриных перьев, которыми в старину вытирали пыль, с современными фланелевыми тряпочками. довоенные метелки из гусиных крыльев с нынешними половыми щетками и все никак не может перейти к новостям, которых от нее ждут не дождутся.

Наконец очередь доходит и до ящика с глиной. Тетя Оля откладывает в сторону пыльную тряпку, достает из-за шторы уже знакомую лейку с длинным носиком и начинает тщательно и заботливо поливать глину, сопровождая свои действия ворчаньем, которое могло бы прозвучать неодобрительно, однако звучит ободрающе и обнадеживающе: «Ну вот, теперь и глина полита. Хотя сейчас приступай к работе. А то что ж это такое! Взяти моду мчаться куда-то, пусть, мол, глина сохнет, все равно тетя Оля придет и польет. Думает, такой большой мастер стал, что можно и не работать, все само собой делается. Ан нет! Бронзолитейщик уже звонил, спрашивал, где эта новая работа. Теперь возьмется за махину, что слепил тот украинец. Какая ему разница, главное, чтоб отливка шла».

Продолжая ворчать, тетя Оля расправляет шторы и расставляет по местам подушки и книги. И только после этого, позволив себе торжественную паузу, приносит в комнату и ставит на стол странную вазу с изображением дракона,

заглатывающего часовой циферблат, в которую воткнут букет цветущего вереска. Этот вереск тетя Оля нарвала в сосновом лесу, когда рано утром шла на электричку. Лиловые соцветья пахнут песчаной пустошью и пчелами, холодом пустынного неба, придающим скупым будничным словам тети Оли какой-то непривычный оттенок.

От этой охапки прибрежного вереска сердце ее начинает биться гораздо быстрее, чем от слов тети Оли, которые ей все равно не совсем понятны. Где теперь эти нагретые солнцем вересковые пустоши, костер на песке и слившиеся воедино тени, а ведь прошла всего неделя! Она пока еще вполуха слушает тети Олины новости. Хотя могла бы и послушать.

Итак, вчера вечером Лион звонил из Москвы и сообщил следующее: вполне возможно, что ему удастся эти синие чашки (здесь тетя Оля делает паузу и настойчиво тоном классного руководителя спрашивает: «Ну так зачем он поехал в Москву?» — и одобрительно кивает, получив правильный ответ) купить, и притом целый сервиз, но он не может один, не посоветовавшись с другими, сделать такую большую покупку. Новость вроде бы хорошая, но не совсем понятная. Что означает сервиз? Голос Лиона по телефону был мрачным. Даже очень мрачным. Мать после этого разговора совсем голову потеряла, носилась по комнатам и все время повторяла три фразы: «Не надо мне говорить! Я мать! И мне голос Лиона не понравился!» Она была в таком состоянии, что даже оставила на три часа включенным утюг. Здравый смысл в доме сохранился лишь благодаря отцу. Не будь отца, неизвестно, что произошло бы. Отец успел даже предпринять кое-какие шаги. Тетя Оля подчеркивает это с особенно таинственным и довольным видом. Что за шаги — неизвестно. Во всяком случае, оба, и отец и мать, сразу покатали к сыну в Москву. А когда отец собирается лететь в свой прелестный кантон Тургау — этого тетя Оля не говорит.

Вообще-то рассказ тети Оли довольно сух и скучен. Новости как будто есть, и в то же время их словно нет. А может быть, тетю Олю не во все посвятили. Во всяком случае, не в такой мере, как Кинского, который лично присутствовал при конфиденциальном разговоре отца с матерью, находился в тайном водовороте событий. На этот раз пес напоминает скорее человека в штатском, нежели директора, хотя, возможно, это сходство случайное. Не надо забывать, что девизом тети Оли всегда была надежда, и ей она остается верной и сейчас, когда с трудом опускается коленями на ковер и шепчет в гладкое коричневое ухо собаки: «Кинский, где Лион? Ищи! Где он?» Так тетя Оля «включает» Кинского как некую диковинную машину. Кинский начинает деловито обнюхивать всю квартиру, не пропуская ни одного угла, и надо же — в конце концов с решительным видом останавливается перед ящиком с глиной. И даже машет хвостом. Этим Кинский хочет сказать, что не зря Лион так долго возился с этой глиной. И если пока ничего не сумел с ней сделать, то хоть оставил здесь запах своей крови.

После того как был соблюден неизбежный ритуал чаепития, исследовано и значительно пополнено тетей Олей содержимое холодильника, наступает момент, когда она снова надевает жакет и берет Кинского на поводок.

После тети Олиного ухода квартира кажется пустой, как зимняя ночь. Комнаты чересчур высоки, дверь чересчур крепко закрыта, а шторы на окнах слишком плотные. Она кидает одну из многочисленных диванных подушек на пол, сует под нее замерзшие голые ноги, распрямляет спину и, устроившись так, чтобы свет падал слева, не раздумывая пишет два длинных письма и, не читая, складывает их. Проводит по бумаге рукой словно по телу. Задумывается, вспоминает фразы без начала и конца, отрывки из известных, многократно слышанных стихов об осенней грусти, созерцает их со всех сторон и мечтательно и с любопытством сравнивает их с собственными стихами.

Затем комкает эти письма и с неожиданной ловкостью закидывает за диван. С ними ей делать нечего, ведь при всем своем желании она не смогла бы отправить эти письма в Таллинн, поскольку не знает адресов своих друзей и подруг, не говоря уж об их телефонах. Ей просто в голову не приходило, что у них могут быть адреса. До сих пор она знала, что Хеллер живет во втором доме за аптекой, Матсон за церковью, в первом подъезде на третьем этаже, а Линде — над химчисткой.

Но она понимает, что эти сведения на конверте вместо адреса не напишешь. И к лучшему! Да и какие это письма! Если б в них хоть полслова было сказано

о тишине, что следует за дребезжащим звонком в дверь! Если бы в них, пусть вскользь, говорилось о жужжанье лампочки глубокой ночью! Или содержался хотя бы намек на автомат Калашникова или в крайнем случае на военкомат. Но она даже марок оружия не знает! Не в курсе жизни! Сидит себе в четырех стенах. Радио не слушает, газет не читает. Имеет лишь одно преимущество, отнять которое у нее никто не может, а именно — ни одно другое живое существо не заполнит то воздушное пространство, которое заполняет своим телом она. Когда она думает об этом, ей кажется, что остальные давно уже знают о жизни все. развели где-то ее правила и формулы и в отличие от нее ничему не удивляются.

Утро переходит в полдень, солнце идет своим путем, воздух меняет окраску. и вместе с ним меняются пейзажи, городские ландшафты и предметы. наполняющие комнату. Поднимается ветер, его завывание временами заглушает гул дорожного движения. Снизу, со двора, доносится звонкий женский смех и лепет младенца. Пестрый голубь с блестящими красными глазками заглядывает в окно. смотрит настойчиво. словно хочет передать письмо.

В просвет между штор виднеется зеркально-голубой свод неба и под ним город Рига, который вместе с Даугавой, большой рыбиной, латышскими сказками и лопочущим ребенком уже отправился в путь и все быстрее движется к концу столетия, в страшную зимнюю ночь, когда прольется кровь, жизнь станет похожа на сновидение и все, кто еще не знал, немедленно узнают, что такое автомат Калашникова. Когда среди крика и шума, дыма костров, баррикад и осколков стекла будет бродить незнакомец с белой обезьяной и предлагать сладость страха и красоту оружия.

Еще до того, как лучи солнца успевают коснуться кухонного окна, а стрелка часов остановиться на цифре «один», все, что должно произойти здесь в будущем, уже решено, причем решали трое: дверь, которую нельзя открывать, окно, в которое запрещено выглядывать, и телефон, которым возбраняется пользоваться. Там, где эти трое встретятся, что-то должно рано или поздно произойти. «Насилие!» — вдруг ни с того ни с сего выкрикивает какая-то западная радиостанция и тут же с шипением умолкает. «Лучше бояться, чем каяться», — говорит Риге ангел Господень, но в его устах даже беззлая поговорка кажется злостным подстрекательством, глухо звучащим сквозь дребезжанье трамваев, шум ветра и двойные стекла.

Она потягивается, распрямляется и берет с блюда большое белое яблоко, которое все лето повисело на дереве близ латвийско-эстонской границы и впитало в себя тепло, огонь и тени лета, прозу навоза и пафос звездного неба, сделав пространство и время осязаемым и тающим во рту плодом.

Это то самое яблоко, о котором двадцать два года спустя расскажет ей белокурая Маарья, дочь убитого, та самая, которая написала по-шведски двести восемьдесят страниц о жизни и смерти эстонцев. Отца убили люди из НКВД в 1944 году. В доме, который цел и поныне. Маарье показали его, когда она приехала в Эстонию. Это оказался самый обычный, невыразительный дом, совсем не похожий на место убийства, в кухне готовят еду, в комнате стоит телевизор. В саду за домом растет старая кривая яблоня с большими белыми плодами, светящимися, как луна.

Под этой яблоней якобы находится клочок земли, где время остановилось. То, что оно не движется, видно сразу даже невооруженным глазом. Там не бывает дождя, и никакой разговор туда не долетает.

На этом клочке земли дочь убитого Маарья нашла белое яблоко и не долго думая, сама не зная зачем, сунула в карман пальто. Вечером, когда она вынула яблоко из кармана, ей сразу стало ясно, что это такое. Весть. Та самая весть, которая так и не пришла, когда маленькая, с оочеченными ногами дочь стояла на краю большого заснеженного шведского поля и втайне ждала своего погибшего отца.

Надо сказать, что как в глазах той, что рассказывает, так и в глазах той, что слушает, вспыхивают одинаковые темные искры, отчего история предстает совсем в ином свете и отчего шведы умолкают и испытующе, с тревогой поглядывают на беседующих. Те обмениваются взглядом и хохочут. Летнее кафе гудит, легкий ветерок треплет волосы, кто поверит тому, что примерно в трехстах пятидесяти километрах к востоку от Стокгольма, за морем, растет дерево, под которым время стоит на месте. «Не правда ли, кто этому поверит», — в один голос с жаром произносят беседующие, собственный пыл веселит их обеих, и

они не могут удержаться от смеха. Хотя смеяться тут нечему. У одной убит отец, у другой в кармане советский паспорт. И то, что при этом они еще смеются, отличает их от шведов.

И хотя до этого разговора еще очень много времени, полжизни, она именно сегодня готовится к нему. Иначе почему она так пристально разглядывает большое белое яблоко на своей ладони, словно и впрямь верит, что в нем возможно спрессовать пространство и время или, по крайней мере, Годы Судьбы Эстонии.

А на дворе все тот же ветер 1968 года срывает листья с деревьев и гонит с севера на юг облака и ласточек. Вздываются пенные гребни волн. Есть опасение, что на весь день ляжет мрачный отблеск ключа, лежащего на белом блюде, если только не сунуть этот ключ в карман. Часы показывают половину первого, она надкусывает яблоко, решение принято.

На какое-то мгновение ее лицо вновь становится беззаботным и заносчивым, но только на мгновение — ни веки, ни уголки губ, ни кончик носа, ни скулы уже не могут удержать это выражение.

И все же она хочет во что бы то ни стало отоспаться, ничего не слышать и умыть руки. Она ничего не обещала. Она твердо уверена, что стоит только пожать плечами и уйти оттуда, где тебе не нравится, — и все будет в порядке. Люди в штатском рассеются в воздухе как дым, тайный язык забудется, ангел Господень захлопнет записную книжку, на все будет время, пусть кто-то другой пригубит из чаши ожидания.

Гораздо больше, чем чаша ожидания и чье-то сердце, беспокоят ее сейчас собственные сандалии, пряжки которых она с недовольным видом пытается застегнуть. Больше ей надеть на ноги нечего, хотя на улице дует резкий ветер и никто с голыми пальцами не разгуливает. Застегивая свои пыльные сандалии, она размышляет о библейском утре, которое представляется ей всегда одинаково. Вся трава выгорела, остались лишь чертополох да полынь. Ветер такой пронизывающий и солнце такое яркое, что на глаза Авраама невольно наворачиваются слезы. Взметается пыль, поленья для жертвенного костра, которые Исаак несет на спине, назойливо постукивают, от этого стука, как и от любви, никуда не деться.

Внезапно она начинает торопиться, уже нет времени забавляться воображаемыми образами. Оказывается, у нее есть (и не только есть, но, как ни странно, захвачен с собой) шерстяной свитер, жесткий и вытянувшийся. Он ни в коей мере не отвечает ее представлению о том, каким должен быть настоящий свитер. Само собой, что настоящий свитер должен быть черным, а не серым. Свободно падающим, а не растянутым. Тем не менее она натягивает серый вытянувшийся свитер с таким победоносным видом, словно надевает черный и свободно падающий.

Любимый нож Лиона и дорогую ему записную книжку она, естественно, сует в карман и при этом насвистывает. Правда, не очень умело, с шипеньем и без какой бы то ни было мелодии. Напустив на себя вызывающий вид, она даже не смотрит ни на ящик с глиной, ни на завернутую в пластикат фигуру. В эту минуту она почти уверена, что тетя Оля не зря баловала ее, не просто так, за красивые глаза, таскала ей яблоки и виноград. Возможно, тетя Оля лишь выполняя приказ отца, делала то, что хочет он. А чего хочет отец?

Она приходит в замешательство и уже ни в чем не уверена. Однако быстро берет себя в руки и не долго думая решает, чего же хочет отец.

Конечно, он хочет, чтобы сын вернулся домой с хорошим известием. Каждый знает, что того, кто находится вдалеке, приводит домой ожидание близких. Но не всякое ожидание, а только одно-единственное. Когда, ожидая, все глаза высмотришь. И отец, и мать, и тетя Оля достаточно ждали в своей жизни, а теперь нет у них на это ни сил, ни энергии. Так что та, у которой эта сила есть, придется им, в их доме, очень кстати. Для нее, как для кошки, жарится рыба, покупаются на рынке самые сочные груши. словно для тяжело больного. Ей приносят изюм без косточек и необыкновенные, с красной мякотью персики. Ее держат за запертыми дверями и тяжелыми шторами, как говорящую рыбу или ожившую статую.

И вот чудеса — она начинает ждать. Если так и дальше пойдет, то от нее останется на диване лишь серый, деревенской шерсти свитер, белые кости и превратившееся в маленький комочек сердце.

Чтобы спасти то, что еще можно спасти, она хватает пригоршню изюма и подобно змее выскальзывает через приоткрытую дверь на лестничную площадку. Дверь за ней сама собой закрывается. Слышится лишь тихий шелчок.

Ничего не происходит. Никого не видно. В первый момент она ошарашена своим поступком, однако тут же стряхивает с себя оцепенение и бежит что есть мочи, пока не добегает до скамейки на соседней аллее. Здесь она останавливается, и то лишь для того, чтобы пересчитать деньги. Их так же мало, как и было до этого, тут никаких перемен нет, и она равнодушно засовывает обратно в карман измятые выцветшие бумажки. Для ее привыкших к полумраку комнаты глаз свет на улице поначалу слишком ярок, тем не менее она жадно разглядывает здания и людей, словно видит их впервые.

У людей на головах шапки и платки. Губы плотно сжаты и глаза опущены. У многих в руках большие авоськи с огурцами, картофелем и капустой, из иных торчат черные влажные рыбки хвосты. Куски мяса завернуты в тонкую белую бумагу, на которой проступают пятна крови. Яиц куплено по дюжине, молока по литру или по два. Есть и такие, кто ничего не купил, видимо, и не собираются покупать, а глазают по сторонам и путаются у остальных под ногами.

Вообще народу полно. Темные толпы людей заполняют трамвайные и автобусные остановки, образуют вокруг универмагов потоки и водовороты. При поверхностном взгляде кажется, будто люди одеты в темное и теплое, словно все они в драповых пальто, меховых шапках и сапогах. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что меховых шапок никто еще не надевал и что вместо драповых пальто на людях светлые, довольно тонкие костюмы или пестрые платья. Сапоги же оказываются обычными уличными туфлями. Так что упрекнуть народ не в чем.

Она не дает людскому потоку увлечь ее за собой, как можно было бы предположить, а держит уши на макушке и смотрит по сторонам, стараясь запомнить дорогу, чтобы найти путь назад.

У какого-то забора стоит мальчишка с курицей. К толстой желтой куриной лапе привязан шнурок, конец которого мальчишка крепко держит в руке. Мимо идет маленькая старушка, останавливается и спрашивает: «Это твоя курица?» — на что мальчишка бодро и воинственно отвечает: «Моя». Старушка предлагает: «Продай мне курицу. Чего ты ее мучаешь? Отвезу в Юрмалу, буду кормить и поить, авось еще и нестись начнет». Мальчишка замуривает глаза и яростно мотает своей круглой, как шар, наголо обритой головой: «Не продам! Мы с ней играем!»

Забор, мальчишка, курица и подслушанный разговор — приметы, по которым она надеется найти дорогу назад. Но, конечно, в том случае, если парнишка с курицей и впредь останется на этом самом месте и если он и старушка будут и впредь повторять одни и те же слова. Итак, одна примета уже есть — мальчишка с курицей и старушка. Вторая, которую она тоже легко запоминает, это красная гребенка, которую кто-то обронил перед булочной.

Наконец она на вокзале, однако нельзя сказать, чтоб это так уж радовало ее. Она в растерянности останавливается и сжимает в кулак левую руку, которую держит в кармане. Так она согревает нож, гладкая красная поверхность которого вконец испорчена, так как на ней кривыми и чересчур крупными буквами нацарапано ЛЕВ.

На привокзальной площади полно народу, и вновь на память приходят драповые пальто и меховые шапки. В киосках продаются жирные пирожки, крутые яйца, сардельки и сосиски. Все жуют. У кого-то по пальцам стекает варенье и сок, у кого-то масло и жир. Отъевшиеся голуби кивают головками, между ними семят упитанные воробьи. Ни одна из птиц не летает. Она приходит к выводу, что на улице, в толпе, она чувствует себя гораздо смелее, чем в квартире за залертой дверью и задернутыми шторами. Какое-то время она еще крится в толпе, изучает расписание, проверяет, длинная ли очередь за билетами.

И вот билет у нее в руках. Поезд № 188/187 Минск — Вильнюс — Рига — Таллинн. Никто не принуждает ее сесть в обозначенный на билете вагон и занять свое место. Никто и не знает, что она вообще купила билет. Нет никаких причин кусать губы и переминаться с ноги на ногу.

До отхода поезда остается чуть меньше часа. Этот час она проводит стоя на перроне и глядя, как движется стрелка часов. Из громкоговорителей доносится треск, а затем с придыханием и шипеньем передаются какие-то сообщения на

латышском и русском языках. И как по волшебству из глотки туннеля с небольшими интервалами появляются люди с тюками, какое-то время спуют зад-вперед по перрону, а затем снова как по волшебству бесследно исчезают. В воздухе витает запах паровозного дыма и горький холодный запах железа. Горбатый старик постукивает ломом по колесам, время от времени останавливается, вытягивает тонкую длинную шею и смотрит вниз, словно видит на шпалах туго набитый кошелек или тело Анны Карениной. Какое дело старику с ломом до вздрагивающих белых век, ярких губ, не говоря уж о голых замерзших и посиневших щиколотках.

Стрелки часов завершают свой путь, к перрону подходит поезд и предлагает укрытие от ветра и тепло. Это и решает дело.

ЕСЛИ ПОЕЗДКА ИЗ РИГИ В ТАЛЛИНН ЗАНИМАЕТ СЕМЬ ЧАСОВ И ЕСЛИ у каждого часа есть свой демон и свой ангел, с которым сражается демон, то за семь часов вполне может что-то произойти — день перейдет в вечер, усилится охрана государственной границы, сверху поступят новые указания и распоряжения, естественный свет в вагоне незаметно сменится тоскливым желтым казарменным освещением, с наступлением темноты окна станут черными, и неудивительно, если в них появятся блестящие прозрачные отпечатки лиц пассажиров. Расстояния, которые давным-давно определены и нанесены на все географические карты, приобретут такие чудовищные размеры, что разумом этого никак не постичь.

Еще раньше, чем поезд трогается, Рига начинает казаться порождением фантазии, воспоминанием, угрожающим и мифическим туманным облаком, которое медленно и тяжело опускается за горизонт. Увидят ли отъезжающие еще когда-нибудь этот город? Возможно ли, чтобы их нога снова ступила на этот же самый асфальт?

Ей от этого ни жарко ни холодно. Она даже не удосуживается выглянуть в окно и бросить взгляд на пригородные дома, в окнах которых отражается яркая холодная синева неба, поглубже прячет в рукава свитера замерзшие пальцы и до самого носа, а то и до вшей поднимает свой воротник-хомут. Все ее кости кажутся сейчас пустыми внутри. И если чем-то еще и заполнены, так только пронизывающим ветром перронов и туннелей, серым, как асфальт, и черным, как уголь.

Сейчас она думает о самых что ни на есть прозаических и банальных вещах — об одеяле и подушке, перчатках и носках. В самом деле, не хватает еще только домотканого пледа, горячей лучины и живого барана!

Лишь когда поезд прибывает в Цесис, ей удастся согреться, ее начинает клонить ко сну, она кладет голову на ритмично подрагивающий столик под окном, выгоревшие и ставшие пестрыми волосы в беспорядке рассыпаются по его поверхности. Временами она с трудом открывает глаза и сквозь пряди волос следит за тем, что происходит вокруг. Не теряет бдительности. Но даже в полудреме она не перестает сжимать в кармане ключ и нож, словно это какие-то необыкновенные сокровища, ценность которых возрастает по мере того, как поезд все больше удаляется от Риги.

Вагон как будто вымер. Половина мест пустует. В залитом солнцем проходе вьется пыль. Но это лишь первое, обманчивое впечатление. При ближайшем рассмотрении выясняется, что на багажных сетках полно свертков, на вешалках висят куртки и пальто. А владельцы узлов и пальто сидят в вагоне-ресторане, пьют пиво и водку, курят и рассказывают крамольные анекдоты.

В вагон заходят две девчонки. Садятся напротив нее и с жаром начинают разглядывать сделанные покупки. Она же, услышав, что девицы говорят на чистейшем эстонском языке, украдкой разглядывает их.

Позднее будет трудно, если не невозможно, с уверенностью сказать, помешались ли ей эти девчонки и эта поездка или все это было наяву. Поначалу в вагоне ничего особенного не происходит. Девчонки заняты содержимым своих пакетов. Из шуршащей бумаги извлекаются флакончики духов в виде гномиков, дешевые, со скромной кружевной отделкой белые комбине, новые туфли с блестящими носами и немецкие, телесного цвета, пояса для чулок, которые девчонки почтительно именуют эластичными трусиками. Та, что поменьше и попроворнее, в туфлях на низком каблучке, убеждает другую, с подкрашенными губами и в туфлях на высоком каблучке: «Теперь будем ходить только в эластич-

ных трусах! Отличная штука! Знаешь, как они стягивают бедра!» Но подружку не так-то легко расшевелить, хотя, казалось, именно ей следовало бы носить эластичные трусы. Девчонка чинно отвечает: «Мама не разрешает мне надевать эластичные трусы в холодную погоду». «Ну и что ж, что не разрешает! А ты не слушай. Все носят эластичные трусики!» — подзуживает ее та, что поменьше.

Этот странный диалог отвлекает ее и окончательно прогоняет сон и в то же время режет ей слух, рождая в сонном сознании какие-то смутные болезненные вопросы, которые раньше, когда она еще не имела представления о тайном языке, никогда не возникли бы. Из чистого интереса она долго ломает голову и никак не может понять, что могли бы означать слова «мать» и «эластичные трусики» «Мать», «эластичные трусики», «бедра» и «холодная погода» звучат для ее многоопытного, как она считает, уха так нарочито, что за ними могут скрываться, естественно, темные и сомнительные дела. Вечерние хождения, мужчины с чемоданами. крамольные мысли. О чем все же говорят девчонки? Она никогда этого не узнает, поскольку те бросают на нее подозрительные взгляды, хихикают и, не переставая самым что ни на есть вульгарным образом смеяться, выходят на станции Валга.

Неужели эти деревянные дома, пыль и босяки, собирающиеся за будкой с квасом, и есть Эстония? Неужели здесь звучит язык, на котором слагают: «Снова снова в ветку в куст в луну видишь утопающий в волну чтобы так вцепясь уплыть уйти и остаться и себя спасти»?¹

Пока поезд стоит на станции, вагон от пола до потолка заполняется холодным воздухом. Даже шерстяной свитер не помогает. Хотя она то и дело пытается поглубже засунуть руки в рукава и как можно выше поднимает воротник, чтобы закрыть затылок, голые ноги все равно остаются на сквозняке. Часть ее тепла впитали в себя нож и ключ. Отданное им тепло уже никогда не получить назад. Несмотря на это, она относительно бодро твердит себе, что теперь свободна. Свободна от ожидания. Что все — и молчание и слова, не говоря уж о звонках в дверь и сладостном страхе,— лишь шутка. Бред и игра теней. Плод воображения.

Но как обратить в шутку завтрашний день и сегодняшний? Как обратить в шутку значение слова «эстонцы» в энциклопедии? Анекдот об Абраме и Сарре? А парад на Красной площади тоже шутка? Или русский танк на Вацлавской площади? И если нет, то что же это тогда?

Даже станция Валга кажется сейчас неуклюжей и тяжеловесной казенной шуткой. В Валге в поезд садится обритый наголо мальчишка с хитрым лицом, похожий на мальчишку из Риги, который стоял с курицей у забора. Однако у валгаского паренька в отличие от рижского игрушкой служит не курица, а пестрый цветок анютиных глазок, который, судя по всему, был сорван тут же на привокзальной клумбе. Клумба с анютиными глазками, если выглянуть в окно, еще виднеется.

Мальчишка играет с цветком так, словно это живое существо, но не котенок или шенок, а нечто более редкое и, возможно, даже опасное. И гляди-ка, бархатная призрачная сердцевина цветка меняет выражение, становится то больше, то меньше, то темнее, то светлее, переливается в поцарапанной, с обкусанными ногтями руке мальчишки словно синяя птица, которую не поймать, или болотный огонек, который сбивает путника с дороги.

Мальчишка что-то бормочет, похоже, он начал свою игру еще до того, как сел в вагон, вжился в нее, и новая обстановка ничуть не смущает его. Когда поезд трогается, мальчишка крепко прижимает своего странного бессловесного товарища к оконному стеклу и милостиво разрешает ему наблюдать за прозаическими картинами медленно проплывающего мимо вечернего пейзажа: корова, коточка, подняв хвост, загаживает поросшую цветами канаву, тшедушный старик, неизвестно почему грозящий поезду кулаком, привокзальный сортир, на стене которого кто-то, не пожалев белой масляной краски, намалевал глубоко-мысленный стишок: «Что у кошки, что у пса, волосата задница».

Мальчишку не отвлекает от игры даже то, что на свободные места рядом с ним садятся двое длинноволосых парней, чье появление вызывает оживленный интерес у остальных пассажиров. Вагон заполнился до отказа. Даже пьяница, которого обычно можно встретить лишь поблизости от вокзальных буфетов и

¹ Стихотворение П.-Э. Руммо. Перевод С. Семененко.

закусочных или в вагоне-ресторане, тоже здесь, угрожает неизвестно кому и в меру своих сил усугубляет шум и неразбериху, которые как по мановению волшебной палочки возникли в вагоне. Еще недавно тихий, холодный и будто вымерший вагон теперь не узнать. Сквозь бормотанье и гул голосов отчетливо слышны ругательства на латышском, русском и эстонском языках. Кто их произносит, понять трудно, поскольку, если приглядеться, кажется, что все пассажиры съезжились, спрятали головы под полы висящих на вешалке пальто и дремлют.

Тем не менее кутерьма продолжается. Пьяница не унимается, выкрикивая через все более короткие промежутки времени: «Всех к стенке! Обрить их, черт побери, наголо!» Прикидываясь дурачком, он называет длинноволосых то евреями, то цыганами, то русскими попами, и по всему видно, что это его коронный номер, которым он не впервые развлекает публику. Сидящие поблизости постепенно тоже распяляются и начинают вторить: «Да, да, обрить. Волосы долой» Угрозы звучат настолько по-домашнему, что даже сами парни, против которых эти призывы направлены, не обращают на них внимания. Сидят себе, ни во что не вмешиваясь, и с интересом наблюдают — как в кино.

Ко всеобщему удовольствию, пьяница рывкает: «Тащите нож! Черт побери, где нож и ножницы? Будем снимать волосы!» Все смеются и зубоскалят, однако ножниц никто не ищет. Люди смотрят и ждут, что будет дальше. Даже мальчишка перестал играть цветком и недоумевающе глядит то на одного, то на другого.

События же развиваются своим чередом. Пьяница сам идет искать ножницы и где-то застревает. Не появляется и не появляется, словно сквозь землю провалился. Интерес постепенно гаснет, вскоре выясняется, куда запропастился пьяница. Из коридора слышатся приглушенные вопли и громкий стук. Оказывается, пьяница застрял в туалете и отчаянно зовет на помощь.

Вопли и грохот сопровождают теперь все, что происходит в вагоне. Однако никто не обращает на это внимания. Тем более что место пьяницы не осталось пустым. Появляется новый застрельщик, трезвый, приличного вида, в белой рубашке, черных отутюженных брюках и начищенных туфлях. Он ведет себя по-свойски и за словом в карман не лезет.

Пассажирам этот человек больше по душе, чем пьяница. Ему можно доверять. Кое-кто даже знает его жену, знает, что в колодце у него насос, а в гараже сложено несколько кубов сухой вагонки.

Но прежде чем компанейский человек всерьез успевает развернуться, проводница, костлявая, шустрая, похожая на моль женщина, приводит еще одного человека. У него прозаическая, ничего не говорящая должность — бригадир поезда. Мужчина обводит сонным взглядом вагон, ничто поначалу не привлекает его внимания, похоже, он не раз был свидетелем того, как готовятся брить головы, и слышал вопли застрявших в туалете.

Однако неожиданно выражение его лица меняется, сонные кошачьи глаза загораются, тяжелые челюсти начинают двигаться, и все внимание сосредоточивается на мальчишке, который сидит, болтая ногами, и, перекидывая цветок из руки в руку, словно голубой уголек, пристально следит за ходом событий.

Бригадир каким-то особым, мягким и вкрадчивым движением вынимает из кармана руку, напоминающую не столько руку человека, сколько инструмент фабричного производства. специально изготовленный для того, чтобы хватать и держать, как, например, щипцы. Ловко орудуя этим инструментом, бригадир хватается мальчишку за ухо, заставляя его встать, и ласково, даже нежно спрашивает: «А ты откуда здесь взялся?» — на что мальчишка, выпятив живот, смело отвечает: «Оттуда». Мужчина произносит «ага», словно именно этого ответа он и ждал. И с участливым видом задает следующий вопрос: «И куда направляешься?» На это мальчишка так же смело отвечает: «Туда!» Бригадир же с непоколебимым спокойствием продолжает свой странный допрос: «Ты чей?» Мальчишка растерян и напоминает попавшую в закрытую комнату птичку, то ли воробья, то ли ласточку, или угодившего в западню амура. Показав пальцем на спящую под окном, вернее, притворяющуюся спящей особу в сером свитере, он говорит «Ее!»

Проводница объясняет бригадире: «Нечего ему верить. На прошлой неделе ехал с каким-то древним стариком, да и раньше я его видела. Одно наказание с этим ребенком! Только и делает что катается взад-вперед, и оштрафовать его невозможно. Адреса не говорит. Хоть режь его, все равно не скажет».

Бригадир не обращает никакого внимания на слова проводницы, его ничего не говорящий взгляд шарит по запыленным сандалиям и чересчур просторному свитеру, воротник которого скрывает покрасневшее лицо. Глаза неестественно крепко зажмурены, как у человека, прикидывающегося мертвым. Бригадир разглядывает, оценивает и запоминает лицо. А затем теряет к нему всякий интерес. Но не стоит воображать себе бог весть что. Просто такой взгляд присущ бригадиру поезда, который обязан выявлять и наказывать нарушителей порядка.

Выявлять нарушителей помогает бригадиру мужчина в белой рубашке, он высказывает свое мнение о характере нарушений и наказаний за них. А мнение таково: до появления длинноволосых в вагоне все было тихо и спокойно. Однако вызывающая внешность длинноволосых взбудоражила порядочных тружеников и семейных людей, и они потребовали порядка и пристойного поведения. «Идя навстречу требованиям пассажиров, — разводит руками компанейский человек, — нам не остается ничего иного как начать стричь». Поясняя, компанейский человек деловито и с удовольствием шелкает длинными ножницами, которые ему услужливо принесла проводница.

Что же касается бригадира, то волей-неволей создается впечатление, что он, вместо того чтобы выслушивать объяснения, стоя дремлет. Во всяком случае, незаметно, чтобы он проявлял какой-то особый интерес к длинноволосым. Его тяжелый взгляд все еще устремлен на серый свитер, отчего она все больше сжимается в угол.

Единственный, кто ловит каждое слово компанейского мужчины, это мальчишка, лицо которого выражает такое неподдельное изумление, что все, кто его подмечает, отводят взгляд, как будто видят в безмятежном лице ребенка нечто пугающее или недозволенное человеческому глазу.

Меж тем пьянице удалось выбраться из туалета, и он, покачиваясь, стоит в проходе, дрожит и время от времени хватает рукой воздух — ловит жужжащую навозную муху, которую втайне принимает за черта. Похожая на моль проводница с интересом наблюдает за ловлей чертей и смеется так, что видны металлические коронки.

А за стенами вагона дышат луга и воды, поднимается туман и выпадает роса. Возможно, что в этом пейзаже все еще царит тот древний золотистый вечерний покой, который зовет ласточек в гнезда, коров в хлев и детей в дом? Может быть, тревога и ожидание, разбитые стекла окон и осыпающаяся штукатурка, темное свечение воздушных потоков и глухой шум будущего всего лишь преувеличение и вымысел и не надо драматизировать?

Но разве ангел Господень не занимается тем же, когда, кладя руку на крылья ласточек и позвоночник влюбленных, обнаруживает, что в них въелись три серые строчки:

«Цель преследования — преследование.

Цель тиранства — тиранство.

Цель власти — власть?»

Если ангел вознамерится вырезать их ножом и выжечь огнем, представляет ли он себе, сколько крыльев и позвонков придется искромсать и бросить в огонь?

Леса стонут, локомотив свистит, на небе появляется первая, едва различимая звезда, и мужчина в белой рубашке приглашает добровольцев помочь ему в стрижке длинноволосых. Держать их.

Это оказывается намного проще, чем можно было подумать. Возникает, правда, суeta и движение, но поскольку длинноволосые не сопротивляются, все происходит быстро и неинтересно, без особой борьбы. Головы парней прижимают к коленям, а руки словно невзначай заламывают за спину. Если б рукава рубашек длинноволосых не затрещали по швам и не оторвались наполовину, оголив плечи, смотреть было бы и вовсе не на что.

Молодым, с честными улыбающимися лицами людям, держащим длинноволосых, особенно нравится фраза: «Сделаем из обезьяны человека». Они то и дело повторяют ее и каждый раз, когда слышат эту фразу из собственных уст, по-детски радуются.

Поезд уже замедляет ход. Мимо скользят залитые красным вечерним солнцем товарные склады, штабеля, поленницы, облезлые сараи и бараки, покосившиеся сортиры. Мужчина в белой рубашке пускает в ход ножницы. Репродукторы под потолком хрипят, а затем выкрикивают: «Следующая станция Тарту!» Помощ-

ники умолкают, хватка их становится еще крепче, мускулы на руках напрягаются, и желваки на скулах перекатываются, в вагоне распространяется тяжелый, резкий запах пота. Одна секунда — и белые шеи жертв беспомощно оголены. Отрезанные пряди липнут к одежде сидящих рядом людей, падают к ногам. Эти пряди интересуют лишь мальчишку, который, ползая, быстро подбирает с пола самые длинные и красивые, делает из них подобие букета и с лукавым видом трясет им.

Однако тем, кто выходит, смотреть на это некогда. В спешке они наизнанку натягивают на себя куртки и пальто и, чертыхаясь, снова стягивают. Кое у кого на чулках побежала дорожка, у иных заело замок на куртке. Дети капризничают. Мысли у всех заняты своим. Лишь немногие исподлобья бросают мимолетные взгляды на оголившиеся шеи жертв и тут же отводят в сторону.

Люди, державшие длинноволосых, уже смешались с теми, кто выходит, шарят в карманах, суют в рот сигарету и ждут, когда можно будет сойти. Мужчина же в белой рубашке считает необходимым обратиться к жертвам с нравоучением: «Вы что, мерзавцы, думаете, нам очень приятно ваши патлы кромсать? Если хотите, стервецы, жить, как Иисусик, то не суйтесь к людям. Не лезьте. Я так этого не оставлю. Как только попадетесь мне, сразу отхвачу вам гривы». Тут мужчина в белой рубашке делает многозначительную и весомую паузу, понижает голос и по-отцовски наставляет: «Если вы, черт побери, мужчины, то окажите сопротивление, не будьте мямлями. Дайте мне сейчас оплеуху, и дело с концом. Выставлю вам кружку пива. А если вы, черт побери, девчонки, то вам следовало бы вежливо попросить меня, мол, дядечка, не надо, и я бы вас не тронул. Я женщин не обижаю. Наденьте шелковые чулки, туфли на высоком каблуке, и никто вас, стервецов, не тронет. Эстонская женщина во все времена красиво одевалась, черт побери. Так что не позорьте ее».

Мужчина размышляет, что бы еще сказать, затем, надумав, воинственно, без какой бы то ни было связи заявляет: «Я не терплю игр!» Это признание никого не волнует, кроме мальчишки, который с самого начала с любопытством следил за словами и действиями мужчины в белой рубашке. Очевидно, мальчишка относит эти последние слова на свой счет, так как краснеет, начинает сопеть, нахохливается, как птица в гнезде, и пытается спрятать за спину подобранные с полу пряди. Кто знает, для чего ему нужны эти волосы. Возможно, воодушевленный сказками братьев Grimm, он собирается сплести из них веревку, держась за которую можно всегда и отовсюду найти выход. Даже из чьего-то сердца.

Поезд уже стоит. Время стоянки, предусмотренное расписанием, — двадцать минут. Пьяница заснул и храпит. Внезапно длинноволосые оживляются и, как будто не слыша отеческой проповеди мужчины в белой рубашке, вскидывают головы с остатками волос, отпихивают мужчину в сторону, словно это говорящий шкаф или стул с отутуженными брюками, и выходят.

Мужчина в белой рубашке умолкает и хлопает глазами. Щелкает ножницами. Неожиданно замечает нечто, что до этого упустил из виду. Теперь его внимание приковано к белой шее, скрытой широким воротником серого свитера и густыми прядями выгоревших волос. Что думает мужчина, глядя на эту шею и на эти волосы, никому не ведомо. Ясно лишь одно — он хочет отрезать эти волосы, чего бы это ни стоило.

Жертва скорее даже от удивления, чем от страха, делает запоздалое движение, чтобы защититься. Но лучше бы ей этого не делать. Прядь волос все равно уже отхвачена, ее не вернешь, к тому же мужчина так неловко орудует ножницами, что они впиваются в ее плоть как кнут Господень. По белой шее сбегает тонкая струйка крови.

Мужчина в белой рубашке торопится уйти. Вновь появляется похожая на моль проводница, но не одна, а с милиционером. Милиционер колеблется, а затем крепко берет за локоть обладательницу серого свитера и с недовольным видом произносит шаблонную реплику: «Пройдемте!»

ДОМА ЕЩЕ НЕ ОБРУШИВАЮТСЯ, НЕБО ЕЩЕ НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОГНЕННОЕ МОРЕ, моря и океаны еще не выходят из берегов. Лишь дует холодный ветер. Он гонит по маслянистому асфальту обертки от мороженого и окурки, руки от него покрываются гусиной кожей.

Линия горизонта за домами полыхает так неуклонно, так драматично, что невольно создается впечатление, будто земная сфера скрывает не находящиеся близ Тарту склады, карьеры и пресловутый военный аэродром с готовыми взмыть

в воздух транспортными самолетами, а воскресших мертвых, сбежавших заключенных, выданных властям беглецов, которые собрались в огромную темную стаю и заполнили собой все пространство от Северного Ледовитого океана до берегов Дуная. Не дышат и не двигаются. Застыли на месте. Ждут. Время у них есть.

То, что она идет в участок в сопровождении милиционера, — детская игра по сравнению с тем, что происходит за горизонтом. Сейчас представился удобный случай пустить в ход все свои случайно собранные, почерпнутые в кафе знания, проверить теорию на практике, испробовать все известные формы протеста. Спорить, сказать милиционеру всю правду в глаза, упираться, схватиться за ствол дерева, столб, орать подобно дикарю и хныкать подобно ребенку, сорвать с милиционера погоны, сжечь флаг.

Но она на это не способна. Она, подумать только, пытается на ходу решить загадку бытия. Прислушивается к голосу своего сердца и удивляется тому, какое решение оно ей подсказывает. На белой шее подсыхает струйка крови. нож вытягивает карман брюк, его гладкую рукоятку портит нацарапанное имя ЛЕВ. У этого ножа нержавеющее лезвие, оно не нуждается в рекламе, известно своей добротностью, всегда сверкает, как не тускнеющая любовь.

Она тотчас находит оправдание, почему так безропотно ведет себя с милиционером. Милиционер, по ее мнению, не совсем такой, каким должен быть. Не настоящий. Настоящий милиционер в ее представлении и понимании должен был бы сразу немного попугать. Хотя бы двинуть кулаком в зубы или ногой в живот. Настоящий милиционер расхаживал бы по улице совсем иначе — широким шагом, грудь вперед, фуражка сдвинута на затылок, а не так, как этот, — походка вялая, голова опущена, погоны куда-то съехали.

От такого погруженного в себя, ссутуленного милиционера задержанный свободно мог бы сбежать, как в воду кануть. Поди потом докажи, был он или не был. Но ей все это кажется несущественным. Есть другие, гораздо более важные вещи, как, например, след ее губ в глине или значение слов «синие чашки» на тайном языке. Хотя надо сказать, что, думая о синих чашках, она всегда мысленно ставит один и тот же большой вопросительный знак.

И вообще ее голова полна пестрых, туманных и загадочных картин, напоминающих стены египетских усыпальниц. На их фоне особенно ярко всплывает белая обезьяна, она протянула лапу и ловит в воздухе ключ от двери и перочинный нож, подталкивает их носом, пробует на зуб, прежде чем решается поиграть с ними.

Сейчас Рига кажется ей такой же далекой и похожей на сон, какой казалась ей там вся ее прежняя жизнь. Находясь в Риге, она не верила, что и в Таллинне употребляют слово «ОВИР», что и там можно увидеть людей в штатском, а сейчас сомневается, слышала ли вообще в Риге такие слова. И была ли вообще в Риге. Но если ее там не было, то почему она спрашивает себя: по-прежнему ли вздыхает Кинский, положив тяжелую морду на лапы? И чем занята тетя Оля, закипел ли у нее чайник? Звонит ли телефон? Выяснилась ли уже тайна синих чашек? И что еще может выясниться?

От этих мыслей брови у нее приподнимаются, веки становятся незащищенными, уголки губ подрагивают. Может быть, ее поражает суровость закатного неба или легкая музыка, доносящаяся из открытых окон, хихиканье девиц и визг детей, об охоте же на людей и о мужчинах в штатском ничего не известно. Все спокойно и тихо.

Дверь отделения милиции с оторванной ручкой не производит на нее никакого впечатления. Как и сам милиционер, отделение не настоящее. Не тянет на отделение милиции. В настоящем отделении должны находиться стол для допросов, яркая лампа без абажура и два стула. Это и ребенку ясно. А за столом — мужчина в кожаном пальто и перед ним дымящаяся чашка кофе или чая. Предпочтительнее чай. Мужчина ест и пьет, а другому не предлагает. Вот такое театральное и убогое у нее представление о работе органов правопорядка.

Помещение, куда она попадает, обманывает ее ожидания. Не отвечает ее представлениям. Доведись ей решать, каким должно быть настоящее отделение милиции, она бы знала, что делать. Она с презрением смотрит на стол, который при самом большом желании нельзя посчитать столом, за которым ведутся допросы. Не будь на нем столько царпин и пятен от клея, он мог бы сойти за стол, на котором хозяйка гладит белье или раскатывает тесто. В крайнем случае

за такой стол, где можно было бы малевать лозунги и плакаты или готовить макет стенгазеты. Но ни теста, ни стенгазет нигде не видно.

На столе валяются пожелтевшие папки, тюбики с клеем, скрепки и леденцы. Папки распиханы также по полкам и шкафам с покосившимися дверцами. Оттуда распространяется горьковатый тоскливый запах пыли. На полу, покрытом потертым, местами вздувшимся линолеумом, полно спичек. Похоже, кто-то уронил открытый коробок и поленился подобрать спички.

У стены стоят несколько стульев с драной обивкой и длинная, выкрашенная в коричневый цвет скамья, похожая на гроб. К скамье пришпилен лист бумаги с предупреждением: «Свежая краска». Две двери, ведущие в другие, неизвестные и, возможно, более опасные комнаты, закрыты. И, по всей вероятности, даже на замок.

За третьей, приоткрытой, дверью слышны причитания и вздохи. Как и положено Обретя прежнюю уверенность, она с удовольствием припоминает соответствующие ситуации и месту лозунги, старые лозунги ее детства, такие, как «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!», «Я тебя породил, я тебя и убью!» В полном согласии с этими изречениями находится и висящий над гробовидной скамьей плакат, который сообщает: «Все для блага человека, все для счастья человека!» Если прислушаться повнимательнее, то показавшиеся поначалу отчаянными причитания и вздохи теперь кажутся будничными и не стоящими того, чтобы на них обращать внимание.

Не дожидаясь приглашения милиционера, она садится на один из стоящих у стены стульев, деловито слюнит угол носового платка и вытирает подсохшую на шее кровь. Ужасно не хватает зеркала и крана с теплой водой. Из-за двери же продолжают доноситься причитания: «Дом у меня хуже собачьей конуры! О Господи! Лаютя, как псы! Пенсию до копейки отбирают Разве мне, старухе, устоять против них. Вот и ноги начинают болеть, как огнем их жжет, когда эти псы домой приходят».

Глухой голос спрашивает: «Кто? Кто отбирает пенсию?» Теперь причитания набирают силу, совсем как ветер, который так часто завывает зимой. «Сыновья Родные сыновья. Лакают и лакают, скоты Подумать страшно. Не знаешь, какой смертью и помрут».

С потолка сыплется штукатурка, абажур покачивается. Вдали, на окраине города, взревели, поднимаются в воздух самолеты, набитые призывниками, и берут курс на юг, в сторону Богемии и Моравии. Глухо, словно реки подземного царства, плещутся воды Эмайгы, Даугавы и Немана. Над их черной поверхностью поднимается белый туман.

Всего лишь в нескольких кварталах отсюда, скрытый сумерками, под холодной, с остроконечными лучами вечерней звездой стоит Тартуский университет, тот самый, который года два или три назад неизвестно почему загорелся и горел, как сигнальный огонь на корабле, терпящем крушение. То был знаменательный пожар. Кто-то даже видел, как во время пожара на закопченном снегу топтался давным-давно умерший профессор, голова его была опущена, галстук съехал набок. А затем пошел снег и скрыл все. Лишь несколько черных обуглившись книжных страниц унесло ветром. Все же немало книг удалось спасти. Дух же университета никто спасти не смог.

Но и без этого можно пережить зиму. Придет лето. Как и прежде, будут колыхаться поля ржи. Бурно разрастутся лопухи и крапива. Еще не обвалившиеся крыши пустых хуторов обвалятся. Люди увидят и молнию и радугу. В Иванов день вином и пивом будет праздноваться победа дня над ночью. Как всегда, кто-то будет зарезан ножом, кого-то стукнут бутылкой по голове Впервые на костре, зажженном в Иванову ночь, будут жарить шашлык.

Тьма новых зим с шумом опустится на землю, но это уже будет неведомая тьма будущего. Однако и под ее покровом немало чего произойдет — школьникам достанется ногой в живот и кулаком в зубы за антиправительственные лозунги, каждый узнает, что такое ОБИР, повсюду станут шнырять люди в штатском, в центре Таллинна загорится церковь святого Николая, и пожар снова напомнит сигнал бедствия. Запоздалых пешеходов будет подстерегать людоед. Ему особенно по вкусу ляжки, их он относит домой в холодильник, учит жену, как надо готовить маринад, и время от времени из дома людоеда доносится аппетитный запах жаркого, заставляющий прохожих принюхиваться.

Кто-то знает отца людоеда, кто-то его жену. Отец получил хорошее образование, а жена весьма привлекательна. Да и сам людоед хоть куда — хорошо зарабатывает, модно одевается, может рассказать самый свежий анекдот, отводит ребенка в детский сад.

К тому времени как стал действовать людоед, о пожаре в университете полностью забыли. А теперь снова вспомнили.

Окна маслянисто поблескивают. Милиционер ушел в соседнюю комнату и с кем-то там препирается. О задержанной все забыли. Она ерзает на стуле, косится в окно и с помощью мутного зеркала пытается выяснить, как повлияла на ее внешность отрезанная прядь. И чтобы успокоить себя, с ходу решает, что никак не повлияла.

Задержанная нахохлилась, сидит взъерошенная и злая. Внезапно она вспоминает про изюм, который еще в Риге сунула в карман. Выуживает его и ест. Затем пытается разглядеть в оконном стекле порез на шее, но ничего не видит. О порезе ей напоминает главным образом воротник свитера, который больно и неприятно трет шею. Она обеими руками старается растянуть ворот, сделать его пошире.

За этим занятием ее застаёт уборщица, которая появляется в дверях, держа в одной руке ведро, в другой палку от швабры и тряпку. Белые и костлявые, со вздутыми синими венами голени уборщицы обнажены. На ногах поблескивают новые черные галоши. Из-под короткого выцветшего халата виднеется не край юбки, а теплые розовые, доходящие до колен хлопчатобумажные штаны. Уборщица погружает тряпку в ведро и начинает яростно, со злостью драить пол. Добравшись до сидящей на стуле, она цыкает словно на кошку или на собаку: «А ну-ка брысь отсюда!» Через какое-то время она распрямляется, охает и, опершись на ручку швабры, требовательно спрашивает: «А Волли где?» Услышав в ответ нерешительное и строптивное «не знаю», уборщица передразнивает: «Не знаю, не знаю... В этом доме других слов и не услышишь. Сами набезобразничаете сюда? Тебе тут не место, отвел бы к Тимофееву или, на худой конец, к Ларисе». От слов уборщицы невольно остается впечатление, что милиционер по имени Волли ежедневно приводит в отделение одного и того же задержанного.

Продолжая мыть пол, уборщица пускает в ход кроме рук также и язык. Похоже, ее устраивает и молчаливый слушатель. Отдуваясь и продолжая орудовать тряпкой, она поясняет: «Одно наказание с этой жизнью. Позавчера забрела сюда бродячая кошка, увидела, что дверца сейфа открыта, залезла туда и принесла, бестия, котят. Я сразу почуяла, не к добру это. Я еще и виновата — не заметила, что дверца сейфа осталась открытой. А сегодня опять — гляжу, старуха уже с утра сидит в коридоре и будто спит. Мне грудь как огнем обожгло, подумала: вот вот, теперь еще старуха в коридоре померла. Надо мне такое? И без того забот хватает. Подхожу поближе, смотрю. Вижу, и не померла вовсе, а плачет потихоньку в платок. И вот что выясняется — домой идти не решается, боится, что сыновья напились и кинутся на нее. И в милицию заявлять не хочет, сыновей жаль. Так вот и сидит. Послала ее к Тимофееву, пойдя, мол, поговори, может, штраф сыновьям дадут, попугают маленько. Теперь снова я виновата — старуха не дает Тимофееву работать, про сыновей рассказывает и не уходит».

Закончив свой монолог, уборщица поворачивается к задержанной и с укоризной произносит: «Ну а ты как, детка, сюда попала? Нехорошее это место. Вчера вот привели одного, так он свою мать в духовке зажарил. Разрезал на куски, поставил сковородку в духовку, а потом собутыльников своих угощал. А как проспался, стал искать, где мать. Тронутый он тронутый и есть, и никто ему ничего сделать не сможет». Уборщица озирается по сторонам и с осуждением шепчет: «Выходит, со своей матерью, которая тебя на свет родила, делай что хошь, хоть в духовке ее жарь. А тут один играл с дружкой в шашки и распевал: «Ленин мой дядя, Сталин моя тетя, Берия — невеста», так его с работы погнали и в сумасшедший дом упрятали. — И как бы оправдываясь, добавляет: — Женщины на кладбище рассказывали, не знаю, правда ли. Волли сказал: мол, поди знай...»

С появлением Волли разговор переходит в новое русло. Уборщица по-своему, без всякого стеснения начинает выговаривать ему: «Разве ж я тебе утром не говорила: не оставляй людей торчать у себя, посылай их сразу к Тимофееву. Пусть он учит их уму-разуму, чего ты с ними валаандаешься. Бежишь по вызову на вокзал, как мальчишка».

Все это время милиционер рассказывает взад-вперед по комнате, от шкафа до окна и обратно, и каждый раз, когда он проходит мимо нее, она ощущает рядом с собой груз его забот и тревог. Форма милиционеру совсем не к лицу, к тому же китель явно узок и топорщится на спине.

Беззастенчивое ворчание уборщицы не находит у милиционера никакого отклика. В комнате повисает тяжелая тишина, которую в конце концов нарушает приказ милиционера: «Берите бумагу и пишите объяснение». Скрипит дверца шкафа. На столе появляется лист тонкой серой бумаги. Хриплым угрюмым голосом милиционер поучает: «Пишите — я, такая-то, следуя оттуда-то, настоящим удостоверю, что не имею ни малейшего отношения к нарушителям порядка в поезде «Чайка» и считаю происшедшее недоразумением. Подпись, число, место жительства».

Это все, что милиционер хотел сказать. Но и этой малости оказывается достаточно, чтобы уборщица с одобрением произнесла: «Волли хорошо разбирается в людях. Сразу видит, кто негодяй, а кого просто так, по доносу забрали».

Милиционер что-то буркает и хмурит брови. Молча курит, а затем безучастно произносит избитую фразу: «Можете идти». Видно, что мысли милиционера витают где-то далеко и он едва ли замечает, что делается в комнате. Зато уборщица подмечает все, ничего не пропуская мимо глаз, хотя и она временами надолго умолкает. И лишь что-то бормочет себе под нос. Оба, и милиционер и уборщица, выглядят как-то подозрительно.

Задержанная, поскольку ей кажется, что у обоих с головой не все в порядке, а отделение милиции ее и вовсе разочаровало, решительно поднимается, поправляет воротник свитера, который все больше трет ей шею, и направляется к двери.

Меж тем власть полностью перешла к уборщице. К словам милиционера «можете идти» уборщица относится неодобрительно: «Гонит ребенка в этакую темь на улицу. Хулиганов и подонков страсть сколько развелось. Разве ж она виновата, что ты ее по ложному доносу сюда притащил?»

Совершенно неожиданно уборщица объявляет: «Сварю-ка я сейчас немного супу. Как бы там ни было, а поесть человеку надо». Сказав это, она всем корпусом поворачивается к стоящей у двери бывшей задержанной и бормочет: «Поди узнай, есть ли у нее вообще деньги на билет, сама такая маленькая и, видать, голодная». Но увидев, что та не намерена оставаться, решительно подходит и начинает уговаривать: «Сказала тебе — не ходи сейчас одна на улицу. Кто-нибудь тебя попозже на вокзал проводит. Да погоди же, сейчас суп на плитку поставлю».

С этими словами уборщица вытаскивает из-под стола маленькую, повидавшую виды электроплитку и включает ее. Открытая спираль мгновенно раскаляется, и холодная, неуютная, пропитанная горьким папиросным дымом комната наполняется дыханием жизни, расслабляющим и навевающим сон теплом.

Теперь уборщица спешит в коридор. Когда она возвращается, в руках у нее маленькая алюминиевая кастрюлька, которую она ставит на плитку. Затем из неисчерпаемых глубин под столом извлекается банка дешевого жиденького свекольника, открыть которую не так-то просто, поскольку крышка сильно заржавела. Милиционер безучастно, каким-то застывшим взглядом следит за этой процедурой.

Когда вода закипает, уборщица опрокидывает в кастрюлю содержимое банки и радостно объявляет: «Скоро будет готово». Подбородок милиционера все ниже опускается на грудь. Он тяжело, как старая лошадь, кивает в такт своим мыслям, и большая темная тень от его головы скользит по потолку вместе с серым паром от супа. Ей не по себе и как-то неуютно. Все не так, как должно было бы быть.

Зная понаслышке, что нет смысла перечить сумасшедшим и спорить с ними, она по приказу уборщицы молча садится на свое прежнее место, чинно прчет ноги под стул и ждет, что будет.

Мир сдвигается с места, растекается, съезживается и умещается в грудной клетке. До сих пор она считала, что может обойтись без фатальных и бесповоротных «нет» и «да», отодвигая свой выбор. Бесповоротный и фатальный выбор она до сих пор считала событием, происходящим где-то в стороне. На фронте или в салоне. В Питере или Париже. Требуя каких-то особых условий и начинающимся в определенное, предусмотренное для этого время, как киносеанс или вернисаж.

Для нее полная неожиданность, что принять решение относительно своего завтрашнего дня надо сразу, не раздумывая, сидя в отделении милиции на

расшатанном стуле, с запылившимися пальцами ног, руками, покрытыми гусиной кожей, в пару, поднимающемся от кастрюли с супом, под сопровождение монотонного и глухого бормотания незнакомой старухи. Решение принято. Ехать не в Таллинн, а обратно в Ригу. Для того, чтобы сказать свое последнее слово. Как все оказалось просто. Мир возвращается на круги своя, выкатывается из грудной клетки подобно черному диску. Дышать становится легко и радостно.

Она снова слышит, что говорит уборщица, и время от времени даже неуверенно кивает, давая понять, что слушает. Бормотание продолжается: «Завтра Тоомаса привезут в цинковом гробу в Тарту. Сердце разрывается, как подумаешь. Волли, а ты могильщика заказал?» — обращается она к милиционеру, но тот молчит, словно воды в рот набрал, закрыл лицо фуражкой и делает вид, будто спит. Уборщица вытирает глаза и продолжает: «Не с кем словом перемолвиться. Волли и ухом не ведет. Волли мой приемный сын. Мы с его матерью — дочки двух братьев. Альма, мать Волли, осталась в лагере на севере России. Поди знай, может, и могилки нету. А парня я к себе взяла. Хорошим ребенком рос. С самого начала как взрослый был. Денег у нас, почитай, не было и еды не было, а вот гляди-ка, сам в люди вышел. В милицейскую школу поступил. Одежда и хлеб там бесплатные. Так и встал на ноги. Потом женился на хорошей женщине. Сынок родился у них, Тоомас. Едва забрали в армию, как сразу и убили. Такая она, человеческая жизнь. У отца с матерью единственное дитя убивают. Небось довольны. Варвары. На Волли все это так подействовало, что его теперь и не узнать, другим человеком стал... А знаешь ли, — шепотом продолжает уборщица, — помню, когда Тоомас еще в первый класс ходил, на двор носа не высовывал, и в школу его не затаскивать было. Все плакал: дескать, другие ребята отцом его дразнят. Так оно и было, ребенок не врал. Собственными ушами слышала, как озорники во дворе заставляли Тоомаса: мол, скажи — легавый лягает, легавый лягает. Глупый ребенок и повторил, мальчишки тогда и начали: твой отец легавый, твой отец легавый. Волли впору было хоть из милиции уходить. Ну а куда пойдешь, когда вся жизнь с ней связана. Теперь на душе у Волли грех лежит, что безвинный ребенок из-за него так страдал». Уборщица шмыгает носом и неожиданно подытоживает свой длинный рассказ: «Жизнь всякая бывает, милиционер ты или кто другой, главное, чтоб сердце у человека было».

Внезапно она умолкает и прислушивается к отдаленному, едва слышному гудению, которое при желании можно принять за гул самолета, хотя источником его может быть и нечто совсем другое. Галоши на ногах уборщицы угрожающе поскрипывают. Когда шум становится громче, уборщица начинает бормотать какие-то таинственные слова: «Брысь отсюда! Забирай чьих-то других сыновей, пусть их там убивают!»

Свекольник бурно кипит. В темно-красный дымящийся суп падают темные и тяжелые, передаваемые из поколения в поколение проклятия: «Прочь собаки, болотная и деревенская, сатанинская и водяная, прочь кровавая собака со своими тремя щенками!»

Вслед за этим уборщица произносит совсем другим, бесцветным и будничным голосом: «Суп готов. Можно есть». Милиционер вытирает глаза тыльной стороной ладони и, взяв погнутую алюминиевую ложку, начинает покорно и машинально хлебать суп.

На стене колеблются тени. Уже непонятно, который может быть час. Кажется, будто три стародавних путника случайно встретились у костра и единственное, что их связывает, это проклятие.

Рельсы погромыхивают. Сквозь густую тьму движутся поезда, в их багажных вагонах стоят цинковые гробы с телами тех, кто погиб, служа державе. И еще неизвестно, кто окажется на месте раньше — цинковые гробы или сверкающий солнечный диск, который тоже находится в пути.

ТОТ, КТО САМОВОЛЬНО ПРОНИКАЕТ В ЧУЖУЮ КВАРТИРУ, НЕ ДОЛЖЕН долго мешкать. Вероятно, поэтому она так быстро проскальзывает в темноту приоткрытой двери. Не как человек, а как зверь или дух. Вопреки ожиданиям она легко и совершенно бесшумно отперла дверь. И теперь крепко сжимает в ладони ставший не нужным ключ. Не знает, что с ним делать. Полутемная прихожая напоминает пустую бутылку или подводное царство. Значит, шторы в комнатах по-прежнему задернуты. Да и звон стеклянных

подвесок люстры, возникающий от каждого, даже самого малейшего движения воздуха, прежний.

Но если все здесь прежнее, то почему она не делает ни шага дальше? Кого она подстерегает и почему так напряжена, что икры ног сводит судорога, сердце готово выпрыгнуть из груди, а в глазах появляется блеск?

Запах свежей мастики, витающий в комнатах, смешивается с чужим, едва ощутимым запахом лимона и мяты, одеколона и зубной пасты. И тем не менее нигде не слышно взволнованного стука каблуков матери, тяжелых глухих шагов тети Оли и царапанья когтей Кинского. В переднюю по только что навошенному паркету не входит неслышно отец, потаенные мысли которого, берущие свое начало за железным занавесом, угадать невозможно.

Дверь гостиной открывает Лион. Живой. Из плоти и крови. Тот, кого ждали! Отпрянув, оба останавливаются, прижав руки к груди. Никогда еще они так единодушно не задерживали дыхание и никогда еще так единодушно не делали вдоха.

Поскольку никто не предупредил их, то они оказались совершенно незащищенными перед лицом этой встречи. Лишь ангел, явившийся тогда, стоит один подле вешалки в тени пальто и с интересом наблюдает, как они преодолеют этот миг. Ну и крепкие же у них ребра! Даже сейчас, после этого, они остаются целы. Не сплющены и не раздавлены!

Зубы стучаются о зубы так, что искры сыплются из глаз. Они задыхаются, но не задохнулись. Почти задушили друг друга в объятиях, но все же еще живы. Затем разом глубоко вздыхают и начинают осушать губами катящиеся друг у друга из глаз горькие и соленые слезы. При этом их носы тоже становятся мокрыми и хлопают самым что ни на есть прозаическим образом. Оба яростно вытирают их о воротники.

При этом совершенно невозможно понять, какое единственное слово они произносят — «ах», «ох» или «ну». И существует ли вообще это слово в человеческом лексиконе. Неясно, скользит ли по стене какое-то пятно света таинственного происхождения, или это на самом деле белая обезьяна, которая, строя нелепые рожи и скаля зубы, выглядывает из-за ящика с глиной и выжидает подходящий момент, чтобы с любопытством дотронуться лапой до их век, однако монеты, которые она надеется обнаружить на них, при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь навсегда поцелуями. Разочарованно обезьяна возвращается в свое укрытие. Однако им не следует терять бдительность! Кто знает, в какой момент эта обезьяна снова появится. Возможно, она уже сейчас готовится к прыжку, бьет хвостом о стену и облизывается.

Назло ей они растворяются друг в друге, и кости им не помеха. Им не мешают накопившиеся в костях олово и свинец и не пугает обилие радиоактивных веществ в тканях. Соль их крови искрится, золото и железо их крови полыхают.

Даже пылинки ожили, поднялись и танцуют в воздухе, образуя снопы света, которые вместе с солнцем медленно движутся по притихшим комнатам словно по вымершим мирам. Небо, виднеющееся в просвете между шторами, сегодня гораздо дальше и выше, чем когда-либо раньше. А облака, застывшие на нем, как будто вырезаны из картона, позолочены и словно в насмешку подвешены на веревочке. И если понадобится, их можно будет сразу же потянуть вверх.

В комнате стоит тишина, не слышно даже дыхания спящих. Их лица безмерно счастливые. И без остатка принадлежат будущему, перед которым любые тревоги, не говоря уж о страданиях, кажутся смехотворными, ребячески-ми и ничтожными.

Одно очевидно — этот час, последние мгновенья которого истекают, никуда не исчезнет. Он будет лишь перемещаться. Двигаться во времени взад и вперед, и каждый сможет хоть раз прильнуть лбом к его сверкающему краю.

Теперь этот час движется дальше, еще к кому-то. Они же возвращаются в настоящее и открывают глаза. Пробуждаются, вздрогнув одновременно, словно холодная волна Балтийского моря выбросила их на берег. Они даже отряхиваются, как мокрые собаки. И начинают смеяться, хотя причин для смеха нет.

Наконец-то Лион получает обратно свою записную книжку и перочинный нож. Хотя он и решил ни о чем не спрашивать, тем не менее спрашивает. Поспешно и как бы между прочим: «Ты где была?» И она так же спешно и тоже как бы между прочим отвечает: «В Эстонии». Не произнесенные слова и

оставленные без ответа вопросы витают в воздухе, они еще не звучат, но уже притаились где-то в глубине зрачков.

Сейчас их можно еще отбросить. Стоит лишь отвернуться и зажмурить глаза, что она и делает. На лице Лиона появляется улыбка. Такое впечатление, будто он впервые видит ее. На миг он прикрывает рукой ее зажмуренные глаза. Чувствует под пальцами упрямое подрагивание ресниц. Затем берет и крепко сжимает ладонями ее голову. Разглядывает со всех сторон, поворачивает, изучает, как творение своих рук и плод своих раздумий. Быстро и деловито касается губами пореза, обезобразившего ее шею. И в его глазах вспыхивает наивная, древняя, как мир, надежда на чудесное исцеление.

Но когда Лион видит, что ранка от его поцелуя не затянулась, выражение его лица меняется, становится скорее сосредоточенным, чем озабоченным, словно он вынужден тут же, сию минуту начать переделывать эту голову. И то, как он дует на прядь волос, упавшую ей на глаза, тоже своего рода подготовка к задуманной переделке. Он дует на ее лоб с таким глубокомысленным видом, будто совершает какой-то особый ритуал — то ли вызывает духов, то ли пробуждает к жизни глиняную фигуру.

Косые лучи солнца падают на экран телевизора, отчего на пустом пыльном экране возникают шаровидные тени, которые при желании можно даже принять за изображение какого-нибудь небесного тела, например Земли. И кто знает, что происходит в данный момент на его поверхности.

Во всяком случае, отправленный из Праги цинковый гроб прибыл к месту своего назначения. И даже похороны уже состоялись. Могильный холм, глинистую землю которого украшают редкие венки и покосившиеся горшки с цветами, не может, к счастью, нарушить захватывающую красоту истории. Ветер выворачивает наизнанку листья деревьев. Все движется, трепещет, меняется, исчезает и снова возникает.

Лион не может поступить иначе, он должен снять покрывало с уже наполовину позабытой им глиняной фигуры и заново оглядеть ее. По-хозяйски смотрит также на ящик с глиной и приятно удивлен, убедившись в очередной раз, что тетя Оля не забывала поливать ее. Даже незаконченная работа еще не успела высохнуть. «Теперь я знаю, что надо делать!» — глубокомысленно заявляет Лион, повернув скульптуру к свету и разглядывая ее так, как только что разглядывал живую модель.

Что видят сейчас в глине его глаза, никому знать не дано. Во всяком случае, он произносит так, словно сделал бог весть какое открытие: «Надо рискнуть!» И как ни странно, эта пустая фраза внезапно обретает силу, бьется в грудной клетке, обжигает небо и язык, и не исключено, что может даже изменить будущее.

Теперь они уже по-иному смотрят друг на друга. Беспощадным сверкающим взглядом победителя. Этот взгляд ясно говорит о том, что до тех пор, пока они будут обращать свою любовь и скорбь в пропитанное кровью слово и в извятие, в которое вдохнули жизнь, никакая, даже серебряная, пуля не возьмет их. К чему тревожиться! Что им до расстояния в тысячи километров или до выпуклости земного шара, даже если это и разлучит их навсегда! Что им до государства и его орудий убийства, даже если б им пришлось погибнуть. Что им до всего этого!

Поэтому очень трогательно и забавно видеть, с какой серьезностью они воспринимают сегодняшний день. Возникает даже вопрос, не перебарщивают ли они с этим.

Просто удивительно, до чего обстоятельно рассказывает Лион о своей поездке в Москву и с каким увлечением слушает она описание людей и мест, которые, в общем-то, не должны были бы интересовать ее.

В пыльном от гипса рабочем халате, надетом поверх перепачканного комбинезона, с налипшей на руках глиной, Лион, продолжая рассказывать, ходит вокруг глиняной фигуры и постепенно меняет ей выражение лица. Делая то короткие, то длинные паузы и тщательно разминая глину, Лион так образно описывает кабинет Лео в Москве, что она зримо представляет его себе.

Сам Лео словно высечен из большой глыбы, ни дать ни взять настоящий фараон. С широкими погонами и квадратной, как будто из гранита головой, на ксгорю поочередно бросают ответ все горящие в кабинете лампы. И когда Лео псворачивается на стуле, то делает это тяжело, всем корпусом.

Глаза у него живые, взгляд подвижный. Перебегает с лица Лиона на стоящие на столе черные и кажущиеся больше обычного служебные телефонные аппараты, а с них снова на лицо Лиона. Телефонов всего три, однако кажется, будто их несметное количество. Пронзительные звонки то и дело прерывают беседу. «Ты не думай, что они звонили. Нет, они выли», — с ударением произносит Лион.

Одним словом, глазами Лео дал ясно понять, что о делах в кабинете говорить не стоит. какими бы эти дела ни были. Сам Лео в основном рассказывал про тетю Олю в юности. И даже умудрился за те короткие промежутки, когда телефон молчал, рассказать, что недавно его оперировали по поводу камней в почках.

Добродушно раскритиковал имя Лион, посчитав это излишним оригинальничаньем и данью моде. Тети Олино письмо прочитал тут же, в присутствии Лиона, и от души обрадовался вложенной в него старой пожелтевшей фотографии, от умиления даже несколько раз шмыгнул носом. Однако, прочитав письмо, снова перевел разговор на камни в почках. Затем встал из-за стола, пожал Лиону руку и сказал: «Вечером приходи в гости, сыграем с тобой в шахматы». — И подчеркнул: — Игра в шахматы требует терпения, дорогой мой, терпения».

Слово «шахматы» встревожило Лиона, и он до самого вечера безрезультатно ломал голову, стараясь докопаться до его истинного значения.

Когда он пришел, жена Лео, тетя Лора, тут же в прихожей принялась рассказывать, как давным-давно шестилетний Лев был у них в гостях. Маленький Лев ничего не ел и не пил, а стоял у окна, держась обеими руками за занавеску, и плакал. Его спросили, в чем дело. А он в ответ: «Тетю Олю жаль». — «Почему?» — «Потому что тетя Оля женщина и никогда не сможет курить трубку, как товарищ Сталин».

Пока тетя Лора рассказывала, Лео стоял в дверях гостиной, похрустывая пальцами и ждал, когда можно будет начать смеяться. Через раздвижные двери они вошли в комнату, и вот чудеса: там сидит не кто иной, как Кузьминична собственной персоной, в очках и при серьгах, — сюрприз. Кузьминична оживлена и настроена благосклонно, прихлебывает особый, специально для нее заваренный восточный жасминовый чай и ведет степенный разговор. О том, что Кузьминична знакома с Лео, не знала даже тетя Оля, которая знает все. В домашней обстановке Кузьминична сияет как солнце и луна, вместе взятые. Хвалит и никак не может нахвалиться отцом. Обещает завтра же утром взять все бумаги на выезд и передать куда надо.

Правда, есть одна серьезная загвоздка. А именно: Лео никак не может повлиять на латышский военкомат. Совсем недавно он лично упрекнул тамошних должностных лиц в излишне либеральном отношении к призывникам. Хотя Лео и уверен, что только служба в армии сделает из юноши мужчину, он тем не менее понимает, что в данном случае это станет единственным препятствием к отъезду. «А уехать я советую, — с таинственным видом прошептал Лео. — Я получил сведения из достоверных источников и могу сказать, что наше будущее весьма неопределенное», — предостерегает он. В данном случае потребуются рассчитанный на дураков диагноз, который следует занести во все бумаги. Итак, Лео дал Льву с собой письмо для передачи своему старому латышскому приятелю, доктору в чине майора.

«Сердце поможет все уладить, — сказал на прощание Лео. — Запомни — сердце!» — стоя на пороге, крикнул он Лиону в ночную темноту.

Так вот что означает этот синий сервиз, о возможности покупки которого мрачным голосом недавно сообщил матери сын.

Оказывается, что в семье имеются большие, принципиальные разногласия. Тетя Оля ни о чем другом не мечтает как только о виноградиках Тургау, где она сможет бродить со своим любимым братом. Даже Кинскому она рассказывает об их предстоящей жизни там. А у Лиона с детства в мыслях лишь камни Иерусалима. У матери же могилы близких да и все родственники находятся в Нью-Йорке. Отец говорит об иерусалимских камнях с горькой усмешкой. А на этот раз даже сказал: «От комментариев воздерживаюсь» — и дело с концом. Да и кантон Тургау отец раскритиковал. Разве что в силу обстоятельств согласен терпеть его, хотя там прекрасное железнодорожное сообщение с метрополиями, но слишком много природы.

В Швейцарии, в этом самом Тургау, в воздухе витает запах молока и всюду, где только возможно, разгуливают коровы. Нет недостатка также в петухах и курах. Все балконы в цветах, которые без конца нужно поливать. На берегу пруда нельзя стоять, потому что вода в нем сразу начинает бурлить и все рыбы подплывают к самому краю, широко открывают рты и требуют шариков из теста, отрубей и крошек хлеба.

Только в Нью-Йорке человек может найти защиту от природы. «Слышала? Только в Нью-Йорке!» — заявляет Лион словно в отместку себе. На мгновение кровь приливает к его лицу, брови сходятся на переносице в сплошную темную полосу, и он упрямо прикусывает губу. Судя по всему этому, жизнь отца в будущем обещает быть отнюдь не радужной.

Из Москвы в кантон Тургау отец вылетел сегодня. «Возможно, он еще летит», — беззаботно полагает Лион. Похоже, его гораздо больше заботит мать, которая должна вечером вернуться из Москвы. По лицу Лиона пробегает тень. Он делает попытку взглянуть на творение своих рук глазами матери. Более трезво. Критично. Придирчиво. Хмурит брови. Он крутится вокруг завершенной работы, острым взглядом хищной птицы следит за ее тенью. Когда наконец поднимает глаза, в них действительно светится радость победителя. Поэтому он так мужественно проглатывает готовый сорваться с языка жизненно важный вопрос. Силой берет у богини судьбы еще немного милосердного времени.

А потом, взяв ее руки, крепко, до хруста, сжимает ей пальцы. Крепко и сурово, как своему соратнику. И произносит с каким-то особым удовольствием: «Смотри, отец передает тебе подарок» — и кладет на ее ладонь точь-в-точь такой же швейцарский перочинный нож, как и у него самого. И поясняет: «По мнению отца, ты похожа на этот нож. Таишь в себе много, а снаружи ничего не видеть».

Получив подарок, она краснеет до корней волос. Как и положено. Затем они одновременно прыскают. Смеются так, словно наворачивают упущенное. Хлопают руками по коленям и отдуваются. Раскачиваются из стороны в сторону. В изнеможении виснут друг у друга на шее.

Все, что происходит, происходит лишь ради того, чтобы они могли смеяться. От этого смеха скрученная в узел каштановая коса в шкафчике в ванной раскручивается, словно решила вползти в комнату к смеющимся. Судьба косы уже определена, и никуда от этого не деться. Весной она будет на давно предназначенном ей месте — в могиле бабушки.

Их смех наталкивается даже на подножья скал Карельского перешейка и на камни Иерусалима, превращает в пыль останки погибших в финскую войну и будущие ракеты средней дальности, нацеленные на Иерусалим, а также сегодняшние колонны танков, вспарывающие улицы Праги и расплющивающие берцовые кости людей. Этот смех может с легкостью выпустить на волю и находящиеся за линией горизонта стеклянные горы и огненное море.

Но вот чудо — этот беззаботный смех помогает им как бы между прочим соединить их жизни и судьбы. Когда двадцать три года спустя настанет январское утро и содрогнется небо, а на пустых экранах телевизоров нежданно-негаданно словно по волшебству появится далекое, но ясно различимое изображение черного небесного тела и все радиостанции как одна станут бредить Священной Войной, Матерью Всех Войн, и красотой оружия, то они с их смехом будут плоть от плоти и кровь от крови этого утра. В это утро далекое станет близким. пласты времени перемешаются, и не важно, кто проснется в этот момент в Иерусалиме, кто в Нью-Йорке и кто в Таллинне. Власть и сила расстояний уже сегодня осмеяны ими.

Этот смех прерывает не кто иной, как Кинский своими бурными приветствиями. В дверях появляется тетя Оля. Свою радость Кинский выражает главным образом тем, что упорно пытается сбить с ног как Лиона, так и тетю Олю. Берет разгон, чтобы прыгнуть как можно выше. Его широкие боксерские щеки вздрагивают, белки глаз весело блестят. Кажется, будто от возбуждения его белая манишка все больше и больше съезжает на грудь. «Кинский, перестань! Фу, Кинский!» — повышает голос Лион.

Тетя Оля же с удовольствием и умилением смотрит на эту неожиданно возникшую кутерьму. Чтобы скрыть свои чувства, тетя Оля начинает для отвода глаз ворчать: «Только что натерли пол — и уже в глине! Тоже мне моду взяли, в ателье и не заглядывают. Что за жизнь пошла!»

У тети Оли в сумке большая рыбина — живой карп. Его надс. умертвить, очистить и сварить в молоке. Сваренный в молоке карп — любимое блюдо отца. Как всегда, так и на этот раз тетя Оля решила отметить отъезд отца праздничным обедом. Даже и у невидимого отца должно быть за столом место.

Так что хлопот у тети Оли сегодня полным-полно. Непонятно, как она со всем справится. Тем не менее тетя Оля сегодня особенно оживлена. Ее лицо могло бы стать живым учебным пособием для тех, кто не знает, что означают слова «светиться изнутри». Она не устает задавать Лиону вопросы, хотя он еще вчера рассказал все. Расспрашивает, что говорил Лео о своей операции, в чем была тетя Лора и съел ли отец всю жареную курицу, которую ему дали в дорогу, или только ножки, а остальное выкинул, как уже было однажды.

Время от времени тетя Оля прерывает свои важные дела, появляется в дверях гостиной и признается: «До чего же у меня легко на сердце!» Удивительно, что при этом она еще по-детски не хлопает в ладоши. Повестка в военкомат, которую получил Лион, утратила на сегодняшний день в глазах тети Оли свою грозную реальность, поскольку все свои надежды она доверчиво возлагает на незнакомого ей доктора в чине майора. Самое важное, о чем говорила сегодня тетя Оля, можно подытожить двумя казенными, сухими словами — «воссоединение семей».

Доверие, проявленное тетей Олей, поистине поражает, так как, появившись в очередной раз в дверях с каким-то радостным сообщением, она неожиданно озорно восклицает: «А ты, драгун, иди-ка помоги мне. Подержи рыбу за хвост».

Лион же нетерпеливо теснит тетю Олю обратно в кухню. Словно боясь, что та, к кому были обращены эти слова, действительно может пойти держать рыбу за хвост, Лион обхватывает руками ее голову, словно голову собаки, прижимается лбом к ее лбу, бровями к бровям и веками к векам. Пугающий вопрос складывается из самых что ни на есть обычных слов: «Ну так как? Поедешь со мной?» — на что она, не говоря ни слова, качает головой. Нет.

Возможно, они до скончания века стояли бы таким образом — неподвижно, не дыша, соприкасаясь лбами, — если б Кинский внезапно не задрал свою тяжелую морду к потолку и не завыл бы мрачным басом. А в остальном дом притих. Словно вымер. Даже из кухни не доносится ни звука. Войдя туда, они видят, что ангел смерти уже опередил их.

Тетя Оля лежит у порога со счастливой улыбкой и держит в руке рыбью голову. Тут же на полу валяются две половины большой рыбины, угрожающе поблескивая, как скрижали Моисея.

Что из того, что они побледили и едва стоят на ногах, ведь ничего уже изменить нельзя. Пусть поплачут. Слабее они от этого не станут.

Какая-то сбившаяся с пути лесная птица заглядывает в окно и звонким насмешливым голосом, как будто доносящимся из дворца царя Соломона, кличет: «Положи мя яко печать на сердце твое, яко перстень на руку твою.» — и с шумом улетает, словно она явилась сюда издалека лишь для того, чтобы позабавиться.

Мутная вода больших рек тяжело и неуклонно, словно кровь, стекает по земле вниз, во тьму океана. Солнце все ближе и ближе, оно прижимается своим божественным ликом к окну. Стеклянные подвески люстры позвякивают, хотя никто не заходил и не выходил из комнаты. Особый сумеречный блеск танковых колонн, крыльев самолетов и железнодорожных рельсов гаснет.

Небо снова обретает свои привычные очертания. Превращается в купол и свод. Все еще впереди, в том числе и будущее с его пугающей красотой.

Апрель 1990 — апрель 1991

Перевела с эстонского ЕЛЕНА КАЛЛОНЕН

АЛЕКСАНДР ТРУНИН

✱

ПОД НЕЗАМЕТНЫМ НЕБОМ

В чулане пыльном вечно пахнет мятой,
И, кажется, веселый домовой
Вот-вот помашет лапою мохнатой
И спрячется за тряпкой половой.

Здесь ленисти знакомые приметы:
Лопаты, ведра, старые пальто
Да башмаки — горою. В наши лета
Пора уже мудрее быть, не то

Заблудится дитя в бесхозном хламе,
Торя дорогу на куриный двор.
И старики, считая дни за днями,
Не смогут возвратиться до сих пор,

Чтоб обласкать единственную внучку
Да поругать родителей ее,
Пока она рисует закорючку
Иль у окошка песенку поет,

Где подоконник нянчится с фиалкой,
Которая собою занята,
И где бывает до рыданий жалко
Два дня назад пропавшего кота.

* *
*

Рассвет забрезжил трехконный,
Дыханьем комната полна,
Все кажется неутоленной
Дремоты жадная волна.

Синицы голосок двусложный
Я утром слышу без конца,
Когда снежок неосторожный
Сметаю весело с крыльца.

Среди земного обнищанья
Вольно же мне глядеть на птиц,
Не помня бранные названья
Земель, народов и столиц.

* *
*

Мышиной норки круглое начало.
Нагнемся и посмотрим, что за ним.
Там мышка полевая заскучала,
А нам с тобою весело двоим
В открытом поле, осенью подбитом,
Под небом незаметным постоять,
Сочувствуя убогим и забытым
И тем, которых мы не можем знать.

М. КОНИССКАЯ

*

ЗЛЫЕ ГОДЫ

Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною

Псалом 22, 4

Давно пора сесть за стол и записать все, что было. Хотя бы за годы с 1941 по 1955. Время идет, память начинает изменять, многое стирается, забывается. Но остается общая картина, события, люди. Мои дети часто говорят мне, что я должна обо всем написать. Но ведь не только написать, а и объяснить, почему все случилось так, а не иначе. Но объяснять я не стану. Пусть каждый поймет по-своему. Только пусть никто не забывает, когда это было, в чьих руках была наша жизнь, жизнь русских людей, какое чувство леденило наши души. Пусть поймут, что значит слово **с т р а х**. Вот название этого чувства.

Война началась для всех по-разному и для всех одинаково. Это был удар молнии, расколовший жизнь миллионов людей.

Мы на даче у моего отца в Озерках под Ленинградом. Мы — это папа, мачеха, брат с женой и четырехлетней дочкой, мы с мужем и двумя детьми. Старшей девочке Ксюше семь лет, маленькому Павлику пять месяцев. У нас две домработницы, молоденькие девушки. Одна наша, другая брата. С началом войны нам придется не раз подчиняться необъяснимо идиотским приказам властей. Один из них гласит: «Все обязаны жить только по месту прописки». И мы — моя семья — снова перебираемся в город, на зимнюю квартиру. Но с началом бомбардировок (8 сентября) в панике вновь спасаемся к папе, где тихо. Новый приказ гласит: «Все дети должны быть эвакуированы из города, но без родителей». Куда? Как ни странно, на запад от города, куда скоро приблизится фронт и откуда обезумевшие родители будут сами извлекать и перевозить детей обратно. Под бомбами. Многие дети уже больны, главным образом кишечными заболеваниями. От этого приказа мы сумели уклониться. Идут разговоры об общей эвакуации. Моя близкая подруга Ирина Шеголева (жена художника Натана Альтмана) достает путем знакомств целый вагон, где есть место и для моей семьи. Папа сразу же отказывается, Федя, мой муж, считает, что и он должен остаться. Их мысль такова: папа и мачеха охраняют (!) дом, Федя на работе в своем театре, получает свои деньги и пересылает их мне. Но Ирина не соглашается брать меня и детей без Феи. Она понимает, что тогда все заботы о моей семье лягут на плечи Натана. Это правда. Ведь все уезжают на полную неизвестность. И так, мы остаемся. Начинается блокада. Она описана много раз, и везде много неправды и нет правды. Может быть, это только мы и только те люди, которых я наблюдала, такие не героические, вернее, не такие героические, какими описаны ленинградцы в напечатанных позднее мемуарах. Не знаю. Вокруг нас все отчаянно боролись только за то, чтобы выжить. В городе было еще много хуже, чем у нас на даче. У нас был колодец — вода, дрова — тепло, уборная во дворе, как обычно на дачах. В городе всего этого не было. Позднее, когда начался настоящий голод, у нас были кошки окрестных финских и немецких колонистов. Их ловили и ели. Долго скрывали от мачехи и обеих домработниц, что они едят кошек. Была сочинена история, будто у папы есть знакомый, разводивший кроликов, которых он теперь по дружбе продает нам. Но потом пришлось сказать и им. Охотилась за кошками я, а это становилось все труднее. Тот, кто хотел есть, должен был помогать. Папа и Федя занимались... не хочу вспоминать чем. На чердаке. Шкурки складывались там же. Впоследствии они тоже спасали нас.

Шерсть состригалась, брилась, опаливалась, и шкурки варились. Варился также студень из папиных запасов столярного клея. Однажды нам повезло. К нам во двор приехал на телеге, запряженной лошастью, финн с семьей. Он эвакуировался из приграничной финской колонии. Разместили его на первом этаже. Там же занимал комнату местный милиционер. На следующий день вечером раздается стук в дверь. Это жена финна. Она молча передает большой пакет папе и скрывается. В пакете килограммов пять свежего мяса! Неслыханно! И что все это значит? Пока мы обсуждаем событие, опять стук в дверь. Вбегает сам финн, смертельно бледный и падает папе в ноги. Он плачет и умоляет папу не губить его и его детей. Дело объясняется. Он с вёдома и согласия милиционера заколот свою лошадь. В военное время это преступление наказывалось расстрелом. Его успокаивают. Никто его не выдаст. Оказывается, это мясо предназначалось милиционеру. Он просит нас оставить его себе. Как отказаться? Немыслимо. Но и даром брать нельзя. Дали ему отрез материи и разных одежд для детей. Все остались довольны. А мы просто счастливы. В старой оранжерее, где кололи лошадей, мы нашли потом шкуру присыпанную снегом и влажности. Это был клад! Может быть, все эти кошки, клей и шкуры спасли нам жизнь. Не всем. Первым умер папа, потом мачеха. Федю я еще вывезла, но он так и не поправился и умер в деревне. Папа придерживался правила делить всю пищу поровну, а это неправильно. Мужчинам нужно больше, и они страдали от голода больше и умирали раньше. Мы все сбились в две большие комнаты. Папа с Федей соорудили две маленькие железные печурки, дрова для экономии кололись очень мелко, в комнатах было тепло. На этих печурках мы готовили и согревали воду для мытья и стирки. Горожане уже давно не мылись. Вода была на вес золота. Они выглядели очень страшно с опухшими, черными от копоти лицами, замотанные в какое-то немыслимое тряпье, они тащились к Неве или к каналам, кто с ведром на саночках, кто просто с бидоном в руках. К Новому году вдруг зажглось электричество, зазвучало радио, объявившее, что «тяжелые времена миновали». Выдали что-то съедобное и по литру пива. Мы устроили праздник. Взяли что-то из неприкосновенных запасов — они сохранялись на случай, если придется уходить надолго в бомбоубежище. Итак, очередная кошатина, банка шпротов, пиво. Папа был очень оживлен, завел патефон, пытался танцевать с мачехой. А через девять дней он скончался. Было это так. Он вышел во двор, увидел, что наша поленища дров кем-то растащена, пошел к соседу пожаловаться, а там увидел ставших на ночлег солдат, которые жарко топили печь его дровами, пили спирт и гоготали. Для него с его принципами честности это был удар, и двойной. На дровах держалась наша жизнь. Он очень возмутился, пришел в неистовое волнение. Ведь солдаты не истощенные могли спилить любое дерево в саду, а мы были уже не в силах это сделать, да это было и запрещено. Когда папа пришел домой, лицо его было бело как бумага. Он лег на кровать, рассказал нам все и замолчал. Поздно вечером он попросил довести его до обеденного стола, вокруг которого мы сидели при свете коптилки. Сел, положил голову на руки и так сидел молча. Потом попросил увести его. Он вдруг лишился последних сил. Через некоторое время мы услышали хрипение. Он потерял сознание. Жена моего брата побежала за врачом, который жил в соседнем доме. Он сказал, что это инсульт. Папа возбужденно двигал руками, пытался что-то сказать. Потом затих и заснул. Так он и умер, во сне. Конечно, он бы все равно умер, он очень ослабел, но это потрясение ускорило его смерть. Федя еще нашел в себе силы сколотить ему гроб. Мы три дня не хоронили его, и он лежал так тихо, так свято. Незадолго перед смертью он призвал всех нас и, чувствуя близкий конец, сделал распоряжения по дому как вести себя в случае пожара, который он предвидел, как и когда открыть холодные комнаты, как жить семье. За эти три дня мы выкупили хлеб по его карточке и только за него могильщик согласился выкопать могилу на месте маминой. Какое страшное зрелище представляло собой кладбище! Вокруг церкви навалом стояли гробы, зачастую полуоткрытые. Лежали мертвые без гробов. Некоторые с вывороченными внутренностями или отрубленными частями туловища. Об этом «героизме» Ленинградцев никто никогда в мемуарах не упоминал.

23 февраля, в день Красной Армии, появился у нас офицер из стоявшей за блокадным кольцом части, в которой служил мой брат. Он привез подарки тем семьям, которые были в Ленинграде. Хлеб, пшено, сахар, рис. Мачеха уже не вставала с кровати от слабости — так для многих начиналась смерть. Она, как

бы потеряв разум, выла от счастья, как зверь. Офицер был поражен всем виденным в городе. В некоторых квартирах, куда он заходил, никто не выходил ему навстречу и никто уже не радовался. Все лежали мертвые в своих кроватях, и двери не были заперты. А ведь там, за кольцом, они знали только, что у нас голодно. Брат писал нам: «Покупайте в аптеке гематоген, это полезно» Военная цензура не допускала грустных сообщений. О папиной смерти я написала брату: «Папа скончался и похоронен в гробу, что достается здесь не всем» Вторая половина фразы была вымзрана. Но я нашла способ сообщать некоторые тяжкие подробности нашей жизни друзьям, вводя в заблуждение малообразованных цензуров. Например: «Я научилась готовить вкусное блюдо вянд-деша» (кошачье мясо); или: «На улице очень много кадавров (трупов), но почти всегда без упаковки», «У нас сейчас некоторые увлекаются игрой в каннибализм» и т. д. Да простится мне этот черный юмор! Зато мои родные и друзья были в курсе нашей жизни. Все, кроме цензуров, понимали. 17 марта умерла мачеха. У меня был грипп, и я не принимала участия в ее похоронах. Мы зашили ее тело в одеяло, положив ей на грудь образок, перевязали веревками, и Федя с Аней выволокли на детских санках ее труп и положили в том месте, где отныне было приказано складывать умерших. Вечером того же дня, когда детей укладывали спать, мы услышали за окнами необычайный для этого мертвого двора шум. Аня выбежала. Дом наш горел. Пыхало крыло дома, где внизу гнездились какие-то эвакуированные. Наша центральная часть тоже уже занялась. Мы спешно одели детей и побежали с ними во флигель. Оставив их там, начали спасать имущество. Федя бросал из окна одежду, продовольствие, привезенное с фронта, серебро. Все падало в огромные сугробы снега. Собравшиеся зеваки охотно подбирали. Себе. Наконец пожарные крикнули, чтобы Федя выходил. Дом горел, как огромный костер. Папа, предвидевший это, говорил: «Сгорит, как спичка». Со стороны сада, куда выходил наш балкон, они с Федей сделали сходни, чтобы выбрасывать мебель в случае пожара. Когда огонь был сбит, мы вошли в квартиру и начали выбрасывать то, что не сгорело. Но в саду были горы снега и все в нем тонуло. А когда мы вернулись во флигель, оказались украденными все фронтонные продукты. Это был тоже удар. Мы оказались бездомными и ограбленными. Нас разместили в крошечной комнатке в соседнем доме. Там мы и жили вшестером, пока я с Федей и детьми не двинулась в эвакуацию. Домработницы наши разъехались. Одна пошла пешком через Ладожское озеро и спаслась. Другая, финка, была принудительно эвакуирована вместе с финской колонией, располагавшейся, как и немецкие, вдоль Выборгского шоссе. Ее мы потеряли. После пожара Федя сразу слег. Он простудился. Истощенный организм не мог больше бороться. У него вспыхнул миллиарный туберкулез, от которого он скончался летом. Но мы были уже в эвакуации. Эту эвакуацию надо было еще выбегать и выхлопотать. Никакого транспорта давно уже не было, и мы ходили как за карточками, так и оформлять выезд пешком в город. За карточками два раза в месяц: один раз получить, а через две недели предьявиться, что еще жив. Я ходила вместе с няней Лидой, финкой, которая утром посещала курсы медсестер, а вечером была няней Павлика. Получение карточек было по месту прописки. Мы заходили еще в театр, где числился Федя, за его карточками. В театре мне верили на слово, что он еще жив. Мы едва дотаскивались до города, а ведь предстоял еще путь обратно. Однажды, это было в конце декабря, мы пришли за январскими карточками. А они не были готовы. Нам пришлось заночевать. Наша большая квартира стояла совсем пустая и замороженная. Вся семья разъехалась. Мы разломали несколько стульев и истопили большую плиту на кухне. Притащили из комнат матрацы и одеяла и спали не раздеваясь. Но все равно мерзли. Весь дом промерз... Когда мы шли в город, под Самсоньевским мостом лежала мертвая женщина. Это не удивляло. Частая картина. Когда мы на другой день возвращались домой, она лежала там же с растерзанными внутренностями. Это тоже не удивляло. Извлекали печень, сердце... Вспоминать страшнее, чем было видеть. Ведь мы совершенно окаменели в своих чувствах. Людоедство процветало. Людоеды ловили детей. Напротив нашей дачи, в школе, превращенной в госпиталь, прачка варила что-то в котелке, в топке. Кочегар, привлеченный запахом, поднял крышку. Там была детская рука. Прачку расстреляли без суда.

Чтобы эвакуироваться, надо было добраться до Финляндского вокзала, оттуда нас перевезут до Ладожского озера, через него на грузовиках до железной

дороги. Как же добраться до вокзала? Федя уже не ходил. Мы погрузили его на детские санки, на другие немногочисленный скарб и вышли на шоссе. Аня помогала нам. Она не хотела уезжать. Ей казалось, что брат мой так недалеко, на фронте, это все скоро кончится. Мы стояли на шоссе, размахивая пачкой табака, это была валюта. Остановилась военная грузовая машина. Впрочем, им было вменено в обязанность подбирать людей, вышедших на дорогу с вещами. Как трудно было взобраться в кузов, втащить Федечку! Он слабел все больше, его сжигала высокая температура. А ведь еще так недавно, на Пасху, он, лежа в постели, написал на картоне пасхальный стол и забавлялся этим. На вокзале солдаты перебросили нас в вагон, повезли до Ладожского озера, там снова грузили в машины. Все это делали солдаты. Поехали через озеро. Машины временами были по кузов в воде. На льду лежали то там, то здесь мертвые тела. Неудачники. Иногда это были кучки, занесенные снегом. Приехали. Снова нас грузили в вагоны-теплушки. Никаких нар не было. Все в куче. Устраивались кто как мог. Выдали еду: пшенинную кашу, шоколад, хлеб, сахар. Это было слишком много и слишком сразу. Люди умирали еще до отъезда и по дороге. Выжившие долго и мучительно болели. На остановках все вываливались из вагонов и рассаживались без стеснения вдоль полотна. Местные жители относились хотя и сочувственно, но и с презрением. «Ленинградские засранцы»,— услышала я. Федя не мог вставать. На счастье, был детский горшок. Павлик без конца пачкал штанишки и пеленки. На остановках, непредвиденных и иногда многочасовых, я стирала белье в талых лужах. А потом узнала, что на паровозе есть маленький кран, из которого течет горячая вода. Это было счастье. Сушила свою стирку, связав все концами и просунув в щель вагонной двери. На ходу все быстро сохло. Вскоре мы завшивели. На больших предусмотренных остановках, иногда многочасовых, двери открывались, и нам кричали снаружи: «Мертвые есть?» Мертвые всегда находились. Куда нас везли? Было обещано в Вологде пересадить каждую семью по желаемому ею маршруту. Нам нужны были Алма-Ата или Ташкент. Туда выехали многие родственные семьи, там был «Ленфильм», где Федя мог работать. Но по приказу Сталина нас повезли на Северный Кавказ. Мудрый сказал, что там еще не так много эвакуированных и очень много продовольствия. Да, но туда приближался фронт. Этого мудрый не предвидел. Мы ехали полтора месяца. Прибыли в большой районный центр. Здесь нас выгрузили на телеги, привезли на базарную площадь. Рассортировали — кого в больницу, кого по окрестным деревням. Изобилие нас поразило. Федя, еще только отъехав от Ленинграда, сказал мне радостно: «Послушай, петухи поют... И люди поют» — это после мертвого молчания мертвого города. А здесь шумные, здоровенные бабы продают массу съестного. На Федю все это подействовало как шок. Он потерял сознание. Потом пришлось расставаться. Нас увезли за восемнадцать километров, в деревню. Федю положили в больницу. Больница! В этом богатейшем крае, еще не затронутом войной. Но и цивилизацией тоже. В больнице не было воды. Ее носили санитарки на коромыслах издалека. Больных вымыли в тазу, всех в одной воде, вытерли всех одной простыней. Побрили. Но все же была кровать с подушкой. Кормили и хотели лечить. Ни рентгена, ни лаборатории, никаких методов узнать, чем, кроме алиментарной дистрофии, болен человек, не было. Федя не поправлялся. Два раза я навестила его, естественно, пешком. Потом увезла к себе. Нашла попутную подводу. «Отъестся и поправится»,— сказал мне врач. Но он не поправился. Нам отвели комнату в доме многосемейной колхозницы. Комната была небеленая, с намазанным глинобитным полом. Нашим хозяевам казалось, что мы несметно богаты, и они нас грабили без всякого стеснения. Уезжая, я взяла с собой несколько отрезков белой и другой ткани, которую мне оставила моя запасливая сестра, жена военного. Эти метры были моей валютой, а для них сказочным богатством. Были у нас и другие недоступные им вещи, вроде мыла. В довоенные годы не только деревня, но и большинство городов были лишены того, что называется ширпотребом. В больших городах все это периодически появлялось, и мы стояли в очередях по ночам. Здешние же бабы снаряжали ту, что порасторопнее, собирали деньги, оплачивали проезд до Москвы и поручали, что кому купить. Своеобразная командировка. А тут все было под руками и все не заперто. Местный фельдшер, навещавший Федю, говорил мне: «Да ведь вы в разбойничьем гнезде!» Об этом славном старике надо рассказать отдельно. Он часто спрашивал меня о нашей ленинградской жизни. Там мы жили большой семьей в огромной

квартире архитектора Шуко — дяди моего первого мужа. Квартира была населена его детьми и внуками. Каждая пара имела комнату, и была еще общая комната — столовая и огромная мастерская. «Что же, вы всегда обедать в столовую ходите, а дома-то печь не топите? — спрашивал меня старик. — А коров-то вы где держите?» Вот каков был уровень этих людей. А когда я шла по улице под зонтиком, мне кричали: «Эка облизьяна!» Старый фельдшер был, однако, очень опытен. Он первый сказал мне, что у Феде туберкулез. Он сказал, что в районном центре есть очень хороший врач из эвакуированных бессарабских евреев, надо его привезти. С каким трудом мне удалось выпросить у председателя колхоза бричку, чтобы съездить за врачом! Врач этот по дороге выпросил меня все о Феде и пообещал, что скажет мне совершенно откровенно и честно, чего мне ждать. Ему не хватило духу сказать мне, что конец близок. Конечно, он сказал, что надо не менее четырех раз кормить Федечку горячей едой, делать массаж, выносить в сад. Я выносила его в сад, я делала массаж, но кормить горячим?! Знаете ли вы, как там добывают огонь? Спичек нет. Соседка через дорогу славилась умением сохранять в печном загнетке жар. Я шла к ней с соломенным жгутом, поджигала его и, сунув в ведро, чтобы не задул ветер, бежала опростелю на свой двор к грубке (печка из глины), где поджигала солому, которой в тех местах топят. Солома горит быстро и неровно. Посуда — огромный чугунок, который одолжила мне хозяйка. Я могла сварить еду один раз в день. Моя хозяйка со всей своей семьей неделями отсутствовала. Они работали далеко в степи, там и жили. Печь топилась дома только по воскресеньям. Я дала врачу все деньги, которые у меня еще были, и решето черешен. Спасибо ему за то, что он вообще приехал. Вскоре Федечка умер. Жарким июньским утром я вынесла его на большое крыльцо. Он попросил у меня вишен, и я набрала ему самых спелых. Через некоторое время он сказал мне: «У меня идет горлом кровь». Я поняла, что это — конец. Но сказала ему: «Это вишни». «Я еще не ел их». — «Я пошлю соседку за фельдшером. Ты не бойся, это бывает». И побежала. Хозяйский мальчик сидел у колодца и видел, как все тело Федечки затрепетало, из горла фонтаном хлынула кровь. Когда я вернулась, все было кончено. Мой бедный, мой дорогой Федечка! Ему было только тридцать три года! И жизнь у него была такая особо трудная. Она могла бы послужить сюжетом для трогательного романа. Вот она.

Он был одним из пяти сыновей бедной деревенской солдатки. Отец, железнодорожный рабочий, ушел в 1914 году на войну. Жили они в деревне. Хозяйства не было. Коза, маленький огород. Зимой мать перебивалась, летом ходила на поденщину к дачникам. Дети были маленькие. Пятилетний Федя зашиб ногу, и она стала, как рассказывала мне позже его мать, «гнить». Он перестал ходить. Ползал. Зимой просидел на печи, а летом выполз на улицу. Соседки посоветовали отдать его в монастырь. «Будет просить подавание, а монахи его за это прокормят». Это услышала дачница, у которой мать стирала белье. Велела собираться в Петроград, дала записку, денег, все объяснила и сказала, что мальчика вылечат. Оказалось, она близкая приятельница знаменитого детского ортопеда профессора Турнера, у которого была своя клиника для детей. Он взял к себе мальчика. Федя пробыл в его клинике до двенадцати лет. Семь лет! Его лечили, кормили и учили. Клиника стала его родным домом. Однажды, уже после революции, приехал навестить его отец. Но вскоре он умер от тифа. Когда Феде можно было уже выписаться из больницы, мать не захотела его взять. На полную нищету, и дома еще четверо. Тогда его отправили в детский распределитель. Время было тяжкое. Населявшие распределители беспризорники, с которыми он не сходил. Ужас от перехода из ставшей родным домом клиники, от любимых воспитателей и педагогов к тому, чем были в то время распределители. И он убежал. Он стал беспризорником-одиночкой. Днем просил подавание около булочной. Он мне потом всегда ее показывал. Впоследствии мы с ним жили напротив этой булочной, около угла площади Мира и Кировского проспекта. Ночевал в саду около бывшего Лицея. Спал между двух бревен, укрываясь от непогоды листом железа. Когда пришли холода, он пристроился спать в подъезде дома. Здесь его увидела какая-то женщина. Она привела его к себе, накормила, выкупала и оставила на некоторое время у себя. Он не был похож на тогдашних беспризорников. Это был благовоспитанный ребенок с чудесным открытым лицом и обаятельной улыбкой. Женщина жила здесь с мужем и шестилетним сыном. Вскоре она отвела Федю снова в распределитель

Эта женщина, фамилию которой Федя не запомнил, была женой писателя (кого?). Они собирались эмигрировать. Поэтому ей хотелось устроить мальчика. Но Федя снова убежал. Теперь он тосковал по этой семье. Он забирался на большое дерево напротив их окна во втором этаже и подолгу смотрел в него, скрываясь в ветвях. Наконец женщина снова увидела его в подъезде. Он плакал и просил не отсылать его в распределитель. Женщина готова была его усыновить, но при живой и здоровой матери это было невозможно. Увидев, что мальчик хорошо рисует и одарен музыкально, она устроила его в школу-студию имени Лилиной для одаренных детей-сирот. Там был интернат. Там ему было хорошо и интересно, и атмосфера была теплой и семейной. Он окончил это училище по двум специальностям: по классу кларнета и по изобразительному искусству. Женщина навещала его. Потом она пришла проститься, она уехала в Германию, и след ее навсегда потерян. По окончании школы Федя получил «путевку в жизнь». На двоих учеников им дали комнату на улице Чайковского, необходимую мебель, одежду, утварь и ему место кларнетиста в оркестре театра ТРАМ (Театр рабочей молодежи). Впоследствии он оставил кларнет и занялся театральной живописью и макетом. Женившись на мне — а у меня была уже дочь от первого брака, — он был счастлив. И как же недолго длилось его счастье!

Итак, он умер. Я была подавлена и растеряна. Наше блокадное оцепенение еще сковывало душу. И настоящее горе и слезы пришли позже. Хозяйка-разбойница с двумя соседками взялась командовать похоронами. «Видчиняй хату, уси будут ходить дывиться на мертвяка!» Я никого не пустила. Они хотели устраивать поминки, побежали по деревне собирать казаны, варить галушки. А мне велели сесть около Феде и выть. У меня хватило сил воспротивиться. За эти якобы не христианские похороны обо мне пустили слух: еврейка и коммунистка. Когда пришли немцы, этот слух ползал около меня и доставил мне много страхов... Гроба не было. Наконец в виде милости председатель распорядился выдать старые доски от ящиков. Этот гроб и походил больше на ящик. Потом соседки привели лошадь с телегой, и мы отвезли Феде на край села, на пустырь, называвшийся кладбищем. Ни одного креста. Иногда горка камней. Там мы его и закопали. Все. Я попросила женщин оставить меня одну и долго еще сидела около холмика и плакала.

Я осталась одна. Надо было что-то решать. А я была на это совсем не способна. Работать в колхозе я не собиралась. Даже если бы я приспособилась к этой работе с отъездами в палящую степь на неделю (а кто бы оставался с детьми), я получила бы вознаграждение только в конце года. А чем жить? Пока что я обменивала куски материи и оставшуюся от Феде одежду на продукты: сало, муку, пшено. У нас с Федей были взяты с собой краски и альбомы из ватмана, и я принялась увеличивать фотографии ушедших на фронт мужчин или рисовать узоры для стенных росписей и вышивок. За это мне несли яйца, мед, молоко и фрукты. После смерти Феде я перебралась к одной из соседок, принимавших в нас участие. Нашим жильем была огромная деревянная кровать, стоявшая в сенях. К зиме мне предложила комнату другая одинокая соседка. Но там не было печи. Это была летняя горница. Местный печник за пару Федино го белья выложил мне в этой комнате печь. Это была плита, переходившая в лежанку, через которую шел дымоход. На ней мы и спали и жили. Днем я ставила на нее табуретку, которая служила нам столом. Когда я лекала на плите лепешки, дети, сидя на лежанке, хватали их прямо со сковороды. Я писала письма родным, правда, без всякой надежды. Но от брата все же получила письмо. Он хотел, чтобы его жена с девочкой добралась до нас. А к нам надвигался фронт. Бабы, у которых мужья были в военных частях под Ростовом, возили им продовольствие. В этом таком сытом краю наши солдаты голодали. Отступающую армию мы не видели. Не было никого. Никаких боев. Однажды утром с той горы, где мы жили, мы увидели бесконечную вереницу немецких машин. Не было видно ни ее головы, ни хвоста. Пехоты, такой, какая была у нас, у них не существовало. Так они вошли. Если до сих пор мы, эвакуированные, были здесь нежеланными людьми второго сорта, то теперь и мы и местные жители, наши хозяева — все эти председатели, секретари местных партийных организаций и т. д., — стали одинаково завоеванными и подчиненными. Некоторое время мы немцев не видели. Но вскоре здесь разместилась небольшая военная часть. Они заняли школу и приказали прислать им людей для услужения. Главным образом женщин для уборки, стирки и кухни. Послали, естественно, эвакуированных. Мы собра-

лись в школьном дворе. Дети были со мной. Всем дали работу. Ко мне подошел офицер и спросил, кто я и откуда. Не знаю, по каким признакам меня и потом всегда отделяли от других. Интеллигентная внешность или двое хорошеньких беленьких детей, которые трогали немецкую сентиментальность. Узнав, что я художница, меня отрядили делать надписи на дорожных указателях. Дали доски, краску, кисти. Когда я хотела, взяв все, идти, мне дали солдата, чтобы все снести. Вот непривычно! А когда мы приехали в это село, нам, ленинградцам, выдали продукты. Мне причиталось шестнадцать килограммов муки. Я была очень истощена и не могла поднять мешок. Мужики в кладовой хохотали, видя мои тщетные усилия. Никто мне не помог, и я тянула мешок волоком по земле. Ничего, кроме раздражения, наши персоны не вызывали у местных жителей. Так, был приказ рыть окопы. (А кому они были нужны?) И вот я с тремя соседками копаю, стараюсь. Наконец одна из них останавливается и с нескрываемым возмущением говорит: «Чи ты придуриваєшься, чи шо?» «А что?» — «Хиба ж ты копаєшь?» Или же: нам, эвакуированным, выдали конфеты. Всеобщее возмущение: «Невже ж моя дитина хуже твоєї?» Это можно понять. Конфет в здешней лавке давно не было.

Итак, я стала «работать на немцев». Они платили мне. Спросили, деньгами ли. Нет, деньги мне не были нужны. Я попросила топку — то есть стебли подсолнечника, солома и т. д. Мне привезли воз. Я была счастлива. Еще давали хлеб, постное масло. Однажды, когда я работала в хате, дверь отворилась и вошел мужчина. Не военный, обросший бородой. Он озирался по сторонам. Сердце мне подсказало, что он скрывается. Он спросил, где стоят немцы. Я предложила ему тарелку борща. Он с жадностью накинулся на еду. Но вдруг все оставил и ушел. Кто это был? Наверное, партизан. Он спросил меня, что это я делаю. Он мог бы и прикончить меня. Ведь я работала на немцев. А тогда даже такая работа (а могли ли мы отказываться?) считалась изменой родине. Впоследствии русские поняли, что если они отдали всю Белоруссию и Украину неприятелю, то естественно, что все население работает на немцев. Нельзя же перестрелять всех: и тех баб, которые пекут хлеб на потребу немцев, и тех, кто стирает немцам белье. А учреждения? Они ведь продолжали работать. А хозяин изменился.

Вскоре после прихода немцев заболел Павлик. Ему было уже десять месяцев. Токсическая диспепсия. Лечить нечем. Он лежал у меня на руках в забытых, глаза заведены, изо рта и из попки беспрерывно текло. Фельдшер сказал мне, что в больнице его еще, быть может, и вылечат. Но как добраться? Я пошла эти восемнадцать километров пешком. За плечами рюкзак с кое-каким обменным тряпьем. Было очень жарко. Ребенок, завернутый в одеяло, казался очень тяжелым. В степи ни кустика, чтобы укрыться от зноя. Дважды меня обгоняли телеги с распевавшими бабами. Я махала рукой, просила подвезти. Никто меня не подвез. В больницу меня взяли с ребенком. Чем лечили, не помню. Рядом был базар, и я наменивала для маленького простоквашу и творог. Бог его спас. Был момент, когда он лежал у меня на руках посиневший, затихший, с закрытыми глазами. Я позвала врача, я думала, что настал конец. «Нет, он поправится», — сказал врач. Он действительно стал поправляться. Я стала собираться домой. Меня тревожила девочка, которую я оставила на попечении хозяйки. В больнице я услышала о страшной судьбе евреев, об акциях, о газовых камерах. Я вспомнила разговоры о моем «еврействе». Однажды эвакуированная из Бессарабии учительница зашла ко мне, чтобы познакомиться. Увидев, что я рисую Богоматерь, она сказала: «Как же это вы? Ведь вы... не христианка?» Теперь все во мне замирало от ужаса. Пока я дошла до дома, чего только не передумала! Но дома было тихо. Никого в деревне не тронули, да и евреев здесь не было. Однако я пошла к коменданту. Мне надо было защититься от толков. Иногда есть польза от того, что в наших паспортах есть подлая графа «национальность». Я сказала коменданту, почему меня считают здесь еврейкой, и показала паспорт. Он засмеялся и сказал, что и без паспорта видно. Однако, если бы я была еврейкой, этот дисциплинированный идиот выдал бы меня на смерть.

Сказать, что немцы, рядовые солдаты, были жестокими, я не могу. Были разные. Но большинство из них были обыкновенные мужики, оторванные от семей и домов, от опрятной и по сравнению с нами бесконечно более культурной и зажиточной жизни, ввергнутые чудовищем, которому они покорились, в эту страшную войну. Но как они могли, нация, давшая миру великих философов, музыкантов и писателей, подчиниться психопатическому злодею? Многие из них

переносили это все, сознавая и страдая, но были обязаны подчиняться и подчинялись. Некоторые подчинялись с благоговением, не рассуждая, а некоторые с рвением выполняли все человеконенавистнические приказы. Меня всегда и везде охранял Бог. В этой фантазмагории зла меня лично оно не коснулось. Оно было где-то рядом: истребление людей, ужасы фронта, бомбежек, высокомерие в отношении к «низшей расе». Только однажды, уже в Германии, мой хозяин и его жена жестоко избивали меня. Однако они били меня не как низшую расу. До этого они избивали и своих немецких рабочих. Это были грубые скоты. Впрочем, зачем задаваться вопросом: почему немцы? А почему мы, русские? Ведь над нами владычествовал другой злодей, и мы покорились ему. Тот владычествовал в чужих землях, одержимый безумной идеей, а этот истреблял своих людей, одержимый одним лишь параноическим страхом, патологической ненавистью и просто азиатской жестокостью. Теперь мы говорим: «А что же мы могли?» Вот так же и немцы. Что они могли? Все боялись. Страх. А подхалимы, один за другим подвывавшие восхваления, довели обожествление кумиров до того, что и развенчать никогда бы не удалось, не будь на Гитлера войны, не будь Никиты для нас, а главное, не сдохни наш кумир. Вечная благодарность Никите, хотя, наверное, он сделал это, чтобы оправдаться перед потомством и смыть кровь с рук. Никто и никогда не должен говорить о немецких солдатах: фашист, злодей и т. д. Злодей есть и были всегда там, где режим дает право злодействовать и поощряет это. Такие же злоеи есть и были у нас. Немецкий солдат по своему существу скорее добродушный и всегда готовый на помощь (hilfsbereit) человек. Трудолюбие, аккуратность, до глупости дисциплинированность — вот основные черты обыкновенного немца. Да еще не распропагандированная, а природная любовь к своей земле, к своему очагу и своей семье. Уважение к женщине. Почему-то принято считать, что немецкие солдаты насиловали женщин. Почему я этого не видела? Я работала среди большого числа русских женщин, подвластных немцам, но ни разу не видела и не слышала, чтобы кого-нибудь из них насиловали. Многие женщины сходились с немцами, но та, которая этого не желала, никто не трогал. И наоборот, когда в немецкую деревню, в которой я работала, вошли русские, они первым делом напоили русскую девушку, работавшую в гастхаузе, а потом вшестером изнасиловали ее. Трагикомично, но она, пройдя весь немецкий плен, была девственницей. Однако и мне повстречались немцы, которых я могла назвать жестокими и страшными. О них расскажу позже.

Наступила зима. Теперь на фронте, который был уже на востоке от нас, шла жестокая борьба. Никаких известий, кроме редких устных передач о делах на фронте, мы не имели. Было приказано с наступлением темноты затемняться. По вечерам мы сидели на своей теплой лежанке вокруг табуретки, на которой стояла керосиновая лампочка — наше достояние. Дети играли, я рассказывала им сказки и пела. Или я что-нибудь чинила. Стук в дверь. Является солдат, в руках у него целая гроздь конфискованных керосиновых ламп. Это решительная мера против тех, у кого виден свет из окон. Он должен отобрать у нас лампу. Он долго стоит и смотрит на нас. Потом вздыхает, сам закрывает щель и уходит. Момент радостного облегчения. Что бы с нами было, если бы мы остались в полной темноте! Впрочем, до прихода немцев мы жили без всякого освещения и даже без свечек. И это в то время, когда Федя был так болен и смерть могла прийти ночью, в этой крошечной южной темноте. Тогда у нас не было и мыла. Я стирала в холодной солоноватой воде, перетирая белье песком. На горе у нас вода была «недобрая», не питьевая, а «добрая» внизу, под горой. Для питья и еды я таскала воду снизу, все остальное — «недоброй».

Приближалось Рождество, праздник, так чтимый немцами и так любимый мной. Хотелось как-нибудь его отметить. О елке нечего мечтать. Но я раздобыла сухую развесистую ветку от какого-то фруктового дерева, мы наделали из бумаги игрушек и развесили их на ветке. Немцы дали мне декоративную свечу с позолотой и какие-то присланные им из дома фигурки и пряник. Я вынула фотографии своих родных и расставила их на столе. Мы были вместе. И так далеко друг от друга. В такой неизвестности! Перед Новым годом, который немцы собирались отпраздновать в стенах школы, меня призвал комендант и попросил нарисовать что-нибудь веселое на голых белых стенах. Была черная и красная краска. Была большая кисть и стремянка. На одной стене я изобразила коменданта в наполеоновской позе, а вокруг стайку хорошеньких женщин. Он

воображал себя красавцем и победителем дам. А на самом деле был просто глуп. На другой стене — одного из офицеров, говорившего, что он совершенно не интересуется женщинами и боится их так же, как боится собак. Он был тоже глуп и фатоват, но более изысканный, чем комендант. Я нарисовала его стоящим на облаке со сложенными на груди руками и нимбом святого. Вокруг голенькие девицы с крылышками. Они летали, прикрытые вместо фиговых листков облачками. Впоследствии, когда мои родные искали меня в уже освобожденном селе, местные власти написали им, что я вела себя недостойно и расписывала стены похабными картинками. Действительно, это, наверное, было недостойно. Могла бы отказаться, сказать, что не умею. Тогда бы у меня не было ни керосина, ни спичек, ни лекарств. Я продалась. Но у меня были дети. И все, что я нарисовала, не было похабным, а просто насмешливым. Я немного поиздевалась над ними. В то время как я изображала коменданта, он сказал мне: «Ты не имеешь права. Это карикатура. Я — офицер». В это время дверь отворилась и вошел какой-то высший чин с адъютантом. Он очень смеялся, разглядывая картинку, и на мой вопрос, можно ли, разрешил продолжать в том же духе. Потом последовали обычные вопросы: кто я? откуда приехала? как очутилась в этих условиях? Пришли мои дети, хорошенькие беленькие дети. Он попросил меня поехать с ним туда, где он квартировал, за сорок километров, и сделать ему также какие-нибудь забавные рисунки. Он увез меня с обязательством привезти завтра утром домой. Он был очень корректен, но я думала, что он может потребовать от меня каких-нибудь дополнительных радостей. Когда мы приехали, был уже вечер. Подали ужин. Конечно, он сделал несколько маневров, впрочем, не как завоеватель. Он ни на чем не настаивал. Он разговаривал со мной участливо. Мы говорили обо всем: об искусстве, о наших оставленных домах, о жизни вообще. Это был интеллигентный человек. Мы разговаривали, насколько я вообще могла разговаривать по-немецки. Он сказал, что у меня очень большой запас слов, но я не умею еще их склеивать. Потом он взял мои туфли и унес куда-то. Оказалось — солдату-сапожнику. Вот это была большая радость! Подошвы на них совсем отстали. О рисовании уже не было речи. Я спала одна, Gott sei dank!¹ А он куда-то ушел. Утром около меня стояли починенные туфли. Потом меня увезли домой. Было забавное продолжение этого знакомства. Через пару дней вернулся из отпуску один из офицеров, стоявший в нашей деревне. Он привез красивую куклу для какой-то девочки. Начальство, увидев куклу, попросило ее себе. Ему тоже хотелось подарить ее одной девочке. И та и другая девочки были одной и той же Моей девочкой. Наверное, все думают, что это была уплата за близкие отношения. Нет, их не было, даже если это покажется вам неправдоподобным. Я уже писала о том, чему сама удивлялась. Я со своими двумя детьми представляла, видимо, в тех условиях необычное явление. Вокруг была грубая, жестокая действительность, грубая жизнь, грубые мужики и грубые бабы, с которыми можно было переспать, отказу не было. А мое семейство, как сказал мне один немец, представлялось чудом сохранившимся островком, образом семьи и мирной жизни, по которой тосковали равно как немецкие, так и русские солдаты. Должно ли мне быть за это стыдно? Было ли это изменой? Но я никогда не могла почувствовать ненависти к немцам, немецким людям, одетым в военную форму. Я глубоко возмущалась той силой, которая ими руководила, и теми из них, которые по-садистски пользовались правом убивать и мучать. Но это же не все немецкие люди! Не вся нация! Я так же ненавидела тех русских, которые, властвуя, пытали, расстреливали и угнетали. И русский солдат, если он пьян, груб и жесток, не менее отвратителен мне, чем такой же человек, одетый в немецкую форму. Но не народ в целом. Ни тот, ни другой. А власть, ими игравшая. Страшно в этом сознаться, но после тридцати лет гнета, духовного унижения и страха, страха, страха я, попав под власть немцев, почувствовала себя вдруг свободной. Это звучит неправдоподобно. Ведь тут я была рабой. Да, но совершенно другого рода. Здесь не было оловянных глаз, следивших за нами столько лет, не было подслушивания, подсматривания, доносов, подозрений в несуществующих их преступлениях. Не было их власти надо мной. Сейчас я была песчинка, затерянная в этом человеческом вихре. И я чувствовала себя свободной. А ведь, по сути, я была рабой. Много было мне запрещено. Они были завоеватели, а я пленная. Но все же никто не зудел мне в уши, не кидал лозунгами в глаза, не кричал по радио и в газетах что это я — хозяйка жизни,

¹ Слава Богу.

я — раскрепощенная, я — счастливая, я — свободная, что представители власти — мои слуги! Не надо было делать вид, что ничего не знаешь о ночных арестах, о тюрьмах, о лагерях. Ах, не змирать по ночам, заслышав шум машины, остановившейся у дома! Все это описано у Солженицына, и не мне повторять. Прочтите, почувствуйте и никогда не забывайте. И вдруг всего этого ненавистного нет. Нет, и все тут! Будь что будет. А этого уже нет! И я от них свободна! Эти — чужие. Когда-нибудь пропадут, рассеются. И Гитлер сгинет. Камень, как высоко его ни кинь, а все упадет. Упадет и этот. Вот как-нибудь схорониться, сохранить жизнь детям. Родных и друзей жаль. И я, песчинка, подчинилась вихрю, меня понесшему. А понес он меня далеко.

С фронта приходили слухи о боях под Сталинградом, о продвижении наших войск. Приезжали и прибежали люди, боявшиеся этого движения. Из Элисты приехали две девушки. Их рассказы заставили меня снова ощутить это замирание сердца, страх перед какими-то облеченными властью, которые подозревают, карают, сажают в тюрьмы, расстреливают. Девушки рассказали, что Элиста дважды переходила от нас к немцам и обратно. И что партначальство и военные подвергали каре всех, кто так или иначе работал на немцев. Они зверствовали. Женщин, стиравших на немцев белье или пекших немцам хлеб, казнили и даже однажды заживо зарыли в землю. Для примера. Для науки. Наука была такова, что все бросилась спасать жизнь. С этого времени я перестала спать. Душу разедала смертная тоска. Что, что делать? Как и куда бежать? Однажды мне приснился сон. Я с детьми плыву по очень прозрачной и очень стремительной реке. Течение выбрасывает нас на чистый песчаный берег. Моя хозяйка сказала: «Спасешься». Надо было найти любой способ передвижения. Утром я услышала шум машин под горой. Большая моторизованная часть остановилась в деревне. Около всех хат стояли машины и фургоны. Навстречу мне шел немец. Я спросила его, могут ли они меня подвезти. «Куда?» Я ответила, что мне надо добраться до железной дороги. У меня уже была мысль добраться до Харькова, где жила моя тетка, очень меня любившая. «Надо спросить у шефа, вон в том доме». Шеф брился, но меня к нему впустили. Он все понял, дал разрешение и солдата, чтобы указать, в какую машину мне садиться. Пошли. Пришли к тому самому немцу, которого я встретила на улице. Он сказал, что не тащиться же мне сюда с вещами. «Покажите солдату ваш дом и завтра в шесть утра будьте готовы». Утром я проснулась от громкого крика петуха, который вскочил на открытое окно и, заглядывая в комнату, кукарекал. По сведениям хозяйки, это было хорошее предзнаменование.

Итак, мы уехали. На полную неизвестность. В чемодане у меня был отрез шерстяной материи, краски, бумага. В руках ведро, набитое кусками сала, которое я выменяла за футляр с английскими миниатюрными столярными инструментами — Федина драгоценность. Его у меня выпросил местный баянный мастер. Денег никаких. Еще хлеб. Где сестра на поезд? Очевидно, в Ростове. По дороге останавливались для еды, потом на ночлег. Сколько раз и где — не помню. Моего немца сопровождал за рулем солдат. Тогда меня очень удивляло, что все немецкие солдаты без исключения умели водить машину. У нас этого не было. И машины были у нас только для начальства. Среди дня Павлик завел нытье с одним только словом: «Сюп». Это было понятно. На ближайшей остановке солдат ушел и вернулся с котелком супа. Потом по пути нас всегда кто-то кормил, обычно те бабы, у которых мы останавливались на ночлег. В одной деревне, где мы ночевали, часть, с которой мы ехали, получила приказ повернуть назад к фронту. Мои спутники не бросили меня, а пересадили на попутную машину со строгим наказом — довезти. Это был фургон, набитый мебельным скарбом. Немцы любили таскать с собой такой скарб для уюта и комфорта в месте очередного жилья. Нас посадили в кабину шофера. Два солдата были в фургоне, а один, очень живой и забавный, звавшийся Отто, то залезал в фургон, где ему не было места, то садился на капот машины. Я вспоминаю об этом Отто, потому что он был бесконечно весел, все время шутил, пел песни, а главное — это он уступил мне свое место в кабине. Мог бы и не мерзнуть. И не с чего было распевать. Потом мы пересаживались еще раз в другую машину, но я не могу вспомнить, где и почему это произошло. Теперь мы снова сидели в легковой машине. Впереди унтер-офицер и солдат. Унтер, болезненный, желчный, все время говорил что-то солдату и мне очень сердито. Я не понимала ни слова. Он говорил на диалекте. Он был всем недоволен.

Мы приехали в Ростов. Здесь меня поместили к какой-то женщине в комнате, которую она назвала зало. Женщина промышляла торговлей на базаре. Добывала где-то муку, пекла лепешки и продавала их втридорога на базаре. Мы пробыли в Ростове две недели. Поезда здесь ходили, но сесть в них могли только военные. Оставаться тут? А чем жить? Город жил призрачной жизнью. По ночам летали советские самолеты. Бомбили. Мы снова оказались в войне. Местные жители приспособивались кто как мог. Все чем-то торговали, что-то мухлевали. Впрочем, я никого, кроме хозяйки, не видела. А ее рассказы касались только ее среды. Немцы, везшие нас, стояли по соседству. Иногда они к нам заходили. Унтер по-прежнему злобился. Солдат сказал мне, что они должны добраться до Макеевки, где станут на ремонт. Кстати, поезда там тоже ходят. Их машину возьмут на буксир. И хотя здесь уже запрещено брать с собой кого-либо из гражданского населения, он берется устроить нас, но тайно. Для этого надо было ночью, в темноте пронести вещи, сесть в машину, задернуть занавески и сидеть тихо. Мы забрались в машину и дремали, пока не загалдели вокруг немецкие голоса. Унтер и солдат сели на свои места, раздалось: «Los!» — и мы двинулись. По дороге днем остановка. Мы вышли, чтобы привести себя в порядок, и, стараясь быть незамеченными, зашли в ближайшую хату. В хате был красивый, на удивление красивый высокий белокурый офицер. Он обедал. Увидев Павлика, он принялся с ним возиться, играть. Приласкал девочку, дал каких-то лакомств и ушел. Выбрав снова момент, когда около хаты никого не было, мы вышли и сели в свою машину. Поехали дальше. К ночи остановились. Солдат нас вывел и привел в хату, где остановился унтер и еще двое солдат. Все они спали в дальней комнате, а мне хозяйка предложила разместиться в первой. Вдруг дверь открылась и вошел давешний красивый офицер. Он с недоумением смотрел на нас. Каким образом мы тоже тут? Желчный унтер что-то ему объяснил, что-то долго рассказывал. Офицер сердился. Наконец он смягчился. Оказалось, что, невзирая на приказ, в его обозе находились гражданские лица. Все-таки этот злючка нас защитил.

Наконец мы приехали в Макеевку, где я надеялась сесть на поезд. Мы выгрузились на центральной площади. Шел мокрый снег. Я сложила вещи в кучку, детей посадила на них, сверху прикрыла одеялом и пошла искать пристанище. Все дома вокруг площади были заполнены постояльцами, главным образом солдатами. Наконец одна женщина разрешила мне переночевать в очень холодной кухне. Естественно, на полу. За ночь мы очень продрогли. Утром я отправилась в комендатуру, так как мне объяснили, что здесь уже не прифронтовая зона и перемещение гражданских лиц разрешается только по пропуску. К тому же поезда в Макеевке вообще не останавливаются. Надо добираться до Юзовки. Итак, надо получить пропуск и снова пускаться в путь на перекладных. У коменданта я ждала приема около часа. К счастью, был переводчик, и я могла объяснить все толково. Но комендант был неумолим. «Какие путешествия? В Харьков? Да мы вывозим население из Харькова, там острая нехватка продовольствия. Немедленно выходите на биржу труда и начинайте работать!» Напрасно я объясняла, что я проезжая, что мне негде жить. Это его не трогало и не касалось. Таких, как я, было много. Он кричал. Я заплакала и вышла. Что делать? Ко мне подошла интеллигентного вида женщина. Она слышала весь разговор. Она тоже ленинградка. Приехала сюда накануне войны и застряла. Теперь она хочет пробраться к дочери, которая живет под Уманью и работает на сахарном заводе. Жизнь там прекрасная, тихая и удивительно дешевая. «Поедьте вместе. Рискнем без пропусков». Она приняла во мне живейшее участие. Пошла со мной. Отыскала мальчишку с санками, который взялся перевезти мои вещи. Привела меня в знакомый ей дом, к хозяйке, которая жила тем, что гнала самогон из свеклы. Она разрешила нам пожить у нее до отъезда. Кроме нас, там, как и во всех домах, были немецкие солдаты. Время от времени кто-нибудь из них входил к нам и с любопытством нас разглядывал. Я никак не могла понять, что в нас такого интересного. Оказалось, их интересовала серебряная ложка, которой играл Павлик. На ней был выгравирован вензель с короной. Этот вензель их крайне заинтересовал. «Это твое?» — «Да». Что же тут удивительного? Во многих семьях сохраняется серебро, если не лично наше, то наших родителей или наших бабок и дедов. Но для них это был признак благородного происхождения. «Feine Leute», — говорили они. Я и впоследствии замечала, что немцы трепещут и преклоняются перед благородным происхождением.

Я забыла имя и фамилию дамы, принявшей в нас участие. Мы ходили с ней по городу в поисках средств передвижения. Наконец мы нашли автоколонну, пустые фургоны которой должны были идти на запад. Чудо! Нам разрешили сесть в один из них. Отъезд завтра в шесть утра. Утром я опять подрядила мальчишку, и он отвез нас на санках. Но моей дамы не было. Она так и не пришла. Или опоздала, или раздумала. Снова я двинулась в путь, совершенно неизвестно куда. Я решила добраться до действующей железной дороги, а там пробираться в эту обетованную землю Умань, в село Христиновку, где жила дочь моей потерявшейся спутницы. Фургон вел один солдат, очень молчаливый и мрачный. В дороге мы ночевали только один раз. Было уже темно. Он остановился перед какой-то хатой и сказал: «Здесь ночевка». Мы были такие усталые, замерзшие и голодные! Хозяйка дала нам борща, и мы свалились на грязную лежанку. Засыпая, я поймала себя на мысли: «На чем мы спим и сколько народу здесь уже спало?» Утром снова в путь. Снова холод и усталость. Ночью мы въехали в Днепродзержинск. Поплутав по улицам, машина остановилась. Солдат заглянул к нам и сказал: «Мы приехали». И исчез. А что мы должны были делать? Глубокая ночь. Незнакомый город. Это не деревня, где можно постучаться в любой дом. Горожане спят за замками. Всюду темно. Надо было дожидаться рассвета, утра. Через некоторое время снова явился солдат и повторил свою фразу. Впервые за двое суток он спросил меня, куда я еду и к кому. Узнав, что ни к кому, что я пробираться в Умань, где меня тоже никто не ждет, он, не сказав ни слова, исчез в темноте. Через полчаса появился снова, сгрэб мои пожитки и велел идти за ним. Я — в одну руку сумку, в другую Павлика, Ксюша за нами с каким-то узелком, и он повел нас пристраивать. По дороге он сказал, что, когда ехал к фронту, был на постое в одной хорошей семье, туда нас и ведет. Прощаясь и благодаря его, я спросила, почему он проявил такое к нам участие (тем более, что за дорогу ни разу не произнес ни одного слова!). Он ответил, что у него тоже есть жена и двое малышей, и если бы они попали в мое положение и никто бы им не помог... Мы оказались в семье простой, приветливой и довольно благоустроенной. Отец работал на мельнице, мать — кухаркой в детском саду, откуда и прикорм. Бабушка вела хозяйство. Она говорила по-немецки. Двое детей в детском саду. Мы смогли выкупаться, перестираться и отдохнуть. Я оставила им отрез шерстяной материи, а они дали мне немного денег, пшена и сала и помогли погрузиться на поезд. Отец привел лошадку с саниями, доез до вокзала, там посмотрел вагон, шедший до Цветкова, там, увы, пересадка. Он впахнул нас в вагон-теплушку, где разместились на соломе солдаты-бельгийцы.

Так мы тащились сутки. Бельгийцы балагурили и говорили обо мне сальности, потом начали нагличать. В это время в вагон взобрался немец. Оказалось, военный ветеринар. Он был из уже отступающих, растерявшихся, отбившихся от своих частей солдат. Он кормил детей. А когда узнал, что я понимаю французский язык, на котором говорят бельгийцы, пристыдил их. Они примолкли. Потом, не помню, на какой станции, нам пришлось высадиться. Мы остались просто на путях со своим имуществом. На станции никто ничего не знал. Я была в полной растерянности. Рядом стоял эшелон, открытые двери теплушки, в ней люди, русские или украинцы. Они сказали, что их поезд пойдет скоро на запад, но куда — неизвестно. Однако меня они не пукали. Нет места. Это было учреждение, бежавшее от советских войск. Наконец какой-то железнодорожник, увидев меня, с двумя маленькими детьми стоящую в растерянности между путей, приказал им взять меня. Места действительно не было. Посередине вагона жарко топилась чугунная печка, нары в два этажа располагались вокруг нее. Устроиться можно было в самом низу около печки. Но там было не просто жарко, но так горячо, что одежда едва не затлевалась. Мы улеглись так, что я своим туловищем загораживала детей от пекла. Спина у меня, я боялась, загорится. Ночью я проснулась от нестерпимой жары и оттого, что на моей голове лежала, давя меня, чья-то голова. Все было как в тяжком кошмаре. Это была голова солдата, который ночью подсел в вагон. Он не спал несколько ночей, это было уже бегство из-под Сталинграда. Он нашел место, чтобы сесть, но заснул и свалился на меня. Он был измучен, черен, грязен. Днем на очередной остановке мы вышли из вагона и просто легли на снег, чтобы немного охладиться и отдышаться. В Цветкове пересадка. На какой поезд, где он стоит и когда придет — неизвестно. Мы провели ночь на вокзале. Я уложила детей спать на каком-то столе, а сама бродила и всех расспрашивала. Всюду маячили люди,

ходившие, расспрашивавшие друг друга. Кто сидел на вещах, кто лежал и спал. Утром выяснилось, куда надо устремляться, и все побежали. Я не могла перенести свое имущество сразу и перебиралась кучками, то есть брала две вещи, отгаскивала на пятнадцать—двадцать шагов, затем подтаскивала следующую порцию, потом все наново. В вагон пришлось громоздиться штурмом. Сначала забросила детей, потом протискивала вещи. Вагон моментально был набит людьми, преимущественно бабами. Когда все утрамбовались, откричались, успокоились, оказалось, сердобольные бабы жалели меня и детей, вытаскивали из мешков всякую снедь, кормили нас.

Наконец приехали в Умань. Здесь был уже более или менее организованный вокзал, была камера хранения, куда я сдала вещи и пошла в город искать пристанища. Мне сказали, что в городе есть гостиница. Какая-то женщина взялась довести нас, и мы пошли. Я несла на руках Павлика и сумку с едой, женщина сумку с необходимыми вещами. Дошли до гостиницы. Я обернулась, чтобы поблагодарить ее, но она исчезла. И сумка с нею. Нам дали одну кровать на троих, но мы уже приладилися спать так: Павлика клали в головах кровати поперек нее, потом наши подушки и мы с Ксюшей рядком. Все было крайне грязное. Стеганое ситцевое одеяло блестело, как клеенка, так оно было засалено. Первый мой выход был на базар. Изобилие было поразительное и цены поразительно дешевые по сравнению с прифронтовыми городами. Надо было оставаться здесь. Но здесь все же существовала карточная система. Получить карточку на хлеб и продукты, а также на жильё можно было только работая. Значит, надо выходить на биржу труда. До сих пор я была свободна от всяких обязательств. В гостинице можно было оставаться только десять дней. Единственное, что я умудрилась получить, минуя биржу, это пропуск в столовую для беженцев. Надо сказать, что через четыре дня после нашего приезда в Умань нахлынули беженцы из Орла и Воронежа, за которые уже шли бои. Ситуация в корне изменилась. Цены на базаре немедленно поднялись. Они стали такими же недоступными, как в Макеевке и других городах. За те десять дней, что я жила в гостинице, я познакомилась кое с кем из ее жителей. Но это были люди или случайные, или мне неприятные. В конце концов пришлось выйти на биржу труда. Там со мною разговаривала пожилая переводчица. Она расспросила меня о моей семье и судьбе, сказала, что может предложить мне выбор: или работа на починке дорог (немцы очень усердно чинили и прокладывали дороги, изумляясь нашему бездорожью), или работа на кухне больших авторемонтных мастерских. Там, сказала она, вы и ваши дети будете по крайней мере при еде. В первом же случае только карточки. Получив направление на работу, я пошла искать какую-нибудь комнатку у хозяев. Наконец нашла. Постепенно перетащила вещи и детей. Хозяйка, приветливая женщина, накормила нас. Потом я пошла наниматься на кухню. Повар встретил меня не слишком приветливо: «Мне не нужны принцессы. Здесь надо мыть пол». Но все же взял. Мне дали ведро и тряпку, и я принялась за работу. Этот авторемонтный парк прибыл недавно из Полтавы, где находился с момента ее завоевания и где располагался на территории какого-то огромного завода. Там была налаженная жизнь, большие кухни, жилые дома, а здесь они пристроились в маленькой кухне, проходной и на отлете от мастерских. Грязи было непроходимо много, ее несли с улицы на сапогах, и полы надо было мыть, мыть и мыть по несколько раз на день. А в конце дня мыть котлы. Военная часть, обслуживавшая эти мастерские, была австрийская. Было много и штатских из Вены и из Берлина, были штатские бельгийцы, были наши военнопленные. Было много женщин из полтавчанок. Были женщины с детьми, как я. Женщины работали на кухне, на уборке, на стирке, на ремонте одежды. Впоследствии, когда этот Heereskraftpark вернулся в Полтаву, я увидела, какое это было громадное организованное хозяйство.

Вернусь к первому дню работы. Закончив ее и очень устав, я собралась домой. Повар дал мне котелок с горячей едой и сказал: «Это для твоих детей». Подходя к дому, я увидела на дверях записку: «Besetzt» («Занято»). Значит, какие-то военные, а куда же мы? Действительно, в нашей комнате забавлялся с Павликом какой-то штатский с копной черных волос и очень черными глазами. Он извинялся и сказал, что его и его товарища расквартировали здесь, но что он найдет для нас что-нибудь подходящее и сам перенесет вещи. Действительно нашел и поселил нас в комнате, где стоял большой диван. Впрочем, хозяин не разрешил нам спать на этом диване, и мы с детьми устроились на полу. Вилли,

так звали этого черномазого, был очень славный, добрый человек. Оказалось, что он работает также в этих мастерских и прибыл из Полтавы. Сам он из Вены, где работает на большом автозаводе. А его сосед, тоже штатский, — из Берлина. При своей доброте Вилли был крайне вспыльчив и всегда объяснял это наследием от дедушки, который в припадке вспыльчивости откусил у бабушки палец. «Хорошо, что не нос», — добавлял он. Знакомясь с жизнью каждого из нас, мы рассказывали друг другу о далекой, оставленной мирной жизни, такой, впрочем, несхожей. Вскоре он так доверился мне, что признался, как ненавидит Гитлера. А ведь это было равносильно тому, как если бы мы признались в свое время кому-либо в ненависти к Сталину. Вскоре мастерские стали переправлять обратно в Полтаву. Повезли все огромное количество людей в автобусах. Всех разместили на старых местах, полтавчане пошли по своим домам. Меня поместили в маленькой мазаной хате, стоящей в центре огромной заводской территории. Одна комната с кухней — мне. С другой стороны двухкомнатная квартира для переводчицы фрау Йордан с двумя сыновьями, с третьей тоже двухкомнатная для семьи из четырех человек. Это был бывший советский бухгалтер, а здесь повар на русской кухне, его жена-фельдшерница и две девочки. Старшей, Ларисе, было уже шестнадцать лет, и ее вскоре приспособили в официантки. Были две большие кухни. Одна готовила на немцев и австрийцев, другая на русских — работающих и военнопленных. Жена повара вела прием в медпункте для русских. За все время пребывания в Полтаве (девять месяцев) я ни разу не вышла в город, за пределы заводской территории. Я совсем не знала, что делается в городе. Если у меня было свободное время, то ведь были заботы о семье. Я получала жалованье. Какое — совершенно не помню. Я даже не знаю, что я могла бы на него купить. Пищи у нас было достаточно. Я получала два пайка. Один на себя, другой на обоих детей. В зарплате я была настолько не заинтересована, что забывала ее получать, чем вызывала удивление и возмущение того немца, который вел все расчеты. Он, видите ли, не мог закрыть какие-то свои бухгалтерские записи и в дни зарплаты гонялся за мной, бранясь.

Наступило лето, и жизнь стала легче. Меня перебрасывали и на другие работы — чистить картофель, перетирать посуду, убирать казармы, мыть полы в офицерской столовой — и наконец прикрепили обслуживать троих офицеров. Нужно было утром принести им горячую воду для бритья, кофе, убирать их комнаты и чинить их белье. Двое из них оставили хорошую память о себе. Hauptmann Ланг был женат на русской и немного знал русский язык. У него была бумажная фабрика. Он был очень приличный человек и относился ко мне с уважением. Другой — обер-лейтенант Пауль Арндт. Он был владелец чаеразвесочной фирмы в Берлине. Он был необыкновенно мягок и добр, понимал мое положение и жалел меня. В Берлине у него был дом с плодовым садом. Была жена и юная служанка, которой они хотели дать образование. Впоследствии его дом начисто снесло бомбой, но женщины в это время были в бомбоубежище. Он любил читать мне письма своей жены, он помогал мне чем мог. Один раз даже заказал мне обувь в мастерской для немцев. Отдал мне несколько своих рубашек, из которых я сшила себе блузку и что-то для детей. О нем я еще упомяну. Только не надо думать, что каждый из них имел на меня претензии. Я повторяю, многие женщины жили с немцами, но никогда немцы их к этому не принуждали. Но поговорить Непг Арндт обожал. Он просил меня рассказывать о нашей жизни, такой для них непонятной, о моем детстве, о папе, о папиной страсти к охоте. Подумать только, папа был медвежатник! В Сибири он ходил на медведя с рогатиной. Арндт очень любил разглядывать фотографии, которые я таскала с собой: папа на охоте, около убитого медведя; мама — в крупных локонах и в шикарном платье; мы детьми, в нарядных платьицах с большими бантами на задку, в открытых лаковых туфельках. А мои дети вели такую же похожую на эти картинки жизнь! Ксюше исполнилось девять лет. Она нянчила двухлетнего брата. С утра надевала ему чистые трусики и выпускала на волю. Он проводил все время, бродя среди сотен поломанных машин, забирался в них, крутил все, что крутится. Иногда там и засыпал. А однажды заперся и не мог выйти. Ксюша нашла его только по его реву. Были случаи, когда он засыпал прямо на дороге или влезал в черную, на шлаке лужу и вылезал оттуда как негритенок. Тогда Ксюша в отчаянии шлепала его, тащила под холодную струю из колонки, переодевала и снова выпускала. Домик наш стоял посередине заводской территории, у дороги, по которой гоняли испытываемые после

ремонта машины У дома дорога раздваивалась, а обойдя дом, вновь соединялась. Какая была опасность! И механики, испытывавшие машины, жаловались шефу, что они никогда не знают, с какой стороны копошится на дороге маленький ребенок. Нельзя ли его убрать? Шеф просто распорядился закрыть дорогу с одной стороны. А Ксюшу обязали следить за тем, где играет ребенок. Бедная моя девочка! Ее детство кончилось в семь лет. Ей тоже ведь хотелось играть, а не только убирать комнату и мыть мальчишку. В обед дети шли на кухню и получали котелок с горячей едой. Так проходил день. Вечером являлась я с ужином, наводила порядок. День заканчивался рассказами, сказками, песенками. Книг у нас не было, и это было все, что я могла дать своим детям. Я прирабатывала какие-нибудь лакомства для детей, разрисовывая бумажные абажуры для немцев. Теперь-то я полностью работала на немцев и заслуживала кары. Эти ремонтные мастерские были огромным организмом, где, как и по всей Германии, дорожили рабочей силой, особенно дешевой, и заботились о ней по мере возможности. Нехватка в питании была в пересыльном лагере и в самой Германии, но она была также и у самих немцев. Когда я впоследствии слушала рассказы родных и знакомых, как голодно было им в своей стране, я думала, что в плену нас кормили лучше.

Вокруг меня были люди, и русские и немцы, с разными судьбами и разными характерами. Многие из них достойны быть описанными, но это было бы уже литературным трудом. Я же хочу только отметить ход событий и очень боюсь описывать литературно, художественно. Это не в моих возможностях и не в моих задачах. Люди были и хорошие и плохие. Настоящего зла мне не сделал никто, если не считать мелких гадостей, которые шли от своих же русских, вернее, украинских, женщин. Была группа кухонных работниц, относившихся ко мне с явным недоброжелательством и презрением. В этой стае я была белой вороной. «Затесалась чертова интеллигенция!» — говорили про меня. От грубой работы у меня потрескались руки, и Вилли раздобыл мне перчатки. Это вызвало возмущение «Белоручка!» — и выбросили мои перчатки. Я не хотела красть продукты. Нам с избытком хватало еды, да я и панически боялась. Немцы наказывали воровство беспощадно. Женщины же все таскали и несли домой. Я им сказала, что никогда их не выдам, но участвовать в этом отказываюсь. За это меня просто возненавидели. Одна из девушек, после того как была схвачена на месте преступления, исчезла навсегда. Однако я понимала, что это недоброжелательство скорее классовое. Была среди них и более интеллигентная прослойка, если это слово к ним применимо. Эти, наоборот, относились ко мне с почтением и удивлением, как к пришельцу из иного мира. Их умиляло, что я «малую», поражаало, что, услышав классическую музыку по радио или в офицерской столовой в записи, я обычно узнаю, что играют или поют. Только они никак не верили, что можно любить Баха или Бетховена. Как-то по радио была слышна Москва и голос Рины Зеленой. В это время она была в зените своей популярности. Я сказала, что это моя приятельница. Но тут даже мои доброжелательницы объявили, что я «брешу».

Среди немцев были два отвратительных типа. гауптман Хайнезон и унтер Чимбурек. Это были просто расстрельщики и представляли тайную полицию. Но были и очень дружелюбные, такие, как унтер Косогорский. Ему было двадцать пять лет, огромный, рыжий, с добрым детским лицом. Он был студент Венского университета, факультет филологии. Он хорошо говорил по-русски. Отец его был из русских военнопленных 1914 года, оставшихся в Австрии. Руди часто приходил к нам. С ним мы беседовали на самые разные темы. Кроме того, он собирал и записывал русские (советские) песни, и многие из них я услышала от него впервые. Жив ли сейчас Руди? В последний раз я видела его в Люблине при очень для меня опасных обстоятельствах. Мы в это время находились на последней станции на территории Польшы, куда нас притащили, отступая, немцы. Всех разместили по бесчисленным баракам бесчисленных лагерей. Теперь в этих лагерях размещались всевозможные отступающие части и их окружение: пленные, рабочие и т. д. В нашем бараке весь пол блестел от вбитых в него гвоздей. Их шляпки блестели, как чешуя. Никто не мог мне объяснить, что это такое. Говорили, что у евреев есть поверье читать либо заклинание, либо молитвы и вколачивать гвоздь, чтобы умилюстить судьбу. Не знаю, так ли это. Но было в этом нечто зловещее и тоскливое. Сердце сжималось. Настал момент, когда администрация поняла, что таскать за собой такое количество женщин с

детьми уже невозможно. Среди детей начались болезни. И нас передали в другой лагерь, пересыльный, откуда переправляли рабочую силу в Германию. Там шла сортировка на работоспособных и неработоспособных. Горе было этим последним, их уничтожали. Об этом лагере скажу еще позже. Так вот, туда пришла однажды «вольная» русская женщина, полтавчанка. Она узнала, что среди военнопленных, работавших в мастерских, находится ее брат, но она не знала, где расположен их лагерь. В этот день я собиралась пойти в город за очками. Я достала пропуск на выход и предложила женщине довести ее до лагеря и до барака военнопленных. Там мы и распросим. В проходной стоял солдат, знавший меня, но не знавший, что я уже переведена в пересыльный лагерь и больше у них не работаю. Мы свободно вошли. В бараке военнопленные меня окружили, почти все меня знали и беспокоились за нашу судьбу. Вдруг чья-то тяжелая рука вцепилась мне в плечо, это был Чимбурек. «А! , шпионишь!» – заорал он. Схватил нас и потащил куда-то. Привел в барак унтер-офицеров, там был телефон. Он стал звонить начальству. Он разговаривал с фельдфебелем Томером который впрочем, меня хорошо знал. Это был интеллигентный человек в мирной жизни учитель. Чимбурек орал, что он поймал шпионку и ведет их в гестапо. Ужас оледенит мне душу. Я оглянулась и среди унтеров увидела Руди, совершенно бледного. Он-то понимал, в какой я опасности. Я закричала «Руди, скажите, что это неправда!» Но Руди струсил. Он закрыл лицо руками и отвернулся. Да что значили бы его слова? Бедный Руди, я не виню его за это. Чимбурек повел нас к выходу. Там он толкнул нас в спину и сказал «Убирайтесь к дьяволу!» Вот это был момент, когда я стояла на краю пропасти. Но мой ангел-хранитель был рядом со мной. Я рассказала об этом, вспоминая, что и страшные люди были рядом с нами.

До Люблина было долгое и трудное движение от Полтавы. Осенью, когда немцы начали отступление, было приказано отступать и мастерским. Нас грузили на автобусы, вещи на отдельный грузовик, и снова мы в пути. Мы ползли, то останавливаясь на ночлег, то располагаясь на несколько недель в каком-нибудь городке, а то и большом городе. Так, мы больше месяца провели в Киеве, где жили в большом корпусе на пятом этаже. Стекла в нашей комнате были выбиты, и я вечно дрожала за маленького. Дети опять вели самостоятельный образ жизни. В Заславле разыгралась драма. Девушка по имени Галя, такая же Putzfrau², как и я, добровольно нанялась в Полтаве в мастерские, так как ее муж Василь был среди военнопленных. Это была очень красивая пара. Василь вскоре стал Hiwimann. Я не знаю, как расшифровать это слово. Это были военнопленные, которым немцы доверяли. Они носили немецкую форму, но были безоружны, делали более квалифицированную работу и не были под стражей. Галя, полтавчанка, когда надо было сниматься с места в Заславле, решила дальше не ехать. Накануне нашего отъезда, дня за два, Василь не вышел на работу. Немцы бросились искать его. Трое, Чимбурек во главе, пошли на квартиру, где жила Галя. Василь был там. Увидя немцев, входящих во двор, он спрятался за печкой. Он был уже в штатском. Его схватили и повезли к казармам. Когда выходили из машины, Василь бросился бежать в лес, на край которого стояли казармы. В лесах вокруг Заславля были партизаны. Несомненно, Василь был с ними связан. Он знал, что в любом случае ему не миновать смерти, и рискнул бежать. Его уложила автоматная очередь. Галя была вне себя от горя. Ночью она бродила по лесу, отыскивая место, где его зарыли. Она погубила себя тем, что в разговорах с людьми клялась отомстить за Василья. В день отъезда, когда машины уже отъехали на несколько километров, колонну вдруг остановили. Чимбурек с двумя солдатами повернул назад. Они доехали до дома, где жила Галя, нашли ее и застрелили. Страшное, темное лицо фашизма глянуло на нас так близко. Оно было рядом...

Мы ежедневно общались с простыми немецкими людьми, захваченными машиной войны. Они добросовестно выполняли свою работу и никогда не смели судить или критиковать Гитлера. Все было точно так же, как у нас. Мы ведь тоже прошли эту школу. Разговаривать о том, что происходит вокруг нас, мы решались только в очень близком кругу и шепотом. Любое неосторожное слово губило людей. Доносительство считалось заслугой. Мы не смели протестовать. А ведь мы знали, что происходит вокруг, какой кровью ни в чем не повинных людей залита страна. Когда я думаю, безнравственна ли была моя жизнь бок о бок с

² Уборщица.

завоевателями немцами, я отвечаю: безнравственна, но так же безнравственна, как моя жизнь — без протеста, с овечьей покорностью, закрывая глаза на те злодеяния, которые творил Сталин. Ведь если Гитлер уничтожал людей, признанных им в его безумии чужими, ненужными, или идейных, активных противников, то наш уничтожал своих, да еще лучших, умнейших, цвет интеллигенции, не поднимавших голоса против него. Не забудем и о миллионах малых народов, изгнанных со своих земель и погибавших в тяжких условиях, о миллионах простых, ни в чем не повинных людей, загнанных в тюрьмы и лагеря, расстрелянных или подвергавшихся пыткам. И мы жили бок о бок с этим! И люди внимали его бредням, хлопали в ладоши, на демонстрациях трясли красными тряпками, прославляли! И никто не назвал нас негодьями за то, что мы молчали! Разве это зло, творимое безумным параноиком, было меньше того, творимого другим безумцем? И все черные силы и на той и на другой стороне всплыли, как вонючая пена. Одни назывались так, другие иначе национал-социалисты или коммунисты. Но суть-то была одна! Под сапоги тех и других были брошены простые люди, простые пешки, песчинки в вихре. Почему я должна была осуждать одну сторону больше, чем другую? И я оставила себе как высшую ценность простые человеческие отношения. Те, где мы все были равны. Те, где не было одинаково для меня презренных градаций «только для немцев» с одной стороны, и без числа ограничений спецпропусков, спецлечебниц, спецмагазинов, высоких заборов, отгораживающих властителей и их чванные семейства. — с другой. Да, эту сторону приходилось ненавидеть и презирать оошше. Ведь это была моя злая родина. На ней и так я присуждена жить до смерти, а потом мои дети и внуки. Это заставляло болеть сердце. Вот и судите меня как хотите. Так было. В одном только я чиста: никогда ни на одной стороне я не общалась с властью имущими или с людьми, у которых руки в крови. И еще есть у меня маленькое утешение на старости: я никогда, ни разу не вышла на принудительную демонстрацию, я ни разу не подписалась ни на заем, ни на газету, я не посещала собраний — значит, не голосовала за осуждение многих, я не имею пенсии. Я — никто!

Длительные остановки были в Киеве, Заславле и наконец в Люблине. Подъезжая к этому городу, мы видели бесконечную колючую проволоку, а за ней бараки. Вот в одном из таких бараков разместили нас. Спим просто на полу на соломе. Пол, о котором я уже писала, весь в шляпках гвоздей. Нас, женщин, было восемьдесят человек. Некоторые с детьми, что становилось обузой. Шеф, который любил таскать за собою огромное хозяйство, заболел и был демобилизован. Новому ясно, что все это груз, который при бегстве бросают. И первое, от чего он освобождается, это женщины с детьми и те женщины, которые не представляются ценными как работники. И он отправляет всех нас в *Übergangslager* (пересыльный лагерь). Нас перевозят. В новом лагере чуть-чуть «комфортабельнее». Есть нары и не холодно. Со мной рядом оказывается милостивая пухленькая девица, тоже из мастерских, ее зовут Анели Била (Белая). Я пишу о ней, потому что, когда нас готовили к пересылке в Германию, она умолила меня сказать, что мы двоюродные сестры, для того, чтобы нас не разделили. Надо сказать, что при всей той жестокости, которой подвергались люди, немцы уважали семейные связи. Семьи не разделяли, и так Анели была отправлена вместе с нами. Хитрая хохлушка, прибыв в Германию, объявила, что она по крови немка. Отец, Вайс, сослан, а они быстро переменяли фамилию на Белый. Не знаю, сколько здесь было правды, но ей эта затея удалась. Надо было еще достать свидетельские показания, и она рассчитывала связаться с фрау Йордан и с кем-нибудь из оставшихся в мастерских девушек немецкого происхождения, так называемых *Volksdeutsch*. Но и до получения этих подтверждений она была выделена в смысле отношения к ней. У нее был возлюбленный, солдат-австриец из Бад-Ишля, и она ждала помощи и от него. Впоследствии она списалась с его родителями, и они взяли ее к себе. Я посадила ее в Лейпциге на поезд и с тех пор ничего о ней не знаю.

Мне было страшно, когда нас подвезли к воротам этого лагеря. Они громко и угрожающе захлопнулись за нами. Потом вторые ворота. Теперь мы были в настоящем плену. На другой день приехал Арндт. Он был в отчаянии, всплескивал своими короткими ручками. Он говорил, что просил шефа отпустить нас и оставить в Польше. Но тот доказал ему, довольно разумно, что в Польше, где так ненавидят русских (чистая правда), нам останется только погибнуть без крова

и пищи Арндт хотел чем-нибудь помочь нам Вот тут-то он, самолично сняв мерку с моей ноги, заказал мне полуботинки и привез их через несколько дней Он говорил, что, если бы не то, что его дом полностью разрушен бомбой, а его жена и служанка эвакуированы, он выхлопотал бы меня к себе якобы на роль садовника в его сад Он дал бы мне маленькую квартирку на втором этаже своего дома, а моим детям дал бы образование Он оставил мне адрес своей жены и просил писать ей, как сложится наша судьба Жене он и раньше писал о нас, и впоследствии я с ней переписывалась, и эта история имеет еще небольшое продолжение Здесь, в этом лагере, долго людей не задерживали Надо было проходить врачебный осмотр, который определял работоспособность У немецкого врача был помощник, наш военнопленный-врач Он жалел нас и придерживал нашу отправку, пометая в моем деле, что болен ребенок Мы с ним вообще много разговаривали «Пока вы не переехали границу, вы — русская с минимальными правами В Германии вы — в полном смысле бесправная раба» Но однажды он сказал, что больше не может меня задерживать, и пришлось уезжать

Теперь мы движемся под надзором военных Нас грузят в вагоны, из которых мы не имеем права выходить Это уже нечто совсем другое Перед глазами мелькают названия городов Катовицы, Сосновицы Это еще бывшая Польша, теперь Германия Наконец — Германия На перроне люди в штатском, женщины, опрятно и по моде одетые, тонкие чулки, хорошо вычищенная обувь В домах чистые окна, стекла блестят Это мелочи, но они поразили мой взгляд Идет война В Германии, как и везде, нехватка пищи, одежды, все рационировано, но все так чисто и так не похоже на русскую действительность Когда у нас появились первые немецкие солдаты, мы увидели, как они экипированы Ноги в шерстяных носках, крем и пудра для ног, одеколон после бритья, маленькие хозяйственные мелочи и т п И это после наших бедных парней, у которых ноги сопревали в грязных портянках, с пальцев слезала кожа, от ног шел нестерпимый запах в рубахах вши, мыло если и было, то простое, хозяйственное, табак плохой, голодно Эта разница поражала Но было и сходство, почти тождество Искусство Искусство на службе у пропаганды Скульптура — те же мощные человеческие формы, гордые повороты головы, широко расставленные, подпирающие землю ноги Те же мощные матери с младенцами, полногрудые, уверенные в своем и дитяти будущем Те же образы и приемы в монументальной живописи и в плакате Бахвальство, выпяченные груди, гусиный шаг Как прекрасно этот гусиный шаг украшает теперь наши церемониальные марши! Как они (и мы! и мы!) любили церемонии, торжества, как умели их организовывать! Какая дисциплина! Какая четкость движений! Фестивали! Олимпиады! Тысячи людей, тысячи рабов Восторг и умиление! Аплодисменты! Но, кажется, я запуталась Куда это меня понесло? Мы — в Германии Нас привезли в город Хемниц, ныне его тяжелое название — Карл-Маркс-Штадт В лагерь, затем в санобработку, потом в «чистый» лагерь С нами ехала и семья фельдшерицы, которая и тут сумела устроиться комфортабельно хотя и на таких же как мы, нарах, но со всеми своими перинами сверкающими пододеяльниками и пр Они везли очень много багажа и это очень поощрялось немцами А мы-то были настоящими голодранцами!

Был уже конец зимы Павлик вырос из всех одежек. Обуви не было вообще, и ему приходилось сидеть либо на нарах, либо у меня на руках В пути кто-то дал мне пару старых чулок, и я соорудила ему чулочки Штанишек тоже не было, и я заворачивала его в одеяло Мы заняли двое нар наверху, внизу под нами пара французов-молодоженов Три стороны своего ложа они задрапировали одеялами устроив таким образом гнездышко где непрерывно предавались утехам любви Эта француженка предложила мне в обмен на сало шерстяную вязаную кофту У меня появилась обновка Вскоре нас снова погрузили в вагоны и отправили на биржу труда в город Риза Здесь в большом зале всех разместили таким образом впереди со всеми вещами семьи с несколькими детьми (в большинстве это были поляки), дальше небольшие семьи — по двое, по трое, — потом одиночки Директор биржи отвел нас в сторону Опять начались расспросы кто я, как попала сюда Анели была с нами Директор расспрашивал меня о моей специальности и что я могу делать Узнав, что я художник, сказал, что может направить меня на один из фарфоровых заводов Ведь мы были в Саксонии Но я умоляла его только не в город Я знала, что русские рабочие живут в лагерях, лишены всякого передвижения, города бомбятся. В деревне же.

как мне рассказывал один немец, гораздо привольнее и безопаснее. Я просила направить меня в деревню. Но я не знала никаких сельских работ и выглядела вполне для этого непригодной. Он поставил нас в стороне и сказал, что подумает. Вскоре начался «торг невольниками». Приезжали крестьяне, предприниматели, просто люди, нуждавшиеся в рабочей силе, и выбирали себе подходящего раба. Организовано было так: все, кто хотел и имел право на таких рабов, подавали заранее заявление, и перед приходом очередной партии им рассылали открытки или звонили по телефону, и они являлись на биржу. За день были разобраны все. Нас оставили до утра. Водили в какую-то столовую, где накормили. Спать мы устроились на учрежденческих столах. Вечером пришел директор, принес детям по булочке и сказал, что надеется подыскать нам что-нибудь подходящее. Утром нас снова отвели напоить кофе и накормить. Днем директор пришел с высоким губастым человеком и показал ему нашу семейку. Тот сказал: «Подходит» — и мы поступили в его владение. Это был деревенский сыровар. Для нас это был счастливый вариант. Производство сыра не требовало особой физической силы, и это была деревня. Деревня называлась Колльмен. Нас встретили фрау Леман, молодая женщина с неприятным лицом, и их десятилетняя дочка Ханна. Все были любезны и приветливы. У них был большой двухэтажный дом во фруктовом саду. Во дворе огромный погреб. Во втором этаже квартира хозяев и часть сыроварни. Внизу — в одной части тоже сыроварня, в другой комнатки для рабочих. В сыроварне работал молодой француз из военнопленных. Он замешивал в бочках массу — творог с чем-то. Но жил он не здесь, а в казармах. В одной крошечной комнатке размещались мы на двухэтажных нарах, в другой — пятнадцатилетний француз Андре. Старшая и опытная работница — немка фрау Хохмут. Вот и все. Вставать в шесть часов утра. Хозяйка приходила нас будить. Поднимались наверх, в хозяйскую квартиру, где нас поили ячменным кофе без сахара, с тончайшим ломтиком хлеба с сыром. Работа до девяти. В девять завтрак тем же самым. Затем в двенадцать часов перерыв и обед. Потом работа до пяти часов. Ужин в семь. Кормили плохо и очень мало. На обед какой-нибудь Eintopf — густой суп из овощей с крупой, — по воскресеньям мини-кусочек жареного мяса. На ужин блюдо картофеля в шелухе и кварк — творог, разведенный молоком, с солью и луком. Когда (очень быстро) картофель был расхвачан и съеден, Андре говорил, отдуваясь. «Je m'étouffe» («Я задыхаюсь»). Пьер мрачно молчал. Андре был чрезвычайно доволен тем, что я говорю по-французски, и тараторил без конца. Он был, как он сам говорил, из «дурного семейства». «Мы все наполовину бандиты» — это про своих братьев. Он был хорошенький, нахальный и очень забавный. Наши любезные хозяева часто вlepляли ему затрещины. На другой день после нашего приезда пришла старенькая женщина. Она услышала, что привезли раздетых детей, и принесла одежду для Пазлика. Одежда осталась от внука и хранилась много лет, а теперь этот внук убит на войне. Она плакала и вздыхала, какие звери русские. Я рассказала ей о судьбе евреев, хотя нам при переезде в Германию строго предписывалось никакой болтовни о том, что делается в России. Она смотрела на меня своими чистыми, полными слез голубыми глазами: «Да, но ведь это были евреи». Однако здесь никто не знал страшной правды. Здесь, в Германии, никто ничего не знал. Разве то, что евреев выслали из страны. Удивительно дисциплинированный народ! «Запрещено» — слово святое. Было запрещено знать, рассказывать, слушать чужое радио, и, представьте, радиоприемники не конфисковывались, как это было у нас. Просто запрещено слушать, и этого достаточно. Впоследствии мы все же слушали передачи из Люксембурга на французском языке. Из них мы знали о продвижении союзнических войск. И нам довольно было сказать хозяину (правда, уже другому), что это немецкая передача для французов-военнопленных. Ведь нельзя же было представить себе, что мы слушаем что-либо недовозлюбленное.

Деревня, в которую мы попали, была очаровательна. Масса фруктовых садов, опрятные, как будто игрушечные домики, кирха на маленькой площади с фонтаном. Вокруг поля и леса. Недалеко река Мульда. Мне было приказано явиться к бургомейстеру и получить знаки — отпечатанные белым на синей ткани буквы «OST» — и нашить их на всю нашу одежду. Бургомейстер молодой, но уже многолетний — семеро детей. Когда его русская работница забеременела от соседского работника-поляка, он скрыл ее беременность. А ведь русским было строго запрещено рожать, всех посылали принудительно на аборт, даже

если была восьмимесячная беременность. Он сказал: «У меня их семеро, никто и не заметит, что появится восьмой». Когда мы пришли, он сидел за столом и что-то писал. Павлик подошел к нему и просунул свою голову ему под руку. «Ты кто?» — спросил бургомистер ласково. «Пауль», — был ответ. Так состоялось знакомство. Он выдал мне целый метр материи с надписями. Разрезай и нашивай. Но я сказала, что никогда не буду носить эти знаки. Он погрозил мне пальцем. Вот и все. Живя в деревне, да еще с таким начальством, легко было не носить этого знака. И я ни разу его не надела.

Однажды, увидев, что я что-то рисую, Андре сказал мне, что у него есть знакомый француз-краснодеревец. Он в свободное время изготавливает маленькие шкатулки и хотел бы, чтобы кто-нибудь украшал их рисунками. Андре привел этого «старика», как он сказал. «Старику» было сорок лет, звали его Робер. Я рисовала ему, и такую шкатулку купил однажды Пьер. Жаль, я тогда не имела никакого опыта и не покрывала эти рисунки лаком, чтобы закрепить. Мы подружались. Робер работал на небольшой фабрике, стоявшей в двух километрах от нашей деревни. Там же работали и жили в маленьком бараке еще три француза. Они были прикреплены на питание в гастхаузе нашей деревни. Деревня, в которой есть гостиница и ресторан, — такое встречалось нам только в литературе. Выглядело все это очень уютно. Перед рестораном маленькая площадь, на ней столики под деревьями. По вечерам местные жители собирались здесь потолковать за кружкой пива. Войны здесь не было слышно. Позже в воздухе проносился на Лейпциг американские бомбардировщики. А потом были видны отсветы пожаров. До Лейпцига от нас сорок километров. Пиво не ограничивалось, было вкусное, особенно темное, которое пили и мои дети. Французы очень оживляли общество. Двое из них ухаживали за местными девицами-немками, хотя это было запрещено. Робер, для которого было радостью то, что я говорила по-французски, относился к нам с преданностью, вечной готовностью защитить, помочь, позаботиться о детях. С ним можно было поговорить, почитать вместе, погулять всей семьей. Такая поддержка нужна была и мне и детям. Он делился с нами всем, что получал от Красного Креста и из дома. Все пленные, кроме наших бедняг, получали посылки от Красного Креста. Но наши гордые и, главное, сытые правители заявили, что «у нас пленных не будет». Как же проклинали их наши пленные! Ведь их кормили хуже всех остальных. В нашей деревне в домике на окраине жили десять человек — русских пленных. Их возили на работу в карьер, где добывали камень. Общаться с ними было запрещено. Я встретила с ними только в конце войны, когда их освободили. Они очень скоро покинули деревню. Многие перешли на Запад.

Вскоре отношение ко мне хозяйки стало меняться. Я ее почему-то раздражала. Даже стук моих сабо ее раздражал. Она стала все чаще делать мне замечания, придирается ко мне. То, что приходил Робер, тоже ее бесило. Я пошла к местному начальству, Кюнстлеру, не помню его чин, это был, видимо, политический надзор за деревней. Первое, что он меня спросил, — хорошо ли со мной обращаются хозяева. «Если что-нибудь будет плохо, скажите мне». Тогда это меня удивило. Но впоследствии я поняла, что он имел в виду. Я просто спросила его, на что я имею право и на что нет. Он сказал: «Очень мало, на что имеете право». «А может кто-нибудь приходиться ко мне?» — «А о ком идет речь?» Я назвала Робера и получила утвердительный ответ. «А как с поездками по железной дороге?» — «Не имеете права, но если в вас никто не заподозрит русскую, то можете». Вот каково было наше начальство. О нем было известно, что он член нацистской партии так же, как хозяин гастхауза. Впрочем, фрау Хохмут говорила мне по секрету, что этот Кюнстлер — коммунист. Вот и пойми. И я, в общем, держала себя не как раба. Конечно, это было возможно только благодаря всей атмосфере этой деревни. Но это, видимо, было исключение.

Случилось так, что Ксюша стала прихварывать. Болел живот. Я собиралась с ней в Ризу к врачу. Сказала об этом хозяйке. Была суббота. «Вымыть прежде полы!» — приказала она. Я сказала, что вымою, когда вернусь, и пошла к себе в комнату. Через минуту врывается хозяин. «Как ты смела хлопнуть дверью перед моей женой? На, получай!» — и оплеуха свалила меня с ног. «Получай! Получай! Получай!» Я только успела крикнуть детям: «Убегайте!» Они выскочили через окно, увы — на цветочную клумбу, что добавило бешенства моим хозяевам. Она была тоже уже здесь. Пинками и ударами они вытолкнули меня во двор, где стали избивать вдвоем. Особенно неистовствовала она. Я лежала на земле, а они

били меня ногами и палкой. «Сожри свои красивые зубы!» — кричала она, подавая мне ногой в лицо. Я потеряла сознание. А в это время во двор вбежал бургомистер, а за ним и Кюнстлер. Это Ксюшенька догадалась, куда надо бежать за помощью. Она кричала им: «Мою маму убивают!» Леманы, оказывается, и раньше били своих рабочих и прислугу, даже немецких. Вот на чем был основан вопрос Кюнстлера. После этого события Леманы притихли, меня перевели к соседу-крестьянину. С этим стариком мы уже давно завели дружбу. Дети постоянно играли у него во дворе, помогали ему кормить кур и гусей. Старика дети забавляли. Анели тоже постоянно проводила там время. У старика была жена и батрак. Хозяйство было маленькое и никаких современных нововведений. Дом его был построен еще его прадедом. Перед домом хозяйственный двор, а сзади дома большой фруктовый сад. Еще один сад в километре от дома, на краю леса. Пять коров, волы вместо мобилизованных лошадей, три свиньи и птица. Обоим было по семьдесят пять лет, а он к тому же хром после ранения в войну 1914 года. Им очень нужна была работница, и они уже давно говорили мне, как было бы хорошо и мне и детям, если бы я работала у них. Нам отвели большую светлую комнату на втором этаже. Две широкие деревянные кровати с перинами, стол, три стула и шкаф. Комнаты наверху не имели никакого отопления. Зимой поначалу это пугало, потом привыкли, тем более что все время проводили внизу. Потолки были такие низкие, что Робер постоянно стучался головой об потолок, если ее не нагибал. Это старинная немецкая крестьянская экономия — меньше строительного материала, а комнаты наверху все равно только для сна. Внизу была столовая, где и проходила вся жизнь вокруг большого стола под лампой, и гостиная, где стояла мягкая мебель, стенные часы и висели ружья хозяина. Как это не походило на нашу русскую деревенскую жизнь! К столовой примыкала большая кухня с каменным полом, водопроводным краном. большим, отдельно топящимся котлом, где грелась вода, кипятилось белье и варилась свинина, когда делались колбасы. Саксония. Впоследствии люди, эвакуированные из Восточной Пруссии, говорили мне, что саксонская деревня поразила их отсутствием цивилизации. Конечно, мой хозяин, мой майстер — кстати, звали его Рихард Финдайзен, — был и среди саксонцев уникален. Он не заводил никаких новшеств. У него не было трактора, молотилку крутили ручным способом; не было водяного отопления, как у других, водопроводный кран только на кухне; о ванне никто и не думал, была большая переносная ванна, но за ненадобностью она стояла на чердаке, наполненная водой на случай пожара. Сами старики никогда не мылись, разве что в воскресенье перед церковью старуха, не снимая сорочки, обтирала себе шею губкой. То же самое и майстер. Я ни разу не видела, чтобы старуха мыла голову. Хозяин иногда мыл ноги в посудном тазу, велел обрезать ему ногти кухонным ножом и вытирал ноги посудным полотенцем. Такой нечистоплотности в наших деревнях нет. Однако и эта примитивная жизнь имела по сравнению с нашей много не виданных нами даже в городе усовершенствований. Хотя бы стиральные порошки. Ведь до войны мы их не знали. Здесь они были рационированы, как и мыло, но были. Радиоприемник, электричество и водопровод в каждом деревенском доме. Опрятные постели с чистейшим бельем. Выписывалась газета. Когда-то, когда росли дети, читались книги. Я нашла на чердаке хорошо изданный томик Гейне и сказки братьев Гримм. Они стали первой книгой Павлика. Все начиналось. «Es war einmal ein König...»³ — и даже приехав в Москву, в разгаре сталинского террора он во дворе изображал короля и требовал, чтобы я сделала ему корону. Сейчас у детей принцы и принцессы в моде, тогда же это возмущало.

Итак, началась наша деревенская жизнь. Старик был очень доволен мной, а мне было очень и очень тяжело. Однажды я подавала вилами на сеновал Курту снопы. Бывали моменты, когда я думала, что вот сейчас упаду от усталости. Тяжело было и вязать снопы. Но однажды, когда Курт возил на поле навоз и раскладывал его кучками в идеальном шахматном порядке, а я должна была его разбрасывать вилами возможно ровнее, я получила сначала похвалу Курта, а потом рукопожатия и поздравления хозяина. Он был в восторге от моих успехов. Были и приятные работы вроде сбора фруктов, были и очень непривычные, например, стоять с вилами посередине навозной дымящейся кучи и подавать его Курту на телегу. В это время я часто вспоминала далекие времена, далекую жизнь интеллигентной девочки, уроки музыки, прекрасные книги, позже уроки

³ Жил-был король однажды...

живописи... Неужели все это было? Все как в тумане. Но все же я находила прелесть и в этой жизни. Дети целый день на воздухе, мы не голодны, по окончании работы занимайся чем хочешь. После работы приходил Робер, играл в шахматы с хозяином. Мы слушали Люксембург, читали или шли всей семьей гулять. Хозяин был крайне к нам снисходителен. Увидев у меня портрет моей мамы, он попросил разрешения повесить его в столовой над его креслом. И когда приходил кто-нибудь посторонний, он неизменно указывал на этот портрет, приговаривая: «Это ее мать.— Кивок в мою сторону.— Вы можете этому поверить? Благородные люди!» («Feine Leute!»)

Я писала выше, что история с Арндтом имела свое продолжение и после Люблина. Еще задолго, будучи на Северном Кавказе, я увидела в руках у немецкого солдата журнал. Последняя его страница была посвящена карикатуре. Я прочла: «Leo von Malachowski lacht» («Лео фон Малаховски смеется»). Я замерла. Этот Лео был Лева Малаховский, с братом которого, Брониславом, оставшимся в России, я была связана самой тесной, самой близкой дружбой. Его жена Муся, Мария Валентиновна, и ее сестра Ирина Валентиновна Щеголева были моими ближайшими подругами. Обе они отличались необыкновенной красотой. Бронислав Брониславович Малаховский, или Слава,— очень известный в России карикатурист и художник-иллюстратор. Его мать в двадцатых годах эмигрировала вместе с младшим сыном Левою, а Слава, по идее, должен был приехать к ним, окончив Академию художеств. Но судьба решила иначе. Его не выпустили. Он женился на красавице, был счастлив и процветал как талантливый художник. Благодаря жене и ее сестре вел светскую жизнь. Сестры были не только хороши собой, веселы и остроумны, но и любили утехи светской жизни. Приемы, выходы на приемы, литературно-художественная среда, знакомства с выдающимися литераторами, такими, как Маяковский, Толстой, Зошенко, Федин; знакомства, увы, с некоторыми иностранцами; приглашения в иностранные миссии на приемы; дружба с семьей голландца Пельтенбурга, женатого на русской актрисе и представлявшего в Союзе большую торговую фирму. Шел 1937 год. Только при нашей потрясающей беспечности мы не думали о последствиях такой жизни. И развязка наступила. В то время как Слава с семьей отдыхал в деревне, к нему на квартиру нагрянули с обыском. В доме ничего не нашли. Славу схватили в деревне. Больше мы его никогда не видели. Вскоре он был расстрелян. Об этом узнал Толстой, который отказался за него вступиться. «Ты же хорошо знаешь Славу»,— говорили ему. «Мало ли с кем я в одну ямку писал»,— отвечал он. Мусеньку выслали. Детей взяли к себе и впоследствии усыновили Ирина Валентиновна и ее муж, Натан Альтман. Как будто смерч пронесся над этой счастливой, веселой и красивой семьей. Мать Славы Екатерина Львовна ничего этого не знала. Никто из нас в то время не решился бы ей написать. Она продолжала писать в пустоту. И вот передо мной журнал, имя Левы, адрес редакции. Я должна была сообщить им о случившемся. Я написала, но никто из немцев не взялся переслать по военной почте письмо, написанное по-русски. Позже, когда я рассказала эту историю Арндту, он взялся за это дело. Один из солдат ехал в отпуск в Берлин, и Арндт поручил ему во что бы то ни стало найти адрес Левы и переслать письмо. Как это ему удалось, не знаю, ведь Лева с матерью в какое-то время переехал в Стокгольм, и они жили у сестры Екатерины Львовны, знаменитой певицы Скилондз-Андреевой, кстати, дружившей со шведским королем. Позже, переписываясь из деревни с фрау Арндт, а через нее с ее мужем, я узнала, что у него есть для меня письмо от Екатерины Львовны, но переслать это письмо, написанное по-русски, он не решается. Так мать узнала о судьбе сына и его семьи. В шестидесятых годах, когда стал возможен туризм, Екатерина Львовна и Лева приезжали в Россию и познакомилась с детьми Славы и внуками. Я не пошла познакомиться с Екатериной Львовной. Вокруг нее и так вился клубок родственников. Она не хотела говорить о Славе. Она только передала мне, что то мое письмо получила. А Мусеньку, жену Славы, она так никогда и не увидела. В 1948 году, когда Муся жила под Москвой, ее схватили, а через две недели она умерла, о чем сообщили из Лефортовской тюрьмы только через два месяца. Можно догадываться, можно строить самые страшные предположения. И самые страшные могут быть правдой. Ей было сорок четыре года, и она была здорова.

Но надо вернуться к жизни в деревне Колльмен. В тихую деревенскую жизнь с таким размеренным ритмом время от времени врываются звуки войны.

События на фронте менялись, немцы отступали. Геббельс выступал по радио с истерическими воплями. Над деревней пролетали косяки американских бомбардировщиков. Бомбили Лейпциг. «Наше» радио приносило радостно-тревожные вести. Но ни хозяин, ни батрак не выражали ни малейшей озабоченности. Они, как все вокруг, усыпленные громкими словами пропаганды, нимало не сомневались в том, что с русскими будет покончено. А жизнь шла своим чередом. Сельские работы требуют постоянного внимания. Я вставала в шесть часов утра и шла чистить коровник. Когда я вошла туда впервые, я очень трусила. Все пять коров повернули ко мне головы. Я должна была взять на вилы и аккуратно сложить на тачку все лепешки навоза, всю мокрую солому. Впрочем, она была не так уж мокра. Коровник был устроен так, что на уровне хвостов (а коровы стояли хвостами к входящему) шел желоб, по которому коровья моча стекала в люк. Посередине шел каменный настил, как бы тротуар. Коровы были по две его стороны. По настилу я выкатывала тяжелую одноколесную тачку и сваливала все в общую навозную кучу. Раздавала коровам корм и шла завтракать. Приходили дети. Хозяйка сама доила коров, и очень рано, а Курт отвозил молоко в цистернах на дорогу, где стояла платформа, на которую все крестьяне ставили свой удой. В восемь часов приезжал сборщик молока. Когда он возвращался и ставил цистерны обратно, в них было то количество снятого уже молока, которое полагалось крестьянам по рациону. Никогда хозяйка не позволила себе утаить хоть пол-литра цельного молока. Дети получали молоко по карточкам в местной лавочке. Павлику полагалось пол-литра, а Ксюше четверть литра. Масло мы все получали по карточкам, также маргарин и сахар. Сахар хозяйка забирала в общий котел. Кофе пили без сахара. Зато в субботу пеклись обязательные сладкие пироги с яблоками. Их готовила хозяйка, а я относила к местному булочнику, где эти пироги пеклись в огромной печи. Вечером я их забирала. Хлеб получали по карточкам, каждый свою долю. Мне полагалась большая хлебина на неделю. Нам всегда было маловато. Это крайне удивляло Робера. Он находил, что мы слишком много едим. Я была в это время очень худая, но он находил меня «толстенькой». Наша деревенская жизнь текла размеренно и однообразно. Я была спокойна, на какое время — неизвестно. Если бы не было страшного прошлого и неопределенно-страшного будущего! Я тяжело и непривычно работаю. Но сейчас все работают много и тяжело. И я стала привыкать к этой работе. Зато дети живут вдали от войны, они целые дни на чистом воздухе, они едят сколько хотят фруктов. Жизнь около стариков такая мирная. Войны как будто и нет. Мне иногда даже стыдно, что мы укрылись от тяжелой действительности. Прошлая жизнь отодвинулась, стала сном. Была семья, любимые друзья. Где все это? Арндт пишет, что у него должна быть командировка в наши края и он обязательно заедет хоть чуточку вздохнуть и опомниться от ненавистной войны. Он-то понимает, что наш вариант наилучший из всего того, что могло нас ожидать. Но он не приехал и больше не писал. Herr Paul Arndt, живы ли вы? И где вы? Или кто-нибудь, кто вас знал. Мы ведь стали глубокими стариками. А помните Рождество в Заславле? В нашей пустой комнате, где не было даже кровати и мы с детьми спали на сеннике, на полу. Однако был стол и два стула, на которые мы посадили гостей — фрау Йордан и вас. Была маленькая елочка со свечками. Вы сказали, что хотите быть Дроссельмайером, и принесли детям подарки — Ксюше деревянную колыбельку для куклы, Павлику деревянного коня. Вы их заказали солдату-столяру. Вы позаботились и о деревце, и о свечках, и о пряниках. Для каждого из нас возник кусочек мирной жизни, и глаза детей сияли. Спасибо вам! А здесь, в деревне, у нас тоже была елочка. Анели изображала деда-мороза. Я перед этим ездила в Дрезден и умудрилась там закупить каких-то мелочей для всех. Майстер был в восторге. Это был и для него праздник — далекие воспоминания детства его детей. Павлик, увидя деда-мороза, заговорил голосом Рины Зеленой: «Lieber, guter Weihnachtsmann, sie mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich werde artig und fleißig sein»⁴. Очень, очень немецкая приговорочка.

Мы въехали в Германию в конце зимы 1943 года, а выехали летом 1945-го. Два года. Дети говорили по-немецки. Однажды, когда я мыла на кухне посуду, вошла местная учительница и сказала, что ей грустно видеть десятилетнюю девочку, которая не ходит в школу. Она знает случаи, когда русских детей по

⁴ Милый, добрый дед-мороз, не смотри на меня так сердито. Спрячь твою розгу. Я буду прилежным и послушным.

особому разрешению допускали в немецкую школу. Надо попробовать. Я должна пойти в Кольдиц (маленький городок в трех километрах от нас) в отдел народного образования и поговорить. Я отправилась с Ксюшей. Павлик в тележке. Детей оставила на улице и прошла к заведующему. Услышав мою просьбу, он заорал: «Русская? А где ваш знак?» «Я его не ношу». «Вон!» — заорал он еще неистовее. Я вышла. Он был отвратителен. Но и я же хороша: что я думала, не нося свой знак? Я поняла, что моя почти идиллическая жизнь держится только на том зыбком основании, что меня окружают порядочные люди. Даже мои бывшие хозяева, которые могли драться, по сути, понимали всю нелепость разделения на расы. Если бы они хотели, они могли бы много раз донести кому следует на меня за то, что я живу «не по закону». Они этого не делали. Но когда пришли советские войска, они очень боялись, что я пожалуюсь на них. Те солдаты, которые заезжали, забредали в нашу деревеньку, были озверелые, пьяные мстители. Они только и хотели стрелять, убивать и, конечно, грабить. Стоило мне рассказать им, как Леманы избili меня... Но это мне и в голову не приходило. Позже многие из жителей спрашивали меня, почему я этого не сделала. Они все ненавидели Лемана. Не знаю, поняли ли они меня, когда я им сказала, что месть — низкое чувство. А еще позже, когда мы уезжали из деревни совсем, Леманы прислали нам огромную корзину яблок. И все же я поддалась низкому чувству, каюсь. К нам во двор пришли русские солдаты и требовали спирту и яблок. Я сказала, что у нас нет, а у соседей есть. Стыдно? Да. Но я их очень боялась, этих солдат. Конечно, уже не действовало их право убивать, резать немцев. Они только пьянствовали и грабили. И уж, само собой, насиловали.

Вернусь к течению нашей жизни. Вспоминается много эпизодов, встреч. Нельзя описать все. Только то, что всплывает в памяти. Как жили. Наша комната наверху, угловая. Два окна смотрят во двор, в третье заглядывает грушевое дерево. Напротив нашей двери спальня деда, за стеной спальня хозяйки. За ней дальше большая комната, бывшая детская. Отопления не полагается. Зимой как только встаем, распахиваем окна, чтобы не заводилась сырость. Зима мягкая, ниже восьми градусов не было. А когда идем спать, предварительно под перину кладем грелку. А как же с новорожденными? Да вот так же. Умывание внизу, где есть кран. А как я купала детей, и мылась сама? Хотя бы раз в неделю. В коровнике, где и зимой довольно тепло. Я ставила большую деревянную шайку на каменный настил. Брала под недовольное ворчание деда ведро кипятку из котла. Разводила в шайке воду со стиральным порошком (!) и сажала в нее Павлика. После мытья окатывала из кувшина, потом в эту же воду Ксюшу, а потом и сама. Хотя так, но мы были чистые. А хозяйева, как я уже писала, не мылись. А когда однажды дед не постучав вошел в нашу спальню в то время, когда я совершала ежедневное интимное омовение, он пришел в неистовое волнение. Он вышел на улицу, стал перед воротами и кричал прохожим — слава Богу, редким: «Sie wäscht ihre Pumpe!»⁵ (Неприлично, но он кричал именно так.) Можно ли представить себе нечто подобное? А ведь он был не совсем уж «диким саксонцем». Он что-то читал, декламировал Шиллера. Он был достаточно смел, чтобы не сжечь запретные книги, например Гейне (еврей!), а забросить их на чердак. У него даже хватало смелости никогда не отвечать на обязательное приветствие «Heil Hitler!» тем же. Всегда: «Guten Tag»⁶. Он выписывал газету. Но тут же, рассказывая о войне 1914 года, говорил: «Все француженки — проститутки». Конечно, потому, что, будучи во Франции, бывал только в публичных домах. Робер был вне себя от возмущения и шипел: «А наши матери? Наши жены?» Старик любил Робера. А Робер старался делать ему что-нибудь приятное. То сделал новую коробку для шахмат, то починил ложе ружья, дверь. Наконец дед заказал Роберу, уже за плату, новые ворота. И как он любовался на то, как Робер работает! Он говорил: «Посмотри, ведь как балерина танцует!» Такие легкие и удивительно красивые были у Робера движения. Значит, старик не был чужд и тонкости восприятия. Надо описать и работника Курта. Это был рыжеватый кретинообразный мужик. Большое тупое лицо, вечно красное от работ в поле, широкое короткое туловище и длинные ноги. Казалось, эти ноги растут прямо из груди. Длинные, как у гориллы, руки и пальцы, расширяющиеся к концам. Он походил на огромную корягу. Раньше он был обитателем психиатрической лечебницы. Но был способен к труду и не был уничтожен, как все

⁵ Она моет свою ...!

⁶ Добрый день.

другие, кто был неработоспособен. То же самое сделали с безнадежными туберкулезными больными. Гитлер мыслил рационально. Укол «милосердия и здравого разума». Курт работал исправно, только очень медленно. На нем были все полевые работы. Спал он в маленьком флигельке у ворот, а чаще просто на охапке соломы в стойле у вола. Вол этот был очень похож на Курта. Он был феноменального размера, такого, что когда однажды мы с Куртом поехали в Кольдиц на нем, я видела, как люди останавливались в изумлении *bouche bée*⁷. Он стоял всегда на привязи в своем стойле. У входа в углу была машинка для рубки овощей свиньям, и когда я вертела ручку этой машины, он ревел и старался хлестнуть меня своим чудовищным хвостом. Когда мы работали в поле, этот вол служил маяком для Павлика. Мальчик приплетался через поля, держа направление на быка, и ложился на межу около меня, чтобы созерцать облака. Я заранее приносила с собой коврик. «О, это будет великий лентяй!» — говорил дед. А однажды, когда я мыла во всем доме окна (раз в неделю, поскольку война, а до войны два раза в неделю), я, воспользовавшись отсутствием вола, вымыла его заросшее грязью оконце. Утром Курт спрашивает: «Какая стерва вымыла у него окно?» (Прекрасно знал, что это я.) Вол ревел всю ночь от возмущения. Да еще и луна светила. Курт был вообще невозмутим. Когда война подходила к концу, мы, работая в поле, слышали отдаленный гул орудий. Я сказала, что фронт приближается. «Ну и дура! Это учебная стрельба». Впрочем, хозяин, так же как и Курт, не верил в то, что приближаются американские и советские войска. В одну из суббот Курт, как всегда, поехал утром на велосипеде в Кольдиц купить табаку. За обеденным столом, уже поев и без всяких эмоций, говорит: «Приехал, а там все тротуары в битом стекле». «Что случилось?» — «Американцы, когда подходили, обстреляли, а теперь ходят по стеклам». Вот и все. А уж когда через два месяца с другой стороны подошли советские войска и Павлик прибежал с вытарашенными глазенками, с последними услышанными в деревне новостями: «Die Panzerspitzen sind schon da!» («Танки подходят!») — дед хотел долбануть его палкой за вранье. Американцев еще можно было стерпеть, но советские... Когда советские войска подходили к Восточной Пруссии, поток беженцев хлынул в глубь Германии. И в нашей деревне появились новые люди. У нас поместили немолодую супружескую пару. Фрау Повилияйт, худенькая, с тревожным изможденным лицом, и ее муж, потерявший руку в прошлой войне. Они были совершенно растеряны. Семью разметала война. Свой дом и кусок земли они потеряли навеки. Саксония казалась им дикой и некультурной. Быт, содержание скота и птицы, все хозяйство. Такого они себе вообще не представляли. Русские представлялись им чудовищами. Впрочем, рассказы о том, как вели себя наши солдаты, казались и мне чудовищными. Увы, все было так. Позже русские солдаты рассказывали мне то, что можно рассказывать только спьяно и случайным встречным. Перед тем как нам уезжать, фрау Повилияйт сшила нам из крепкой бязи заплечные мешки. Павлушин, крошечный, я храню до сих пор. В нем он вез свой горшочек. Наш городок Кольдиц ни разу не бомбили. Был в нем старый замок какой-то саксонской принцессы, где во время войны содержались пленные, высшие чины — американские, английские и французские. Жили они там припеваючи. Проходя по парку мимо замка, можно было видеть в окнах полуобнаженные фигуры — загорали, читали, внизу играли в теннис и футбол. От скуки время от времени устраивали побег. Их ловили и препровождали обратно. Все эти сведения мы имели от солдата из их охраны, который приходил к деду покупать яблоки. Там, как говорили, был и племянник Черчилля, который тоже бегал. К деду время от времени приезжал кто-нибудь из старых товарищей, постмайстер из Кольдица или вагеновожатый из Лейпцига. С этим подолгу играли в карты и при этом пукали. Старуха говорила: «Пфуй!» — и уходила к себе наверх. После обеда — святое дело — отдых и сон. А хозяйка отдыхала всегда на скамеечке в коровнике. Подопрет голову руками и дремлет. Она была умучена жизнью с мужем. У деда характер был крутой, несносный. Он и бивал ее. И бесконечно ей изменял. У них было три дочери. Все замужем и не жили дома. Одну из них старик очень гордился. Она была замужем за богатым крестьянином, была высокая, сильная, настоящая валькирия. Дед с умилением вспоминал, что она в три года уже сворачивала гусям шеи.

Наконец война кончилась. Все менялось. Пришли американцы. Ехали в машинах, сидели по двое — белый и черный. Они останавливались, угощали

⁷ С разинутым ртом (франц.).

шоколадом и печеньем. Они не были так измучены войной, как наши солдаты или немцы. Они были веселые. Один из них хорошо говорил по-русски. «Ну а что дальше?» — спросила я. «Дальше надо идти на русских». Вот так союзники! Из замка вышли на свободу его обитатели. Что это был за маскарад! Французы в беретах с помпонами, шотландцы в своих юбочках, канадцы в широкополых шляпах. К нам пришли трое англичан просить яиц. Дед сначала артачился, но потом вынес десятка два. В обмен они дали шоколад и мыло. Дед все равно негодовал и грозил им палкой вслед. Всех их быстро отправили по домам, и в замок ворвались освободившиеся из плена наши солдаты и девушки, работавшие в окрестностях. Быстро разнесли, разграбили оставшиеся пожитки. Грабили и магазины и просто по домам. Некоторые наши военнопленные так боялись вернуться на родину, что подались в глубь Германии, тем более что уже ходили слухи, что американцы уйдут и оставят эти места русским. Очень многие предпочли не возвращаться. Понемногу стали собирать и рассеянных по деревням и городам французов. Эти, наоборот, стремились по домам. Робер манил меня ехать с ним. Он был честен и сказал, что жениться на мне не сможет из-за семьи. Но ему казалось, что я всегда устроюсь где-то недалеко от него, скажем в Кагоре (семнадцать километров), или он увезет меня на ферму к своим родителям. Но я не могла решиться. И снова тоска и страх стали грызть душу. Робер и раньше, до конца войны, предлагал мне бегство. План был таков: добраться поездом до границы Швейцарии (забыла название местности), а там вброд через речку — и мы свободны. Некоторые так делали. Позже, много лет спустя, живя в Швейцарии, я узнала, что действительно люди пользовались этим путем. Но тут я не решилась. Когда мне приходилось ездить в поезде, я или молчала, или выдавала себя за француженку. Немцы обычно не разбирались в моем акценте. Но дети?! Особенно Павлик, которого не заставишь молчать. Робер сколько мог оттягивал свой отъезд. Но все же этот день настал. Мы простылись, и оба плакали. На другой день я сидела в погребе за переборкой картофеля: самые крупные — нам для кухни, средние на продажу, мелкие — свинкам. На душе было тоскливо. Потеря друга, полная неопределенность впереди. И в этом «впереди» маячила ненавистная усатая рожа. И снова страх, леденящий душу. Вдруг легкие шаги — и в дверях улыбающееся лицо Робера. Он вернулся, чтобы задержаться еще, может быть, на месяц. Он уедет последним.

Первые русские, которых мы увидели, были три мотоциклиста. Я шла в лавку. Они выскочили мне навстречу из-за угла. По другой стороне улицы проходил Робер. Увидев меня, он окликнул меня по имени. Солдат, ехавший впереди, подхватил: «Мари, Мари!» Я подошла и заговорила по-русски. Я хотела их приветствовать. Но у них было совсем другое на уме. «Спирт есть?» Все трое были пьяны, а кроме того, у одного за спиной была канистра, у других огромные бутылки со спиртом. Но по крайней мере они не привязывались и не допытывались, кто я и почему говорю по-русски и по-французски. Впрочем, судьбы человеческие так перепутались, что не сразу можно было разобраться, кто — кто. Вторая встреча — я пошла в гастхауз купить пива. В зале увидела за столиком солдата с револьвером в руке. Он озирался по сторонам. За стойкой бледная, перепуганная девушка. «Стрелять буду», — хрипел он. «В кого?» — спросила я. Он был так пьян, что даже не заметил, что я русская, и не удивился. «А хоть в потолок». Я стала его уговаривать, произносить какие-то невразумительные слова вроде того, что не надо шуметь, наверху спят дети. Впрочем, он вдруг положил голову на стол и захрапел. Девушка убежала. Я тоже. Потом за оградой нашего сада появился не пьяный приветливый солдат, который сказал мне, что пошел «по часы», и успешно. Он поднял рукав гимнастерки, и я увидела, что на его руке выше локтя нанизаны часы. Затем те двое, которые просили яблочек и спирта и которых я так постыдно отправила к Леману. Уходя один из них сказал деду: «Ух, юдише швайне!» Дед был поражен и ответил: «Ich bin doch kein Jude»⁸. А потом настал день, когда через нашу деревню проходили колонны войск. Они шли от Берлина, после ада боев. Они были измучены и черны от грязи. Шли пешком, некоторые ехали в телегах, некоторые на велосипедах, начальство в машинах. Они производили тяжелое, жалостное впечатление, хотя лица у всех были счастливые. Робер был поражен видом этого войска: «Какая бедная армия!» Особенно его поразил их внешний вид и то, что они сворачивали курево из газетной бумаги. Цивилизованного европейца это крайне удивило. А что бы он

⁸ Я же не еврей.

сказал, если бы увидел, как обуты их бедные обопревшие ноги, или то, что русский солдат и не ведает, что такое туалетная бумага. Как это?

В Кольдице появилась советская комендатура. Стали наводить порядок. Роберу дали знать, что если он не поедет домой, он будет считаться дезертиром. Ведь он был военнообязанный, военнопленный, *transformé*, что считалось уже приспособленчеством. Это были те военнопленные французы, которые добровольно согласились отказаться от статуса военнопленного для якобы вольнонаемной работы. Они получали некоторые льготы, свободу передвижения, право получать из дома посылки, право отпуска и не лишались посылок Красного Креста. Мы еще могли присоединиться к последней партии французов, перейти с ними мост через реку Мульду, которая была границей с американской зоной, и стать навсегда свободными. Это могло бы легко получиться, но могло бы и не выйти. Надо себе представить, что бы мне пришлось пережить в случае неудачи. И я опять с болью в сердце отказалась. Пришел день, когда Робер должен был явиться в Кольдиц на сборный пункт. Все последние дни он собирал сведения (а это были все слухи), как будет происходить наша репатриация. Перед советской администрацией стояла трудная задача. Русских, взятых на работы, и военнопленных собралось несколько сотен тысяч. Надо было собирать людей в лагеря, надо было со всей нашей подозрительностью проверить, обнюхать их со всех сторон. Как, где, при каких условиях попал сюда? Чем занимался здесь? Каким транспортом перевозить людей? Железную дорогу использовали в первую очередь для перевозки того, что гнали теперь из поверженной Германии в Россию. Это был уголь (без конца), демонтированные заводы, техника, награбленное имущество, все трофеи. Поэтому до нас очередь не доходила. Мы ждали и пользовались всякими слухами. Говорили, что советские отбирают у репатриантов все имущество, что загоняют за проволоку, отделяют мужчин от женщин, оставляют тысячные толпы под открытым небом. Мы увидим, что все эти такие пугающие слухи имели основание. Награбленное имущество, когда оно было в неподъемных размерах, естественно, отнимали у военнопленных. Иной раз заставляли сложить все в кучу и сжечь. Варианты зависели от прихоти и фантазии командира. Людей разделяли, отделялись военнообязанные мужчины. С ними тоже были свои счеты. И лагеря устраивались под открытым небом и на неопределенное время. Счастье, что это было летом. Все это утрашало Робера. А мне было тоскливо и страшно думать, что мы попадем опять в эти паучьи лапы. Перед отъездом Робер смастерил мне деревянный чемодан, уложил в него свой подарок — словарь Ларусса, — одеяло, свои теплые вещи, молоток, моток толстого шпагата, гвозди. «Все это вам пригодится». Фрау Повилияйт сшила рюкзаки, чтобы в случае, если будут отбирать вещи, у каждого за спиной было бы самое необходимое. Были моменты, когда я колебалась и говорила Роберу, что согласна ехать с ним. Но было еще чувство, копошившееся во мне и призывавшее: домой! Перед глазами вставали лица родных и друзей, которые, может быть, живы: сестра, брат, тетя и дядя, меня воспитавшие, отец Ксюши (мой первый муж), такие близкие друзья, как Лидочка, Ирина и Муся. Я знала, что если уеду на Запад, между нами станет глухая стена. На языке Сталина я буду называться «изменница Родине». А еще, странное дело, при всей ненависти к угнетателям, тиранившим нас более двадцати лет, как-то незаметно стали стираться кошмарные видения нашей русской жизни. Может быть, они действительно не так уж страшны? И народ, так героически боровшийся против зла, неужели же он защищал и будет защищать неправое дело на свсей земле? Впервые в моей жизни, начиная с двенадцатилетнего возраста, я поддавалась таким рассуждениям. Они же мне были с детства ненавистны! Не хочу здесь вдаваться во все подробности моих чувств. Это заведет меня слишком далеко. Очень противоречивы были мои мысли. А пересилило: домой!

В день отъезда Робера мы пошли проводить его до города. Мы шли по парку, дети бежали впереди. У обоих было тяжело на душе. Но спасало нас чувство юмора. Робер старался развеселить меня. Он всегда говорил, что француз-южанин не может грустить без шутки. Наконец мы дошли до конца парка. Робер, этот француз, который не может обойтись и без сентиментальности, стал передо мной на колени и целовал мне руки. Мы обнялись. А потом он пошел вперед и все оборачивался, все махал рукой. Мы тоже. Пока он не скрылся за кустами.

Я не могу вспомнить, сколько времени прошло до нашего отъезда. Мы двинулись в путь в конце лета. В деревню пришел грузовик, стал на площади, и

нас начали сзывать. Наши старики и кое-кто из жителей вышли нас проводить. В машине уже сидело много женщин. Была и служанка бургомистра со своим мужем-поляком и ребенком. Девушки, приехавшие сюда деревенскими Гапками, уезжали «окультурившимися». Модные зачесы волос, какие-то платица, подаренные хозяевами, даже зонтики и шляпки. Если были младенцы, то в колясках. Коляска и у бургомистеровой Гали. И работать их научили. Приехав домой, те, которых не обреют и не посадят в эшелоны с надписью «Изменницы Родине», будут вести свое хозяйство уже совсем по-новому. Какая-то немка принесла мне огромный старый зонтик, парасоль. Он мне сослужил большую службу. Сейчас не вспомню все места, где нас «сбрасывали». Что за городок был тот, куда нас привезли и поместили в бывшем лагере пленных солдат-американцев? Не успели мы разместиться, как нас заставили снова грузиться и перевезли в другой лагерь, где тоже до нас были английские и американские солдаты. Там уже были тысячи репатриантов. Не помню почему, наверное, не было мест в казармах, а может быть, убоявшись скученности, я свила себе гнездо в бывшем каретнике. Соседнее помещение была бывшая конюшня. Я набрала сена, настелила его в углу и устроила ложе. Я была довольна тем, что мы единственные здесь обитатели, а дети тем, что играли в колясках. Тысячи людей устраивались кто как мог. Была организована кухня, и более ловкие и энергичные пристроились к ней и к кладовой. Кормили очень плохо, но на лучшее нельзя было и рассчитывать. На руки мы получали хлеб и сахарный песок в смехотворном количестве: по чайной ложке (плоской алюминиевой и приглаженной) на человека. Ксюша добровольно от него отказывалась в пользу Павлика. Посуду мы раздобыли среди оставленных в казармах вещей. Американцы бросили все, уезжая. Два раза в день выстраивалась очередь к кухне за супом. Отсюда нас вскоре стали переправлять дальше. Теперь привал был на окраине города Радеберг. Около поля и леса стояли деревянные бараки общего в Германии типа. Такие мы видели в Люблине, такими была покрыта вся Германия. Когда нас выгружали, бараки были пусты, и все ринулись в них в надежде устроиться под крышей. Войдя в один из них, я увидела ужасающую грязь и беспорядок. Все кишело клопами. Здесь раньше содержались русские. Это был штрафной лагерь. Неподдалеку стоял нарядный домик коменданта этого лагеря, а теперь в нем разместились русская комендантура. Я бросилась вон из барака. Среди окружающих лагерь деревьев я нашла четыре березы, которые опутала шпагатом, оставив вход. Потом мы с Ксюшей наломали в лесу больших ветвей и заплели ими стены. Наверх вместо крыши я водрузила парасоль. У нас было совершенно изолированное жилище. Размер его был таков, что помещалось наше импровизированное ложе (на тюках, чемоданах и пр.) и горшочек Павлика. Вокруг с невероятной быстротой вырос *bidonville*, городок, выстроенный из ящиков, каких-то досок, тряпок, железок. Здесь собрали двенадцать тысяч, а может быть, и более человек вместе с мужчинами, из которых большинство — военнопленные. Мужчины быстро сорентировались, организовали поход к фабрике, производившей белые брезентовые покрытия для маскировки грузовых машин. Я тоже побежала туда, но этот грабеж был уже приостановлен нашим же командованием, и мне ничего не досталось. Какой-то мужчина сжалился надо мной и подарил мне один брезент. У меня появилась дополнительная крыша. Рядом с моим жилищем три военнопленных-узбека выстроили огромную палатку. Центр ее был выше человеческого роста. Пол тоже устлан брезентом. Впоследствии, когда военнопленных увозили, они подарили мне эту палатку. Погода была прекрасная, солнечная, и нам было хорошо в этой палатке. Нас стали «организовывать». Был устроен митинг, где нам объяснили, кто есть кто. «Сталин — великий (опять замелькали эпитеты), он получил звание, теперь он.. (запинка) генерали...си...му...си...мус!» Наш комендант (капитан) не в силах был произнести это слово правильно. Мы узнали, что гимн теперь другой, не «Интернационал», что введены офицерские звания, на погонах звездочки. Потом нас спросили — все в рупор, толпа ведь была преогромная, — есть ли среди нас художники. Одна я подняла руку. Зачем? Меня попросили отойти в сторону. Было сказано, что на этой площади будет выстроена крытая эстрада, и просят всех, кто хочет и может участвовать в самодеятельности, записываться. На прощание капитан просил всех честно рассказать, кто чем занимался в Германии и до нее. Особенно просил не стесняться женщин, которым пришлось (о, конечно, принудительно!) сожительствовать с немцами. С ними проведут душевную беседу. Можно себе представить эту беседу! Мне

поручили пока что заняться портретами вождей, а впоследствии оформить сцену. По этому случаю мне отвели комнатку в чистом бараке. Мебели в ней не было. А для работы еще комнату в комендатуре. Из соседней комнаты доносились пьяные голоса господ офицеров: «Мне-то, видишь ли, сорок пять, а ей только, только шестнадцать, а я ее... шпокнул. Ха-ха!» И мат, которым нас, впрочем, уже попотчевали в Колльмене. Надо привыкать к культурному обращению. И тогда нам было сказано: «Эй вы, бляди! Грузитесь!»

Дети чувствовали себя отлично. Бегали между палатками, завели дружбу с другими детьми, бегали в лес по чернику. Наконец начались концерты. Первым номером на эстраде появился полуголый мужчина с мешком битого стекла за спиной. Он рассыпал стекло по полу и стал топтаться на нем босыми желтыми мозолистыми ногами с закрученными грязными ногтями. Этот номер был объявлен: «Фокусник Еремеев». Потом пожилая пара пела дуэтом «Вернись в Сорренто». Еще был номер, громогласно объявленный: «Любовь Орлова!» Всеобщее оживление. Но это была очень коротенькая толстая девица в брюках и с гитарой. Она поставила коротенькую ножку на стул и запела под гитару: «Не покидай меня». И еще, все в таком же роде. Однажды я услышала французскую речь. Это были французы, приглашенные нашим командованием как инструкторы по эксплуатации некоторых незнакомых нам иностранных машин. Мы разговорились. Я попросила одного из них при случае переслать письмо Роберу. Он взялся, и, как я узнала позже, Робер получил это письмо. Я продолжала делать портреты, хотя и с отвращением. Зачем только я назвалась? Однажды, когда я заканчивала портрет Карла Маркса, пришел Павлик и радостно закричал: «А вот и Weinachtsmann!»⁹ Он был забавный ребенок. Как-то искал меня в комендатуре и всех спрашивал: «Вы не видели мою маму?» «А какая твоя мама?» — «Как, вы не знаете? Maria mit zwei Kinder»¹⁰. А как трогательно он утешал меня в тот день, когда у немецкого хозяина резали свинью! Тяжкий для меня день. Грубость крестьянской жизни, весь ажиотаж вокруг этого убийства. Нервы были напряжены, и оказалось довольно какого-то незначительного инцидента, и со мной случился совершенно мне несвойственный истерический припадок. Сначала я в бешенстве разбросала всю посуду со стола, потом убежала к себе наверх и разразилась истерикой, которую не в силах была сдержать. Я кричала, рыдала, кусала подушку. Павлик перепугался. Желая меня утешить, принес мне все свои игрушки, расставлял их вокруг меня и все приговаривал: «Мама, не плачь, ведь Meister hat dir Spaß gemacht» («...хозяин пошутил с тобой»). А Meister пришел ко мне, топтался вокруг меня и говорил: «Она объелась сала! Она не подходит для сельского хозяйства!» Но это отступление, возврат к прошлому. Сейчас мы в Радеберге.

Однажды Ксюша прибежала из леса, где собирала чернику, с ужасной новостью. Около леса она видела вырытую яму и там много мертвых людей. Мы с соседкой по палаткам пошли узнать, что это такое. В огромных ямах были навалены полуразложившиеся трупы. Ужасное зрелище!! Я увидела там двух девушек в одинаковых ситцевых платицах. Они лежали обнявшись. Мужчины, женщины... Кто они? Оказалось, что из этого штрафного лагеря их выводили на расстрел и закапывали тут же. Все это рассказал немец-коммунист, освободившийся из лагеря. Он приехал в Радеберг и указал места, где могли быть могилы. Все мужское население Радеберга заставили раскапывать эти могилы, класть в гробы и устроили похороны в городе. Долго ли продолжались эти работы, мы уже не знаем. Наш лагерь срочно эвакуировали. Жара и нестерпимое зловоние принудили к этому. И снова мы снимаемся с места, грузимся на большие машины со своим скарбом. Теперь нас везут через немецкие разрушенные города. Они лежат в сплошных руинах. Остановка в городе Бауцен. Опять нас вываливают на окраине города. Вокруг какие-то склады неизвестно чего, какие-то умолкшие фабрики. Я и моя соседка, у которой девочка восьми лет, мы сразу же нашли местечко под крышей, что-то вроде кладовой. Нашли воду в кране, вымыли пол, обмыли лежавшие перед этой постройкой каменные плиты, на одной, повыше, устроили стол, на других — сиденья. Даже салфетку постелили и начали снова жить. Вокруг кишел народ. Начал строиться новый лагерь. Люди растаскивали всяческий стройматериал, проникали внутрь складов, ломали. Так прошел день. Однако вскоре начали сновать грузовики и опять поднимать людей.

⁹ Дед-мороз.

¹⁰ Мария с двумя детьми.

Мы решили не спешить. Так трудно было, расталкивая других, громоздиться на машины. Мы будем последними. Но, видимо, владельцы этих складов и мастерских, перепуганные разбойным нашествием; обратились к коменданту города за защитой. Когда подъехала машина с нашими военными и с возмущенными немцами, никого, кроме нас, уже не было. Одна наша семейка мирно сидела вокруг стола. Я читала детям сказки братьев Grimm. Мы ничего не разорили, а, наоборот, навели чистоту. Все были тронуты. А мы получили то, чего хотели. За нами пришла отдельная машина. Теперь нас привезли в лагерь за закрытыми воротами. Это был проверочный лагерь, чистилище. Уж здесь разберутся что к чему. Здесь хозяином был НКВД. Я опять занялась портретами и всякими объявлениями и опять получила отдельную маленькую комнату. Здесь, в Бауцене, я сдала свои документы. Это был всего лишь «рабочий листок». Там было указано, где, когда и в качестве кого я была принята на работу Паспорта, моего бывшего советского паспорта, у меня не было. Куда он делся, не помню. Здесь, в Бауцене, шла уже проверка, следствие. А откуда? А как попали под немцев? А чем занимались? А куда намерены ехать? Наконец очередь дошла и до меня. Пока я поджидала, следователь допрашивал молодую девицу в модной прическе. Эта прическа, видимо, вселяла в него подозрения и ненависть. В конце концов он начал хлопать, попросту бить девушку по этой прическе. Она же, эта прическа, была немецкая! Спрашивая меня, он не поверил тому, что мы из Ленинграда, что эвакуировались по последнему льду. Это не сходилосъ с его представлениями. Тут что-то подозрительное, и он пошел советоваться со старшим офицером. Вернулся успокоенный. Я не хотела рассказывать ему о моей жизни на Северном Кавказе и сказала, что мы высадились в Сталинграде, где муж умер, а я поехала добираться до тети в Харьков. Этот вариант освобождал меня от рассказа о том, что я расписывала стены в школе — мое главное преступление. «Куда хотите возвращаться? Только не в Ленинград и не в Москву». Я сказала, что в таком случае хочу вернуться туда, откуда меня взяли. Это очень успокоительно подействовало на следователя. Значит, там у меня не было преступной деятельности. И правда, ее не было. Но все равно еще много лет моей жизни были отравлены страхом и замиранием сердца. Но об этом в дальнейшем. Сколько времени нас продержали в Бауцене, не помню. Наконец снова погрузили на открытые грузовики и повезли. Теперь в Россию Мы добирались до нее пять суток, с остановками только на ночлег. В дороге ели что-то сухое, нам выданное. На ночь нас вываливали там, где заставала ночь. Обычно под открытым небом. Первая ночь — на берегу реки, около леса. Темнело. Успели до темноты разложить свой скарб на земле и на нем устроить ложе. Люди, которых было несметно много, развели костры, и мы грели на огне какую-то еду: консервы, тушенку (американскую), разбалтывали в речной воде яичный порошок (американский) и делали подобие омлета; пекли на найденном железном листе лепешки — вода, мука и сода. Дети очень набили свои животы, и ночью Павлика рвало, и он кричал: «Я лопнул блинами!» Ночь была удивительно темная. Утром мы проснулись совершенно мокрые от росы. Снова сборы в путь. Днем — жара и спрятаться от солнца некуда. Так до следующей ночи и до следующей остановки. Впрочем, одну ночь мы провели в каком-то населенном пункте. Никем он не был населен. Жители его покинули. Дома стояли настезь открытыми и разграбленными. До нас здесь орудовали те, кто сумел из России кинуться на грабежи, и те, кто, как мы, ехали в Россию и прихватывали с собой все что могли. Внутри домов вся мебель была перевернута, выпущенный из перин пух покрывал пол. В одном из таких домов мы устроились на ночь. Когда-то здесь шла опрятная жизнь. Сейчас всюду валялись разбросанные предметы, не подобранные грабителями. На полу лежала скрипка, рассыпанные фотографии, посуда.

Наконец после этого трудного путешествия мы переехали границу. Конец путешествия — деревня Пидбирцы под Львовом. Нас, а нас было много тысяч, выгрузили под открытым небом, на поле. Первое, что привлекло мое внимание, — одиноко стоящий сарай. Я схватила Павлика и пару тюков и ринулась туда. Что это был за сарай! Крыши не было, но она сохранилась в одном углу, камышовая. Там я и посадила Павлика и побежала за Ксюшей и остальными вещами. И как вовремя! Через несколько минут сарай был наполнен счастливыми, хотя их защищали только стены. Остальные располагались по полю. Так далеко, как видел глаз, оно было покрыто людьми. Уже бежали в лес, ломали

сучья, разжигали костры Вскоре начались беспросветные дожди Люди сидели кучками, накрывшись одеялами Дождь шел и шел Никто никого никуда отсюда не вез, хотя здесь тоже была комендатура, на чьей обязанности было рассылать людей по месту назначения — кого в тюрьму или в лагерь, кого домой, если дом еще существовал Пидбирцы - железнодорожный поселок, и мимо нас проходили поезда Но они даже не останавливались Шли эшелоны груженные углем всевозможными машинами бесконечными «трофеями» изредка людьми Это были либо бывшие военнопленные то есть преступники либо женщины «изменницы Родине» Их везли в дальние лагеря Несколько дней мы прожили в углу сарая Выходить из него особенно ночью в случае нужды было непросто Тела тудей тежали как гесно что надо было раньше нащупать в темноте место для ноги потом для другой Вскоре меня призвали к работе Теперь в моем документе вместо профессии Putzfrau стояло художник Мне снова дали жилье Это была комната в совершенно пустом домике ранее принадлежавшем полякам теперь выехавшим в Польшу Во второй комнате помещались шестеро солдат-шоферов Наше ложе - опять охапка соломы вместо стола для еды и для моей работы — единственный стул В пустой кухоньке печь которую надо было топить углем Но его не было и дети ходили собирать уголь на проходившую рядом железную дорогу Шли эшелоны с открытыми платформами с углем который осыпался, и по бокам дороги дети его собирали Ходили в кладовую за пайком Давали муку, то же количество сахара, яичный порошок иногда тушенку Хлеба для нас было всегда слишком много, и излишки мы ходили продавать на базар Или меняли его на овощи и молоко Скоро Ксюша научилась так торговать самостоятельно Это было для нее как бы игра Впоследствии когда я заболела и меня увезли в больницу, она вела все хозяйство самостоятельно Ей было одиннадцать лет Отсюда я написала первое письмо на адрес своей тети в Москву Наконец после трех лет неизвестности, когда все родные и друзья считали нас погибшими, мы нашлись Вскоре я получила письмо от сестры Я узнала, что мой брат погиб на войне. Остальные все были живы Была надежда встретиться. Когда? Где? Вскоре я заболела. Меня отвезли в больницу Это была походная больница. Двухкомнатный дом около кукурузного поля Окна выбиты и затянута солдатскими одеялами. Больные — только мужчины, женщина я одна. Со мною в «палате» их четверо. Железные кровати с горбами на месте матрацев. Вместо суден — консервные банки. Для иной нужды санитарка тянет меня на спине в заросли кукурузы Вечером сквозь дремоту я слышу — чей-то нежный голос напевает первую тему из Пятой симфонии Бетховена Снится мне это? Нет, это поет молоденькая медсестра Это так поразительно! Откуда она знает эту мелодию? Оказывается, она ленинградка и до войны училась в Хоровой капелле Был период, когда туда принимали и девочек По ночам в темноте, мужчины в моей палате воевали с крысами, швыряли в них сапоги палки и т.д. Скоро мне стало лучше, и меня отвезли домой Но через несколько дней новый более жестокий приступ Меня посетил военный фельдшер, и он отправил меня в другую больницу, в местечко, где стояла наша военная часть Здесь было уже кое-что напомилавшее больницу Был врач молодая особа только что окончившая институт Лечила она всех только двумя видами впрыскиваний Я забыла, как назывались эти два лекарства Их назначали по очереди но при всех заболеваниях Возможно, ничего другого в это время здесь и не было Были три палаты, и одна из них — женская Рядом со мной лежала местная жительница с брюшным тифом, дальше - диабет а затем воспаление легких Моя соседка стонала и время от времени говорила «В голове гуде и прычки спивают» и теряла сознание Меня посетил фельдшер, и я дала ему адрес родных чтобы послал телеграмму Я не думала выжить Помню ночь В палате светло — вошла медсестра. Я смотрю на нее и чувствую, как все куда-то уходит Я сказала «Я наверно, умираю» Она побежала за камфарой и сделала мне укол Я уснула А днем опять все улывается, становится нереальным И вдруг голос моей сестры Наташи «Нет, это не она!» И потом «Не может быть! Она была красивая!» «Наташа», - едва шевелю я губами Что это, сон? Оказывается, не сон Она примчалась из Москвы, нашла наш лагерь, коменданта, который сказал «Да забирайте ее, все равно умирает» Она нашла наше жилище и там двоих детей Ксюша привела ее в ту деревню, где была больница. Девочка посещала меня и раз, натюрговав на рынке, купила мне конфету, которую я съест не смогла. Наташа приехала из Львова на машине генерала Р Это производит на коменда-

туру впечатление. Комендант идет ей во всем навстречу. Он отпускает меня. На другое утро Наташа перевозит детей и все наше имущество в деревню, где больница. Детей помещает в военную часть. Там о них заботятся, пока она организует наш отъезд. Наташин муж — военный врач. Он начальник медслужбы всех пограничных войск СССР, и это облегчает все. Меня перевозят во Львов, где мы проводим два дня в гостинице. Мне даже не верится: я лежу в чистой, мягкой постели, дети выкупаны, все хорошо накормлены. Наташа сама врач. Она принимает меня лечить, достает самые дефицитные лекарства. Наконец мы едем на вокзал. Два солдата вносят меня в вагон. У нас даже никто не спрашивает пропуска, а ведь без него в Москву не пускают. В купе, кроме нас, пожилая дама, партработник. Сквозь дрему я слышу ее разговоры с Павликом П. «Я знаю хорошо, что Бог — есть». «А где же он?» — «На небе, конечно». — «Какой же он?» — «Он в красных трусиках и все время разжигает костры» По дороге Наташа рассказывает Ксюше, что ее отец вернулся с фронта и выздоровел после тяжкого ранения. А у Павлика, оказывается, папы нет. А ему так хотелось иметь папу, что однажды в Пидбирцах он привел к нам в дом солдата. Тот, смеясь, рассказывал: «Подошел ко мне и спрашивает: вы не можете быть моим папой?» Наташа сказала, что ее муж Петя может заменить ему папу. И когда мы приехали в Москву, меня вынесли из вагона и положили на кучу вещей. Павлик, которому Наташа показала вдали фигуру в папахе, бросился бежать со всех ног с криком «Ты мой папа!!» И до сих пор, уже взрослый, он называет его папа Петя.

С этого момента начинается десятилетний период моей жизни без дома, без имущества, без семьи. Павлик переходит от моей сестры к моей тете, от нее к моей бывшей свекрови, которая, не знаю почему, так любила меня. Ксюшу берет отец. Он женат, и они ждут ребенка. Живут в маленькой комнатке в коммуналке. Ксюша идет в школу. Ей двенадцать лет, и надо дотянуть хоть до третьего класса. Приходится много заниматься. Я снова в больнице, но к Новому году поправляюсь. Теперь основная задача — получение советского паспорта и прописка. А на мне черное клеймо: репатриированная. Подозрительная. нежеланная личность, то есть возможная, потенциальная или уже готовая шпионка. Все и везде в прописке отказывают. Даже хлопоты и ручательства мужа моей сестры Петра Николаевича Крюкова, занимавшего высокий пост, не помогают. В это время со всех жителей Москвы берут подписку — не разрешать людям, не прописанным в Москве, даже ночевку. Итак, все, кто оказывает мне этот незаконный приют, — герои. Это моя сестра, моя тетя, моя бывшая свекровь. После отказа прописать меня в Москве (ах, мы не знали, что были нужны взятки — деньгами, отрезами, драгоценностями, куклами, чем угодно!) в дом к Пете навещал участковый милиционер: «Где такая-то?» (я). Расторопная домработница говорила «Переехала в Петушки», а Павлик при каждом звонке вопил «Мама, скорее прятаться под кровать!» Я уехала в Ленинград. Может быть, что-нибудь удастся там. Квартира дяди, В. А. Щуко, где у нас до войны была комната, занята посторонними людьми. Только дочь Щуко Наташа с мужем и девочкой сумели отвоевать себе комнату, и то выше этажом, по винтовой лестнице, рядом с отнятой уже большой мастерской Щуко. В моей комнате жила целая семья. Мою мебель у них изъяла моя энергичная сестра и перевезла в Москву. А мелочи, посуда и т. д. так там и оставались, и никто мне их никогда не вернул. В Ленинграде меня опекали две очень мне близкие семьи моих подруг: Тидия Николаевна Щуко с мужем Исаем Александровичем Браудо и Ирина Валентиновна Щеголева (о ней я уже упоминала) и ее муж художник Натан Альтман. Среди моих московских друзей я должна отметить бесконечную доброту художницы Алисы Порет и Муси Малаховской. Первая со своим мужем, композитором Майзелем, скиталась по Москве, снимая за бешеные деньги комнату, то одну, то другую. Мусенька же жила полулегально, перебравшись из ссылки в Лосиноостровскую. Там-то в 1948 году ее и настигла черная рука «правосудия», и она погибла. Об этом я уже рассказала. Но меня эти люди не боялись. Спасла меня, дала право на советский паспорт и прописала у себя в Ленинграде Ирина. Незадолго до того, вернувшись из эвакуации, она была начисто ограблена в бане. Ее делом занималась довольно симпатичная милицмейская сотрудница Ирина. Поддерживала с ней и в дальнейшем отношения, понимая, что этот человек может быть полезен хотя бы для Муси. Ей делали подарки, ее детей обласкивали. У нее был муж, сотрудник КГБ (тогда НКВД), «дознаватель», как сказала эта женщина. И когда появилась я, она оказала мне

неоценимую услугу. Она поручила мое дело своему мужу, который устроил мне допрос вполне по форме, но без мысли о моем «шпионстве». Меня провели по всем инстанциям, выдали паспорт и прописали у Ирины. Я могла начинать жизнь сызнова, работать. Но где? Я попыталась устроиться преподавателем рисования в школе. Подала заявление, документы. Но вскоре мне все это вернули и сказали: «Не подходите, вы же репатриированная, опасно и для вас и для нас. На днях у нас органы (люблю это слово) забрали преподавательницу естественной истории. Теперь она далеко». Эта преподавательница тоже была репатриированная, но в Германии она не занималась мародерством, а привезла с собой только отличные настенные таблицы по своему предмету. Этого было довольно, чтобы погибнуть. Иногда мне удавалось заработать, например, в передвижном кукольном театре, где постановку делал мой знакомый писатель Л. Браусевич. Я моталась между Ленинградом, где я имела теперь право жить, и Москвой, где были дети. Время шло. Ничто в моей жизни не устраивалось. Алиса пристроила меня в Москве в маленькое издательство, название не помню, издававшее детские игры и книжонки. Алисе они постоянно делали заказы, и она там кормилась, как она говорила, «кошечками и собачками». Ее серьезная живопись в это время осуждалась вплоть до того, что за один ее натюрморт (название его «Свидание») ее исключили из Союза художников. Мне заказали игру. Надо было на карточках изобразить разных домашних животных. Дали даже аванс. Но игра не пошла. Еще я сделала проект книжки-малышки с моими же стишками. Все восторгались, но когда был художественный совет, раздавались такие реплики: «Это кот не русский! Какой-то немецкий!» Уши насто-раживались. Или: «Картинки милы, но как будто из немецкой хрестоматии». Этого было достаточно, чтобы воздержаться от печатания. А главный редактор — фамилию его я забыла — говорил: «Мы художникам не дадим умереть с голоду, но ведь и нам надо питаться. Я работаю за пятнадцать процентов!» То есть надо было отчислять ему эти пятнадцать процентов сразу же, не зевать. Так проин-структированная, на следующий раз, когда Монетный двор заключал со мной договор на оформление первомайской демонстрации и завхоз спросил меня, сколько я хочу получить, я развязно сказала: «Напишем две тысячи двести, а эти двести — ваши». Мы были одни в кабинете... Человек поднял на меня глаза и долго смотрел. Я никогда не забуду этих глаз. «Я сорок лет работаю на Монетном дворе, и мне еще никто и никогда не предлагал взятки». Я сгорела со стыда. Да, я не годилась. Я не годилась толкаться около свиной кормушки. Надо было уметь отталкивать, лягаться, хитрить и т. д. И еще хрюкать в унисон. Нет! И я превратилась в своего рода нищенку. Карточек у меня не было. Кормилась, где накормят. Тетя негодовала. По ее мнению, надо было поступать на работу где угодно, но вдали от Москвы. Мне посоветовали молокозавод в ста километрах от Москвы. На любую работу. Там спокойно и НКВД не будет следовать по пятам. Я поехала. Был конец зимы. Почему-то мне пришлось тащиться через необозримое заснеженное поле, а на ногах туфли. Я не нанялась туда, но заболела и надолго. Я пролежала полтора месяца в больнице. Странно, я чувствовала там себя как бы на законном месте. Там у меня было мое место, моя постель, уход. И я была такая же, как остальные. А когда вышла из больницы, снова не знаю, где преклонить голову. Как же я была не нужна никому! Но ведь они все любили меня, помогали мне, терпели меня.

Близился сорок седьмой год. Павлик, бегая, упал и ушиб ногу. К вечеру высочайшая температура, бред, крик. Тетя — хирург, брат дяди Осипа Николай Ильич Гуревич — крупный хирург. Они определили остеомиелит. Слава Богу, у нас уже был пенициллин. Потом операция. Из больницы его вернули в гипсе до бедра. Минимум на полтора года. Как осложнилась жизнь! Где ему лежать? Кому за ним ухаживать? И тут мои родные были на высоте. Он лежал у сестры, где большая семья, достаток, домработница. Я не смела там ночевать. Бывала там днем, потом ездила туда-сюда. Значит, я, по сути, им не помогла. А семилетний мальчик нуждался во внимании, в занятиях. Все с ним было трудно. Даже в уборную его надо было относить на руках. В это время я нашла надомную работу. Артель, делавшая игрушки, давала мне кукольные головки для росписи. Заработки плохие и без карточек. А где же работать? То у тети Натальи, то у Муси в Лосинке, то у Алисы. У Алисы я познакомилась с Татьяной Ивановной Цаплиной-Сухомлиной, женой скульптора. Ее история заслуживает быть описанной, но потом. Она тоже нуждалась в заработках, и я порекомендовала ее р

артель шить платья куклам. Утром того дня, когда я должна была встретиться с Т. И., я позвонила ей по телефону. Ответил чужой мужской голос: «Т. И. нет». «А когда она вернется?» — «Она не вернется». Все было ясно. Ее арестовали; отвечал мне агент, делавший у нее обыск. Людей вокруг нас арестовывали ни за что. В лучшем случае — ссылка в ГУЛАГ. Ее первый муж, американец, старался помогать ей даже тогда, когда она ушла от него к Цаплину. С Цаплиным тоже был разрыв. Но Бен посылал ей продуктовые посылки. Связь с границей! Что же или кто охранял меня? Только Господь Бог. А я-то, легкомысленная, написала письмо Роберу и получила ответ. Друзья бранили меня, предупреждали, а мне еще не было страшно. Впрочем, тиски страха все сжимались. Снова по ночам мы прислушивались — не остановилась ли машина около дома? Тетя жила в Сокольниках, в маленьком домике, Лидия Алексеевна (бывшая свекровь) — в парке около метро «Динамо», тоже в первом этаже. Я засыпала, а она всю ночь прислушивалась. Однажды, когда я ночевала у тети, машина остановилась около дома, сапоги стучали по лестнице. Во второй этаж. Взяли соседа. То в одной, то в другой семье черная сила вырывала кого-нибудь из близких. Ни за что! Возвращаясь поздно вечером то в Сокольники, то на «Динамо», я шла по пустынной улице настороже. Все казалось, кто-то идет сзади, кто-то следит. Сейчас подойдут, схватят. А что у меня в сумочке? Письмо от Робера. Человек идет по другой стороне улицы. Если я начну рвать письмо — заметит. Но он сворачивает за угол. Слава Богу! И так день за днем. К Мусе стал приходиться агент из НКВД, уговаривал работать с ними. Им хотелось получить ее как агента, эту необыкновенную красавицу. Послать ее за границу. Сулили воспитать ее детей. «Такие женщины, как вы, нам нужны». Он приходил, если не заставал ее дома, оставлял записку с подписью «Тюльпан». Ни больше ни меньше. Вызывали ее к начальству. Начальство сначала просило, потом грозило, стучало револьвером по столу. Она не соглашалась. После одного из таких вызовов она не вернулась. Ирина была в этот день в Москве. Ей позвонили, сказали, что Мария Валентиновна просит передать ей благодарность за все хорошее, что она ей сделала, и что Ирину известят, когда нужно будет принести ей вещи. А через две недели она умерла. Что они с ней сделали? Запытали, забили, или она сумела покончить с собой? Ирина дала мне денег и посоветовала уехать куда-нибудь прочь от Москвы и Ленинграда. Я поехала в Калинин, где поселилась вернувшаяся из ссылки моя приятельница Рене Михайловская (О'Коннель) с мужем, тоже бывшим ссылкой. Они приютили меня, пока я не найду работу. Кто-то мне посоветовал поехать в тубсанаторий под Калинином. Я поехала. Спрашиваю завхоза, не найдется ли для меня работа. Найдется. Он оформит меня дворником, а я буду клубным художником. Он даст мне жилье, дрова на зиму и т. д. Он, оказывается, имел на меня виды, а когда получил отказ, не дал ни жилья, ни дров. Я сняла комнату в соседней деревне. Было лето. Ко мне приехала моя бывшая свекровь Лидия Алексеевна и привезла Павлика. Ему уже сняли тяжелый гипс и наложили съемную лангетку. Он мог ходить на костылях, а спать без лангетки. Приехала и Ксюша. Мы провели чудесный месяц, а к зиме я перебралась в другую деревню, поближе к работе. Ксюша и Л. А. уехали. Плохо было то, что по закону я не имела права работать, не будучи прописана. Пришлось выписаться из Ленинграда.

Я опять оказалась выкинутой, вынужденной жить в деревне, в этих примитивнейших условиях, в нужде и с больным ребенком. Ему ведь скоро надо начинать шголу. Она в семи километрах от деревни. О том, чтобы ковлять туда по снегу на костылях, нет и речи. Да я опять заболела. Пришлось лечиться в больницу в Москве. Павлика пока что взяла Рене. Вскоре за ним приехал племянник. Зима прошла в новых скитаниях, опять без прописки. Летом я поехала с мальчиком в Ленинград, где нас приютила моя бесценная и самая близкая приятельница Лидия Николаевна Щуко. Ее муж И. А. Брауде (известнейший органист) хотел, чтобы Павлик поступил в хоровое училище, Капеллу. Там интернат, и, если его примут, он будет иметь крышу над головой и пропитание. У мальчика был чудесный слух и очень точный голос. Его приняли. Но не так-то легко было попасть в интернат. После многих хлопот и беготни и это удалось. А я снова стала скитаться из дома в дом и ночевать на чужих диванах. В это время я познакомилась с Александрой Константиновной Де-Лазари, в прошлом актрисой. Она отнеслась ко мне с горячим участием, она просто увлеклась мной. Ей я обязана очень многим в восстановлении моей жизни. Она

жила тем, что делала абажуры, и вязанием. К этой работе она привлекла и меня. Я расписывала абажуры. Потом я придумала шить переднички, которые имели большой успех у всех знакомых, а еще я делала маникюр, освоенный по совету моей сестры. Я ходила по вызовам по домам, главным образом по знакомым. Все это давало мне возможность кормиться. Каждый день к вечеру я шла в капеллу, чтобы помочь Павлику. Нагрузка в этом училище была не по его здоровью. Он был очень слаб, легко утомляем. Первые два урока были всегда пение. Они пели стоя, и хормейстер мне всегда говорил: «Этот ребенок мне не нужен. Я должен уложить его в постель, ведь я вижу, что он вот-вот упадет». Я была в вечном страхе, что его отчислят. А ведь, кроме общеобразовательных предметов и пения, были еще фортепьяно, скрипка и теория музыки. А по вечерам очень часто хор выступал в каком-нибудь концертном зале. И как назло, их как бы на закуску выпускали последним номером. По вечерам я следила за тем, как он играет на рояле, и взяла на себя репетиторство еще с двумя первоклассниками только для того, чтобы меня пропускали в училище. Для мальчика эта школа была истинной каторгой, от которой его освободило лишь мое замужество в 1955 году. Однажды к Ал. Конст. пришла ее соседка по лестнице, Мария Александровна Елизарова, певица из Кировского театра. В это время она уже не пела, а преподавала в консерватории. Узнав о моем положении, она предложила мне жить у нее, правда в кухне, но огромной, за одну только услугу — быть дома те два-три часа, когда ее нет, а сын ее, учившийся тоже в капелле, приходит домой, и помочь ему в подготовке к экзаменам. Мальчик был более чем живой, теперь это называется неуправляемый, — очень проказливый и всегда на грани исключения. Только просьбы матери и ее вес в музыкально-педагогическом мире заставляли педагогов терпеть его. У мальчика был мощный альт. Педагоги не находили в нем ничего особенного, он даже не был солистом, но М. А. постоянно говорила мне: «Володя будет очень хорошо петь». Мальчик этот был Володя Атлантов, тенор, который потом получил мировое признание.

Наступило лето, и семья актера Черкасова предложила мне провести его в Комарове на их даче. Павлик со мной. За это я должна была опекать их сына Андрея. Условия были великолепные. В моем распоряжении была домработница, была еще сторожиха, смотревшая также за коровой, и была с нами мать Нины Николаевны Черкасовой, малосимпатичная старая дама. Это лето мы провели прекрасно. В Комарове жило много моих знакомых и друзей. Самые близкие — Шварцы. Женю я знала еще с 1924 года, совсем молодого и еще не знаменитого. Была у него тогда другая жена. А сейчас — Екатерина Ивановна. Она меня очень полюбила. Ек. Ив. была очень строга, даже зла к людям, которые ей не нравились, но меня почему-то дарила своей любовью и заботами. Здесь же снимали дачи Зандерлинги, Козинцевы, недалеко была дача Шостаковича. Конечно, всю эту компанию украшал Женя Шварц. Его доброе, искрящееся, какое-то спонтанное остроумие делало беседу с ним истинным удовольствием. Народу у них всегда была масса. На следующее лето я устроилась для того, чтобы мальчик был на воздухе, в семье одного профессора. Я забыла его фамилию. Там было много груднее. Мальчик четырнадцати лет, девочка девяти и мой Павлик. Дача в Райволо, в глуши и дичи. На участке бежал большой ручей, была огромная злейшая цепная собака. И я с тремя детьми совершенно одна. Это был год бериевской амнистии, уголовники бродили повсюду. Мне дали «для защиты» ружье. Я клала его с собой в постель. Родители приезжали раз в неделю и привозили продукты. Вспоминаю это лето с неприязнью. Мадам занималась какой-то наукой, которая требовала опытов на собаках. То есть она их резала и мучила. Надо было видеть, как наша цепная собака ее ненавидела. Видимо, она все чуяла, и однажды набросилась на эту даму, подмяла ее под себя и грызла чуть не до смерти. После этого собаку застрелили. Событие, не украсившее воспоминание об этом лете.

Время шло. Я жила в Ленинграде, но опять непрописанная. Все боялись меня прописать: и Нина Черкасова и Елизарова. А вдруг я буду потом претендовать на жилплощадь. Простим их. Тогда все всего боялись. А у меня же на лбу еще клеймо — репатрированная. Даже мужчины, которые за мной охотно ухаживали, делали это отнюдь не для того, чтобы на мне жениться. Заводить романы просто для романов мне было некогда. А замужество в моем положении было бы спасением. Но не находилось охотников жениться на подозрительной особе.

Вера Николаевна Трауберг была дружна с художницей Валентиной Ходасевич. Та, овдовев, жила одна, очень много работала для театров, моталась между Ленинградом и Москвой и мечтала о компаньонке. И Верочка сосватала меня к ней. В это время Валентина была в Москве. Они сговорились по телефону. Вера дала мне ключи от квартиры Валентины. Я должна была в ней поселиться, убрать ее и ждать приезда В. М. Я была поражена этой квартирой. Отец Валентины был известным в свое время антикваром. После его смерти то, что не было завещано музеям или распродано, перешло к Валентине. В квартире не было ни одного не антикварного предмета. Лавка древностей. Я стирала пыль с огромной фигуры трехликого и многорукого божества, под которым должна была спать на диване восемнадцатого столетия; с табуретов в виде слонов, из буддийского храма; с замысловатого столика — золоченый негр поддерживает поднос (восемнадцатый век), со всей роскошной мебели прошлых веков, с петровского резного буфета. Кровать, некое чудо по размерам и особенным мельчайшим пружинам матраца, раскинула полированные спинки-крылья и стояла на четырех черных грифонах. Кровать эта была еще знаменита тем, что на ней валялись и Горький, который очень дружил с Валентиной, и Шалапин. Я не хочу сказать, что они на этой кровати любили Валентину. Это было дружеское валянье. Валентина была весьма нестандартной личностью, лишенной всяческого мещанства. Ко мне она отнеслась так, как будто она меня знала и ждала всю жизнь, именно меня. Чтобы узаконить мое существование, со мной был заключен договор как с домработницей, и Валентина прописала меня у себя без всяких подозрений. Мы зажили довольно хорошо. Мне было трудно только то, что она привыкла к ночной жизни. Гости, по большей части балетные артисты, приходили после спектакля. Надо было всех принимать, угощать, а главное, сидеть с ними. Я же в десять часов вечера всегда хочу одного — лечь спать. Я никогда в жизни не пила вина, и сидеть со стаканом в руке для меня мука. Валентина была очень избалованная и капризная женщина, но это не мешало нашим прекрасным отношениям. Однако я не могла не отметить в ней некоторой глупости. Она верила во все пропагандные выдумки: Сталин — гений; директора Большого театра, один за другим, хотели подложить бомбу, когда он посещал театр (мы знаем, что они были расстреляны в свое время); Горького «извели враги» и т. д. Я не оспаривала ничего. Она была очень авторитарна. Дом, где она жила, принадлежал некогда композитору Бортнянскому. Это дом на улице Халтурина, ранее Миллионная. И жила она в его квартире, вернее, в части его квартиры, в советское время разделенной на несколько. Дом поставили на капитальный ремонт, и надо было на это время куда-то перебираться со всей мебелью. Нам предложили огромный, на восемьдесят квадратных метров, подвал в центре города. По соседству в этом подвальном помещении жили люди, но эти восемьдесят метров пустовали, и мы могли в них перевезти мебель. Валентина уехала надолго в Москву, а я с помощью ее молодых друзей перевезлась, расставилась, и получилось совершенно неожиданное жилье. Что-то вроде волшебной пещеры Аладдина. Когда В. не было в Ленинграде, я занималась заработками (ведь мне ни при одной комбинации денег не платили), а по вечерам, как всегда, Павликом. Свободное время я проводила у Алекс. Конст., с которой работала, или у Лидочки. Однажды Ирина Щеголева позвонила Лидочке и вызвала меня туда. Под строжайшим секретом она сообщила нам следующее: ей позвонил некто и сказал, что ему надо с ней встретиться. Кто он, было ясно. Это был агент КГБ. «Приезжайте на трамвайную остановку там-то, я буду вас ждать». — «А как я вас узнаю?» — «Я сам к вам подойду». Значит, он ее знает. Встретились. Два часа он прохаживался с ней по улицам, допрашивая все обо мне. Кто я? Как попала в Германию? Чем там занималась? Уверена ли Ирина, что я не шпионка? И так далее. Почему-то он допрашивал ее, а не меня. С Ирины он взял подписку, что она никому, особенно мне, ничего не расскажет. Еще сказал, что за мной «следят». Можно себе представить, что со мной сделалось! В горле стоял ком, не проходил ни днем, ни ночью. Впрочем, ночью я ни на минуту не уснула. Ночевать ушла к Шуре Де-Лазари. Она все допытывалась, что со мной, но я молчала. Теперь я вспомнила, что на днях заметила человека, стоявшего в воротах, когда я выходила с одним приятелем из дома. Человек пошел за нами. Мы остановились у афиши. Он тоже. Мы пошли, и он за нами. Он был неосторожен, и я сразу поняла, что это сыщик, но подумала, что это за Димой. Он тоже был человек подозрительный. Итак, черная тень ходила около меня. Впоследствии, когда

сталинский кошмар окончился, милицейская сотрудница, которая меня облагодетельствовала, рассказала, что ее постоянно тербил КГБ по поводу меня, что за Ириной и за мной были приставлены топтуны, которые следили за каждым нашим шагом. И эта нечистая сила все же не трогала меня! Как? Почему? Нечто невидимое, но более сильное окружало меня и оберегало. Был у меня ангел-хранитель. Куда же мне теперь бежать? Куда прятаться? Опять страх леденит душу. Мне бы, дура, жить в глуши, в каком-нибудь медвежьем углу, не общаться с разными знаменитостями, никто бы мной не интересовался. Мало мне было примера Муси? Ведь она, поселившись полулегально в Лосиноостровской, куда только не бывала приглашаема! К Пешковым на дачу, к Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву), который любил ее, водил повсюду гордиться ее красотой, и к заутрене в Елоховский собор, куда съезжались иностранцы и гебешники, и на все премьеры и приемы. Эта неумная жажда жизни между себе подобными погубила ее. И я туда же! А после хрущевского разоблачения и Мусю и Славу реабилитировали. То есть признались в том, что убили их «по ошибке». Заодно о судьбе художника В. В. Дмитриева. Когда-то он был женат на армянской девушке Вете Долухановой. У них родилось двое близнецов. Когда им было по семь месяцев, ночью появились агенты КГБ. Они увели Вету, оторвав ее от детских кроваток. Больше Володя ее никогда не видел и ничего о ней не слышал. А теперь, уговаривая меня не поддаваться страху, рассказывал мне, что провел десять лучших лет своей жизни в вечном ледяном страхе перед ними. Бывало, что он бросал работу, садился на любой поезд и ехал куда глаза глядят, потом пересаживался и ехал в другом направлении, петлял, задыхаясь от страха. Переезжал то в Москву, то обратно в Ленинград. Неудивительно, что в сорок пять лет у него был инфаркт и он скончался. О, будь же ты много раз проклят, злобное, трусливое чудовище, погубившее столько жизней, исковеркавшее столько судеб!!!

Через некоторое время Валентина надумала переезжать в Москву, обменяла свою квартиру на комнату в коммуналке, где ее с ее фантазмагорической обстановкой и странностями избалованной дамы соседи травили так, что она была вынуждена не выходить на кухню и не пользоваться ею. Я была свободна. Меня взяла к себе и прописала Шура Де-Лазари. Она жила теперь в отдельной однокомнатной квартирке. Мы жили дружно, работали вместе. Она вязала, вместе мы делали абажуры, я шила переднички и ходила на маникюр. В Ленинград теперь приехала и Ксюша. Она окончила школу. От отца ушла, не поладив со своей мачехой, и последний год жила у моей сестры. В Ленинграде ее привлекала более легкая возможность поступления в вуз и, главное, общежитие, которое ей как иногородней было возможно получить. Она поступила в университет на географический факультет. Конкурс был чудовищный — восемнадцать человек на место. Несмотря на хорошие отметки, ей бы не поступить, если бы не заступничество академика В. И. Смирнова, а затем и Черкасова. Теперь дети были снова около меня, хотя и не со мной. Однажды Шура Де-Лазари сказала мне, что звонил некто Лебединский из Москвы. Хочет со мной встретиться. Этого Лебединского я знала, встречалась с ним в Москве у Алисы Порет, но здесь он был мне совершенно не нужен. Я уклонялась от встречи. Но раз вечером, когда я сидела в коридоре интерната, поджидая Павла, дверь отворилась и вошел Лебединский. Он приглашал меня пойти с ним в концерт. Нет, нет и нет! Некогда. Да, подумала я, и не в чем. На мне было мое единственное одеяние — разорванная спереди юбка. Эту дырку я прикрыла ладонью. Но, может быть, завтра? Послезавтра? Хорошо, посмотрим. На другой день я была у Тани Герман, жены Юрия Германа. Узнав о моих затруднениях, она открыла платяной шкаф и сказала: «Выберите, что вам пойдет. Вы должны пойти». С Львом Николаевичем мне было очень интересно. Наши вкусы и взгляды неожиданно совпали. Мы оба очень любили музыку Шостаковича, а он еще был связан с Шостаковичем самой тесной дружбой. Мы оба ненавидели сталинщину и Сталина, который в это время уже умер (ах, я всегда хочу сказать «сдох»). Как странно, ведь мы начали свою жизнь с противоположных концов, он в тринадцать лет защищал революцию, защищал ее с винтовкой в руках, жертвуя своей еще детской жизнью; я в мои двенадцать лет ненавидела не революцию, но все, что вскипело и всплыло с ней, царство хама, грубость, насилие. А теперь мы с ним мыслили одинаково... Он был первый. кто сказал

мне после двенадцати лет моего вдовства. «Когда мы поженимся...» Он даже не спросил меня, согласна ли я. Просто взял за руку и увел в другую жизнь.

К осени мы должны были переехать в Москву, к нему, а на лето я получила приглашение от одного знакомого, в силу разных житейских осложнений попавшего на работу в совхоз Казахстана. Его жена не желала туда ехать и просила меня взять их девочку Таню и Павла и поехать туда на лето. Отец Тани писал, что в степи восхитительно (была весна), у нас будет отдельный домик, пищи сколько угодно, все нам будут приносить и т. д. Мы поехали. Дорога через Урал была интересна. Дети были в восторге. Потом сто пятьдесят километров по голой, уже выжженной степи от Кустаная до совхоза. Ни одного деревца, ни даже кустика, саманные домишки с наглухо и навсегда запертыми окнами (защита от песчаных ветров), нигде и никакой тени. Но Павлику нравилось. Он ездил с отцом Тани на машине, делая огромные объезды разбросанных на десятки километров ферм. Где-то видел степных орлов, клубки перекати-поля, скачущие по ветру как живые... А я помню только стаи полуодичавших дерущихся собак и мух, даже не роями, а тучами. Мучительное лето! Когда оно закончилось, мы с Павлушей поселились в Москве у Л. Н. У него была комната в большой коммуналке. Было тесно, но уютно и очень удобно. Судите сами Л. Н. сидел за письменным столом, поворот на сорок пять градусов — и он за роялем, на девяносто градусов — он за обеденным столом. Впоследствии Ксюшу перевели в Москву, и Л. Н. подобрал ее под свое крыло. Он был очень добр к моим детям. Теперь Павлик устраивался спать под роялем, уступая сестре свое место за шкафом.

Здесь я прерываю свой рассказ. Я часто мысленно возвращаюсь к пережитому. Может быть, когда-нибудь я и соберусь описать более подробно события и людей, прошедших перед моими глазами. В большинстве своем это уже тени. Безвестные, маленькие люди и знаменитые, с громкими именами — мир их праху и великая благодарность за добро. А зло нас учили прощать. Впрочем, меня зло пощадило, хотя и было рядом. И не мне судить.

Читайте в 1992 году:

Н. КОРЖАВИН

В соблазнах кровавой эпохи

* * *

«Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы определить как-то более скромно — «жестокой». Но жестокость в истории, при всей ее отвратительности, не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело, в значительной степени тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени...»
(Н. Коржавин)

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

*

РАССКАЗЫ

Сочельник

По темной, еще не дождавшейся рассвета московской улице, по мокрому снегу вперемешку с водой, занимая полтротуара, опираясь на палку и тяжело дыша, двигался как оползень громадный старик в древнем кожаном пальто на меху и изъеденной молью песцовой шапке. Сильное волнение гнало его вперед, заставляя месить неподатливый снег. Он прошел больше двух кварталов, ни разу не останавливаясь и не переводя дух, и наконец свернул к очереди у газетного киоска. Было по-прежнему темно, но со стороны не замерзавшей третью зиму подряд реки забрезжило, стал таять фиолетовый свет фонарей, и, купив газеты, старик присел на лавочке в небольшом сквере против продуктового магазина.

Теперь он чувствовал себя совсем иначе, с жадностью смотрел по сторонам, отчетливо, как в молодости, слыша звуки и запахи улицы; его обострившееся сознание отмечало все до мелочей, он заглядывался на хорошеньких женщин и ловил себя на почти забытом ощущении, как было бы приятно, если бы кто-нибудь из них обратил на него внимание и сел рядом.

Но женщины стремительно проходили мимо, и только неожиданно притормозил возле скамейки чернявый суетливый мужичонка в яркой лимонной куртке. Он мельком, но очень пристально взглянул на старика, на его крупные руки, сжимающие газеты, и вдруг стал уговаривать его сняться в массовке революционного фильма. Старик ответил чернявому презрительным взглядом, тот еще больше засуетился и пообещал заплатить за съемки двадцать пять рублей против обычных пяти, но старик царственно отказался, и мужичонка, сокрушенно цокая языком, понесся вперед, а старик, глядя ему вслед, внезапно пожалел об отказе, и долго еще этот человек не шел у него из головы, слегка нарушив то благоговейное состояние, в котором пребывал всегда старик в этот день — в день проверки облигаций трехпроцентного займа.

Сколько было у старика облигаций, никто не знал. Они хранились в самых невероятных местах громадной захламленной квартиры, в старинных железных коробках из-под сахара и монпансье, рассортированные по сериям, заботливо подобранные и перевязанные, ожидая своего часа, и лежали теперь перед своим владельцем. Старик перекрестился, взял мощную швейцарскую лупу и под ярким светом настольной лампы, шевеля губами, повторяя и обсасывая, как вишневую косточку, каждую цифру, начал сверять. На это у него ушло много часов, одной газете он не доверял, перепроверял по другой и наконец самую последнюю, решающую сверку сделал, как обычно, по «Сельской жизни», но цифры опять не совпали, не принесли даже жалкого выигрыша в стоимость облигации.

Старик не отчаивался, он был терпелив и верно рассчитал, что с каждой новой неудачей все меньше облигаций остается в тираже и его шансы на успех возрастают, а в том, что рано или поздно это произойдет и он выиграет по-крупному, он не сомневался нимало. Кроме этих облигаций и способов добыть деньги, чтобы обратить их в новые облигации, ничто его не интересовало — он жил одиноко, и вся его жизнь проходила в каком-то странном полусне-полубодствании.

Быстро истек бесснежный и оттого особенно хмурый денек начала января, давно пора было убирать облигации, но старик снова и снова брал увесистые

пачки, вглядывался в цифры, опять учащался пульс в его мягких полных руках, и он тяжело задышал, точь-в-точь как ранним утром на слякотном тротуаре, — однако все было напрасно. Старик же как будто на что-то надеялся и за этим занятием не сразу услышал поздний звонок в дверь. Он вздрогнул и стал судорожно распихивать облигации по коробкам, прятать их в смятую кровать и платяной шкаф, а пронзительный неурочный звонок все звенел, и, отвечая ему, задребезжали в буфете стаканы и чашки из дешевенького фарфора.

— ...умерла вчера.

Женщина лет пятидесяти с усталым бледным лицом и двумя большими сумками в руках, она что-то говорила, но сознание его было еще так от всего далеко, что никакие слова до старика не доходили.

...все тебя вспоминала. Боялась, когда ее не станет, я тебя брошу..

Женщина прошла в глубь квартиры, стала разогревать принесенную из дому еду, и только теперь он ощутил сладкий, как обморок, голод.

— А еще сказала, что очень тебе благодарна. Благодарна за то, что ты сделал ее матерью. А больше ты не сделал для нее ничего хорошего

Старик вспомнил язвительный голос бывшей жены, злую кличку — барчук, почтайт в Твери, где они познакомились на десятую годовщину революции, и обронил:

— Она совсем не умела жить.

— Ты... ты испортил ей жизнь, ты всегда только о себе думаешь, тебе было плевать на нас всех... (И он болезненно морщился, слыша все подряд) Эгоист, скряга, ничего хорошего после тебя не останется, а мама, она всех любила, и ее все любили.

Ему было очень не по себе и неприятно, особенно оттого, что до боли мучил разыгравшийся голод, но приходилось ждать, покуда дочь уgomонится, а та все говорила и говорила высоким пронзительным голосом, уже себя не помня.

Наконец вся в слезах она ушла, и, расхотевший от потрясения ужинать, старик решил, что не мешает еще раз проверить тираж и заодно поскорее успокоиться, как вдруг в дверь опять позвонили. Он подумал, что это вернулась дочь, чтобы попросить у него прощения за бессмысленную и несправедливую вспышку, и потому против обыкновения не стал спрашивать, кто там, и смотреть в глазок, а сдвинул щеколду и увидел перед собой здорового детину с облезлой елкой в руках.

Детина проворно вставил ногу в приоткрытую дверь и задышал перегаром:

— Папаша, купи елку.

Старик потерял от ужаса дар речи, а детина, ласково глядя ему в глаза, убедительно промычал:

— Купи, родной, гля, красавица какая.

— Сколько? — дыхнул наконец старик.

— Обижаешь, — ухмыльнулся детина, — чирик.

Негнушимами пальцами старик вытащил из внутреннего кармана красную бумажку и остался в коридоре один с осыпающейся, измятой елкой, покрытой остатками серпантина и дождя, верно, подобранной где-то на помойке после утреника в детском саду.

Он долго и тупо глядел на голые ветки, и нелепый этот детина, и елка, и яростная дочь, и чернявый ассистент режиссера с его нелепым предложением сыграть трагедию российского интеллигента — все это встрянуло его, и никуда старик не пошел, а так и остался сидеть в коридоре на табуретке, трогая время от времени сухие иголки и бессмысленно глядя в пыльный темный угол.

Если бы много лет назад кто-нибудь сказал ему, что он будет доживать свой век в одиночестве в этой запустелой квартире, дрожа и боясь использовать лишний рубль, верно, странным бы ему все это показалось — одиночества он никогда не переносил, денег не считал и тратил их легко и беззаботно на что придется.

Он был в ту пору женат, к сорока годам родил троих детей, преподавал в вузе историю и жил счастливо и безмятежно среди любящих его людей, не зная ни уныния, ни страха, а из многочисленных людских слабостей был особенно подвержен сластолюбию, что, впрочем-то, не особенно огорчало его некрасивую жену. Незадолго перед войной старик влюбился в молоденькую хрупкую музыкантшу с прелестными пепельными волосами и удивительно нежными тонкими

пальцами, так чудно умевшими ласкать. Он был тогда и сам хорош собой: прекрасно сложенный, с могучей, едва начавшей сесть шевелюрой, благородным высоким лбом, — и мало кто мог подумать, что у этого сильного мужчины был порок сердца, отчего его полтора года спустя не призвали в армию. Влюбившись, старик развелся с женой и ушел жить к музыкантше, но семью не бросил.

Его дети были еще в том возрасте, когда не вполне понимали, что к чему, и относились к отцу и его молодой жене с любовью, нетерпеливо ждали их приходов, музыкантша учила их играть на фортепиано и особенно хвалила старшего. Вечером, когда детей укладывали спать, она сама играла при свечах любимый стариком вальс из «Щелкунчика», в небольшой чистенькой комнате было уютно, мирно и не слышно жуткой ночной тиши, старик купался во всеобщем обожании, шутил, целовал руки и плечи молодой жены и вспоминал свое детство, усадьбу под Звенигородом, сосновую аллею и отца — известного юриста, защищавшего до революции социал-демократов, благодаря чему старику впоследствии разрешили учиться в университете. Когда он слишком расходился в этих воспоминаниях и серые глаза музыкантши расширились от ужаса, первая жена обрывала его:

— Замолчи и не вздумай этого нигде болтать!

Она всегда говорила с ним резко, но за этой резкостью он чувствовал такую мучительную любовь и заботу, что если бы эта женщина ушла из его жизни, он ощутил бы себя сиротой. Однако слушать ее предостережения было ему смешно — всеобщее страдание ни разу его не коснулось, вместе с сыновьями он пускал с балкона красноезвездных голубей, ни о чем не печалился и первые неудобства ощутил лишь со внезапным началом войны.

Уверенность, что война эта скоро кончится, не покидала старика до осени. В городе уже шла эвакуация, давали по карточкам крупы и хлеб, в небе зависли дирижабли, крыши и стены домов кое-где закрывали безобразные, аляповато разрисованные полотнища, и уходили на фронт неумелые добровольцы, — ничто его не пугало, он отмахивался от всех недобрых слухов. Но однажды старик проснулся от ужаса.

Он разбудил музыкантшу и не велел ей спать до утра, но ужас не проходил, ужас метался по комнате с опущенными шторами и крест-накрест заклеенными окнами, и вслед за ним заматался и сам старик. Он бросился с утра к первой жене, но, не привыкший решать ничего серьезного, не знал, как быть дальше и что теперь делать. В конце концов за него рассудили обе женщины, кротко договорившиеся между собой, что старик уедет с семьей в эвакуацию, а музыкантша останется в Москве караулить квартиру.

Так все и вышло, но с того дня, как забитый до отказа товарняк медленно потащил их за Урал, пошла под откос вся его прежняя жизнь. Чужая изба при сельской школе, дурная пища, холод, тараканы, скука, и даже на улицу выйти было неприятно: деревенские женщины с осуждением смотрели на его вальяжную фигуру в старорежимном пальто с бобровым воротником, не стесняясь громко злословили за спиной; он чувствовал себя крайне неловко, но не объяснять же было всем подряд, что его комиссовали на законном основании, — и большую часть времени старик сидел в избе возле печи и вспоминал.

Он вспоминал Рождество, громадную елку в жарко натопленной сверкающей зале, вальс из «Щелкунчика», женские платья и туфельки, запах духов, пудру и стыдливую, подарившую ему первые ласки любви гувернантку — белокурую немку с таинственным гётевским именем Лотта. Эта Лотта сильно нуждалась и не могла отказаться от той солидной доплаты, которую положил ей за определенные услуги адвокат, заботившийся о правильном развитии сына. Но старик таких подробностей не знал, приходившая к нему по ночам Лотта осталась в памяти трогательно чистой и нежной, и теперь он шептал ее имя, забывая на время о службе и пронзительных злых глазах.

В это самое время его сыновья промышляли на улице и искали, где бы стянуть дров. Жена не находила себе места, тревожно расхаживала по горнице, то и дело выглядывая на крыльцо и выпуская драгоценное скудное тепло. Старик прижимался к печке и в ответ на упреки в бессердечности рассудительно замечал, что мальчиков вряд ли поймают, а если и поймают, то отпустят скорее, чем его. И все выходило так, как он говорил, наловчившиеся мальчишки приносили в

дом дрова, разбирали чужие заборы и ограды для скота, жадно и некрасиво ели суп из картофельной шелухи, сморкались, толкались и дразнили любимицу старика, четырехлетнюю дочку, не понимавшую, что идет война и жизнь может быть другой. На отца они даже не глядели — за эти несколько месяцев из самого обожаемого и великого человека он превратился для них в ничто, и старик с горечью понял, что им стыдно перед другими мальчишками, чьи отцы ушли на фронт.

А война и не думала кончаться, все больше похоронок приходило в уральскую деревню, все яростнее и жутче были глаза у высохших деревенских женщин, сыновья воровали теперь не только дрова, но и все, что плохо лежало. Приходил председатель колхоза, контуженный артиллерист с пустым рукавом, грозился их выследить и на месте прибить, жена рыдала, и совсем больше не звучал в памяти старика чудный вальс. Как же не похожа была эта война с белокурами немцами на ту, что он помнил юношей. Если тогда ему хотелось пусть уж не прямо на фронт, но хоть какую-то лепту внести в защиту отечества от нашествия иноплемеников и в благородном порыве было отказано от дома Лотте, то теперь стало все равно, лишь одно желание им владело: скорей бы все это чем-нибудь кончилось, те победят или другие, но он вернется к прежней жизни. Зачем доверился он неразумным женщинам: и дал себя увезти? Что бы было с того. завоюют немцы Москву, его-то бы никто не тронул! И старик стал искать пути в обход всех действующих правил выбраться из этого проклятого места, но ему всюду отказывали. Только летом сорок четвертого удалось договориться, что им разрешат уехать на грузовой платформе, сопровождая трактор.

На этой платформе ехали почти месяц, плохо закрепленная машина однажды, когда состав резко дернулся, тронулась с места и придавила гусеницей руку старшему сыну. Это была ужасная минута, ни освободить руку, ни столкнуть трактор не удавалось, шестнадцатилетний мальчишка не плакал, потому что потерял сознание. металась обезумевшая мать, что-то кричали на станции осаждавшие поезд люди, а старик застыл как зачарованный. Наконец состав снова дернулся. трактор откатился, и парня с перебитой кистью вытащили.

Впрочем, теперь, много лет спустя, ни этой платформы, ни уральской деревни, ни голода старик не помнил. Воспоминания умерли в нем, оставив в душе лишь глухую тоску и пустоту. — да и куда он рвался, на что надеялся, смешной человек?

Постаревшая музыкантша зарабатывавшая на жизнь перепиской нот для генеральских жен, не смогла отстоять квартиру, куда вселилась прозившая доносками семья, и им пришлось жить вшестером в маленькой комнате: он, две женщины и трое детей. Сыновья тьцлились теперь музыкантши, дерзили ей, а самое страшное: привыкшие воровать там, продолжали заниматься этим и здесь, пропадали в расплодившихся после войны блатных компаниях; и до утра не смыкали глаз еще больше сблизившиеся женщины. Жили впроголодь, не в чем было отправить в школу дочку, да и к тому же заставляли каждый месяц выплачивать заем, восстановление, долг перед родиной — как все это обрыдло! И старик, никогда не отягощавший душу поздними раскаяниями, вдруг с обидой подумал, что не надо ему было в пятнадцатом году возвращаться кружным путем из Швейцарии в Россию, надо было остаться в вечно нейтральной стране с верной и нежной, нестареющей Лоттой, никогда бы не допустившей, чтоб ее воспитанника ждала такая участь.

Старшего сына пришлось отдать в военное училище, средний пошел на завод учеником токаря, и старик оставался на долгие дни с одними женщинами. Угрюмый, молчаливый, он наводил на них ужас, словно неведомый зверь, странным образом поселившийся среди людей. Музыкантша мучилась и испуганно говорила, что он наложит на себя руки, и вот тогда-то в это унылое время, когда стало окончательно ясно, что враг разбит, но победители оказались на пепелище, и случился тот неправдоподобный, фантастический выигрыш по одной из облигаций. Выигрыш этот достался именно ей, и пораженная женщина уже хотела громогласно о нем объявить, но в этот момент замечательная мысль пришла ей в голову. Она положила заветную облигацию в пачку к старику и стала ждать, в уме уже решив, как кстати будут сейчас эти деньги и на них можно будет купить швейную машинку, пальто, шубу для девочки. отправить продук-

товую посылку в училище, но более всего радуясь за мужа, который вот-вот обнаружит выигрыш и, может быть, этим как-то утешится.

Однако ничего подобного не произошло, муж ничего не говорил, разве что стал еще угрюмее и задумчивей, и простодушная женщина решила, что, верней всего, она второпях что-то напутала, и выкинула эту историю из своей легкомысленной головы с поседевшими волосами, но страшная беда случилась в их доме полгода спустя, в лето тысяча девятьсот сорок седьмое от Рождества Христова, грянула с кремлевского небосклона на головы обывателей денежная реформа, унеся их скромные и нескромные сбережения в государственную казну, реформа, о которой сорок с лишним лет спустя, когда старик сидел один в пустом коридоре, вновь заспорили ученые мужи: стало ли от нее народу лучше и не следует ли осуществить нечто подобное теперь.

Мягкая полная рука все сжимала еловые ветки, было уже совсем темно, но зажигать свет не хотелось, а глаза, казалось, все это видели — этот страшный день, страшнее, чем начало войны или революции, стоял перед ним, и снова сотрясалась душа в бессильной ярости против всего сущего.

Странно, как выдержало тогда этот удар его больное сердце, странно, что не попал он в психлечебницу или в тюрьму, но голько поправившийся на казенных харчах сын, придя в увольнение, не сразу узнал отца с бессмысленно застывшим взглядом и закушенной от боли губой, точно теперь того придавило гусеницей. Когда же пришел старик в себя, то разбушевался, хотел идти прямо к вождю, требуя справедливости к сыну покойного революционера, и женщинам стоило большого труда его унять, не выпускать на улицу, чтобы никто не слышал, как кроет старик власть, как жутко ругается, и в эти бессонные злобные ночи он вдруг вспомнил, что говорил когда-то в Петрограде его гимназический друг, человек, как всегда полагал старик, недалекий и к тому же монархист, как уговаривал его уйти вместе с ним к Деникину, потому что новая власть — это власть бандитов, и какие бы заслуги ни имел перед ней его либеральный папаша, все равно рано или поздно эта власть их сметет, если сейчас они все не уйдут к Деникину. Но промозглой питерской ночью старик не внял своему приятелю-монархисту: его же взяли в университет, им оставили квартиру, их не лишили избирательного права — так зачем же к Деникину, под пули?

Боже, Боже, кололись еловые ветки в руках, кололось больное сердце в глубине его рыхлого тела, все верно, бандиты и мерзавцы отняли у него чудную сосновую аллею, разлучили его с Лоттой, хамы и негодяи обрекли его, потомственного дворянина, на нищету и смрад уральской ссылки.

И с того дня в мутном и воспаленном сознании старика возникла странная фантастическая идея скупать облигации, выигрывать по ним, чтобы стать наконец богаче, чем эта воровская власть, чтобы задушить ее и расквитаться сполна, и тогда воздастся каждому то, что положено, тогда приползут к нему на коленях злючие деревенские бабы, контуженные танкисты и пехотинцы, приползут все, кому вдруг стало лучше жить за счет его денег, отмененных карточек и твердых цен, тогда приползут бесчестные плебеи вожди, и он представил, как усмехнется, не разжимая губ, и станет долго на них глядеть, но оставит ни с чем.

Через месяц старик развелся с музыкантшей и после нескольких прикидок женился на вдове генерала интендантской службы. Ему потребовалось немало усилий, чтобы склонить ее к новому замужеству, однако в этом, казалось бы, рыхлом, безвольном человеке обнаружилась мертвая хватка, и вскоре были проданы и генеральская дача и автомобиль, а на эти деньги приобретены облигации. Генеральша плакала, ей было жаль не дачи, но чудного розария, единственного места, где находила покой ее смертельно испуганная душа, а старик был непреклонен и продавал золото, мебель, посуду, картины, книги и многое другое, вывезенное покойным генералом в последний год войны из Германии.

О, теперь он был умен и не позволил бы себя так бессовестно надуть! Старик хранил облигации, распределив их по девяти сберкассам, осуществляя какие-то сделки, что-то продавая и выменивая, в его глазах появился лихорадочный блеск, пугавший жену до дрожи, но ему не было до того дела. Он приводил в исполнение свой безумный план и испытал некоторое разочарование в пятьдесят третьем году, когда сгинул в давке собственных похорон великий вождь, и лишь один

старик из всей этой массы знал, каким коварным и бесчестным был на поверку отец народов.

Что-то творилось в стране, и иным делалось жутко, а тем, напротив, весело. в город возвращались странные, как тени, люди, молодые ветераны войны надевали медали обратной стороной и уезжали поднимать целину по зову вечно мудрой партии — старик же был занят по-прежнему одним. Все больше облигаций скапливалось в его руках, все больше часов уходило на их проверку, он подстерегал заветный выигрыш, но подлая удача насмешливо ускользала, разминувшись с ним иной раз в одной-единственной цифре.

Он верил в эту удачу со всею нерастраченной страстью и энергией своей души, ничто не могло его смутить или заставить отступить, пока не поколебал его уверенности новый дурашливый круглоголовый правитель, объявивший на всю обомлевшую Расею, что через двадцать лет никакие деньги нужны не будут, все станет бесплатным и доступным для всех.

Он с раздражением читал восторженные статьи в газетах, ненависть вызвала в нем каждая новая стройка, с ненавистью смотрел он на улыбающегося отовсюду майора Гагарина. Но прошло время, как-то незаметно канул в неизвестность лысый вождь, потом разбился при странных обстоятельствах счастливчик майор, и тогда старик в который раз философски подумал, что, в сущности, любая жизнь есть та же облигация и никому не дано знать, какой выигрыш или проигрыш на нее падет, сие есть великая тайна, хранящаяся в чьих-то незримых руках, и он как умел молился этим рукам, чтобы были они к нему милостивы.

Тем временем его супруга от тоски или дурной пищи все чаще болела, и вскоре у нее нашли рак желудка. В больницу ездили по очереди первые две жены, а старик стал к той поре грузен, у него появилась одышка, и его хватало лишь на небольшие прогулки вокруг дома. Время от времени он звонил в больницу, и однажды ему сказали, что больная скончалась. Однако на следующий день, который старик посвятил перенесению облигаций из сберкасс домой, неожиданно выяснилось, что дежурная перепутала фамилию и генеральша жива. Эта ошибка произвела на него столь сильное впечатление, что, когда месяц спустя она действительно отдала Богу душу, ему почудилось, что и на этот раз вышло какое-то недоразумение, и он смотрел на скорбные лица родни зачарованно и недоуменно.

Потом не стало другой его жены — к концу жизни музыкантша совсем высохла и лежала в гробу невесомая, с бледным, но будто бы живым лицом, унося с собой тайну того самого выигрыша, что так сильно изменил жизнь старика, и он снова не мог поверить, что никогда больше не услышит ее голоса и не дотронется до него ее нежные пальцы. Лицо его не выражало ни горя, ни страдания, и он совсем не понял, почему вдруг нарочито громко и ожесточенно сказала жена старшего сына:

— Пусть же и он так мучается, мерзавец!

Ничто не изменилось в его жизни, он жил по-прежнему одиноко и скупно и позволял заботиться о себе лишь дочери. Ей единственной он открывал засовы необъятной квартиры, дочь готовила, стирала, убирала, и, глядя на эту женщину, так и оставшуюся в его памяти маленькой девочкой, не знавшей, что такое война, и не стыдившейся не ушедшего бить фашистов папы, он чувствовал удивительную нежность и одновременно с этим страх при мысли, что с ней может стрястись какая-нибудь беда. Он любил ее так сильно, как только умел любить, и иногда даже размышлял, не предложить ли дочери денег, но потом одумывался — на что ей деньги, она принадлежала к тем легкомысленным созданиям, кто не умеет жить и тратит деньги на ерунду, не ведая их истинного предназначения.

С сыновьями старик виделся редко: старшего он презирал за мундир, звал хамом, и, когда им приходилось встречаться, разговор быстро перерастал в склоку, старик говорил гадости, и сын, тоже располневший, чем-то напоминавший теперь старика и, несмотря ни на что, мучительно его любивший, несчастный человек, из которого, может быть, и вышел бы музыкант, когда бы не покатеченные под гусеницей пальцы, тоже наливался гневом, и они едва не хватили друг друга за грудки.

Другого сына старик уважал и побаивался. Это был очень умный, с безошибочным чутьем в жизни человек, и старику нравилось говорить с ним о политике и финансах.

— Как ты полагаешь, реформы больше не будет? — задавал старик всякий раз один и тот же вопрос.

— Вряд ли, — отвечал сын, поблескивая стеклами очков в золотой оправе и пощипывая умеренно вольнодумную бородку.

— А вдруг война?

— С кем это?

— С Америкой.

— Нет, — качал тот головой, — с Америкой не будет.

— А с кем будет? — настороженно спрашивал старик, сиюсья разобраться, что таят за стеклами глаза.

— Мало ли с кем, — пожимал плечами некогда худенький и проворный мальчик, которому даже хозяйская курица в уральской деревне несла яйца.

Теперь он был доктором наук, вращался в высоких сферах, и старику казалось, что сын знает нечто очень важное, имеющее непосредственное отношение к тем силам и стихиям, что ведали раскладами цифр в таблицах. Но сын упорно молчал, стоило только отцу завести разговор о служебных делах, и иногда в старика закрадывалось подозрение, что этот чересчур умный и осторожный человек вовсе ему и не сын, а нагуляла его тихоня жена с кем-то. К увлечению отца облигациями он относился скептически и советовал покупать золото и драгоценности.

— Золото не может выиграть, — возражал старик.

— Золото-то и выиграет, — говорил тот, но старик уже ничего не слышал.

Так проходили годы. Он был по-прежнему отменно здоров, громадное его тело работало уверенно и равномерно, только все чаще он засыпал днем или вечером, а просыпался среди ночи возле телевизора с тускло светящимся матовым экраном, не сразу сообразив, где находится и который теперь час. Старик звонил дочери, та сонно велела ему спать, но уснуть он не мог, его раздражало, что вокруг темные окна и в телевизоре пустота, сон не шел, и он сидел долгие часы в обитом черной кожей кресле, размышляя о предстоящем тираже, о том, сколько может он максимально выиграть, листал подшивки таблиц и вдруг заново принимался проверять тираж какой-нибудь пятилетней давности, покада его опять не клонило в сон.

У детей старика выходили замуж и женились их собственные дети, он стал прадедушкой, превратившись для своих взрослых внуков в легенду, — все знали, что он где-то живет и что он фантастически богат, но никто из них его ни разу не видел, и можно было только гадать, что поднимется вокруг его наследства. Но каково оно и кому достанется, не обсуждали, не осуждали, а жили недружно, потому что жены полковника и доктора наук недолюбливали друг друга, ссорили мужей, и объединяла их только общая неприязнь к дочери старика. Старший сын вышел в отставку и купил дачу, средний все чаще ездил за границу и, как только позволили обстоятельства, сделался одним из ведущих прогрессивных публицистов, пишущих на экономические темы, они редко появлялись у отца, и того это вдруг стало обижать. Теперь он с удовольствием вспоминал стычки с детьми, звонил им, звал непочтительными и уподоблял детям Ноя. Его сознание постепенно угасало, он плохо понимал, что происходит в стране и отчего люди вдруг сделались какими-то шальными; старик даже забыл, с чего, собственно, началось его накопительство, забыл, что когда-то властью и мощью денег он хотел расправиться с нечестивой властью людей, — власть сгнила и без него, а старик желал теперь только выиграть, чтобы снова пережить то ошеломительное, как близость Лотты, ощущение счастья, которое он испытал в голодный послевоенный год.

Но теперь женщина, связывавшая его с той жизнью, умерла, остался он один с осыпающейся елкой и облигациями в темном коридоре, что-то закололо вдруг никогда не тревожившее его сердце, будто попали в него еловые иголки и впились в незащищенную плоть, разнося боль по груди. Он попытался приподняться, но боль тотчас же усадила его обратно, и в этот самый момент вдруг понял старик, неизвестно как и откуда понял, словно сердитый и злой мышинный король пробежал мимо и толкнул хрустальный шар, что никогда и ничего он не выиграет, все выигрыши уже давно распределены и достались другим, а его

облигации — это пустые бумажки, он снова обманут: безбожная, подлая власть, построившая никому не нужные заводы, каналы и электростанции, запустившая в измученный космос десятки улыбающихся гагариных, выстроившая дачи и особняки там, где стояло его имение, сделала все это на те деньги, что он щедро и безрассудно ей предоставил, получив взамен жалкие и ненужные листки, а ему оставила захламленную квартиру, одиночество и пустоту.

По экрану телевизора скакали полуголые девицы и разнаряженные, грубо накрашенные парни, мигали разноцветными огнями елки в окнах соседнего дома, все это перебивалось рекламой, какой-то дикой музыкой, пьяными выкриками и благотворительностью, спал, видя последний свой сон на помойке, где он подобрал елку, напугавший старика детина, — страна после долгого перерыва официально встречала Рождество. и все сильнее кололо сердце, будто еловые иголки, набухая, стали расти и рвать все внутри или же завелась там жадная голодная мышь. Старик схватился рукой за грудь, другой за елку и вдруг почувствовал крупные горячие слезы на лице. Он плакал, этот большой косматый человек, и все гладил сухие колючие ветки, было холодно, тесно, темно, но вдруг пробили где-то часы, и в этом мраке и ужасе далеко-далеко вспыхнул огонек и послышалась мелодия из «Шелкунчика».

Кряхтя и тяжело дыша, старик приподнялся, взял елку, отнес ее в комнату, и встала перед глазами таинственная полутемная зала, морозные узоры на окнах, громадная мохнатая ель и свежая, счастливая Лотта, еще не обреченная на ночные приходы к нему в спальню. И вдруг мучительно, сильнее, чем даже выиграть, захотелось ему, чтоб все воскресло и повторилось, чтобы снова была наряжена елка и сверкала чудными разноцветными огоньками. Взгляд старика заметался по комнате, но ничего, отдаленно напоминавшего украшения или игрушки, в ней не было, тогда он достал железные коробки и стал высыпать ворохи облигаций на стол и на кровать. А потом взял ножницы и принялся вырезать из плотных листов зверушек, звездочки и рисовать на билетах трехпроцентного займа добрые и страшные рожицы, женские ножки и головки. Он привязывал к ним нитки, клеил, вешал на ветки, и все выходило быстро, ловко, как когда-то у аккуратной белокурой немочки.

Улеглась колючая боль в груди, он перестал чувствовать свое грузное тело. а комната наполнялась дорогими ему тенями — стояла где-то молодая, в его младенчестве умершая мать. тихо напевала детскую песенку музыкантша, с умилением глядела на него окруженная розами генеральша, и он сам, то ли старик, то ли ребенок, шелкал пальцами и показывал свое богатство поблескивающему золотыми очками и пощипывающему социал-демократическую бородку отцу. А потом стал делать из оставшихся облигаций голубей, рисуя на крыльях рождественские звезды, распахнул окно и запустил голубей в небо, высунувшись наружу, радостно вскрикивая и размахивая руками.

Голуби кружили над заснеженным двором, он шелкал пальцами и ликовал, а под окном уже собрались люди. махали руками и бегали за голубями, разворачивали их и пихали в карманы, отталкивали друг друга, кричали, но мальчик в окне пускал все новых и махал им рукой в ответ. Он выпускал их на волю, покуда не вырвались они все, и тогда, не закрывая окна, старик уснул, отпустив напоследок легко и безболезненно выпорхнувшую последним голубком душу.

Галаша

Родился я в сорок третьем году под октябрьскую. У матери было еще двое детей меня старше, а отца нашего убили на фронте. С войны и половины мужиков не пришло, так что много нас было в Нименьге молодяжки, кто своих батек никогда не видел или по малолетству не помнил. Деревню к тому времени совсем уже разорили колхозом, но голода настоящего мы не знали. Трудно жили, а всяко жили. Иногда привозили нам рыбу с нижних деревень, что стояли на берегу большого богатого озера, и меняли на одежду, посуду и грибы. А на Михайлов день, в престольный праздник, хоть церкву еще в тридцать втором году нарушили, собирались старики и варили пиво. Нас никто не гнал, угощали услом и пирогами, и долго мы глядели, как пляшут мужики и топчут снег, как

бабы песни поют протяжные. Но только тогда уже, мальчонкой, я чувствовал, что как-то странно бабы на меня поглядывают, а иная разгоряченная подскочит, прижмет к себе, зацелует и засмеется вдруг:

— Похож, ой на дробечку похож!

И так сладко от нее пивом пахнет, губы мягкие, теплые — дух захватывает. Только мать моя никуда не ходила, дома все сидела. Дела переделает, сядет, уставится в одну точку и не видит и не слышит ничего. Я к тому времени один у нее остался. Брат и сестра-то померли. А пошто померли — леший его знает. Соседка наша Першиха приходила, только глянула на них и прошамкала. «Не жильцы оне». А потом на меня посмотрела и засмеялась довольно беззубым ртом

— Этот дак крепкий будет мужик.

У матери побелело лицо, вцепилась она руками в спинку стула, посмотрела на меня невидящими глазами, и мне от этого взгляда жутко сделалось. Шмыгнул я на полати и просидел там весь вечер, а она про меня и не вспомнила.

Умирали они легко, не мучились. Сперва брат помер, а потом сестра. И когда хоронили их, все мне чудилось, что старухи на мать, поджав губы, смотрят и шепчутся у нас за спиною. С тех пор, как на кладбище ни приду, все мне слышится этот шепот.

Остались мы с матерью вдвоем. А дом у нас большой был передок да зимовка, в передке три комнаты, шесть окон на улицу глядят, и во всех этих комнатах пустота звенящая — ни родня к нам не заходит, ни гости. Страшно мне там было, вот и слонялся я целый день по улице или на реку бегал, а домой только ночевать приходил.

А раз — было мне тогда уж лет десять — шел я из школы из соседней деревни, и встретился мне дорóгой мужик молодой. Остановил вдруг меня, стал у себя по карманам шарить, а потом ладонь протянул — и две ириски на ней. Я этих ирисок до того ни разу и не видел, знал только, что бывают такие, оробел, а он сунул их мне в руку, засмеялся, шлепнул меня и говорит:

— Беги, че рот-то раззявил?

Звали его Долькой. Он жил в нашей деревне, но я его прежде не встречал никогда. Он из армии только вернулся, а служил там семь лет. Всех воевавших-то мужиков отпустили, а таким, как он, и досталось лямку тянуть. Он злой был, горячий. Стали его в колхоз звать, ухмыльнулся только и председателю прилюдно фигу показал:

— Батя мой к вам не ходил и мне заказывал не ходить, потому что закваска ваша фарисейская.

Про закваску никто не понял, а сделать с Долькой ничего не могли. Паспорт у него был, так что сам он себе хозяин. Летом дома поживет, сена накосит, картошку выкопает, а на зиму плотничать куда подастся. И как уходил он, скучно мне почему-то становилось. Никак не мог я забыть про те ириски, долго их съесть не решался, берег, а когда достал наконец, они уж засохли.

А рос я озорным, не боялся ни лешего, в школе мне скоро надоело за партой сидеть, и догляду за мной никакого не было. Мальцом еще был, а уж и на шальное был годеи, и матом ругался, и дрался, и курил. Матери на меня беспрестанно жаловаться ходили, но что она могла одна со мной сделать? Мужики же к моему хулиганству относились снисходительно, посмеивались только: «Погоди, парень, и на тебя ремень найдется». И вот раз на сенокосе стали мы распределяться, чтоб стога метать, мне и говорят

Иди, Галашка, к батьке своему в пару становись.

Я вздрогнул, попятился, потом повернул голову, а там, криво улыбаясь, ни на кого не глядя, стоял Долька. Я тогда уже знал, конечно, что отец мой, который в сорок первом году на войну ушел, не настоящий мне отец. Но поверить, что Долька, молодой, красивый Долька, за мужика-то еще не считавшийся, потому что он на гулянки ходил да к девкам приставал, поверить в то, что вот этот Долька — мой батя, я не мог.

— Ну че встал как неживой? — рявкнул он наконец, и я почувствовал в его окрике что-то такое сладкое, что стремглав взлетел наверх и стал принимать у него сено. А он стоял внизу пыльный, дочерна загорелый и орал на меня: — Живее, ну живой давай, чертова кукла!

Я задышался, не успевал, но боялся попросить его работать помедленней, и мне чудилось, что вся деревня в этот момент остановилась и смотрит на нас с

Долькой. А он все кидал сено с такой яростью, точно хотел меня с головой засыпать, только б никто меня не видел.

Потом он опять уехал. На сей раз в Устюг учиться на механика. И я снова остался один, оглушенный, растерянный, как застрявший в лохани окунь. Я сильно скучал по нему, ждал, когда он вернется, хоть и понимал, что с нами он жить не станет. Но каким же ударом было для меня его возвращение год спустя!

Он вернулся не один, а привез молодую жену, и все мои мечты пошли прахом. Женившись, батя сильно изменился. Он остепенился, никуда больше не уезжал, выстроил новый дом, первым из наших мужиков завел моторную лодку, купил мотоцикл, стал выращивать в парнике огурцы. В колхоз он по-прежнему не вступал, а устроился работать на ГЭС, которую незадолго до того выстроили на нашей речке. Меня он теперь не стеснялся, но в дом никогда не приглашал, и я чувствовал, что его жене видеть меня неприятно. Может быть, неприятно еще и оттого, что своих детей у них так и не было. И ни разу не был он в нашем доме.

А мне пошел тогда уже шестнадцатый год, и заговорила во мне дурная кровь. Видно, было во мне нечто такое, что и в бате, и нетронутым мальчишкой я проходил недолго. Тогда, после войны, много было одиноких баб — и вдовых, и замуж не вышедших, жили они как Бог на душу положит, но никто их теперь за это не осуждал. Много у меня тогда женщин перебивало, да только одну я по-настоящему полюбил и запомнил.

Она была замужня, завклубом работала в соседнем колхозе. Муж ее уезжал все куда-то, и вот почти через день ходил я вечерами в ее деревню за девять километров. Крался с огорода, она впускала меня, и я, как только ее видел, шальным каким-то делался. Красивая она была — глаз не отвести. Невысокая, легонькая, с маленькими крепкими грудями и родинками на спине. Я запросто брал ее на руки и раздетую носил по избе, а она смеялась каким-то счастливым девичьим смехом и совсем меня не стеснялась. Шептала мне губами на ухо: «Что, нравлюсь я тебе?» — и шарила по моему телу жадными горячими ладонями. И когда ложились мы, чего только не делала — стонала, в плечи кусала, билась в руках, целовала меня повсюду и велела, чтоб я ее так же целовал. С ума меня своим бесстыдством сводила. Я высох, почернел, не высыпался, но когда только можно было, ходил к ней, успевая к утру вернуться домой и оттуда на работу. Весь день не в себе был, только о том и думал, как снова ночью к ней в Торгосу.

Однако недолго мое счастье длилось. Раз в мае говорит она мне так легко, играючи, как всегда со мной говорила:

— Ты вот что, Галаша, больше не приходи. Ночи дак светлые нынче. Мало ли увидит кто.

Я тогда поглядел на нее и понял, что не любит она меня нисколько. Глаза скучные, равнодушные. И так горько мне сделалось — ведь позови она меня, я бы для нее что хочешь сделал. И в дом бы к себе привел, и женился бы — плевать мне, что там люди бы сказали. Но ей-то ничего этого не нужно было. Эх, Катя, Катя. Сколько ж ты у меня кровушки выпила.

Все лето я мучился, забыть ее не мог. Такая тоска напала — хоть за руки, за ноги себя привязывай, чтоб в Торгосу не ходить. Ни на баб, ни на девок глядеть не хотел. Удочку возьму, на весь день на реку уйду, но ничего мне не в радость. Все чудится, будто это только сон дурной снится, а сейчас глаза открою — и снова она, и домик ее, и тело такое любимое. Да что тело, я ведь и душу ее любил, а она этого понять не могла.

Так до осени я промаялся, а там взяли меня в армию, и полтора года точно уж все во сне и видел. Должен был бы три, но, видно, батя за меня все выслужил, вышел вдруг приказ о досрочной демобилизации. А мне в армии хорошо было. Там отпустило как будто, да и служить интересно, не то что нынче ребята рассказывают.

В деревню я возвращаться не стал. Прямо в шинельке отправился в Кадников на тракториста учиться. Приняли меня в техникум без экзаменов, койку дали в общежитии, стипендию в двадцать рублей — живи не хочу. Но проучился я там недолго. Как в выпрезвитель в третий раз попал, вызвал меня участковый и говорит:

— Тут тебе, парень, не деревня — где нажрался, там и лег. Уезжай-ка ты отсюда подобру-поздорову, а то хуже будет.

А фактически и верно сказал. Учиться я все равно давно бросил. Да и что я там буду учить? Сидит молодяжка по пятнадцать-шестнадцать лет и я тут же. Это только батя мой мог в такие годы за учебники сесть. А у меня уж и голова не та.

Ну и уехал я в деревню. Насовсем.

А там будто и не было двух лет — ничего не изменилось. Только Кати моей след простыл: я, значит, из города, а она в город с мужем подалась. Но да, видно, посему быть: ей там жить, а мне здесь.

А у нас в деревне появилась учительница новая. Молоденькая такая и не сказать чтоб красивая, с Катей-то никак не сравнишь, но глаза словно светятся. Зоей ее звали. И я вдруг к ней какую-то нежность почувствовал. Так-то у меня все бабы были: я у них не первый, и они для меня дело не новое. А тут вижу, девочка она еще, и самому божно сделалось. Ухаживал за ней, дыхнуть на нее боялся, а она на меня доверчиво так глядела да плакала все, когда я про батю рассказывал.

Жила она на квартире у одной старухи в Липнике.

Я ее провожал всегда, но трогать не трогал. Даже не целовал. Думал уж так: свадьбу сыграем сначала, чтоб все у нас по-хорошему было и ей чтоб не стыдно было людям в глаза глядеть.

А потом шел я от нее однажды вечером, и вдруг точно пронзило меня: а если у нее уже кто-то был? И как влезло это в меня, так прогнать не могу. Хоть умом и понимаю, что не может такого быть. Такая злоба охватила: не поймешь, откуда и взялась, так жжет. А как раз ночи были белые, не сегодня завтра сенокос начнется, травы высокие, густые, дух от них идет дурманный, остановился я — и обратно. Если не целка она, думаю, то не жить ей здесь. Пусть уезжает, не вытерплю я этого. От другой бы вытерпел, а от этой — никогда.

Подошел я к окошку, постучал. Она легла уже, но подбежала сразу, занавеску отдернула и смотрит на меня удивленно.

— Открой, — говорю, — Зоя. Дело у меня срочное.

Она покраснела, смутилась, но впустила меня. Спросил я ее тогда не помню о чем, а потом и говорю:

— Ну что ж, а теперь спать давай. Мне сейчас далеко от тебя идти будет. Устал я уже.

Сказал — а сам боюсь глазами с ней встретиться. Не знаю, что и делать, если она не согласится. Сижу я на стуле, курю, а она растерянно так на меня смотрит.

— Ну че ждешь-то?

Она тогда одеяло откинула и в халате как была, так и легла.

— Разденься, — велю, а у самого и голос и руки дрожат. И жалко мне ее, и сам уж загорелся.

Она как будто сказать что-то хочет, но так и не сказала. Сняла с себя все — я к ней. А в голову опять всякая дрянь лезет, как ребята в армии рассказывали, что девки, мол, всякие хитрости знают, чтоб, когда надо, невинными предстать. А она худая была, плечи узкие, нежные, волосы по подушке разметались. Обнял я ее, и самому вдруг мерзко сделалось: какая ж я, думаю, сволочь. Даже и не поцеловал и не приласкал ее. А так — словно снасильничал. Она вскрикнула только, руки вокруг моей шеи обвила и зубы стиснула.

— Больно тебе? — спрашиваю.

— Нет, — отвечает через силу, сама губы кусает, на глазах слезы выступили. Но сдерживается, не плачет, улыбнуться мне даже пытается.

— Ты поплачь, легче тебе станет.

Она усмехнулась тогда какой-то странной усмешкой, поглядела на меня как на дитя неразумное и головой качнула. Понял я, что она обо всем догадалась, и первая-то ночь у нее, значит, не по любви вышла, а так, для пробы, и никогда она мне этого не простит, всю жизнь будет помнить, как я к ней первый раз пришел. Но она тихо так лежала и ни слова мне в укор не сказала. Ни тогда, ни потом, хотя много у ней из-за меня лиха было.

Осенью сыграли мы свадьбу. Стала она у нас жить, ребенок скоро родился, и мать моя нарадоваться на нее не могла. Трудолюбивая невестка, ласковая, сама грубое слово стерпит всегда, не огрызнется. В доме нашем веселей жить стало, отскоблили все, очистили, скотину завели. Все как у людей. Только мне это не в радость было. Стал я чего-то маяться да жалеть, что не остался в городе. У нас

из деревни многие тогда уезжали. Кто в Мурманск, кто в Северодвинск. Скучно сделалось в деревне. Как начали паспорта давать, только ленивый и не побежал. И пиво больше не варили на Михайлов день. Сперва велели из района, чтоб варили на две недели раньше, под октябрьскую, вроде как в честь их праздника. а потом и вовсе запретили.

А в лесу какая жизнь? Неделями дома не бываешь, пьянки, по бабам опять таскаться начал. И все в деревне это знали, и Зоя моя знала, но как замолчала она с той ночи и взяла привычку ничего мне не говорить. так всю нашу жизнь и промолчала.

Я иногда и дивился и злился на нее. Домой приду как кобель побитый, копейки не принесу, мать меня последними словами кроет — стыдно ей перед Зоей. А та — как будто так и надо. Уж лучше б отругала, чем так молчала, и ведь не осуждала, а жалела и дочке Таньке говорила: ты не слушай, что про папку говорят, он хороший у нас. А я сам, как выпью, виниться перед ней начинаю: Зоя, Зоя, стыдно тебе за меня перед людьми. ты ж учительница. понимаю я это. А она вздохнет только:

— Пьяный стыд это. Галашенька, не стыд. Ты б трезвый так говорил

А чтоб я трезвый так говорил? Я трезвый год от года все злей становился. Разлюбил я себя. Пил много, неделями целыми — как только выдерживал, не знаю. Пью и песни пою. Иногда и Зою бил. Что было, то было — по три дня на работу не ходила. А в конце концов пришлось из-за меня ей из школы уйти, хоть и нравилось ей там работать. Устроилась почту носить. Каждый день в любую погоду по пятнадцать километров деревни наши обходить с тяжелой сумкой.

Так мы и жили. Осталось нас всего три работающих мужика во всей Нименьге — батя мой, я да Филошка Крюков. Вот через этого Филошку и вышла со мной история, которая вовсе мою жизнь поломала.

Филошка поганый был мужик. Ленивый, хитрый и нукудьшный. Ему уж сорок лет было, а он все не женился. Работал он скотником, и телята его полудохлые ходили. Но себя-то он очень любил и высоко ставил. Как выпьем мы с ним, давай меня поучать. неправильно ты, Галаша, живешь, не по совести. А меня только тронь — вскиплю, как чайник. На себя, кричу, погляди, недоносок, выблядок. Ни одна баба на тебя не польстится. Я хоть по этой части взял, а ты?

Его трясня начинает, с кулаками лезет:

— Я? Я про себя знаю, как мне надо. А вот ты подохнешь скоро, понял? Вот увидишь — подохнешь.

В общем, смешно сказать, три мужика в деревне, а двое — враги. И не пил бы я с ним никогда, но куда денешься, когда пить больше не с кем.

И вот раз взяли мы с ним в магазине бутылку, но к себе не пошли, а там же, в леспромхозовской конторе, и выпили. И опять повздорили, да так, что он на меня не на шутку полез. С топором. Чем-то уж больно я его задел. Выволок я его на крыльцо, в снег пихнул, пускай, думаю, остудится, а сам дальше пошел пить. Заснул, видно, и что там вышло да как, не помню, хотя никто мне потом не поверил, что я от этого не проснулся. В общем, очнулся я оттого, что в конторе народу набилось, галдят все. а у меня на лице полотенце завязано. Я его сдернуть пытаюсь, тут как заорут

— Не трожь!

Огляделся я по сторонам, тут же участковый за столом сидит. Я испугался, что прибил Филошку насмерть, хоть и помню, что ударил вроде несильно. А участковый-то этот давно еще грозился меня на химию услать. Вот, думаю, и добьется своего — да только химией здесь не обойтись. Но он на меня и не смотрит, сидит, пишет что-то. Подходит ко мне медсестра — сама белее халата своего, зрачков не видать в глазах. Берет за руку.

— Пойдемте. В больницу вам надо.

Я себя ощущал — ноги, руки вроде целы, не болит ничего, только голова кружится, поташнивает да нос под полотенцем жжет. А чего ему болеть, если я столько выпил, что никакого наркоза не надо.

Добрались наконец до больницы, пришел доктор заспанный, здоровый такой мужик с красной рожей и лошадиными зубами. Подмигнул мне:

— Ложись, приятель.

Стали повязку снимать, все вроде ничего, только нос уж совсем болит невыносимо. Тут я глаза-то поднял, а надо мной как раз лампа с отражателем

висела, и в нее все видно. Как сняли все, так и увидел, что носа у меня нет. Я руками за лицо схватился — и точно нет. Заорал не своим голосом, кровь брызнула, страшно-то как стало. Врач меня за руки хватает, на сестру матом орет, я вырываюсь, люди какие-то прибежали, держат меня. А я бьюсь, хриплю. Сделали мне укол какой-то, и очнулся я в палате снова с повязкой.

Дня через два следователь пришел. И давай меня расспрашивать, что там между нами вышло да какие у нас с Филошкой отношения. А я что могу сказать? Ясное дело, он в темечко мне метил, да не попал, потому что мазила и есть и ни одного дела путем сделать не может. А меня Бог спас, видно, дернул я головой в последний момент. По пьяни чего не бывает.

Следователь только руками разводит.

— Эка ты, — говорит, — хватил — убить. Да кому ты нужен, убивать тебя. Этак пол-России надо за убийство сажать. Ну подрались и подрались, виноваты оба. верно ведь?

Слушаю я его и чувствую, что этому гаду надо от меня что-то. И рожа у него нечистая, глаза бегают.

— Не буду вам ничего говорить.

Но он не отстает. В другой раз пришел, водки мне принес.

— На, — говорит, — полечись. Неужто судиться станешь? Ведь тебя все на смех поднимут. Отступишь по-хорошему. Ну подрались, вы ж в одной деревне живете, завтра снова пить станете.

А фактически и верно: чего мне с Филохой судиться? Да и подумаешь, нос отрубил. Вроде вон зажило все, и дышать, доктор говорит, смогу и сморкаться. Подмахнул я бумагу какую-то, что-де претензий ни к кому не имею, еще полбутылки засосал и спать лег. А как проснулся, про деревню вспомнил, до того жутко мне сделалось. Как же я буду с таким изуродованным лицом жить?

Поначалу-то ничего, весело было. Сестрички во время перевязки толпой ко мне ходили поглядеть: эк тебе ловко нос срезали, чистая работа, будто корова языком слизнула. Они смеются, и я с ними смеюсь. А чем ближе к выписке дело, тем страшнее мне. Ведь ерунда, кажется, подумаешь, нос мужику отрубили. А мне отчего-то горько так и стыдно.

Тут еще Зоя приехала. Как сказали мне про нее, я к стенке лицом отвернулся и пролежал так все время. Одно только говорю ей:

— Уходи.

Она и так и этак со мной, рассказывает что-то, погладить меня хочет. А я руку ее стряхну и говорю сквозь зубы:

— Уходи, видеть тебя не хочу. Ничего не хочу. И домой больше не вернусь.

Посидела она возле меня и ушла. Потом еще раз приходила, но ее уж тогда до меня не допустили: боялись, буйнить начну. Скверно мне тогда было на душе. И точно б уехал куда глаза глядят, но как уедешь?

Меня наконец выписали, и вот собрался я да иду по улице. И все кажется, люди на меня смотрят, а кто и отворачивается. Я уж потише места выбираю, но идти-то надо. Вдруг чувствую, смотрит на меня кто-то, да как-то странно смотрит. Я голову поднял, а прямо напротив меня женщина стоит. Одета так хорошо, волосы уложены, сапожки на ногах чистенькие, а в глазах такое, что и не передать. Я и не думал, что у нее глаза такими быть могут. Глядит на меня, губы кусает, сейчас заплачет.

— Галаша.

— Нет, — говорю.

— Да что ты, Галашенька?

Нас уж толкать стали, оборачиваться, повернулся я тогда и пошел быстро. А она мне в спину пронзительно так на всю улицу, все аж вздрогнул:

— Что с тобой сделали, Галаша? А-а-а!

Я еще быстрее, бегом припустил, а все кажется, крик ее за мной бежит и в ушах отдает. «Дура ты, — шепчу, — дура холеная. И живешь хреново, и правильно, что хреново. Хоть и денег тебе, видать, хватает, а все равно дура ты».

И такая тоска меня взяла. Всю дорогу протосковал, проплакал. И ее жалко, и Зою, и себя. Ну за что нам такая жизнь, Господи, за что? Хорошо еще, на станции шофер незнакомый попался, спрашивать ничего не стал. Пробрался я к дому задами, дорогой на реке посидел, бутылку выпил — а хоть бы взяло.

Дома-то я никого предупреждать не стал. Вхожу, а они сидят, вечеряют. Зоя, как увидела меня, побледнела. головой качнула, но встала, идет ко мне. Во мне

все дрожит, как в ту ночь нашу первую, белую. А она все идет, медленно так, нетвердо. Но тут Татьяна, дочка моя любимая, увидела меня да как заревет, успокоиться не может. Орет, а меня от этого крика будто душит кто-то. Мать еще подскочила и ругать:

— Вот до чего пьянка довела! И опять косою пришел. Глаза б мои тебя не видели!

Зоя ей:

— Замолчите!

Но я уж из дому выскочил, схватил на дворе топор и бегом к Филошкину дому. Убью сволочь такую, думаю. Лучше мне в тюрьме сгнить, чем эта гадина разгуливать здесь будет.

Бабы деревенские неладное почуяли, как сороки заверещали, Филоху уж предупредили. Ворота у них заперты, я топором по ним бью, народ сбежался. Мать его выскочила, волосы у ней всклоочены, и как заревет:

— Ирод ты поганый! Мало тебе тысячи рублей было. Я уж и коровушку продала и поросенка свезла — денег тебе этих проклятуших насобирала, по людям назанимала. Что тебе еще от нас надо?

Я как услышал про тысячу эту, обмер. Рука у меня ослабла, выхватили у меня топор, а тут уж и батя подоспел. И говорит негромко:

— Ну что, сынок, навоевался? (А ведь он меня никогда так не называл. Батя-то мой.) Пойдем ко мне.

Стоит и глядит на меня, словно опять те ириски протягивает. И злоба вся моя делась куда-то. Пошли мы с ним в его дом, железом крытый, тесом обшитый, крашенный, с окошками резными. Хорошо у бати: телевизор цветной, книги повсюду, журналы, линолеум на полу. Эх, батя, батя, из таких, как ты, академики выходят, министры. А сын вот у тебя... Достал он бутылку, разлил. Выпили, и батю разобрало, стал он ко мне приставать со своими думами государственными.

— Ты глянть, — говорит, — сын, что с нами товаришши сделали. Землю-то у дедов наших отняли, а сами сгноили все. Сеют столько, что убрать не могут. Техники, почитай, тыща тракторов в районе, а дороги хуже, чем при царе были. Погубили нас сукины дети, погубили. У божата моего мельница знаешь какая была? Эх, Галаха...

— Ладно. — говорю, — батя, отступись. Даром. Давай лучше песню споем про танкистов.

— Нет, обожди ты с песней своей. Тебе, может, и по хрену все, а у меня душа болит, понятно тебе?

Тут мне обидно вдруг так сделалось.

— Душа болит? А у меня душа не болела всю жизнь при живом отце без отца расти?

Он голову опустил, вздохнул только:

— Да я, Галаш, чего... А что ж ты отчество-то мое не взял?

— Не взял...

Поглядел я на батю, а он уж старенький совсем, волосы седые, руки дрожат, и так жалко мне его стало.

Вышел я от него в тревоге какой-то. К реке пошел, искупался, а когда домой вернулся, спали уж все. Только Зоя моя не спала, лежала с открытыми глазами, тихая, неподвижная, и у меня вдруг комок к горлу подступил.

— Зоя, любушка ты моя, — шепчу ей, — на что я тебе такой? Лучше б убил он меня — и не мучилась ты так.

Она рукой по лицу моему провела, прижала к себе, и вижу, слезы у нее на глазах выступили. А я слез этих сколько лет не видел. Плачет она, гладит меня, слова ласковые шепчет, а мне почему-то Михайлов день вспоминается, как в огромную бадью старики камни бросали и пиво в колоду текло, как бабы песни свои пели и меня целовали, а над самой нашей Нименьгой громадные близкие звезды висели, будто кто-то их воткнул. И так лежу я и думаю: да пропади оно все пропадом, ничего мне не надо больше. Вот есть у меня жена, вся до последнего вздоха моя, и ладно.

Да только не очень ладно все кончилось. И месяца не прошло, как стал я хворать. В больницу опять попал, дома потом лежал и все животом маялся. Да все хуже и хуже, так что и в больницу меня в конце концов брать не стали. Боль такая, что кроме этой боли и не помню и не чувствую ничего. Одна только мысль: вот пока сам хожу — жить буду, а ежели стану беспомощным, то сразу голову в

петлю, не хватало мне только, чтобы за мной Зоя выносила. Фельдшерница наша говорила, что сам я виноват: испортил водкой да бормотой всякой желудок свой, а я-то чувствую, не в том дело. Видать, связано все в организме, вот и вышло так, что тронул Филошка нос, а отозвалось вон оно как. Но я уж тогда и зла на него не держал. видно, недолгий мне был отпущен срок. Только вспоминал все, как братик мой с сестрой помирали да как Першиха говорила, что крепкий будет из меня мужик. Верно — был, да кончился весь. А то, что братик с сестренкой не мучились, это я их муку всю взял.

Так долго я в забытьи лежал. Я уж весил тогда как ребенок, только жор на меня временами нападал страшный — по шесть раз на дню ел. А как весной потянуло. лежу и мечтаю сквозь эту боль проклятую, как бы теперь на реку пойти, рыбы наловить нерестовой, ухи на костре сварить. Кажется, все бы сейчас за это отдал. за один только день такой. А боль все сильнее и сильнее. Раньше Зоя уколы делала — помогали ненадолго, а нынче уж ничто не помогает. Когда же только, сам себя спрашиваю, кончится все это?

И вот раз проснулся я в сумерках и вдруг чувствую, что нет больше боли. Отпустило вроде меня. И на душе светло так сделалось. Сам не пойму, откуда чувство это — никогда такого со мной не было. Так люблю мне все, хоть и вижу всего краешек улицы; смеркается да печка в комнате белеет. Лежу и думаю — Господи, какой же счастливый я человек, сколько ж надо прожить, промучиться, чтоб понять вот это. Легко мне, чудно, как младенцу в люльке качающейся. Тут, вижу, Зоя входит. Я улыбаюсь ей, сказать хочу, как мне хорошо, а губы не слушаются почему-то, еле шевелятся. Зоя на меня как глянула, подбежала к кровати, за руку схватила, слушает что-то. Потом вдруг трясти меня начала, а я не чувствую ничего, но должен ведь чувствовать. Странно мне так, но все легче и легче, а Зоя меня за руку держит, плачет тихонечко. Мне ее утешить хочется, погладить, но я уж и слова сказать не могу, ни руку поднять. а только понимаю, что это я умер.

Читайте в 1992 году:

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

Сонечка

Повесть

* * *

«Он был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним — его жена

Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь. он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе...»

АЛЕКСАНДР КУРГАТНИКОВ

*

АЛЬПИНИСТЫ ПОСЛЕ ВОСЬМИ ВЕЧЕРА

Очерк нравов

Иногда их имена числятся в штатном расписании, иногда они ведут жизнь, что называется, вольных стрелков, некоторые ходят в присутствие ежедневно, другие — лишь по присутственным дням, кто имеет кабинет и секретаря, кто — только двухтумбовый стол, да и вообще при солнечном свете или в ярком электрическом — на улицах, в кафе, в конференц- и актовом залах — непосвященный легко может принять их за обычных, иногда чуть более суетливых, иногда наоборот — чуть-чуть более сосредоточенных людей. Разумеется, кое-какие фирменные отличия в лице и повадках есть, но это замечают только те, кого уже прокрутили по кругам ада и кто догадался, по чьей милости пребывал там, но эти, догадавшиеся, как правило, давно «приведены в чувство», смирились (или затаились) и мечтают об одном: дотянуть до пенсии (или подольше оставаться в тени).

Итак, мы рассказываем об обычных, вчуже ничем не примечательных людях, но помните? — это днем. Их настоящая, заветная — по призванию и по воле духа своего — жизнь начинается к вечеру, после восьми. Как нагулявший отменный аппетит здоровяк оттягивает удовольствие обильно пообедать: кладет рядом с тарелкой «Футбол — хоккей» или «Эротику и кайф», поправляет приборы, складывает прихотливым веером бумажную салфеточку и т. д., — так и они входят в свой истинный образ не спеша, чтоб не задохнуться от наслаждения; впрочем, если сопоставление продолжить, то им тоже предстоит усесться, только не к накрытому столу, а — к телефонному аппарату. Родней его у них нет никого, это их брат, друг, подельник, поверенный всех тайн, они привязаны к нему сильнее, чем к жене; жену они, случается, выставляют за дверь, но выставить телефонный аппарат? Легче отсечь себе правую руку

— Алё. (Не вопросительно, а так, словно начинается планомерно-очередной сеанс связи, прерванный вчера на полуслове; так оно в известной мере и есть. Произнеся означенное вполне цензурное слово из трех букв, долго внимают голосу с того конца. Мы, разумеется, оттудошный текст не слышим, но и по здешним репликам кое-что можем сообразить; следите внимательно.) Поправочка первая: переставь фамилии по алфавиту; нужен ореол объективности

Пауза произвольной длины (ППД).

Отмотай сюжет назад, надо кое-что переформировать.

(ППД)

— Без подписи Владика эффект не состоится.

(ППД)

— Надо задействовать человечка два с периферии. Из гуши, так сказать.

(ППД)

— Вот тут пора включить вторую скорость.

Речь, однако, как вы улавливаете, идет не о космических проблемах, а о вполне земных. Перед следующей репликой опять пауза произвольной длины (ППД) — выслушивание встречной реплики.

— Только лично: из рук в руки.

(ППД)

— Шапку (не головной убор, а название какой-то бумаги, записки, подметного письма) желательно подкорректировать. Что-нибудь поэмоциональнее: например, «Как стать порядочным человеком»; народ обожает, когда о порядочности...

— Завтра продумаем, что делать с мэтром. Его следует вывести из игры, но так, чтобы ему мнилось, что он всем и дирижирует

(ППД)

— Да, да, еще один штришок — и наш неумный приятель будет зафлажен. Читатель может добавить двадцать или тридцать стилистически однотипных фраз (и соответствующее число ППД) — смысл происходящего не изменится, как и участь тех или того, на чью шею — через день, месяц или год — будет наброшено лассо, по-простому петля (мягкий вариант и что, вполне возможно, заслужил). Разговор может длиться пять минут или пятьдесят, тоже несущественно; если разговор занял пять минут — это означает, что главные пункты запланированной операции по уничтожению или дискредитации некоего нежелательного элемента выверены (их лексика, само собой) в предшествующие вечера.

В рассказе остается ряд пробелов, купюр; автор сознает это, но прояснить может лишь в общих чертах.

Купюра № 1. Кто они, эти абоненты, повисшие на двух концах телефонной жилки и обменивающиеся загадочными фразами, каковые расшифровать столь же непросто, как электробиосигналы глубоководных морских чудищ? Кто угодно, но непременно члены некой тайной корпорации, котерии, группы. Из какого общественно-социального сектора? Да из какого угодно: из среды творческой интеллигенции или академически-научной, из чиновничества, из сановничества, торгово-распределительная зона, туризм-интуризм (и, разумеется, «круи-гм», к сему прилежащий), из новорожденного бизнеса, из разнобуквенных СП, АО, СА, ПО и проч., хотя чаще всего состав мешаный: и березки тут, и осинки, и эвка типты попадаются — диковинный лес нашей сегодняшней жизни. Чем скреплены? Диапазон широчайший. Взаимным интересом (денежным, карьерным, каким придется). Взаимоуслугами. Товарообменом (бартер по-нынешнему). Родством или кумовством (понятие несколько устаревшее). Национальной идеей Анти-национальной, то есть ненавистью к узкоглазым, глазастым, носатым, курносым, чернозадым и т. д. Зато цель во всех случаях одинакова: кого-то «утопить» (засветить, вывести из игры) и что-то получить или поиметь. Пройдут заложенные в описанного рода телефонные диалоги сроки «окончания работ», и в некий час в некоем месте — в хрущевской ли пятиэтажке, доме-корабле стандартной планировки или улучшенной, в сталинском ли с колоннами или где-то в дачном коттеджике, с запиской или без оной, утром ли или ночью, на трезвую голову или выпивши — кто-то вешается, стреляется или травится, сходит с ума, сползает на пол, цепляясь за стенку, с инсультом или инфарктом (случай, конечно, крайние...). И никто, ни один самый дошлый эксперт не сумеет проследить цепочку следов от какого-то там частного разговора, в котором только и звучало переформировать, задействовать, подкорректировать, — до неприятного и пугающего соседей эпизода с неким гражданином, который всем казался таким уравновешенным, верно, что последнее время заметна была в нем странная рассеянность; и даже если тот самый несуществующий эксперт обнаружит непосредственный толчок, приведший к катастрофе: зарезали книгу, которую человек писал много лет, или выдавили с кафедры, уволили по сокращению, понизили в должности, подвели под монастырь, то бишь под статью уголовного кодекса, — и что? Есть аргументы в пользу пострадавшего, есть против, чашечки весов колеблются, подрагивают в нерешительности, кто прав, кто виноват — поди разберись, да и кому распутывать клубок сей — товарищескому домкомовскому суду из восьмидесятилетних бабушек-пенсионеров? Кто виноват, что Пушкин отправится на Черную речку? Дантес? Геккерн? Полетика? Атмосфера создавалась такая, как нынче выражаются — ситуация; так что даже друзья Пушкина из семьи Карамзиных продолжали подавать руку Дантесу. Кто написал ту самую «Декларацию», что окончательно довела Пушкина, сто пятьдесят лет отгадать не могут; НИИ графологии и криминалистики, компьютерами экипированный, установить не сумел. А теперь от руки не пишут, да и к посланиям-декларациям не прибегают, дело на поток поставлено: пара устремленных в кого

нужно реплик на конференции, симпозиуме, собрании; бесстыдная финансовая афера, выступление по ТВ — и глядь, Т. гениальностью осенен (и деньгами осыпан), а Б. двумя жирными линиями перечеркнут; безотказно срабатывают похвальные отзывы из зарубежья: тут уж только одно — руки вверх и ура кричи... Впрочем, и старое, надежное: передать, пересказать, перенести,— не забыто; или, положим, такой простой прием: сообщить, что имярек манкирует встречей с другим имяреком (важным!), спрятался на даче, теплицы обихаживает, а он, бедняга, дома сидит, звонка ждет; бывает. и просто промолчать действительно, молчание давно уже стало — вопреки древним установлениям — не знаком согласия, а простейшим способом предать.

- Алё. Я, естественно.

...

Нет. впрямую не высвистывается.

...

- Нужен вариант, где он сам выроет себе яму.

...

- Скажем. Галяся советует ему зайти к Игорёше.

...

- Вот именно. Он зайдет к Игорьку и поставит вопрос на попа: либо — либо. Игорёша обожает подержать решение в ладонях. А так он посчитает себя оскорбленным. Ерго, наш друг получит колоссальный отлуп, а нам станет еще ж. целовать, потому как убежден будет, что, если б не мы, он бы целую вечность находился во взвешенном состоянии...

...

- Само собой. Завтра выстроим сценарий поэпизодно. В десять жду звонка. Будь

Самое удивительное, что тот самый их друг и действительно часто верит, что послался к Игорьку из лучших побуждений: уж если человек глуп и твердо убежден, что у чертей на голове растут рожки, то никакая наука на пользу ему не пойдет и об один и тот же камень он не два, а двадцать два раза ушибется. Но еще удивительнее, что даже если на двадцать второй раз допрет до него вдруг, кто камень на проходе уложил, то и тогда: «Прошу в моей смерти никого не винить», и мнится ему, бедолаге, что благородством своим отомстит он телефонщикам тем, в мир иной его спровадившим столь жестоко, что схватятся они, телефонщики, за головку сожмут ее, головку свою, до боли костей височных в запоздалом раскаянии своем и дурно поступать больше уже — ни за что, ни за какие коврижки... Нет предела подлости человеческой и нет предела беззащитности: так уж видно, небом заповедано.

Купюра № 2. Масштабы деятельности, притязания и общественная значимость исследуемых групп и кланов. Определенно можно сказать одно: организации эти неформальные, незарегистрированные, без членских билетов и устава; численность строго дозирвана, в глобальном смысле на власть не претендуют, левые или правые — по удобству времени; за правительство или против? — о, они не идноты-догматики, они никогда не рассуждают отвлеченно: если на их участке есть динамика — стало быть, в правительстве хорошие ребята, пробуксовочка пошла — значит, там сволочь. Тут взаимосвязь сложная, ибо случается и так: чем веселее идет развал там, тем веселее идут дела у них; да и вообще — уж если их сопоставлять с кем-то, то скорее всего со связкой альпинистов, взбирающихся вверх, к высокогорной полянке, где можно собрать букет из «славы, денег и чинов»... Ну, приходится по дороге избавляться кой от кого, мешающего восхождению? — производственная необходимость, и только. Результат деятельности исследуемых групп: полный распад общества, неостановимый и невозстановимый, и в этом отношении они не менее опасны, чем разные там официальные озлобленно-лозунговые блоки, ассоциации, центры, объединения с трибунными ораторами и мудреными программами-манифестами. Окончательный итог их дружных усилий: массовый уход в аут, в небытие людей способных и честных, а кругом, куда ни кинешь взор, кишмя кишат жучки-короеды, древоточцы, прожоры всех мастей и видов, подвидов и родов.

Давно ведомо, что даже насекомым не чужды некоторые извращения, когда позымы голода утолены и внешние силы не грозят бедою (насекомые — наркоманы, алкоголики, половые неформалы и проч.). То же и с нашей альпинистской братией, с нашими секциями по интересам (этимология — интересант, интересантка). Оставим в покое увлечения голубые, розовые, промискуитетные, это в нашу тему не входит. Нет, тут совсем иные уклоны. Например, замечено было автором, что обожают наши корпоранты-телефонщики вести свои диалоги — разумеется, уже по достижении определенного уровня успехов — прилюдно; и надобности вроде никакой, но тянет (как убийц на место преступления); и вот усаживаются они, скажем, не у себя в номере (где и телефон индивидуальный, и стены ушей не имеют), а в холле гостиницы, где и очередь, и уши посторонние снуют туда-сюда: набор номера с придерживанием обратного хода диска пальцем (зачем — не знаю, но примета верная), вальяжная поза — и понесся разговор, где все-все открыто звучит, разве только имя приговоренного вслух не произносится да обозначение площадки, где будет разыграна интрига. Впрочем, из источников вполне достоверных известно, что на еще ооооо высоком витке преуспеваний, когда уже все должности, премии и звания в своей сфере закуплены, расфасованы и имена владельцев на них проставлены, любят наши ребята — и из сборища однокашников или даже гостей дачных, полужнакомых — громко-громко побеседовать с напарниками, да так, чтоб совсем никакой утайки: и своих назовут и чужих, и «подследственных» и «осужденных», занятия рискованное, но, видимо, уж очень возбуждающе действует: некий психологический массаж, снимающий стрессы (и у них есть!) и возвращающий аппетит к новым интригам, строительству новых ков, рытью новых подкопов. А уж самые активные да проказливые — это автор и на себе испытал — и в присутствии жертвы намечаемой могут вдруг трубочку любимую снять и при нем же о его участии, запланированной и утвержденной уже общим советом своей микромафии, поведать; косвенно, разумеется, получетверть на треть прозраченнько; а сами при этом в глаза тебе заглядывают: ну что, друг, как настроение-самочувствие, как среагируешь, что скажешь? Все одно: ничем ты себе не поможешь!. Да, куда уж бедным насекомым, всеу нами помянутым, до столь изысканных и столь высоко тонус поднимающих наслаждений!

Дано было людям когда-то десять заповедей «ветхих», напомянуто было о них в завете Новом; и многие другие заповеди — то впрямую, то в афоризмах и высказываниях мудрецов — отыскать можно, начиная с самых древних учений, от Авесты и Заратуштры до дня сегодняшнего. И вечно одно и то же происходило: внимали и следовали этим заповедям только те, кто уже и до знания их жил так, как в них записано. Видно, не свыше спускаются они нам, заповеди, а рождаются в душе нашей, а как рождаются — неустановимо так же, как неустановимо, когда, как и зачем зарождалась сама живая жизнь на Земле. И все же, Господи, если ты не совсем отвернулся от нас, дай нашему бедному обществу, нашей крошащейся и рассыпающейся популяции еще одну заповедь может, хоть кто-то услышит и примет:

НЕ ВСТУПАЙ В ТАЙНЫЙ СГОВОР

Нам остается добавить лишь крохотную главку, эпилог, без которой повесть о наших скромных молодцах-корпорантах (скромных, потому что, как уже говорилось, заняты они сугубо своим огородом и в общегосударственные проблемы редко нос суют) была бы неполной. Вопрос прост и прям: почему в своей полезной (для себя) деятельности столь упрямо прибегают они к услугам ГТС (городской телефонной сети) и МТС (междугородной телефонной сети), а не к личному и потому, казалось бы, более эффективному общению? Почему почти напрочь исключены из их корпоративного обихода традиционные сходки, беседы, посиделки? После некоторого размышления автор пришел к выводу, что это не связано ни с конспирацией, ни с охраной тайны, ни с подпольностью, — причины совсем иные, относящиеся к некоей второй реальности человеческого естества, к бессознательным импульсам, к тому, что раскрывается в новейших теориях психоанализа и что, впрочем, знали в любой деревне: злые колдуны, ведьмы, приворотницы, те, кто наводит порчу и падеж, никогда скопом на завалинках не собираются и в глаза друг дружке предпочитают не глядеть. Примерно то же и тут. Вязать сеть интриги по телефону и проще и естественней.

да и столь популярная теперь остранинность в наличии: во-первых, лицо собеседника может выражать совсем иные чувства, чем слова, во-вторых, возникает необходимость построения сложных мизансцен: предположим, один в кресле развалился, другой на колченогой козетке кое-как примостился, а у третьего спонделез, только столбом стоять может — вот уже и сбой, неравенство, межличностные конфликты, тем более что заначек для такого рода конфликтов всегда предостаточно. И все-таки... Иногда все-таки они сходятся, без этого тоже не обойтись: день рождения, приезд иногороднего члена, этапное повышение Одного Из, наконец, просто по эмоциональным мотивам: надо ж когда-то собраться! Внешне все выглядит как у всех: жены — пушки заряжены, телевизор светится глазом циклопа, стол, на столе то, что бог послал, их бог, разумеется, тот, что не покинул их в трудные наши времена. Тосты, междометия, ретроновеллы (смешные), последние обще- и инопланетарные новости; вприкидку, никак не отличишь от того, что раз в квартал происходит в квартире напротив или внизу. Но вот настает некий срок, особый миг, сгущается некая гипнотическая атмосфера, словно еще один вдох-выдох — и откроется сама собою дверь, и, и вышкоченные многолетним супружеством жены, понимая, что будет, встают молча, на цыпочках идут к той самой двери (наиболее вышкоченные даже туфли в руках несут, чтоб каблучки не цокали) и дальше, дальше, в другую комнату или в кухню. И члены нашей маленькой, уютной, преуспевающей котерии остаются одни, и тут начинается то, главное: лица их постепенно утрачивают веселость, туго обтягиваются кожей, взоры стекленеют, пальцы медленно-медленно начинают разминаться, потом указательный вытягивается и сам собою начинает совершать в воздухе кругообразные пассы (ровно семь кругов, ровно семь поворотов!), рука с невидимой трубкой тянется к уху, губы разлепляются, и неотвратимо, произвольно и неостановимо возникает то, что составляет смысл их бытия, предназначение в этом мире:

— Алё. Да, на этом мы его и словим. Только фабулу подработать надобно. Да, еще микроусилие. Да.

— Алё (Другой сочлен компании.) Если Дима свяжется с Гошей, то тогда ситуация повернется в нашу пользу... Без вариантов.

— Не хватает событийности. (Шоколадный баритон еще одного сочлена-одноклубника.) Можно, например, поместить заметку «Жертвы застоя». Что? Не будь младенцем. У меня в засаде такая жертвочка имеется — год откармливал; только аукни — горы с долинами сровняет!..

Загляни ненароком в это мгновение какой-нибудь случайный лестничный алкаш с традиционной целью ключик от тепленького чердака или стаканчик попросить, он бы от изумления наверняка навзничь хлопнулся (как в дурных водевилях): сидят граждане, мирные, культурные, за недооцененным и недовыпитым и, не слушая друг друга и друг на друга не глядя, по призрачным телефонным аппаратам с неведомыми и невидимыми потусторонцами беседуют!.. (Это в наше-то склонное к оккультным явлениям время!)

— Да, чуть-чуть побольше наслоить фактов. Где взять? Обмыслим

...

— Только не через ступеньку. Нужно мягко, как по пандусу, и вдруг раз — обрыв

...

— Если это дойдет до NN, то от MM останутся одни черепки.

...

— Да, да Все верно. Вышли на азимут. Да, да, четко. Стройно, замечательно

...

лежит алкаш, в потолок глядит, ситуацию оценивает: вот, стало быть, как она, жизнь, на том свете протекает; на противнях не поджаривают, в серных ваннах не вываривают, в лед не вмораживают — это момент позитивный... А все равно жутковато, братцы. И надо ж, к интеллигентам шел, перед дверью отхаркался (внизу, внизу, где код!), ноги вытер, — а вон оно, вишь, оказывается, куда угодил, то-то мне цифры эти самые наборные не нравились...

...а жены? Жены — все там же, в соседней комнате. Шепотком, глазки опустив, о милых пустяках переговариваются: о колготках там всяких, комплектах, комплектах. Только внимание их полностью туда нацелено, туда, где оставили они свои родные половинки; знают они, жены, по опыту: ни в коем случае нельзя прозевать момент, когда массовый психологический криз в мужской комнате на спад пойдет, — тут же со щебетом и воркованием впорхнуть надо, как ни в чем не бывало впорхнуть, и чтоб ни тени ужаса в глазах, ни искорки... Иначе все это — все, все, попомните! — плохо, очень плохо кончиться может, как любят говорить их благоверные — непредсказуемо...

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЖУК

Рассказ

Стою на обочине шоссе, смотрю на обыкновенного жука Болит голова — словно придавленная сверху булыжным гнетом; эту давящую боль ничем не снять, пыгочная, проникающая.. Жук ползет вдоль обочины по жухлой траве ушедшего года, осень с летом прощается, душа с телом расстается. Северную осень принято любить литературной любовью, но для меня давно уж самое тяжкое — сломы сезонов или просто погоды. Неожиданно жаркий осенний день с прохолодью, с форточными сквозняками вызывает во мне тоску и одолевающее ощущение покинутости. Покинули нас с тобой, жук, как ты считаешь? Замер, оглядывается, соображает... Под черепом у меня шуршанье, суета, предотъездное волнение каких-то микромикромикронных существ, чуют неладное, как я, как жук, как этот осенний день.

1990 год. То, что было создано, должно исчезнуть: макрокосмос, микрокосмос; в исчезновении всегда есть освобождение, — как полагаешь, жук?

Он долго размышляет. Обыкновенный черный жук-ползун, жук нелетающий: «рожденный ползать — летать не может» (хорошенькое утешение изобрел для своей классовой паствы ее недобрый пастырь), — но ты-то почему не можешь? Жуки по всем естественно-энтомологическим правилам должны летать; они рождены и ползать и летать, такие они универсалы, твои сородичи, а ты? Мой жук, мой ползун, ставший мне за эти несколько минут почти добрым знакомым, принимает роковое решение: сворачивает с травяного склона к обочине, узкой пыльной полоске, за которой ..

Жду автобуса, рейсового, челночного туда-сюда; туда прошел, там кольцо, обратно не возвращается; несколько человек под пластмассовым грязно-зеленым волнистым козырьком ожидания терпеливо молчат. Я тоже молчу, слежу за черным жуком, мы оба, я и жук, отбились от коллектива, метров на двадцать отбились, но коллективу плевать, разбирать на собрании нас не станут — иные времена, иные собрания. Мой жук неуверенно, с какой-то обреченной решимостью движется к серому, влитому в землю гудрону, почти верная смерть. два встречных потока, непрерывное кружение колес, мелких, побольше, огромных рефрижераторных с прихотливо-кабалистическими рисунками протекторов. Погибнешь, жук, подумай!

Думают ли животные? Мой жук, мое насекомое, наверняка думает; полоса препятствий с шумом и вонью пугает, он вытягивает усики-щупальца, смутные воспоминания будоражат, душа его смущена. Вот раздвинул черные скорлупки надкрыльев, пошевелил коричневыми матерчатыми крытышками: нет, не получается. Рожденный летать, он взлететь не может: старость ли, сезон ли полетов кончился или... Отчетливо слышу, он бормочет: «Будь что будет, надо попытаться». Как люди (как некоторые из нас), как животные (без исключений), он, мой жук, надеется, что осознанная безнадежность — именно потому, что осознана и принята, — сулит возможность спасенья. «К чему убивать того, кто сам предсказал свою смерть и смирился с ней», — верно я говорю, жук? До кромки асфальта, до жучиной плахи, еще дюймов двадцать (полагаю почему-то, что насекомые консервативны, как англичане, и до сих пор не переходят на современные

единицы измерения: сантиметры и метры). А может, жук, ты заметил, что я наблюдаю за тобой, что я не допущу твоей гибели?

Осенние солнечные дни этого года вырывают меня из реальности, и я часто перестаю понимать, кто я, почему очутился в том или другом месте, зачем, например, сейчас жду автобуса. Автобус должен вернуться? А может, не должен; мне кажется, те замкнувшиеся в ожидании люди под грязно-зеленым козырьком тоже не уверены в его возвращении, иначе почему такая отрешенная покорность? Мальчик лет десяти, задрал голову, сосредоточенно смотрит вверх, возможно, он недавно прочел «Волшебника Изумрудного города» и теперь, глядя в смутно-зеленое небо, пересказывает сам себе историю Элли и ее друзей? 1990-й — год, когда мы окончательно распростились с изумрудным будущим и прокляли его уже истлевших давно волшебников.. Вспоминаю, что загнало меня сюда, в дачный поселок, к этому шоссе, к этой ожидалке. Мечта о сыром (так его официально именуют ценники) зеленом, как небо сквозь пластик в ожидалке, кофе. Пакетик этого кофе, триста граммов, у меня в кармане, сырой кофе лежкий, и когда исчезнет кофе черный, а он неизбежно исчезнет, я буду жарить в духовке зеленый и пить по утрам. Все это — и для меня самого — звучит совершеннейшей ахинеей (надолго ли хватит трехсот граммов?), и, однако, я испытываю «глубокое удовлетворение» оттого, что у меня в кармане целлофановый пакетик с зеленым кофе... Вот только никак не добраться домой; в поездном движении окно, но запахнулось оно не для электричек, а для дальников с южного направления, автобус застрял на кольце. Окно и кольцо — все дело в этом... Жук преодолевает последний дюйм, я соображаю, куда его переносить, за шоссе или назад, где грязная ложбинка с коричневой бочажинкой — болотцем... Гирия налегает всей тяжестью на самое уязвимое место, там, где заросший корочкой детский родничок, вот почему так больно и тошнит. Пожалуй, надо эвакуировать жука назад, в ложбинку. .

И тут я замечаю еще одного жука, точно такого же, как мой, и тоже ползущего к шоссе. Еще, еще... Миграция черных жуков, массовое переселение жесткокрылых, поток жуков-беженцев из низины с болотцем в зашоссейный край. В мире жуков тоже беженцы, в мире жуков тоже безоглядная спешка, страх и упрямые иллюзии, что там где-то, неизвестно где, ждет спасенье. Что-то случилось, что — не знаю. Модная нынче экологическая катастрофа — локальная по общегосударственным, районным, микрорайонным масштабам и глобальная для придорожного болотца. Сбросил бульдозерист полведра перепревшего соляра? Потеряла тетка баллончик с дихлофосом, и он начал травить? Или этим черным жукам назначено из поколения в поколение в один из последних осенних дней отправляться в сторону смертоносного шоссе? Мой жук уже заполз на край шоссе и аккуратно обходит оспинку в асфальте: на повороте — для него крутой вираж — он останавливается и смотрит на меня. «Ты знаешь, жук, прости, но я не буду тебя спасать», — говорю я и отворачиваюсь. Всех жуков не спасешь: не спасешь всех брошенных псов, всех бездомных котов, помочь всем немисливо. Милосердием я уже запасаю: дома у меня живут подобрыш-пес, плебей с черным хвостом такой же длины, как туловище, и подобрыш-кот, столь древний, что шары глаз вываливаются из ямок-орбит, и он похож на глубоководную рыбу с телескопическим зрением... Дома меня ждут жена, кот и пес, на дворе 1990 год, я приехал за пачкой зеленого кофе, и всех не спасешь. Я отхожу к ожидалке и присоединяюсь к молчаливому большинству; огибая ожидалку, ползут еще жуки, и это меня окончательно убеждает в разумности решения; теперь мне, наверное, и не отличить своего жука от всех прочих. Автобус не возвращается. Автобус застрял на кольце. Окно, кольцо и покинутость. Мы все — люди, животные и насекомые — надеемся пережить эту литературно прекрасную осень, потом суровую русскую матушку зиму и, уцепившись кто за что может, одолеть стремнину весны, самого опасного участка пути, это понимают все: двое мужчин, стоящих рядом со мною, девушка и мальчик, все еще глядящий на небо сквозь зеленый волнистый пластик. Мы все — на всех ожидалках 1990 года — повторяем слово «безнадежно», но мы хитры, мы надеемся, что наше осознание опасности станет заклятьем, отпугивающим беду; на это надеялся и мой жук.

А как он, мой жук? Переполз через шоссе, одолел свою стремнину весны или погиб? Теперь это уже теоретический интерес, говорю я себе и иду поглядеть;

и, конечно, заталкиваемое вглубь предчувствие не обманывает: мой жук — мой! я его сразу узнаю — на самой середине дороги. Удары ветра из-под колес отбрасывают его то в одну сторону, то в другую, туда, где новые колеса, где гибель; он растопырил надкрылья-скорлупки, машет матерчатыми крылышками-парусами, цепляется за шершавинки асфальта, он весь покрылся клейким потом и пылью, шесть ножек-прилипок выручают, его подкидывает с одного бока, но он удерживается ножками с другого бока; машины идут одна за другой - и тогда он сдаётся. Как любое живое существо перед неизбежностью смерти, он смиряется и затихает. «Да сбудется воля Твоя!» — он затихает и смотрит на меня. мой жук, которого я предал.

...многоосного, не способного отклонить свой ход алюминиево-голубого, прекрасного, как весенние небеса, международного рефрижератора я не заметил, и шофер на высоком троне-сиденье абсолютно ничего не мог предпринять, и я тоже ничего не мог предпринять, потому что по смежной полосе, шурша и шлепая шинами, катились какие-то другие колеса; был не удар, был просто сильный беззлобный толчок, и перед новой жизнью — это я отчетливо помню — было спокойное отсутствие досады, почти радость, что я погибаю из-за самого обыкновенного осеннего жука...



В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИВАНА ОГАНОВА

Песнь виноградаря осенью

Эпос

В редком, насквозь просвечивающем, озаренном холодным солнцем буковым лесу Нодар Шашвидзе замер, замороженно вдыхая горьковатый и грустный, позднеосенний дух стылого, навсегда исчезающего леса. Хмуро зеленеющей влагой поблескивали мшистые камни. Кахетинский лес! Наш лес!.. Пахучий, сам дышащий оплывшим ворохом сухих листьев, охваченный сладкой дрожью озноба, свежестью плывущей на нас большой, огромной осени. Сжались в разваливающихся, опустелых гнездах оставшиеся мерзнуть в одиночестве птицы. Птицы прислушивались к шороху зимы.

Лес чудился Нодару Шашвидзе окаменевшим. Но даже каменный и холодный, он продолжал с каждым кахетинцем разговаривать взволнованным шепотом. Если едешь по долине в эту пору, хоть и умирают, а все же продолжают звать к себе умирающие буковые и грабовые леса. Озаряются кусты орешника. Это мелкие листья, слетаясь на погребальную землю, холодным огнем греют синий, одичалый лес.

Набравшись за август позднего, медвежьего солнца, леса стоят гаснущими кострами. Прячется в берлогу засыпающее солнце.

Костры листьев — тусклые пожары.

Сентябрьский лес, обиталище бродячих богов и зверей, угасал. Лес вырубали и расхищали мироседы. Им торговали. Распилочно и навывнос. Каждое бревно. Человек природный спекулировал лесом жизни.

(«Изгнание свиней из храма»)

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

*

УТРЕННИК

Рассказ

И тут я увидела, что мы явились как бы не на то представление, на которое удалось приобрести билет, хотя и на то тоже... Входная дверь поминутно хлопала, прибывали новые гости, в вестибюле уже было тесно. Приискав себе уголок у стенки, я стала раздевать дочь. И другие родители извлекали из одежек своих маленьких Катерин, Даш, Антонов, Олечек, Максимов и Танюш; здесь были вялые, скованно озирающиеся по сторонам и уверенные в себе, шекастые, откормленные дети, голубоглазые насупленные пузыри, совсем недавно расставшиеся с прогулочной коляской, и долговязые девочки в школьных передниках, с уныло торчащими косицами, казавшиеся перестарками на этом празднике малышей, и крохи с головками как клумбочка, с разноцветными, веселыми заколками в волосах. Разные дети — и разные, разные их родители. Дочка крепко держала мою руку, растерянная, взволнованная этим скоплением детей и взрослых, надеясь на мои силы, на то, что в случае чего я смогу твердо и внятно постоять за нас обеих... Дети с любопытством осматривали друг друга, делая это открыто, не таясь, эта привилегия, открытость своих проявлений, еще оставалась за ними. Взрослые бросали ревнивые взгляды на чужих детей, как бы подглядывая за чужой жизнью. Они раздевали своих детишек, выпуская их из шубок и комбинезонов с горделивым достоинством, с каким лавочный торговец выпускал из рулона материи легкий, ласкающий всполох ткани, приглашая покупателя восхититься ее качеством и заодно мастерством лавочного фокусника. Достоинство это было обеспечено с лихвой долгим, недостойным стоянием в очереди за комбинезоном, за сапожками, за шубкой. Дети выходили наружу яркими, пестрыми, прибавляя взрослым уверенности в себе. Не знаю, много ли было здесь тех, кто имел право на праздничный билет, то есть так называемых людей искусства (это было звание, где собирались люди искусства), а среди них — много ли людей, имеющих действительное отношение к искусству. Я вспомнила вдруг человека, который вчера пришел к нам в редакцию: косматого, кряжистого, неухоженного человека из захолустья... Я угостила его чаем. Он принял угощение, но вид его оставался неприступным, он как бы упрекал меня за то, что я своим чаем с печеньем не в силах залатать прорех его бытия. Вы все тут сидите на птичьих правах у действительности, с яростью говорил он, прихлебывая чай, сверкая дырявыми локтями, и подглядывая на меня ястребиным оком; вы понятия не имеете о том, как живет народ: из лживых книжек и привирающих газет вы черпаете свое представление о жизни народной. Я спросила его: что такое народ? кто это — народ? Не задумываясь он сказал, что народ — это те люди, которые создают материальные ценности. Я упрекнула его в утилитарном подходе к этому понятию. «Для меня это не понятие, я сам — народ!» — возразил он. И между нами случился старинный некрасивый спор с привлечением различных имен и цитат, в который ввязался Коля, еще один наш сотрудник, в прошлом рабочая косточка, экскаваторщик. Он спросил: «А меня можно причислить к лику народному? Вот я лично десять лет создавал эти ваши материальные ценности на стройке, а потом закончил институт и стал работать в газете.— так кто я, по-вашему, народ или не народ?» Народ — это люди, хлебнувшие жизни, горделиво, но уже несколько неуверенно сказал наш гость, на что Коля возразил, что он хорошо знает, какой именно жизни хлебнул этот подразумеваемый

«народ», — этот «народ» в молодые лета гулял, пил и матершинничал, а в свободное от этих занятий время вяло возводил никому не нужный объект или выпускал заводской брак, этот народец летал по стране как птица, потому что не умел и не хотел свить гнездо на одном месте, а ближе к зрелости очнулся и увидел, что, собственно, хвастать ему нечем, кроме как дырявыми локтями... Про локти у него вырвалось сгоряча; их растащили в разные стороны, в этом процессе принимала участие и я, причем Коля тут же перекинулся на меня. Страхивая удерживающие его дружеские руки, он орал: вот в чем причина всех наших бед, в том, что любой хам и неудачник знает, на какую мозоль надо нам давить, на чувство нашей мифической вины в его собственном свинстве. Все это было так и не так: это понимание разных точек зрения и подходов к жизни угнетало меня, когда одна истина не исключала другую правду, и я не знала, чью сторону принять. Все было совершенно очевидно и вместе с тем непонятно для меня, как разговор двух глухонемых на своем яростном языке, которые друг друга отлично понимали, а я только видела их спор, какую-то многолетнюю тяжбу, и чтобы разрядить обстановку, спросила:

— А где вы живете?

Я задала этот вопрос обычным голосом и поэтому удивилась вдруг установившейся тишине. Я спросила просто так, желая направить разговор в другое русло, но в моем вопросе нечаянно прозвенел официальный металл.

— В сумасшедшем доме, — был ответ.

Оно и видно, выразилось на лице Коли, и тут в наш разговор с налету ворвался еще один человек, машинистка Нина, явившаяся со скрепленными листами в руках.

— Все мы живем в сумасшедшем доме, — буркнула она и, сложив на моем столе принесенные бумаги, выскочила, сняв вопрос.

Коля с надеждой смотрел на меня.

— А чем вы занимаетесь? — как будто нажимала я.

Станный человек вдруг что-то вспомнил и, захлопав себя по карманам, неожиданно извлек очки и вместе с ними замусоленную бумажку. По мере того как он читал послание жителей города Кержеца, проживающих по улице Свердлова, на наших с Колей физиономиях проступала профессиональная скука, умиротворенность и вместе с тем торжество.

— Но отчего же к нам... с этим?.. — спросила я.

— Он уже до нас пяток редакций обошел, — сказал Коля, — и еще с десятком обойдет... И как же вы хотите переименовать улицу? Чье теперь имя ей присвоить, чтобы жить на ней припеваючи? Бухарина? Ельцина? Аллы Пугачевой?

— Погоди, — сказала я. — А дети у вас есть?

А этот вопрос я задала таким тоном, каким следователь обычно интересуется у подозреваемого насчет алиби: где тот был четырнадцатого января в двадцать часов тридцать одну минуту. Надо сказать, мы умели спрашивать разных странных посетителей при помощи самых простых и неожиданных вопросов. Но мне и в самом деле было интересно, есть ли у него дети.

Гость растерянно наклонил голову, засунул в карман соскользнувшие с переносицы очки, вчетверо свернул свой замызганный листок и неловко отступил к двери.

— Есть, есть, — словно защищаясь, вымолвил он, — дети... — И, махнув рукой, исчез за дверью, и я так и не поняла, есть ли у него дети или нет.

И сейчас, в этом зеркальном вестибюле, чувствуя в руке сжатую от волнения в кулачок руку дочери, я вспомнила этого захолустного человека, который упрекнул меня в том, что я не знаю жизни народной. Наверное, он был прав: не знаю. Жизнь, которая теперь плескалась вокруг меня, была доступна лишь горстке людей, у обычной действительности были совсем другие краски и эмблемы, другая статья: мало кто на нашу теперешнюю может взять билет, его, наверное, тоже продают в таинственных кассах с зашторенными окнами, и добрые гномы тщательно охраняют вход.

Все было: яркие краски праздника, бумажные гирлянды по стенам, милые наряды детей; на втором этаже в зале стояла чудная ель, сколоченная из нескольких елочек, в гримерной в ожидании своего выхода курила Снегурочка

с первого курса Щепкинского училища, а зайчики-белочки из танцевального кружка при Доме офицеров поправляли друг у друга бумажные ушки. Все было хорошо, но что-то было ужасно, может быть, то, что моя дочь не могла запомнить ни одного стихотворения Пушкина, тогда как охотно, с какой-то недетской яростью и душевной приверженностью произносимому тексту выкрикивала перед сном выученные хором детсадовские стихи:

Что растет на елке?
 Шишки да иголки.
 Золоченые шары
 Не растут на елке.
 Не растут на елке
 Пряники и флаги,
 Не растут орехи
 В золотой бумаге.
 Эти флаги и шары
 Выросли сегодня
 Для советской детворы
 В праздник новогодний.

Которую неделю сыпались на нас эти шишки да иголки: дети, уже полгода занимающиеся с репетитором английским языком, не могли запомнить двух-трех простейших фраз, зато эти стихи схватили на лету с первой же репетиции утренника в детском саду. Каждый вечер родители хриплыми, уставшими голосами читали им хорошие книги (одна моя соседка декламировала сыну Пастернака), но дети запомнили не Ершова, не Пушкина, не Агнию даже Барто, а эти флаги и шары. Эти стихи пристали к ним как тополиный пух, забили горло, вызывая у родителей аллергию, они проникли как инфекция, когда стоит одному ребенку чихнуть, чтобы заболела вся группа, как распыленные с воздуха ядохимикаты. Эта детсадовская классика играючи положила на лопатки поэзию, и моя воинствующая соседка, прививающая сыну любовь к Пастернаку, несмотря на все свои старания, получает от него в результате аккуратные брикеты новогодних строк, которые сначала вызвали умиление, а позже страх. Вскоре дети всего нашего двора кликушескими голосами стали выкрикивать, раскачивая качели: «Что растет на елке?» — точно выпестовывали свой протест — против кого? против Пушкина? Нас, своих усталых родителей, не умеющих скрутить воспитательница, зажать им рты, не идущих стройными рядами на штурм роно, на штурм отдела культуры при министерстве, на само министерство, вместо этого трусливо лепечущих им на ночь глядя: «Но увидев усача — ай-ай-ай, звери дали стрекача — ай-ай-ай!»

В толпе я заметила Роксану, с которой когда-то мы вместе провели немало томительных часов на нашей детской площадке, выгуливая детей. В те времена нас объединяла дружба наших детей, это она принудила нас к общению, других причин не было, разные мы люди, и после того как дети немного подросли и родители занялись их устройством, учитывая не столько склонности детей, сколько свои родительские возможности, природное равенство нарушилось, дети постепенно забыли друг друга, и наша дружба с Роксаной сошла на нет. На детской площадке теперь гуляли другие дети, а ровесники моей дочери уже занимались делом: разучивали гаммы, садились на шпагат, учились держаться на воде, потому что родители думали об их будущем. Зараженная общей заботой, я стала водить дочь на рисование и к англичанке, выкраивая для этого деньги, чтобы потом, в своем туманном будущем, она смогла достойно конкурировать со своими ровесниками, например, с сыном Роксаны, который занимается в Локтевском ансамбле и учится держаться в седле, и, таким образом, очень скоро он провальсирует мимо моей дочери, с которой три года был неразлучен, прогарцует на скакуне. А мы что в противовес? Мы учимся перспективе, осваиваем цвет и выучили слово «уиндоу».

...Иногда она мне снится, наша детская площадка, снятся те мирные дни. Мирный свет мирных окон. На глаза наворачиваются светлые, как поют в песнях, слезы. Не светлые — темные, тушь око ест. Светлые слезы темными ручьями текут по лицу, и невозможно их остановить, текут себе без видимых причин — от песни, от мысли. Свет окон делается ярче. Проектора бьют из

них, и снопы света скрещиваются на детской площадке, как на арене цирка, куда скоро выйдут маленькие гладиаторы, вооруженные кто трезубцем, кто коротким мечом, кто французским языком, кто рисованием, кто одной лишь молитвой матери своей, кто ничем, ничем. Такой мирный сон, из которого меня освобождают бормотание проснувшейся дочери, разбирающей по слогам: «Мы — зубами! Мы — клыками! Мы — копытами его!»

Роксана энергично помахала нам рукой, я сделала движение к ней навстречу, но она уже махала кому-то другому, зато к нам пробился Коля, сотрудник нашей редакции, бывший экскаваторщик, бывший народ. Он, точно извиняясь за вчерашнее, тепло отозвался о наряде моей дочери, я похвалила ресницы его сына. Выполнив этот несложный долг, мы стали поправлять детям прическу и одежду, гадая, что бы еще сказать друг другу. Колин сын стоял набычившись, упрямо глядя в пол, моя дочь застенчиво поглядывала на него. В эту минуту на лестничной площадке появилась ласковая женщина в кокошнике, расшитом бисером, и в русском сарафане. Она пропела:

— Дорогие дети, добро пожаловать в зал на наш праздник. А вы, товарищи родители, можете быть свободны до четырнадцати тридцати...

— Свободны до четырнадцати тридцати,— насмешливо сказал Коля.— Хороша свобода...

И тут произошло то, чего я втайне ожидала и боялась: дети цветным ручейком потекли вверх по лестнице, а моя дочь крепко вцепилась в мою руку и не желала идти никуда, ни к каким зайчикам и белочкам. С досадой, точно этим своим нежеланием идти вместе со всеми она выдавала с головой и меня, я стала ее уговаривать. Дочь дергала меня за руку и тянула прочь. «Ты же большая девочка», — бормотала я. «Ничего не большая,— ныла она,— ты сама говоришь, когда спать меня укладываешь: „Маленьким спать пора“». Колин сын с интересом, как взрослый, смотрел на нас, ожидая, чем дело кончится. Коля присел перед моею дочерью на корточки и что-то зашептал ей на ухо. На лице ее выразилось сомнение. Коля прошептал еще что-то. Она вздохнула и сказала: «Ладно». Мы проводили детей по лестнице и передали их ласковой женщине в сарафане, которая давно уже с застывшей улыбкой поджидала нас одних.

— Что ты ей сказал? — спросила я Колю.

— Сказал, что в подарки дед Мороз положил иностранную жвачку,— довольный собой, ответил Коля.

— Ну и что?

— Ты, мать, отстала, не в курсе интересов нынешних детей. Они помешаны на этой жвачке, там под фантиком есть обертки с разными картинками, они их собирают. В их мире это твердая валюта, что угодно можно выменять на такие обертки. И все у них как у нас: важна не начинка, а картинка... Ты куда сейчас?

— Куда-нибудь,— ответила я.

Мы вышли на улицу и разошлись в разные стороны.

Все на свете: погода, время, люди и их поступки,— выражало неопределенность нулевой отметки. В новом году шел старый, еще с осени дождь. Под дождем таял снег, под снегом разваливался асфальт, и машины ныряли из одной колдобины в другую, под асфальтом разрушалась земля, под землей заболели подземные воды. На нулевой отметке законсервировалась жизнь: не могла воспрянуть, но еще не катилась стремительно со своего склона, оползая, как темный жемчужный снег. Теплый туман можно было объяснить циклоном с Атлантического океана, но чем объяснить этот навечно, казалось бы, поселившийся в наших краях циклон, приползший из Атлантики, уже который год заносающий землю сумерками. Здесь трудно было любить — даже себя, даже своих родных, любовь была туманной, мучительной, истощной — она тоже заболела. Блекнут краски, картина стирается. Белесое небо над головой как тихий плач на одной ноте. Но как стемнеет, по-прежнему, точно ничего страшного в мире не происходит, зажигаются в окнах елочные огни, переливаются на елке игрушки, колеблемые легким сквозняком из оконной щели, деды Морозы и Снегурочки, простые и кооперативные, летят на такси, заедавая тусклый путь пирожком, простым и кооперативным. Дети в них еще верят, родители верят в то, что дети их еще верят, и потому деды Морозы пока не прогорели со своими Снегуроч-

ками. Они не знают, дети, каким волевым усилием, утратой пуговиц и достоинства, которое, правда, давно утрачено, добываются подарки, всунутые с порога усталому Морозу, чтобы дед вручил их хорошим мальчикам и девочкам; они еще не встали в серую, озабоченную очередь, которую мы заслоняем от них покида своими согбенными спинами; мы стоим, чтобы купить вам ляльку с соской производства ГДР, мы стоим за курами, лежащими ничком, в позах обезглавленных молящихся на сыром прилавке, чтобы был супчик. Если б мы могли отстоять все грядущие очереди, чтобы для вас их не осталось, чтобы они рассосались наконец и выпустили на свет божий чудесные подарки; если б могли претерпеть все туманные дни, чтобы вам было побольше солнышка; если б могли избить все отвращение серой краски, чтобы проводить вас к подножью радуги и помахать вам вслед серыми заплаканными платками, глядя в ваши уходящие по разноцветному мосту, перекинутому в светлый мир, спины, мы бы не дрогнув вынесли этот наркотический сон, только бы вам проснуться для жизни исполненными бодрых сил и отваги.

Я бродила по улицам, засунув руки в карманы, наконец-то без хозяйственной сумки, без авоськи, целлофанового кулька, ощущая, как душе необходимо это бесцельное, как в детстве, шатание, как бы бесцельное, а на самом деле исполненное смысла и крылатой свободы. Действительно, глупо тратить день на то, чтобы было чем поужинать вечером, утро на то, чтобы пообедать, день на то... вот так и ползешь как по рельсам в узком, тобою выдолбленном в камне коридоре с остановками «завтрак», «обед», «ужин», а между этими мероприятиями мерцающий сон, спит душа, все больше тяготея ко сну. Так куешь себе цепь и сидишь на этой цепи, привыкая, уговаривая себя, что все так живут и что отбудешь таким образом несколько томительных лет, а потом начнется иная жизнь. Будем как птицы небесные. А как? Как будем? Как уподобиться им, небесным, но ведь надо как-то, потому что много уже накопилось тоски вековой, слишком много мусора. Жизнь отбрасывает его в разные стороны, как великан, за трапезным столом разбрасывающий обглоданные кости. Уйдет снег, и обнажится ненадежно скрытая тайна нашего общежития, проступит как некая истина сквозь нагромождения лжи: отходы жизни, шелуха времени, сморщенная оболочка повседневного существования. Частицы бытия отлетают, наполненные мусором, который тянется за человеком как длинный шлейф. Человек идет в какую-то секунду чистый и свободный, раздвигая новый воздух, срывая с ветвей новую листву и ее походя обращая в мусор. Вот след, оставленный на земле: пустота вокруг полигонов, ржавеющие металлические конструкции, высохшие озера, затопленные берега. Отпечаток стопы неандертальца, въевшийся в гранит. Он занят обеспечением сегодняшних нужд и не помышляет о завтрашнем дне, потому что ползет еще по земле мусоровоз, возятся на улицах дворники, сжигая мусор, крутятся прачки, стирающие грязное белье, и санэпидстанция спуска рукава, но все же воюет с крысами.

Размышляя о мусоре, я вспомнила книги, превращающие в свалку память, и слова, особенно слова, бессмысленные речи, бессмысленную ложь, в которой растворяется весь человек как в концентрированной кислоте, и мы сами становимся зевками пустоты, огромной свалкой пустых голов, загребущих рук, цветники затаптывающих ног. И все это ворочается в свалке времени, которое невозможно упорядочить, вытянув оттуда одну непрочную нить — историю, потому что все рвется и истлевает на ходу, если служит сиюминутной цели. Я посмотрела на часы: оказалось, что прошло уже около часа моего бесцельного свободного времени. Наверное, дочь уже получила свой подарок. А я?.. Я провожу эти редкие свободные минуты не в парке, не в кино, не, на худой конец, в магазине, а в подворотне старинного облупленного дома с циркульными окошками, готической крышей, стою перед горами мусора, как перед полотном художника, и всматриваюсь в детали: вот безобразная, растрепанная, как ведьма, голая кукла, вот цветочный горшок с засыхающим, похожим на собственный корень растением, вот пакеты из-под молока, детский красный сапожок примерно такого размера, который носит моя дочь. На том краю свалки копошились две крысы. Говорят, много их развелось по всей Москве. Говорят, что мы, как жители осажденного города, давно вкушаем их мясо, заверненное в колбасу, но, может, скоро мы поменяемся ролями и настанет на их улице праздник: столицу

берут в кольцо три свалки, о которых не раз писала наша газета. воззвание газет, их талый текст скользил под ногами раскисшим снегом. Лучше не думать. Пора.

Когда я вернулась в здание, где проходил утренник, вестибюль уже был полон родителей, стоящих в очереди у вешалок. С комбинезоном в руках я пробилась к самой лестнице, чтобы встретить дочку: она девочка робкая и может испугаться, не сразу увидев меня в толпе.

И в эту минуту, когда я протиснулась к самым перилам и поднялась на одну ступеньку, в вестибюле вдруг установилась тишина, как перед грозой или началом концерта, и, казалось, с каждой секундой она все ширится, охватывая толпу все больше и больше, словно обвал в горах, наступающий на пятки собственному эху. Последний звук погас где-то в глубине зала как свеча на сквозняке. Потом со стороны лестницы прокатился шум, набирающий силу, и вот первые дети с подарками в руках, гомоня, показались на верхней площадке. Среди них я уже видела радостно машущую мне рукой доченьку, как вдруг словно кто-то дернул меня за рукав — оглянись! И я оглянулась.

Мне показалось: невидимая рука отдернула по ту прозрачный полог, отделявший меня от толпы, отвела подернутый рябью воздух, и со ступеней вниз хлынули потоки света. Какой-то магнетической волной меня прибило к другим людям, и вместе с тем я видела их словно издавка и слышала слово, произнесенное шепотом на другом конце земли, на том краю времени преобразование. Родители наших детей стояли с запрокинутыми лицами, от которых шло свечение, как на полотнах старинных мастеров, где весь свет вбирают в себя ангельские лики, а вокруг складками ниспадает шелушащаяся тьма. Они смотрели на лестницу, как смотрят в детстве на небо, мечтая в облаке потететь и увидеть землю с высоты птичьего полета. С высоты начинающейся жизни своих детей они казались себе маленькими и мало что сами по себе значащими. Одинаковые сияющие лица взрослых слились в одном детском выражении беззащитности и любви — общая семья отцов и матерей стояла затаив дыхание.

Первые дети, гудя как пчелки, шагнули в толпу.

Читайте в 1992 году:

АНАТОЛИЙ КИМ

Поселок кентавров

Роман

* * *

«...Кентавров спустилось с гор в долину около 1000 голов.

В долине они размножились, и в годы расцвета народ насчитывал 27 436 особей обоего пола.

Во время набегов на земли амазонок, в страны диких лошадей и *лапифов* сложили головы в чужих краях не менее 9—10 тысяч кентавров.

Из-за введения Великим Кентавром Пуду македонского строя и системы всеобщей воинской повинности погибло мужского населения около 2500 кентавров. Причем почти половина из них — 1200 солдат — была убита ударами кизиловой дубины знаменитого военачальника. Остальные умерли от тягот муштры и казарменной тоски, когда в один достопамятный год полководец решил загнать всю кентаврскую армию в казармы.

В результате последнего нашествия диких лошадей племя потеряло около 1500 голов, остальные попали в плен к амазонкам. К пленным можно причислить и последнего в роду кентавра Пассия, который попал в столицу Амазонии Онитупс через раскрывшуюся перед ним завесу мира...»

(Отступление 7)

МАРИАННА СМИРНОВА

*

СИНИЙ САД

* *
*

Души моей друзья! Пускай навывлет годы,
И я зову в опустошенный дом —
Стоят стаканы с розовым вином
Как маленькое воинство свободы.

Пускай над крышей летний вечер тает
И долгим светом на щеках лежит,
Пускай луны неоновый фонарик
Из ранней зимней мглы в окно глядит.

Забудем наших лет и тяжесть, и потери,
Прискорбные следы прожитых неудач.
Из времени, несущегося вскачь,
Мы выйдем, беззаботно хлопнув дверью.

И снова вместе все за дружеским столом.
Неспешный разговор течет и длится.
Цветет свеча трепещущим цветком
И освещает молодые лица.

* *
*

Закат такого персикового цвета
И так над ним зеленовата даль,
Но этого торжественного лета
Уже коснулась осени печаль.

Блестят лучи летящей паутины,
И пижма посреди дорожных трав
Стоит, на крепких стеблях приподняв
Веселье с горечью в соцветии едином.

За месяц вымокнет и поредет сад,
Стекло небес прозрачнее и тоньше.
Стрижи и ласточки однажды улетят,
И нам пора — на городскую площадь.

Там будет долгий тихий зимний свет
Надежно заперт в переплет оконный,
Неспешность книг, и скоропись газет,
И разговоры с трубкой телефонной.

Но сниться будет солнечный закат —
Цвет персика и зелени прохлада,
Туманами повитый синий сад
И соловьиный бой из сада...

МАРИЯ ГОЛОВАНОВСКАЯ

*

ПОЧТАЛЬОН

Памяти Б. Р.

С почтальоном — особенно. Видишь: подъезжает на велосипеде к калитке, стучит костяшкой среднего пальца по промокшей зеленоватой центральной ее планке, не дожидаясь разрешения войти или просто звука голоса, означающего что угодно, скрипит несмазанными петлями, неспешно, в каком-то полутанце ступает по каменным серым плитам, которыми выложена тропинка к дому, на калитке надпись: «Осторожно! Злая собака!» — но он знает, что здесь давно уже нет никакой собаки, облезлый черный кобель сдох еще прошлой весной, и его зеленая с матовой черной крышей конура уже около года пустует, он медленно, как будто даже устало поднимается по ступенькам крыльца — их всего три-четыре, не больше, — опускает газеты в ящик, прибитый к входной двери, проходит по саду, заглядывает в окна...

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что он не влюблен. Осенью он ходит в какой-то скукоженной синей куртке на буроватом искусственном свалывшемся меху, впереди на уровне груди — два алюминиевых кольца, мальчишкам объясняют, что эти кольца для того, чтобы прыгать с парашютом, летом, все лето подряд, и июнь, и июль, и август, он ходит в полинялой полосатой то ли майке, то ли тельняшке, проходя по саду, он кашляет, иногда сморкается, бросает окурки на посыпанные галькой дорожки сада, он барабанит в дверь, всякий раз пропихивает в замочную скважину усатое «есть кто?», потом, хлопнув крышкой ящика, уходит, точнее сказать, удаляется, улица, растянутая, как фраза, пропадает куда-то, и видно, как он все уменьшается и уменьшается, превращаясь наконец в точку на воображаемой линии горизонта. Его тень немного отстает, не поспекает за ним, вытягивается и наподобие гигантской лужи простирается от дома до калитки, и потом он, совсем уже крошечный, поднимается от глаз вверх по двум темным пульсирующим коридорам в мозг, в мастерскую, пахнущую красками, заваленную чистыми и записанными холстами, многие из которых стоят лицом к стене, демонстрируя свои ровные тусклые спины с ярлычками, но кое-что еще красуется и ошарашивает прямо с порога: пурпурные объятия, петух в сизой тени, красное око висящего вниз головой кролика и почтальон, еще влажный и пахнущий, со своей вечной газетой, посреди хаоса на растопырившем ноги мольберте, назойливый, входящий, поднимающийся по ступенькам, а ты, как горло холода, боишься посмотреть на него в упор, взглянуть в его карие с белыми недописанными зрачками глаза, не влюблен, постоянен, неизбежен, как звук, как движение, как время.

Мы с тетушкой, вялой, увядшей, надкушенной, коротаем здесь, растягивая до бесконечности, день за днем, месяц за месяцем, выскакивающие друг из друга, как матрешки, в этом чудном доме на фоне волшебных гор, и оторванные листья календаря сродни использованным билетам, день прошел, заплати и оторви новый билетик. Сколько он стоит, Бог знает... Тетушка убирает со стола, стряхивает крошки на влажную красную ладонь. «Что думаешь дальше?» — бормочет она. Дальше вперед, дальше назад, пульсирует эхом в голове, дальше в осень, в прошлую, в позапрошлую, осень стоит за окном без летней крикливой вони, с ее вечным неслышным движением, с ее нежным шепотом на чужом языке. «О чем это она?» — недоумевает тетушка, пряча глаза, мыжимаем плечами и, обнявшись, идем наверх, всегда наверх, в сторону от времени, туда, куда никогда никто не заходит, особенно почтальон с его вечно вымазанными

в глине сапогами. Где же он всякий раз бродит, если умудряется так вымазаться до ушей?

Псы. Подобно скандальному принцу датскому, всегда какой-нибудь облезлый, оставленный дожидаться у калитки, заводится со своим извечным: можно к вам на колени, леди?— псы часто следуют за ним, и когда за ним по пятам идет пес, он кажется особенно угрюмым, он никогда не гладит их и не разговаривает с ними, даже головы не поворачивает в их сторону, он привык к ним, как к собственной тени, но мы всегда должны были помнить, что там, за калиткой, ждет пес, обожающий — его, ненавидящий — нас, и пока он расхаживал здесь, по нашему с тетушкой саду, у нас была иллюзия безопасности, хотя какая это безопасность, если в твоём саду бродит чужой. Они никогда не ходили за ним подолгу, эти псы, через неделю, максимум через две, очередной пес отбивался и привязывался другой, так же бессмысленно, как предыдущий, надеявшийся на ласку и корм, так же бессмысленно тарасившийся на чужих, сила на лице, на своем шерстистом собачьем лице, изобразить злобу. Осторожно, злая собака!— было написано в их трогательных, обращенных на почтальона глазах, и всякий раз это кончалось ничем, пес у калитки начинал скулить, почтальон, злобно выругавшись, убирался восвояси, мы открывали дверь и выходили на воздух.

Время спутывалось, перепутывалось, как волосы, как слова, образуя каждый раз чудовищный колтун, который ни распутать, ни расчесать, только выстричь. С утра стройные ряды часов и минут казались незблемыми, равными самим себе, отливали медью, оловом в дождь, золотом — когда было солнечно, но к вечеру все становилось неочевидным, сумерки, закат напоминали рассвет, и юный белокурый Феб на пару с девственной нежнейшей Авророй, казалось, примеряли как бы шутя полупьяные маски закатов, начинало даже казаться, что почтальон приходит среди ночи и виновато разводит руками, поскольку здесь еще не выходят ночные газеты, или, наоборот, приходит по несколько раз в день, захламляя ящик номерами одной и той же газеты за одно и то же число. Цифры в каком-то умопомрачительном соитии напознали друг на друга, смешивались, почти сливались, и вдруг из восьмерки начинал безобразно торчать ящеречный хвост девятки, или двойка, облобызавшись с пятеркой, образовывали ущербное, рахитичное восемь. Так или иначе, все это продолжалось до тех пор, пока не появлялся на черном небе красавец месяц, который толстел и округлялся, превращаясь в красавицу луну, или не выпрыгивало однозначно круглое солнышко среднего рода, единственного числа, и тогда абсолютно слепые, глухие и немые электронные часы, прислушивающиеся исключительно к пульсации своей уже изрядно подсевшей батареей, окончательно пропадали из поля зрения, и само небо указывало — говорить или молчать, держать глаза открытыми или закрытыми.

Тетушка молчалива, беззвучна, и те редкие слова, которые произносит, она словно вынимает из ваты и потом, проговорив их одними губами, осторожно складывает назад в коробку, будто елочные игрушки, в коробку с жесткими краями, предохраняющими содержимое от ударов. Она никогда не заходит ко мне, только по утрам возникает ее темный контур на фоне матового стекла моей двери. В это время я уже никогда не сплю. Именно в это время, по утрам, в голове моей грохочет город с его пылью и хрипотцой, перегруженными помойками, бесконечно ползающей по улице человеческой размазней, истощенным воздухом, разговорами, разговорами, разговорами... Изредка посреди улицы, дома, на фоне ковыляющих мимо окон или автобусного бока вспыхивает вдруг чье-то лицо или спина, улыбка или рука, словно из белого гипса в рисовальном классе, и даже не важно — чьи, не вспомнить — чьи, понимаешь, что только очень знакомые, некогда подробно изученные глазами, но теперь уже снесенные наверх по темным пульсирующим коридорам в мастерскую, и большую часть времени они стоят там, повернутые изображением к стене, лишь иногда в утренние часы они разворачиваются, но совсем ненадолго, потому что если не они, то ты поворачиваешься к ним спиной.

Тебе нужен покой, напоминают улыбающиеся тетушкины глаза, ровное дыхание горячего молока, город больше не придет к тебе, если только однажды тебе не захочется снова его увидеть. Город. Города. Птицы на каменных головах. Парикмахерские и киоски. Киоскеры, киоскерши, продавцы, почтальоны. Тысячи почтальонов, и только у одного из них знакомое тебе лицо, и только с одним

из них, однажды случайно встретившись, никак потом не можешь расстаться, боишься (кого? чего?), думаешь (о ком? о чем?), убегаешь (куда? зачем?). Сюда. Пусто. Только вот газеты еще приходят, естественно, приходят, прибегают, наступают, как псы жертву, или, наоборот, возвращаются преданно к своему истинному хозяину. А вот и он, голубчик, не успеваешь даже толком подумать о нем, поймал под локоток зазевавшуюся тетушку и все рассказывает ей что-то о своей толстобрюхой супружнице, попотчевавшей его сегодня и тем и этим, и супцом и квасцом, и как он ее по заду хватил, накушамшись, и как она расхохоталась, что стены задрожали, последние истории, ситцевые, заношенные, потные, чужие.

Вынимаешь из головы кукол. Замурзанного неудачника Пьеро с лицом, грязным от слез, малахольную красотку Мальвину с длинными подрагивающими ресницами, опущенными краешками губ, всегда недовольную, капризную, писклявую, Буратино-умницу, деревянного придурка (кто там еще?), алчного Карабаса-Барабаса, отважного Комарика с маленьким фонариком, кота Базилио (ох уж этот Базилио!), рассаживаешь их веером вокруг кровати и в себя прийти не можешь от удивления, что у всех у них твое лицо. И это, и это, и это... неужели я, я, я, а они под твое недоумение, взявшись за руки, пляшут и кланяются тебе, подмигивают твоим же глазом, такие милые, такие дорогие, такие нежные, и сил нет, нарядившись в черное и бархатное, пытаться разорвать их кровь, вырваться за его пределы, обращаясь к зрителям с заветным «быть или...», к зрителям, позывающим и равнодушным или притихшим в темноте у твоих ног. Так вот, вынимаешь из себя тряпичных героев и складываешь их, пока не отвлечет твое внимание какая-нибудь яркая бабочка или заглянувший в окно цветок.

Распорядок дня предельно прост. Утром мы с тетушкой завтракаем в большой светлой столовой с чудесным гербарием под стеклянной крышкой на тяжелом, черного дерева круглом столе. Потом я в сопровождении тетушкиной тени отправляюсь на прогулку по саду, прохожу мимо клумбы с чудесными желтыми и темно-бордовыми розами, огибаю немного странное из серого камня строение; внутри его на печке, которую нужно топить дровами или углем, стоит огромный чан с двумя неподвижными кольцеобразными вздернутыми кверху ручками (зачем они? никто и никогда не сможет его поднять!), здесь когда-то варили белье, но теперь уже, конечно, давно никто не варит, и это место забыто, никто сюда не ходит, нечего здесь делать, как и мысль об аде, душа давно уже терзается от другого, лоб покрывается испариной от совершенно иных картин, которые так и норовят сорваться со стен мастерской, загородить окна, быть все время перед глазами. Пока я гуляю, приходит почтальон, я знаю это точно, тетушка нарочно выпроваживает меня из дома в это время, и я также знаю, что она никогда не пускает его в дом, хотя он, по всему судя, только об этом и думает, только об этом и мечтает. Каждый раз я дохожу до обрыва — почти вертикальный склон, поросший крупным кустарником и деревьями средней величины. Потом иду назад, но уже не мимо розария, а вдоль платановой аллеи, и каждый раз думаю, что стволы платанов похожи на слоновьи ноги, а ветви на бивни и хобот, страсть, страсть, страсть пульсирует в голове, — помнишь? когда поднят над землей и распят, когда раскинуты руки и все тело в такой позе, будто летишь, а на самом деле пригвожден, и кровь сочится из ладоней, и ни движения, ни слова — боль, и каждый раз воскресаешь, упуская из груди голубя, утыкаясь носом в серую пыль, которую простые люди носят на ногах... Когда я возвращаюсь, мы с тетушкой завтракаем второй раз, она пьет кофе из толстостенной белой чашки, я ем предварительно очищенные и нарезанные тетушкой яблоки, но никогда не беру ломтики руками, а натыкаю их вилкой, так, как будто это картофеля или кусочек бифштекса. Тетушка всегда таким особым кивком головы спрашивает: ну, как прогулка? — и я отвечаю ей улыбкой: красиво! — затем до обеда мы сидим на веранде, тетушка прикрывает мне ноги синим пледом в черную крупную клетку, читает газеты, пишет кому-то письма, пристально всматриваясь мне в лицо, молчит, улыбается, когда я всякий раз сбрасываю упавшую на меня уже пожелтевшую сосновую иголку, мы сидим так до обеда, неподвижные, среди бесконечной птичьей трепотни, копошны, среди деревьев, азартно играющих в карты последними листьями, интересно, когда тетушка успевает приготовить обед? в доме никогда нет запахов пищи, и даже кофе, который она пьет, кажется лишенным всякого запаха, я перебираюсь за стол с гербарием, и мы долго обедаем, делаемся плотными и тяжелыми, чтобы потом,

уйдя наверх, неслышно опуститься на дно, укрыться с головой снами, покорно принимая всю их непредсказуемость, попадаясь в их ежовые рукавицы или бархатные перчатки. Я всегда просыпаюсь от голосов, доносящихся снизу. Это к тетушке приходят соседки. Они бойко обсуждают варенья и соленья, смотрят на просвет банки с клубничным, малиновым, абрикосовым, вишневым вареньем, в саду растут и клубника, и малина, и абрикосы, они смотрят на просвет, сравнивая оттенки сиропа: этот темноват — переварено, здесь сахару переложено — засахарится, они рассматривают, пристально сощуриив глаза, как алхимики, как добыватели чертова камня, и воздух от их разговоров делается сладким и липким, и медь начищенных, висящих вдоль стены над плитой кастрюль и тазов начинает гореть, раскаляя воздух, а потом они садятся за чай и начинают пробовать, уже не глазом, не обонянием, но самим вкусом, который не обманешь, я тоже часто присоединяюсь к ним, но не пью чая и не дегустирую варенья, а просто пытаюсь отогреться рядом с их разгоряченными лицами.

Деньги. Растворяются в воде, как сахар, делая ее сладкой. Красные, синие, желтые, зеленые, как осенние листья, осенний урожай после буйного цветения, наклеиваются, как этикетки, на дни, на слова, на выраженья лиц. Может быть, нужно ему заплатить как следует, чтобы он больше не ходил? Может быть, он и ходит поэтому? Или наоборот, может быть, он потому и ходит, что каждый что-нибудь дает ему за его услуги? Может быть, и тетушка?

Страх. Километры крутого подъема к его вершине, к зениту, целящемуся тебе в макушку. Влечет, манит, залепив глаза пластырем, думай, лови в голове мух, его, страха, сияющий шлейф, его сверкающее острие. Страх. Бежишь, но стоишь на месте. Только пустое мелькание собственных ног, а пейзаж на картинке — тот же. Ты же все знаешь, пульсирует в голове, вспомни: тихие разговоры за закрытой перед твоим носом дверью, осторожные глаза врачей, их чистые, с ровными ногтями пальцы, вежливость, доходящая до абсурда, твердое намерение причинить боль. Вспомни: один круг, второй, третий, жадные объятия конца и начала, начала и конца, чего же бояться, если тебе уже известно все? Почтальона? Новости, которую он однажды принесет тебе? Свежей газеты с твоим лицом на первой полосе? Че-го? Какие вообще на этом свете бывают новости?!

И все-таки они затеяли свару, эти псы. Как назло, в этот день мне что-то помешало уйти на прогулку, то ли туман был слишком густым, настолько густым, что вытянутая вперед рука моментально лишалась кисти, то ли дождь лил, соединяя прозрачными струями верх и низ, крышу и яркую гальку, дождь вперемешку с листьями и иголками, шишками и одинокими вороньими выкриками. И еще этот разноголосый лай у калитки, рычание и визг укушенного, они собрались все, может быть, даже для того, чтобы свести с ним, с почтальоном, счеты, излить свою обиду, вцепившись зубами в ляжку или исцарапав когтями лицо, но его так долго не было, что они передрались сами, не дождалась, и ясно почему: снизу доносился хриплый басок, кашель курильщика — он прорвался, тетушка выпустила его. Тетушка в этот день была как-то по-особенному молчалива, ни губы ее, ни глаза ни о чем не говорили мне и ничего не спрашивали, она была настолько рассеянна, что даже не заметила моего присутствия в доме, и когда почтальон постучал своей продрогшей и влажной ладонью в дверь, она, поколебавшись минуту, открыла. Он, вероятно, быстро прошмыгнул внутрь, в переднюю, и тут же заговорил, зашел, может быть, подмигнул даже, он проторчал в передней добрую четверть часа, насыщая воздух историями о соседях и продавцах, и, видимо, только тетушкин нетерпеливый жест заставил его наконец достать газету и нехотя удалиться. Когда он вышел за калитку, псы даже не заметили его. Тетушка с испугом посмотрела на два мокрых следа, оставшихся от его огромных ног, казалось, что вместе с этими следами остались и сами ноги, прямо на пороге в прихожей, эдакое модернистское изваяние или, наоборот, осколок древней статуи — косолапые ступни и выпирающие вперед коленки, а куда подевался торс и был ли он вообще — неизвестно.

Так эти ноги и остались стоять, загораживая проход, не давая выйти. Собственно, и выходить-то уже не хотелось, дом начинал казаться огромным, и обойти его весь становилось почти непосильным делом. Налево от прихожей — светлая, в белом кафеле кухня. На ровном белом подоконнике в литровой банке с водой — зелень: укроп и петрушка. Дальше по коридору направо — столовая с двумя большими окнами в одной стене и двумя в другой. Свет из этих окон делает стеклянную поверхность стола зеркальной, и, чтобы увидеть чудесный

гербарий, распластанную, немного обесцветившуюся розу под стеклом, нужно подойти совсем близко, склониться над ним, вписав и линии своего контура в чудесное переплетение стеблей и лепестков. Из столовой — дверь в большую комнату с двумя кроватями посередине, напротив вечно сияющего окна — деревянный, темного дерева стол и четыре стула, у стены — пустой платяной шкаф. В этой комнате никто не живет, и поэтому дверь в нее всегда открыта. Коридор упирается в темную комнату, в которой хранятся садовые инструменты, грабли, тяпки, лопаты, а также удобрения, порошки и другие моющие средства, поэтому в этой комнате особенный такой запах, наполовину медицинский, наполовину парфюмерный. Четыре ступеньки вниз — ванная и дверь в сад. Чтобы не было сквозняков, тетушка всегда запирает ее, но через квадратное окно, находящееся посреди двери, виден кусок сада: клумба с бордовыми розами, земляничная поляна и угол серого домика, пологий склон горы, поросший лесом. Ванная восхитительна. Свет, запах, звук. Звук текущей воды, аромат мыла, зеркало, удваивающее пространство. Зеркало, зеркало, зеркало, хотеть, иметь, владеть, разъезжать на коне, покрытом шитой золотом попоной, и видеть только бритые затылки и согбенные спины. Пот, вонь, ароматы, гадания по руке. Или, наоборот, сладко прижимать к груди чью-то зловонную, в шелковой туфле ногу, закрывая глаза, мурлыкать по-котинному, пытаться угадать в равнодушном взгляде...

Почтальон сидит в столовой, шумно пьет чай, обменивается с тетушкой подмигиваниями, пряными словечками, она все подкладывает ему в розеточку вареньица, и он, с кончиками усов в рубиновых каплях, застывает, блаженно сощурился, лицо его и руки отливают бронзой, и тетушка, по-девичьи хихикая, покрывается румянцем, оттопыривает мизинчик. Так он и остался сидеть там, забыв, вероятно, об ужине, который ждет его дома, макароны с мясом уже давно остыли, прилипли к тарелке, покрылись буроватыми кружочками затвердевшего жира. Музыка, музыка, музыка, пульсирует в голове, извлекать ее руками из насекомообразного тела скрипки, блеснуть лаковыми ботинками, или извлекать ее губами из жесткого металлического ствола, при малейшей, ничтожнейшей паузе стараться облизать иссохшим кончиком языка потрескавшуюся верхнюю губу, кланяться, теряя равновесие, пытаться удержаться, ввинчивая каблук в пол, неуклюже обнимать деревянную тетку-контрабасику, и все по чужим нотам, по чужим — даже если обводишь невидимые контуры дирижерской палочкой, даже если вдыхаешь в нотные, зависшие вверх ногами комариные тельца охи, стоны и жужжание, все равно по чужим — даже если забываешь об этом, и зал, прокашлявшийся в паузах между частями и набившийся бутербродами в антрактах, кричит и неистовствует, забрасывая тебя цветами... Но даже если и так, что тогда?

Комната моя огромна. От раскалившейся настольной лампы вспотело все: лицо, руки, стены, лежащие на тумбочке газеты. За мутным оконным стеклом — капли вечера, внизу — разговоры, шум посуды, вот и тетушкины шаги, она поднимается по лестнице вверх, там она уже все вымыла, все убрала, я узнаю ее легкие шаги, неслышно поворачивается ручка двери, на мгновение поймав луч света от лампы и полоснув по глазам, дверь открывается, тетушка тает на пороге, яркий свет разрезает комнату, делит все на две половины, на две черные половины, размозженные полоской света, вот слышатся и его, почтальона, шаги, тяжелые, командорские, вот на пороге и его голос, и рука тянется для пожатия:

— Что же ты прячешься, глупыш, разве ты не знаешь, какую новость я приносил тебе все эти дни?

— Ухожу, ухожу, — киваю я рукой, машу головой и медленно начинаю двигаться от своего контура вправо.



ЛАУРА САЛМОН

*

МОСКОВСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Душа и сердце

Не сердце, не южная неженка в красном шелку —
душа вырывается в гиперборейские страны.
Сродни ей мороз и зеленого льда океаны.
Наперсница снега, она, расцветая в снегу,
бесслезно к ударам стального хлыста трамонтаны.

И, словно актиния, жертва капризного моря,
что ртом раскаленный песок, задыхаясь, хватает
и вмиг погибает в аду чужеродных пустынь, —
вот так и душа моя, пересыхая от горя,
о люльке несбывшейся, выстланной снегом, мечтает,
подвешенной к звездам в просторах морозных равнин.

Под небом лишь этих просторов душа не болит...
Но сердце, иззябнув, молчит и отчаянно рвется
назад, в Апеннины, где август нещадно палит, —
бесслезно к ударам калеными прутьями солнца.
Там — радуги праздник и рокот морской... А пока
оно умирится водкой — довольно глотка.

Рикордо московита¹

Мое одиночество зреет в названье столицы —
Москва: эта Mosca кусает, как mosca, сердито².
В ушах «москови-и-ита» пищит, словно стайка москитов.
Расчесы зудят, кровоточат, изводят, как лица.

Здесь серый на красный сменяется, серый на красный,
а красный на серый сменяется, красный на серый.
Других цветовых перемен ожиданье напрасно.
Ну разве что красный на красный, а серый на серый.

Твою лишь улыбку, фарцовщик, трюкач бесшабашный,
с улыбкой ответною буду вдали вспоминать я:
ночную мою, всю в нейлоновых рюшах рубашку
ты принял по-детски за великосветское платье...

Лампа

...И наконец, разведав заклинанья,
я лампу Аладдинову открыла,
и взвился дух с седою бородой.
И первое, что он промолвил, было:
«Не исполняю больше я желанья.
Но, хочешь, просто посижу с тобой?»

Перевела с итальянского МАРИНА ПАЛЕЙ.

¹ Московские воспоминания.

² Москва по-итальянски читается так же, как mosca; последнее означает муха. (Прим. перев.)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО

*

НАД ИЗУМРУДНЫМ МОРЕМ ОБЛАКА

В биографии Анатолия Клещенко многое озадачивает. Конечно, его первый арест в 1941 году был в духе времени, и двадцатилетний поэт лишь разделил свою участь «с гурьбой и гуртом», с миллионами. Пятнадцатую годами лагерей и ссылок тоже не удивишь современников, повидавших и не такое. Они еще сказали бы, что парню повезло: за стихи против Сталина и расстрелять могли, а тут вышел на волю, и не совсем инвалидом вышел. Правда, Анатолия не расстреляли только потому, что в тот момент смертная казнь в очередной раз была ненадолго отменена в пропагандистских целях: в дальней перспективе режим без расстрелов существовать не мог. Однако действительно необычное в биографии А. Клещенко начинается после освобождения, после реабилитации. Жизнь его складывается как будто достаточно благополучно. Выходят книги, стихи, поэтические переводы, проза, весьма незаурядная, пока еще не оцененная по достоинству. И вдруг путь А. Клещенко в литературе снова резко прерывается. В конце 60-х годов некая анонимная, но тем более жестокая сила даже не выживает, а выталкивает А. Клещенко из интеллигентного, либерального, литературного Ленинграда. Это не ссылка. Клещенко не был ни диссидентом, ни правозащитником в расхожем смысле этого слова. Срабатывает некая несовместимость поэта с тогдашним литературным миром, в котором ему нет места.

Впрочем, что-то подобное происходило и перед первым арестом А. Клещенко. Никто не отрицал его поэтического дара. Стихи А. Клещенко опубликованы, когда ему едва исполнилось шестнадцать лет. Блистательное, казалось бы, начало литературной карьеры. И вдруг исчезновение из литературы на долгие годы, колючая проволока ГУЛАГа, соприкосновение со смертью, от которой поэт спасается чудом. Видно, в самой личности А. Клещенко было нечто, обрекавшее его трагически погибнуть, как изящно выражались еще недавно биографические справки о жертвах террора. Присмотримся же к личности А. Клещенко.

Он родился в 1921 году, в год, когда расстреляли Н. С. Гумилева, и это совпадение таинственно предопределило дальнейшую жизнь А. Клещенко. Не знаю, верил ли он в перевоплощения. Вряд ли. В его поэзии трудно обнаружить склонность к салонному мистицизму. Однако присутствие Н. С. Гумилева не только в поэзии, но и в самой личности А. Клещенко несомненно. Н. С. Гумилев был для А. Клещенко не просто вдохновляющим примером. Юный поэт унаследовал не литературную традицию, а поэтический и жизненный подвиг Н. С. Гумилева. То было не наследие, а таинственная наследственность. Можно с некоторым основанием утверждать, что А. Клещенко чувствовал себя новым Гумилевым.

Собственно, негласное увлечение Гумилевым не было тогда чем-то из ряда вон выходящим в советской литературе. У истоков поэзии социалистического реализма стоят не Демьян Бедный и не Маяковский, а Гумилев и Есенин, умершие, мягко говоря, не своей смертью. Н. Тихонов, Э. Багрицкий, В. Луговской, отчасти К. Симонов начинали как талантливые эпигоны Гумилева. До некоторой степени это относится и к поэтам военного поколения, например к Семену Гудзенко. Произошла своеобразная экспроприация гумилевского наследия. Стоицкий культ негибаемого личного благородства и воинской доблести в сочетании со вкусом к яркой, отчетливой, экзотической детали был поставлен на службу всему тому, что уничтожило Гумилева, дав ему повод навеки подтвердить личное благородство и доблесть. Гумилевские капитаны и конквистадоры были подменены пограничниками, краснофлотцами, комиссарами. Комиссар из «Оптимистической трагедии» недаром цитировала Гумилева наизусть. Подобное цитирование, правда без упоминания имени поэта, иногда на грани плагиата, быстро стало хорошим тоном в литературе, принципиально отрицавшей оригинальность. Это было неприемлемо для А. Клещенко, как было бы неприемлемо для самого Гумилева.

Весьма живуч миф о монолитном единстве советского общества во времена сталинщины. Этот миф не подтверждается историей. Монолитное единомыслие невозможно без двоемислия, механизмы которого исследованы Джорджем Оруэллом. Пламенные энтузиасты 30-х годов не могли не знать о голоде на Украине, о ночных арестах и допросах с пристрастием, о неисчислимом населении лагерей. Такое знание само собой разумелось; на нем основывалось инстинктивное, нутряное сообщничество, подогревающее энтузиазм. Подобное сообщничество устраивало многих, но далеко не каждого. Были натуры, органически не терпевшие этой зловещей двойной игры.

Отсюда малоизвестные, но тем более мучительные трагедии интеллигентных мальчиков и девочек. Большинство из них погибло в ГУЛАГе, лишь некоторые избрали для себя другой исход, трудно сказать, более или менее страшный. Сын поэта Анатолия Мариенгофа Кирилл покончил самоубийством в 1940 году, в шестнадцать лет. Он как бы пошел по стопам Сергея Есенина, своего несостоявшегося крестного отца. Кирилл назвал установившийся режим непросвещенным абсолютизмом. Одно это определение обеспечивает юному мыслителю право на благодарную память потомков. А. Клещенко, новый Гумилев, реагировал на непросвещенный абсолютизм по-своему. В 1939 году у него вырвались стихи:

Пей кровь, как цинандали на пирах,
Ставь к стенке нас, овчарок злобных уськай,
Топи в крови свой беспредельный страх
Перед дурной медлительностью русской.

Опять-таки одних этих строк достаточно, чтобы остаться в истории русской поэзии, но наследие А. Клещенко не сводится к этим стихам, как не сводится оно и к блестящим стихам на исторические темы. В 30-е годы поэты пытались через исторические аналогии высказать свое отношение к современности. Мастером таких аналогий считался Дмитрий Кедрин, также погибший после войны при загадочных обстоятельствах. Поэзия молодого А. Клещенко соприкасается с поэзией Д. Кедрина и отчасти П. Антокольского, но гумилевская прямота и достоверность исключают кукушки в кармане, которыми щеголяла тогда салонная фронда. Не тонкими намеками, а взрывоопасной творческой свободой дышит в стихах А. Клещенко Франсуа Вийон. Недаром и Осип Мандельштам поминал в своих стихах Франсуа Вийона месяца за полтора до последнего ареста.

Но и упоительными историческими параллелями не исчерпывается поэтическое наследие А. Клещенко. Только после его смерти обнаружены лагерные тетради, в которых истинный ключ к его судьбе. Невозможно отделиться от впечатления, что именно такие стихи написал бы Гумилев, автор «Мужика» и «Рабочего», если б ему заменили расстрел лагерным сроком. У А. Клещенко та же установка на четкость стихотворного рисунка, такое же хищное схватывание детали, которая была бы экзотической, не будь она смертельно повседневной.

Так снова плотской алчности на смену
Приходит отвращенье: ночью мгла,
После того как полая игла
Легко пронзает голубую вену,
Вдруг оживает, образов полна,
Забывших было сказок и утопий...
В крови опять хозяйничает опий,
И тихой безразличности волна
Уносит мысль о волевом престиже
Над слабостями плоти и души:
Мгновенья эти слишком хороши,
Чтоб вспоминать, что с каждым к смерти ближе.

Мещанское благомыслие усмотрит в этих стихах апофеоз наркомании. Разумеется, было бы трусливым ханжеством выдавать их за поэтическое иносказание. Эти стихи напоминают Кольриджа и Бодлера, великих наркоманов. Пристрастие к наркотикам — самоубийственная реакция на тоталитарные тенденции в лоне цивилизации, превращающей поэзию в наркотик, а наркотик в поэзию. Не отсюда ли пахнущая геноцидом обывательская ненависть к наркоманам, как будто они враги цивилизации, а не ее жертвы?

Анатолий Клещенко вернулся в Ленинград со своими лагерными стихами и вскоре ощутил свою неуместность в литературном мире. Он портил игру преуспевающим либералам, делавшим вид, будто все меняется к лучшему, хотя в лучшем случае не

менялось ничего или менялось к худшему. Таково было шестидесятилетнее двоемыслие, пышный ренессанс которого именуется гласностью. А. Клещенко опровергал двоемыслие всем своим существом:

В поэтах утвержденные приказом
Смотреть на нас не вправе свысока.
А нам — косить на вашу славу глазом,
Свялящим при разверстке дурака.

Мы знаем цену трафаретным фразам,
И мы и вы. Она невелика.
Но... время разделяется по фазам,
И лучших цен за души — нет пока.

Ответом на эти стихи было негласное, но безоговорочное выдворение поэта из города на Неве. Гумилев путешествовал по Африке — А. Клещенко отправился на Камчатку. Охотник, знаток леса, он работал инспектором охотхозяйства и в 1974 году умер от воспаления легких, но нельзя отделаться от подозрения, что это самоубийство мужественного человека... если не убийство.

«Но я иду сознательно на риск», — писал восемнадцатилетний А. Клещенко в 1939 году. Так сознательно шел на риск А. Ф. Лосев, восстанавливая в своей «Диалектике мифа» фрагменты, снятые цензурой. Сознательно шел на риск Осип Мандельштам, когда писал: «Мы живем, под собою не чуя страны». Поэт Анатолий Клещенко — нежеланный, но незаменимый свидетель эпохи, когда от духовной свободы не остается ничего, кроме сознательного риска.

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ.

* *
*

Мне снились флаги пестрые армады,
Над изумрудным морем облака,
Медлительная поступь Торквемады,
С резным распятым узкая рука;
Мне снилась чернь, шумевшая, нагляя,
И золотое пламени руно;
Кортеца жадность, трусость Галилея,
Ненужное безумие Бруно;
Мне снился кнут над многоглавой тварью,
Сталь длинных шпаг блестяща и остра:
Открыл окно — в него тянуло жарью
Доныне не потухшего костра!

Люди делают кирпичи

Дождь — и в мокрую темноту
Звезды прячут, шипя, лучи.

Веря прянику и кнуту,
Крутит конь деревянный крест,
Месит глину тяжелый пест —
Люди делают кирпичи.

Люди делают кирпичи.
Давят в формах, чтоб после в печь
Одинаково ровным лечь.
Пламя в жаркой гудит печи.
Мастер людям толкает речь.

О значении кирпичей.
 Чтоб вникали бы в суть речей
 И кирпич был — лишь первый сорт.
 И о том, для чего (в ночи
 Или днем — не один ли черт?)
 Люди делают кирпичи

Кирпичами ложатся слова.
 Умирает под ними трава.

Пляшут тени по глине спин
 (Просто глина, не каолин!).
 Звезды прячут во тьму лучи.
 Снег идет или дождь сечет?

Рубят головы палачи
 Или лечат больных врачи —
 Не один ли черт,
 Не один ли счет?

Люди делают кирпичи.

План

На суглинке рыжем, за баракон,
 Где мечтать о прошлом я люблю,
 В поощренье воробьиным дракам
 Ты посеи весною коноплю.
 Вырастет, поднимется к крыльцу.
 На бушлат, наброшенный внакидку,
 Наклонив растенья пирамидку,
 Собери летучую пыльцу.
 Клейкую, сожми ее в комок,
 Закопай в суглинок на пригорке.
 Скоро, скоро у тебя в каморке
 Синий заколеблется дымок.
 Здравствуй, план! Веселый план, салам!
 Через марлю пыль просеешь эту.
 Завернешь косушкой в газету,
 Разметав с махоркой пополам.
 Пусть тебя невесть с какой поры
 Не ждала узбечка у дувала,
 Запахнув халат, без покрывала
 В темном переулке Бухары —
 Унесутся мысли в те края
 Словно голубей большая стая.
 Азия приснится золотая,
 Желтая, как мед, Аму-Дарья.
 Ни любви, ни грусти больше нету.
 Кто сказал, что жизнь не хороша?
 Первый друг бродяге и поэту —
 План, по-фраерскому — анаша.

* *
 *

Природа здесь нерусская уже:
 Таежный гул назойлив и невнятен.
 На зеркале реки, как на кривом ноже,
 Начищенном золой, — ни ржавчины, ни пятен,
 Ни ряски, ни кувшинок золотых.
 Я прохожу, цветов не замечая

На берегах покатых и пустых.
Лишь красные метелки иван-чая
Холодный ветер клонит до земли...
Отсюда птицы улетели даже...
У клады обвалившейся, на страже,
Треноги копен высятся вдали,
Паучьи тени вечером бросая
На остовы печей, обломки рельс...
Так марсиан ложилась тень косая.
Но это только выдумал Уэллс.

Испанский танец

Моя Кармен опять со мною,
И сердцу сладок этот плен.
Как сбился пеной кружевную
Тончайший газ вокруг колен.
Заворожен ее улыбкой,
Как лезвие согнувшись вдруг,
Хозе, стремительный и гибкий,
Ломая танец, входит в круг.
Она глядит, и скорбью сужен
Ее недавно лишь, вот-вот
Слепивший блестками жемчужин,
Недавним смехом пьяный рот,
Темно-вишневый и овальный,
Последний помнящий ожог...
И обрывается прыжок
Танцовщицы провинциальной.

Запах черемухи

Что это? Комната, где в фанты
Играли мы давным-давно?
Серебряные аксельбанты
Опять роняет на окно
Букет черемухи, и, резкий,
Дурманит аромат слегка...
Окно прикрыто занавеской...
Челнок уютный гамака
За ней плывет в кусты малины —
Корабль готов для вас, Колумб!
И как заморские павлины
Гуляют петухи у клумб.
Мой пес стоит на задних лапах,
Ластясь за завтраком ко мне, —
Что это, детство?.. Только запах
Букета в банке на окне.



ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

*

ЗАПИСИ 20—30-х ГОДОВ

Из неопубликованного

Лидия Гинзбург (1902—1990), известный ученый-литературовед, автор книг «О лирике», «О психологической прозе», «О литературном герое», в последние годы жизни опубликовала то, что не могло быть напечатано не только в 30—40-е, но и позже, в 60—70-е годы: записные книжки, которые она вела всю жизнь, эссеистику, воспоминания, а также прозаические повествования «Записки блокадного человека», «Заблуждение воли» и др.

Ее имя, ссылки на ее высказывания и суждения, цитаты из ее книг не сходили со страниц академических и литературно-художественных журналов в последние годы. Но в 1990 году восьмидесятивосьмилетний автор ушла из жизни — и количество упоминаний резко сократилось. Задумываясь над причиной этого печального явления, я прихожу к выводу, что многое в поведении наших литераторов и людей науки объясняется преклонением перед авторитетом, преклонением, не доходящим до понимания. Тот, кто умер, выходит из игры, выпадает из поля нашего зрения. Если бы он мог, как толстовский Оленин, оглянуться, уезжая на ямской тройке, он бы увидел, что и Марьяна, и дядя Ерошка, только что плакавший и три раза целовавший его «мокрыми усами и губами», забыли о нем. Каждый день нынешней жизни наполнен такими событиями, что мы не успеваем осознать происходящее; где уж тут помнить о прочитанном несколько лет назад, тем более — осмыслить его.

А книги Лидии Гинзбург требуют неторопливого чтения, свободного времени, долгого обдумывания, — в этом смысле они, как всякая большая литература, как лучшие стихи и проза, пишущиеся сегодня, обращены, через головы своих современников, к будущему, непредставимому читателю-собеседнику.

Лидия Гинзбург — один из лучших наших писателей, выросший как бы на обочине литературного процесса, в значительной степени навязанного нам, сфальсифицированного и подмененного. Сколько думых репутаций, сколько авторов широкоэвещательных этических полотен видели мы на своем веку! «Глас, пошлый глас, вещатель общих дум» — вот кто соблазнял и находил «отзыв», выводил «из усыпления» «ленивый ум» публики и критики. Сегодня ему на смену пришла «разноголосица» публицистического «хора».

Между тем подлинно глубокая мысль, которой дышит и живет проза Лидии Гинзбург, рассчитана на соответствующую работу мысли одинокого читателя, не поддающегося коллективному психозу. «Где мысль одна плывет в небесной чистоте» — таким рисовал себе заgrabное блаженство наш первый поэт, условием всякой настоящей прозы считавший прежде всего наличие мысли. В этом мире все, даже любовь, даже «праведный гнев», может быть подделано, мы знаем немало примеров такого притворства, и только мысль невозможно скопировать, создать по готовому образцу.

Итак, исследователь литературы, мемуарист, эссеист, прозаик... Но такой взгляд на одного автора возводит перегородки между его занятиями, в то время как под всеми этими жанрами здесь течет «одна на всех подспудная река»: они объединены не только личностью автора, но и познаны в одно время, продиктованы общим отношением к жизни, одним и тем же способом ее осмысления.

Лидия Гинзбург, как мне однажды уже пришлось об этом писать, создала «новый роман», не тот новый французский роман, что имитировал поток жизни, с его грубой клочковатостью, разорванным сознанием, а то и полным его отсутствием, наивно оформленный графически в виде отказа от абзацев и пунктуации, а подлинный «новый

роман», запущенный в работу могучим интеллектом, действовавшим сразу в нескольких направлениях.

Романом эту разножанровую общность хочется назвать еще потому, что, кроме аналитической мысли, одинаково ведущей себя и в статье, и в эссе, и в повествовании, мысли, описывающей петли вокруг предмета, все туже сходящейся на нем на манер морского каната, обвивающего чугунную тумбу на причале, — кроме этого общего для всех вещей проявления интеллектуальной силы, повсюду действует новый человек в новых обстоятельствах: советский (никогда прежде не встречавшийся) человек в советских (никогда прежде не встречавшихся) обстоятельствах. Мысль при этом, как сможет убедиться читатель предлагаемой публикации, необычайно конкретна, вырастает на почве почти подножного, ежедневного, случайного корма — и набирает экзистенциальную силу.

Неслыханный трагический опыт, который не могли предсказать за несколько лет до его появления ни Толстой, ни Чехов, запечатлен здесь в ошеломительной полноте. Вот свобода, обретенная едва ли не из рабского угнетения и бесправия. Свобода — это, оказывается, еще и способность осознать свое положение, использовать его в познавательных, интеллектуальных целях.

Одна из самых драгоценных частей этого интеллектуального романа, которому суждено пережить многие громкие произведения нашего века, — книга «Человек за письменным столом», вышедшая в 1989 году. Половину книги составляют эссе и записные книжки, которые Лидия Гинзбург вела всю жизнь. Помню, как еще в 60-е годы москвичка Г. Муравьева и я перепечатывали для Лидии Яковлевны многое из того, что затем вошло в эту книгу. Многие, но не все. Кое-что осталось перепечатанным, но не опубликованным; кое-что при деятельном участии Н. Кононова увидело свет в книге «Претворение опыта», вышедшей уже после смерти автора в рижском издательстве «Авотс» (до Москвы книга, кажется, так и не дошла, обращаю на это внимание заинтересованного читателя); кое-что до настоящего момента не было перенесено даже в машинописный текст.

В публикацию, предлагаемую здесь читателю, вошли записи Л. Гинзбург 1925—1933 годов, извлеченные мной из ее тетрадей тех лет, пожелтевших от времени общих тетрадей и блокнотов в линейку и клеточку, продукции ленинградской фабрики «Светоч», к 30-м годам получившей имя Бубнова и затем утратившей его, — кто из нас не писал в таких тетрадях и в 40-е и в 50-е, вплоть до сегодняшнего дня.

Тот, кто читал основной свод записей 20—30-х и более поздних годов в книге «Человек за письменным столом», легко представит себе место ныне публикуемых записок в общем контексте; тому, кто впервые знакомится с ними, придется смириться с некоторой их отрывистостью, бессвязностью: то, что он примет за зияния, на самом деле давно заполнено напечатанной ранее большей частью текста.

Почему Л. Гинзбург не включила публикуемые ныне записи в книгу 1989 года? Ознакомившись с ними, читатель легко поймет основную причину: некоторые острые характеристики своих современников, в том числе и высоко чтимых ею, она не хотела при своей жизни выносить на всеобщее обозрение. Это прежде всего относится к мэтрам, учителям, Тынянову, Эйхенбауму, Шкловскому, отношения с которыми были не такими ровными, как это иногда представляется по прошествии нескольких десятков лет. Они и не могли быть ровными, абсолютно благополучными: и наука и литература делаются живыми, страстными, самолюбивыми людьми. Чем талантливей ученик, тем выше его требования к учителям, тем горше расхождения и разочарования. Чем сильней любовь и человеческая привязанность, тем она требовательней и конфликтней. Да и время, особенно такое мучительное и жестокое, как наше, история, отбившаяся от рук, разводят действующих лиц в разные стороны, принимают самое горячее участие в принципиальных ссорах и досадных недоразумениях.

Читатель не должен упускать из виду, что записи эти сделаны совсем молодым человеком: в 1925 году автору было двадцать три года. Тем удивительней острота мыслей, глубина характеристик, точность слова. Знали бы учителя, какой самостоятельный и зоркий взгляд следит за ними, какой безошибочный диагноз ставится происходящему, как достоверно и вещественно оседает на страницах в этих общих тетрадках время! Недаром творческий путь Лидии Гинзбург начинался с публикации записных книжек П. А. Вяземского, не случайно другими, еще более сильными учителями, чем корифеи ОПОЯЗа, были для нее великие французские мыслители и эссеисты — Монтень, Паскаль, Ларошфуко; здесь же следует назвать знаменитого мемуариста эпохи Людовика XIV герцога Сен-Симона. Наконец, Руссо, Толстой и Пруст, главные герои ее книги «О психологической прозе», не могли не появляться на ее собственном психологическом методе, помогавший разобраться и в себе, и в тех, кто был рядом.

Публикуемые дневниковые записи не были помещены в основной корпус еще потому, что некоторые высказывания о творчестве Фета, Достоевского и даже Пушкина требовали позднейших поправок и уточнений: наше юношеское понимание литературы претерпевает за прожитые годы значительные перемены. Это относится, например, к записи, посвященной сопоставлению поэм Пушкина и лирики Батюшкова, Баратынского, Тютчева. Понимание поэмы как основного поэтического жанра характерно для начала 20-х годов нашего века. Все стремились написать поэму, даже Пастернак. (Это не относится к Мандельштаму, лучше других, на мой взгляд, осознавшему в те годы роль лирического стихотворения как главного поэтического жанра.) Думаю, что Лидия Яковлевна не случайно не включила эту запись в прижизненные издания — поздняя пушкинская лирика теперь ценилась ею ничуть не меньше, если не больше, чем стихи Батюшкова, Баратынского, Тютчева... В то же время любопытно, что одну из причин гибели Пушкина она усматривала в его творческом кризисе. На мой вопрос, можно ли считать кризисом 1835—1836 годы, в которые были созданы такие стихи, как «Полководец», «...Вновь я посетил...», «Не дорого ценю я громкие права...», «Отцы пустыньники и жены непорочны...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», она отвечала, что для Пушкина понимание поэтической удачи связано прежде всего с созданием поэмы.

Могу засвидетельствовать также что в 60-е годы Лидия Яковлевна восхищалась стихами Фета. Помню, с каким изумлением она вспоминала его поздние любовные стихи, например, такие: «Ах, как пахнуло весной!.. Это наверно ты!..» Ее юношеское, нескольконисходящее отношение к поэту характерно для вкусов литературной молодежи 20-х годов, воспитанной на Маяковском и Хлебникове, и остается, мне кажется, ценным свидетельством предпочтений и пристрастий той эпохи.

Мы имеем дело не только с замечательным литературным текстом, но с уникальным документом того времени, это обстоятельство также руководило мною при подборе данных записей, не позволяя опускать имена и «опасные» высказывания.

Приношу свою благодарность К. А. Кумпан и А. М. Конечному, помогавшим мне подготовить текст к печати.

<1925 — 1926>

Теперь еще обо мне (впрочем, не без Чуковского), когда рецензия была наконец принята¹, он сказал мне на прощание: «Главное, не будьте такой умной; я вам советую поглубже немножко».

Вениамин Каверин, выслушав мой отзыв о «Городах и годах»², сказал мне: «Вы слишком честно работаете — так нельзя!»

Привожу эти отзывы отнюдь не из кокетства — все это подлинные недостатки для литератора, а может быть, и для ученого — особенно наивная честность (которой я страдаю). Пожалуй, честная семинарская работа еще допустима. Но во всякой готовой вещи, в особенности в статье, должна быть некая недобросовестная пружина, иначе не выйдет конструкции.

Жирмунский — честный человек, но на то он и классификатор. (Тынянов — мошенник.)

Как хорошо, что жизнь выбрасывает готовые жемчуга нелепостей. Курьез действителен, как поэма. Житейская нелепость — это конструкция, в которой идеально осуществляются требования столкновения факторов, смыслового сдвига и проч.

Подбирая такую штуку, каждый раз испытываешь отчетливое и острое психическое удовлетворение, доходящее до сладострастия:

Борис Михайлович торговался с Ангертом (одним из первых людей в Ленгизе) по поводу гонорара за «Лермонтова»³: «Позвольте, почему вы мне предлагаете 60 рублей за лист, когда мне доподлинно известно, что вы только что платили Томашевскому по 65?» Ангерт: «Так ведь у Томашевского теория всей литературы⁴, а у вас один Лермонтов».

В трамвае кондуктор говорит особе женского пола традиционную фразу: «Куда вы прете?» Особа женского пола: «Это вы, может быть, прете, а дама никогда не может переть!»

(из собственных наблюдений)

В «Театре Сатиры», в фойе сидит графолог, определяющий по почерку характер и наклонности.

Главная портниха театра неграмотна. Она подходит к одной из актрис и тихо (чтоб не услышал графолог) просит ее: «Напишите за меня записочку, а я дам определить мой характер».

Еще анекдот из жизни Шкловского — рассказал мне его Голиат со слов Евг. Замятина.

В свое время Шкловский был на примете у ГПУ. Ему очень надоело мотаться спасаясь от преследований. В один прекрасный день он поймал Т.⁵ и попросил его дать ему что-нибудь, с чем он мог бы ходить спокойно. И Т. будто бы дал ему бумажку: «Такой-то арестован мною и никаким арестам больше не подлежит»

Шкловский сам рассказывал мне о том, как ему удалось добиться разрешения на въезд в Россию. Он послал ВЦИКу 12 экземпляров «Писем не о любви» со знаменитым последним письмом. — «Раз в жизни им во ВЦИКе стало весело, и они меня впустили обратно»⁶.

Шкловский — человек, обладающий несомненно дефектным мыслительным аппаратом.

Из своего умственного заикания он создал жанр статьи о литературе

Говорили о массовой смертности стариков-ученых за последнее время (только что Н. Котляревский⁷). Я сказала: Вот если бы Виктор Максимович был лет на 30 постарше, его следовало бы избрать в академики.

Тынянов: Да, его следовало бы избрать, потому что все академики умерли — и он тоже умер.

Тогда же Тынянов говорил о «Метрике» Жирмунского⁸: «Он хорошо сделал, что написал эту книгу. Теперь можно вместе с ним выбросить за окно и всю метрику».

Сплетня кончается, и начинается пейзаж:

Чудесной ночью мы шли вчетвером по Фонтанке.

Тынянов шел без пальто, с кепкой в руках, курчавым еврейским мальчиком (он, впрочем, похож и на Пушкина) и со своей немного обезьяньей жестикуляцией и с прекрасным, простым пафосом умного человека говорил:

«Шкловский прежде всего монтер, механик...»

«И шофер», — подсказал кто-то из нас.

«Да, и шофер. Он верит в конструкцию. Он думает, что знает, как сделан автомобиль. А я, если хотите, детерминист. Я чувствую, как нечто черептескивается через меня. Я чувствую, что меня делает история»⁹.

* * *

Мой читательский вкус так повернут, что я от души желаю, чтобы «легкая литература» оказалась увертюрой к заново остранинному психологизму.

Женская любовь без взаимности, мужское равнодушие — это нечто, оскорбляющее вкус и нравственное чувство, какая-то трагическая невежливость.

NN говорит: «Любовь — не женское дело; если хотите, не женского ума дело».

* * *

Рассказывают, что Гумилев говорил про Нельдихена: Вот человек, который воплощает в жизнь пушкинскую сентенцию: «Поэзия должна быть глуповата»¹⁰.

Вчера разговор с Бернштейном¹¹:

— Одна из моих слушательниц приходит ко мне и говорит: Я прочитала в одном научном труде, что произнесение гласных требует большего напряжения голосовых связок, чем произнесение согласных.

А я ей ответил: «Этого вы ни в одном научном труде прочитать не могли, а могли прочитать только в книге Бориса Михайловича об Анне Ахматовой»¹².

Во время войны Ирина Карнаухова¹³ работала в госпитале. Она выходила какого-то солдата, который очень к ней привязался. Когда он выписывался, она велела ему известить ее о благополучном приезде домой.

Через некоторое время Ирина получила из деревни следующую телеграмму: «Приехал благополучно. Гуляю с девками. Пишите немедленно».

Современная русская проза вся проникнута мерзостным духом дилетантизма.

Исключение составляет, может быть, Замятин. Но, во-первых, он не большой писатель, во-вторых, он не дилетант главным образом потому, что подражает Лескову¹⁴.

Я умышленно говорю о дилетантизме, не о халтуре. Халтура сознательна. Это недобросовестное применение искусства к целям наживы.

Следовательно, если остается место и для добросовестного, то дело обстоит небезнадежно. (Хотя затяжная халтура обычно вконец развращает и опустошает талантливых людей — Ал. Толстой; к несчастью, кажется, и Шкловский¹⁵.)

То же, что происходит сейчас в русской прозе (только в прозе: стихи Пастернака, поэмы Тихонова — это работа, которая не постыдится никаких предшественников¹⁶), происходит, к несчастью, не по нехотению, но по неумению.

«Как смеее вы называться поэтом?»¹⁷ (т. е. прозаиком)

Чем они пишут, эти люди без языка, без стили, без характеров, без фантазии!

Они, в сущности, простодушные мальчишки, хотя воображают, что *мудры как змии*, потому что теоретики натаскали их на несколько никому не нужных «стернианских» трюков¹⁸.

Что они понимают в таких вещах, как работа Толстого в архивах, как записные книжки Гонкуров, как авторские штудии, длившиеся годами, как упорное накопление внелитературного материала, которым одевается всякий роман, как размах большой формы — как книга, которая пишется 10 лет!

Если мне скажут на это: писатели хотят есть, я отвечу: знаю, я тоже хочу есть. Так вот надо по дороге служить, халтурить, даже не халтурить, а давать мелочи, это не может помешать настоящему писателю делать хотя бы одно настоящее дело — дело жизни.

Эренбург (ныне уже литературно покойный) являлся в свое время не то символом, не то карикатурой этого дилетантского духа. Эренбург, не знающий русской грамоты¹⁹, спутавший Диккенса с Виктором Гюго, показавший образец стилистической отряпчивости²⁰.

Зато в «Комитете по изучению новейшей русской литературы» он совершенно непринужденно рассуждал о сюжете, о герое, об обнажении и говорил:

«Да, конечно, «Жанна Ней» — мелодрама, но в мое авторское задание и входило написать мелодраму. Понимаете ли — примитив!»²¹

Ах, сукин сын!

Вот я прочла этого «Cogydon», Paris, 1924²². Размах хоть куда! — «quatre dialogues socratiques»* с цитатами из Дарвина; все quatre посвящены не только сексуальным, но даже гомосексуальным вопросам.

Доказывается, что гомосексуалистов вовсе не нужно сажать за решетку.

Но основная-то пошлость не столько в цели доказательства, сколько в средствах.

Налицо оба пресловутых пункта: а) гомосексуальность — естественна, б) гомосексуальность — высшая форма сексуальности.

Что автор фактически зарвался, это ясно и для читателя, которому недоступна критика его биологических доводов; тут достаточно двух-трех законов логики и малой толики здравого смысла.

Но возмутительно не это — возмутителен принцип: для того, чтобы оправдать явление, требуется доказать, что оно естественно; для того, чтобы доказать, что оно естественно, требуется отыскать его в мире животных.

Лесбийская любовь оправдывается тем, что ею занимаются собаки.

Лично меня такая постановка вопроса нисколько не шокирует, и я менее всего сочувствую американцам, присудившим к штрафу учителя, который излагал в школе теорию происхождения человека от обезьяны.

Но я спросила бы Андроэ Жида, — ну а если бы спасительные собаки ограничились бы благосклонностью своих сук, что тогда?

По-видимому, тогда гомосексуалисты все-таки не миновали бы решетки...

Естественность — это едва ли не самое пустое из всех слов, придуманных лицемерами.

* Четыре сократических диалога (франц.). — Ред.

В сущности, все хорошие вещи не естественны: искусство не естественно, умываться не естественно, не естественно есть вилкой и сморкаться в платок, не естественно уступить место женщине с ребенком,— паровоз и диного-машина противоестественны до последней степени...

Нужно ли уничтожить ватерклозеты, потому что собаки гадят на улице?

Толстой хотел осудить земную любовь и начал «Крейцерову сонату» доказательствами того, что половой акт не естествен. («Есть естественно и потому с самого начала легко и не стыдно» — цитирую по памяти²³.)

Это провал. Остается непонятным, как человек гениального разрушительного размаха мог унизиться до этого не существующего мерила, которым измеряют неизвестные величины. Потому что вещи познаются сравнением, предмет которого в данном случае начисто отсутствует,— ведь не в собачьем же как-никак обиходе искать границы человеческого поведения.

Толстой осуждал. Жид и иже с ним поступают хуже: они покушаются с негодными средствами оправдывать вещи, не нуждающиеся в оправдании. И что смешнее всего, они уверены, что нашли «вопрос»; а вопрос никак не может существовать без того, чтобы на него не отвечали.

А я вот не могу видеть ничего другого, кроме факта, которому я не отвечаю, потому что он меня не спрашивает.

Факт же заключается в следующем: в плане *отдельного человека* однополая любовь является прежде всего частным делом отдельного человека, буде она не становится уголовным делом (от чего и никакая другая любовь не застрахована).

В плане биологическом и социальном гомосексуальность, конечно, вредна по тому самому, что она бесполезна (кто не за нас, тот против нас!).

Только 17-летним ребятам, дуракам и злостным идеалистам позволено рассуждать о высшей форме эротической связи, возводить мужское содружество в факт социальной важности и ссылаться на античность^{*}.

Речь ведь идет не о создании утопических проектов, а о прояснении существующего положения вещей.

Итак, гомосексуалисты социально вредны, но, в сущности, ничуть не вреднее холостяков, старых дев и даже женщин, не желающих рожать детей.

Общество (культурное) фактически всегда мирилось и будет мириться с тем, что какая-то часть его отказывается трудиться над его долговечностью.

Словом, гомосексуальность вроде как сифилис — «не позор, а несчастье».

Для иных людей, впрочем, и не несчастье. К таковым обычно принадлежат либо очень резко выраженные гомосексуалисты, либо, напротив, просто «балующиеся».

У Жида, по обыкновению, почти не затронут вопрос о женском извращении, оно, вероятно, не удовлетворяет его требованию высшей эротики (Платон!).

А между тем если в каких-нибудь формах гомосексуальности искать «повышения», по сравнению с нормальным чувством, то в первую очередь здесь.

(Еще Вейнингер в своей неповторимой, вдохновенной, не выдерживающей никакой критики книге очень тонко учел это²⁴.)

Плохо ли, хорошо ли, но несомненно, что до сих пор женщина в своем умственном росте равняется на мужчину.

И вот иногда доравнивается до непреодолимой не столько физической, сколько психической потребности в мужской любви, единственно ценной, полной, литературной.

И тут же такое же «психофизическое» отвращение к своей естественной роли. Впрочем, это не обязательно.

Пушкин любил повторять изречение Шатобриана: «Il n'y a du bonheur que dans les voies communes»^{** 25}.

Х. говорил когда-то: Знаете, почему я вам верю? Потому что вы ни разу не передали мне никакого чужого секрета с прибавлением: только дайте мне честное слово, что об этом ни одна душа больше не узнает.

Кто обманул однажды, обманет дважды; кто выдает нам другого, тот выдаст нас другому. Истина, очевидная для детей и скрытая от взрослых и самонадеянностью, и легкомыслием.

^{*} Вот кому бы преподавать немного социологии для уразумения разницы между Афинской и Французской республикой.

^{**} Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (*франц.*). — *Ред.*

Кто умеет хранить тайну, как двенадцатилетний мальчик, который еще не привык сплетничать о себе самом?

Формалисты обвиняют Виноградова в том, что он их сперва использует, а потом хает, или наоборот, но хает всегда²⁶.

Сегодня на лекции он говорил об обилии иностранных заимствований в русском языке²⁷:

«Стоит вам прислушаться к разговорам на улице, чтобы услышать множество иностранных слов, даже из уст людей необразованных... Я уж не упоминаю о тех, кто занимается формальными исследованиями истории литературы, те говорят одними иностранными словами».

29.XII.

Есенин повесился. Очень все это скверно. И сквернее всего то, что вот уже выползает готовенькая, как отпечатанная, «легенда о писателе».

С этим ничего не поделать; я по себе знаю: у меня каждый самоубийца ходит в ореоле.

Я, вероятно, теперь никогда не смогу читать без какого-то волнения его стихи, которые я не люблю.

Я испытываю к самоубийству, нет, к самоубийцам, — род подобострастия.

И странное дело — мне никогда их не жаль. Для меня смерть — такая непонятная и ужасающая вещь, что я, если смею так сказать, — завидую людям, которые поняли ее до такой точки, что отважились ее себе причинить.

Когда человек умирает от болезни или его задавит, например, трамвай, то об этом, конечно, не думаешь, но если случайно начать думать, то думать очень больно: вот человек был жив, существовал — и вдруг перестал существовать против своей воли.

Представляешь себе этот жалостный момент насильственного перехода.

А у самоубийц это не выходит жалостно: разве что — у самоубийц сдуру, но таких мало.

Они избавляют себя от того неизбежного для всех нас ужасающего момента, когда мы будем хотеть жить — и будем умирать²⁸.

Почему-то теперь, когда человек вешается (особенно такой), то кажется, что он это сделал нарочно, для вящего безобразия и чуть ли не из литературных соображений.

Это все, кажется, пошло от Ставрогина.

Шкловский говорил о «Кюхле»: «Это книга, которую можно читать».

Сейчас завелось хорошее слово: читабельный.

Из разговоров с Тыняновым:

Я жалуюсь ему на то, что в своей работе невозможно вырваться из-под его точек зрения. Что это часто — очень мучительно.

Тынянов: А вы не обращайтесь на меня внимания.

Я: Невозможно.

Т: Вот мы в университете страдали от другого. Мы страдали от того, что наши учителя ничего не понимали. Решительно ничего²⁹.

Я: А мы страдаем от того, что учителя понимают слишком много...

Т: Да. Это тоже нехорошо.

Бернштейн, когда не бывает глуп, — бывает умен. Не так давно он, сменив гнев на милость, расспрашивал меня о работе.

«Знаете. Сергей Игн., я имела несчастье поговорить о своей работе с Юрием Николаевичем в течение получаса; и теперь не знаю, с какого конца начинать».

«Да. Этого никогда не следует делать... А впрочем... Года четыре назад, когда Ю. Н. не был еще гениален, он мне давал очень и очень дельные советы».

Что за непорядочное, в сущности, занятие. Подумать только! Если бы я по оплошности (разумеется, непростительной) оставила свою «Записную книжку» на одном из столов одной из комнат, в которых происходят ученые собрания членов Гос. Инст. Ист. Иск., — скольких добрых людей могло бы перессорить это обстоятельство.

Впрочем, я могу сослаться на величественные примеры Вяземского и Пушкина³⁰. Кроме того, все добрые люди и без того перессорились.

У меня есть нравственная система, но она складывается не столько принципами, сколько предрассудками.

Принцип — это такое представление о должностовании, обязательность или разумность которого его обладатель может объяснить хотя бы субъективным образом.

Предрассудок, напротив того, всегда заимствуется из готовых систем нравственности и объяснен быть не может, что, однако, нисколько не уменьшает момент *принудительности*.

По своим этическим вкусам (именно вкусам, а не теориям и не поступкам) я очень близка к канонической морали, к нормам здравого смысла и порядочности.

И все это не более как привычка чувств и предрассудок мысли, потому что никакая телеология добра (безразлично: религиозная, философская социальная, индивидуальная) не может быть мной усвоена.

Один из моих ни на чем не основанных предрассудков: мне неприятен разврат. Разврат есть, собственно, род обнажения приема (без всякого скверного каламбура), разврат — это наслаждение, лишенное мотивировки.

Бессмысленно называть проститутку развратной женщиной — в проституции мотивировка (т. е. деньги) как раз выдвинута на первый план.

Когда женщина живет с любовником (одним), то у нее есть мотивировка любовью или хотя бы только *выбором*, т. е. именно тем, что он *один*.

Когда женщина живет с мужем, то у нее есть мотивировка семьей.

Когда женщина начинает жить с разными людьми одновременно (притом не будучи проституткой, т. е. не зарабатывая на этом), то подыскать мотивировку становится затруднительным — и начинается разврат (т. е. один из видов разврата).

Я говорю о женщинах, потому что на женщинах всегда все заметнее.

Развратный мужчина может быть в то же время честным, умным, приятным человеком. Средняя женщина в разврате почти всегда психически гибнет.

У нее все написано на лбу, и постепенно ее всю заполняет гнусность; гнусность слов, мыслей, поступков, гнусность всего жизневосприятия.

Мне удалось встретить удивительную женщину. Ее нельзя назвать иначе как развратной (по отсутствию всяких границ и задерживающих моментов, которые ее отличают); и при этом, как она сама говорит, к ней «ничто не липнет», т. е. у нее нет чувства, что *она* делает те вещи, которые она делает; один час ее жизни не отвечает за другую.

Вяземский писал: «Я никогда не чуждался разврата и развратных, но разврат чуждался меня» — это то самое.

Умирающий в нищете и страданиях сифилитик представляет собой явление менее антисоциальное, нежели цветущий и довольный судьбою жуир, который, пресытившись развратом, превращается в доброго семьянина.

Женщина, о которой я говорю, тоже своего рода общественный соблазн; показательный пример для пропаганды разврата; доказательство того, что предаваться ему можно безнаказанно.

В ней нет ни одного оттенка гнусности. Воспитание дало ей безукоризненную выдержанность манер, за которой разве самый опытный глаз угадает темперамент (я знаю очень и очень опытных людей, которые кардинально ошибались).

Ее ум не утратил свободы; чувства не огрубели, нравственные представления (за исключением одной области) не спутались.

Чувство юмора уберегло ее от цинизма, потому что для цинизма нужна всегда доля тупой серьезности — ирония столь же несовместима с цинизмом, как и с ханжеством.

Все дело в том, что для нее это подлинная ценность, дело жизни, а не трепание, не препровождение времени.

(Припоминается мне по этому поводу mot Фелисы Максимовны. Она говорит, что многие барышни целуются потому, что иначе не умеют разговаривать с мужчинами.)

В разврате у нее очень много простоты и прямоты (даже до наивности) и ни малейшего подхихикиванья.

Можно слушать похабные анекдоты как чистую словесную игру. Похабщина заостряет смысловые сдвиги.

Но есть люди, которые рассказывают анекдоты так, что они становятся представимыми — тогда мне становится физически скверно.

Люди — вроде анекдотов; я не терплю людей, которые представимы в их интимной жизни, даже когда они молчат о ней.

Я предпочитаю женщину, которая рассказывает о том, как она спит со своим любовником, но рассказывает так, что вы не слышите ничего, кроме слов.

Фет.

Какой нехороший поэт — Фет!

У него есть стихотворение о четырех анафорах. Причем каждая строка начинается со слова: «Бриллианты»³¹. Ведь это же скандал!

Разве можно такие скверные слова употреблять с таким жаром — и простодушием? И потом Фет — «Это все — весна!»³².

А если все весна, то, значит, нет весны.

(Я перефразирую Тынянова, который говорил об одном романе — кажется, Лидина, — в котором все вещи стеклянные, — «Ну стекло, и еще стекло. Вы понимаете — если все стекло, значит, нет стекла»³³.)

Тургенев очень остро говорил о Фете, которого он, в общем, любил, что его стихи могут дать какие угодно впечатления, но никак не могут ни возбудить, ни растрогать³⁴.

У Фета, при абсолютной банальности словаря, полное отсутствие вульгарности. Он убийственно, иссушающе эстетичен. Когда я читаю Фета, меня всегда мучает подозрение, что он употреблял свои «хорошие слова»* (Шкловский³⁵) не для уловления чувства, а прямехонько для упражнения слога.

Фет был, конечно, настоящим и замечательным поэтом (но плохим, плохим...); вероятно, поэтому он сумел написать ту удивительную строфу, которую как бы присвоил себе Блок, связал со своим именем:

«Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной»³⁶.

И еще одну прекрасную строфу я знаю у него:

«Я верить не хочу! Когда в степи как диво,
В полночной темноте безвременно горя,
Вдали перед тобой прозрачно и красиво
Вставала вдруг заря...»³⁷

«Безвременно горя» — совершенно не по-фетовски и достойно Тютчева. Здесь обаятельная неловкость сочетания рождает слово. (Неловкость, п. ч. обычно *безременно* употребляется в смысле *преждевременно* — безвременне скончался, — здесь же оно употреблено в смысле несвоевременно.)

Мне непонятны стихи без рифм и поэзия без слов (это питавшее нас молоко акмеизма).

Один Блок умел писать без слов так, что никаких слов не надо было. — Но он один!

Лиля Юрьевна с ужасом вспоминала о том, как они жили втроем в одной комнате. Они повесили на дверях объявление: «Брики никого не принимают»; но комната была во втором этаже на Мясницкой — все люди проходили мимо, и все заходили завтракать, обедать и ужинать.

Маяковский: По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом — прямо церковь. Туда хоть днем не ходят. А к нам — целый день; и все бесплатно.

Когда Маяковскому на каком-то собрании литераторов представили Безыменского, он ему громко сказал: «Вы бы, Безыменский, остриглись, а то вы на поэта похожи».

Маяковский нежно любит Пастернака, а о Мандельштаме говорит с презрением...

* Звезды, розы, соловьи.

Типот³⁸ назвал Л. Ю. Брик «великосоветской львицей»

Мы с Бухштабом³⁹ как-то раз широко использовали один из тыняновских припадков человеконенавистничества.

Мы провожали его, и от Исаакиевской пл. до Греческого просп. он рассказал нам множество скверностей о литературных людях живых и мертвых.

В частности, достопримечательная история о Достоевском, которую Ю. Н. знает от Кони.

Достоевский якобы явился к Тургеневу, когда они были уже в самых дурных отношениях, и рассказал ему о себе самом ставрогинскую историю (растление девочки).

Тургенев вскочил и закричал: «Как вы смеете приходить ко мне с вашими мерзостями! Убирайтесь вон!»

На это Дост<оевский> объяснил, что он был у своего старца и тот приказал ему пойти к его злейшему врагу и сознаться во всем...— «так вот — я и пришел к вам».

Историю эту Кони слышал от И. С. Тургенева.

«Представляете себе,— говорил нам Тынянов с восторгом,— как Тургенев тонким голосом кричит на Достоевского».

И как это замечательно характерно: Тургеневу больше всего не понравилось то, что Дост<оевский> к *нему* обратился со своими мерзостями⁴⁰.

Достоевский большой писатель, и *интересный* писатель. Но его метод — «достоевщина» — сводится к утомительно-однообразному и раздражающе-элементарному рецепту.

Эту рецептуру персонажей вскрывал Тынянов: проститутка-святая, убийца-герой, следователь-мыслитель и проч.⁴¹

К этому можно прибавлять без конца: если бретера Ставрогина бьют по лицу, то бретер Ставрогин прячет руки за спину; если Дмитрий Карамазов подловат⁴², то святой старец кланяется ему в ноги. Если человек идиот, то он умнее всех, и проч.

Схема не менее прозрачная и твердая, чем фабульная схема рассказов О'Генри. Обратное общее место писательской техники.

И эта техника — не интересна.

Достоевск<ого> как писателя, особенно как писателя характеров, загубила серьезность.

Он как никто другой лишен иронии; иронии в шлегелевском смысле, т. е. «превышения» своего материала.

Ставрогин чрезвычайно импонирует Достоевскому. . вроде того как старым романистам «не из хорошего общества» импонировали изображаемые ими графини.

О Ставрогине хорошо говорит Юрий Ник. Он говорит, что Ставрогин — это игра на пустом месте. Все герои «Бесов» ходят и говорят: «Ставрогин! О, Ставрогин! — это нечто замечательное!» И так до самого конца; и до самого конца — больше ничего.

Достоевщина как явление моральное и идейное мне в высокой степени противна. не потому, что чужда, но потому, что в какой-то мере свойственна.

Т. е. мне свойственно неумное и нечестное довольство собственной кривизной, *уклонкой* (слово Бенедиктова) от честной нормы. Эти уклонки, не процензурованные иронией, никогда не обеспечены от *смешного*. Достаточно, чтобы пришел человек, не достоевского, а толстовского склада (т. е. максимально свободный, ироничный и умственно честный), и разложил, и *остранил* их здравым смыслом; не вульгарным «здравым смыслом», а честным человеческим смыслом.

У меня весьма умеренно развито моральное чувство, но я помню то отвращение и оскорбление, с которым я читала «Исповедь Ставрогина», т. е. все, начиная с того места, как старец вместо того, чтобы плюнуть в лицо подлецу, изнасиловавшему и убившему ребенка, начинает все эти разговоры. Это парадокс дурного тона, литературного и нравственного.

Гумилеву приписывают слова: «У меня будет хорошая смерть; я умру в своих эпигонах».

У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских.

Даже еврейский национализм, разбитый революцией в лице сионистов и еврейских меньшевиков, начинает теперь возрождаться политикой нацменьшинств.

Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия — слово, не одобренное цензурой, о ней всегда нужно помнить, что она РСФСР.

Это имеет свой хоть и не логический, но исторический смысл: великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм), но это жестоко оскорбляет нас в нашей преданности русской культуре.

*Диспут*⁴³.

Очень трудно припомнить связь и смысл событий. Припоминается: темно-зеленого цвета Горбачев⁴⁴, с головой, уже совсем лежащей на плечах (без всяких признаков шеи); мучительное спокойствие Бума⁴⁵ (был момент, когда Борис Михайлович, стоя на авансцене, тихонько покачивал стул, на который он опирался, когда просто хотелось заплакать); мелодраматическая палка Тынянова; гримасничающий на кафедре Державин⁴⁶, высокая истерика Шкловского, который, краснея лысиной с ошестинившимся черным бантиком, говорил: «В антракте мне сказали, что я постарел... Все мы стареем... Но, товарищи, обидно стареть из-за дряни...» В интонации Шкловского была подлинная скорбь; у него начинался припадок.

Тогда я поняла восторг стадности; восторг ощутить себя нулем, толпой, приветствующей вождя и великого человека. Тогда как раз было время наихудших отношений с мэтрами, худших, чем сейчас, если это возможно, но тогда мы все испытали прилив верноподданнических чувств и слепого, злого ура-патриотизма, который радуется собственной злобе и несправедливости. (В качестве отпрыска интеллигентской еврейской семьи я, конечно, никогда не испытывала монархических чувств, но думаю, что это нечто психологически подобное.)

Что касается Т., то я нахожусь в состоянии перманентного раздражения; до такой степени, что мне трудно говорить с ним, читать его роман⁴⁷ и проч. Но тогда он был герой, символ, а главное вождь, старшой, а я червь!

Еще до начала «настоящего» скандала, во время речи Горбачева, Чуковский бормотал: «Совсем как при кулачном бое... гадаешь — даст ему наш или не даст? Видите... улыбается, значит, знает, как дать» (речь шла о Шкловском).

А состояние было у нас ни на что не похожее. Это одно из тех состояний измененного, не своего сознания (как в опьянении, в жару, спросонья), которое нужно только уметь направить. В таких состояниях обыкновенные люди вдруг идут на улицу делать революцию, а иногда просто бьют морды.

Выяснилось, что в каждом формалисте заложен хулиган и что скандал освежает душу. (Кстати, о хулиганстве: один из горбачевских молодых, посаженных им на эстраду, крикнул Шкловскому: «Чубаровец!»⁴⁸ — после чего Тынянов бросился на него с поднятой палкой, но был остановлен окружающими.) Когда я рассказала Томашевскому свою историю с Комаровичем⁴⁹, он ответил очень одобрительно: «Ничего, это старая добрая опоязовская традиция — начинать со скандала». Я вспомнила это на диспуте: у всех было неясное, но твердое ощущение традиционности происходящего; все помолодели и вспомнили молодость, — у кого не было своей — чужую. Вообще господствовали атавистические инстинкты, причем мы оказались носителями очень сборного наследия: озорство старого Опояза и молодого футуризма, полулитературные реминисценции студенческих «буршеских» нравов, а м. б., российская склонность решать принципиальные вопросы вечным образом (это мысль Гуковского⁵⁰).

А главное — в течение трех часов «пожили». Как сказал мне Гуковский, когда мы измученные, как после тяжелой физической работы, выходили в третьем часу ночи из ТЮЗа: «Знаете, что хорошо: мы все время говорим о пустяках; наконец-то сегодня, один вечер, мы занимались наукой».

Самое основное для психологии скандала и, вероятно, самое в скандале соблазнительное — это торжество субъективизма; претензии доказуемой истины и здравого смысла становятся явно наивными. Важно не «прав — не прав», а «наш — не наш». Высшее сладострастие скандалиста — это слушать, как «чужой» старается, и думать: «А ничего, хорошо говорит, правильно, — а вот я ему как засвищу!»

На следующий день формалисты звонили друг другу по телефону и нежно спрашивались о здоровье и самочувствии. В течение трех дней по крайней мере у нас имелась друг для друга совершенно особая улыбка.

28 ноября 1926.

Лучшие русские поэты (старые): Державин, Батюшков, Баратынский, Тютчев... Пушкин — лучший из лучших, но только в поэмах. В лирических стихах Пушкина,

есть гениальность, но нет той высочайшей квалификации, той насыщенной лирической культуры, которая есть у тех. Батюшков, Баратынский... написали по несколько стихотворений, которых Пушкин не мог бы написать. Это нечто меньшего калибра, но высшей марки.

<1927>

7 января 1927.

Вчера, пересматривая эту тетрадь, я думала над странной чертой: самые отстоявшиеся и самые привязчивые мысли не попадают в нее, попадает какая-то периферия.

Есть в этом и лень просто: не хочется возиться с систематизацией «самого главного»; писать же о нем надо непременно ответственно. Но есть и другое: какая-то неловкость и бессознательная (и, конечно, фиктивная) уверенность в том, что это мое и при мне, что этого нельзя потерять, а надо закреплять мимолетающие слова, случаи, ощущения.

Трудно сказать, к чему наши мэтры относятся с большим неуважением: к науке или друг к другу. Первое они доказали неприличной киноманией⁵¹; доказательства второму (печатные и совершенно непечатные) — неисчислимы.

Надоело слушать о том, что Жирмунский — тупица, Виноградов — клептоман, Томашевский — чинovníк, Шкловский — конченный человек. Впрочем, виновата, Шкловский был конченный человек в прошлом году, когда он гостил на Загородном, теперь же он исправился и, вероятно, опять подает надежды.

Не стоило инсценировать богему, шарахаться от традиций, от «профессорства» для того, чтобы заменить все это атмосферой вульгарнейшей склоки, подхихикивания, поплеывания и многосемейного индивидуализма.

У каждой социальной группы должно быть поведение, и предполагалось, что наше поведение будет закашено буйством Шкловского, которое не требует примеров: напором Томашевского, который некогда в Вольфиле⁵², стуча по столу кулаком, кричал в лицо Иванову-Разумнику: «Я ненавижу Разумников и Гершензонов⁵³, они заливали, загубили литературу». — гражданской желчью Эйхенбаума, стоящего лицом к лицу с Бухариным⁵⁴.

А вместо этого к своему десятилетию наша наука не оказалась ни буйной, ни энергичной, ни желчной — она оказалась плохо воспитанной...

В начале своего злополучного выступления в Бумтресте⁵⁵ Гуковский много говорил о том, как исследователь рождает (чуть ли не рождает) исследуемое произведение.

От нечего делать и не предвидя надвигавшегося несчастья, я написала Бор. Мих. записочку: «Борис Михайлович, предлагается переименовать Бумтрест в родильный дом имени Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова».

В конце своего не менее злополучного резюме Б. М. между прочим огласил записку и добавил: «Но если так пойдет дальше, то Бумтрест придется переименовать не в родильный, а в сумасшедший дом, и не имени, а памяти Эйхенбаума и Тынянова».

Если Тынянов сказал какому-нибудь человеку грубость, то Каверин после того этому человеку не кланяется.

В последнее время я иногда чувствую старость. В моем возрасте, т. е. в молодости, старость выражается одним способом... Она выражается в сознании, что то или иное начинать или продолжать поздно.

Это страшноватое ощущение. Иногда оно внушено верным чутьем приличий и боязнь смешного, но иногда оно мнительность.

Недопустимо, когда в 25 лет застаешь себя на мысли о том, что уже поздно начинать учиться (вернее, возобновлять) бегать на коньках — и тому подобное.

«Вазир-Мухтар» написан фокусно. Беда совсем не в этом, а в том, что Тынянов — фокусник, у которого видно, как делается фокус.

Пастернак в «Детстве Люверс», Мандельштам в «Шуме времени» показали, что и в наше время фокусы можно делать чисто.

В театральной среде об актере, который переигрывает, говорят — «хлопочет мордой», это очень обидно.

Недавно я заходила к Тынянову по делу; он прочитал мне несколько отрывков из еще не изданной части романа. Разговор вышел кривой: я попыталась и похвалить и не соврать — затея не осуществимая. Но дело не в моем скверном поведении, а в том, что я вдруг поняла, что он просто не понимает того, что делает, — и все сразу уяснилось.

Он с восторгом говорил мне о том, что всех охаял; ни одного порядочного героя, все ошельмованы. «Каково снижение?» — спрашивал он с веселостью изобретателя.

И этот человек, литературовед почти гениальный, не понимает, что он показывает публике давно заплесневелый фокус, которому название (обратное общее место) придумал еще И. С. Тургенев⁵⁶.

Достаточно посмотреть в Мережковского с его бестолковыми прапорщиками декабристами (в «Ал. I»). обжорливым и льстивым Крыловым, хитрым Жуковским и проч.

В. сказала две вещи правильных:

1) «Вазир-Мухтар» написан, как стихи Пастернака, — строчками: одна строчка — хорошо, другая — плохо и т. д.

2) Там есть шикарные фразы, которые раздражают: они умирали так, как будто бы шли в балет (или вроде того).

Шито белыми нитками.

В самое последнее время метод тщательной выделки отдельной фразы проник в средний литературный обиход. Так пишет каждый сколько-нибудь порядочный писатель. Так пишет сейчас Каверин с его недавно еще совершенно нейтральной, внесловесной речью.

Мэтры создали науку — и не заметили этого⁵⁷ — и, не заметив того, что наука существует, все еще по привычке ждут откровения от людей, которым в худшем случае 25 лет (как мне), а в лучшем 22 (как Боре⁵⁸).

Это неприличная торопливость — извращение, которым страдают науки только гуманитарные и только в России.

Гуманитарные науки суть прежде всего науки ненастоящие, ибо сравнительно безвредные. То есть результаты деятельности бездарного и невежественного литературоведа (будь он хоть сам Авербах⁵⁹) не могут идти в сравнение с результатами деятельности невежественного медика или строителя. Ибо вторые убивают тело, а первые убивают душу, которая и без того не существует. (Замечу в скобках, что все это я пишу не только без всяких проблесков иронии, но напротив того, с самой тупой серьезностью.)

Возвращаюсь к делу: итак, сравнительная безвредность гуманитарных наук является психологическим постулатом того обстоятельства, что в пределах этих наук — молодость и неопытность не служат препятствием для законченной гениальности.

Что касается России, то в России люди быстро изнашиваются. Профессор Кулишер⁶⁰ рассказывал как-то, что в Германии о 50-летнем ученом говорят с оттенком неодобрения: *aber er ist ja noch ein junger Mann*^{*}.

Ни у кого из нас нет уверенности (которая, ну хотя бы в форме допущения, ожидания или надежды, есть у каждого европейца) в том, что мы через 10 лет еще не перестанем существовать, или еще не захотим, по выражению Бориса Михайловича, заставить работать другие клеточки нашего мозга, т. е. не начнем писать романы.

За отсутствием этой уверенности мы спешим; если же мы не спешим, нам говорят, что мы стоим на месте, т. е. идем назад.

Б.⁶¹ хорошо говорит о том, что Бор. Мих. больше всего в жизни боится, как бы время не опередило его.

Этот абсурдный страх внушает ему житейские поступки и научные методы.

Сейчас он тешит себя тем, что ему удалось опередить если не время, то по крайней мере своих учеников.

Я холодею и как-то костенею всякий раз, как мне случается подумать о том, из чего я, собственно, состою.

Система души оказывается совершенно прозрачной — и с страшноватой просто той разлагается на несколько примитивных частей.

* Но он еще совсем молодой человек. — *Ред.*

В настоящее время я живу умом, притом ограниченным в своих возможностях и использованным по профессиональной линии; тщеславием (которое не честолюбие, потому что для него существенно, чтобы люди говорили, но не существенно, о чем люди говорят, о большом или малом); и разного рода привычками от житейской порядочности до кусания ногтей.

Карьеристами принято называть людей, пользующихся непрямыми путями. Между тем я знаю людей безукоризненно честных, которые любят и умеют делать карьеру (Жирмунский, Гуковский).

Никто не бывает в делах чести щепетильнее честного карьериста.

Человек небрежный по отношению к своим земным делам может позволить себе ту или иную этическую неряшливость, но для карьериста всякое лыко в строку.

Как бы ни обстояло дело с моим карьеризмом, но у меня есть желание и намерение прожить жизнь так, чтобы иметь право назвать клеветой всякое обвинение в *непорядочности*. У меня так мало сейчас переживаний этического и вообще не специального характера, что этим я дорожу, как воспоминанием детства, и не расположена с ним расстаться.

В порядке конвергенции⁶² у И. М. Тронского⁶³ и у меня возникла следующая теория:

Если человеку скажут, что он глуп и что он пишет никуда не годные статьи, — то у него нет оснований обижаться, или по крайней мере проявлять свою обиду.

Если же человеку скажут, что он поступил не совсем так, как следует поступать порядочному гражданину, — то он должен, в сущности, бить или вызывать на дуэль.

У нас же, напротив того, в первом случае перестают кланяться, а во втором устраивают товарищеский суд, — т. е. в обоих случаях поступают не по существу дела.

Тынянов явил собой удивительный образец какой-то мелкой гениальности.

Его назовешь (слегка поперхнувшись) — гениальным ученым, но большим ученым его не назовешь никак.

Может быть, разгадка в том, что он вообще не ученый (не по знаниям, а по темпераменту); может быть, этого одного ему не хватило для того, чтобы быть Потембиным?

Пруст — писатель с большим эротическим зарядом, притом совершенно преодолевший порнографию. Очень общо говоря, порнографией оказывается эротика, введенная со «специальной целью».

Оговариваюсь: во-первых, не существенно, была ли действительно у автора внелитературная цель и какая именно, — существенно, как это выглядит в книге.

Во-вторых, писатель может быть «с честными намерениями». Например, с гражданским намерением предостеречь пролетарское студенчество от развратной жизни; или даже с литературным намерением заострить метафору, расширить словарь и проч. (в последнем случае порнография, как и безвкусица, может оказаться положительным историко-литературным фактом).

В «Вазир-Мухтаре» становящаяся уже пресловутой эротическая сцена Грибоедова с Леночкой⁶⁴ — неприятна. Если это похабщина, то сейчас похабщиной литературу не удивишь; если же это просто эротика, то у нас не хватает уверенности в том, что это *не нарочно*; мучительно раздувающаяся метафора и перенапряженная, гипертрофированная интонация — предадут автора.

В свое время Лев Толстой был шокирован описанием в «Une vie» розового тела героини, принимающей ванну. Не стоит подозревать Толстого в литературной жеманности; кроме того, он понимал и любил Мопассана; его раздражила *ненужность* эротической детали.

Читала воспоминания Белого о Блоке⁶⁵.

Из этих людей душа прет. Книга потрясает и внушает зависть (к этому непомерному богатству жизнью) — и вместе с тем нельзя удержаться легкого отвращения. Хорошо, и то не совсем хорошо, а отчасти гадко, если душа прет из Белого—Блока, ну а если из курсистки... тогда как?

Человеку сегодняшнего дня невозможно отделаться от отношения к «душе» как к чему-то не совсем чистому.

Мне вспомнился любопытный разговор с В. М. Жирмунским.

Мы с Гуковским как-то говорили ему о намечающемся среди литературной молодежи повороте к символизму; о том, что нам всем особенно близок становится Блок «третьего тома»

Неожиданно для меня Жирмунский принял это с удивлением и как бы неприязнью. Наконец сказал нехотя: «Нет, Блок — это все-таки что-то стыдное»

Теперь только я поняла это вполне. Хорошо нам: для нас это литература, а для него конкретная психическая действительность, стыдиться которой его научило время, потому что время побеждает даже Жирмунского⁶⁶.

(Эйхенбаума оно никак не может победить, потому что Эйхенбаум бежит впереди и через каждые 10 лет говорит времени: а ну-ка теперь изменись!)⁶⁷

И все-таки нельзя не благоговеть. Дело не в том, что они были большими людьми. Бессмысленно уважать человека за его гениальность, но нельзя не уважать солдата, простреленного на фронте.

Дело в том, что им было свойственно отвечать за слова как за поступки и умирать от одних мыслей (говорят, так погиб Блок).

Мы же поибаем только в тех случаях, когда нам ничего другого не остается — и поэтому у нас нет биографий, как говорит Тынянов (который все хочет и не может «умереть молодым»)

Если бы эти строки попались на глаза Вете⁶⁸, то она, вероятно, сказала бы, что у меня очередной русско-еврейский надрыв.

Между тем это совсем не надрыв, это интерес к настоящим вещам. Существует психологический закон: за каждую вещь должно быть заплачено, в противном случае она рано или поздно окажется недействительной

Нарыв, например, вздорная вещь, но если от него умирает человек, мы перестаем над нарывом смеяться; примерно так же обстоит дело и с надрывом

Я не настаивала бы на этом, если бы у меня лично не имелось нескольких вещей, в большей или меньшей степени портативных, за которые мне удалось расплатиться, — и если бы я не имела возможности эмпирически сравнивать их со всеми другими

Еще о «Вазир-Мухтаре». — Роман скорее истерический, чем исторический.

(Мои каламбур, по-моему, плоский, но Бухштабу понравился — записываю из уважения к нему.)

М /К Тихонова⁶⁹ сказала: он сделал Грибоедова евреем. (Рассказано Ветой)

Э. С. Бухштаб⁷⁰ спрашивала Борю: почему это у Тынянова люди беспрерывно оледнеют, зеленеют и задыхаются? Скажет что-нибудь — и позеленеет...

Шкловский, кажется, одобрил «Вазир-Мухтара», по крайней мере за ним числится фраза: когда человек обижен, он начинает хорошо писать; я рад, что обидел его.

— Вот так у меня всю жизнь, — говорил мне Шкловский, ясныя лицом, лысиной и кожаной курткой — Мне грустно. Я очень люблю Юрия.

Москва приступила к ликвидации литературоведения в Л. Г. У

Рассказывают, что Тынянов сказал: я горжусь тем, что из-за двух формалистов сочли возможным разгромить лучший университет России.

Шкловский назвал Третьякова «восторженным кооператором», на что Л. Ю.⁷¹ обиделась.

Очень не хорошо, что в Лефе глупые люди, как Третьяков, состоят на равных правах с умными.

«Ни стихи, ни проза не нужны в наше время», — говорит Третьяков, не умеющий писать ни стихи, ни прозу — и продолжающий писать и то и другое. Пьесы он тоже не умеет писать, но т. к. его пьесы ставит Мейерхольд, то Третьяков сохранил иллюзии и считает, что пьесы нужны в наше время

Вета говорит, что не любит встречаться с Анной Андреевной⁷², потому что в этом случае приходится немедленно превращаться в прах.

Я же люблю превращаться в прах, когда это меня ни к чему не обязывает и когда к этому меня обязывает не чужая палка, а моя собственная культура.

Я всегда больше ценила, чем любила стихи Ахматовой; живая она для меня скорее занимательна, чем приятна, но по отношению к ней я испытываю историко-литературную потребность в благоговении и в выражении этого благоговения, которое вряд ли может в такой степени внушить кто-либо из ныне здравствующих литераторов (разве что Белый).

Если бы это не было неприличным, я бы, например, разговаривала с ней стоя.

За свою жизнь я была на кладбище еще меньшее число раз, чем в театре, но когда живой человек оказывается могилой, и памятником, и оскорбленной тенью, то ему хорошо поклониться как можно ниже.

Особая *профильрованность* сближает не похожих Ахматову, Гумилева, Мандельштама.

Акмеизм как направление протекает между пальцами исследователя. Нужно уметь взяться за то неизбежно общее и целостное, что в нем было. Оно в том, что акмеизм — необыкновенно чистая литература. Философичность Мандельштама, Африка Гумилева, несчастная любовь Ахматовой — равно живут на бумаге; они лишены перспективы, уводящей в жизнь.

Поэтому лучшее, что сказано об акмеизме, сказано Ин. Анненским. Он писал, что, входя в акмеистическую лабораторию, находишь все те же слова (подразумевается, что и у символистов), *но теперь это только слова*⁷³.

Для Ахматовой (ее поэты Пушкин, Баратынский, Тютчев и, кажется, Мандельштам) Гумилев не мог быть полностью приемлем.

Рассказывают, что кто-то из гумилевских птенцов, чуть ли не Познер⁷⁴, объявил при ней с важностью:

— Литературный вкус мне дал Николай Степанович.

— Откуда же Николай Степанович его взял? — будто бы спросила Ахматова.

Кстати, величие Маяковского — совершенно подлинное: рост и голос заменили ему биографию. С него больше ничего не спросили для того, чтобы признать его адекватным его литературной личности, а это очень много.

В отличие от пестрых биографий Тихонова, Вс. Иванова, Шкловского, — биография Маяк. состоит из двух фактов: 14 лет от роду он два месяца сидел в тюрьме, а в 1918 году отвозил на автомобиле одного арестованного. Оба факта приведены в автобиографии (см. «13 лет работы»).

Когда я прочитала это Шкловскому, он сказал: Вы не правы — у М. есть биография. Его съела женщина. Он 12 лет любил одну женщину — и какую женщину!.. А Лилия его ненавидит.

— Почему?

— За то, что он дворянин, что он мужик. И за то, что гениальный человек он, а не Ося.

— Так Брига она любит?

— Ну конечно.

Леша Жирмунский⁷⁵ спросил Анну Сем. Кулишер:

— Кто твой муж?

— Профессор.

— А как его зовут?

— Его зовут профессор Кулишер.

— Профессор Кулишер, — повторил Леша Жирмунский. — что-то я о таком не слышал.

Во мне совсем нет умственного снобизма (главное, нет ощущения права на снобизм). Я очень склонна уважать если не людей, то отдельные, входящие в их состав элементы. Пока я не проделала Инст. Ист. Иск., я даже уважала (за выдержку) всех оканчивающих университеты — теперь уважаю (за непонятные мне качества) только оканчивающих физмат и медицинский.

С очень и очень многими я могу, сохраняя ощущение их превосходства, разговаривать о политике, о жизни и смерти, об общих знакомых, о добре и зле

Только бы они не заговаривали о литературе; тогда сразу вырастает стена и я теряюсь, глупею, начинаю поспешно соглашаться и мучительно ждать конца.

Это не снобизм, это профессиональная шекотливость; притом шекотливость вредная, потому что литература если не пишется, то печатается *для людей*, и еще потому, что поучительно вплотную наблюдать за реакциями пресловутого и искомого массового читателя, — но у меня на это не хватает нервов. Надо будет начать тренировать себя, что ли!

Разговор с Харджиевым⁷⁶.

— Читал тихоновские «Поиски героя»...

— Ну и как?

— Да так. Ничего страшного.

* * *

Литературоведение, как, вероятно, всякая наука об искусстве, находится в совершенно особом положении; в особом положении находятся и литературоведы.

Не только бактериолог не должен любить бактерию, но даже ботаник может не любить цветы. И тому и другому нужно любить науку о бактериях и о растениях, — между тем как от нас требуется заинтересованность не только в процессе исследования, не только в результатах исследования, но и в предмете исследования.

Есть и сейчас люди, которые пришли в литературу из других мест.

Есть марксисты-литературоведы, т. е. люди, которые хотя вообще заниматься марксизмом, но обладают либо плохими способностями, либо исключительной жадой популярности; вот они и выбирают наиболее безответственную область применения марксизма.

В самое последнее время пришел Федоров, — и пришел ниоткуда...

Андрей Венедиктович Федоров⁷⁷ — ученый, который узнал про науку о литературе и пришел к нам с уверенностью бактериолога в том, что бактериология существует.

Дальше таких, приходящих делать науку о литературе не потому, что существует литература, а потому, что существует эта наука, будет больше.

Возможно, что на их стороне будет преимущество незаинтересованности и свободного времени.

Не совсем понятно, почему занимается литературоведением И. М. Тронский, т. е. человек с умственной организацией предельно настоящего ученого; притом человек, не испорченный особой чувствительностью литературного вкуса. По-видимому, суть в том, что он классик-филолог, а там господствуют какие-то совершенно иные принципы.

Борис Михайлович улыбался мне своей очень нежной и немного мокрой улыбкой, гладил меня по спине (как иные люди не умеют выбирать слова — он не умеет выбирать жесты), официально называл Люсей. Впервые в жизни я ему понравилась, и он испытывал потребность выразить это новое ощущение.

— Должно быть, хорошо увидеть человека на его родине⁷⁸. Я только сейчас многое в вас понял. И я совсем не разочарован...

Говорил Бум и дышал на меня неопределенной теплотой нарождающейся симпатии, непредвиденной после пятилетних академических отношений.

— У вас несомненно абстрактный ум, — сказал Б. М., когда мы очутились в безопасности четырех полированных стен нужного нам трамвая, — т. е. это не точно. Абстрактный ум бывает у людей, которые занимаются философией. У вас словесный ум. Вы очень остро чувствуете слово и не видите вещей.

В этот день мы с Б. М. с раннего утра ходили и не видели вещей, т. е. мы теряли вещи (в том числе купальные трусики Б. М., забытые в городской квартире Гурфинкилей); под неподвижным взглядом Раи Борисовны⁷⁹ мы путали улицы и не узнавали в лицо трамвай.

Поэтому я спросила: Вы имеете в виду мою топографическую бездарность?

— Ваша бездарность уже переходит в талантливость. Теперь я не сомневаюсь в том, что у вас настоящий словесный талант.

И все это не помогло. Как и прежде, мне было весело разговаривать с Б. М. на людях и тязко наедине. Разговор приходится сочинять, и выходит все-таки разговор на ощупь. Господствует ощущение, которое мне, как плохому игроку в шахматы,

хорошо знакомо: ощущение недоверия к собственным поступкам и не удовлетворяющей, тщетной затраты умственных сил.

Очень хорошо, что они приезжали. Я продлила бы, если бы могла, их пребывание. И все-таки я вспоминаю, как мы с Ветой, по невыясненным причинам, может быть, по глупости, собрались в 26 году уезжать из Москвы в Ленинград 1 мая (трамваев в городе не было) и как Шкловский, который по этому случаю метался пешком и на извозчиках по городу, таскал чемоданы, уславливался с носильщиками,— говорил Вете: Знаете, я вас очень люблю, но когда вы уедете, я скажу: уф!

Говорят, что нужно уезжать, когда не хочется уезжать.

История дает немало примеров непрочности культурного величия. Возможно, что в начале 20-ых годов 20 века надолго сорвался полторастолетний огромный размах русской литературы (поэзия от Державина до Пастернака; проза от Карамзина до Андрея Белого). Между тем никто не думает о резињяции. У всех ощущение случайности, временной задержки, причины которой для чего-то необходимо разыскать.

Мы сохраняем позицию тоскливо и раздраженно, как люди, которым приходится долго дожидаться трамвая: тогда как нам следовало бы разойтись по домам, как людям, которым сообщили, что городское трамвайное сообщение за недостатком средств прекратилось.

Не дожидаться же трамвая, который пойдет в 21 веке. Лучше заняться своими делами: можно изучать старую литературу, читать иностранную, читать и свою современную, но только обязательно с резињяцией — тогда это не вредно для здоровья.

Придет, нам на смену, новый культурный читатель и начнет читать без скрежета обманутых претензий, без измерительного прибора, всеу доставшегося нам от времен легендарного великолепия. Благополучный читатель, со здоровыми историко-литературными нервами, со способностью получать удовольствие от хорошей книги среднего качества.

В литературе я наглухо закрыта перед соблазнами боковых эмоций.

Любое хорошее стихотворение, напечатанное честной типографской краской, мне дороже не только есенинского автографа, написанного кровью, но и пушкинского автографа, написанного чернилами.

Т. А. Р.⁸⁰ говорила мне о том, что для нее в жизни не было ничего желаннее и привлекательнее семьи, hom'a, с детьми, с кипящим самоваром на белой скатерти. Что было делать, если семья мыслилась и могла мыслиться ей только с «мужской стороны»?

Желание иметь детей, но не рожать их, желание пить чай за своим столом, но не разливать его по стаканам.

Концепция семьи как места, куда радостно возвращаться после работы; между тем как для женщины, по смыслу вещей, семья должна быть местом работы, поприщем.

И вот один из домовитейших (с необыкновенной способностью к уюту) людей, каких я встречала, стал самым бездомным из всех, кого я встречала. Вечным жидом с проклятьем бесплодия и ненужной старостью.

Нелепо, что люди так мало думают о своей старости. Я не говорю о таких, как Т. А.,— таким лучше не думать.

Но вообще люди, имеющие счастье быть просто людьми. Какую старость готовят себе все эти женщины с абортами...

Проблема хорошей старости (т. е. не боящейся и не стыдящейся) одна из величайших.

Я не люблю девочек, которых легко представить себе взрослыми женщинами. По отношению к настоящей хорошей девочке этот переход должен быть непредставим — этого требует эстетика возраста (и, вероятно, пола, потому что самого лучшего мальчика всегда можно вообразить мужчиной).

Напротив того, благо тем людям, которых можно без содрогания представить себе стариками — старухами.

Какой чудовищный старик должен получиться из Тынянова (он как-то сам говорил об этом).

Я хотела вписать сюда два или три женских имени, и меня удерживает сложное чувство стыда и сожаления. Есть женщины, в применении к которым мысль о старости оказывается преступной неделикатностью — это страшновато.

Кое-кто мог бы сказать, что это мелочно, это «обеспечение себя под старость лет». Если и выходит мелочно, то у *неправильных* людей. Что поделаешь, мы должны доходить умом, расчетом до того, что в подлинном человеке совершается стихийно и не подлежит апелляции.

У меня был разговор с Нат. Викт.⁸¹ на эти темы:

— Самое ужасное в стариках, родителях — это их принципиальное стремление отрезать нити собственных интересов. Их паразитирование на жизни детей. Последнее возлагает на детей ответственность, которую они если и не неспособны, то не склонны нести

Надо остерегаться людей, которые живут не для себя, а для других

(В своей матери я, кажется, больше всего люблю ее неистребимое легкомыслие, хотя много от него страдаю.)

Мар. Ник. говорит, что никогда в жизни (хотя ее жизнь была хороша) она не чувствовала себя такой совершенно счастливой, как теперь в старости. Прежде разные вещи волновали и мешали — под старость же лишнее отмерло, а интересы остались.

Харджиев говорил мне: «У вашей матери такой легкий характер, что с ней, должно быть, очень тяжело жить вместе».

Каверин — человек с талантом безответственной выдумки. Он лишен фантазии. Фантазия (Гофман, Свифт, Сервантес) работает ассоциациями; между тем Каверин выдумывает не ряды вещей, а вещи, из которых каждую последующую можно было бы выдумать, не выдумав предыдущей.

Такую же вещь, как «Друт Микадо», совсем не надо было выдумывать⁸².

Еще Бум.

Есть такие счастливые слова, которые сразу приводят в порядок смущающий хаос фактов, — в частности, хаос поступков. Для Бориса Мих. такой отмычкой служит слово: женщина.

Его образ действий возбуждает сомнения только до тех пор, пока мы рассматриваем его как образ действий взрослого мужчины.

Почему взрослый мужчина так малодушно и так заинтересованно, и что всего удивительнее — ничуть не скрывая малодушия, переживает переход к сорокалетнему возрасту?⁸³

Почему он рассказывает о своих семейных делах людям, которым хочется почитать Учителя?

Почему он встречает ревнивый гнев учеников — улыбкой, в непобедимости которой он имел неоднократно случай убедиться; а аргументацию противников — справками из своей биографии?

Система доводов Б. М. — это произведение, которое стоит того, чтобы к нему присмотреться.

Доказательства, в сущности, симулируются. Они плавают по поверхности, а под ними толща шарма, кокетства, иррациональной уверенности, нескромной и неотразимой игры фактами личного обихода.

Попробовали бы так заговорить Жирмунский, Виноградов, Энгельгардт⁸⁴... Так смеет говорить только человек, уверенный в своей личности больше, чем в науке.

(Так говорит Шкловский, но за него аргументируют специфические мужские вещи: война, политические авантюры, эротические приключения, автомобили и аэропланы.)

Если рассматривать поступки Б. М. как таковые, то можно иногда усомниться в том, являются ли они поступками хорошего человека. Но стоит подставить подлинное действующее лицо, т. е. женщину, т. е. очаровательную женщину, и вы вздыхаете свободно, потому что все уясняется: биографические реминисценции, женское искусство сохранять обязательства по отношению к людям (тем самым обязательства людей по отношению к себе), не выполняя этих обязательств; женское простодушное пренебрежение людьми, которые любят, и отвращение к горечи, накопившейся в этой любви, и стремление заменить всех новыми,

легкими людьми, без горечи, без претензий, без путаницы застарелых невысказанностей.

Б. М. стареет, как женщина, любит себя, как женщина, как женщина, любит других (Тынянова).

Он прельститель. Многие из нас простили ему не только равнодушие, но и оскорбления или почти оскорбления. Может быть, и не простили, но в блеске его пенсне, речей и улыбки всегда готовы забыть и ощутить нежность.

Нежность с оттенком почтительности — это традиционное отношение бумтрестовца к Буму; столь же традиционное, как пиво и стихи на случай.

Разумеется, и мы его оскорбили в самом чувствительном; мы встретили его новую, любимую, вынужденную научную идею единым фронтом недоброжелательства и сухих подозрений.

Но он не сделал попытки ни объясниться с нами, ни даже объяснить.

Он, как охладевший супруг, неприлично обрадовался измене в качестве повода для развода.

«Бор. Мих. — маркиз», — сказал мне Шкловский⁸⁵.

<1928>

Разговоры Шкловского:

Я прозвал Бескина⁸⁶ — мелким Бескиным. Он узнал об этом, а мне нужно было проводить в Госиздате книгу. Все мне говорили: пропала ваша книга! Я пошел к Бескину и сказал ему: Знаете, я вас прозвал мелким Бескиным, но ведь вы не такой человек, чтобы из-за этого потопить мою книгу. Так он за меня на стенки лез. И всем рассказывал: Знаете, Шкловский меня прозвал мелким Бескиным, а я печатаю его книгу.

Если он и рассердился на каверинского Некрылова⁸⁷, то предпочитает спрятать гнев, заменяя его усмешкой.

Каверину он сказал: я все-таки больше Некрылова. Мне говорил: Каверин думает, что я, когда прихожу домой, испытываю усталость. Это как евреи думают, что у себя дома все люди говорят по-еврейски, а только в гостях притворяются. Понимаете, это как лев, который, придя домой, стаскивает шкуру и говорит: «Уф!» У Каверина идеи физически слабого человека.

Так много записываю о Шкловском не потому, что он самый интересный из людей, с которыми встречаюсь, но потому, что самый законченно словесный.

Другой максимально словесный человек, какого мне пришлось встретить, — Вета. У нее тоже совершенно произвольная, замкнутая и эстетически самоценная речевая система.

У людей, просто хорошо говорящих, то, что хорошо в их разговоре, падает на отдельные выражения, в большей или меньшей степени заполняющие речь. Такие словесные люди, как В. Б. и Вета, выразительны сплошь, вплоть до *а, и, что, когда*.

Подобные явления несомненно могли получить распространение при той высокой культуре устной речи, какая существовала, например, в старых французских салонах. Но там имел место род социального диалекта (светский жаргон), — я же говорю о диалекте индивидуальном, т. е. в старом яacobсоновском понимании⁸⁸, поэтическом.

Шкловский закрепил особенность своей устной речи в речи письменной. Система Веты, к сожалению, не дойдет до потомков. Я не стала бы уговаривать ее писать. Уже в своих письмах она гораздо ниже, чем в разговоре. В них попадают слова, свойственные простым смертным, которые выглядят наивно, попадается и непереваренная литературность. «В жизни» она мгновенно переваривает, встряхивает и ставит на голову всякую литературность, которая еще стояла на ногах.

Бор. Мих. прав, говоря, что у меня словесный ум. Дело не в каламбурах, хотя каламбурность присуща мне, как иным людям музыкальность. Более всего меня обличают эти записи: вещи в большинстве случаев попадают сюда не по признаку фактической значительности, потому что я не историк, не по признаку моей психологической заинтересованности, потому что я не интимный человек, но по признаку возможностей словесного оформления, потому что я люблю слова больше,

чем литературу. Хороший, словесно хороший, анекдот могу твердить, как стихи. На днях, например, увлеклась старым анекдотом: — Петя, вымой шею, тетя придет. А вдруг тетя не придет... А я буду, как дурак, сидеть с вымытой шеей.

Каждый раз, как человека сильно треснет по голове, он чему-нибудь научается. К несчастью, человек почти не способен учиться в нормальных условиях.

Нужна была смерть друга для того, чтобы объяснить мне отношения с этим другом, и для того, чтобы объяснить мне такие стороны отношений с людьми, которые я не понимала и, не понимая, фальшивила, как я фальшивила всю эту зиму с Г-ми⁸⁹.

Я придумала категории отношений: друзья, товарищи, знакомые и проч. и обязательства, присущие этим рубрикам. Я воображала, что можно спокойно передвигать из одной категории в другую людей, не выполнивших обязательств. Потом я недоумевала, почему это люди, переведенные из друзей в знакомые, продолжают оставаться не по чину близкими и обойтись без них по-прежнему трудно.

Этой весной, как только стало слишком поздно, я поняла, что существенно не отношение человека ко мне и даже не мое отношение к человеку (хотя оно много существеннее). — существеннее всего — возможности человека по отношению ко мне.

Есть люди, к которым я отношусь лучше, чем я относилась к Нат. В.⁹⁰, и есть люди, которые лучше, по крайней мере активнее относятся ко мне. И часто ни те, ни другие не нужны потому, что ничего не могут для меня сделать. Н. В. же могла и делала много. Эти возможности, независимые от воли, от сознательной заинтересованности, определяемые только свойствами и обстоятельствами, я проглядела. Я занималась пустяками, рубриками и невыполненными обязательствами и искала места своему неприкаянному самолюбию.

Я ошиблась и навсегда наказана сознанием, что был человек, которого я могла любить больше, чем я любила (а любить, даже в малой степени, удивительно хорошо), и который сделал бы для меня больше, чем сделал, если бы я позволила ему это, — только не нужно было ошибаться и не нужно было быть неблагодарной.

То, что нас связывало, конечно, не было товариществом и менее всего было интимностью. Это была, вероятно, очень подлинная и важная связь, связь всего бытового уклада; привычная ориентировка ежедневной жизни на один дом (home), в котором никогда не испытываешь ни скуки, ни тяжести.

29 мая на Шуваловском кладбище мы с Т. А.⁹¹ сидели в стороне. Она сказала: Я думаю о том, что не нужно ссориться.

— Почему?

— Об этом хорошо у Толстого: когда двое ссорятся, то оба виноваты. А когда один умирает, то другому тяжело.

Это правда, и из этой правды решительно ничего не следует. Нельзя устраивать отношения с человеком при помощи мысли о том, что человек умрет и тогда мы пожалеем.

Надо, очевидно, делать другое; очевидно, надо от времени до времени осторожно брать себя за голову и спрашивать: не ошибаюсь ли я? — и потом торопиться, потому что исправить ошибку никогда не рано и почти никогда не поздно.

Весной этого года я невольно и часто вспоминала осень прошлого года и сумасшедшую ноябрьскую ночь на Екатерининском канале.

Смерть переосмысляет вещи — и притом не всегда в лучшую сторону. Опыт той ночи убедил меня в том, что смерть, правда, в конечном счете не состоявшаяся, могла вызвать странную реакцию равнодушия и озлобления против человека, которым я дорожила и которого считала или почти считала погибшим.

Вероятно, потому, что катастрофа не состоялась, я позволяю себе написать, что эта гибель (самоубийство) ощущалась мною как вредная глупость и неприличие. Всю силу моего сострадания и всю силу боли и страха разом отвело в сторону Н. В.

Вероятно, я была потрясена физически, нервами, по крайней мере я простояла на лестнице лицом к лицу с Эм. Сем.⁹² не менее минуты, не выговорив ни слова от страшной судороги в горле.

Попытка заговорить с Гофманом⁹³ совершенно неожиданно закончилась приступом рыданий.

Но когда не спрашивали и не принуждали говорить, я была очень спокойна. Я была равнодушна, бессмысленно объезжая набережные Невы, соскакивая от времени до времени с дрожек, чтобы под взглядом остолбеневшего извозчика подбежать к какому-нибудь одинокому мужчине, наклонившемуся над гранитом. Никогда я так мало не любила этого человека, как в ночь, когда я мыслила его среди мертвых и нелспо искала среди живых. Мне было трудно сосредоточить на нем внимание. Я отчетливо помню, что забывала о нем на долгие минуты (потому что минуты были долгими).

Необыкновенно и ужасно впечатление от живого человеческого имени, вовлеченного в абстрактный текст панихиды.

«...Рабы твоя Наталии...» — имя, знакомое в других контекстах (особенно привычное потому, что так ее называли дома, не пользуясь уменьшительным). оно ударило по нервам нестерпимой интимностью, конкретной человеческой болью, разрывая на мгновение вязь ладана, блестящих и условных вещей и ритуальных слов. всего, что предназначено обобщать и интеллектуализировать страдание⁹⁴.

Под конец я знала весь ход панихиды; к имени же не могла привыкнуть, дожидаясь его со страхом.

Шкловский говорил в Издательстве Писателей: вот издали «Дневник»⁹⁵, скомпанетировали Блока и реабилитировали Пяста, — не стоило!

У немецких романтиков имелось особое отношение к роману. Роман представлялся им как акт высшего и обобщающего порядка. Он должен был быть не столько «отражением» жизни, сколько высокоответственной сводкой мыслей о жизни, представлений о жизни, отношений к жизни.

В этом именно смысле я про себя называю романом ту большую вещь, которую я в конечном счете хочу написать и на которую должны пойти мои лучшие силы.

Человек стоит перед вселенной и свободно говорит о вселенной, рассуждая, рассказывая и описывая, — это и есть роман.

Для человека с настоятельной потребностью в словесном закреплении своих мыслей, с некоторыми способностями к этому закреплению и с явным неумением и нежеланием *выдумывать* — плодотворнее всего писать свою биографию (в том или ином виде и в том или ином смысле этого слова).

Я совершенно лишена этой возможности: отчасти из застенчивости, которую можно было бы преодолеть, если бы это было нужно; отчасти из соображений, которые, вероятно, не нужно преодолевать.

Можно писать о себе прямо: я. Можно писать полукосвенно: подставное лицо. Можно писать совсем косвенно: о других людях и вещах, таких, какими я их вижу. Здесь начинается стихия *литературного размышления*, монологизированного взгляда на мир (Пруст), по-видимому, наиболее мне близкая.

Между прочим, я думаю, что Тынянов поступает неправильно. Не следует подменять исторического героя автобиографическим. Вряд ли можно найти для моих тенденций форму более адекватную, чем эти записные книжки, — между тем я не могу на них успокоиться. Известно, что комические актеры хотят играть Гамлета, рисовальщики — писать батальные картины. Державин непременно хотел сочинить героическую поэму.

Кроме того меня смущает ее непечатность. Не менее того меня смущает подозрение, что мне чересчур легко писать записную книжку.

Солнцева⁹⁶ показывала Боре и мне «Турнир поэтов» — альбом Крученых с записями Маяковского, Пастернака, Асеева, Сельвинского и других, и особенно самого Крученых, изданный в количестве ста экземпляров и (к счастью) не поступивший в продажу. Все записи сделаны так, как если бы их писал сам Крученых⁹⁷.

Тягостное впечатление производит этот на 15 лет запоздавший футуристический кретинизм. Бормотание, некогда пророческое; темная возня в звуке и букве, бессмысленные смыслы... все это сейчас отдает постыдным слабумием.

Не то стыдно, что дурачились (хоть и не умно) в альбоме приятеля; стыдно, что издали и разрешили издать этот грубый анахронизм.

В альбом Крученыху не пишут ни о чем ином, кроме как об его фамилии (каламбур!). А что если бы его, сохрани Боже, звали Ивановым?

Солнцева обратила наше внимание на страничку Маяковского, исписанную круглым каллиграфическим почерком с оттенком детскости. Напоминает прописи в диктанте Смирновского. Оказывается — у великого человека должен быть самый простой автограф.

Боря хорош способностью думать о *разных* вещах. Недавно он изложил мне любопытную и неожиданную «физиологическую» теорию:

Обрати как-нибудь внимание на Бернштейна, когда он молчит, — у него в достаточной мере семитический склад лица. Стоит ему заговорить, как это впечатление исчезает. При этом дело не столько в чистоте русской речи, сколько в специфичности русской артикуляции, которая изменяет весь строй лица, как бы преодолевая еврейские черты.

Это обычное явление — заметить, что евреи русской культуры на фотографиях выглядят куда семитичнее, чем на самом деле. Быть может, этим мимически-артикуляционным перевоспитанием лица и объясняется постепенная утрата расовых признаков ассимилированным еврейством.

Лев Успенский⁹⁸ говорит, что у Бернштейна — химически чистая русская речь, не существующая в природе.

Говорят, что у Щербы⁹⁹ такой же абстрактно-фонетический французский язык. Характерно, что при этом по-русски Щерба говорит с диалектическими особенностями.

* * *

Жирмунский в свое время с большим шумом прочитал «Преодолевших символизм»¹⁰⁰. По окончании доклада к нему подошел С. А. Венгеров: «Я, конечно, старый человек, но я понимаю, что Гумилев, Ахматова — это интересно. Но как вы могли говорить о Мандельштаме?!»

— Почему же, Семен Афанасьевич?

— Да ведь я знаю его мамашу!

Чуковский говорил Боре о Мандельштаме:

— Подумайте, этот карманный вор — всю свою жизнь так безукоризненно чист в литературном деле¹⁰¹.

Быть может, Чуковский говорил это с завистью, потому что сам он принадлежит к противоположному типу деятеля (т. е. литературную невинность потерял, но в карман к вам, разумеется, не залезет) и, как человек со вкусом, не может не понимать, что мандельштамовский тип этически выше.

Впрочем, моему моральному чувству совершенно не свойственно отвращение к воровству и в высшей степени свойственна неприязнь к профессиональным преступлениям и даже слабостям. И то тогда только, когда профессия является творчеством, задумчивым делом.

Очень важным днем в моей жизни (это случилось в Москве) был день, когда я установила, что душевная боль не может служить основанием для прекращения работы, вообще для нарушения регулярного образа жизни.

Я шла по Петровке и с облегчением думала о том, что тоска, угнетавшая меня в этот вечер, — случайность, а примечания к «Записным книжкам» Вяземского — закономерный факт.

Главное — тоска не резон, чтобы уклоняться от дела, — это было счастливым открытием.

Как ни развинул меня июль этого лета, все-таки отдам себе справедливость: есть разница между человеком, для которого страдание является основным содержанием сознания, пафосом и центром умственных интересов, а все остальное более или менее удачной попыткой развлечься, — и человеком, для которого страдание является помехой более или менее серьезной.

Опять соприкосновение со смертью...

Умирать, в сущности, почти унижительно, так как попадаешь во власть людей, и не только близких.

Если бы человек уничтожился весь сразу, но остается тело, с которым надо возиться, что-то делать¹⁰².

Мертвое тело для меня не страшно, но непонятно. Я ощущаю, что этого нельзя понять, а вместе с тем понять необходимо (потому что иначе какие-то концы жизни останутся навсегда спутанными) и что когда-нибудь тут непременно надо будет добиться понимания. В ожидании чего мы реагируем на смерть понаслышке, не имея о ней собственного мнения.

Дело не в могильных червях. Эстетизм так же несостоятелен в отношении к смерти, как он несостоятелен в искусстве.

Не признаки разложения на любимом лице — самое страшное. Весной я видела, как две старые женщины с удивительной нежностью, уверенностью и спокойствием расчесывали волосы покойницы, у которой на шее под волосами уже бежали синие и красные пятна тления. У этих женщин было благообразное отношение к жизни, которое гораздо выше эстетического, потому что в нем нет страха и подлой слабонервности, которая хочет, чтобы мертвые благоухали, а живые тем более. Ненавижу слабонервность — она враг всякой здоровой мысли, всякой силы и человечности на земле, — но об этом в другой раз.

Чуковский рассказывал Боре, как Маяковский писал в Одессе «Облако в штанах» и читал Корнею Ивановичу наброски.

Там был отрывок, который начинался: «Мария, отдайся!»

— Что вы! — сказал Чуковский. — Кто теперь говорит женщине «отдайся»? — просто «дай!».

Так Маяковский создал знаменитое: Мария, дай.

Что осталось от генезиса этих стихов из похабной фразы Корнея. И никакого тут снижения, о котором так любят толковать. Пафос!

Вчера с Надей и Трениным¹⁰³ до часу ночи у Шкловского. В черной косоворотке с открытой шеей он сидит на кровати без сапог, поджав ноги; не помню, какого цвета носки, но, вероятно, темно-зеленого. Потный, с сверкающим огромным многоэтажным черепом (ступенчатое построение), он много говорит; при этом у него шевелятся уши.

О Ларисе Рейснер (не в порядке нскролога)¹⁰⁴: Лариса Рейснер была красивая женщина с некрасивыми руками: у нее были чересчур короткие пальцы. Я очень любил Л. Р. Она была женщина веселая и очень циничная; когда она видела постланную постель, она говорила: кушать подано.

— Вам нравилось то, что она писала?

— Она хорошо писала. В литературе Лариса была уязвленным человеком. Ей очень хотелось написать роман. Поэтому она писала так украшенно.

Ленин ненавидел ее, потому что она, не имея на то никакого права, пришла как-то на заседание большого Совнаркома в красных ботинках.

Ужасно жалко, что она умерла. Когда она заболела тифом, я жалел, что остригут ее волосы (у нее были чудесные волосы), а она умерла.

От ее тела не отходили родные, Радек¹⁰⁵, писатели, и еще какой-то человек три дня сидел у тела. Когда Ларису Михайловну выносили, он подошел к Радеку и спросил: скажите, а кто была покойница? Оказалось, что это был бездомный человек, который трое суток ночевал там на диване.

О Вере Инбер¹⁰⁶.

Я задаю испытующий вопрос, он краснеет от отвращения.

— Не будем говорить, там нечего крыть. Это ужасная вещь — еврейские журналисты. Я ведь тоже одним концом упираюсь в Веру Инбер. Когда я плохо пишу, это получается очень похоже. Ужасная вещь!

О Ломоносове.

Оказывается, Ломоносов — сын зажиточного купца. Его отец формально принадлежал к податному сословию, но при том был владельцем европейски оборудованного корабля на соляных промыслах. Вообще Холмогоры — это было тогда вроде Америки, потому что русские купцы там постоянно общались с голландскими. Потом отцовский приказчик привез Ломоносова в Москву, но так как тот не пожелал возвратиться, то отец перестал ему помогать, и он некоторое время нуждался. За

время же своего ученья в Германии он сделал 10 000 долгу, что в наше время равняется 30 000

Все это, впрочем, давно напечатано в спокойных, маститых книгах, но прошло незамеченным.

В. Б. всовывает ноги в туфли и рысью бежит к полкам доставать цитаты. Он радуется тому, что Ломоносов — уже не Ломоносов, а наоборот, как если бы ему нарочно сделали подарок.

О Кричевском.. с этим Кричевским (мужем Любы Кричевской) я когда-то встречался ежедневно. И я каждый день представлялся ему: Шкловский. Наконец он обиделся и спросил, не могу ли я его как-нибудь запомнить. Я ему сказал: попробуйте повязать себе что-нибудь на левую руку...

Есть люди, которые сразу, в ранней молодости выкладывают все свои возможности; а во всю остальную жизнь доедают себя. Надо уметь открывать новые эпохи. И в 30 лет знать, что еще в 40 наступит новое — какое именно, неизвестно, потому что в обработку поступит непредвиденный материал.

Если бы К. не страдал семейным пороком обидчивости, я бы сказала ему: «Вениамин Александрович, когда пишешь о людях, нельзя пользоваться вещами, плавающими по поверхности. Некрылов — это именно тот Шкловский, какого должен вообразить себе каждый обыватель, прочитавший «Третью фабрику», — следовательно, литературно-негодный Шкловский. Нельзя засовывать в литературную характеристику все, что плохо лежит»¹⁰⁷.

Между прочим, Шкл., совершенно как Х., нравится публике всем, что в нем есть худшего и что публика находит забавным. Я подразумеваю: публичные выступления с обязательным и иногда сомнительным остроумием, хамеж, шум, научные истерики. Я предпочитаю, когда он сидит без сапог на кровати. Его ирония тогда хитрее, а желчь человечнее.

Шкл. о своей последней ссоре с Кавериним и о каверинской пропаганде «Вазир-Мухтара»: «Я хотел ему сказать, чтобы он перестал защищать родственные жанры...»¹⁰⁸

Я сержусь на Бориса Михайловича, когда не вижу его, и люблю, когда вижу. С Тыняновым как раз наоборот.

Ссора же В. Б. с Бриками произошла раньше и следующим образом:

На очередном собрании Лефа у Бриков разбирались сценарии Шкловского. Л. Ю. сказала:

— Не будем говорить о сценариях Шкловского, он очень волнуется. Давайте поговорим о сценариях Бориса Леонидова, тем более что сценарии Шкловского ничем от них не отличаются.

— А я, — сказал Шкловский, вставая и, вероятно, багровея, — считаю неправильным, что домашние хозяйки принимают участие в принципиальных разговорах.

После этого Л. Ю. расплакалась, а Шкловский ушел. Заседания Лефа были перенесены к Третьякову.

Еще недавно, вспоминая этот инцидент, В. Б. говорил Типоту: Все вышло совершенно случайно. Я хотел сказать: хозяйка дома — и оговорился; получилось — домашняя хозяйка, она и обиделась¹⁰⁹.

Крученых, с которым я познакомилась у Солнцевой и с которым потом выпивала, производит самое жалкое и тяжкое впечатление.

Грязноватый человек, похожий больше на попрощайку, чем на скандалиста, с глупой манерой собирать лоскутки бумаги, на которых не почерками, а сплошными автографами написаны специально сочиненные плоскости знаменитых людей.

Замечательнее всего, что этот человек не без каких-то оснований надписывает за книжечках, которые дарит любимым женщинам: «Алексей Крученых, отец русского футуризма». Был вот какой-то момент, когда истории понадобились мысли, бродившие и преломлявшиеся в этой темной голове.

Крученых (прислуга Юлии Ипполитовны называет его Курченков) был махровым цвстением футуристической глупости.

Вероятно, каждое направление имеет свою глупость, которой свойственны смелость и последовательность необычайные; ей же иногда доступны откровения и вершины, запретные для разумного существа.

У символистов был свой высокий идиотизм, который по временам так страшно отражался в маске Блока и отразился в его дневниках.

Прекрасной махровой глупостью цвели Бенедиктов, Полонский, Фофанов.

Глупость — не случайна. У футуристов она переключалась с заумью; у символистов с экстатическими состояниями духа.

Я много слышала о необыкновенном имитационном даровании Тынянова. Дарование это никак не укладывалось в мою концепцию Тынянова, обязательно предполагавшую неумение видеть и понимать людей.

Наконец, на последнем рауте у Бор. Мих. я увидела самое дарование в деле: Т в течение двух часов, по крайней мере, забавлял публику, очень смешно и остро разыгрывая разные сцены из своих студенческих времен, демонстрируя Венгерова, Шляпкина, Церетели, Ос. Мандельштама и т. д. Я вышла в соседнюю комнату и вернулась, как раз когда Т. очень смешно представлял некоего шамкающего старичка. Я посмеялась вместе со всеми, потом тихо спросила у соседа: кого это?

— Гроссмана¹¹⁰.

— Гроссмана?

Я почувствовала облегчение, потому что соскочивший с петель психологический облик Тынянова сразу выправился и встал на место. Очень смешные Шляпкин и Церетели¹¹¹, которых я никогда не видела, были, очевидно, так же мало похожи на свои оригиналы, как хорошо знакомый мне Гроссман. Они были похожи друг на друга, как персонажи комедий, написанных одним автором, как карикатуры, принадлежащие одному перу. Они увлекали не верностью наблюдения, но отвлеченной, независимой от предмета забавностью.

Не видя и не понимая людей, разнося их по типологическим рубрикам, уснащая эти фигуры словечками и жестами, добытыми не из наблюдений, но из запаса ходячих шуток, Т. превосходно живописал экзаменуемых студентов, наглых и робких, профессоров — толстых и тонких, строгих или игривых. По методу все это очень напоминает Вазир-Мухтара.

Елена рассказывала о какой-то своей давнишней знакомой, очень флегматичной еврейской барышне, которую в первые годы революции, на вузовской чистке, спросили, сочувствует ли она советской власти.

— Да, а что? — ответила барышня.

Борис Михайлович говорит об Ахматовой: Я как-то смолоду испугался Анны Андреевны и до сих пор не могу опомниться.

С Т. Н.¹¹² так трудно разговаривать потому, что она, будучи человеком нашей культуры и общей языковой сферы (к людям другого культурного этажа мы, естественно, применяемся), вместе с тем употребляет всерьез те самые слова, которые мы употребляем иронически. Рисуя мой портрет, она неоднократно говорила о том, что стремится передать наиболее интеллектуальное выражение моего лица.

Я, кажется, только на третьем сеансе сообразила, что в этом месте разговора вовсе не следовало весело улыбаться.

Впрочем, я очень хорошо знаю цену нашей иронии («оставь ее отжившим и не жившим»¹¹³).

Я читала (меня принудила его прочесть Мар. Викт.) письмо, которое Виктор Иванович Рыков написал Грише летом 28-го года¹¹⁴. Там говорилось о светлой памяти покойницы, об общей их святине... и все эти слова, которые «мы» не можем произнести, были абсолютно полноценны.

Дело не в том, что мы стали целомудренны на слова и поэтому выражаем наше страдание иначе. Лингвистически безграмотно предполагать, что можно одно и то же выражать разными словами; это значит рассматривать слово как пустую оболочку вне его существующей мысли. Дело в том, что в нас нет как раз того, что старики выражают в таких письмах. Для нас возможен пафос и большое возбуждение чувства и невозможно повное благоговение, благолепие.

Не видевшись с нами в течение двух лет, Вета этой весной говорила: Вы ужасно здесь все опустили, работаете с утра до вечера.

А. А. говорит, что Дездемона очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на М. Р-у¹⁵.

<1930>

Все чаще приходится сталкиваться с людьми, которые топят вас из страха. Человека, вредящего в силу убеждения, можно переубедить; человека, вредящего по личной злобе, можно смягчить. Только вредящий из страха неуязвим и непреклонен.

Я могу сказать человеку: откажитесь от вашего убеждения, потому что оно не право; или: откажитесь от вашей злобы, потому что она несправедлива. Но нельзя сказать человеку: откажитесь от вашего места и от хлеба, который едят ваши дети, потому что все это не суть важно по сравнению с истиной и справедливостью.

Из письма Типота: «Встретил я его (Брика) на днях в чрезвычайно заграничном, бесконечно синем пальто: „Вот, говорит, хорошо, что я вас встретил. Можно здорово использовать смерть Володи. Давайте создадим „литературный театр имени Вл. Маяковского“. Чтобы было весело, а то у вас здесь такая тоска. Если бы было хоть немного веселее, разве Володя застрелился бы?“»

Секретарь «Звезды» Бытовой¹¹⁶ — племянник Петра Когана¹¹⁷. Про него рассказывают неправдоподобную историю: будто он выписал в ведомости гонорар Хлебникову и Блоку (за отрывки из не изданных сочинений).

«Бытовой» — очень смешной псевдоним; но, в сущности, немногим хуже, чем «Горький». У писателей сколько-нибудь замечательных псевдоним теряет свою, всегда безвкусную, этимологическую выразительность и превращается в фамилию (Горький, Белый...).

14 апреля Бытовой, очень оживленный, вошел в редакцию «Звезды».

— Ну что, Бытовой, живешь? — спросил один из сидевших в редакции.

— Живу!

— Ты вот живешь, а Маяковский помер.

— А я как раз его хоронить еду.

Ответил Бытовой, нисколько не смутившись.

Рассказывают, будто бы со слов Л. Ю., что Маяковский будто бы уже стрелялся — чуть ли не два раза, — но всякий раз из нового револьвера, а первый выстрел чаще всего дает осечку. Будто бы М. перед самоубийством опять купил револьвер — из него и стрелялся, хотя у него нашли два или три старых заряженных.

Говорят, что 2000 не оказалось.

Анна Андреевна¹¹⁸ рассказывала: будто бы М. накануне просил знакомую женщину (М. Тернавцеву) поехать к нему ночевать. Она отказалась. Он попросил ее звонить ему каждый час по телефону. Она звонила всю ночь, и они разговаривали. Под утро его голос ответил: «Звонить больше не надо», и трубку повесили¹¹⁹.

В последний приезд Шкловского мы с ним все перезванивались и не могли друг до друга дозвониться. Я пришла к нему в день его отъезда, в 9 часов утра, в Европейскую. Он занимал довольно большой и гнусно-гостиничный номер: кровать, уж чересчур двуспальная, под бурым одеялом, большой умывальник, с виду вполне благопристойный, но который ассоциируется не с чистотой и свежей, льющейся из крана водой, а с водой, стекающей в раковину, насыщенной грязью, мыльной пеной и волосами. Форточка в комнате не была открыта, и вещи лежали, как они по утрам лежат у неаккуратных мужчин, — В. Б. в последние годы стал очень аккуратен на книги и рукописи и на все, что его интересует, но, конечно, не на подтяжки.

В. Б., без пиджака, с завернутым вовнутрь отворотом рубашки, невеселый, быстро писал у накрытого скатертью стола. На столе — полбутылки «Токая» и раскрытая коробка шоколадных конфет. Я стала пить. Он все сердился, что не ответила ему на письмо:

— Подлость! Вы отнеслись к этому как к литературе и собирались писать историческое письмо; надо было ответить открыткой.

Я испытывала неловкость, какую обыкновенно испытываю при встрече с человеком после обмена лирическими и многозначительными письмами. Эпистолярная серьезность быстро тает. В жизни мы принадлежим к кругу людей, которые бывают серьезны только под влиянием аффекта.

Письмо — совершенно искусственная структура. Стилизация и стилистические реминисценции, игра с собственным отражением, смелость выражения, рожденная уверенностью в том, что прямой и мгновенный ответ не перережет поток монологической речи. — все это меняет и перемещает в письме все соотношения действительности. В письме искусственно изолируется и фиксируется какой-то участок фактов и некая протяженность настроений. Человек, который, горестно, искренне мучаясь, не моими, конечно, а своими страданиями, писал мне о моей вине и вообще о подлости и о скуке, теперь смотрит на меня рассеянно, не только не требуя ответа, но неприкрыто скучая при моих попытках ответить. Что делать — порыв серьезности, почти случайно зафиксированный на ссорах с друзьями, на усталости, на Маяковском. Нельзя же, в самом деле, предъявлять человеку письмо как улику, как документальное подтверждение нравственных претензий. Я не написала В. Б. исторического письма, но обдумывала его в течение нескольких дней. Ни одну из придуманных мною важных, серьезных, имеющих отношение к основам жизни фраз я не сказала ему при встрече, потому что у него не было охоты слушать, а у меня потребности говорить.

После вина (Шкловский вообще пьет, чего прежде никогда не было) мы пошли в Изд-во Пис<ател>ей. Шкл. предлагал проспект книги о возникновении городов (или что-то в таком роде; во всяком случае, никак не литература). Алянский¹²⁰, с темно-желтой голой яйцевидной головой, с большим острым носом, похожий на Блока в грубо, принимал проспект.

В. Б. говорит об Алянском: «Я уважаю Ал. за то, что он четыре года пролежал собакой у ног Блока и лизал ему ноги, когда Блок был очень одинок»¹²¹.

Ал. читал проспект с удовольствием.

Шкл.: Так понравится правлению книга?

— Очень понравится. Им не понравится только одно — ваша фамилия... но это как-нибудь обойдется.

Потом мы поехали на Каменноостровский на кинофабрику. Съемки как раз не было. Я ходила по пустым павильонам. Кроме того, что павильон гораздо техничнее театральных кулис, все, что в нем находится и происходит, еще гораздо меньше, чем в театре, похоже на то, что в конце концов получается.

Разговаривали мы уже мало. Он говорил, что ухаживает за Ахматовой и уговаривает ее носить шелковые чулки. По временам вспоминал и начинал сердиться:

— Переезжайте в Москву! Вы все кончите здесь тем, что станете учителями средней школы.

— Это третья профессия. В. Б.

— Кроме третьей, надо иметь вторую. Переезжайте в Москву.

· А первая профессия когда же?

— Будет и первая профессия. Надо подождать.

— Вы чересчур оптимистичны; вы думаете, что можно напечатать вещь, написанную почти всерьез. Вам, правда, иногда можно. Мы же в наихудшем положении; мы недостаточно известны для того, чтобы нам спускали, и достаточно известны, чтобы нас подозревали.

Он все-таки надорвался. Он слишком много говорит о радости жизни; он слишком много говорит о своих заработках и о своей продуктивности («кроме меня, еще семь человек работают на моих планах и проспектах; я недавно разошелся с одной женщиной и вместо алиментов научил ее писать романы»). Он слишком много зарабатывает; слишком много путешествует; слишком много людей живет на его счет. Он еще не кончился; он еще очень силен и изобретателен (незвирая на Комарова¹²²), но машина работает на неестественных темпах, чтобы только не останавливаться. Какая-то часть энергии находит полезное применение, остальное шипит и растекается вокруг.

В школе читаю сейчас Некрасова. Некрасов замечательный поэт, но очень неровный и непрерывно оскорбляющий вкус и нравственное чувство слюнностью. Читать его почти всегда стыдно. Ужасно противны ноженки и глазыньки. Сове-

менников раздражали некрасовские причастия «щи» и «вши»; на наш вкус плохи как раз не «щи» и «вши», а плохи еньки, ушки, юшки.

Гумилев говорил: Когда-то считалось, что у Некрасова хорошее содержание и плохая форма. На самом деле наоборот: у Некрасова прекрасная форма и отвратительное содержание. (Слышала сама в 1920 г. в студии Дома Искусства.)¹²⁴

В Петергофе на столе, исправляющем должность письменного, у меня сейчас знаменательный состав книг: 1) Удальцова и Цирес «Орфография в школе взрослых», Абакумов и Ключева «Знаки препинания», 2) Шпет «Эстетические фрагменты» I, II, III; Шпет «Внутренняя форма слова»; Волошинов «Марксизм и философия языка», 3) Плеханов «Очерки по истории общественной мысли»; 4) Чаадаев, Константин Леонтьев, Герцен.

В высокую пору моей формалистической юности я читала бы другие книги или совсем по-другому читала те же самые.

Тогда мы не обучали взрослых орфографии, не интересовались ни марксизмом, ни политикой, ни даже смыслом слов.

Русских политических мыслителей XIX века читаю волнуясь, как злободневщину. Они и наша современность отражаются друг в друге, очень многое друг в друге объясняя.

«Они (либералы),— писал Леонтьев, — заботятся только о том, как бы сделать еще несколько шагов на пути того равноправия и той свободы, которые должны ускорить разложение европейских обществ и довести их шаг за шагом до такой *точки насыщения*, за которой эмансипировать будет уже некого и нечего и начнется опять постепенное подвинчиванье и сколачиванье в формах еще невиданных воочию, но которые до того понятны по одному контрасту со всем нынешним, что их даже и прозревать в общих чертах не трудно. Каковы бы ни были эти невиданные еще формы в подробностях, но верно одно: *либеральны они не будут...* Во всяком случае, эта новая культура будет очень тяжка для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX в. никак не на сахаре и розовой воде равноправия, свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных»¹²⁵.

Дело не в оценке Леонтьева; важнее то, что он не только ненавидел коммунизм, но и уважал его как нечто анти-парламентски-либеральное, как новую методику «сколачиванья» и «горизонтального расслоения общества»; вместе с тем он был почти что вполне уверен в будущем осуществлении социализма.

В идеале Леонтьев считал желательным не только сохранить крепостное право для крестьян, но распространить его на дворян. Если нельзя навсегда прикрепить имущество к человеку, то следует прикрепить человека к имуществу.

Политический стиль Леонтьева заслуживает всяческого изучения. Сочетание патетики с угловатостью и с доходящей до дикости необычностью слов и целых выражений.

А. А. заключала в ЗИФе договор на перевод переписки Рубенса¹²⁶. Левин неизвестно почему, вероятно из любопытства, вызвал ее к себе в кабинет. При ее появлении встал и не предложил сесть.

— Мы, кажется, когда-то встречались с вами в Ленинграде.

А. А. посмотрела на него внимательно: Не думаю. У меня прекрасная зрительная память, а я вас никак не могу припомнить.

В Большой Московской, где она обедала с Эфросом¹²⁷ и др., к столику подсел Друзин¹²⁸. Льстил, мечтательно цитировал ее стихи и предложил написать предисловие к увязшему в Главлите собранию сочинений.

Шкловский по этому поводу сказал: попросите его, чтобы предисловие было по возможности без его портрета.

* * *

Читаю «Записные книжки» Блока. Удивительно противно, что все самое личное, что осталось от Блока, прежде чем дойти до читателя, проходит через очень нечистые руки, и пухлый бабеобразный Медведев¹²⁹ оставляет на нем свои следы. От Блока нам достается заранее растленное наследство.

* Они-то как раз хороши. Я люблю даже ликующих, праздно болтающих¹²³.

Типоты подарили Ксанке книжку с рисунками зверей. Трехлетняя Ксанка довольно равнодушно перелистала львов и тигров, но на зебру смотрела очень долго и наконец спросила: это еще что за ерунда!

* * *

Елена рассказывала с чых-то слов, что Алексей Толстой очень любит слово «задница» и сетует об его запретности. Он говорит, что это прекрасное исконно русское слово: горница, горлица, задница...

* * *

Переверзев¹³⁰ назначается хранителем рукописного отделения б. Пушкинского Дома. Жирмунский сказал, что это издевательство не только над Пушкинским Домом, но и над Переверзевым, который всю жизнь утверждал, что не следует заглядывать в черновики писателя.

Люди тоскуют по преимуществу утром и вечером; день рассеивает и поглощает. Я не боюсь вечерней тоски, потому что она очень естественна, она складывается из утомления физического и нервного, из досады на неудавшийся день, наконец, просто из скуки, которая наступает, когда человек не в состоянии больше работать и не умеет или не хочет развлекаться.

Я боюсь утренней тоски, как болезни и как нравственного провала. Она не отягощена усталостью и болью в глазах и висках. Физиологическая примесь не смягчает отвратительной ясности ее очертаний. Это не тяжесть, а пустота, тошнотворная, напоминающая тошноту на пустой желудок, от голода.

Вечером припадок тоски часто реакция на очень плодотворную дневную работу. По утрам со мной случаются припадки только в самые дурные, бессмысленные периоды жизни. Это и есть, в сущности, страх перед бессмысленной, трудной и невеселой жизнью. Это происходит обыкновенно в постели, до того как встать, умыться и завтракаешь. Это и есть до холодного физического оцепенения, до невозможности пошевелиться доходящее отвращение к процессам вставания, одевания, еды, которыми должен открыться предстоящий нехороший день. Тело проснувшегося отдохнуло, глаза опять могут читать; голова пуста.

Я лично обладаю свойством за ночь отдыхать от жизни (особенно в периоды, когда моя жизнь мне не нравится), т. е. я теряю инерцию хождений, разговоров, возни с книгами. Инерция восстанавливается очень быстро — она наполовину восстанавливается уже в этот промежуток времени, в течение которого ночная сорочка заменяется дневной. Все же утром существуют какие-то полчаса, когда человек уже проснулся и еще не начал жить, т. е. не включился в цепь инерций и привычек. И организм содрогается перед началом нового дня.

Что касается меня, то я буду писать, вероятно, до последнего издыхания не потому, что существовали учреждения — и я, бывший штатный аспирант при ЛГУ и бывший сверхштатный научный сотрудник 2-го разряда Гос. Инст. Ист. Иск.; не потому, что существовала наука и я, бывший младоформалист; не только потому, что мне хочется иметь деньги и «положение», но потому, что для меня писать — значит жить. переживая жизнь. Мне дороги не вещи, а концепции вещей, процессы осознания (вот почему для меня самый важный писатель — Пруст). Все неосознанное для меня бессмысленно. Бессмысленно наслаждаться стихами, не понимая, чем и почему они хороши; бессмысленно лежать в траве, не осознавая траву, листву, солнце как некоторую символическую структуру... Отсюда прямой ход: от вещи к мысли, от мысли к слову, от слова внутреннего или устного к письменному, закрепленному, материализованному слову как крайней в этом ряду конкретности.

20.X.30 г.

Каждый задушевный разговор состоит сейчас из высказывания неприятностей в более или менее дружеской форме.

Вчера опять разговор с Гофманом; тяжелый, по крайней мере для самолюбия. Разговор, между прочим, о нашей методологической беспринципности и о том, что

принципов нет не только теперь, когда не пишем, но не было и тогда, когда работали и писали.

Это правда. Для себя лично я все больше ощущаю, что писала историко-литературные статьи как таковые и что это никуда не годится. Историко-литературная статья не существует сама по себе, но лишь постольку, поскольку она ориентирована на современную ей литературу, на мировоззрение, на соседние научные ряды, может быть, на личную судьбу автора.

Интересна участь моей статьи о Прусте. Она очевидно провалилась; она никого ничему не научила и ничем не взволновала. Между тем у меня нет другой работы, на которую было бы потрачено столько труда, воли и личной заинтересованности. Ошибка и провал этой работы в том, что она не историческая, не критическая, не злободневная, никакая; она ни на что не ориентирована вовне; значение ее для меня в том, что она чрезвычайно плотно ориентирована вовнутрь меня; ориентирована на мои совершенно специальные, писательские (хоть я и не писатель) соображения о том, как надо сейчас писать роман, вообще на нечленораздельные для посторонних вещи¹³¹.

Вот почему Гриша¹³², который вел себя в тот вечер крайне дико и неприлично, был, в сущности, прав (когда человек бранится, мне всегда кажется, что он отчасти прав); он имел право счесть вздором вещь, смысл которой я оставила при себе.

< 1 9 3 1 >

Шкловский приезжал в начале декабря. Я его не видела. Он все еще не ходит в «квартиру Гуковского»¹³³, а я кончала роман¹³⁴, и у меня не хватило ни времени, ни энергии, ни добродушия его разыскивать. Он позвонил один только раз, поздно вечером и говорил со мной необыкновенно охрипшим голосом. Сказал, что на завтра приглашена к Груздеву¹³⁵ и Ольге Форш¹³⁶.

— Нельзя ли вас оттуда извлечь?

— Попробуйте сообщить туда, что вы умираете.

— Я позвоню и скажу, что я умираю и без вас не могу умереть спокойно.

На другой день я играла в покер и не позвонила.

Шкловский стал говорить Вете что-то такое про Тынянова. Вета прервала: Мне надоело, что вы предаете Юрия и всех... Вы обожаете неудачи ваших друзей...

— Разве? — он задумался. — Действительно, Юрия предаю. Бору? — тоже предаю.

— Гинзбург предаете?

— Гинзбург, — он поморщился, — предаю немножко.

— Меня предаете, — сказала Вета, — я знаю, вы говорите всем: нехорошо живет Вета, скучно живет...

Прощаясь, он сказал ей: передайте Люсе, что я ее очень люблю и предаю совсем немножко.

* * *

Житков сказал про Ильина: «Брат Маршака и сам в душе Маршак!»¹³⁷

28.XII.31.

Прочитала с большим опозданием «Восковую персону». У нашей критики — дикой, глупой, подхалимствующей и предающей — есть чутье на вещи с социальным значением. Социальное значение, даже неподходящее, ей импонирует. И эта глупая и бесчестная критика права, когда она говорит, что Тынянов написал «формалистическую» вещь. «Восковая персона» — словесное гурманство при отсутствии словесного чутья и пустая многозначительность. Социальной и исторической концепции нет¹³⁸.

У Мережковского была подлинная многозначительность. Он употреблял важные слова, восходившие не к осмыслению исторических фактов, но к той популярной мистике, которая имела у Мережковского на все случаи. Ахматова говорит, что Мережковский был бульварный писатель. В «Восковой персоне» слова уже решительно ни к чему не привешены. «И в портретную палату влетела та толстая птица со слепыми, с голубыми глазами (это Ягужинский) и вошли два человека: шведский господин Густафсон и Яков, шестипалый, урод...» «И тогда, сделав усилие, с дикостью посмотрел кругом себя пьяный и грузный человек, который сюда птицею

влетел,— и увидел шведского господина Густафсона и пришел в удивление. Обернулся вбок и увидел собачку Эопса.

Тогда он протянул руку и погладил собаку. И так ушел, ослабев».

Все слова важные. Яков — урод, шестипалый, а собачку зовут Эопс — и все это означает нечто, но что именно — неизвестно. Скорее всего здесь какая-то уже пустая инерция синтаксических оборотов и смысловых окрасок символистической прозы, где действительно все «означало».

«Восковая персона» словоблудие.

<1932>

Все хорошо, пока Брик смеется над классической советской литературой с Чумандриным¹³⁹ и М. Слонимским¹⁴⁰. Но потом оказалось, что в Москве они будут делать лефовский скандал. Классическим традициям Слонимского противопоставлены будут декларативные выступления Семьи Кирсанова и альманах, составленный из произведений Брика, Асеева, Кирсанова, мемуаров Лили Брик и четырех листов неизданного Маяковского.

Прошлогодний разговор со Шкловским:

Шк-ий: Почему вы не были у Брика?

Я: Потому что... мне все кажется, что в этом доме лежит покойник.

Шк-ий: Нет. В этом доме торгуют трупом.

Я с унынием представила себе надвигающийся лефовский скандал в его историческом рельефе.

Сегодня я рассказала Олейникову о том, что Брик умен, и о «лефовском скандале».

— Но ведь это не умно?

— Но это не от глупости. Это от страстного желания доказать, что они живы. Что Маяковский умер, а они живы.

О-ов (задумчиво): А ведь, в сущности, это так и есть...

* * *

Стихи Пастернака «Смерть поэта» бестактны. Можно ли так шумно приветствовать чужое самоубийство.

* * *

Пастернак читал в Доме печати. Когда Пастернак кончил, к нему подошел пьяный человек:

— Одиннадцать тысяч студентов прислали меня сказать, что Пастернак свинья. Студенты голодают, а ты тут стихи читаешь за деньги!

— Хорошо,— сказал Пастернак,— передайте одиннадцати тысячам студентов, что вы мне сказали, что я свинья и что в следующий мой приезд я буду читать у вас.

Рядом с Пастернаком стоял Павел Медведев в бархатном жилете и курточке с собачьим воротником.

— Безобразие,— крикнул Медведев, постукивая палкой с набалдашником,— выведите его вон!

— И посмотри, кем ты себя окружаешь,— сказал студент,— посмотри, вон стоит эта блядь в бархатах и мехах.

Когда Пастернак уезжал, Анне Андреевне было совсем плохо. Она не могла его принять. Пастернак вызвал Пунина¹⁴¹ на вокзал и заставил его взять 500 руб.— на всякий случай. Это, кажется, все, что он получил здесь за два выступления. Отношения с А. А. у него не близкие, только литературные.

<1933>

Между прочим, изъяты из библиотек и приостановлены в продаже «Дневники» Мариэтты Шагинян¹⁴².

Я держала книгу в руках — хорошо изданная книга.
 Говорят, там есть запись: Умер Маяковский. Тяжело. И дата: 16 марта.

Шагинян, конечно, жертва. Жертва нового у нас, но необыкновенно быстро распространившегося соблазна «генеральства». Студенты сейчас устраивают истерику, если курс поручен не профессору, а доценту. Они рассматривают это как неуважение к аудитории. В литературе примерно пятнадцати лицам присвоено звание *значительного писателя*. Звания распределяли по методу дедукции, исходя из того, что в литературе должны же быть значительные писатели.

Отсюда страшная путаница: Тынянов, который оскорбляется, когда его сравнивают с Мережковским; Козаков¹⁴³, который думает, что он культурная оппозиция Чумандрину; Шагинян которая сама с собой обращается как с Флобером

Анна Андреевна говорит, что Мар. Шагинян имела обыкновение при встречах целовать ей руку. — В темном коридоре Дома Искусств это еще ничего. Но как-то она проделала это в Кисловодске, у источника, при всей кисловодской публике. Публика шарахнулась в ужасе.

Ах, ах, это все девяностые годы: душа. Сегодня она целует публично женщине руку; завтра она в Дневнике обзывает человека мистиком, при сем прилагая адрес.

Во многих отношениях лучше насчитывать 30 лет, чем 40. Но в частности это лучше потому, что тридцатилетний возраст более или менее избавляет от символистических традиций. В русском символизме, даже высокой поры, было много отвратительного. Но послереволюционные символистические традиции — похабны. Это традиции словесного бесстыдства, идеологического блуда, бесплодия, подлого самоуничтожения.

Они с таким восторгом рвут и топчут своих богов, что теперь видишь, какие это были дрянные боги.

Символистические традиции после революции породили самые страшные вещи. На одном конце мегера Зинаида Гиппиус. На другом конце искаженный Андрей Белый, который божится, что он старый материалист, и для подкрепления своих слов готов даже перекреститься. А посредине много импотентов. И больше всего непонимания. Людям символистической культуры свойственно глубокое непонимание революции, действительности эпохи. Одни из них конфузятся и не знают, куда девать руки. Другие рвут зубами своих богов и своих знакомых.

* * *

Пушкинист Лернер¹⁴⁴ однажды обиделся на Ахматову и написал ей: Если бы вы не были женщиной, я вызвал бы вас на дуэль.

* * *

«Маски» Белого — стилистически подлая книга. Что это Рокмболь? Нет, это Брешко-Брешковский¹⁴⁵. Душемутительная смесь мистики, марксизма и Брешко-Брешковского.

* * *

Д. П. Якубович¹⁴⁶ — при молодости лет — человек девятнадцатого века В б. Пушкинском Доме сидят Анна Андреевна и Якубович, сличая два текста «Конька-Горбунка». Подходит Гуковский.

Г.: А, здравствуйте! Все изучаете арапа?

А. А. (поясняя Якубовичу): Сологуб говорил про Пушкина: «Этот арап, который кидался на русских женщин...»

Як.: Но ведь это совсем не верно...

Г.: Ну как сказать — не верно!

Як. (задетый): Вы вот любите вашего Хераскова...

Г.: Конечно. Он милый был человек. Он не кидался на русских женщин.

А. А.: Но в конце концов разве это так плохо?..

А. А. добавляет: Тут Гуковский и Якубович оба проваливаются в люк.

* * *

А. А. рассказывает о своих занятиях «Петушком»¹⁴⁷ кому-то из пушкинистов.
— Как интересно! Я тоже как раз думал о «Петушке». Очень интересно там это горговое начало...

?
Как же «корабельщики в ответ».

* * *

Якубович в своей речи¹⁴⁸ сказал: До сих пор об источниках «Петушка» ничего не знали, но теперь, выражаясь словами присутствующего здесь поэта (аудитория тихо охнула)... это просто, что ясно, это всякому понятно¹⁴⁹

* * *

Коля Коварский¹⁵⁰ не может причинить Мандельштаму никакого вреда, даже цензурного. Но Олейников и Хармс очень страшные враги. Они прямо и довольно убедительно ведут к тому, чтобы изъять Мандельштама из современности, пересадив его на историческое место. Это существеннейший вопрос — о способности мандельштамовского слова выражать наше несимволистическое сознание.

Этих (Олейникова, Хармса и проч.) мутит от всех решительно ореолов (по крайней мере семантических). Все слова с ореолами и определившимся знаком ценности выражают не то или не совсем то состояние сознания. Они не точны.

* * *

В «Правде» полподвала о «Звезде», наряду с полезными писателями печатающей вредных писателей. Вредные писатели: Шкловский, Мандельштам, Заболоцкий. Полезные: Либединский, Чумандрин, М. Слонимский, Федин, Тихонов. Про фединское «Похищение Европы» написано, что оно плод глубоких размышлений о судьбах старого мира¹⁵¹

Словом, Федина и бывшего поэта Тихонова за выслугу лет по редакциям и литературным организациям произвели в Чумандрина. Это уравнение в правах — единственный плод прошлогодних настроений. Прежде были 1-ый сорт — пролетарские писатели и 2-ой сорт — попутчики, т. е. писатели, которые хотят, но не могут быть пролетарскими. Нынче это отменено. И резонно, потому что тем самым упраздняется сама мысль о литературе разного качества

* * *

Ираклий изображал А. Толстого при Мандельштаме. М-м говорит: Толстой — это так похоже, что все время хочется дать в морду

ПРИМЕЧАНИЯ

Читатель публикуемых записей с первой страницы наталкивается на несколько эпатирующие высказывания, связанные с именами известных писателей: К. Чуковский советует автору «поглупеть», В. Каверин говорит, что она работает «слишком честно»; тут же можно узнать, что В. Жирмунский — «честный человек», а Ю. Тынянов — «мошенник». Такое будет и дальше

Читая записи Лидии Гинзбург, нужно держать в уме несколько обстоятельств. Первое: их невозможно понять без ключа теории формальной школы — мощного направления отечественной филологической науки 1914—1930 годов, к младшей ветви которого принадлежала в 20-е годы Л. Г. Второе — это не «просто» дневниковые записи, а текст, литературно структурированный, особого рода проза. Третье — автор не только участник, субъект событий, но одновременно и объект авторефлексии, пытающийся установить как картину своего внутреннего мира, побудительные причины своих поступков, так и свое место в исторической ситуации

Многие оценки получают свой настоящий смысл только в системе понятий, категорий, в самой атмосфере формальной школы. Так, когда Л. Г. пишет, что Шкловский обладает «дефектным мыслительным аппаратом» и «из своего умственного заикания он создал жанр статьи о литературе», это не следует понимать как низкое мнение об умственных способностях

Принятые сокращения: Г-82 — Гинзбург Л. О старом и новом. Статьи и очерки. Л. 1982; Г-87 — Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л. 1987; Г-89 — Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л. 1989; ПИЛК — Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М. 1977; ГИИИ — Государственный институт истории искусств в Ленинграде (1912—1930, до 1924 — Российский), где сначала училась, а потом преподавала Л. Я. Гинзбург

основателя ОПОЯЗа — оно было чрезвычайно высоко. Высказывание просвечивает теорией появления нового жанра, литературного качества, которое, по раннеопоязовскому положению, возникает из ошибки, выпадения, случайного результата, могущего ощущаться даже как дефект, «уродство» (ПИЛК, стр. 263), но потом в литературе закрепляющегося.

К принципиальным вопросам теории и судьбы идей школы восходят и высказывания о «честных» — «мошенниках». Речь о важнейшей проблеме научной теории вообще и формальной в частности — плодотворной односторонности, о том, что Кант называл регулятивной идеей; ее роль не в собственной имманентной истинности, но в указании направления движения мысли. Такими эвристически важными были понятия поэтического языка, в «чистом» виде не существующего, старшей и младшей линии, литературной эволюции. В. Эрлих, историк русского формализма, рассказывал автору настоящих примечаний: когда Р. Якобсон, уже много лет спустя, говорил Шкловскому, что тот переборщил в заявлении что искусство безразлично, какой флаг развевается над крепостью, то Шкловский сказал: это, как и многое другое, высказывалось с запросом Л. Г. понимала это очень хорошо. «Старые опоязовцы умели ошибаться, — писала она в 1928 году. — ...Наряду с понятием рабочей гипотезы следовало бы ввести понятие рабочей ошибки. <...> Ж<ирмунский>, как-то говоря со мной о новых взглядах Тынянова, заметил: «Я с самого начала указывал на то, что невозможно историческое изучение литературы вне соотношения рядов» Но тогда это утверждение ослабляло первоначальное выделение литературной науки как специфической. <...> Чего бы стоил Шкловский, если бы он в 1916 году все знал, все чувствовал, все видел» (Г-82, стр. 366, 381). Не случайно и здесь упоминается Жирмунский, с точки зрения формалистов — честный «классификатор», работы которого лишены столь ценной ими заостренной методологической односторонности. Он был постоянной мишенью нападок формалистов вплоть до их последних программных документов: в академическом эклектизме Жирмунского упрекали в известных тезисах 1928 года «Проблемы изучения литературы и языка» Р. Якобсон и Ю. Тынянов (ПИЛК, стр. 282). В свете всего этого в данном контексте слово «мошенник» применительно к Тынянову звучит почти как комплимент.

Не менее сложно обстояло дело и с В. В. Виноградовым. Испывав влияние формалистов, он, однако, шел своим, во многом отличным от них путем, постоянно их критикуя (см. прим. 26). Это задевало тем сильнее, что исходило не из обширного враждебного окружения, а из небольшого союзнического лагеря. Резкие (и в конечном счете несправедливые) оценки в переписке Шкловский — Тынянов — Эйхенбаум мы найдем и по поводу Г. Г. Шпета и Г. О. Винокура. Это была позиция группы.

Далекий от литературоведения читатель может спросить: важны, интересны ли сейчас все эти формалистские перипетии и споры? На излете XX века можно утверждать, что русский формализм был общекультурным явлением исключительного масштаба — большим, чем, например, предшествующие ему культурно-историческая и психологическая школы, оказавшим воздействие на сам язык гуманитарного знания нашего столетия.

На Л. Г. формализм повлиял глубоко и многообразно, сформировав сам тип ее мышления и мироощущения. О своих учителях, мэтрах, она говорит, что они были для нее «необыкновенно серьезным случаем жизни. Многие люди модифицируют нас понемногу <...> Они же, мэтры, как таковые, в чистом виде, изменили жизнь. <...> Если бы не было Эйхенбаума и Тынянова, жизнь была бы другой, то есть я была бы другой, с другими способами и возможностями мыслить, чувствовать, работать, относиться к людям, видеть вещи» (Г-89, стр. 61—62).

Формализм определил ее научную и литературную судьбу. Ее главное теоретико-литературное открытие было сделано на основе известного положения школы о подвижности границ между литературным и нелитературным; что в одни эпохи — литература, ее жанр (письмо, шарада), то в другие не является литературным фактом, превращается в факт быта, и наоборот — бытовой речевой жанр (заумь, всегда существовавшая в языке детей, сектантов) становится фактом искусства.

Это открытие — теория промежуточной литературы. К ней относятся эссе, дневники, записные книжки, мемуары, автобиографии, невывдуманные рассказы и проч. Об этих произведениях есть большая литература, да и как ей не быть об «Исповеди» Руссо или «Былом и думах». Но их собственно эстетическая специфичность до работ Л. Г. не была осознана вполне. О книге Герцена, например, чаще всего писали, что он соединил в одном произведении элементы повествовательно-сюжетной прозы (некоторые главы в «Былом и думах» имеют характер самостоятельных новелл) и публицистики, писем, мемуаров. Как будто новые жанры когда-либо создавались из сшивания белыми нитками лоскутьев старых. Л. Г. показала структурную значимость соположения этих элементов, изменение их функций в системе. Есть постоянная соотношенность с действительным событием — и создание художественного впечатления от этого события. «Создать законченные словесные конструкции, не убывая и не пролитературивая факта» (Г-82, стр. 84), — главная задача промежуточной литературы. Она пробуждает в факте эстетическую жизнь, которая в нем всегда в глубине дремлет, «он становится формой, образом, представителем идеи» (Гинзбург Л. О психологической прозе. Л. 1977, стр. 11). Для того чтобы возникла литература, элемент выдумки необязателен, обязательно только отбор, группировка (композиция), словесная организация. Описание реальности, не теряя своей фактичности, использует законы прозы. Зерно концепции заключено в трех словах:

«художественное исследование невымышленного» (Гинзбург Л. «Былое и думы» Герцена. М. 1976, стр. 12).

Словосочетание промежуточная литература пора писать без кавычек, это давно термин; всякий термин живет не установлением и договором, а силою поддерживающей его теории; с этой точки зрения он давно укоренился в нашей науке. Явление, им обозначенное, представив замечательные образцы в XVIII—XIX веках, мощно заявило о себе и в XX веке, дав Розанова, и продолжает развиваться дальше (М. Горький, А. Ремизов, Ю. Олеся, В. Катаев, А. Солженицын, А. Синявский, А. Битов, В. Войнович).

Идея промежуточной литературы была записана (в тетради 1927 года), когда автору едва исполнилось двадцать пять лет. В дальнейшем она детализировалась, проецировалась на разнообразный обширный материал в книгах Гинзбург, но в основных чертах она была сформулирована уже тогда. Здесь судьба ее автора обнаруживает общность с судьбою других замечательных ученых — таких, как Шкловский, Бахтин, Виноградов и другие, главные идеи которых были высказаны в 20-е годы, в возрасте от двадцати двух до тридцати лет (для будущего хладнокровного историка нашего общества — большой материал для размышлений).

Л. Г. считала, что во всякой историко-литературной работе есть всегда личный, скрытый смысл. У больших книг Эйхенбаума это проблема исторического поведения и позиции личности, Г. Гуковского к литературе XVIII века привел особый комплекс — вкус к русской дворянской архаике. У нее самой к промежуточной литературе тоже был личный интерес — может, еще более интимный, чем у названных ею ученых. В сущности, мы имеем уникальное явление: исследователь, раскрыв теоретически-исторически (у Л. Г. первого без второго не бывает) суть одного из интереснейших литературных жанров, сама в своей современности дает его блестящие образцы. Трудно сказать, что здесь определило что; формалисты такую казуальную постановку вопроса сочли бы некорректной. Первые записи, во всяком случае, сделаны еще до изложения теоретических принципов в статьях о Вяземском или одновременно с работой над этими статьями.

Ее записи столь же, или еще более, чем у Вяземского, разнородны, разносоставны, пестры — они содержат и исторические анекдоты, и философские размышления, и разговоры свои и чужие, остроты — тоже свои и чужие, — исторические экскурсы, факты своей и чужой частной жизни, высказывания разных лиц друг о друге. Она с легкостью завершит одну из записей словами «сплетня кончается», потому что на самом деле знает: это не сплетня, ибо «сплетня разворачивается на силлогизмах с недостаточными посылками; она учитывает факты, но не учитывает ни предназначенности, ни обусловленности фактов» (Г-89, стр. 69). Главная же черта записей Л. Г. — именно очевидность социальной, психологической, исторической детерминированности, историоизация своего окружения и себя.

Записи Л. Г. не только и не столько документ, сколько, в соответствии с ее теорией, образ эпохи и человека. История со взездом Шкловского в Россию была далеко не так проста, как она изложена с его слов: «Он послал ВЦИКу 12 экземпляров «Писем не о любви» со знаменитым последним письмом. — «Раз в жизни им во ВЦИКе стало весело, и они меня пустили обратно» (см. прим. б). Существовал другой, более «деловой» вариант этого письма, пошедший обычным порядком, как и другие документы. Л. Г. не могла об этом не догадываться. Но она подает эту историю как литературный факт, добавляя еще одну черту в художественный образ основателя ОПОЯЗа, оригинала, авантюриста, скандалиста. Черты исторического политического анекдота сохраняют и история с бумажкой Троцкого, будто бы выданной Шкловскому.

О последней, третьей из названных нами в начале, черте — авторефлексии — лучше всего сказала в публикуемых записях сама Л. Г., размышляя над тем, почему она пишет и будет писать, «вероятно, до последнего издыхания»: «Потому что для меня писать — значит жить, переживая жизнь. <...> Все неосознанно для меня бессмысленно». Отметим только, что и эта часть ее записей художественно суггестивна, литературна. Читатель, знакомый с «Записками блокадного человека», с «Четырьмя повествованиями», легко обнаружит в публикуемых записях истоки всей поздней замечательной прозы писателя.

Проза и наука начались в ее жизни одновременно, и жизнь очень рано разделилась на два потока — один видимый, явный, другой глубоко скрытый, известный (и то далеко не сразу) очень узкому кругу лиц.

На ее опубликованных книгах 40 — 50-х годов опутимо давление времени; в них можно найти пассажи о том, что «в основном пути русского дворянского идеализма были предрежены наступлением капиталистических сил на устои аграрного государства» (Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. Л. 1940, стр. 18), или что «разочарование Герцена в возможностях Запада совершить социальную революцию связано с непониманием значения организованной борьбы пролетариата» (Гинзбург Л. «Былое и думы» Герцена. Л. 1957, стр. 18). «Труднее всего мне сейчас, — писала впоследствии Л. Г., — перечитывать книгу о «Былом и думах». Писалась она в годы, когда литературоведение (как и литература) по большей части состояло из одних возгласов преданности. В этой книге были мысли, поэтому она казалась сказочно свободной (она шесть лет провалялась в издательстве); несвобода же была глубоко сидящей несвободой само собой разумеющегося, непроверяемого. Имелся притом фон представлений о революции, о справедливом общественном устройстве, всосавшихся уже с первой социализацией, они не пересматривались с юных лет. <...> А теперь перечитывать тяжело. Мучителен вид

расстроченной умственной силы» (Гинзбург Л. Я., «И заодно с правопорядком». — «Тыняновский сборник. Третья Тыняновские чтения». Рига. 1988, стр. 228—229).

После этих книг появились совсем другие — глубокие и пионерские книги «О лирике» (1-е издание — 1964, 2-е — 1974), «О психологической прозе» (1-е издание — 1971, 2-е — 1977), «О литературном геросе» (1979). Но они не были неожиданными — долгие годы их подготавливала непрестанная работа развивающейся мысли, быть может, более напряженная, чем над всем остальным, — работа над прозой. В последние годы Л. Г. склонна была считать ее главным делом жизни.

Взяв себе в образцы Вяземского и Герцена, Л. Г. сама избрала судьбу человека, главное дело которого или малодоступно, или малоизвестно современникам, или и то и другое. Не только избрала, но и предсказала в блестящей работе о своем геросе: «Все, что сделано Вяземским — теоретиком и практиком «промежуточной литературы», отмечено большой личной заинтересованностью, тем более интимной, что эта работа Вяземского так и не дошла до современников < . >. Вяземский ни в какой мере не настаивал на популяризации той своей работы, которую сам больше всего ценил. <...> Что касается «Записных книжек», несомненно поглотивших большие творческие силы, то Вяземский редко и сдержанно упоминает о них <...>. Вяземский, по-видимому, сознавал, что эпоха не примет его неофициальное литературное лицо» (Г-82, стр. 73, 82).

«Записные книжки» Вяземского были востребованы более чем через полвека после смерти автора, в эпоху интереса к документу и факту в конце 20-х годов. Записи Л. Г. начали публиковаться почти через такое же время после начала работы над ними — в эпоху второй волны интереса к невыдуманной литературе, в начале 80-х. По счастливой случайности автор увидела их в печати. Но подавляющее большинство ее современников уже не прочтут их никогда.

Предварим примечания еще одним уточнением. До книги «Человек за письменным столом» (1989) эссе и записные книжки публиковались Л. Г. в извлечениях: записи 20—30-х и 50—70-х годов — в книгах «О старом и новом» (1982) и «Литература в поисках реальности» (1987); эссе «Поколение на повороте» и «И заодно с правопорядком» — в «Тыняновских сборниках» (Рига, 1988; первое из этих эссе вошло в книгу 1987 года). Однако не все вошло и в книгу 1989 года.

¹ Речь идет, видимо, о первой рецензии Л. Я. Гинзбург, опубликованной К. И. Чуковским в журнале «Русский современник», 1924, № 4, стр. 259—261.

² 24 февраля 1925 года в недавно образованном в ГИИИ Комитете современной литературы состоялось заседание, посвященное «Городам и годам» К. А. Федина (автор читал отрывки из романа). С докладами выступили Ю. Н. Тынянов и Л. Я. Гинзбург. (См.: «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». Вып. 1. Л. 1926, стр. 159; Каверин В. Собрание сочинений. М. 1982. т. 6, стр. 458) Текст доклада (около 1 авт. л.) Гинзбург сохранился в ее архиве.

³ Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л. 1924.

⁴ Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. Л. 1925.

⁵ Л. Д. Троцкий.

⁶ Книга В. Б. Шкловского «Зоо, или Письма не о любви, или Третья Элоиза» (Берлин. «Геликон» 1923; Л. «Атеней». 1924) заканчивалась «письмом двадцать третьим, и последним», названным «Заявление в ВЦИК». В нем, в частности, говорилось:

«Я не могу жить в Берлине.

Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее < >

Я поднимаю руку и сдаюсь.

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке вычищенные черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно пытаюсь нагладить складку.

И галстук, который мне подарили» (изд. 1924 года, стр. 95—96).

⁷ Котляревский Нестор Александрович (1863—1925) — литературовед, академик.

⁸ Жирмунский В. Введение в метрику. Л. 1925.

⁹ Этот эпизод изложен в статье Гинзбург о Тынянове в кн.: «Юрий Тынянов — писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи». М. 1966, стр. 90; Тынянов-ученый — в кн.: «Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи». М. 1983, стр. 151; Тынянов-литературовед — Г-82, стр. 309.

¹⁰ Ср. похожие высказывания Гумилева о С. Е. Нельдихене (1891—1942) в кн.: Оцуп Н. Современники. Париж. 1961, стр. 164; Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М. 1989, стр. 38.

¹¹ Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892—1970) — лингвист, стиховед, автор работ по проблемам звучащей речи.

¹² Такого утверждения в книге Эйхенбаума (1923) нет, но в связи с его идеями о роли артикуляции, о речевой мимике Ахматовой высказывается мысль о переходе в ее стихе

внимания «от согласных к гласным», «тенденции к продлению одного гласного ряда» — вообще к системе гласной артикуляции (в одном частном случае — сочетании с шипящими — гласные «артикулируются сильнее») (Эйхенбаум Б. О поэзии. Л. 1969, стр. 120, 122, 129). Понятна ирония С. И. Бернштейна, занимающегося в основанном им в ГИИИ Кабинете по изучению художественной речи экспериментальной фонетикой.

¹³ Вероятно, И. В. Карнаухова (1901—1959) — впоследствии детская писательница, фольклорист.

¹⁴ О связи Замятина с Лесковым в 20-е годы часто говорила критика, и прежде всего Эйхенбаум и Шкловский. См.: Шкловский В. Удачи и поражения Максима Горького. Тифлис. 1926, стр. 3—4; Эйхенбаум Б., «Лесков и современная проза» (1927) в его книге «О литературе» (М. 1987, стр. 420—421). О проблеме Замятин — Лесков в связи с замятинской переделкой для театра рассказа «Левша» см.: Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М. 1980, стр. 329—330 (комментарий).

¹⁵ В эти годы Шкловский работал главным образом для кино: редактировал сценарии и сам их писал, делал титры, работал перемонтажером зарубежных фильмов.

¹⁶ Высокая оценка поэзии Тихонова была общей для круга ГИИИ; ср. Г-89, стр. 9. Но ср. запись о Тихонове 1933 года (стр. 177 настоящей публикации).

¹⁷ «Как вы смеете называться поэтом / и, серенький, чирикать, как перепел! / Сегодня / надо / кастетом / кроить миру в черепе!» (В. Маяковский, «Облако в штанах»).

¹⁸ Имеются в виду описанные прежде всего Шкловским на материале Стерна такие композиционные приемы, как ступенчатая композиция, задержание, вводящие темы и проч.

¹⁹ Пушкин о Державине: «Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка» (Дельвигу, июнь 1825).

²⁰ О фельетонизме и эклектизме, «небрежности языка» Эренбурга в статье «Литературное сегодня» писал Тынянов, включая в «галерею предков» Эренбурга, Достоевского, Диккенса, Гюго, Андрея Белого (ПИЛК, стр. 154—155); см. также в его литературном фельетоне «200 000 метров Ильи Эренбурга»: «Есть пределы стилистической небрежности. Когда они останавливают внимание, они так же отвлекают, как и орнаментика. А Эренбург пишет „...вывявить“, „наши попутчики, предпочтительно, крестьяне“, „тихое умалишение“, „негодование местными обычаями“, „слушал унылые сазандари“ (сазандар — певец), „убил двадцать трех человек“» («Жизнь искусства», 1924, № 4, под псевдонимом Ю. Ван-Вазен; цит. по: «Современная русская критика (1918—1924)». Л. 1925, стр. 239).

²¹ 9 марта 1924 года Эренбург выступил в комитете с чтением отрывков из романа «Любовь Жанны Ней» (опубл.: «Россия», 1924, № 1—3; отд. изд.: М. «Россия». 1924).

²² Роман Андре Жида.

²³ «Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала» (гл. XI).

²⁴ Имеется в виду очень популярная в России с 10-х и вплоть до 30-х годов книга: Вейнингера Отто. Пол и характер. Принципиально-теоретическое исследование. Пер. с нем. СПб. «Сотрудник» (6/г).

По Вейнингеру, склонность к лесбийской любви — показатель присутствия в характере женщины большой доли мужского начала. А такое начало — в этом центральная идея Вейнингера — определяет более высокую структуру личности женщины как в этическом плане, так и с точки зрения способности к творчеству.

Следующая фраза записи также отзывается влиянием книги Вейнингера.

²⁵ Цитата из романа «Рене» (указывали и на сходную мысль у Монтеня). Пушкин использовал этот афоризм в «Евгении Онегине» (2, XXXI и прим. 15), «Рославлеве», а также в письме Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 года, говоря о своей женитьбе. См. также: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. Изд. подготовила С. В. Житомирская. М. 1989, стр. 25.

²⁶ Проблема соотношения и взаимоотношений формальной школы и В. В. Виноградова (1895—1969) достаточно сложна. Были несомненно общими подход к литературе как имманентному ряду и пафос спецификации (что позволяло массовой критике даже включать Виноградова в число формалистов), было усвоение некоторых опоязовских категорий и терминов. Было, наконец, и прямое влияние — и прежде всего знаменитой статьи Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1919; перепеч.: Эйхенбаум Б. О прозе. Л. 1969). На эту работу Виноградов неоднократно ссылается, вводит ссылку на нее при переиздании своих ранних работ в 1929 году. О влиянии на него этой работы Эйхенбаума Виноградов говорил автору настоящих примечаний весной 1963 года. Он писал в 1926 году, что «надо помнить благодарно», что именно формальной школой «проблема сказа перенесена в чисто стилистическую плоскость» (Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М. 1990, стр. 144), еще раньше он говорил о «плодотворности» подхода к сказу как «игре» (Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М. 1976, стр. 197).

Но при всем том одновременно в тех же самых работах он достаточно резко высказывается об этой статье Эйхенбаума: «Однако необходимо отметить, что художественный замысел «Шинели» как гротескной «игры» языка раскрывается Б. М. Эйхенбаумом чисто интуитивно, при посредстве «критического чутья» и общих предпосылок футуристической эстетики, вне рамок исторической традиции «чиновничьих» повестей той эпохи. Поэтому предложенное им

понимание художественной конструкции «Шинели» является односторонне-искаженным» («Поэтика русской литературы», стр. 197). «За работой Б. М. Эйхенбаума сохраняется бесспорная ценность <...> Но само понятие сказа во всем объеме от этого не проясняется. <...> Ведь слуховая филология обязательна только для своих последователей. А писатели и читатели не все — представители слуховой филологии» («О языке художественной прозы», стр. 43—44). Такое соединение высокой оценки с другою, первую едва ли не отрицающей — нередко в пределах двух соседних фраз, — всегда было очень типично для научной медитации Виноградова. Следует отметить, что Эйхенбаум несколько переоценивал свое влияние на Виноградова, когда записывал в своем дневнике: «Странно, но выходит так, что из моей «Мелодики» возник Серг<ей> Игн<атьевич> Бернштейн, а из статьи о «Шинели» — Виноградов» (25 ноября 1925 года. — ЦГАЛИ, ф. 1527, оп 1. ед. хр. 245). На самом деле путь Виноградова был иным, и расхождения с самого начала были велики. Он никогда не поддерживал идею поэтического языка в том ее виде, в каком она была сформулирована Шкловским и Л. П. Якубинским. Как и «лингвистика без философии», его не устраивало безплодие стилистического анализа, когда художественное произведение рассматривается «проекционно», как внеположенная своему создателю данность. Для него необходим был переход к личности писателя, «образу автора». Но главное, что отдаляло Виноградова от раннего ОПОЯЗа, это антиисторизм последнего, в нем Виноградов упрекал всех его участников. Именно историзм прежде всего привлекал в Виноградове и Л. Г.

²⁷ В 1923—1926 годах Виноградов читал в ГИИИ лекции по истории русского языка.

²⁸ Ср. близкие позднейшие размышления в связи с «римским самоубийством» Лили Брик: Г-87, стр. 327. Первая и две последние фразы записи от 29 декабря публиковались: Г-89, стр. 24.

²⁹ Тынянов имел в виду прежде всего Н. К. Пиксанова, из семинария которого по Грибоедову он ушел (см. письмо Тынянова (1928), приведенное в мемуарной статье Шкловского о нем — «Воспоминания о Ю. Тынянове». М. 1983, стр. 21; Тынянов о Ю. Н. Пушкин и его современники. М. 1968, стр. 468, комментарий), и С. А. Венгерова, который был чрезвычайно далек от проблематики, занимавшей его учеников — будущих участников ОПОЯЗа, стиховедов, теоретиков литературы, лингвистов. По устному свидетельству С. М. Бонди, Венгеров часто даже не вмешивался в методологические прения, разворачивавшиеся в его семинарии (ср. анекдот Тынянова — ПИЛК, стр. 506). Разговор приведен в статье Гинзбург о Тынянове (см. прим. 9).

³⁰ Имеются в виду «Записные книжки» П. А. Вяземского и «Table-talk» Пушкина.

³¹ «Знаю я, что ты, малютка...» (1842).

³² «Это утро, радость эта...» (1881).

³³ Вольный пересказ слов Тынянова из статьи «Литературное сегодня» о повести В. Лидина «Морской сквозняк» (ПИЛК, стр. 165).

³⁴ «Быть тронутым или потрясенным чрез посредство какого бы то ни было произведения Фетовой музыки — так же невозможно, как ходить по потолку» (Тургенев — Фету, 29 марта (10 апреля) 1872 года. — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений в 28 тт. Письма, т. 9. М.—Л. 1965, стр. 255—256; впервые: «Северные цветы на 1902 г.». М. 1902, стр. 189).

³⁵ «По существу говоря, все хорошие слова пребывают в обмороке. Запрещены цветы, луна, глаза и целые ряды слов, говорящих о том, что приятно видеть» (Шкловский и В. Зоо. Л. 1924, стр. 13).

³⁶ «Когда мои мечты...» (1844). Сборнику своей ранней лирики Блок дал название «За гранью прошлых дней» (1920).

³⁷ Из стихотворения «Когда читала ты мучительные строки...» (1887).

³⁸ Т и п о т Виктор Яковлевич (1893—1960) — брат Л. Я. Гинзбург, режиссер; был известен своим остроумием. Прозванный друзьями «чайником» (за длинный нос), принял прозвище в качестве псевдонима (англ. tea pot; сообщено Н. И. Харджиевым).

³⁹ Б у х ш т а б Борис Яковлевич (1904—1985) — литературовед, друг Л. Г. и ее однокашник по ГИИИ.

⁴⁰ Об этом см. Захаров В. М. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск. 1978, стр. 75—109.

⁴¹ «Характеры Достоевского контрастны прежде всего. <...> В «Преступлении и наказании» контраст между сюжетом и характером уже художественно организован: в рамки уголовного сюжета подставлены контрастирующие с ним характеры — убийца, проститутка. следовательно в сюжетной схеме подменены революционером, святой, мудрецом» (ПИЛК, стр. 207—208).

⁴² В авторской публикации этой записи: «Если Дмитрий Карамазов потенциальный преступник...» (Г-89, стр. 26).

⁴³ Диспут о формальном методе, состоявшийся в здании Ленинградского ТЮЗа (бывш. Тенишевское училище) 6 марта 1927 года. (В тетради фрагмент вписан под 1926 годом, но другими чернилами, очевидно, позднее.)

⁴⁴ Горбачев Георгий Ефимович (1897—1942, репрессирован) — литературовед, представитель марксистской части преподавателей ГИИИ.

⁴⁵ Кружковое прозвище Б. М. Эйхенбаума.

⁴⁶ Д е р ж а в и н Николай Севастьянович (1877—1953) — славяновед; в 1922—1925 годах ректор Ленинградского университета.

⁴⁷ Роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» в это время печатался в «Звезде».

⁴⁸ В Москве, в Чубаровом переулке, в начале 1927 года произошло, согласно версии суда, казавшееся современникам сомнительным, групповое изнасилование, последствием которого было самоубийство жертвы — жены партийного начальника. Этот эпизод нашел отражение в романе Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (1978); по устному свидетельству автора романа, судебный процесс был сфальсифицирован и стал одним из первых актов решительного подавления властью «богемной и иной литературной среды». Чубаровщина и чубаровец средствами официоза были превращены в имена нарицательные.

⁴⁹ Комарович Василий Леонидович (1894—1942) — литературовед. С 1924 года преподавал в ГИИИ.

⁵⁰ Гуковский Григорий Александрович (в публикуемых записях также Гр., Гриша; 1902—1950, репрессирован) — литературовед, друг Л. Г. В это время сотрудник ГИИИ. См. о нем в мемуарном очерке Л. Г. «И заодно с правопорядком» (Г-89, стр. 314—315).

⁵¹ В эти годы Шкловский и Тынянов работали для кино (о Шкловском см. прим. 15) и писали о кино. См. сб. под ред. Б. М. Эйхенбаума «Поэтика кино» (М.—Л. 1927), раздел «Кино» в ПИЛК (стр. 320—349 и комм. стр. 548—557). Статьи Шкловского о кино собраны в его книгах «За 40 лет» (М. 1965) и «За 60 лет» (М. 1985).

⁵² Вольная философская ассоциация, существовавшая в Петрограде в 1919—1922 годах. Возможно, речь идет о выступлениях формалистов в Вольфиле 19 февраля 1922 года на заседании, посвященном Пушкину.

⁵³ Иванов-Разумник Разумник Васильевич (1878—1946) и Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историки литературы и русской общественной мысли; формалисты часто полемизировали с обоими.

⁵⁴ Имеется в виду диспут об искусстве и революции 13 марта 1925 года в Колонном зале в Москве. Основной темой было соотношение социологического и формального методов в подходе к литературе. Среди участников диспута — Маяковский, Шкловский, Бухарин.

⁵⁵ Осенью 1924 года Эйхенбаум и Тынянов организовали домашний семинарий для своих учеников из ГИИИ, среди которых были А. Бармин, Б. Бухштаб, Л. Гинзбург, В. Зильбер (Каверин), Н. Степанов и другие. Семинарий был прозван Бумтрестом (от Бум — см. прим. 45). Кризисная атмосфера, которую рисует Л. Г., возникла, в частности, из несогласия учеников с теорией «литературного быта», выдвинутой Эйхенбаумом в 1927 году. По воспоминаниям Л. Г., Эйхенбаум сказал: «Семинарий проявил полное единодушие. Я — в ужасном положении. Но положение могло быть еще ужаснее. Представьте себе, что так лет через пять вы начали говорить какие-нибудь там новые, смелые вещи, и я бы вас не понимал. Ведь это было бы ужасно! К счастью — сегодня все получилось наоборот» (Г-89, стр. 357; см. также: Гинзбург Л., «Вспоминая Институт истории искусств». — «Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения». Рига. 1990, стр. 283—284). В публикуемой записи речь идет, по-видимому, об одном из последних занятий семинара (Гуковский не участвовал в семинаре и выступал в качестве приглашенного), но вряд ли о том же самом, на котором ученики выступали против мэтра.

⁵⁶ См.: Толстой С. Л., «Тургенев в Ясной Поляне». — «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников». М. 1983, т. 2, стр. 346—347.

⁵⁷ Ср. — через тринадцать лет — в письме Шкловского Эйхенбауму от 21 февраля 1940 года (ПИЛК, стр. 571).

⁵⁸ Б. Я. Бухштабу (см. прим. 39).

⁵⁹ Авербах Леопольд Леонидович (1903—1939, репрессирован) — критик, руководитель РАППа, член редколлегии журнала «На посту» и ответственный редактор журнала «На литературном посту».

⁶⁰ Кулишер Иосиф Михайлович (1878—1934) — историк экономики.

⁶¹ Б. Я. Бухштаб.

⁶² Термин формальной школы, означающий независимое друг от друга возникновение однородных явлений в фольклоре и литературах разных стран и народов. Широко использовался в кружковом жаргоне студентов ГИИИ (напр., в шуточных куплетах. См.: сб. «Как мы пишем». [Л.] 1930, стр. 215; ср. в романе Каверина «Скандалист». — Собрание сочинений. М. 1980, т. 1, стр. 489).

⁶³ Тронский Иосиф Моисеевич (1897—1970) — филолог-классик.

⁶⁴ См. «Смерть Вазир-Мухтара», гл. II.

⁶⁵ Речь идет, вероятно, о пространной версии мемуаров в редактировавшихся Белым берлинских сборниках «Эпопея» (1922, № 1—3; 1923, № 4), но, возможно, и о более краткой версии в «Записках мечтателей» (1922, № 6).

⁶⁶ Ср. в очерке «И заодно с правопорядком» (Г-89, стр. 314—315, где Жирмунский именуется Икс; в других страницах очерка он фигурирует под своей фамилией).

⁶⁷ Ср. mot Ахматовой об Эйхенбауме (Г-89, стр. 32).

⁶⁸ Долуханова Елизавета Исаевна (1904—1938, репрессирована).

⁶⁹ Тихонова Мария Константиновна — жена Н. С. Тихонова.

⁷⁰ Мать Б. Я. Бухштаба.

⁷¹ Здесь и далее — Лили Юрьевна Брик.

⁷² А. А. Ахматовой.

⁷³ И. Анненский писал в статье «О современном лиризме» за несколько лет до оформления акмеизма как течения, не имея в виду какую-либо определенную литературную группу, а указывая на некоторый тип поэзии, творцы которой «не столько лирики, как артисты поэтического слова»: «Мы в рабочей комнате. Конечно, слова и здесь все те же, что были там. Но дело в том, что здесь это уже заведомо только слова. В комнату приходит всякий, кто хочет, и все поэты, кажется, перебивали в ней хоть на день. Хозяев здесь нет, все только гости» (Анненский И. Книга отражений. М. 1979, стр. 377).

⁷⁴ Познер Владимир Соломонович (р. 1905) — поэт, «„литературный вундеркинд“ Петербурга 1920—1921 гг.» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2-е. Париж, 1984, стр. 327), впоследствии французский журналист.

⁷⁵ Жирмунский Алексей Викторович (р. 1921), сын В. М. Жирмунского; биолог, академик.

⁷⁶ Харджиев Николай Иванович (р. 1903) — литературовед, искусствовед.

⁷⁷ Федоров Андрей Венедиктович (р. 1906) — литературовед, переводчик и теоретик перевода. «Пришел» — т. е. на Высшие государственные курсы искусствоведения при ГИИИ, где одно время преподавала Л. Г., которые и окончил в 1929 году.

⁷⁸ В 1927 году Эйхенбаум гостил у Л. Г. в Одессе, где она проводила лето у своих родных (Г-89, стр. 356; «Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения», стр. 289).

⁷⁹ Эйхенбаум Рая Борисовна (урожд. Броуде, 1889—1946) — жена Б. М. Эйхенбаума.

⁸⁰ Робол Татьяна Альфредовна — соученица Л. Г. по ГИИИ.

⁸¹ Рыкова Наталья Викторовна (ум. 1928) — жена Г. А. Гуковского, соседка Л. Г. по коммунальной квартире.

⁸² Мнение о литературной новинке — рассказ Каверина «Друг Микадо» был опубликован в «Звезде» (1927, № 2).

⁸³ Ср. в предисловии Эйхенбаума к сборнику его работ «Литература» (Л. 1927), помеченном 2 декабря 1926 года:

«Закон десятилетний, который я наблюдаю не только в своей жизни, заставляет меня смотреть на дату этого предисловия с некоторым сложным чувством — не то тревоги, не то радости.

Надо начинать новое десятилетие. Многие отшумело, многое изменилось. Назревает новая встреча поколений — какова-то она будет?»

⁸⁴ Энгельгардт Борис Михайлович (1897—1942) — литературовед; преподавал в ГИИИ.

⁸⁵ Фраза печаталась: Г-89, стр. 60. В этой характеристике, возможно, заключена реминисценция. Пушкин называл маркизом Д. Н. Блудова, отличавшегося «крайней щепетильностью в стилистических вопросах» (Вяземский П. Старая записная книжка. Л. 1929, стр. 297 и комм.). В письмах Шкловского этого времени не раз встречаются высказывания о «легкости», изяществе «нового» стиля Эйхенбаума; эти качества Шкловский не одобрял, ибо при этом «не видны следы инструмента» («Нева», 1987, № 5, стр. 159; ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441).

⁸⁶ Бескин Осип Мартынович (1892—1969) — литературный деятель, близкий к РАППу, один из руководителей Госиздата.

⁸⁷ Некрылов — герой романа Каверина «Скандалист». Прототипом Некрылова был Шкловский; о мотиве усталости в разговорах Шкловского см. далее в этой записи (ср. Г-89, стр. 98, 100). «В. Б.» в следующей записи — также Шкловский.

⁸⁸ Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Прага. 1921, стр. 5—6.

⁸⁹ С. Г. А. Гуковским и его женой Н. В. Рыковой (см. прим. 81), о смерти которой весной 1928 года идет речь в этой записи (ср. Г-89, стр. 432).

⁹⁰ Н. В. Рыкова (см. прим. 81).

⁹¹ Т. А. Робол (см. прим. 80).

⁹² См. прим. 70.

⁹³ Гофман В. А. (1899—1942) — литературовед, соученик Л. Г. по ГИИИ, участник семинара Тынянова и Эйхенбаума и председатель кружка, существовавшего некоторое время после распада семинара (см. о нем Г-89, стр. 54—56, 98).

⁹⁴ Ср. Г-89, стр. 433.

⁹⁵ Два тома дневников Блока за 1911—1921 годы вышли в 1928 году под ред. П. Н. Медведева в Издательстве писателей в Ленинграде.

⁹⁶ Солнцева Юлия Ипполитовна (1901—1990) — актриса; позднее — жена А. Довженко.

⁹⁷ «Турнир поэтов». Издание «Группы лэфовцев». М. 1929. Стеклопечат. Тираж 150 экз. Обложка К. Зданевича.

⁹⁸ Успенский Лев Васильевич (1900—1978) — писатель, автор популярных книг по языкознанию. Окончил Высшие государственные курсы искусствоведения при ГИИИ (1929).

⁹⁹ Щерба Лев Владимирович (1880—1944) — лингвист; академик, преподавал в ГИИИ.

¹⁰⁰ 31 октября 1916 года в Неофилологическом обществе при Петербургском университете.

¹⁰¹ Мандельштам был известен в быту привычкой не возвращать книги и деньги. Собеседник Чуковского Б. Я. Бухштаб изучал поэзию Мандельштама и вскоре написал о ней (опубликовано только в 1972 году за границей, а в отечестве — еще семнадцать лет спустя).

¹⁰² Дальнейшее рассуждение о смерти написано под впечатлением безвременной кончины Н. В. Рыковой; с некоторыми изменениями вошло в эссе конца 30-х годов «Мысль, описавшая круг» (Г-89, стр. 432—435).

¹⁰³ Тренин Владимир Владимирович (1904—1941) — критик, литературовед, соавтор (вместе с Т. Грицем и М. Никитиным) книги «Словесность и коммерция» (М. 1929), ориентированный на теорию литературного быта Эйхенбаума.

¹⁰⁴ На кончину писательницы, публицистки, активной участницы гражданской войны Ларисы Михайловны Рейснер (1895—1926) Шкловский откликнулся статьей «Бессмысленнейшая смерть» («Журналист», 1926, № 2; перепеч.: Шкловский В. Гамбургский счет. М. 1990, стр. 356—358). Л. Г. интересовалась личностью Л. Рейснер, ценила ее очерки (Г-89, стр. 67—68).

¹⁰⁵ Радек Карл Бернгардович (1885—1939, репрессирован) — видный коммунист и коминтерновец, публицист. Был интимным другом Л. Рейснер в последние годы ее жизни.

¹⁰⁶ Инбер Вера Михайловна (1890—1972) — поэтесса, прозаик, журналист; примыкала к конструктивистам. Позднее Шкловский упоминал ее в известной статье «Юго-запад» (1933). Важные высказывания о ней и в связи с ней — Г-89, стр. 85.

¹⁰⁷ См. прим. 87. Из книги В. Шкловского «Третья фабрика» (М. 1926) Каверин широко черпал материал для фигуры Некрылова в «Скандалисте».

¹⁰⁸ Соль остроты в том, что Тынянов и Каверин — свойственники (они были женаты на сестрах друг друга).

¹⁰⁹ Ср. изложение этого эпизода, повлекшего ухудшение отношений Шкловского с Маяковским, в воспоминаниях Е. А. Лавинской (она указывает иную причину ссоры): «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей». М. 1968, стр. 335—336.

¹¹⁰ Гроссман Леонид Петрович (1888—1965) — литературовед, автор исторической беллетристики (и в этом смысле конкурент Тынянова). Современники помнили, что Тынянов переименовывал его фамилию в Грошман (ср. «шамканье» в тыняновской имитации, которое отмечает Л. Г.).

¹¹¹ Шляпкин Иван Александрович (1858—1918), историк русской литературы, и Церетели Григорий Филимонович (1870—1938), филолог-классик, — профессора Петербургского университета, как и С. А. Венгеров.

¹¹² Видимо, художница Татьяна Николаевна Яковлева — первая жена В. М. Жирмунского.

¹¹³ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей...» (1850).

¹¹⁴ Тесть Г. А. Гуковского — по поводу смерти Н. В. Рыковой (см. прим. 89).

¹¹⁵ Роли М. В. Рыковой, сестры Н. В. Рыковой.

¹¹⁶ Бытовой Семен (Жаган Семен Михайлович, 1909—1989) — писатель и журналист; был близок к РАППу.

¹¹⁷ Коган Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы, критик-марксист.

¹¹⁸ А. А. Ахматова.

¹¹⁹ О смерти В. Маяковского см. также Г-89, стр. 91—93.

¹²⁰ Алянский Самуил Миронович (1891—1974) — издатель, литературный деятель. В 1929—1932 годах возглавлял «Издательство писателей в Ленинграде».

¹²¹ Приведено в Г-89, стр. 93.

¹²² Шкловский В. Матвей Комаров, житель города Москвы. Л. 1929. Если Тынянов связывал с этой книгой надежды на активизацию работы формалистов (см. ПИЛК, стр. 570), то в кругу «учеников» она была встречена очень холодно. Так, Г. А. Гуковский назвал ее упрощенческой и «скудной, а ведь скука — новость в его творчестве» (Гуковский Г., «Шкловский как историк литературы». — «Звезда», 1930, № 1, стр. 198).

¹²³ Из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

¹²⁴ Ср. ответ Н. Гумилева на вопрос о стихотворной технике Некрасова в анкете «Современные поэты о Некрасове» (Чуковский К. Некрасов. Л. 1926, стр. 390).

¹²⁵ «Чем и как либерализм нам вреден» (Леонтьев К. Собрание сочинений. СПб. 1913, т. 7, стр. 187, курсив автора; в тексте: «...того равноправия и той свободы», «будет очень тяжела для многих», «на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности»). Ср. о славянофильстве и Леонтьеве-критике — Г-89, стр. 58.

¹²⁶ Том писем П.-П. Рубенса вышел в переводе Ахматовой в изд. «Academia» в 1933 году.

¹²⁷ Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — искусствовед, критик. Письма Рубенса вышли под его редакцией.

¹²⁸ Друзин Валерий Павлович (1903—1980) — критик.

¹²⁹ Медведев Павел Николаевич (1891/1892—1938, репрессирован) — литературовед, критик; автор работ о Блоке.

¹³⁰ Переверзева Валерия Федорович (1882—1968) — литературовед; ортодоксальный представитель «социологического метода».

¹³¹ О Прусте см. в книгах Л. Г. «О психологической прозе» (Л. 1971) и «О литературном герое» (Л. 1979).

¹³² Г. А. Гуковский.

¹³³ Шкловский был обижен на Гуковского за рецензию на книгу «Матвей Комаров» (см. прим. 122).

¹³⁴ Гинзбург Л. Агентство Пинкертон. Роман. М.—Л. 1932

¹³⁵ Груздев Илья Александрович (1892—1960) — литературовед, критик, в начале 20-х — член содружества «Серапионовы братья».

¹³⁶ Форш Ольга Дмитриевна (1873—1961) — писательница, автор исторических романов.

¹³⁷ Ильин М. (псевдоним; настоящее имя Илья Яковлевич Маршак, 1895—1953) — автор научно-популярных книг для детей, один из сподвижников Маршака в формировании существенного пласта послеоктябрьской культуры — детской литературы.

¹³⁸ Эта оценка, данная в первых же рецензиях (см.: Оксенов И., «Менори и науралии Юрия Тынянова». — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 175), укрепилась и вошла, например, в доклад В. Я. Кирпотина «Советская литература к 15-летию Октября» на Первом пленуме Союза советских писателей 29 октября 1932 года: «...роман Тынянова построен формалистически, не на свободном развертывании самой логики событий, а на искусной мозаике из выдранных из контекста эпохи отдельных фактов, событий, документов, речений и стилизаций под них» (Кирпотин В. Я. и Сутоцкий Л. М. Литература на новом этапе. М.—Л. 1933, стр. 33).

¹³⁹ Чумандрин Михаил Федорович (1905—1940) — писатель, показавший себя, по оценкам марксистской критики, «незаурядным знатоком фабричного быта и жизни среднего и низшего партактива, но очень еще слабым художником» (Горбачев Г. Современная русская литература. Изд. 2-е. Л. 1929, стр. 326).

¹⁴⁰ Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — писатель; его числили среди «характерных и «органических» Серапионов» (Горбачев Г. Современная русская литература, стр. 113).

¹⁴¹ Пунин Николай Николаевич (1888—1953, репрессирован) — искусствовед, художественный критик; в 20—30-е годы муж А. А. Ахматовой.

¹⁴² Шагинян Маризтта Сергеевна (1888—1982) — писательница; широко использовала литературный жанр дневника («Литературный дневник. Статьи 1921—1922 гг.». Пг. 1922; «Дневники». М. 1932; «Дневник депутата Моссовета». М. 1936; «Дневник писателя». М. 1953).

¹⁴³ Козаков Михаил Эммануилович (1897—1954) — писатель.

¹⁴⁴ Лернер Николай Осипович (1877—1934).

¹⁴⁵ Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1943) — автор многочисленных романов, популярных у массового читателя в 10-х годах.

¹⁴⁶ Якубович Дмитрий Петрович (1897—1940) — историк литературы, пушкинист.

¹⁴⁷ Над статьей о «Золотом петушке» («Последняя сказка Пушкина») Ахматова работала с марта 1931 по январь 1933 года (впервые опубликовано: «Звезда», 1933, № 1; см. послесловие Э. Г. Герштейн к кн.: Ахматова А. О Пушкине. Л. 1977, стр. 280).

¹⁴⁸ В выступлении на обсуждении доклада Ахматовой о «Золотом петушке» в Пушкинском Доме 15 февраля 1933 года (см. указанное послесловие Э. Г. Герштейн).

¹⁴⁹ Начальная строка стихотворения Ахматовой.

¹⁵⁰ Коварский Николай Аронович (1904—1974) — литературовед, участник семинаров в ГИИИ; с середины 20-х годов занимался библиографированием и аннотированием современной литературы (что имело в те годы рекомендательно-цензурскую функцию).

¹⁵¹ См.: Розенталь С., «Тени старого Петербурга» («Звезда», 1933, № 1—7). — «Правда», 30 августа 1933 года.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕВ НАВРОЗОВ

*

ЕСТЬ ЛИ ЛИТЕРАТУРА НА ЗАПАДЕ?

Говоря о том, есть ли литература на Западе, надо прежде всего заметить, что откровенную бульварщину сам западный литературный истеблишмент считает ниже своего достоинства даже упоминать.

В XIX столетии бульварная литература все еще ютилась на задворках общества наподобие публичных домов. Что же произошло в XX веке?

На Западе продолжается эпоха Просвещения — эпоха Лейбница, Огюста Конта, Адама Смита, Маркса, Спенсера, Писарева и Генри Форда I. Несмотря на расхождения между ними, это все та же наукообразная вера. Я именую ее Оптимизмом — ироническое определение, которое придумал ей Вольтер (его сатира называется «Кандид, или Оптимизм»). Дело в том, что Лейбниц незадолго до этого открыл: наш мир — это лучший из всех возможных миров, и поэтому он движется к оптимуму — всеобщему счастью. На Западе Оптимизм уже, по существу, вытеснил христианство или же его ассимилировал. На территории же Российской империи Оптимизм, в его разновидности под названием коммунизм, которое придумал англичанин Гудвин Бармби, был государственной верой в течение свыше семидесяти лет, но на самом деле Оптимизм, возможно, не укоренился здесь так глубоко, как на Западе.

Согласно Оптимизму, если у человечества в день смерти Гайдна был всего лишь один великий композитор — Бетховен, а в день смерти Достоевского лишь один великий романист — Толстой, то произошло это потому, что культура была доступна одной тысячной одного процента человечества. Если же культура будет доступна всем, то, очевидно, число Бетховенов или Толстых составит сто тысяч, если уж Бетховены и Толстые вообще так же необходимы, как «порядочные химики». Разумеется, все человечество приобщится к великой культуре Бетховена и Толстого. Пребывающие в нищете и темноте слушают «Томми, Томми, встретимся во вторник» и покупают очередные похождения Шерлока Холмса за семь копеек выпуск. Но когда нищета исчезнет и каждый получит доступ к культуре Бетховена и Толстого, кто же ее отринет ради «Томми, Томми, встретимся во вторник» и очередных пождений Шерлока Холмса.

Конец XX века. В Нью-Йорке любой может купить подержанный проигрыватель или получить его даром в Армии спасения, а также подержанные пластинки, обретая, таким образом, возможность прослушать за год больше музыки Людвига ван Бетховена, чем его поклонник граф Фердинанд фон Вальдштейн слышал за всю свою жизнь. В Нью-Йорке запрещено не допускать в библиотеки (а они бесплатные) бездомных нищих, как бы они ни были одеты, и, таким образом, даже они могут прочесть всего графа Толстого или все книги, которые читал граф Толстой. И что же?

О ста тысячах Бетховенов и ста тысячах Толстых речь далее, а пока замечу, что бульварщина-то и оказалась достоянием большинства, и уж как она разбогатела и ах какой стала важной. Ей в пору нынче графский титул. Никто ее больше не презирает, кроме не имеющих никакого общественно-политического значения одиночек. Таким образом, Оптимизм достиг прямо противоположного своим прогнозам, упованиям и целям. Но он и в ус себе не дует. На то он и Оптимизм.

В России после 1917 года новая власть подавляла бульварные вкусы, и это подавление продолжалось, хотя и во все меньшей степени, вплоть до конца 80-х годов. Но недавно я взял такси в Нью-Йорке, и шофер спросил меня, не буду ли я возражать, если он включит музыку. Он говорил с акцентом. По слабости я сказал,

© Лев Наврозов.

Автор — писатель, переводчик и эссеист, эмигрировавший в 1972 году из Москвы на Запад. В США вышли в свет его книги «Воспитание Левы Наврозова» и «Проза из несостоявшейся книги 1968». Критические эссе, написанные по-английски, автор публиковал в ряде американских журналов; впоследствии русскоязычная пресса печатала их в переводе. Настоящая статья написана по-русски специально для «Нового мира».

что нет, не буду, потому что я был приятно удивлен его вежливостью. Шоферы нью-йоркских такси включают свою европейскую, американскую, африканскую, китайскую, ближневосточную, латиноамериканскую и другую пошлость, не спрашивая разрешения, а в предположении, что их всемирная пошлость — это и есть музыка, которая не может быть неприятной, как не может быть неприятно пение птиц. Шофер включил звукозапись, и на этот раз пошлость оказалась русской. Я слушал пораженный. Я никогда не слышал такой пошлости на русском языке. Это было нечто сверхсветское, сверхсталинское. Как бы дальнейшее уничтожение культуры. «Господи! — невольно подумалось мне. — Благодарю Тебя, что я вырос в культурной тирании Сталина, а не в тирании этой сверхсталинской пошлости».

Романы, которые некогда презирались как «романы для публичных домов» и «романы для горничных и кухарок», ныне роскошно издаются на Западе в миллиардах экземпляров. В Российской империи литература была выгоднее бульварщины. Ныне на Западе бульварщина выгоднее литературы.

Вот арифметика культуры. Новая книга стихов Блока в бумажном переплете стоила в Российской империи в сто раз дороже нового выпуска приключений Шерлока Холмса, но и на столь дешевое издание этих приключений спрос был невелик, ибо многие вообще ничего не читали, а в случае вынужденной праздности коротали время, наслаждаясь покоем, вспоминая, думая о своих делах.

В Российской империи, а ранее и на Западе, у общества была вершина, где сходились престиж, богатство и культура. У общества был низ — приключения Шерлока Холмса по семь копеек за выпуск. Но был и верх: в возрасте сорока лет Чехов был не только почетным академиком Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (членами которой были Вольтер, Кант и Гёте), но и одним из самых высокооплачиваемых русских писателей (Пришвин, желая показать, что его ценили уже почти как Чехова, отмечает, что ему платили за строчку уже почти как Чехову).

А вот арифметика бульварщины. Ныне на Западе любая книга в одной и той же цене, коль скоро она в таком же переплете, а у бульварного романиста общий тираж его романов исчисляется сотнями миллионов экземпляров. Его аванс за каждый новый роман может составить десятки миллионов долларов. Престиж, богатство и культура отнюдь не сходятся в некой вершине. Наоборот, верх литературы стал низом богатства (и, следовательно, престижа), а бульварщина стала верхом богатства (и, следовательно, престижа).

Бульварщина — это особый мир, как есть мир уголовный, или есть мир Уолл-стрита, или есть игорные дома. Однажды я с ним столкнулся.

Мне позвонил некто, представившийся моим коллегой — писателем, который якобы является моим поклонником и, приехав в Нью-Йорк, желал бы со мной встретиться. Ему не было и тридцати, но он был лыс, и по сравнению с ним советский писатель-конъюнктурщик времен Сталина — это как деревенский увальень по сравнению с высокопрофессиональным гангстером. Ему стало известно, что в Голливуде спрос на пытки. Роман пыток тут же готов: арабы пытают евреев. Вы понимаете? Спрос на порнографию постоянный, и конкуренция — безгранична. А тут — пытки! Зачем же я ему нужен? Он увидел мое имя в журнале «Комментари», который субсидируют американские евреи. А евреи — рынок для его романа пыток, не так ли? Деловой человек не должен упускать ни одного рынка. Не могу ли я отрецензировать его роман в «Комментари»? Он не знал, что ни я, ни «Комментари» не рецензируем бульварные романы. Он вообще не понимал, что его роман бульварный или что существует литература, которая считает себя небульварной...

Сейчас на Западе спрос на печатную бульварщину только там, где нет еще телевидения. Но спрос все равно велик, ибо современный человек, оказавшись в праздности, не может, как некогда мог простолудин, предаваться покою, вспоминать, думать. Ему надо «жить» — есть, пить, веселиться, жевать резинку, говорить, смотреть телевизор, слушать радио или запись через наушники, а если ничего этого невозможно, то хотя бы читать о том, как арабы пытают евреев. Поэтому тиражность, прибыль и общественная зримость печатной бульварщины растут на протяжении всего XX века, несмотря на рост электронной бульварщины в виде кино, телевидения, радио и видеозаписи.

Электронная бульварщина — это бульварщина от рождения. У печатного слова было великое прошлое. А электронная культура родилась на бульваре. Будущее за электронной бульварщиной, и уже теперь цель бульварного романиста — продать роман для электронной бульваризации. Вот где настоящие деньги.

Ну а как живет на Западе поэзия по сравнению с процветающей электронной и печатной бульварщиной? Я задаю этот вопрос, ибо поэзия — тот редкий вид культуры, который нельзя превратить в бульварное развлечение, настенное украшение или скандал. Никто на Западе не будет читать стихи о том, как арабы пытают

евреев. Спроса на бульварную поэзию нет. Как же поэзия живет-может на Западе XX столетия?

В 1915 году Т. С. Элиот, который считается (и не без основания) самым выдающимся поэтом стран английского языка XX века, опубликовал свое, на мой взгляд, лучшее произведение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». А в 1923 году он все еще работал в банке. Элиоту было тридцать пять лет. Тогда два мецената предложили ему выплачивать в течение пяти лет сумму, равную его жалованью в банке, с тем чтобы он был в состоянии оставить банк и, как выражаются в таких случаях, посвятить себя целиком поэзии. Элиот отклонил предложение потому, что Банк (он писал его с большой буквы) будет выплачивать ему пенсию по достижении шестидесяти лет. «Любовную песнь Дж. Альфреда Пруфрока» Элиот кончает тем, что вдруг увидел русалок:

Но вдруг я увидел их, в плепе волн,
С янтарем в волосах русалочий сонм
В разверзнутых нечаянной зарницей

Чертогах вод, где вечный сон нам снится,
Пока нас не пробудят смертной песней,
Пока мы не очнемся и исчезнем¹

Стихотворение — о конце мира, воскресении, Лазаре. Но оказывается, что всемо довел Банк (с большой буквы). Каким жалким было положение поэзии в весьма богатой Британской империи. Сравните банковского служащего, не пожелавшего в свои грид цать пять лет оставить Банк, чтобы не лишиться в шестьдесят лет пенсии, и Блока в Российской империи: «...а ныне суждено судьбою мне быть поэтом и царем».

Когда я жил в Москве, мои западные друзья присылали мне литературные новинки с приписками вроде: «Вот самое интересное, что появилось в этом году» Эти новинки считались литературой, не имеющей никакого отношения к бульварщине. Они приводили меня в ужас, но никакого суждения о западной литературе в целом я не выносил. Мало ли что. Выбор моих друзей ничего не значил.

Но вот я в Нью-Йорке, и в конце 70-х годов польский литературный критик-эмигрант Леопольд Тирманд, редактор американского журнала «Chronicles of Culture», начал из только что изданного отбирать мне на рецензию те романы, которые получили самую высокую оценку у самых престижных рецензентов американского литературного истеблишмента. Так ко мне шли «лучшие романы лучших американских писателей» Джона Апдайка, Филипа Рота, Ежи Козинского, Уильяма Стайрона и Ирвина Шоу. Эти пятеро занимали на начало 80-х годов такую же вершину американского литературного истеблишмента, какую занимали в советском литературном истеблишменте начала 50-х годов Фадеев, Федин, Ажаев, Полевой и Бабаевский.

Когда в 1957 году я сказал Маршаку, что «лучшие советские романы» 40-х и 50-х годов — макулатура, он пожаловался хозяину дома. Мол, ум у меня так болезненно искривлен, что способен рождать лишь кошмары-парадоксы. Мой кошмар-парадокс 1957 года превратился, как и многие другие мои кошмары-парадоксы, в ходячую истину, от которой «больно и светло».

Теперь передо мной лежали «лучшие романы» начала 80-х годов «лучших американских писателей». Мой кошмар-парадокс заключался в том, что они представляют собой *сверхмакулатуру*. Это полная культурная энтропия — уровень, когда каждый может написать «роман» в виде сборной солянки из любых пошлостей

Литературно грамотный человек по крайней мере знает о необходимости, скажем, избегать литературных штампов. Редактор, корпевший над романом Ажаева «Далеко от Москвы», наверняка правил «мороз крепчал» на что-нибудь более литературно грамотное. Но зачем же западной пятерке литературная грамотность?

Переводились ли эти романы на русский язык? Если да, то наверняка переводчики и редакторы придали этой заграничной *сверхмакулатуре* благообразие советской макулатуры наподобие романа Ажаева. И советские читатели, разумеется, проглотили причесанную под советскую макулатуру заграничную *сверхмакулатуру* потому, что она экзотична. Кроме того, помимо подавления бульварщины Кремль подавлял «между двумя нэпами» и порнографию. *Сверхмакулатура* «лучших американских романистов» удовлетворяла подавляемый советский спрос на порнографию. Если при новом нэпе и в России будет создана современная мощная порнографическая промышленность, а учебные половые фильмы будут показываться в школах и вузах, то интерес к порнографии в западных романах сильно спадет.

¹ Перевод Андрея Наврозова.

В целом многие советские читатели западных романов относятся к Западу так, как лауреат Нобелевской премии 1921 года Анаголь Франс и множество менее известных относились к советской России, когда она «пролагала свой путь, отличный от Запада»: «У них ведь там свобода от власти денег. Первое подлинно свободное общество в мировой истории. А благодаря свободе от власти денег у них подлинное творчество. Народ-созидатель. Это у нас скопидомное мещанство, от которого ничего, кроме пошлостей, не услышишь. А у них каждый — творец. Созидательный труд на благо человечества — фаустовская мечта Европы. Да нашим торгашам такого и не снилось».

Если бы Анатолий Франс знал русский язык вплоть до умения отличать клише от откровения и после этого прожил бы в Москве лет двадцать, ни романы Ажаева, ни жизнь, которую они якобы отображали, не воспринимались бы им как экзотика. Вот почему «лучшие романы» начала 80-х годов «лучших американских писателей» воспринимаются и мною (отвечающим аналогичным условиям) не как экзотика, а как сверхмакулатура.

Фединым литературного истеблишмента Нью-Йорка можно счесть Джона Апдайка, сочинение которого «Кролик разбогател» (его я и рецензировал в 1982 году) получило премию за лучшую американскую книгу, Национальную премию литературных критиков и премию Пулитцера. Не хватает лишь Нобелевской премии — видимо, неясно, как обосновать ее присуждение. Апдайк пишет о половой жизни, а ныне на Западе это не является открытием, заслуживающим Нобелевской премии.

Впрочем, правы и те, кто утверждает, что история Нобелевских премий — это перечень ошибок. Ее получили некоторые гениальные писатели XX века (например, поэт Пастернак). Но получили они ее с опозданием на десятилетия, и притом в результате случайностей, к литературе отношения не имеющих. Нобелевскую премию не получили в русской литературе XX века Чехов, Блок, Мандельштам, Цветаева и Платонов. Зато ее получили невпопад десятки писателей, чьи имена уже не помнит никто. Однако и без Нобелевской премии около двадцати романов Апдайка переведены на двадцать языков, ибо вкус литературного истеблишмента всех западных столиц — это вкус литературного истеблишмента Нью-Йорка.

Я привлекаю в качестве примера пять «лучших романов» Нью-Йорка начала 80-х годов, которые я рецензировал. Но это лишь пример. «Лучшие романы», появляющиеся ежегодно во всех столицах Запада, — такая же безнациональная, безличная сверхмакулатура. В 1982 году я писал в «Йельском литературном журнале»:

«Вот «лучшие романы» Германии 1982 года. В 1983 году никто эти романы перечитывать не будет. Появятся новые. Как галстуки.

То же самое происходит не только во времени, но и в пространстве. Некогда все европейские столицы читали Вольтера, Стендаля, Толстого, Ницше, Бергсона и других мировых властителей дум. Теперь же оказывается, что «лучшие романисты» 1982 года в Сиднее, Австралия, совсем не те, что в Гамбурге, Германия. Вот «лучшие романисты» Амстердама, Нидерланды, 1982 год: Гарри Мулиш, Бисхювел, Кис ван Коотен, Вим де Би, Фредерик ван Эден, Цис Ноотебум, Дэрк Аэлт Кооиман, Герард Рев и Уильям Бракман. Кто вне Амстердама слышал эти имена? Естественно! Зачем же завозить сверхмакулатуру, если ее могут произвести местные «лучшие романисты»? В культурном отношении западная столица — это как бы деревня при натуральном хозяйстве, у которой все свое и, уж конечно, не хуже, чем у любой другой деревни».

То, что двадцать романов Апдайка переведены на двадцать языков, — поистине редкое международное признание. На русский язык все двадцать романов Апдайка не переводились, но, помнится, его школьное подражание Кафке «Кентавр» было обнародовано в советской «Иностранной литературе» как западный изыск, который пора популяризировать. Однако последующие романы Апдайка — это даже не подражания, и моя рецензия на его роман 1982 года «Кролик разбогател» называлась «Апдайк и Филип Рот — писатели ли они?»:

«Дело в том, что капиталистический реализм г-на Апдайка имеет еще меньше общего с Америкой или любым другим обществом, чем социалистический реализм сталинской эры — с Россией. Его утопия — это «половая жизнь», нечто вроде «коммунизма» в советских романах сталинской эры, навязчивая идея, «социальный заказ», обязательный набор неправдоподобных пошлостей.

Как многие другие лица, принимаемые за писателей, г-н Апдайк убежден, что наибольшая смелость рассказчика непристойных анекдотов — это и есть высший реализм в литературе. Как можно полнее распишите половую жизнь, а также отправления естественных потребностей, и ваша страпня, нечто вроде непристойной пьесы для любительского театра марионеток, чудесным образом оживет. Г-н Апдайк описывает половую жизнь не менее детально, чем она описывается в медицинском справочнике. Но как только у г-на Апдайка кончается область медицины, половая

жизнь в его описании становится столь же неправдоподобной, как и все, чего касается его перо².

Поскольку все пять «лучших романов», отрецензированных мной, поразили бы читателей Чехова как набор непристойностей, уместно спросить: не дело ли тут в национальных различиях литературных нравов? Может быть, русскоязычные писатели и читатели отличаются литературной стыдливостью, которая мешает им оценить по достоинству литературу западных наций? Дело, однако, в том, что в странах английского языка выражение «сукин сын» было нецензурным еще в 30-х годах, а во времена Чехова ножки стола или рояля там закутывали потому, что ведь это ножки. Увидят ножки стола или рояля и подумают про ножки... Оказалось ли подобное «невероятное ханжество» (по понятиям русскоязычных читателей Чехова) вредным для англоязычной литературы? Величайшая поэтесса из всех писавших на английском языке — без сомнения, американка Эмили Дикинсон (1830—1886). В ее стихах нет пола в том же смысле, в каком его, по существу, нет в романах Платонова или в письмах Бетховена к «бессмертной возлюбленной». Но какая бетховенская музыка в ее обращении к своему бессмертному возлюбленному!

Современная западная литературная порнографичность отнюдь не возникла на почве национальных литературных или житейских нравов. Даже теперь она все еще противоречит житейским нравам значительной части населения. Я видел в Нью-Йорке, как девочки-старшеклассницы католической школы купались в море — в полной гимназической форме, включая чулки и туфли³.

Литературная порнографичность глобальна, безнациональна, безлична. Это международный промышленно-коммерческий товар, производимый потому, что единственный способ для литературно бездарных и литературно безграмотных обеспечить постоянный сбыт сверхмакулатуры — порнография. Ничего иного сбывать постоянно они не в состоянии. На порнографию же в виде откровенной бульварщины или в виде якобы литературы есть массовый спрос всегда. Верняк вытеснил раск.

Роман Апдайка «Кролик разбогател» — это 467 страниц не связанных друг с другом несмешных, нелепых и неправдоподобных непристойных анекдотов — нет, не про евреев, уехавших в командировку, а про выдуманных Апдайком пищеварительно-половых марионеток, которых Апдайк дергает за веревочку с капризным остервенением. Например, у героини романа пропал ее единственный сын. Она заливается слезами. Почему? Потому что у них только что состоялся «обмен женами», и ее мужу досталась Тельма, а он хотел, чтобы ему досталась Синди. Я закончил рецензию так: «Чехов говорит об одном деловом человеке, что тот мог умножать в уме большие числа, но не мог понять, почему люди плачут или смеются. Умеет ли г-н Апдайк умножать в уме большие числа? Так или иначе, он не понимает, почему люди плачут или смеются».

Из романа Филипа Рота «Цукерман раскованный» («Цукерман на свободе»), который я рецензировал вместе с романом Апдайка, ясно, чем отличаются «лучшие романы» западного литературного истеблишмента от откровенной бульварщины вне его. Каждый год в США свыше 300 тысяч человек получают университетские дипломы в области свободных искусств и гуманитарных наук. Всякая американская семья, желающая, чтобы их дети были писателями, композиторами, мыслителями и так далее, может дать им соответствующее образование при наличии средств на такое. Получившие образование слышали, что Шелли написал «Прометей раскованный» («Освобожденный Прометей»). Отсюда им ясен смысл названия романа. Цукерман — Прометей, гениальный писатель (Филип Рот взял в качестве прототипа себя). Он раскован, освобожден, больше не прикован к скале (имеется в виду, очевидно, свобода Рота-Цукермана печатать некогда непечатные слова). Ну а те, у кого нет университетского диплома в области свободных искусств или гуманитарных наук, в большинстве своем не поймут названия.

Между домохозяйкой с университетским гуманитарным образованием, женой бизнесмена с доходом в 600 тысяч в год, и его секретаршей без университетского образования с доходом в 18 тысяч в год должна существовать, по мнению жены бизнесмена, социально-культурная пропасть. Поэтому жена бизнесмена не желает читать ту же бульварщину, что и его секретарша. Для жены бизнесмена апдайки и роты и производят «культурную» бульварщину, в то время как секретарша читает «некультурного» Гарольда Роббинса, общий тираж романов которого давно перевалил за 100 миллионов. Поскольку потребители «культурной» бульварщины желают избежать любых сопоставлений с бульварщиной «некультурной», литературный

² В переводе на русский язык эта рецензия появилась в журнале «Литературный курьер» (1983, № 5, 6).

³ Купальные костюмы были неприличны на Западе вплоть до первой мировой войны, а в данной католической школе они, как я выяснил, являются неприличными и-посыне.

истеблишмент Нью-Йорка никогда не упоминает даже имени Роббинса кроме как в нарицательном смысле: как символ «некультурности» низших классов.

Происхождение «бульварщины для образованных» на Западе я обрисовал в рецензии на роман Алдайка и роман Рота следующим образом:

«Первый западный «бульварный роман для образованных», который мне попался в Москве, был издан в 20-х годах в Англии и назывался «Нежелательная гувернантка». Между «Нежелательной гувернанткой» и бульварщиной для необразованных была разница. В последней обычно фигурировали «атрибуты роскошной жизни». «Рыдая, графиня бежала к пруду». Пруд в парке — это был атрибут роскошной жизни. В «Нежелательной гувернантке» блистали «интеллектуалы и интеллектуалки» как современный эквивалент графов и графинь. Героиня уже не бежала к пруду, а читала «Упанишады» — атрибут интеллектуальной жизни. «Упанишады» заменили собой графский пруд. Так же как читатели бульварных романов XIX века должны были ахать, читая про роскошь графской жизни, так читатели бульварных романов XX века «для образованных» должны дивиться культуре интеллектуалов и интеллектуалок»

Граф и графиня в романе Филипа Рота заменены гениальным писателем Цукерманом и знаменитой киноактрисой Сезарой О'Ши.

В бульварщине «для необразованных» посещение Сезары Цукерманом означало бы немедленную «знойную сцену в постели», каковую сотни тысяч бульварных романистов Запады переписывают друг у друга. Но в «Цукермане раскованном» интеллектуальный граф Цукерман читает ей Кьеркегора. Знаменитой киноактрисе становится не по себе. Ведь она всего лишь знаменитая киноактриса, а он гениальный писатель. Знаменитая киноактриса соответствует незаконнорожденной дочери графа и кухарки в старых бульварных романах.

Что же, гениальный писатель Цукерман собирается читать ей всего Кьеркегора в один присест?

«Цукерман засмеется.

— А что ты сделаешь?

— То, что я всегда делаю, когда приглашаю к себе мужчину, а он садится и начинает читать. Брошусь в окно».

Гениальный писатель Цукерман вынужден снизойти до этой полуграфини-полукухарки и объяснить ей, что он литературный граф, а не какой-нибудь там Гарольд Роббинс: «У тебя беда со вкусом, Сезара. Вот был бы с тобой Гарольд Роббинс, ему было бы проще оказать тебе внимание»

Гениальный писатель Цукерман — это не Гарольд Роббинс, который сразу же потащил бы ее в постель, вместо того чтобы сначала читать ей Кьеркегора. Жена бизнесмена оценит всю графскую роскошь этой сцены. Имя Кьеркегор в начале 80-х годов в Нью-Йорке было таким же графским шиком, как название «Упанишады» в Лондоне в 20-х годах. В то же время «знойная сцена в постели» после чтения Кьеркегора вполне может быть списана у того же Гарольда Роббинса. В результате, читая такую же бульварщину, что и секретарша ее мужа, жена бизнесмена как бы читает высокую литературу, соприкасается с культурой, вращается в том высшем обществе, которое секретарше ее мужа недоступно.

Еще больше культурного шика в названии романа Ежи Козинского «Страстное представление». Жена бизнесмена, имеющая университетский диплом, знает, что это «что-то религиозное», а может быть, ей даже известно, что «Страстное представление» — народное представление, изображающее страсти Господни, Голгофу. Вероятно, она слышала это выражение и в церкви, хотя церкви в Нью-Йорке часто похожи на клубы при московских предприятиях с бесконечными кружками кройки и шитья.

Что же это за страстное представление у Козинского?

«Это не страстное представление, а страстное представление, то есть называя книгу в старом духе: «Всеобщий бордель, или Половая жизнь игрока в поло». (На обложке литературного приложения газеты «Нью-Йорк таймс» сам Козинский был снят по пояс голый и в сапогах для игры в поло.) «Культурное» название и является первым, и последним, притязанием книги на культуру. Читая название, надо сделать этакую постную культурно-религиозную мину. А дальше никакой тебе культуры — один бордель. Есть даже роман игрока в поло с лошадей и с двумя лесбиянками сразу.

В одном из своих бесчисленных интервью Козинский выразился в том смысле, что русские писатели, мол, ныли в России — им не дают писать, а приехав сюда, опять не пишут, а лишь теряют время, сидя в кафе и рассуждая о судьбах России. Вот уж Козинский времени действительно не терял⁴.

Стоит упомянуть два происшествия. Во-первых, оказалось, что писал романы не Козинский, а за него писали. Разумеется, кто угодно может писать эти «лучшие романы», лишь бы у него не было никаких предрассудков в области половой жизни.

⁴ «Континент», 1983, № 35, стр. 252—253.

Во-вторых, в 1979 году роман Ежи Козинского, опубликованный на восемь лет ранее и получивший Национальную премию за лучшую книгу и другие награды и почести, был перепечатан ради шутки на машинке и разослан в 14 издательств (включая то, которое его опубликовало) и 13 литературных агентств. Никто даже не узнал «лучшую книгу», опубликованную всего восемь лет назад, и все получившие рукопись издательства и литературные агенты ее отвергли⁵. Тоже ничего удивительного. Ведь вся сверхмакулатура — это одно месиво, а печатается та или иная бадья этого пошла потому, что на бадье стоит имя, которое «сделано».

Роман Уильяма Стайрона 1979 года «Софи делает выбор» — это не только набор случаев из половой жизни, а еще и «антифашистский роман» вроде романа Фадеева «Молодая гвардия». Неудивительно, что он тут же стал переводиться на русский язык.

В романе Фадеева и в романе Стайрона все политическое правильно с точки зрения того общества, в котором каждый из них жил, причем правильность эта по отношению к фашизму совпадает (и в Москве и в Нью-Йорке фашизмом с 1935 года называют не столько итальянский фашизм, сколько немецкий нацизм). Ни в одной советской или американской книге я никогда не встречал упоминания, например, того, что Гитлер мог просвистеть оперу Вагнера наизусть, ни разу не сфальшивив. Почему же этот факт не упоминается? Во-первых, для этого надо читать архивы, а во-вторых, в то время как Сталин и Рузвельт, чьи войска встретились на Эльбе, — это добро, Гитлер — это зло, как в нравоучительных пьесах века Просвещения. Все советские и западные источники, например, объясняют, что Гитлер был уродлив, ибо как же злодей может быть красавцем? А уж музыкального слуха или вкуса у злодея быть никак не может.

Однако Фадеев опубликовал свой роман (в первой редакции) в 1945 году, и в его нравоучительной пошлости есть все же некая жизненность, ибо он писал роман «с жизни» по горячим следам.

Стайрон опубликовал свою нравоучительную пошлость тридцать пять лет спустя. Он взял ее из нравоучительных программ американского телевидения, которые еще раз пережевывали уже сто раз пережеванное. Конечно, в отличие от романа Фадеева роман Стайрона переливается через край от все той же половой жизни (а иначе кто за него даст и медный цент?). Например, воспроизводится сон Софии, в котором у нее происходит соитие — нет, не с игроком в поло, лошастью и двумя лесбиянками, а с самим дьяволом, причем в церкви, перед распятием. Неправдоподобное бурное соитие, да и все «африканские страсти» во всех «лучших романах» соответствуют подвигам Стаханова, который якобы вырубил 102 тонны угля, в то время как немецкий рабочий вырубал семь.

Самая трагикомическая моя встреча с «лучшими американскими романами» произошла, когда Леопольд Тирманд прислал мне на рецензию роман Ирвина Шоу «На вершине».

Дело в том, что в свое время в Москве несколько театров искали американскую пьесу. Не найду ли я им ее? Мне прислали из США многотомное издание, которое называлось «Лучшие американские пьесы». Я не нашел ни одной послевоенной пьесы, стоящей перевода. Тогда я нырнул в довоенные тома «Лучших американских пьес», и тут положение было еще не столь беспросветным. Читаю я тома «Лучших американских пьес», и вдруг открытие — «Бруклинская идиллия» Ирвина Шоу.

Пьеса Шоу написана в 30-х годах, но это и Нью-Йорк 90-х. Герои Шоу преуспевают по московским понятиям 30-х годов (не живут в коммуналках), но так как удел человеческий — трагедия и комедия, то они трагически и комически несчастны, а «Бруклинская идиллия» — это трагикомедия.

Героиня несчастна потому, что ей приходится каждый день работать до изнеможения за гроши (по ее понятиям). Скучная («нетворческая») работа, скучный Нью-Йорк, скучная жизнь, скучный жених. Она сходится с мелким уголовником, который тоже несчастен потому, что он не крупный уголовник. Он вымогает деньги у ее отца, покупает ей орхидеи, но и тут оказывается, что счастья — нет. У орхидей вообще нет запаха. Но он этого не знает. Поэтому ему представляется, что ему продали не те орхидеи. Всем в жизни везет, а ему нет. Купил орхидеи, а они не пахнут. «Два доллара за штуку — и не пахнут!» Он никак не может этого пережить. Два доллара за штуку — и не пахнут!

Но вот в 1980 году Тирманд присылает мне на рецензию роман «На вершине» Ирвина Шоу. Я читаю. Но это, наверно, не тот Ирвин Шоу, это, видимо, однофамилец.

Так, читая «Единокровного сына» Федора Гладкова в «Летописи» Горького, а потом сго же «Цемент» или читая Чуковского, Шкловского, Шолохова, Леонова в 20-е и 50-е годы, можно было заключить, что это лишь однофамильцы.

⁵ «Books of the Times» Agno Press. Нью-Йорк. 1979, т 2, № 3, стр. 103

Не надо винить Сталина за всемирное всеобщее обмещанивание. Возможно, он даже его притормозил в России. Как писал Джон Стюарт Милль еще сто тридцать лет назад, тирания общества опаснее для свободы, чем тирания тирана, ибо тиран может лишь убить (кого еще?), прославить (кого еще?) и выдумать любую ложь, а общество — обратить двадцатитрехлетнего Ирвина Шоу, который подавал все признаки литературной гениальности, в...

Герой романа Ирвина Шоу «На вершине» — это всесторонне развитый человек нашего капиталистического общества. Молод (потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране), здоров, красив, богат, атлетичен, благороден, умен и культурен (окончил Стэнфордский университет с отличием). Еще в ранней молодости «он начал увлекаться спортом, и в частности лыжами, плаванием и сексом». То есть секс — это вид спорта. Разумеется, секс-партнеры секс-спортсмена — это чудеса голливудской красоты. Но Голливуду легко: отобрал красотку из 14 миллионов американок от восемнадцати до двадцати четырех — и готово дело. А ведь у Ирвина Шоу только перо. Что бы это такое сочинить? У героини «атласная кожа». В английском языке это выражение стало литературным штампом не позднее начала XIX века. Но Ирвин Шоу — этот Ирвин Шоу, а не его однофамилец, написавший «Бруклинскую идиллию», — не знает, что такое литературный штамп. В его описаниях всех красоток присутствует слово «стройный». У одной красотки «стройные, но округленные ягодицы». То, что ягодицы округлены, можно и так догадаться. Но вот стройные ягодицы?

Существует ли в действительности воспетый Ирвином Шоу всесторонне развитый человек нашего капиталистического общества? Конечно, в Нью-Йорке нетрудно встретить богача, излучающего успех, счастье и самодовольство. Но ведь трагикомедию богатства на Западе уже изобразили Бальзак и Диккенс. Глухая и часто незрямая борьба за богатство между супругами, братьями и сестрами, родителями и детьми идет под покровом успеха, счастья и самодовольства. И, как правило, болезни, несчастья, наркомания, неудачи, разводы, самоубийства скрываются, если это возможно. В 30-х годах Ирвин Шоу изображал жизнь, а в 1980 году он создал роман-рекламу, подобно тому как советские романисты начала 50-х годов создавали романы-плакаты.

Наконец, следует сказать о появлении новой литературы на Западе, которую можно назвать бюрократической.

Дело в том, что поэты или мыслители, книги которых стоит покупать, композиторы, музыку которых стоит слушать, и прочие свободные художники, которые стоят внимания, всегда исчислялись единицами. Например, XVIII и XIX, два наиболее творческих в области музыки столетия, дали 17 гениальных композиторов, музыка которых невозможна, то есть ее не слышавший потерял невозможную ценность. Я беру пример из области музыки, а не поэзии, ибо музыка не знает языковых преград.

Знатоки всех наций согласны, что Прокофьев и Шостакович, композиторы, которые провели значительную часть своей творческой жизни при тирании Сталина, — это, возможно, два величайших композитора XX столетия, или, во всяком случае, они исполняются на Западе чаще, чем любые другие композиторы XX века. Следует заодно отметить, что большинство невозможных композиторов XVIII — XIX веков дали Австрия и Германия «тиранов», и Рихард Штраус жил при Гитлере (музыку его Гитлер любил наряду с музыкой Вагнера и Бетховена). А демократия Австрии и Германии последних сорока лет не дала ни одного такого композитора (что предвидели Шпенглер и Бердяев).

Не мешает также вспомнить, что, когда Прокофьев приехал в США в 1918 году с явным намерением остаться, музыкальные критики дружно так глумились над ним, что ему пришлось уехать. Сталин, конечно, мог его убить, а в США музыкальные критики убить его физически не могли, и у него было неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью в качестве, скажем, страхового агента, если нет безработицы. Тут надо было выбирать. Быть первым композитором в тирании тирана, который мог его убить. Или быть страховым агентом в тирании общества, и в частности музыкальных критиков США, которые убить его не могли, но лишали его возможности быть композитором в США. Отсутствие арестов и расстрелов — это отнюдь еще не свобода, и тем более не свобода творчества, и уж тем паче не творчество.

Итак, два века — XVIII и XIX — дали 17 композиторов, по 8 или 9 композиторов на столетие. Но что, если 100 тысяч американских семей полагают, что их дети — будущие Бетховены, и у этих семей есть средства на то, чтобы они «учились на Бетховена»? Университеты эти средства примут, ибо университеты стремятся увеличить свой доход. Сын моего американского знакомого «научился играть Бетховена»

(как известно, первую часть «Лунной» сонаты могут играть все). Вообразил себя будущим Бетховеном. В его возрасте это так естественно. Родители послали его «учиться на Бетховена». Дело оказалось проще простого. Надо кидать бильярдные шарики в открытый рояль. Это и есть музыка, которая записывается на пленку вместо нот. А есть и беззвучная музыка. Подходишь к роялю с секундомером и смотришь на рояль в течение некоторого времени с точностью до секунды. Это и есть музыкальное произведение. Словом, Бетховен или сверх-Бетховен состоялся. А главное, им может быть каждый, имеющий 50 тысяч долларов. Плати и получишь диплом композитора.

В области литературы столь же радужные дали. Если есть беззвучная музыка, то почему же не может быть бессловесная поэзия? Например, профессор поэзии рвет или режет бумагу. Легче, чем написать пастернаковский «Февраль», а?

Но кто будет покупать билеты на концерты бюрократической музыки или покупать книги бюрократической поэзии (чтобы их разорвать или разрезать)? А никто. Новые бюрократические Бетховены и Пастернаки останутся при университете на постоянном жалованье в качестве либо «резидентов», либо профессоров музыки и поэзии соответственно. То есть их музыку или поэзию будут слушать по долгу службы такие же чиновники на жалованье, важно кивая и печатая на университетских прессах наукообразные статьи и книги о новой музыке или поэзии.

Когда Сталин завел Союз писателей, Союз композиторов и прочие «творческие союзы», то даже некоторые из «зарубежных друзей» расценили это как угрозу творческой личности, одинокому гению. В ответ на письмо Горького о том, что писателю надо объединить, Бернард Шоу заметил, что их надо не объединить, а разъединить. Но ведь советские поэты никогда не получали жалованье и не ходили на службу писать (или рвать) стихи. А такая бюрократизация культуры и произошла на Западе, и прежде всего в США, причем в невиданном масштабе. Сталин желал число дармоедов строго ограничить, ибо деньги-то были государства, а государством был он, Сталин. В бюрократизации же культуры на Западе заинтересовано, возможно, все состоятельное большинство населения, желающее, чтобы те из его «отпрысков», которые ни к чему не способны, были бы прилично устроены на жалованье, как новые Бетховены и Пастернаки, в тихой гавани зрелого социализма.

Если «творческие союзы», которые завел Сталин, достаточно наплодили бездарности и достаточно потеснили гений, то западная бюрократическая культура — это вообще, возможно, самая антикультурная сила в мировой истории.

Подведу некоторые итоги. Является ли печатное слово на Западе литературной пустыней? В природе совершенно безжизненных пустынь нет. И в начале 50-х годов в сталинской России публиковался Пришвин, а Пастернак трудился в мирной тиши своей дачи над переводом «Фауста» и романом, который заслуживает восхищения хотя бы как беллетризованные мемуары одного из величайших поэтов в мировой истории. Но все же пустыня есть пустыня. И нет уверенности, что тирания общества не уничтожит все литературные побеги в пустыне Запада, как она уничтожила американского писателя 30-х годов по имени Ирвин Шоу. Нет, физически она его не убила. Наоборот, он стал «лучшим романистом». Но лишь как однофамилец

Можно спросить, почему я привожу в пример «лучшие романы лучших американских писателей». Почему не западноевропейских или латиноамериканских? Мой сын сбежал из Америки в Англию, сказав: «Все же Европа отстает от Америки лет на двадцать. Можно пока понежиться в последних тенях европейской отсталости» Америка — это «волна будущего».

Но почему я взял для примера «лучшие американские романы» начала 80-х годов? Почему же не начала 90-х годов хотя бы ради злободневности? Потому что Тирмаил умер. Покойный был литератором из «отсталой» страны, Польша, то есть страны все еще литературной. А новый редактор, переводной стопроцентный американец, перенюхивал журнал «Хроника культуры» в «Хронику». Разные русско-польские культурные ухищрения его не интересовали. Да и вообще никакой культуры с политической и юридической точки зрения на Западе не существует.

Политически бульварные вкусы большинства на Западе важнее вкусов культурного меньшинства, не говоря уж о вкусах гениев-одиночек, которые вообще не принимаются в расчет. Ну а юридически? Как заметил один американский судья в своем решении: «Что для одного квитанция о сдаче белья в прачечную, то для другого — поэзия».

Правда, есть на Западе ключ, который открывает писателю или кому угодно все двери. Ключ этот — сенсация. Но обладание таким ключом — историческая случайность. Его не было, например, у Замятина, когда он приехал на Запад. И ни одна дверь перед ним не открылась. А он-то рассчитывал писать по-английски — стать вторым Джозефом Конрадом. И не он ли опередил Оруэлла почти на тридцать лет?

«Всякий нормальный человек» ныне повторяет заклинание «свобода и демократия», полагая, что два этих понятия — как бы единое целое, которому противостоят диктатура, партократия, тоталитаризм. Так «всякий нормальный человек» повторял в начале века заклинание «демократия и социализм», полагая, что это как бы единое целое: социал-демократия. А ей противостоят самодержавие, аристократия, неравенство. Однако и по Аристотелю и в XX веке демократия — это избрание правителей большинством голосов, что предотвращает тиранию тирана, которого большинство не избирало.

Но какова бы ни была воля большинства, при чем же здесь свобода? Отсутствие тирании тирана и, следовательно, отсутствие его арестов и расстрелов — это и есть свобода? Но что, если наука и техника откроет-изобретет средства управления человеческой волей без всяких арестов, расстрелов и других «нарушений прав человека»? Впрочем, разве средства массовой информации не являются одним из таких открытий-изобретений?

Большинство может быть тираничней любого тирана, да и быть более посредственно, чем любой посредственный тиран, более бездушно и бездарно. Большинство может съест все и всех, превратив человечество в безликую человеческую икру, в которой мысль о свободе вообще никогда не возникнет. Я не говорю ничего нового по сравнению с тем, что сказал Джон Стюарт Милль еще сто тридцать лет назад. Но то, что величайший политический мыслитель после Аристотеля оказывается непрочтенным даже в странах английского языка, тоже является одним из признаков исчезновения самой мысли о свободе.

Свобода — это свобода личности. У французских мыслителей эпохи абсолютизма, у немецко-австрийских композиторов эпохи местных монархов и у русских писателей эпохи самодержавия было больше свободы, чем у современного жителя Запада, Китая или России — букашки, зависящей от средств массовой информации и окруженной множеством таких же букашек, за которых эти средства думают и чувствуют.

Происходящее ныне во всем мире предвидел Бердяев, в частности, в своей статье 1922 года «Воля к жизни и воля к культуре». То, что в ней утверждается, приложимо прежде всего к самому Бердяеву. За исключением нескольких лет войны, голода и карточек в советской России Бердяев никогда нигде не служил. Когда я это рассказал Сиднею Хуку, который фигурирует в советских справочниках как главный (реакционный) мыслитель США, то он ахнул. «Как же он жил?» — спросил он. «А продавались его книги». На лице Хука появилось выражение пай-мальчика, которому рассказали, что некоторые мальчики его возраста сами ходят в кино и даже удят рыбу! Смесь страха, любопытства и зависти. Эх, воля-волюшка! Присутствующий при разговоре Лео Радица сказал: «А вот я тоже возьму и брошу университет! Проклятая бюрократия! Я мыслитель, понятно? Буду писать книги, как Бердяев. А Лев? Он и при Сталине нигде не служил! Русским все можно, а нам ничего нельзя!» Эх, воля вольная! «Лео,— тихо сказал Хук,— не вздумай и вправду такое выкинуть. Как ты будешь налог на свой дом в Киянти платить? Да ты с голоду околеешь!» Эх, вольная на все четыре стороны!

Иначе говоря, на Западе нет ни одного (признанного) мыслителя или поэта, ибо при всем богатстве Запада ни один мыслитель или поэт не может существовать за счет своих мыслей или стихов. Или он должен служить, например, в банке, или же состоять на службе как чиновник по ведомству философии или поэзии.

Бердяев говорит о «жертвенном преодолении жадности к жизни» в пользу «воли к культуре». Моя тетя Рая подарила мне, подростку, три томика Блока в бумажных переплетах, дивные издания, от которых веяло началом века, и в третьем томе — помните? — фотография Блока, а сзади пожаром зари сожжено и раздвинуту бледное небо, которое на самом деле — скатерть стола. Тетя Рая рассказала, чего ей, студентке, стоило покупать только что вышедшие книги стихов. Ведь денег из дома присылали в обрез. Но Блок! Да как тут последнее не отдать! Ведь это было... Да это нельзя и теперь понять, что это было. И так уже знали все наизусть, а читать не могли, открывали томик, буквы прыгали, как в телеграмме о жизни и смерти. Тетя Рая голодала в пользу постороннего, которого она и видела лишь издали.

Но позвольте, а с какой же стати? Это же неравенство! «...а ныне суждено судьбою мне быть поэтом и царем». Да это самодержавие! «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». А у студентки Рай хлеба насущного нет. Несчастные не живут собой, они живут им, его словом, его вестью о вечности, бессмертии, спасении. Тут не только самодержавие, а и религиозная иерархия, вершина которой уходит в бесконечность.

Инстинктивно каждое живое существо считает себя целью мироздания, смыслом жизни и готово ради себя уничтожить все живое вокруг. Культура — преодоление этого инстинкта. Как Бердяев и предвидел в 1922 году, инстинкт (воля к жизни)

уничтожит волю к культуре. Вот западная студентка. Да с какой же стати она будет голодать, чтобы купить стихи, а тем более мысли? Да ведь она сама учится на Эмили Дикинсон, Толстого, Бетховена или Канта. Да она истратит эти деньги на себя, цель мироздания, смысл жизни. Она Эмили Дикинсон, Толстой, Бетховен, Кант и все гении прошлого, настоящего и будущего в одном лице. Человечество — смотри, как она живет — ест, пьет, веселится, изображает в своем романе половую жизнь не хуже Апдайка, катает бильярдные шары в открытом рояле, творит бессловесную поэзию... Надо только денег, как можно больше денег, все деньги в мире. Деньги — это жизнь, а каждое мгновение ее жизни более ценно, значительно, необыкновенно, чем жизнь всего остального человечества — прошлого, настоящего и будущего. Бердяев писал в 1922 году:

«Рождается напряженная воля к самой «жизни», к практике «жизни», к могуществу «жизни», к наслаждению «жизнью». к господству над «жизнью» И эта слишком напряженная воля к «жизни» губит культуру, несет за собой смерть культуры Слишком хотят «жить», строить «жизнь», организовывать «жизнь» в эпоху культурного заката. Эпоха культурного расцвета предполагает ограничение воли к «жизни», жертвенное преодоление жадности к жизни. Когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к «жизни», тогда цель перестает полагаться в высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в качествах, а не в количествах. Цель начинают полагать в самой «жизни», в ее практике, в ее силе и счастье. Культура перестает быть самоценной, и потому умирает воля к культуре. Нет более воли к гениальности, не рождаются более гении»⁶.

Конечно, выражение «не рождаются более гении» фигурально. Конечно, они рождаются, но что же дальше? Если это гений бизнеса, науки, техники или медицины, то он необходим для «жизни». А если это Блок или Бердяев, то, во-первых, без тети Раи Блок или Бердяев невозможен. А кроме того он букашка, окруженная глобальными средствами массовой информации. И «жизнь» миллиардов человеческих существ, каждое из которых считает себя умнее, талантливее, значительнее его (и всех прочих) и желает «жить», «жить» собой, для себя, во имя себя, съест его, пылинку, одиночку, букашку, как Левиафан маковую росинку. И Бердяев пишет в 1922 году: «Все для «жизни», для ее нарастающей мощи, для ее организации, для наслаждения жизнью. Но для чего сама «жизнь»?»⁷

Как для чего? Об этом сказано в основополагающем документе США 1776 года: для счастья. «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Жизнь — свобода — счастье. Может быть, следует эту триаду удлинить: жизнь — свобода — богатство — образование — молодость — красота — успех — богатство — счастье. См. роман-рекламу Ирвина Шоу «Вершина горы» как пример капиталистического реализма начала 80-х годов.

Но тут возникло противоречие. Десятки миллионов американцев полагают, что счастье — это прием кокаина. И существует опасение, что все население в конце концов обретет счастье в кокаине, а потому стремление к счастью (в данном случае кокаину) преследуется как тягчайшее преступление, хотя это неотъемлемое право. Как бездумно эпоха Просвещения играет словами «жизнь», «свобода» и «счастье»! Какой бездумный Оптимизм!

Однако кокаин — это всего лишь природный пустячок по сравнению с теми биохимикатами, которые создают счастье и которые нельзя и запретить, ибо они наука, медицина. Открывается возможность создать счастье для всего человечества биохимически, причем не надо будет ни свободы, ни молодости, ни богатства, ни образования, ни даже стройных ягодиц, воспетых Ирвином Шоу. Биохимия сможет заменить все. Биохимикат счастья номер один. По желанию клиентов к Биохимикагу счастья номер один может быть добавлен Биохимикат счастья номер два: самая приятная смерть, смерть от счастья, смерть-счастье. Дело в том, что разница между жизнью и смертью, вероятно, исчезнет и счастье станет смертью, а смерть — счастьем

В 1932 году предсказания Олдоса Хаксли относительно будущего Запада многим казались кошмарами-парадоксами. Как можно, например, предполагать выращивание детей в пробирках в США, если таможня США не пропускает в США даже «Исповедь» Руссо как произведение безнравственное? Но вот детей выращивают в пробирках в США, и это считается не кошмаром-парадоксом, а обычной здоровой полезной деятельностью. Однако если можно выращивать в пробирках миллиарды человеко-единиц, то почему же нельзя пускать миллиарды недоброкачественных человеко-единиц на белок?

⁶ «Воля к жизни и воля к культуре» в книге Бердяева «Смысл истории» (Париж YMCA-PRESS. 1969, стр. 252).

⁷ Там же, стр. 261.

Попробую и я подобно Хаксли предсказать некоторые черты будущего Запада на основании примет сегодняшнего дня, дабы увидеть, есть ли у литературы на Западе будущее или же у нее одно только будущее — ее прошлое. Например, публичные дома все еще запрещены в США, но нравы, бизнес, наука обходят закон. По телевидению показывают красоту. Ей можно звонить лицам старше восемнадцати лет. Нельзя, что ли, совершеннолетним звонить друг другу? А уж о чем они будут разговаривать, это их личное дело, не так ли? Но ясно, что это путь в будущее: всеобщий или всемирный публичный дом с помощью всемирного телевидения. Со временем придет и показ происходящего в кабинетах. Соответственно любое лицо мужского пола, начиная с четырнадцати лет, и женского пола, начиная с десяти лет, смогут продавать себя на свободном рынке как секс-товар и приобретать секс-партнеров по сходной цене. Брак распадется, и поэтому у миллиардера (миллиардерши) будет ультрасовременный гарем самых дорогих женщин (мужчин) в мире, а лица с доходом ниже среднего, причем не представляющие собой высокую товарную секс-стоимость, останутся без секс-партнеров вообще. Возможно, начнется их по-вальное увлечение Биохимикатом счастья номер два. Таким образом, неимущие впервые в истории избавят имущих от заботы о себе.

А та американская сверхмакулатура, которую я рецензировал в начале 80-х годов, окажется столь же архаичной, как «Война и мир» или «Сестра моя — жизнь». Кто же будет читать не по делу, а «просто так»? Ведь чтение — это труд! Зачем же даром грудиться, разбирая буквы, коль скоро по телевизору можно увидеть что угодно, а телевизор теперь всюду? Зачем же все эти убогие солдатские анекдоты Апдайка и других «лучших писателей», если можно включить передачу одного из тысяч кабинетов публичных домов, а еще лучше — принять Биохимикат счастья номер один и Биохимикат счастья номер два. Жизнь — свобода — счастье. То есть счастье-смерть, оптимум в этом лучшем из всех возможных миров.

Нью-Йорк.



РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Читайте в 1992 году:

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

О католицизме

Католическое воспитание.

О католицизме.

Речь в Люблинском католическом университете в июне 1981 года после присуждения звания почетного доктора.

Перевел с польского Вл. Британишский.

О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

ОЛЕГ ЛАРИН

*

ТАЙБОЛА

I

Помните, у Юрия Казакова? В одной из своих вещей он вспоминал человека странной, запутанной судьбы, который всю жизнь гордился тем, что прошел когда-то многоверстный северный таежный путь. «„От Пинеги до Мезени! — говорил он шепотом, зажмуривался и крепко стучал кулачком.— А?.. Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени прошел я весь Север!” С тех пор эти два места казались мне мифически удаленными от всего нашего, человеческого. Разные другие места, города и деревни были как-то понятны, они были где-то рядом со мной, но вот Мезень...»

Я привел эту выдержку и невольно усмехнулся. Конечно, и у Гоголя «редкая птица долетит до середины Днепра». Здесь же, мне кажется, преувеличение особого рода: казаковский персонаж словно забывает о том, что обе реки — Пинегу и Мезень — разделяют какие-то несчастные сто двадцать километров. А весь Русский Север, если идти по параллели, занимает расстояние по крайней мере в десять раз больше. Зимой 1987 года новой лесовозной трассой я проехал через пинежско-мезенскую тайгу за неполных три часа.

Что же тогда заставляло этого человека, «потрясаемого дивными воспоминаниями», стучать по столу и, никому не давая слова, кричать о том, что он прошел весь Север от Пинеги до Мезени?.. Я думаю — да нет, я просто уверен в этом! — персонаж Казакова прошел именно тайболу — глухой таежный тракт, проложенный еще в старые, доторные времена, потому что других дорог между Пинегой и Мезенью тогда просто не существовало. Пройти тайболу было моей заповедной мечтой задолго до того, как я приехал на архангельский Север. И жаль, что сам Юрий Павлович не успел побывать в этих краях.

Тайбола! Вслушаемся в звучание этого слова. Оно словно вышло из древних сказок и детских полузабытых снов... В русский язык это слово попало из угро-финский наречий, но и сейчас продолжает жить. В отличие от одноименного тракта, проложенного много веков назад, а теперь уже, наверное, отслужившего свое и ушедшего на покой.

Оставила ли тайбола память о тех временах? Конечно, оставила. Я видел пожелтевшие любительские снимки конца прошлого — начала нынешнего столетия: телеграфные и верстовые столбы, бегущие вдоль обочины... почтовая избушка-кушня в снежной осаде... крестьянские обозы с рыбой и кожами... несколько бревен наподобие гатей, брошенных в разливах зыбучей грязи... инженеры-путейцы в форменных сюртуках в окружении бородатого люда, вокруг — штабеля теса, завалы земли, конские повозки...

О том, как появились эти столбы в тайболе, рассказывают материалы Мезенского историко-краеведческого музея. Оказывается, еще в конце XIX века здешний лесозаводчик Рusanов запросил у архангельского губернатора Энгельгардта разрешение построить телеграфную линию через Пинегу на Мезень. В 1885 году губернатор дал согласие, и Рusanов на свои деньги развез заготовленные столбы по всей трассе на расстояние более двухсот километров. Почтовый тракт, проходивший в этом месте, был очень кривым, с большими петлями и зигзагами. Поэтому начальник строительства механик Розендаль запросил дорожное ведомство о выравнивании отдельных участков. Разрешения на это он не получил, но на свой страх и риск спрямил дорожные зигзаги-повороты и телеграфную линию одновременно. Строительство было закончено в ноябре того же 1885 года.

Жива дорога и в памяти нынешнего поколения. Во время своих поездок на Север я нередко замечал, что многие пожилые люди, с избытком хлебнувшие лиха на своем веку, с годами рассказывают о пережитом с какой-то беспричинной легкостью — не то что жалуется, а просто гордятся и даже выхваляются перенесенными горестями... Анна Николаевна Кашунина, Евдокия Никифоровна Семенова, Николай Афанасьевич Галёв, Разум Васильевич Прокшин, Федор Михайлович Фатьянов — каждый из них прошел лесную дорогу по несколько раз туда и обратно, каждому до сих пор памятны все станции-кушни, все повороты, овраги, крутые подъемы, горки, болота, а также крошечные селения, стоявшие на многоверстном пути. Кокорная, Колодильная, Чублас, Комша, Залазная — сейчас это не более чем теплые избушки, где ночуют охотники, таежные смотрители тайболы, монтеры и электрики.

Сколько еще протянет тайбола, если взглянуть на нее хозяйским глазом? Ну двадцать лет.. ну двадцать. А ведь когда-то она текла по векам и эпохам, как река, постоянная и неизменная. Мне кажется, ее нельзя списывать со счетов. Это дорога-музей, дорога-памятник! И если мы ценим историю, то, уверен, найдем и средства, чтобы запечатлеть ее образы по обочинам тракта — в виде ли верстового полосатого столба, рубленого мосточка или почтовой станции, оборудованной под приют для охотников, рыболовов или будущих туристов. Ну а сейчас в тайболе в лесных избах, как я уже говорил, живут только связисты-обходчики и дежурные электромонтеры.

С одним из них, Анатолием Федоровичем Ханталиным, я познакомился в райцентре Лешуконское, когда он приезжал туда на три дня, чтобы сдать экзамен по технике безопасности для подтверждения права работать по ремонту линии. Как живется в лесной глуши?

— Да просто замечательно,— сказал Ханталин без всякой позы,— лучше не придумаешь. Приезжайте — сами увидите. Все необходимое под рукой — косилка, грабилка, снегоход «Буран», две лошади с подводой, два ружья, кошка, три собаки и три охотничьих избушки в разных местах: живи, наслаждайся домашним уютом, включай телевизор «Сапфир» на аккумуляторных батареях. А не хочешь телевизор — иди на речки Ворон и Карла: хариус, семга, щука, елец, сиг. Или на охоту — рябчик, тетеря, глухарь! Куница тоже попадается. Не жизнь, а малина!

Единственное, к чему он никак не может привыкнуть,— медвежий разбой. До чего же обнаглели лохматые! Ломают старые избушки, разбирают оконные рамы и даже печи.

Так рассказывал мне Анатолий Федорович, хозяин Кокорной, связист-обходчик с двадцатилетним стажем, словоохотливый и добродушный человек лет пятидесяти с небольшим, по характеру и внешности совсем не отшельник...

— Там, в тайге, человек стоит ровно столько, сколько он стоит на самом деле,— покуривая, делился со мной Ханталин, заманивая в свою обетованную глушь.— У меня в Кокорной две комнаты, одна ваша — живите хоть всю зиму. Спать будете на медвежьей шкуре, а накрываться лосиной. Можем поохотиться, попутешествовать — на днях второй «Буран» покупаю. Ну как, договорились? Только предупреждаю: все надо уметь делать своими руками — от выпечки хлеба до мойки полов и посуды. Вот так... Я вам столько всего порасскажу, такую заправку дам! Ведь у нас в Кокорной кто только не жил — немцы, татары, поляки, чечены, западные украинцы.

— Откуда они взялись — немцы, татары, поляки? — не поверил я, зная о склонности пинежан и лешуконцев к разного рода вымыслам и преувеличениям.

— Кому ни говорю из городских, никто не верит,— нахмурился Анатолий Федорович и покачал седеющей головой.— Вот и вы тоже... А ведь жили, жили здесь эти нации! У нас их прежде лишенцами называли, недобитой контрой, кулачьем. Шерстили почему зря и прижимали все кому не лень. А так мужики ничего были — справные мужики, хозяйственные. Эвон какой поселок отгрохали! — махнул он рукой в ту сторону, где начиналась тайбола.— На полторы тыщи душ поселок — Кокорная Верхняя и Нижняя! В Верхней татары жили, своим богам молились, а в Нижней — все остальные.— И не дав мне опомниться, переварить информацию, продолжал выкладывать все новые и новые подробности.— Овес и ячмень знаете какой растили?! Сказать — дак не поверите. По пятьдесят пудов на круг! И это посреди тайги и вонючих болот. Понимаете? А люди-то несвойчатые были, из южных и западных краев пригнанные. И все превзошли, все работы освоили, особенно лесоповал... А поумирало их сколько, боже ж ты мой! Вот приедете — сведу вас на ихнее кладбище. развалы домов покажу, бывшие поля. Тогда и поговорим, идет?

II

А я ведь уже видел ее когда-то, эту тайболу. Крошечную, заметленную колею-кишку, начинавшуюся у пинежских деревень Вальтево и Усть-Ежуга и терявшуюся в голых зарослях молодого тальника. И вот, представляете, прошел мимо, не зацепившись взглядом, не расспросив бывалых людей: откуда тут дорога такая диковинная?..

Было это зимой 1971 года. Еще жил на свете Егор Захарович Дыроватый, охотник божьей милостью и быллинщик, излазивший здешние сузёмы вдоль и поперек и таивший под угрюмой хмельной внешностью, как в нескрытой сокровищнице, необъятные пласты народных и личной жизнью накопленных познаний. И однажды вечером за самоваром старик с поистине королевской щедростью поделился ими со мной. случайным, в сущности, человеком, который приехал в Вальтево по командировочной надобности. Нрава он был веселого, в движениях расторопен, на язык — колкий и озорной. Не замутненный большими летами, острый и непредубежденный ум Дыроватого хранил множество былей и небылиц, пословиц, заговоров и присловий — они сыпались из него как горох, только успевай записывать. Я увлекался тогда северными диалектами и фольклором, собирал материал о жизни пинежской сказительницы Марьи Кривополеновой, и о лучшем собеседнике трудно было и мечтать.

Так вот, в разговоре Егор Захарович упомянул как-то о ссыльных немцах, поляках и татарах, живших где-то в тайболе. Сам он вроде бы работал с ними на лесоповале, некоторых учил выделке звериных шкур и вообще питал к ним явную симпатию. Но тогда, помнится, я был настроен на фольклорную волну, и его сообщение прошло как бы по касательной; все же в записной книжке осталось несколько беглых строчек. Если б не Анатолий Федорович Ханталин, я бы, возможно, никогда о них не вспомнил. Он разбудил, растревожил мою память, беглые строчки ожили, и я, таким образом, смог восстановить некоторые случайно уцелевшие обрывки разговора двадцатилетней давности.

Со слов Дыроватого, ничего привозного в этом поселке не было, но всего хватало. Спецпоселенцы сеяли рожь, ячмень, овес, сажали репу, картошку, капусту, много скота держали. А некоторые до того исхитрились, что под окнами барakov выращивали... цветы. И когда человек шел по единственной длинной-предлинной улице поселка, он видел сначала именно цветы, а потом уже сами бараки, по-северному надежно сбитые жилища, совсем не похожие на унылые лагерные времянки, сколоченные из хлипкого теса.

И еще запомнились Егору Захаровичу, когда он шел зимней тайболой, всегда, казалось бы, онемевшей и оглохшей от лютой стужи, какие-то вихревые, ноющие звуки, переходящие в затяжной вой. Сначала ему думалось с усмешкой: это, должно быть, тайбольский леший со мной в прятки играет. Старики когда-то божились, что такие лешие сбивались иной раз в стаи, вели азартные игры, в их подчинении находились все звери и птицы.

По мере того как Дыроватый приближался к поселку, звуки усиливались, нагнетая безотчетную тревогу. Потом вдруг разом все стихало, ветер, затаившийся в чащобах, снова вырывался на свободу, раскачивал верхушки сосен и так же внезапно умолкал, уступая место тому же ноющему, утробному полустону-полуплачу, который временами срывался и переходил в отчетливо слышимое рыдание, напоминающее вопль отчаявшегося человека. И в эти рыдания наплывами входили какие-то голоса — гортанные, жалостливые и тоскливые.

Дыроватый судорожно крестился, проверял ружье и сторожко шел по лыжне, проклиная скрипящий снег, который мог выдать его присутствие. Нет, никогда он не испытывал страха в тайге; даже в промысловых избушках с их тайными шорохами и колдовскими вздохами по ночам, в бездонной давящей тьме никогда он не хватался за ружье, понимал и успокаивал себя: это тебе привиделось и прислышалось, дружок. сейчас все пройдет... И действительно проходило... Но тут, в тайболе, где знаком каждый куст, при полном параде закатного солнца он испытал не то что страх — липкое, омерзительное удущье, близкое к обмороку. Казалось, сама смерть стоит за его спиной. Даже лайки, слушая этот вой, испуганно жались к его ногам и жалобно скулили.

Но вот темная гряда леса постепенно отступила, дорога пошла под горку, и в просветах между деревьями Дыроватый увидел людей. Они стояли, сбившись в круг, и раскачивались. Один из них читал молитву, возводя очи горе, а рядом лежал покойник. «Татары», — подумал Дыроватый. На фоне яркого разлощенного снега зияющей чернотой выделялась выкопанная могила. Грянул хриплый, заунывный хор голосов, проважавший покойника в последний путь... И в этот момент его настиг и перекрыл другой, визгливый и воющий, но уже не страшный полустон-полуплач.

Охотник все понял, он даже хлопнул себя по лбу, стало стыдно за липкий кошмар, который он пережил несколько минут назад. Резкие, вибрирующие звуки, облепившие каждую клеточку его тела, как ни странно, производила обыкновенная циркулярная пила. Она работала неподалеку отсюда, на лесопилке, а лесопилка обслуживала новый спецпоселок с его спецконтингентом.

Да, да, именно спецпоселок — так называл Дыроватый это загадочное поселение. И номер у него был порядковый, чудной номер с большой дробью, но старик если и знал его, то давно позабыл. Спецпоселок располагал маслодельным заводиком, мастерской по пошиву теплой верхней одежды. А еще кузница была, конюшни, скотные дворы, молотилки, ветряная и водяная мельницы. Ну а поля уходили на все четыре стороны, очень ухоженные поля; и так непривычно было видеть эти раскорчеванные пространства, засеянные культурными злаками, что Дыроватый, приходя сюда, каждый раз не верил глазам своим. Ведь в годы его юности, когда он постигал охотничью науку, на этом месте были густые еловые чащи и непролазные болота. И только на небольших пятках припойменной тверди, по-северному пожни, вальтевские крестьяне заготавливали когда-то сено.

Но что самое удивительное: здешний спецколхоз, состоящий из подневольных шести национальностей, назывался «Прогресс», и командовал им умный немец по фамилии Фрейман. В переводе с немецкого — свободный человек, а по правовому положению такой же спец, как и все...

Ушлый был мужик этот Фрейман и хитрец большой. На всех языках шпарил как по писаному. (Здесь я волей-неволей пытаюсь сохранить речь самого Егора Захаровича Дыроватого — так, как она отложилась в моей памяти.) Умел объегорить поселковую комендатуру НКВД, втереть ей очки и запудрить мозги производственными показателями. До того, бывало, исхитрится, что самого коменданта в дураках выставит. И хотя своих в строгости держал, заставлял вкалывать от звонка до звонка, однако всегда чуял момент, когда надо отпустить тормоза. Никого не разделял: немец ты или «чучмек». Со своих «бауэров» даже больше спрашивал, оттого и уважением пользовался. К каждому подход имел: кому слово скажет веселое — и на том спасибо; кого папироской угостит — данке шён, геноссе Фрейман. С одним побалагурит, байку расскажет — не «чучешь, а расхохочешься. А другого матюками обложит с вывертом и подкруткой. И хотя по-русски мало кто разумел, эти слова в точности доходили...

А люди-то все разные были, как с Ноева ковчега собранные, и каждой нации надо было внимание оказать. В каждой голове надо было покопаться: какой там суп варится? И вот он, Фрейман, кому жареных семечек достанет (это, конечно же, украинцу), кому кисет рисовой муки (это кому-нибудь из Азии), кому губную гармошку (это, само собой, немцу), а кому белой барыни (водки) привезет для поддержания духа. Но для всех и всегда хорошее слово в запасе. Оттого и вражды никакой не было, оттого и вкалывали. А прожили они тут с осени двадцать девятого по осень пятьдесят третьего. Редко кто в неволе столько засиживался...

Так рассказывал мне когда-то Егор Захарович Дыроватый, старый охотник с фольклорными задатками, умерший в родной своей деревне Пинежского района, о чем я узнал совсем недавно... И вот теперь надо было ехать к Ханталину, но сначала, конечно, в Вальтево, чтобы узнать в подробностях, как было на самом деле.

Никто не знает, что нас ждет впереди.

III

Карабкаясь по лесистым склонам, пинежские деревни утверждали себя монументальными срубами изб с крутыми бревенчатыми взвозами, бойкими коньками на крышах, теремковыми ставенками и узкими «косящатыми» оконцами, в которых закатное солнце разливало малиновый пожар. Будто в хороводе к реке сбегали ломаные линии изгородей, напоминая чем-то древнерусский алфавит. Тесными рядами стояли за околицей амбары на курьих ножках, наполовину вросшие в землю черные баньки, скрипели колодцы-журавли.

Плывя по реке, я как бы принимал парад стариннейших построек, где каждый дом кричал о своей избранности, исключительности, каждый был наособицу, а все вместе они смотрелись как некий древний детинец. Но при этом непременно озвученный треском моторных лодок, гулом тракторов, окутанный шлейфом пыли и бензиновой гари.

Вальтево — из числа таких деревень, только, пожалуй, почище и поуютнее. Отсюда я и мой младший сын Кирилл должны отправиться по тайболе. Ханталин

сообщил в письме, что в деревне нужно найти «бегового мужика» Лукина Александра Павловича, а уж он-то и приведет нас в Кокорную — всего каких-то двадцать два километра с половиною.

Но Лукина дома не оказалось, а все его многочисленное семейство вместе с соседскими бабками с ехидным азартом обсуждало последнюю деревенскую новость.

Три недели назад пропали два телка из совхозного стада. Паслись в лесу, заблудились — и с концами. И случилось это ЧП в самый разгар отчетной кампании. Что делать? Ведь начальству пора сводки везти в районный агропром! Сколько могли, столько тянули: может, еще отыщутся, сердешные. А уж как сроки поджимать стали, поняло начальство: виновных искать — дохлый номер, надо что-то самим придумать надо с цифирью поработать...

Запрягли в работу бухгалтера. Крутили, вертели отчетность и так и эдак, с щеки на щеку разные статьи расходов переключивали, три ночи не спали — выкрутились. И по сводкам вышло, что этих двух телков как бы и не существовало. Съездило начальство в райцентр, отчиталось по всем статьям и забыло эту историю. А гу! здарсьте-пожалуйста — выходят эти телки из леса. Прошлись фертом по деревне, показали свои сытые бока в комариных укусах — и на скотный двор. А гам с них прописку-то сняли! Что делать-то — опять отчетность поргитить! Чем ему геперь крыть начальству-то? И перед народом стыдно, и перед райагропромом ответ держать. А главное — как их снова в цифирь вогнать?

Вернувшийся с рыбалки Лукин от души посмеялся над этой историей, сам он как выяснилось, около двух десятков лет оттяпал в животноводстве, знал, на какие хитрости горазды люди, облеченные властью. Год назад вышедший на пенсию (а на Севере эта возможность предоставляется на пять лет раньше, чем в средней полосе), он еще сохранил молодецкую статью, порывистость и склонность к самоиронии. «Мужик у нас нынче такой замухрышистый пошел, что хоть в Красную книгу включай!..» Однако когда он понял, что мы за гости и что завтра, хочешь не хочешь, придется ему с нами тащиться в тайболу, веселости в нем заметно поубавилось. Он сказал, глядя на меня в упор:

— А Ханталин уехал, знаете?

— Как уехал?! — У меня словно украли радость. — Мы же договаривались..

— А вот уехал, и все. Понимаете? К нему трактор пришел в Кокорную. Он его ждал в конце августа, а тот сейчас приперся. И больше такой оказии не будет. Вот и пришлось ему с женой Лией Павловной вещички грузить... Отпуск у человека, понимаете?..

— И что же теперь делать? — Мне даже в голову не могло прийти, что мы окажемся в дураках.

— Дак что... перемогемся, — успокоил меня Александр Павлович. — Возьмем лодку — и айда двенадцать километров. И еще пешим ходом с комариным звоном с десяток верст. Сынок-то ваш как, выдержит? — Он с пристрастием оглядел Кирилла, который освоился в избе не хуже его внуков: все вместе устроили здесь форменный бедлам.

- Привычный, — заверил я.

- Ну дак и ладно. — И, махнув рукой, отвернулся, почти забыл о моем существовании, целиком переключился на разговор деревенских кумушек, выдававших такие перлы народного красноречия, что впору было братья за карандаш.

Ох уж эти деревенские пересуды! Здесь важно только начать, дать затравку, а там язык сам понесет по волнам житейского моря, заведет в такие глубины прошлого и такую изнанку, такие потроха вывернет наружу, что боже ты мой. При других обстоятельствах я бы весь обратился в слух, но душу травила неудача с Ханталиным. Надо же, столько временихлопать на подготовку, приехать на место, оказаться без пяти минут у цели — и все коту под хвост. Ну, допустим, придем в Кокорную, ну увидим развалы домов, заброшенные могилы, отметимся, так сказать, своим присутствием — а дальше-то что? Без человеческих воспоминаний любой пейзаж пуст и безжизнен, как манекен. И только сам человек, если, конечно, ему есть что сказать, что вспомнить, способен оживить это кладбище, эти поля и луга, когда-то политые потом и кровью шести национальностей.

Я смотрел в окно на бегущие по стеклу струйки дождя, на рваные синюшные края туч у горизонта, не обращая внимания на разговор, и вдруг услышал отчетливо произнесенное слово: Фрейман. И при этом кто-то уважительно подчеркнул: Валентин Эмильевич.

— Не тот ли это Фрейман, что в тайболе жил? — заинтересовался я

— Тот, батюшка, тот,— с готовностью повернулась ко мне говорившая бабуся и подмигнула своим товаркам: ну наконец-то оттаял москвич, наконец-то заговорил, а то сидит, понимаешь, как неподшитый валенок.— Он ведь не токо в Кокорной жил, Фрейман-то. Он, как лишенцев отпустили, у нас в Труфановой колхозом заправлял. Столько мук перетерпел, и все через эту власть!..

А Анна Гавриловна, жена Лукина, добавила:

— Эдакого добра, начальства, у нас стоко перебивало — страсть и ужась! Роту можно выстроить, а то и цельный полк. А лучше Фреймана никого не было. Верно, девки? — Все одобрительно загудели, закивали, и Анна Гавриловна поплыла на этих волнах одобрения.— Я его как сейчас вижу. Крепкий мужик, высокий, голосистый, а ходил вразвалку. У него все, как у людей, было: «да» так «да», «нет» так «нет», а остальное от лукавого. Такой был человек Валентин Эмильевич. Его, может, как и по-другому звали, а мы все Валентин Эмильевич да Валентин Эмильевич. Хошь и немец был, а получше всякого русака. Что, неправду говорю?.. Бывало, иной наш деревенский, особенно из фронтовиков, как напьется — сразу к нему в контору: «Что ты меня трудоднем бьешь, фашистская сволочь? Тебя, видать, еще не шекотали по-военному?» А тот ему эдак спокойненько, вежливо: «Пойди проспись, Иван Иваныч. Завтрева поговорим». Никогда голоса не повышал на фронтовиков, а ведь мог смазать за «фашиста»-то. Я с евонным сыном Юркой на одной парте сидела, а жену звали Нюрой — толстая была, в теле...

— А как он сюда попал?

— Известно как — по этапу,— с ходу ответила Анна Гавриловна.— А вот когда это было, мне уж не сказать. Мы еще у матки в животе бегали, а фреймановские ребята уже Кокорную отстроили. С детства все слышу: Фрейман да Фрейман. У кого что не заладилось, сразу к нему: посоветуй, Валентин Эмильевич, подсоби, выручи, одолжи. Жаль, никого уж из стариков не осталось, кто бы вам рассказал... Дак нет, один, кажись, есть — дедко Василий Кузьмич. Он в евонное время,— припомнила она,— на почтовой станции в Кокорной служил. Говоркой дедушка, он уж вам расскажет, обговорит все как есть...

У Кузьмича медленная походка и речь медленная, тягучая, с затяжными паузами. Такой уж он человек: никуда и никогда не спешит, покуривает себе, сидя на короточках у прогоревшей печки, наслаждается дымком папироски и бережно сдувает пепел в открытую створку.

— Так, слушай... Мне было четырнадцать лет, но я не знал такого слова — «кулак». И отец мой не знал. Вот те крест, ежли вру!.. Помню, Егорка, дружок мой, прибегает утром: «Айда, говорит, на берег, кулаков привезли». «Что за птица такая — кулак?» — спрашиваю. «Может, птица, может, зверь — сам я не знаю. А то, что их на пристань Студенец еще ночью по воде пригнали, это точно. Бежим скорей, а то прозеваем!..» И было это, как сейчас помню, в конце июня двадцать девятого. О коллективизации тогда еще никто и слыхом не слыхивал...

Его жена, начальственного вида особа в строгих бухгалтерских очечках, усаживается рядом со мной и смотрит через плечо: правильно ли я записываю, не совру ли чего.

— Верно, в июне двадцать девятого,— еще раз проверяет свою память Василий Кузьмич и морщит лоб.— В тридцатом году другие пароходы шли — в верховья, и к нам они не приворачивали. А этот первый был, потому и помню... Ну вот, прибежали мы с Егоркой на берег, а там у пристани «Партизан Быстров» стоит и за ним длинная дощатая баржа. И никого народу нет. Что за чертовщина? Только гул идет изнутри баржи, вроде как осиный рой никак не успокоится. Поднимаемся мы по трапу, открываем люк, а там, в трюме...— Старик делает судорожную затяжку, слглатывает слону.— Смерд, зловоние, копошение. Будто комок червей перекрученный шевелится. И не пойму никак: люди там или кто? А как пригляделся маленько, вижу: образина страшенная к люку тянется, черный рот разевает и пальцем в рот тычет. Пить, видать, просит. Ну, взяли мы с Егоркой ведро, зачерпнули в реке — и к люку. Ой, что тут поднялось! Вопли, стоны, плач — и все не по-нашему кричат. Их, видать селедкой кормили, а воды не давали. И не столько пьют, сколько на себя льют. Руки трясутся, глаза выпучены, а вонища... Тут кто-то сзади меня хватъ — и по морде. Вижу, Егорка тоже на палубе лежит, кровь с носу утирает...— Старик ощупывает меня взглядом.— Ну, кто это нас так уделал? Думай, москвич, думай!..

— Вохра?

— Верно, вохра. Здоровенные такие бугаи, откормленные, в форме НКВД. И оловянные полтинники вместо глаз. Я таких гадов прежде не видывал.

— Василий,— предупреждает его жена и косится в мою сторону,— выбирай выражения. Через срок живешь!

Кузьмич небрежно отмахивается:

— Не пугай, не из пугливых. Обо мне уж гробовая доска стучит, нужен я им Одно только название, что мужеского полу... Слушай дальше, москвич, и записывай.. А охрана у них на барже вроде как для близиру поставлена. Чего их охранять-то, задохликов? И так никуда не сбегут: семейные все, верующие. целыми кланами взяты. А за что взяты, никто толком не знал... И засунули всех этих «врагов» в телячьи вагоны. Если у кого и были какие харчи, то давно приели. Потом-то я узнал ихний эшелон в Вологде сформировали, в январе двадцать девятого. Видать, ими товарищ Сталин кулацкую навигацию открывал. До нас, до Пинеги, их почти полгода везли. Сначала в товарных вагонах жили, потом в разграбленных монастырях, в пересыльных тюрьмах, подвалах домов. А в Архангельске в баржу посадили — и к нам В трюмах были восьмиэтажные нары оборудованы. Плыли они недели три, а то и больше, и кормили их затирухой. Знаешь, что это такое? Вода, соль, мука — и готов супчик. А как мука кончилась, стали их селедкой кормить. И после селедок смерти пошли. в основном старики и дети помирал. Но их трупы наверх не выдавали: боялись, что за умершую душу конвой сбавит норму кормежки. Так и плыли вповалку с мертвецами...

Жена Василия Кузьмича переводит беспокойный взгляд с меня на мужа и качает головой: куда же это тебя занесло, старый черт! Гляди-кось, какой праведник выискался! Жил себе и жил, никого не трогал, а тут... нате пожалуйста!.. разговорился. Оно-то, конечно, ничего, что разговорился, здоровьем не помеха, но вот время-то больно ненадежное: того гляди перевернется и тебя другим концом стукнет... А им-то что, с городов которые! Они нынче шибко смелые стали с разрешения начальства, обличители хреновые с высочайшего дозволения! А как что переменится — дак мигом отбредутся, тебя же первого за такие слова и укутут... Но старик не видит осуждающих взглядов жены, он вошел в раж, его уже не остановить.

— А потом началось — содом и гоморра! Выдернут из трюма, как морковку из грядки, и как хочешь. Есть силы — иди, нет сил — ползи на карачках. И ползи, как миленькие ползи. Прямо по трапу вниз, а за ними лохмотья волочатся. Руки и ноги в болячках, глаза красные, гнойные, а вид радостный. Озираются вокруг, обнимаются, лопочут не по-нашему: красота, мол, какая! воздух, мол, какой! земной рай! и воды кругом — хоть залейся!.. А бабы наши уткнулись в повойники и режут: никогда еще таких получеловеков не выдывали. Мужики и те с ноги на ногу переминаются. Кто немец, кто татарин, кто поляк — не поймешь: все на одно лицо, на всех одна лохмота. Встали с детишками на карачки и лакают из Пинеги, как собачки. А полтинники оловянные по бережку прохаживаются, на задохликов показывают и нас вразумляют: это, говорят, контра недобитая кулацкая, пусть теперь трудом беззаветным искупит свою вину перед советской властью...

— Ты ври давай, да не завирайся,— не выдерживает бдительная супруга.

— Да нешто я вру?! — тихо свирепеет Кузьмич и встает от печки. — У нас тут в Кулогорах — километрах в сорока деревня — Рыков Алексей Иванович в ссылке сидел. Думаешь, его сюда на голодную смерть загнали? Фигушки, как бы не так! А дело, кажись, году в пятнадцатом было, точно не помню. Я об этом в нашей районке читал, архивные материалы. Так вот, не поверишь, ему каждый день суточные шли от царского правительства. И квартирные тоже. Это большевику-то, а? Партия, само собой, тоже подкидывала. И никто ему подрабатывать не запрещал, и еда стоила сущие копейки. Клим Ворошилов, к примеру, на этих хлебах хорошие деньги скопил — сиганул из пинежской закладной ссылки. Во как! А мы говорим: Россия — тюрьма народов. Нет, москвич дорогой, тюрьмой она позже сделалась.

Он с опаской оглядывается на свою половину, но та, махнув рукой, уходит ставить самовар.

— А ты ведь не первый у меня, кто лишенцами интересуется,— меняет тему старик и хитровато посмеивается.— Тебя мой земляк успел обскакать — Абрамов покойный, Федор Александрович. Знал такого? Он мимо нас лет десять назад проплывал, дак останавливался, заглядывал. Мы с Дыроватым ему кой-чего порассказали. Так ты и Дыроватого знал? Ну пострел!.. Так вот, говорят, Абрамов что-то там накагал про лишенцев-то, но, говорят, не больно-то с нашими делами сходится. Что с натуры взял, что из головы придумал: голова-то ему не зря была привешена.

— А что дальше было с теми спецпереселенцами? — спрашиваю я.

— Ну вот, привели их, значит, в деревню и сразу по домам распределили. Председатель сельсовета этим делом командовал. Человек пятьсот по трем околкам

распихал. По три-четыре человека в каждую избу. Избы у нас вместительные были, широкие, светлицы, горенки, боковуши — всем место нашлось. А кому не нашлось, тот гумна да сараи заселил. Кто совсем дошел, тот вскорости в могилевскую губернию отправился, на погост, значит, а кто помоложе, покрепче, тот заробить старался. Кто кирпичи делал — кто штукатурил, кто лес возил. И бабы ихние работали и ребятишки... Мало-помалу оттаяли задохлики, откормились, отошли душой. Тут только мы и поняли, кто какой нации. Как услышишь где-нибудь «вништо», «пше працем» — ясное дело, поляк. Немца еще проще было узнать: когда они говорят, буква «р» у них во рту перекатывается. А татары все «алла» да «алла»... А вот этого мне никогда не понять! — вдруг повышает голос Василий Кузьмич, и его кулак с грохотом опускается на стол, даже чайные ложки подпрыгивают.

И естественная реакция жены:

— Не ори давай! Пупок надорвешь!

— Ты, бабка, молчи! Ты сперва расчухай, а тогда и бухай,— продолжает на повышенных тонах старик и поворачивается ко мне.— Я вот об чем думаю, москвич. Ведь их-то, Европу и Азию, не зря в один трюм засунули. Понимаешь, что учинило траконово семя? У них расчет был, у НКВД, чтоб Магомет на Христа с ножом полез. Чтоб, значит, перегрызли друг дружку в потемках, как в Карабахе. Модельщики-то они были отчаянные — что те, что другие. А поляки вообще не нашей веры. Чуешь, куда я гну? — Кузьмич заглядывает мне в глаза, выдерживает паузу и говорит раздельно и с придыханием: — А они взяли и задружились. А?! Нет, ты раскинь головой, как это понять-то? В какие это ворота лезет? Задружились — не разлей водой! — Он откидывается на спинку стула и разводит руками.

— Общая беда слружила. Так я понимаю?

— Не-ет,— отвечает мой довод старик и режет ладонью воздух.— Ты мне про общую беду салазки не загибай, я воробей стреляный. Верней, подстреленный. Люди есть люди. Это радость у них всегда общая, а беда у каждого — своя!

— Так что же вам тогда непонятно? — недоумеваю я.

— Поведение ихнее непонятно, вот что! — Василий Кузьмич произносит это с запальчивой обидой в голосе, с нервическим блеском в желтоватых вспыхнувших глазах.— Как у нас в Вальтеве было? Жили, допустим, у тебя в доме поляки или немцы, ели за твоим столом, спали на твоих койках, на вид вежливые, участливые — а в гости к азиатам бегали. Или азиаты к ним. По-че-му? Мы ж все-таки не посторонние, одному Богу молимся, дружить вроде должны. Европа как-никак, белая, что ни говори, раса! А они к чучкекам заладили... Бывало, приходят татарские бабы к наши полячкам — и давай лясы точить. Ла-ла-ла, ду-ду-ду... Одна, значит, на своем тарабарском шпарит, а другая ей «пши-пши» отвечает. И толмача никакого не надо: всем все ясно. И ребятишки ихние так же лопочут и играют всегда вместе. А на нас зверьками затравленными смотрят. По-че-му?

— Мудрый вы человек, Василий Кузьмич, а очевидных вещей не понимаете,— не выдерживаю, прерываю я старика. Мне кажется, что истина настолько проста, что не требует доказательств.— Это нормальная реакция людей отверженных, обреченных. Вы для них тогда кто были? Временные хозяева, вольные граждане. Вольные, понимаете? Дали крышу над головой — спасибо. Еду, постель — дважды спасибо. А с татарами они равны, понимаете — равны. И им с ними еще жить и жить. Судьба их одной веревочкой связала...

Старик вскидывает на меня глаза, окрашенные горечью и недоверием.

— И откуда ты все знаешь, москвич?

Я молчу, пожимаю плечами, и он уходит к печке курить. Кузьмич сидит у раскрытой створки, опустив седую голову со вздернутым хохолком на затылке, и табачный дым обвивает его пальцы с коричневыми, в заусеницах ногтями. Я понимаю, что сегодня его расспрашивать уже бесполезно, запал из него вышел, что-то дрогнуло в нем, переломилось, моих вопросов старик все равно не услышит, да и жена все время держит его на мушке...

IV

Березовая аллея, березовый бульвар, березовое шоссе — вот что такое тайбола. Как будто это не изъезженный многими поколениями гужевого тракт, а увеселительная парская тропа. Как будто не простой крестьянин, а высокоученый лесовод или ландшафтный архитектор поработали здесь сто с лишним лет назад, сотворив лесную дорогу по законам паркового искусства. Плавные, обтекаемые повороты, плюшевый

сиреневый мох под ногами, манящие просветы сквозь деревья с окнами жемчужной речки Ежуги и краснощежими щельями-берегами, опутанными разноцветными лишайниками.

Пейзаж дышал былиной, первобытным непорочием: дыши — радуйся, смотри — думай! Но думать было некогда, потому что природа выставила здесь напоказ едва ли не все свои богатства: крупная брусника, душистая малина, черника с голубикой и царь витаминов — шиповник. А грибов было столько, что они буквально путались под ногами, и в основном подосиновики и сыроежки. Все как на подбор крепенькие, ядреные. С красными, оранжевыми, в крапинку и полосочку шляпками и точеными ножками, грибы смотрелись как некое законченное произведение, и мы с сыном за каких-нибудь пять—семь минут прямо на дороге набрали два полиэтиленовых пакета.

Но Александр Павлович Лукин не принял нашего канареечного восторга. Он наставительно поднял палец, затем отобрал у нас пакеты и со словами: «Вы что, мужики, на тот свет собрались? Ежли поить захотели, у меня в рюкзаке всего до горла!» — принялся за сортировку. На наших глазах большинство «произведений» полетело в кусты, а сыроежки он даже принялся затапывать ногами.

Кирилл впервые видел такое надругательство над грибами, а я тихо себе посмеивался, потому что не раз сталкивался с подобного рода предрассудками. И почему-то чаще всего именно здесь, в Архангельской области, где в силу каких-то непонятных причин население почти повально заражено недоверием к этим невинным и очень даже вкусным грибам, называемым сыроежками, которые в специальных справочниках отнесены к третьей категории съедобности... Чем это объяснить и откуда мода такая пошла, но в каждой северной местности издревле существуют свои «мухоморы» и свои «поганки», нередко ассоциирующиеся со словом «смерть». И вера в эту ересь неистребима!

«Как темный лес, он набит суевериями», — подумал я о проводнике, когда тот, присев на сухое корневище, принялся развивать перед нами грибную тему — обычный треп со множеством вариаций, примеров и случаев, свидетелем которых он якобы был сам... Но вот Лукин произнес: «А в сентябре двадцать девятого что тут делалось! Услышишь, дак не поверишь» — и я понял, что вот сейчас-то и начнется самое для меня интересное...

В сентябре 1929 года спецпереселенцев погнали по тайболе в местечко Кокорная. Обоз выстроился из полусотни телег, на которых лежали старики и старухи с малыми детьми в обнимку, а следом тащились лишенцы, сопровождаемые взводом охраны. Каждый из этапиремых думал о своем, но мысли их были невеселы. Что ждет на новом месте? И будет ли там хлеб, крыша над головой? И сколько лет им ишачить в этой болотистой тмутаракани? Слышался только натужный скрип колес да всхрапы лошадей на крутых подъемах.

Примерно на середине пути, после горки Крутой Скачок, комендант объявил привал, и все наперегонки бросились собирать грибы. Над лесной поляной вскоре задымилась костры, отовсюду потянуло запахами аппетитного варева. Поляки и украинцы из пограничных областей освоились с грибами довольно быстро: хочешь не хочешь, а есть-то надо! А вот немцы и кое-кто из татар поначалу капризничали, осторожничали, ожидая подвоха — уж больно непривычное для них кушанье, — но острый запах лесной похлебки дразнил намаившихся за день людей, и чувство голода возобладало над предрассудками. Над ними потешались русские из комендантского взвода, их уговаривали поляки и татары: как можно отказываться от такого удовольствия! И «бауэры», словно извиняясь за национальное пуританство, быстро прикончили свои котелки, а некоторые даже подкинули вверх большие пальцы.

И в это время, когда все сидели у своих костров, раздались крики. Долгие, отчаянно-придушенные крики-вопли, переходящие в хрип. Они шли от придорожных елей, из чащи отцветающего иван-чая. На поляну выполз смуглый человек в папахе, за ним еще и еще... Это были чечены, большой семейный клан гордых кавказцев...

Для уединенной молитвы горцы выбрали себе поляну по соседству, а закончив обряд, принялись собирать грибы для братской трапезы. Но в тайге они никогда не бывали, грибов никогда не видели, а спросить, какие из них съедобные, какие нет, либо не догадались, либо постеснялись. И потому выбрали самые красивые, на их взгляд, самые крупные и мясистые — мухоморы.

Последствия оказались страшнее, чем можно было ожидать. С помраченным сознанием и выпученными глазами, раздираемые рвотными спазмами, чечены ползали среди ссыльных не в силах объяснить свалившееся на них несчастье. Стоять

и ходить они уже не могли. Вид извивающихся, рыдающих бородатых людей в белых папахах внушал суеверный страх. Мужчины растерянно совещались, пытаюсь понять происходящее. А дюжие охранники с отъевшимися ряшками пинали горцев ногами пытаюсь привести их в чувство. Долго так продолжалось, пока комендант-гепеушник не догадался проверить содержимое котла, из которого ели горцы.

Кого-то удалось отпнуть отваром из шиповника и листьев брусники, кто-то отошел сам, а многие из стариков умерли. Но как бы там ни было, гордый народ с дерзкими чертами смуглых восточных лиц, не умеющий объясняться по-русски, не мог и не хотел жить среди тех, кто был свидетелем его позора и унижения. Меньше чем через полгода, когда Кокорная уже поднялась на ноги, никого из чеченов не осталось в спецпоселке. Они бежали через болота и топи туда, к железной дороге, в сторону Котласа, чтобы, смешавшись с сотнями других несчастных, добраться к отчим аулам, под близкие звезды и тишину пустынных гор... Но вот добрались ли? Скорее всего нет. Безобманные, доверчивые люди, к тому же разделенные языковым барьером, в одинаковых смушковых папахах и кожаных ноговицах, они стали добычей всеподданнейших слуг режима в форме ГПУ. И почти наверняка никто из них не сдлся живым.

И снова тайбола с медлительной подробностью разматывает свои километры. Старая, не запятнанная шинами и гусеницами тракторов колея из бог весть каковских времен. Много веков подряд в ветер и снег, в облаках пыли и в тучах лютого комарья денно и ночью скрипели здесь обозы, двигаясь по древнему, проторенному местным людом тракту. Через колючие леса и топкие болота, мимо ягельных опушек, чистых говорливых рек и лешачьих озер, от дыма к дыму, от яма к яму вилась нескончаемая санная и тележная нить, кровоток жизни, завязывая гроздь больших и малых селений. И все, кто тут жил когда-то, привыкли к подвижной, богатой событиями жизни.

Вот и сейчас, вышагивая по березовому проспекту, мы стали свидетелями микроскопически малого события. Вездесущий Кирилл вытащил из кустов какую-то искореженную железяку и волочил ее по земле, припевая: «Эх ты, русская дорога, семь загибов на версту!» Мы долго не обращали внимания на его баловство, занятые разговорами. пока мне в глаза не бросились странные формы, а главное, тусклый серебристый цвет этой железяки, будто покрытой патиной или облицованной алюминиевой фольгой. Откуда тут благородный металлолом? Внезапная догадка зашевелилась во мне.

— Так это же титановый сплав!

Лукин пнул железяку ногой и охотно подтвердил:

— А что, верно. — Он посмотрел на меня как на подающего надежды ученика. — Гостинец из космоса, не что-нибудь. Такие вот у нас нынче. Кирюша, грибы пошли...

Это были обломки от первой ступени ракеты, запустившейся с космодрома Плесецк, и такими драгоценными «гостинцами» усеян нынче весь Север — от Мезени до Ямала. Сколько раз приходилось слышать об этом, сколько раз читать, а они все растут, эти головешки из поднебесья, усеивая ягель острыми осколками, о которые ранят копыта олени. Многие сотни гектаров тундровых и таежных пастбищ фактически выведены из хозяйственного оборота, оленеводческие колхозы терпят большие убытки. А Главкосмос все обещает и клянется, что очистит северные территории, ничего практически не делая. Добрый хозяин уже после первого запуска наладил бы сбор и переработку космического «урожая» — как-никак титан, дорогостоящий тугоплавкий крылатый металл¹. Можно ли представить его в виде свалки металлолома?

Раньше, на заре космической эры, отработанные ступени военные из соображений секретности взрывали на месте, и осколки разлетались куда бог пошлет. Одна из таких «головешек», начиненная электроникой, весом более тонны, с ужасающим воем и свистом, охваченная пламенем, врзалась в горловину таежной реки, образовав огромную засасывающую воронку. Нет чтобы оставить в покое угонувшую «ступеньку» — решили взорвать и ее. И от горловины той ничего не осталось, всю взрывом разнесло. Получилось на реке тихое «корыто» с вязкими песками-зыбунами. «Засасывает, к берегу прижимает, когда на катере плывешь. — объяснял местный речник. — Весной в этом корыте иной раз по несколько барж сидит: вроде бы и не на мели и в то же время ни вперед, ни назад. Вот чего стоит одно «точное» космическое попадание!» Он добавил еще, что со временем здесь выросли замойные косы по берегам, нарушился фарватер реки, ее зообентос и ихтиофауна. Да и рыбы нерестилища сильно пострадали. Не простые нерестилища — семужьи!..

¹ По биржевым ценам марта 1991 года, как сообщала газета «Коммерсантъ», тонна титана марки ВП-0 стоила 46 тысяч рублей, а тонна титановых отходов — 22 тысячи. Сейчас, по сведениям биржевиков, цены подскочили чуть ли не в 10 раз.

Позднее, в 70—80-х годах, космическое начальство отменило разорительные поиски и взрывы ракет на месте и призвало население, точнее исполнительные органы, самому находить титановые головешки и использовать их в хозяйственных надобностях. Сейчас положение чуть выправляется, но нет уверенности в том что Север будет очищен от космического мусора. Под давлением прессы Главкосмос снова вынужден был создать специальные подразделения, но уже не взрывников, а своего рода космических дворников, уборщиков. Два десятка военных на паре вертолетов за три месяца с трудом, как сообщали «Известия» обработали 215 точек, а на большее у Главкосмоса нет средств.

Я вспомнил случай четырехлетней давности, когда возвращался из пришвинской Берендеевой чащи. Это было в верховьях Вашки, притока Мезени. Если б у нас была возможность махнуть туда на вертолете, мы достигли бы этого места за каких-нибудь полчаса. Всего полчаса лёта — и на берегу таежной речушки увидели бы сказочную избушку, будто сошедшую с билибинских гравюр. Такие жилища строили на Руси еще задолго до Рюрика.

Но самое примечательное: перед входом в избушку лежала ребристая похожая на стиральную доску металлическая пластина, о которую вытирали ноги. Из этого же металла был сотворен (именно «сотворен», другого слова не сыщешь) изящный столик с заклепками по окружности, на котором стояли три фигурные пепельницы того же серебристо-тусклого цвета. Ну а когда Володя Кырнышев хозяин избушки он же штатный охотник Комикоопромхоза, увлек меня по деревянной лестнице на крышу и я увидел вместо дранок или ветхой бересты сплошное металлическое покрытие с аккуратными загибами под водосток, я понял нет пределов изобретательности таежного человека, к какой бы национальности он ни принадлежал. «Конверсию по-зырянски» завершало реактивное сопло, которое Володя приспособил под помойное ведро и одновременно под ночной горшок. «У меня еще самогонный аппарат есть из титанового сплава, — с гордостью сообщил охотник. — Но это дома, в деревне. На работе я не пью»...

Дорога уводила в темный сосновый тоннель, и деревья смыкали за нами колючие лапы. Березы по обочинам отступили, разом навалился зеленый сумрак, источавший хвойные ароматы. Заброшенная колея петляла между узлами оголенных корней, похожих на уснувших удавов. Вокруг тянулись нескончаемые зеленые версты с незаметным переходом от одного оттенка зелени к другому. И как мгновенная вспышка посреди вечной хвои — желто-ядовитые, как маскхалат десантника, пятна болот, почтенная седина лишайников, черные плечи от недавних пожаров... Как сказал Лукин, это были молодые леса пинежско-мезенского междуречья, не знающие топора и пилы, не слышавшие гула тракторов, где, кроме охотника, давно уже не ступал человек.

— А почему молодые? — поинтересовался я. — Выходит, тут раньше был лесоповал?

— А то как же! — мигом откликнулся Александр Павлович. — Чтобы в лесу жить и лес не рубить? Для чего, спрашивается, тут этих лишенцев держали? Как миленькие рублили! Хоть и несвойчатые были и к лесному делу несподручные, а до всего своим умом докумекали...

— Ну, например?

— Ишь ты, «на-при-мер»... — с ехидцей передразнил меня проводник прибавляя шагу. — Вам на нынешних делянках-то доводилось бывать? Ну и как впечатление? Сплошное болотное поле, где ветра гуляют. Так? И никакого намека на подрост. Будто косою все выкошено. А ведь черника с брусникой просто так не расгут. Им тень нужна, вереск, мох. Да и без елей, вечных своих защитниц, эти ягоды ни за что не подымутся... Так вот у лишенцев, фреймановских ребят, все, как у людей. Было. Они рубили не все подряд, как бог на душу положит, а по природному указу, в три-четыре приема рубили. Понимаете? По мере того как деревья поспевали. Допустим, в первый прием брали самые крупные стволы, процентов примерно на сорок. Потом, лет через десять, вырубали другие деревья, уже подростские, и так далее. Непрерывно, понимаете? При такой рубке сохранялась смена поколений и грибы-ягоды не переводились... Качественная рубка — основа лесовосстановления!

заклучил он и наставительно поднял палец.

— И откуда вы все знаете? — не выдержал, засмеялся я. — Старики видно рассказывали?

— И старики рассказывали, и сам видел. — Лукин будто ожидал этого вопроса. Я ведь тут возчиком у них работал. Как не знать-то..

Я как шел, так и стал, словно наткнулся на невидимую преграду: еще один очевиден! Но почему Александр Павлович промолчал об этом у себя дома? Видимо, готовил сюрприз на подходе к Кокорной. Настроение мое резко пошло вверх, и Лукин почувствовал это, темп его речи убыстрился.

— Мне было лет тринадцать-четырнадцать, и я ни до, ни после уже не видел, чтоб люди так робили. Вот те крест, ежли вру!

— Что, так много?

— Нет, так весело, в охотку! — почти закричал Лукин и засмеялся. — Понимаете? Кому ни рассказываю, никто не верит: где это, мол, видано, чтоб из-под палки так вкалывать!.. Топоры стучат, лесины падают, лошади ржут, полозья скрипят — шуму что на твоей фабрике. И все с подначкой, все с хохотом, без того нельзя, чтоб не погалдеть. Особливо украинцы с поляками старались — гансов шуточками донимали. А те только усмеваются да отмахиваются: некогда, мол, лясы точить, братья славяне план горит, да и Фрейман того гляди зайвится. Уж он-то взгреет — будь здоров!..

Александр Павлович остановился, чтоб перевести дух, и по его лицу было видно, какое удовольствие доставляют ему эти воспоминания.

— Ох, Фрейман, Фрейман! Из него матюки летели как поленья. Вот те крест, святая икона! Он, поди уж, родной язык позабыл: все мать да мать... А начинал обычно так: «Эй вы, граждане советские, медведям да волкам соседские!» Веселый был человек Валентин Эмильевич. Одно слово, артельный вождь. Он вел счет срубленным хлыстам, следил, чтоб халтуру не гнали, чтоб плата выходила по совести. Ну а ежли кто меньше товарищей наработал, тому и пайка поменьше... Но без наших мужиков лишенцы вовек не прожили бы. Вот возьмем хотя бы тот же лес. Да они его как огня боялись! Нечистой лесной силы боялись, она у нас по летам шибко озоровала. А вот с осени, с Никитина дня, лесные духи вроде как успокаивались, засыпали. Что смеетесь? Я вам правду говорю... Вот тогда поселенцы и шли робить в лес. И вели их наши отцы-деды. Сначала выбирали делянку в глухой раде, дорогу к ней прорубали. По ней же потом вывозили на санях хлысты... Придут на место, навалят хвороста, большой костер разведут, нодья называется. Вокруг нее и ночуют неделю, пока избушку не поставят с глинобитной печкой. И вот так работают по двенадцать—четырнадцать часов в течение трех-четырех месяцев. Как зайцы на острове живут. Обедают, когда утро еще не забрезжило, ужинают, когда с делянки вернутся. И сразу на боковую, спать... А бревен заготавливали по нынешним-то временам не так чтоб много. Топором шибко не намахаешь! Зато все, что сдавали леспромохозу, первым сортом шло. Отборный был лес — хошь корापь строй, хошь дачу-дворец для большого начальства. И добывал все это один-единственный топор с топорщиком...

Но вот когда Лукин заговорил о том, что начиная примерно с будущего года вся пинежско-мезенская лесная зона будет разделана под орех, настроение у него заметно ухудшилось. Исполнять эту работу станет ведомственное учреждение М-200, входящее в систему Министерства внутренних дел, — попросту говоря, лагпункт. Сейчас полным ходом идет строительство железной дороги, которая соединит берега обеих рек. В безлюдных чащах скоро появятся новые поселки, за счет «приезжих» резко увеличится население края, вырастет его экономический потенциал. В будущую магистраль вольются десятки лесовозных дорог, которые густо опутают пинежско-мезенскую тайгу.

«Если ты долго будешь смотреть в пропасть, она обязательно отразится в тебе», — выразился один мудрец. Не знаю, насколько уместна эта аналогия в данном контексте, но мое более чем десятилетнее общение с архангельским лесозаготовителями подтверждает эту мысль. Что тут скрывать: «пропасть» отразилась — и еще как! Иначе говоря, труд на лесной делянке стал чем-то сродни скотобойне. Наверное, не каждый читатель бывал в убойном цехе, где на грязном полу безжизненно розовеют легкие, белеют связки кишок и между ними темнеют сочащиеся густой кровью комки сердец. Делянка, в сущности, та же самая скотобойня. В засасывающей, нередко изматывающей душу и мускулы повседнежности человек подчас не ведает, что творит, во имя каких целей жмет на кнопки и рычаги, не сядя подростом и сводя один таежный гектар за другим. Но поскольку человек всегда может найти любое объяснение, лишь бы оно оправдывало его действия, то почти всегда обойдет ту горькую истину, что всему виной он сам и никто другой. Хочешь не хочешь, а приходится признаваться, что лесоруб-личность, лесник-творец мало-помалу уходит в прошлое, теснимые, гонимые безликой рабсильой, гребущими деньги роботами-передовиками.

Люди из оргнабра не столько работают, сколько гонят план, и гонят его с таким несокрушимо искренним хамством, как всё привыкли делать в этой жизни, независимо от того, где трудятся и куда забрасывает их скитальческая судьба. Выполнил

норму — герой, отрубил положенные восемь часов — аллюр три креста, а на остальное плевать. К несчастью, довольно распространенная человеческая особь, особенно на тех производствах, где авралы и черные субботы крепким узлом завязаны с шальным заработком.

И все же это не совсем пропащие люди. Их можно одернуть штрафом, лишить премиальных и очереди на получение жилья. Наконец, воздействовать силой разума. Эти люди подконтрольны, на них распространяется существующий Лесной кодекс РСФСР, предусматривающий какие-то меры пресечения, а значит, зло наказуемо...

Однако в скором времени в пинежско-мезенских лесах станут работать заключенные, и вход в зону будет закрыт. В тайгу нагонят трелевочные трактора, лесовозные машины, челюстные погрузчики, валочно-пакетирующие машины, убийственные для живой среды. Например, давление трактора «Т-4» на грунт — около 45 килограммов на квадратный сантиметр. А сейчас в тайгу привезли универсальный агрегат под названием ЛП-49, при упоминании о котором у работников лесной охраны выступают слезы на глазах, а заготовители выбрасывают сверху большой палец и восторженно балдеют: «Машина что надо!..»

Лесоповалочный погрузчик (так расшифровывается ЛП-49) видом своим напоминает чудовишного робота из фантастического фильма. Он движется по делянке, проворно орудуя смертоносным хоботом-манипулятором. Секундная работа электропилы, вмонтированной в хобот, — и дерево уже лежит на загривке лесоповалочника. Навалит он на себя пять кубометров, разгрузится на верхнем складе и снова на лесосеку. Лесопожирающий манипулятор захватывает стволы на расстоянии трех-четырех метров, гусеницы ЛП-49 оставляют после себя мертвые пространства, на которых уже ничего не растет. («Эта машина проутюжила и вывернула наизнанку всю лесную почву, — жаловался мне главный лесничий Архангельской области Алексей Филиппович Заволожин. — Как Мамай прошел! Не случайно ЛП-49 и кличку получил соответствующую — крокодил».) Какой тут, к черту, Лесной кодекс!

Но, пожалуй, самая большая беда в том, что люди, которым предстоит работать в этих лесах, подневольны. А подневольный, принудительный труд, как известно, не располагает к усердию и добросовестности. Заключение равнодушен к этой земле, он лишь выкачивает из нее зеленые богатства. Больше выкачает — больше заработает и, быть может, скорее освободится. Он не щадит ни техники, ни окружающей природы, не задумываясь над тем, что останется на месте вырубленных площадей. А осознать, что нет чужой природы — природа везде общая, безграничная, — осужденный не может или не хочет в силу своей несвободы. В силу того, что он окружен колючей проволокой и охранниками, день его регламентирован работой, трехразовой кормежкой, развозом, поверкой, отбоем, а иногда штрафным изолятором или этапом в другое ИТУ. Не случайно более половины ведомственных лесных подразделений МВД считается плано-во убыточными. (Себестоимость продукции в лесных ИТУ, сообщила как-то газета «Лесная промышленность», на треть выше, чем в обычных «вольных» леспромпхозах.)

Я вспомнил отработанную делянку в междуречье Пинеги и Мезени, где недавно потрудились заключенные М-200. Это было продуктое ветрами пространство с редкими пучками трав. Хаотичные нагромождения древесных обрубков, пней и коряг. Черные окна мазутной жижи по обочинам волока. Завалы глины и торфа, перелопаченные гусеницами тракторов. И что самое невероятное: лагдскнехты лесоповала изувечили молодой подрост — деревья, которые в силу своего возраста не подлежали вырубке. Кому они мешали? Им бы еще расти и расти... Я понял: сосновый бор, который шумел на этом месте, никогда уже не возобновится. И никто ни с кого не спросит за содеянное. До министерства отсюда — как до Луны...

V

— Тут кто-то кричит! — Кирилл выбежал из чащи, и в его глазах я увидел безогчетный испуг.

— Это тебе почудилось, — засмеялся я и постарался его успокоить. Вокруг нас словно сомкнулись непроницаемые кулисы из хвои, ушли привычные запахи и краски. — Тайга, да еще такая дикая, как здесь, всегда располагает к страхам. Это не мной замечено. Русский мужик, если хочешь знать, испокон веков боялся леса: здесь леший хохочет, русалка прельщает, болотный водяной заманивает. Так что привыкай.

Мы шли по заросшей мхом дороге, перебираясь с холма на холм, и я действительно услышал какие-то надрывные вибрирующие звуки-крики, которые рвались к нам из сонной дремучей тишины. Они внезапно смолкали на заунывной ноте.

похожей на женское рыдание, и через некоторое время повторялись вновь. Вспомнился рассказ охотника Дыроватого, его страхи, когда он подходил к Кокорной... Было что-то зловещее в этом совпадении, в ежесекундном ожидании новых звуков. Вдруг совсем близко раздался придушенный храп, затрещали кусты, и Лукин закричал что есть мочи:

— Роман! Руслан!.. Где вас черти носят?

И спустя минуту на дороге появились... две лошади.

Зверюгу лесную увидеть еще куда ни шло, а тут лошади! Александр Павлович достал из рюкзака краюху, и они послушно двинулись ему навстречу. Кони косили желтоватыми, в перламутровых прожилках глазами, настороженно всхрапывали, и было немного жутко от этой близости, среди их крутых, потных тел. Сытые и независимые. все в язвах комариных укусов, Роман и Руслан с высокомерной небрежностью принимали знаки внимания. Лукин и Кирилл угощали их хлебом, хлопали по теплым бокам, и, если кто-нибудь огрызался, раздувая ноздри, Александр Павлович грозил кулаком: «Голову откручу на холодец!»

— Совсем одичали без работы, — покачал он головой. — Прямо звери какие-то. а не кони... Ну ничего, вернется Ханталин из отпуска — все образуется.

— Чего же их тогда выпускали? — удивился мой сын.

— Пусть погуляют, не маленькие.

— А если медведь?

Лукин снисходительно улыбнулся: вот, мол, чудак.

— Да к ним ни один медведь не сунется. Копытами забьют... Между прочим, их сюда авиацией забросили. Как десантников! (Кирилл заулыбался.) Что, не веришь? Подвязали с обеих сторон к вертолетному брюху — и напрямик в Кокорную. И ничего, не чихали и не кашляли. Сто километров как миленькие провисели. Я тебе, Кируша, правду говорю.

— А зимой они что делают?

— Без дела не сидят. За водой, к примеру, съездить, за дровами. А связь на линии проверить? «Буран» штука отличная, а Роман с Русланом куда как надежней. Зимой они столько троп кругом понаделают — боже ты мой!

Дорога пошла под горку, расступился зловещий мрак, приоткрывая окна чистого неба, но странное дело — звуки почему-то не исчезали. Наоборот, они приблизились, почти заложили уши гулким, раскатистым эхом, переходящим порой в затяжной хор голосов, и наконец, пока не кончился лесной коридор, материализовались в журавлей. Болотистая низинка, куда они присели передохнуть, представляла собой сплошной копошащийся орущий ком. Мокрые и взъерошенные, птицы кричали трубно и зазывно, хлопали крыльями. Рядом со стаей, словно сторожа добычу, прохаживались жирные бессловесные вороны. Крайние журавли, вытянув шеи, гнали их от косяка, не позволяли приблизиться.

А высоко в небе затягивающей петлей, порой ввинчиваясь штопором, барражировали главные участники птичьей драмы (или игры? или охоты?) — коршуны. Между прочим, когда они сидят на гнездах, то бывают настолько беспомощны, что не видят даже близких предметов. Но стоит им подняться в небо, и они замечают любую мелочь на своем огромном охотничьем плацдарме... Оттуда, с верхотуры, коршуны стерегли журавлиную стаю, не давая ей взлететь и заставляя тратить силы в сполошном крике...

И тут сразу, без предисловий началась Кокорная. Хоть я и готовил себя к этой встрече, подогретый рассказами вальтевского Василия Кузьмича, все же растерялся. Уж больно неприглядная была картина и никакого намека на человеческое жильё. Пока мы шли по «улице» поселка, а точнее говоря — барачного городка, ни одна деталь не бросилась мне в глаза, ни одна примета не выдала, что здесь поколениями жили немцы, поляки, татары, украинцы. Время безжалостно вытравило их следы. Будто забытое кладбище, необитаемая часть суши! А ведь помимо трех-четырёх сотен барачных здесь стояли еще конюшни, скотные дворы, кузницы, мельницы, маслозавод, кожмастерские, лесопилка.

Наверное, опытный глаз мог бы отыскать среди растительного беспорядка какие-то развалы домов, остатки фундаментов, но их теперь скрывал жалкий, рахитичный осинник, свирепые злаки. Природа взяла обратно отвоеванную человеком площадь, поля, луга и пастбища, похоронив под собой времена хоть и сравнительно близкие, но сейчас уже баснословные. И как бы в отместку за то, что тут жил человек, оставила на месте домов сорные букеты в виде бурьяна, крапивы, иван-чая и колючек. Я подумал о том, что, если б удалось найти кого-нибудь из лишенцев и вернуть в Кокорную, он бы, наверное, не догадался, что эта заброшенная полоска

земли — его родина, что он исходил ее в детстве босыми ногами, бегал по ней в поле, на рыбалку, водил коней на водопой...

Нет, кой-какие строения еще сохранились: крыша, правда, рухнула, но стены из кондовых, в обхват, бревен еще держались, насквозь прогнившие и изъеденные жучком-короедом. Ткнешь — и посыплется. Когда ветер раскачивал ближние деревья, то тут, то там всплывали бесформенные груды развалившихся барачков. Это все, что осталось от Кокорной. Мы продирались сквозь «улицу», выламывая осину и серую ольху, в надежде найти хоть какие-то приметы промелькнувшей жизни и спотыкались о битые кирпичи, вросшие в землю нижние венцы срубов, обломки чугунок, остатки изгородей. А заросли крапивы обходили стороной: крапива — как бы месть человеку за брошенное жилье. Этот жизнерадостный самосев вкуче с ольхой и осиною прикрывал сверху гниющие и обезображенные останки бывшего спецпоселка с угольями бывшего же колхоза «Прогресс».

В сентябре двадцать девятого комендант ОГПУ Вишняков (по другим сведениям — Малыгин) привел колонну спецпереселенцев с обозом в пятьдесят телег и ткнул пальцем: здесь! И приказал разгружать лопаты, топоры, пилы... Кто половчее, подтверже духом и давно раскусил, что милостей от драконовой власти не дождешься, тот сразу взялся за дело. Ставили шалаши из елохи, рьли землянки, палили костры и заготавливали дрова на долгую осеннюю ночь. Но большинство стояло не двигаясь, в немом ошеломлении, не в силах уразуметь, зачем вохре понадобилось селить их на этом гиблом, навывлет продаваемом пятачке.

Комендант напоследок толкнул речь, что партия, мол, оказывает лишенцам особо важное доверие — сделать цветущим Крайний Север, — и ушел пить чай на почтовую станцию. Охранники разметили территорию, расставили посты, чтобы никто не сбежал. Один за другим вспыхивали костры, бросая косые отсветы на лица людей; в их душах все онемело, заглохло. Они не устали, не изверились, не отчаялись — это не те слова, которыми можно измерить предел истощения сил и душевной подавленности. Им казалось, что небо над ними никогда не очистится и солнце никогда не покажется сквозь голые, окоченевшие деревья... Дети испуганно жались к матерям, никто не плакал, не просил хлеба. Глухая тишина пала на землю.

Так началась долгая таежная ночь, которая длилась двадцать два с половиной года...

Помните, у Солженицына: «От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населенный пункт, ни в какое обжитое место, — а к зверям, в дичь, в первобытное состояние... В трех-четыре километрах бывала удобная пойма, — но нет, по инструкциям не положено близ нее селить!»

Чем прокормить себя, тоже определяли чекисты. Первые два года поселенцам запрещено было сеять овес и жито. Хорошо еще, что не лишили воды: протекающие поблизости речки Еюга, Колодливая, Ворон и Карла нет-нет да и подкармливали щукой, сорогой, хариусом. Но на ораву в тысячу голодных ртов разве напасешься рыбы? Выкручивались как могли: кто на охоту ходил с силками и капканами, кто грибами-ягодами и травами целебными промышлял, а кто спасал себя молитвой во славу Христа или Магомета. Бывали такие годы — зелеными их называли, — когда хлеб на корню вымерзал, и приходилось примешивать в пищу разные суррогаты. Пихтовую кору, например, или сухой белый мох. Его толкли в деревянных ступах, перетирая в порошок, добавляли немного ячменной муки и пекли хлебы... Огонь и тот был проблемой! Долгое время в Кокорную не завозили спичек, и, чтобы разжечь у себя печь, приходилось бегать, как первобытным людям, от соседа к соседу за тлеющим угольком или головешкой...

И все же это был спецпоселок с более-менее благополучной судьбой. (Пусть в меня бросят камень за кощунство!) Разве его можно сравнить с теми, приравненными, по сути дела, к лагерям, — в Васюганье, на Оби, Печоре, Чулыме, в Казахстане, где территорию ссыльнопоселенцев обтягивали колючей проволокой, а по углам ставили сторожевые вышки с прожекторами? Нет, Кокорная жила куда как свободнее. И дело у нее было серьезное — лесоповал, и кормилась довольно сносно, и режима здесь такого не знали: шаг влево, шаг вправо — побег. И хотя в бегах находились постоянно десятки ссыльных («Этих ни искать, ни наказывать не надо, — говорили, ухмыляясь, вохровцы. — Сами себя к смерти приговорили! Кругом ведь болота да топи») и дети умирали от голода и болезней и старики, было все же в этом народе, разноязычном и разношерстном, какое-то крепкое, неразложимое ядро, скрепленное верой и семейными узами.

Мужичкой назвать эту ссылку можно с очень большой натяжкой. Ну какие они, в самом деле, мужики — эти «бауэры» и муллы, эти скотоводы, виноградари и земледельцы, пришельцы из звонких, изобильных краев! Мужик, куда бы он ни попал, всегда двух генералов прокормит и себя не забудет. А эти были «несвойчатые» как выразился Лукин, изнеженные под южным благодатным солнцем (кроме поляков) Да и не все среди них умели и хотели работать. А вот поселок построили и хозяйство наладили будь здоров!

По официальным бумагам, строительство спецпоселка вел архангельский трест Северолес. Но строились, конечно же, сами, без участия всесильного ведомства, которое, выдав голику гвоздей и скоб, фактически устранилось. Архитектор природа и человек гудились как бы в паре, сообща. Это было прирожденное умение ссыльных поселенцев (говорят, украинцы в этом сильно преуспели) использовать рельеф местности, умение привязать ее «пейзажные возможности» к строительному замыслу.

Своими силами делали кирпичи. Когда кончались гвозди, в ход шли сучья лиственницы. Не было извести — подмешивали в глину мякину и конский навоз. Вместо голя для покрытия крыши с успехом использовали бересту и дранку.. Вот так, «всем смертям назло», вырос тут град-детинец барачного типа с широкой улицей и двумя порядками домов, выкрашенных в голубое. А за ним и второй в двух километрах, куда переселились татары. (Районная «Звезда» выходящая в Лешуконском сообщала недавно «Здание восьмилетней школы, перевезенное из поселка спецпереселенцев, поражает своей добротностью. До недавнего времени оно считалось лучшим в районе, самым теплым и светлым. Рубка стен сделана в чистый угол, а это довольно необычно для наших северных деревень».)

Но, пожалуй, самые большие испытания ожидали поселян, когда они вступали в поединок с лесом для добывания хлеба насущного. Весной выбирали в тайге место под пашню и выпас, рубили и выжигали все подчистую. Лес сопротивлялся человеку, упорствовал. Только он вырубит одну делянку и примется за другую, а тут первая уже начинает зарастать. Снова прорубать приходится — жгут ее, выкорчевывают.

В первый год после выжega и корчевки леса сеяли здесь репу, поле так и называлось — репище. А потом уже выращивали картошку, морковь, капусту, коноплю, сеяли овес и ячмень. Ячмень на Севере имел короткий вегетационный период — плюс-минус сто дней — и давал устойчивые урожаи при двух- и даже трехкратных посевах на одном месте... И уже спешили власти обложить Кокорную людоедской данью.

Хуже того: в 1939 году спецколхоз «Прогресс» получил примерно 22 центнера ячменя с гектара. Слыханное ли дело: под боком у Полярного круга — и такой урожай! Комендант потирал руки от удовольствия, а Фрейман озадаченно чесал в затылке: от добра добра не ищут, как бы чего не вышло. И оказался прав: понаехали чины НКВД и прочие начальствующие элементы, забрали ячменные снопы, а заодно образцы картофеля и овощей, приписали эти «достижения» вольному пинежскому колхозу — и с трубным маршем в Москву, на Всесоюзную сельхозвыставку.

Так и жило оно, это упорное племя из Ноева ковчега, занесенное сюда лихолетьем. Разрастались оба поселка, за счет «вновь прибывших» увеличилось население.

Татары (а это были именно крымские татары) взяли на себя заботы о лошадях и рогатом скоте. У себя на побережье они разводили фруктовые сады, изоощрялись в способах посадки и прививки виноградной лозы, в выделке козых и овечьих шкур, которые шли на экспорт, а здесь стали заправскими животноводами и огородниками. Утратив с веками монолоидные черты, эти татары были похожи скорее на выходцев из Эллады и Италии, в них перекипела кровь греков, готов, гетуэзцев. Но жили они, как и их предки-золотоордынцы, по заветам Корана: «Кто оживляет мертвую природу, го! получает ее в собственность».

Относительно собственности мы помолчим, а вот что касается пущенных в оборот пастбищ и сенокосов, которые с легкой руки татар простирались почти до Колодливой, где начинались уделы другой почтовой станции, тут перед ними можно снять шапку Молоко, сливки, сметана, брынза — этого добра хватало даже в голодные военные годы. Надои — в среднем 4 тысячи литров на корову!

А лесоповалом заправляли немцы, поляки, украинцы и часть русских из вальгевского куста деревень. Но первую скрипку у них играли, конечно же, немцы, рачительные грудяги с юга Малороссии. Давным-давно, еще при великой Екатерине покинули их предки свою историческую родину Вюртемберг и поселились в щедрых днепровских степях. Как сообщал дореволюционный справочник Таврической губернии, при переселении немцы получили в собственность 60—65 десятин лучшей земли каждый, были надолго освобождены от натуральных и денежных податей и им

даровали широкое самоуправление. А если учесть, что вюртембержцы пришли в Россию не с пустыми руками и в культурном отношении стояли довольно высоко, то станет ясно, что их колонии очень быстро достигли хозяйственного расцвета. Занимались в основном разведением высокопородного скота, хлебопашеством, виноградарством, первыми в Тавриде завели сельскохозяйственные машины. Один из колонистов в 80-х годах прошлого века (Ф. Э. Фальц-Фейн) основал всемирно известный заповедник Аскания-Нова, за что удостоился в 1914 году баронского титула.

Несмотря на гонения, ненависть охраны, немцы терпеливо несли свой крест. Не щадили ни рук, ни спин. С только им присущей методичной настойчивостью и организованностью они способны были вжиться в эту землю и обустроить ее так, чтобы давление чекистской власти и не всегда гостеприимной природы ощущалось как можно меньше. «Им самим только и прочувствовать все пережитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать... Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь... Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни, тут и принялся» (А. Солженицын)... И наверное, не случайно именно эта среда выпестовала такого вожака, как Фрейман. Холодный, расчетливый немецкий ум, помноженный на житейскую хватку и изворотистость русского крестьянина.

Ему угрожали свои же соплеменники, не раз устраивали темную; однажды в тайболе он был жестоко избит вновь прибывшими поселенцами только за то, что он, немец, кричал на их «кореша», который бесстыдно сачковал в поле. Другой бы на его месте учинил свой суд или подал рапорт в поселковый НКВД, но Фрейман умолчал об эпизоде с нанесением ему тяжких побоев. И «кореш» первым оценил его поступок: пришел и покаялся...

Другой раз ему донесли (наверное, собственные стукачи были, как же без них): писарь Квятковский по заданию комендатуры утаивает корреспонденцию, адресованную татарским семьям. И объясняет это тем, что там написано якобы не «по-нашему»: что, мол, тут поймешь? А комендант требует ответа... Более того, приходили письма, куда родственники съельных клали деньги — трешки или пятерки. Но никто никогда не видел, чтобы писарь их кому-нибудь отдавал... Фрейман не стал его ни бить, ни отчитывать; узнав фамилии обделенных, приказал Квятковскому вернуть деньги по назначению и назвал срок: две недели. А татарские письма забрал с собой, чтобы раздать адресатам...

А как он спаивал поселковую комендатуру, чтобы держать ее в узде! Вишняков, Малыгин, Вязников, Ситников и прочие «столпы режима» — все они прошли через фреймановские руки, через вязкую паутину искусно расставляемых им капканов и ловушек, где в качестве приманки всегда фигурировала бутылка оловянно-смертельно-синей отравы. Безнравственно? Да бросьте вы, сидючи в уютной тишине семейного гнездышка! Главная цель — не дать расплодиться режимной заразе, убагодворить алчущую плоть начальства — была достигнута. И тут татары ему добрыми помощниками были. У себя в Крыму, в Карасубазаре, они гнали бузу (не предусмотренную Кораном, между прочим), вполне хмельное пиво из проса. А тут проса не было, и в дело пошел ячмень, возможно, голубика — ягода с весьма ощутимой алкогольной потенцией. Сначала ставили брагу, а потом выгоняли из нее (разумеется, в лесной тиши, под покровом ночи) сизевато-мутную смердящую жидкость убойной мощностью 70 градусов, которую «принимали» обычно, зажав нос пальцами, со спазмом гадливости и почтительного ужаса...

Конечно, Фрейман раздвигался в своих действиях, шел на определенные компромиссы с властью, видимо, и сам участвовал в совместных распитиях, разыгрывая из себя своего в доску парня, но вожди из рук не выпускал, направляя в нужное русло приказ коменданта и зная, что тот сидит у него в кулаке, стиснутый мышеловкой зависимости. Ведь алкоголь был тогда такой же валютой, как и сейчас.

Я думаю, Фрейман постоянно испытывал комплекс вины за свою нацию, особенно в годы войны и после, но при этом никогда не скрывал, что он немец. Если бы он не жил среди поляков, татар и украинцев, он бы, наверное, никогда по-настоящему не узнал, до какой степени он немец. Потому что только различие национальных типов, когда они живут вместе и общаются, позволяет каждому быть самим собой. Ощущать единственность своего языка, самоценность своих национальных традиций и привычек. Пусть даже в таких полутюремных условиях, как в Кокорной.

Я так много говорю о Фреймане, потому что за ним — провал, пустота, забвение. Не более десятка имен и фамилий из двух-трех тысяч (а может, и больше) сидельцев с берегов Еюги. Больше не сохранила память местных жителей. Слишком долго я собирался, слишком поздно приехал...

VI

Кажется, у меня появилась уверенность в том, кем был безымянный герой Юрия Казакова из «Северного дневника». Тот самый пришибленного вида человек, «черные глаза которого горели во хмелю фанатичным огнем. Он никому не давал оворить, «кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. Презирал потому, что прошел и проехал когда-то от Пинеги до Мезени...

— Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени прошел я весь Север!».

Скорее всего это был почтарь, обслуживавший тайболу от Лешуконского до Вальтева. Мелкий чин НКВД, хоть и числившийся по почтовому ведомству, но исправно выполнявший функции слуги ГУЛАГа. Кто еще мог свободно разъезжать, за малым исключением, среди запретных владений пинежской части Архипелага? Вероятность того, что это был бывший спецпереселенец, вдруг вернувшийся в столицу, совершенно исключена. В Москву въезд и прописка всем бывшим были запрещены. Да и какой дурак, даже во хмелю, стал бы кричать в те людоедские времена, что он «прошел весь Север», не опасаясь заработать новый срок?! Это мог позволить себе только недалекого ума «оловянный полтинник», кичившийся своей вседозволенностью служака. Не случайно Казаков называет его человеком «странной, темной тогда для меня судьбы».

Вполне вероятно — а что, все может быть, — что Александр Павлович Лукин, тогда еще мальчишка, работал у него возчиком на участке от Колодливой до Кокорной. Это могло быть примерно в 1944—1947 годах. Почтари носили тогда белые полушубки с хрустящей португеей, кобура у пояса, плетка в руке — бойкие, краснощекие, с зычными глотками молодцы, опыненные быстрой ездой. Работа у них была — не позавидуешь. По инструкции на почтовых станциях они должны были находиться не более часа. Сдал письма и посылки, расписался о прибытии, попил чайку — и пошел дальше. Спать в служебных помещениях почтарям не разрешалось. В санях или на телеге — пожалуйста. Велся учет, где они и сколько простояли, какой отрезок пути за какое время проехали. Но это больше для начальства, а на самом деле... всякое случалось: и попивали, бывало, дорогой, и сено приворовывали, и из нагана по глухарям палили, хотя это им строго-настрого запрещалось, и храпели во всю ивановскую на почтовых станциях или в комендатуре, если не было сменных лошадей...

Вполне вероятно, что казакровский герой не раз сидел в этой избе, спал на этом полу, где сейчас, мучимый бессонницей, лежал и я, укрывшись медвежьей шкурой... Жидкий свет, что сочился сквозь запотевшее стекло, с трудом пробивал густой, устоявшийся сумрак ханталинского жилища с его мышинными закоулками. Кругом стояла вязкая, настороженная тишина, и только удары секунд на моих часах да сонные вздохи журавлиной стаи отсчитывали мгновения этой долгой северной ночи.

Бывшая почтовая станция, которой в 1934—1937 годах заведовал молоденький Василий Кузьмич и где побывало едва ли не все население спецпоселка, сохранилась на диво справно. И хотя я привык к таежным жилищам — за редким исключением они не отличаются друг от друга, — все же каждый раз испытывал смутную тревогу, знакомую горожанину, жизнь которого проходит как бы в подвешенном состоянии, стреноженная бетоном и стальной арматурой... Как здесь живет этот Ханталин? Что за сны сняты ему по ночам? Ведь какие нервы нужно иметь и душевную крепость, чтобы не впасть в отчаяние посреди пурги и тайги, в окружении проурубных подмхом развалов сотен домов, в каждом из которых покоится чья-то душа. И только дым из трубы, да Роман с Русланом, да лай собаки, близкого еущества, да подслеповатое оконце с тусклым огнем керосиновой лампы напоминают тебе, что ты не одинок в этой крошечной тишине вселенского покоя. Можно, конечно, представить себе эту жизнь, вообразить, так сказать, но полностью понять ее, осмыслить, влезть в нее всеми своими потрохами... нет, не дано! В нас утеряны изначальные родовые связи с землей, простым кровом, работой в лесу и на реке. Природа любит пахаря, певца и охотника, а в слабую душу поселяет множество грызущих червей.

Вчера мы с Кириллом отправились по ягоды. Из хилого подросткового леса тянуло болотной сыростью, гнилыми испарениями. Под ногами трещал валежник многих поколений, смешанный с перегноем из трав и листьев. Я отшвырнул лесную подстилку — обнажилась бугристая, похожая на расплывшуюся грядку почва. «Нуужели бывший огород? — мелькнуло в голове. — А может быть, пашня?» Мне показалось в тот момент, что я стою на заросшей борозде. Когда-то здесь, по всей видимости, вовсю хозяйничал плуг, взрезая пружинящую, разваливающуюся надвое стерню, а теперь качались жиденькие сосенки вперемешку со «злыдень-деревом» — ольхой.

Я нашел полянку, густо усыянную брусничкой, присел на корточках — и потерял счет времени. Ягоды были крупные, налитые, в самом соку и легко снимались со

стебля. Сверху они были огненно-красными, а по бокам розоватыми, с легкой желтизной. Совсем как яблочки — ядреные, румяные травянистые яблочки!.. Из чащи кричал Кирилл, звал к себе, но жалко было бросать такое хорошее место. А когда я поднял глаза, прямо перед собой увидел... крест.

Я оглянулся вокруг: это было кладбище. Такое же старое и заброшенное, как сама Кокорная. Кресты, большей частью покосившиеся, были затянuty у подножья белым мхом, оплетены сухой травой, иссечены дождями и снегами. Они уходили в лесную пустошь и терялись среди сосен, которые выглядели много выше и моложе этих знаков печали. На них не было ни единой буквы, ни единого знака, память о человеке смыли дожди, иссушило солнце, сожрали челюсти усачей, короедов и прочей насекомой нечисти. Надгробья, которые я поначалу принял за грядки, буквально пламенели от ягод. Выходит, сам того не ведая, я топтал могилы поселенцев и как бы собирал дань с их душ в виде крупной и сочной брусники.

Кузьмич рассказывал, что в первые годы ссылки умерших сваливали в общую яму и заравнивали землей. Даже табличек не ставили, чтобы никто не вспомнил о тех, кто остался здесь лежать. Охотники и грибники, возвращаясь домой, часто натыкались на кости и обрывки ткани, торчащие из наспех засыпанных могил. И казалось им, что земля источала сладковато-приторный запах тления и будто что-то легкое, большое и светлое плыло над лесом в дрожащем воздухе...

Но ничего не исчезает бесследно. Кирилл наконец докричался до меня и привел к аккуратно огороженной могиле среди сосен, которые образовали над ней сплошной кров. На массивном кресте я с трудом разобрал буквы, выполненные латинским шрифтом: «BÓG Z TOWA. TU LEŻY Ś. P. ELŻUNIA DYBCZYŃSKA... ZMARŁA 3.XI.1940»². А на расстоянии метра стоял крест поменьше, тоже с буквицами, и лежала под ним трехлетняя малышка по имени Боженка Рожко, умершая пятьдесят лет назад.

— Деда Рожко я хорошо знал, польской нации он был, — сказал Лукин, когда мы привели его на это место. — А эта, видать, ему внучкой доводилась. В ихней семье много народу было. И все как один старой веры держались. Кремень люди! Дедко Рожко у них вроде праведника считался. Все Библию читал. Соберет вокруг себя братьев славян и давай проповедовать. Не хочешь, а заслушаешься... Ну и повадился к нему Пашка-охранник ходить, по кличке Пупок. Как войдет в барак, все с места вскакивают, и старые и малые, — такой вот порядок был. С этого Пашки Пупка и пошли несчастья. Допек он дедку до могилы: то не так, это не эдак. И все на Библию зарился, зачем-то ему Библия свонная потребовалась. Поляки уже и Фрейману жаловались и коменданту, а Пупок все свое: пока, говорит, не изведу религиозную отраву, не отстану... А зачем ему Библия зандобилась — знаете? Бумага у ней больно тонкая, почти как папиросная. Вот он ее на самокрутки и извел...

Ночью над Кокорной висела туманная кисея. Лес словно оконечен и сжался, омываемый мелким ситничком, который надоел не только нам, но и, казалось, самой природе... И вдруг все изменилось в одночасье. Налетел ветер, разгоняя промозглую хмарь, стал вытягивать текущие ветки берез, разлохматил прическу у лиственниц, и все, что раньше лишь угадывалось сквозь сумеречную мглу, получило свою окраску и свои очертания. В растрепанных облаках пробилась оконца пронзительной синевы, оттуда хлынули потоки света; речка Еюга заиграла россыпями огней, мгновенными высверками, иглами, бликами. И мы стали собираться в обратную дорогу.

Заликовал, пришел в движение журавлиный табор под окнами. Что-то, видимо, случилось с птицами, такими пугливыми и настороженными к человеку, коли они пришли под его защиту. Куда-то подевались вороны, сторожившие стаю, эти добровольные прихвостни, питающиеся падалью, да и сами хищники куда-то исчезли. Журавли били себя крыльями, забавлялись, бегали наперегонки, а иные, вытянув шеи, трясли головами, будто пересчитывались: сколько нас и кому какое место достанется в полете?

Свистящий плеск птичьих крыл долго стоял в ушах, пока журавлиный косяк выстраивался в клин, деля круг над Кокорной и посылая ей сверху прощальный привет. Птицы кричали трубно и надсадно, словно звали всех тех, которые были когда-то на этой земле и которых не стало...

² Упокой ее душу, Господи! Здесь лежит прах незабвенной Эльжуни Дыбчинской... Скончалась 3.XI.1940. (Польск.)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ДИКТАТУРА ПАРТИИ ПОГУБИТ ДЕЛО»

Из писем В. И. Ленину

Первые послеоктябрьские годы... Какой была тогда обстановка в России? Об этом еще немало (и по-новому) напишут историки, пользуясь открывшимися архивными фондами. Одним из своеобразных и, несомненно, достоверных историковедческих документов являются написанные по горячим следам письма очевидцев и участников событий тех лет. Недаром А. И. Герцен в «Былом и думах», говоря о письмах, подчеркивал, что они «само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

В 1968—1970 годах в «Новом мире» под рубрикой «Из писем В. И. Ленину» публиковались письма и телеграммы, адресованные главе правительства в первые послеоктябрьские годы¹. К сожалению, эти публикации были далеко не полными по той простой причине, что послания, в которых отражалась вся полнота настроений представителей различных социальных слоев общества — возмущение произволом ЧК, некомпетентностью, а нередко и преступными действиями ряда советских и партийных органов, — находились под строжайшим цензурным запретом и потому не могли увидеть свет.

Наступили иные времена, и сегодня мы отчасти можем восполнить этот пробел. Читатель обратит внимание на то, что большинство представленных здесь корреспондентов, относясь к адресату с уважением, вместе с тем рисуют реальную картину обстановки в стране, иногда прямо обвиняя В. И. Ленина в невзгодах, обрушившихся на народ.

Публикуемые документы охватывают 1918—1921 годы и помещаются в хронологическом порядке².

РЕВОЛЮЦИЯ НА КРАЮ БЕЗДНЫ

24 декабря 1918 г.*

Тов. Владимиру Ильичу Ульянову
(Ленину) — Петр Григорьевич Шевцов.

Ваш портрет на фоне словно взрыва и пожара сегодня навел меня на решение сказать, что дело стоит плохо: революция — на краю бездны.

В самом деле: внешние враги сильнее, чем предполагали, РСФСР слишком молода, чтобы военным образом перенести пожар революции и победу социализма в западноевропейские страны. Непосредственные коммунисты (большевики) — не на высоте положения: базируются почти единственно на оружии и ЧК; но задумывались ли Вы, кто и почему в ЧК и отделах? Пришедшие неизвестно откуда (для масс) «ответственные советские работники» превратили коммунизм в «акклиматизм» к РКП; в их среде торжествуют революционная фраза, революционная поза, и морем разливным разливается по Руси... контрреволюционный расстрел. Смертная казнь!.. И подобно старой охранке занялись сыском.

Демократизм выродился в советократизм и... нечистоплотность; угроза «К стенке!» стала криком ребят на улицах, кругом подавленное состояние.

«Маленькие недостатки нашего механизма» стало прайдивой иронией — синонимом безалаберщины, бездарщины, великой спеси и омерзительной надутости советских канцелярских заведующих («Сколько их! куда их гонят...»). Мелкие, но

¹ «Новый мир», 1968, № 4; 1969, № 1; 1970, № 4.

² Дата независимо от того, где она проставлена автором, печатается в начале письма, а в том случае, когда он не датирует свое послание, указывается день его регистрации канцелярией СНК, что отмечено звездочкой. Заголовки (слова из писем) даны редакцией.

жестоко-отвратительные мещанские счеты комиссаров и председателей вызывают злорадство одних и галливность других; отсутствие единообразных ставок по ведомствам и даже отдела как бы оправдывает лень и саботаж вольных и невольных «контрреволюционеров» из числа мелких сошек, которые снова указывают на себя как, по-старому, страдательный элемент.

Капитализм выродился в спекулятизм от специалиста через крестьянина до комиссарских верхов, ибо душили не капитал, а капиталистов, расплодили капиталчики. Диктатура пролетариата понимается как «большевистский террор» всех и вся из-за власти денег, а иногда утверждают, что «из-за жидовского владычества» (и тычут в красноармейскую звезду) и грабежей комиссархии («а было монархии»), и, наконец, прямо язвят, что нет диктатуры, есть «произвол обнаглевших и разнуздавшихся отбросов интеллигенции с бывшими преступниками, аферистами — провокаторами и жандармами». Коммуна переводится на всех перекрестках и во всех домах на «кому на», а «кому нет».

Упомянутые расстрелы, хотя и «контрреволюционеров», «спекулянтов», «преступников по должности», вызывают... сочувствие им и молчаливое презрение и исключительно страх и за себя, и, замечательно, за каждого, ибо есть случаи расправы над невинными людьми и даже идейными революционными работниками...

Приход к Советской власти эсеров и меньшевиков не вызывает никакого энтузиазма: большевики боятся за места, масса в этих партиях давным-давно разочаровалась. Резолюциям не следует доверять, как и подпискам, ибо, расходясь, шепчут: «К черту! Лишь бы отстали. Плевать!»

Глубокоуважаемый Владимир Ильич! Революционной пережеванной фразой, революционной позой и поистине «контрреволюционным расстрелом» (смертной казнь, как-никак уничтоженной Керенским), душением капиталистов, а не капитала, неравномерными правами самих категорий пролетариата, грубым произволом «ответственных» («осточертевших»), войною, все-таки продолжающейся, голодом и такою мелочью, как офицерскими шпорами («все-таки по-офицерски, только что как на корове седло»), революция толкается в бездну.

На кого падет вина? Кто с пьедестала вождя и пророка низвергнется с позором и бесчестьем?

Только вникнуть, что ждуть... О, если б Вы знали, как ждуть прихода союзников! Даже в казаков не верят, да.

Тяжело, больно, но надо признать и сказать правду.

Я, как и многие, продолжаю верить в Вашу мудрость и совесть, хотя ходят упорные слухи, что Вы, подобно Николаю II, ничего не знаете, потому что Вас «так держат». О, неужели?.. Это хуже всего, ибо это совсем уж по-старому — перед революцией, а теперь...

Ведь как в министров (ждали только от самого правды), так в нынешних народных комиссаров никакой веры; и здесь надо сказать большую правду — «жиды — все жиды»...

Неужели «Бей жидов!» — вопрос недалекого будущего?!

Как позорно мы кончим...

Воронеж.

Б. Терновская, 17.

С горячим коммунистическим приветом

Петр Шевцов.

(Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) — бывший Центральный партийный архив (ЦПА), ф. 5, оп. 1, д. 1481, лл. 8, 9)

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

8 марта 1919 г.

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Не могу молчать при виде того произвола и нечто гораздо худшего, чем саботаж, что дико царит в рядах государственно-общественных учреждений и даже в Народном комиссариате просвещения, с чем мне лично пришлось столкнуться при (постройке) организации трудовой школы на 420 человек взамен церковноприходской школы на 80 — 90 человек.

Люди везде остаются людьми той культуры, среди которой проходила их жизнь. И многие, назвавшие себя коммунистами, по своим поступкам, по своему духовному укладу являются яркими собственниками. Вот почему, хотя и провозглашена комму-

нистическая республика, везде приходится встречать самое безнадежное или равнодушное отношение или начальственный произвол и самое непробудное хамство. И лишь на общем безрадостном фоне, я бы мягко сказал, тления (это теперь-то, когда мог бы быть полный простор творчеству новой радостной жизни) лишь изредка мерцают отдельные звездочки беззаветных тружеников — борцов за лучшее будущее всего человечества.

Это приходится наблюдать везде. А с такой «пораженческой» психологией, конечно, невозможно никакое строительство. Ведь даже кооперация и та, опутанная сетью декретов, при общих подавленных условиях, все той же «пораженческой» психологии, при полном отсутствии подготовленных идейных работников (в этом все несчастье), совершенно лишена возможности начать мощное строительство новой жизни.

Возьмите посмотрите на железнодорожных работников (нам приходится ездить по Казанской ж. д.), и Вы ужаснетесь той страшной растерянности, которая, как прогрессивный паралич, довела железнодорожное движение до катастрофического состояния.

Теперь в вагон абсолютно невозможно сесть даже с делегатскими документами. Пойдите на вокзал, к поезду, послушайте, что говорят люди, измученные ожиданием сесть в поезд для того, чтобы привезти хоть меру картошки голодающей семье. Вы услышите многое. Но Вы еще услышите, какой махровой волной катится дикий разгул катастрофически растущего антисемитизма. Вы услышите, насколько глубоко поражено наше национальное единение. И в быстро растущем вихре психологического хаоса обыкновенные люди (даже не граждане, а обыватели) совершенно не в состоянии хоть как-нибудь разобраться.

Полная растерянность, полная неспособность разобраться в текущих событиях — отсюда простор дикой фантазии, и самые разноречивые, самые зловещие слухи при каждом приезде в Москву так бьют по нервам, так невыносимо будоражат душу. Такое разъединение, конечно, зловеще для дальнейшего существования русской народности как все же культурного целого. Ведь погибли же великие культуры, великие государства...

Я близко наблюдаю деревню и вижу, что делается, и знаю о нарастающем массовом недовольстве широких слоев крестьянства. У нас (район) оно все ширится как следствие все увеличивающихся налогов, учета всех продуктов, текущей мобилизации лошадей, скота, крупного и мелкого. А уж к этому катятся широкой волной зловещие слухи, что и «телков-зеленятников и прасуков¹ даже в пуд, и овец заберут. Где же взять шерсти на валенки, чулки, варежки, овчины на тулуп? Говорят, даже скоро кур будут брать»... Вот почему недовольство все растет-разливается. Вот почему дальнейшее крайнее напряжение всех истощенных сил совершенно невозможно. Оно свыше наших сил, свыше нашей возможности. Оно и без того задерживает наши давно еще царским режимом хронически задерживаемые культурные потребности, задерживает начало экономического, культурного строительства новой России...

Преданный делу счастья человечества

С. Кузнецов.

(РЦХИДНИ, ф. 5. оп. 1, д. 1126. лл. 91, 92)

¹ Поросят

ЧТО БУДЕТ? ЧТО ОЖИДАЕТ НАРОД?

31 марта 1919 г.

Товарищ Ленин!

Не знаю, найдете ли нужным ответить на это письмо, но к Вам обращается человек, всей душой преданный делу революции и социализма, которого угнетают тяжелые думы, а ответ могут дать только люди, стоящие на главном посту, которые видят больше, чем кто-либо. Поэтому решила обратиться к Вам как к вождю.

Знаете и видите ли Вы, что творится среди низов, среди рабочих масс, и не замечаете ли Вы, что масса от нас уходит с каждым днем все дальше и дальше. и не только уходит, но и относится враждебно к коммунистам. Я бываю на многих собраниях и митингах среди рабочих и заметила перелом в настроении массы не в пользу нашу. И этот перелом, по-моему, произошел в половине февраля.

До этого на улицах, на митингах и среди рабочих и солдат не было слышно ругани большевиков, недовольства ими, а также не было слышно успехов эсеров и меньшевиков. Теперь же картина другая: на всех собраниях, где я была, а также по словам и другим, большевики встречаются враждебно, а иногда криком и свистом. Им не дают говорить, по их адресу сыпятся колкие замечания; речи же меньшевиков и эсеров встречаются громкими аплодисментами. Что и было на собрании в мастерских Александровского вокзала 28 марта. Настроение было явно враждебное к нам. Коммунистам не давали говорить, свистели, кричали: «Долой!» и т. д. Наоборот, со вниманием слушали наших врагов и их провокаторский призыв к забастовке встречали одобрительно, провожали их аплодисментами. Резолюцию, предложенную коммунистами, провалили, их же принята была большинством. Несмотря на то, что на это собрание от подрайонов РКП других дорог были мобилизованы коммунисты для срыва забастовки. И если раздавались голоса в пользу РКП, то это кричали созданные коммунисты. И как бы ни писали после газеты, говоря, что там было много пьяных, но факт остается фактом, что громадное большинство рабочих против нас. И это не только здесь. Так почти везде, особенно в последнее время.

Враги наши бьют по большим местам, играя на войне и голоде. Народ устал от пятилетней войны, устал от голода. Как мы когда-то говорили: «Долой войну во что бы то ни стало!» — и за нами шли, так теперь и они говорят: «Вам обещали мир, а дали опять войну и гонят опять на фронт». И их встречают сочувственно. И свистом — нас. Происходит то, что происходило до октябрьского переворота, только роли переменились. Среди солдат то же самое — ропот, разговоры: когда же конец войне? И у многих нежелание идти на фронт. Это говорят люди, которых нельзя заподозрить в пристрастии, которые с горечью констатируют этот факт.

Все эти происходящие за последнее время солдатские бунты, забастовки рабочих на дорогах и заводах подтверждают все это и ясно показывают, что масса отходит от нас, что слово «коммунист» для них становится враждебно, а слово «комиссар» — ненавистно. Когда слышишь, что кто-нибудь из рабочих защищает партию, то слышится ответ: «Коммунист небось, комиссар, ступляя протираете» и т. д. Слишком много оказалось среди комиссаров дряни, и народ потерял в них веру. Да это и понятно: РКП правительственная и в нее идут все кому не лень. Когда бываешь на партийных собраниях, создается впечатление, что 99% дадут тягу из партии при первом ее колебании. Все, что видишь кругом, действует страшно удручающе.

Одна мысль долбит мозг непрерывно. Видят это наши вожди или нет, что творится кругом? Как реагируют они на это? Какие меры принимаются ими для предотвращения надвигающейся грозы? Учитывают ли они настроение массы?..

Не случится ли того, что усталый народ, потеряв веру в нашу партию, махнет рукой и пойдет за нашими врагами, надеясь, что они избавят его от голода и войны. А так как за этими авантюристами последует форменная реакция во всем ее ужасном виде, измученный и истерзанный народ не в силах будет поднять руку на свою защиту, покорится своей судьбе.

Мне вспомнились слова тов. Троцкого в одной из его книг: «Было бы ребячеством исходить из соображений отвлеченной революционной морали. Задача состоит не в том, чтобы с честью погибнуть, а в том, чтобы в конце концов победить. Русская революция хочет жить, должна жить и обязана всеми доступными ей средствами уклоняться от непосильной ей борьбы и выигрывать время»..

Эта политика была оправдана в международном отношении великолепно. Но может ли такая политика быть и внутри страны: какой бы то ни было ценой сохранить революцию от разгрома.

Неужели голод, война погубят начатое дело? Ведь так много хорошего сделано в области культуры и просвещения, жизнь постепенно стала налаживаться среди развалин старого строя благодаря нечеловеческим усилиям идейных и честных людей. А здесь шайка карьеристов, монархистов и прочих негодяев, прикрываясь именем социализма, хочет разрушить созданное с такими усилиями и повергнуть в еще худшие беды и так уже страдавший народ.

А события идут. Повсюду вспыхивают восстания: на Путиловском заводе, на Нижегородской дороге, в Брянске и т. д. — все это первые предвестники грозы.

Что будет? Что ожидает народ? Вот те мысли, которые осаждают голову и на которые нет ответа. Вы, тов. Ленин, такой гениальный политик, всегда видящий все впереди, предугадывающий ход событий, как смотрите Вы на все происходящее и

думаете ли Вы, что беду еще можете предотвратить и что выход есть, что здравый инстинкт подскажет народу, куда идти, или же он, измученный, темный, сам себе выраст могила?..

Адрес: Москва, Садовая-Черно-
грязская, дом 3, кв. 49.

Сочувствующая З. Скобеева.
(Центральный государственный архив Октябрь-
ской революции (ЦГАОР), ф. 130, оп. 3, д. 968,
лл 313, 314)

СОВЕТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОДЧИНЕНЫ ПАРТИИ

4 августа 1919 г.

Многоуважаемый товарищ Ленин!

В настоящем письме я излагаю крик моей наболевшей души.

Дорогой Владимир Ильич, скоро уже исполнится два года нашей великой пролетарской революции, и не мешало бы Вам, Владимир Ильич, с высоты олимпа спуститься на землю и посмотреть на то строительство новой жизни. или, вернее, на то, что делается.

Владимир Ильич, жуть берет, что творится на местах, кровь стынет у идейного рабочего, который искренно поверил, что мы строим социализм.

Владимир Ильич, я начну по порядку. Прежде всего это то, что благодаря тому, что мы постепенно шаг за шагом наши Советы подчиняли и наконец подчинили окончательно руководству нашей партии. Оппозицию мы окончательно вытеснили, и каков же результат, Владимир Ильич? Результат самый ужасный для дела революции: Владимир Ильич, я скажу, что $\frac{9}{10}$ в наших исполкомах сидят жуликов, проходимцев, пьяниц — одним словом, безнравственных и во всяком случае ничего общего с социализмом в его настоящем смысле не имеющих. Ну, а что ужаснее всего, Владимир Ильич, это то, что в целом ряде исполкомов председателями являются лица, которые в прошлом имели близкое соприкосновение со старыми полицейскими учреждениями. Владимир Ильич, если бы только ЦК партии потрудил себя проверить персонально всю нашу ответственную животную публику, их работу в прошлом, то это было бы ужасом для нашей партии, партии пролетариата.

И не удивительно, Владимир Ильич, после достигнутых нами таких результатов наша партия окончательно слабеет. Собрания не посещаются, а если кое-кто и приходит, то на собраниях боятся рта разинуть. Это Чрезвычайка с ее уголовными элементами. Владимир Ильич, если на наших собраниях кое-кто и говорят, но о чем говорят? Да, конечно, друг друга упрекают в воровстве, один против другого стараются доказать, что кража денег в 200 000 рублей и более, народных денег, не по моей вине, а по вине такого-то (имярек), и так далее, и т. д.

Владимир Ильич, теперь что касается нашего экономического строительства. Здесь в этом письме я не буду Вам описывать, это один ужас: с населения берем деньги и только деньги, но ничего для него не делаем, даже сортиры не чистим, и не удивительно, что население в ужасе и страхе говорит везде и всюду — да что же это за власть.

Рабочий А. И. И.
(ЦГАОР. ф. 130. оп. 3, л. 133, лл 9, 10)

НЕВИННЫЕ ЗАЛОЖНИКИ

22 августа 1919 г.

Предсовнаркому ЛЕНИНУ

Мною уже сделаны были некоторые шаги к облегчению участи трех лиц, несомненно принадлежащих к русскому барству, но в то же время политически совершенно невинных и зря подвергающихся тяжелой жизни в качестве заложников. Такими являются уже третий месяц содержащиеся в Покровском-Ивановском монастыре граждане: Петр Петрович Волконский, Владимир Антонович Арцимович и арестованный недели две тому назад доктор Гейдельбергского университета Федор Платонович Чихачев

Вам лучше видно, можно [ли] предпринять что-нибудь действительно для их освобождения, о чем я лично очень бы ходатайствовал¹

Нарком А. Луначарский
(Ц. АОР, ф 130, оп 3, д 133 л 77)

¹ Слева внизу пометка, сделанная, видимо, секретарем «т Бельенкий сообщил, что Волконский и Арцимович освобождены. О Чихачеве и Арсеньеве будут наведены справки и сообщено Вл[адимиру] Ил[ьичу]»

Бельенкий А. Я. (1883—1941) — после Октябрьской революции работал в органах ВЧК, с 1919 по 1924 год начальник охраны В. И. Ленина.

МЫСЛИ БЛАГОРАСПОЛОЖЕННОГО СТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

30 сентября 1919 г

Милостивый государь Владимир Ильич!

Злоупотребляя нашим в старые годы знакомством¹ хочу написать Вам несколько слов о современном моменте. Как Вам известно, я никогда не занимался активной политикой, и только административный гений князя Голицина² мог превратить меня в политического эмигранта. Кроме того, я не русский и как таковой не заинтересован в русских внутренних взаимоотношениях. Поэтому Вы не заподозрите меня в каких-либо задних мыслях и примете это письмо за то, что оно есть, то есть за желание поделиться с Вами некоторыми мыслями благорасположенного к Вам стороннего наблюдателя, над которыми Вам, стоящему непосредственно у дел, быть может, некогда было призадуматься.

Как историк-профессионал я не мог не следить с величайшим вниманием за утверждением в России коммунистического строя, со дня окончательного закрепления которого, несомненно, началась бы новая эра мировой истории. Эти наблюдения не могли не привести меня к заключению о полной осуществимости идеи коммунистического государства, но эти же наблюдения не могли не возбудить во мне сомнения в возможности для коммунизма, при условиях настоящего его момента, удержаться в России.

Коммунистический строй вполне возможен в государствах, удовлетворяющих все свои потребности внутренним производством. Вне этого условия возможен он при одновременном возникновении в нескольких взаимно восполняющих друг друга государствах. Иначе ему удержаться мудрено, так как вообще трудно рассчитывать на прочные торговые сношения коммунистического государства с державами, не перешедшими на коммунистический строй. Тем труднее положение коммунизма в России, и при нормальных условиях не имевшей возможности обходиться без иностранного ввоза, а после долгой войны ощущающей в нем жгучую потребность. Между тем на снабжение из-за границы Вам рассчитывать нельзя. И это не только из-за вражды к коммунистической России буржуазного Запада и капиталистической Америки, но и из-за невозможности для вас — при безнадежном положении русской валюты, при расстройстве русской обрабатывающей и добывающей промышленности и при продовольственных затруднениях в самой стране — дать взамен заграничного ввоза соответствующий эквивалент. При таком положении вещей вам неизбежно придется регрессировать в области культурной жизни, с чем нелегко помирится население, уже вкушившее от культуры. Каждый вынужденный шаг в этом направлении будет отдалять от вас народные массы, что чревато последствиями не только сейчас, но и в смысле распространения в будущем коммунистической идеи.

Способом прекращения зависимости от заграничного ввоза служит, конечно, поднятие производительных сил своей страны. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что пролетариат способен к созидательной работе, но думаю, что в России он, по своему недостаточному развитию, менее чем где-либо сейчас к ней подготовлен. Рассчитывать же на русскую интеллигенцию не приходится, так как она безнадежно враждебна коммунизму. Не только для созидательной работы, но даже для поднятия уровня просвещения в среде пролетариата вам придется создавать новую интеллигенцию, что требует времени, а между тем времени нет, так как враги коммунизма не дремлют.

Я не придаю значения военным успехам какого-нибудь Деникина, быть может, ему предстоит участь Колчака. Быть может, он и будет иметь дальнейшие успехи. Это вопрос, который я разрешать не берусь. Да дело и не в этом, как и не в том, что

пролетарская революция в Западной Европе еще не назрела и натиск капиталистических стран на коммунистическую Россию неизбежен.

Самые лютые враги советской власти, с которыми ей сейчас не совладать, это беспощадно надвигающиеся холод и голод. Казалось бы, смешно говорить о невозможности отопить и прокормить Россию, хлебные и лесные богатства которой неисчерпаемы. Но для меня не представляет сомнения, что с этими задачами вам не справиться, и это опять-таки преимущественно из-за отличительных особенностей русской жизни.

Стояние перед вами продовольственная и отопительная проблемы по своим исключительным размерам требуют обширного и хорошо налаженного правительственного механизма, что в свою очередь требует огромного, вполне подготовленного и хорошо работающего персонала. Старый правительственный механизм царского режима всегда был далек от совершенства, что опять-таки в значительной степени зависело от плохого персонала. Временное правительство за краткий период своей деятельности внесло в этот механизм только расстройство. При этом была утрачена часть персонала, политически враждебного революции, но в чисто деловом отношении наиболее подготовленного и способного. В свою очередь коммунистический строй лишился ряда опытных работников, сохранение которых на ответственных постах было бы несовместимо с новыми началами государственного устройства. Правда, в ряды советских служащих вступили многие ранее устранявшиеся от казенной службы царским режимом или работавшие в области частной промышленности и торговли. Но в большинстве это люди неопытные и мало способные приноровиться к новым условиям службы, а усложнившийся правительственный механизм, заменивший не только прежний правительственный аппарат, но и весь аппарат прежней частной промышленности, торговли и сельского хозяйства, настоятельно требует не только огромного количественного увеличения служащего персонала, но и качественного улучшения и подъема производительности труда. Между тем вместо улучшения советская власть, несомненно, имеет дело с намеренным падением и ухудшением производительности труда своего правительственного механизма. Дело в том, что у вас имеются верхи — главные руководители — проводники коммунистической идеи, и низы — пролетариат, усвоивший эту идею; но среднего — рядовых работников для правильного функционирования правительственного механизма — у вас нет совершенно. Если в разных комиссариатах, главках и центрах и есть коммунисты — то почти всегда это коммунисты из-под палки или из-за пайка. Если не все то огромное большинство прежних чиновников и новых, вступивших на советскую службу интеллигентов обслуживают советскую власть скрепя сердце, на каждом шагу вредят ей и всячески тормозят ее деятельность. С таким аппаратом бороться с надвигающимися холодом и голодом невозможно, и, как следствие их, крушение советской власти в моих глазах представляется неизбежным.

Желательно ли, однако, доводить дело до такого конца? Ведь следствием его явится, несомненно, озлобление народных масс против коммунизма, будто бы виновного в рабстве, следствием которого явились испытанные ими лишения. Власть перейдет к какому-нибудь Колчаку или Деникину. Начнутся репрессии не только против коммунистов, но даже против людей непартийных, виновных только в том, что служили советской власти и не строили против нее подкопов.

Мне кажется, что этого Вам допускать не следует и что коммунистической партии следует добровольно оставить власть ранее, чем безнадёжность положения станет очевидною для широких масс населения, выговорив при этом вполне приемлемые для себя условия. Так, например, справедливо было бы обеспечить безусловную гарантию личной безопасности для всех лиц, так или иначе служивших советскому строю, коммунистов или некоммунистов — безразлично. Из этого естественно вытекает, что советское правительство может передать власть только тому, кто пойдет на поставленные им условия, и притом тому, гарантия которого будет иметь значение в глазах всяких кочаков и юденичей, а главное — их руководителей, держав Антанты. Естественно, советское правительство, уважая себя, не может передать власть Колчаку, Деникину или кадетской партии, являющимися ее непримиримыми врагами. Не может передать оно ее ни профессиональным союзам или другим организациям, ни социал-революционным партиям, так как с гарантией их едва ли будут считаться Деникин и Антанта.

При таких условиях остается, как мне кажется, единственным исходом передача власти чисто деловому аппарату из лиц, не состоящих заведомыми, явными противниками коммунистической партии, не зарекомендовавших себя яркою партийностью

и вместе с тем обладающих прочною, по возможности европейскою деловою репутациею. Во главе этого аппарата следовало бы поставить человека с определенным именем, известного не только в России, но и за границею, с обещаниями которого, раз им данными, пришлось бы считаться не только Деникину, но и его заграничным покровителям. Это должен быть человек, который не допустил бы до эксцессов против ни в чем не повинных национальностей и против людей, виновных только в том, что верою и правдою служили идее, хотя бы лично они и не сочувствовали этой идее.

Этим условиям, как мне кажется, вполне удовлетворял недавно умерший В. И. Тимирязев³, с которым мне не раз приходилось сталкиваться за границею. Не сомневаюсь в том, что и теперь, если бы Вы стали на мою точку зрения, Вы имели бы возможность подыскать другое столь же подходящее лицо из числа деятелей (одно слово неразборчиво.— *И. Б.*) режима, не ознаменовавших себя нетерпимостью и произволом, вместе с тем деловых и известных Европе.

Мне кажется далее, что такая передача власти отнюдь не должна бы носить характера крушения коммунистической идеи и сдачи коммунистами своих позиций ввиду безнадежности их положения. Напротив, мне кажется, следовало бы непременно сохранить лицо и одновременно со сдачею власти возможно широко оповестить население о том, что положение советской власти отнюдь не безнадежно и что если она отказывается в данную минуту от дальнейшей борьбы, то только из-за того, чтобы спасти русское трудовое население от лишений и тягот, неизбежных при длительной борьбе с объединившеюся против советской России коалициею капиталистических держав.

Вот те мысли, которыми мне хотелось бы с Вами поделиться в твердой уверенности, что они отвечают не только условиям момента, но и правильно, на мой взгляд, понимаемым Вашим партийным интересам, для которых, как мне кажется, несравненно важнее сохранить возможность дальнейшей успешной пропаганды, нежели лишний месяц-другой продержаться у власти.

Примите уверение в отменном моем почтении и преданности.

В. Вартанесьян.

(ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 133, лл. 182—184)

¹ Когда и где Вартанесьян встречался с Лениным, установить не удалось; не исключено, что их знакомство могло произойти в эмиграции.

² Вероятно, имеется в виду Голицын Г. С. (1838—?) — генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета; в конце прошлого — начале этого века главноначальствующий на Кавказе.

³ Тимирязев В. И. (1849—1919) — русский государственный деятель; был товарищем министра финансов, министром торговли и промышленности; с 1915 года член Особого совещания по обороне государства; был также председателем совета Русского для внешней торговли банка.

ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

20 октября 1919 г.*

Товарищ Ленин!

Примите срочные меры для завоеваний всячески симпатий народностей Балтийских государств, т. е. чтобы эти народности были бы на стороне Советской России. Не откажите распорядиться издать немедленно декрет об освобождении от призыва в ряды Красной Армии граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Также следует граждан этих стран освободить от всех видов налогов, равно как и освободить из тюрем и иных мест заключения.

Не медлите ни минуты с приведением в исполнение предложенного. Сейчас каждая минута дорога.

Также способствуйте выезду из России желающих поехать на родину.

Вообще на граждан этих стран следует обратить особое заботливое внимание и сделать все возможное, чтобы обеспечить начало мирных переговоров.

Кроме того, следует немедленно отправить всех работников, преданных советской власти, на пропаганду в Псковскую губернию, и это — опять-таки ни минуты не медля.

Стоящий на советской платформе
работник Наркомпрода (подпись неразборчива).

(ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 133, л. 238)

ВЫ ДАЛЕКИ ОТ ЖИЗНИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

24 марта 1920 г.

Милостивый государь Владимир Ильич!

Если на военном фронте, как неоднократно Вы на это указывали, военспецы в главной своей массе работали только за страх и результат получился удовлетворительный, то на новом фронте одного страха как стимула труда мало: нужна еще значительная доля энтузиазма, без которой самая по видимому усердная работа сведется к высиживанию положенных часов, к засвидетельствованию лояльности по отношению к власти. Сколь плодотворно будет такое усердие, говорить не приходится. Повторяю, и Вы, думаю, не можете с этим не согласиться, что, принимаясь за новое великое строительство, русскому спецу, т. е. трудовому интеллигенту, в современных условиях нужно проявить немалую твердость духа, нужен порыв к работе... Большевизм для него не может служить источником этого энтузиазма, потому что он никогда не сомневался в том, что крайние идеи социализма так же близки к более или менее удачному воплощению, как, скажем, то время, когда будет установлен обмен радио с Марсом... Если трудовая интеллигенция рвется к работе, то ее, во всяком случае, меньше всего волнует вопрос о судьбе большевизма, с которым, впрочем, она давно уже свыклась как с бытовым явлением, как свыклись обыватели с тифом, войной, голодом и другими им подобными предметами.

Насколько мне представляется, Вы сейчас очень далеки от жизни нашей интеллигенции. Вы замкнули себя в партийный круг и им, как китайской стеной, отделили себя от всех инакомыслящих...

Нужно работать, нужно проявить максимум энергии и творчества, столь необходимых при настоящих исключительно тяжелых условиях, но, спрашивается, откуда взять для этого силу, на что ему, интеллигентному пролетарию, опереться, что сможет укрепить его, голодного, оборванного и оплеванного, и придать ему силы? А дать ему эту опору необходимо, без этого все Ваши начинания останутся бесплодными.

Не думайте, что я сейчас буду выпрашивать для «советского служащего» дополнительный фунт хлеба или пару сапог. Этого я не сделаю хотя бы потому, что Вы этим фунтом не располагаете. А если бы он у Вас и был, то Вы его побережете на случай успокоения взбесившейся от голода черни. Тут дело не в хлебе, а в том отношении, какое власть проявляет к русскому интеллигенту. И в печати, и в речах на митингах темным массам народным внушается взгляд на нашего интеллигента как на буржуа, злого саботажника, мирского захребетника. Власть проявляет необыкновенную энергию, чтобы окончательно вырвать у народа веру в учителя, агронома, врача, инженера и т. д., и нужно признать — результатов добились блестящих.

В школе безграмотная фабричная девка контролирует искусственного учителя и дает ему указания с полным сознанием своего превосходства. В рабочих массах учитель трактуется как терпимый до поры до времени дармоед. В больнице сиделка считает своим нравственным долгом сделать врачу несколько «полезных» указаний и замечаний. На заводе подметальщик грозит инженеру чрезвычайкой за якобы преднамеренное и неправильное пользование машинами, считает своим долгом покрикивать и делать, всегда в ультимативной форме, самые нелепые указания, подкрепляя все это ссылкой на свою принадлежность к непогрешимой коммунистической партии и опять на чрезвычайку. Я знаю случаи, когда инженера, ответственного за ведение дела, по оговору лодыря из коммунистов морили в советских тюрьмах.

Вы далеки от всего этого, Вы не можете себе представить, как все это нерврует и отбивает всякое желание поразмыслить над работой. Я наблюдал при отбывании снеговой повинности, как десятник, мальчик так лет на 17 от роду, ругал инженера за то, что он хоть и ученый, а саботажник и «скидывать» снег не умеет. А взять подвиги разных товарищей — инспекторов жилищно-земельных отделов из безграмотных и невежественных рабочих.

Учителя и инженера с его книгами, таблицами и чертежами законопачивают, согласно инструкции, в одну комнату со всей семьей, потому что инструкция не допускает иметь ему особую рабочую комнату, где бы он мог проанализировать свой прошлый рабочий день и собраться мыслями на завтрашнюю работу и где бы его не оглушала при этом возня чад и домочадцев. В школе, на заводе, на службе в конторе находишься в угнетенном состоянии духа; придешь домой — тебя встречают скандалы, устраиваемые у плиты уплотнительницами, преподносятся сюрпризы разными реквизиторами письменных столов и книжных шкафов.

Откуда же тут взяться порыву к творчеству. Тут самый сильный духом махнет на все рукой и покатится по наклонной плоскости отчаяния и апатии. Сейчас со всех сторон слышишь стоны: «Так работать нельзя, брошу все и уеду куда-нибудь». Разумеется, у власти имеется тысяча один способ удержать нужного ей человека в поле своего зрения, но скажите, на что пригоден такой работник, когда все его мысли и изобретательность направлены совсем не туда, куда того требует дело.

Ведь, казалось бы, что если власть признает всю важность работы спеца, то почему бы ей хоть немного не побережь его и, хотя бы в собственных интересах, не обеспечить ему сносных условий труда. Вместо этого — травля в речах и печати, самые непозволительные стеснения в домашней жизни, принуждение к нелепой трате сил на разных очистках снега и нужников.

Откуда же тут взяться не говорю уж энтузиазму, а простому даже желанию работать, а не отбывать каторгу для дневного пропитания. У нас всегда наблюдалась нехватка в интеллигентных работниках, теперь же и подавно; поэтому от них нужно взять максимум того, что они могут дать, для чего оградите их быт и их труд от ненужных осложнений.

От этого зависит как благополучие нашей страны, так и Ваше собственное благополучие.

Москва.

Инженер Сила Молотов.

(ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, д. 240, лл. 217—221)

МНОГО АЛЧНОСТИ И ЗЛОБЫ

11 августа 1920 г.*

Товарищ Ленин, читаешь часто газеты правительства и видишь, то один привлекается, то другой за растрату денег. И патриарха судили даже за то, что он много получил народных приношений. Но будут ли судимы лесные отделы, милиция Ростовского уезда Ярославской губернии, где по нерадению названных органов правительства горят болота, а от них на миллионы рублей (золотом) — лес и заготовленные дрова, даже деревни.

Будь своевременно приняты конкретные меры, того бы не было. Две недели весь уезд утонул в дыму, как в тумане. Народ теперь трудится в уборке сена и хлеба и угорает от дыма — душно. Горят селения, и народ не может помочь в тушении пожара и спасении имущества; видно только на $\frac{1}{2}$ версты.

Того не было при старом правительстве. Народ видит, что мало хорошего делается товарищами, и отпадает у него от них сердце. Пора бы дать полную свободу Советам, а диктатура партии погубит все Вами сделанное. Мало таланта, много алчности и злобы.

Народ же в себе таит талант, и разум, и жизненный опыт, но партия его душит и губит революцию.

д. Вострозубово Рост. у.

Ваш почитатель Никита Шемякин.

(ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, д. 133, л. 314)

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОДУХОТВОРЕН КОММУНИЗМ?

13 февраля 1921 г.

Дорогой Владимир Ильич!

Обращаюсь к Вам как к старшему своему товарищу за ответом на мучающий меня вопрос, так как только от Вас надеюсь получить авторитетный и не поверхностный ответ. Мне кажется, что то, что тревожит меня, волнует также и многих других. И это тем более заставляет меня обратиться Ваше внимание на изложенное ниже...

Коммунизм (марксизм) — научное учение. Как таковое оно не допускает возможности его последователям быть причастными к какой-либо религии. Но другие науки, например астрономия, ведут человека, изучающего их, в глубь размышлений чисто духовного, я бы сказала, религиозного свойства. И не только это. Сама жизнь, все, что вокруг, и все, что переживается человеком, наталкивает на вопрос о смысле жизни, о конечной цели человеческого и вселенского существования вообще и т. д.

Я далека от мистицизма, еще дальше от религии в общепринятом понимании, но то, что я связана с вечностью (я говорю не о загробном существовании), что духовные мои запросы и нравственное их удовлетворение не покрывается сухим

материализмом, это есть. «Чтобы достать мозги, надо разбить голову», — сказал древний философ. Чтобы иметь новую счастливую материальную жизнь (коммунистический строй), надо, конечно, больше работать, надо созидать эту жизнь, надо разбить ее старые формы. И, конечно, теперь не время останавливаться в полной мере на вопросах, о которых я говорю. Но они существуют и они не умрут, не получив разрешения.

Коммунистическое учение, претворяясь в жизнь, оставит их неразрешенными. Человек будущего, по-моему, должен исповедовать не только материальный коммунизм, но он должен расширить его, как бы одухотворить. По диалектике, коммунизм не должен застыть в определенном положении...

Я Вас, дорогой Владимир Ильич, хочу спросить, может ли быть одухотворен коммунизм, если не теперь, то в будущем, и как? Я не намекаю на «смесь» коммунизма с религией, но говорю о коммунизме, дающем людям полноту жизни. Я бы продолжила дальше, но и так, давая только наброски мыслей, я уже достаточно заняла Ваше внимание.

Заранее благодарная за разъяснение поставленных мною вопросов и глубоко уважающая Вас

Валентина Добротвор.

PS. Мой адрес: Тула, Менделеевская ул., 871-й полевой запасной госпиталь.

(РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 1003, лл. 18, 19)

Я НЕ БОЮСЬ ТЕБЯ

29 мая 1921 г.

Владимиру Ильичу Ленину-Ульянову.

По подписи Ты увидишь, что я имею некоторое право Тебя утрудить. 5 минут чтения заставят Тебя убедиться, что я не зря тревожу Тебя.

События, ареной которых с 1917 года стала наша Родина, разрывают мое сердце; я бы отдал всю жизнь, чтобы помочь ей, но не могу вступить в правительственную партию и не могу притворяться и изнываю в бессильной муке...

Вся эта холощенная печать — это типичные болтуны за деньги; она больше пропагандирует против, чем за. Единственный критерий — мой разум, и он мне ясно говорит: небывалое расстройство промышленности, транспорта и товарообмена; истощение движущих сил и плачевное состояние народа; упадок нравственности ввиду повального хищничества («Надо же как-нибудь жить!»). И, вероятно, скоро скажется деморализация всей молодой части государства, привыкшей за годы событий легко добывать себе необходимое. К греху именно большевиков нужно отнести из всего этого: 1) изгнание умных людей и 2) неумелое бесконтрольно-безответственное пользование сокровищами государства (тягчайшее — вывоз золота).

Все Твои реформы свелись, в сущности, к следующему: 1) Всеобщие каторжные работы с типичными признаками такого режима; уничтожение права свободного переезда, система пропусков... 2) Усовершенствование до возможных границ Охранного отделения (ЧК) и его распространение на всех граждан, система повальных обысков и отсутствие суда. Ты знаешь, как упала Твоя популярность среди питерского населения...

Я наговорил Тебе много и лишнего и горькой истины, но я хочу наконец отыскать истину, которая мне все-таки не очевидна, и я протягиваю Тебе руку и не боюсь Тебя; моя фамилия и адрес в конце — из этого Ты можешь понять мое душевное состояние...

Николай Воронов,

Петроград, Коломенская ул., 7, кв. 96. инженер-технолог срочного выпуска 1921 года.

(РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 960, лл. 30—33)

БЕЗНАВСТВЕННОСТЬ ПРЕВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА В ЗВЕРЯ

5 сентября 1921 г.

Дорогой Владимир Ильич!

Серьезность момента заставляет меня обратиться к Вам с этим письмом и поделиться с Вами взглядами и мыслями о настоящих исторических событиях, и не как обыкновенный обыватель, у которого все мышление и поведение основывается на желудочной мотивации, а как гражданин, живущий вопросами и интересами человечества.

Конечно, будучи не особенно осведомлен о тонкостях и деталях внутренней и внешней политики центра, я могу судить о вещах и вопросах фактической жизни современности и только в некоторых случаях, благодаря чуткой догадливости, могу строить некоторые политические предположения.

Подводя итог истории борьбы человечества за социалистические идеи и переживая лично настоящий великий исторический момент, я определенно и окончательно убедился в ошибках и упущениях, которые всегда и всюду имели место при определениях способов борьбы за воплощение в жизнь социалистических идеалов.

Забывается и игнорируется нравственная сторона человеческой личности, без совершенства которой немислимы не только социализм, но даже хотя бы некоторое приближение к нему. Идея нравственности, идея гармонии разума, совести и воли — вот то, что должно лечь краеугольным камнем в основу социалистической жизни человеческого общества.

Без прочной нравственной основы, среди шума и разгоревшихся страстей революционной борьбы окончательно забывается и заглушается в человеке все, что отличает его от животного. Человек превращается в зверя и своим поведением не только не способствует торжеству авторитета идеи и не создает для нее привлекательного обаяния, а напротив — губит и профанирует ее и часто даже превращает ее в способ для достижения эгоистических целей и удовлетворения своих низменных инстинктов. Человек теряет всякое понятие о том, что в борьбе за счастье человечества он должен проявить всю силу своей нравственной природы и красотой своего поведения увлечь за собой широкие массы.

К нашему стыду и горю, мы должны констатировать, что указанное отрицательное явление у нас в России сейчас приняло ужасающие размеры, грозя катастрофой не только существованию Советской Республики, но и тому, что отодвинет на долгие времена вообще мечты о социализме во всем мире. И это не вина Коммунистической партии, а беда, и беда в том, что та небольшая группа действительно идейных представителей этого течения растворилась в азиатстве русского духа. Так мало людей нравственно совершенных, способных проникнуться истинным содержанием идеи и быть честными проводниками ее в жизнь. Все поведение людей азиатского духа основывается на грубой силе. Настоящая же сила та, которая ставит своим девизом — не действовать силой, а действовать красивым примером своего идейного содержания.

Ни один контрреволюционер не может нанести такого вреда и так подрывать авторитет власти, какой, к большому огорчению, приходится очень часто встречать в поведении работников на местах. Необходимо принятие самых решительных и неотложных мер в уничтожении подобного явления, иначе оно приведет к неисправимым последствиям.

Нельзя скрывать, что недовольство и возбуждение масс большое, это учитывается контрреволюцией, которая пользуется каждой ошибкой, каждым неправильным и произвольным действием власти на местах и разжигает еще более страсти среди населения.

Я не могу быть пассивным и молчаливым в столь серьезный момент, и как непримиримый враг убийства, пролития человеческой крови — не могу допустить, чтобы Россия была ввергнута в анархию, чтобы она утопала в крови. Правительством должны быть приняты разумные и тактические меры, чтобы избежать столь ужасных перспектив. Правительство должно взять на себя защиту и углубление нравственности в народных массах и строго карать виновных в нарушении таковой.

Отсутствие морали в обыкновенных житейских отношениях между людьми кладет печать на общественные и государственные отношения. Нравы огрубели, ожесточение растет, нужно смягчить и то и другое. Россия, которая всегда была отсталой и отличалась невысокой нравственностью, сейчас тем более требует к себе сугубого внимания.

Если обратить свои взоры на русскую интеллигенцию, то с горечью в сердце должны мы признать, что она тонет, опускается, тупеет. В обществе создается полное непонимание друг друга, извратились понятия о морали. Все поведение исходит из желудочной мотивации, которой стараются оправдать все свои вольные и невольные антинравственные поступки. Нужен свет научных истин, нужна нравственная проповедь. Нужно выявить в людях человеческую их природу — разум, совесть и волю...

Я обращаюсь к Вам как к человеку с большой политической прозорливостью и чуткостью и лещу себя надеждой найти отклик на свой чистосердечный порыв.

Инструктор школьно-курсового отделения
Петроградского В. Политического управления
(Морская, 15)

Сергей Савченко.

(ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, д. 1091, лл. 123—124)

ПОЛОЖЕНИЕ УЧЕНЫХ КРИТИЧЕСКОЕ

4 ноября 1921 г.

В[ладимир] И[льич],

по-видимому, ученым нашим действительно грозит вымирание под флагом «нового курса». Надо выделить группу действительных ученых и обеспечить их академическим пайком и повышенным окладом.

Если перемрут, придется долго восстанавливать «преемственность».

Прилагаю записку Марра и Вернадского.

Ваш Троцкий.

Сознавая критическое положение ученых в России в данный момент перехода к денежной системе жизни, Российская Академия наук направила в Москву делегацию академиков А. Е. Ферсмана, Н. Я. Марра, В. И. Вернадского для настоящего обращения к правительству о необходимости принятия срочных мер для спасения как жизни ученых и их семей, так и научной работы ученых учреждений.

Условия жизни ученых ужасны: никто не получает пайком и денежными знаками достаточной оплаты за свой труд. Приходится тратить только небольшую часть своего времени на творческую научную работу. Все существуют или продавая остатки своего имущества, кто его имеет, или набирая занятия, отрывающие от настоящего их дела, и постепенно теряя силы и истощая организм. В то же время и нравственные условия существования ученых чрезвычайно тяжелы. В ученой среде все более распространяется мрачное отчаяние, ослабляющее научную работу. Необходимо срочное принятие следующих мер:

1) Немедленная денежная выдача ученым учреждениям такой суммы знаков, которая дала бы возможность пережить ближайшие недели происходящего экономического изменения жизни. Для Петрограда эта сумма по самым скромным расчетам составит всего шесть миллиардов рублей (на металлическую валюту шесть — восемь тысяч рублей).

2) Быстрый перевод оплаты ученого труда, хотя бы вначале для наиболее ответственных работников (т. е. членов Российской Академии наук и т. п.), на металлическую валюту в сумме, обеспечивающей *existenz-minimum*¹, так, чтобы механически эта оплата повышалась в связи с понижением денежных знаков. Но и количество всех ученых так незначительно (не более 8000 человек), что эта мера могла бы быть в ближайшее время распространена на всех ученых страны. Связанное с этим увеличение трат на народную культуру незначительно повысит процент государственного бюджета, идущий на народное образование, срочное повышение которого до 12—15% является настоятельным требованием жизни.

3) Предоставление права свободного проезда за границу и обратно ученым и их семьям, в этом нуждающимся. Эта мера необходима для отдельных лиц для их душевного отдыха и для научной работы.

4) Предоставление свободного права научным учреждениям и ученым на получение из-за границы научной литературы (т. е. уничтожение системы обезличения присылаемых в Россию книг) и на отправку русских книг за границу.

Мы считаем, что последствия этих мер быстро скажутся в жизни и окупятся огромной производительностью научного труда, без чего возрождение страны немыслимо.

28 октября 1921 г.

Москва.

Н. Марр,

В. Вернадский².

(РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 1415, лл. 1, 2)

¹ Прожиточный минимум (нем.).

² Из архивных документов явствует, что основные просьбы, изложенные в Записке делегатов Российской Академии наук Н. Я. Марра и В. И. Вернадского, были в значительной мере Совнаркомом удовлетворены в конце 1921 — начале 1922 года.

Публикацию подготовил И. БРАЙНИН.

С. А. СОШИНСКИЙ

*

ЧУДО ОБНОВЛЕНИЯ

1

Иконе, которой было суждено обновиться¹, по ее черноте дети приняли за доску и, играя, вбивали в нее гвозди. Когда Алла Михайловна Томская принесла ее весной 1935 года в Аньерскую церковь (Франция), художник-иконописец Н. Н. Холодовский долго икону рассматривал, затем сказал, что реставрировать ее нельзя, поскольку вообще непонятно, что на ней написано. Владыка Мефодий поместил икону в алтаре, чтобы не соблазнять прихожан неведомым изображением.

Через полгода Алла Михайловна решила отвезти ее в новоорганизующийся в Розэ-эн-Бри в большом доме, в пятидесяти километрах от Парижа, женский монастырь. Иконостаса еще не было, и, готовясь к освящению монастыря, лучшие иконы и лампадку поставили просто на камин. Туда же решила поставить свою темную икону и Алла Михайловна, но другая послушница, сестра Лидия, ухаживавшая за старушками в монастыре, категорически воспротивилась: нельзя светить лампадкой и молиться перед иконой, на которой ничего не видно. «Ты не понимаешь, — настаивала Алла Михайловна, — это икона-мученица, на ней раны гвоздиные, как на Спасителе». Возник горячий спор. Устроительница монастыря, кроткая матушка Мелания (Екатерина Любимовна Лихачева), еле уговорила А. М. Томскую подождать до утра — утром устроить по согласию. Так закончился день 6(19) октября 1935 года, день памяти апостола Фомы.

На следующий день в шесть или семь утра раздался крик А. М. Томской, проснувшейся раньше других и спустившейся раньше других в церковь: «Катя, Катя!.. Икона обновилась!» Сестра Лидия, та самая, что спорила против темной иконы, много спустя писала: «На этот крик сбегались мы все и были потрясены — икона засияла! Сразу стало понятно, что это икона двенадцатых праздников и Воскресения Христова. Это было потрясающе, особенно для меня, которая так сильно против этой иконы возражала. Сорок лет прошло с момента чуда, и я не могу спокойно вспоминать. Икона сияла, хотя еще и не была такой, какой стала впоследствии. Она в течение времени светлела, царапины покрывались как сетью золотом, и такое было ощущение, что она живет изнутри, что все постепенно заживает, как на теле. Уже тогда самый тонкий рисунок прояснился настолько, что можно было сосчитать волосики на хвосте у осла у входа Господня в Иерусалим».

Так, казалось бы, навсегда утраченная икона, узнавшая и «раны гвоздиные», в одночасье воскресла, явив образ, и именно Воскресения Христова, и рассеяв сомнения, прозвучавшие о ней в день святого Фомы.

Десятью — пятнадцатью годами ранее, в 20-е годы, когда Россия была уже не только поднята на дыбы, но, вернее сказать, поднята на дыбу, через всю страну прокатилась волна массовых обновлений икон, подобных описанному. Явление, известное православию и до 1. после, никогда, быть может, не носило такого массового характера и, конечно же, не случайно совпало с разыгрывавшейся в эти годы трагедией народа и Церкви.

Ненависть, из которой родилась гражданская война, была обращена ко всей предшествующей жизни, к ее основам — государственным, сословным, культурным и в первую очередь церковным. Еще почти полтора десятилетия было до взрыва храма Христа Спасителя, до символической попытки соорудить на его месте Дворец Советов имени Ленина, вместо которого, тоже не без символа, долго стояла лишь огромная лужа, теперь же застроенная бассейном. Но уже открыт был счет новому-

¹ Описание обновления приводится по рассказу последней очевидицы («Великий Пост и Светлое Воскресение». М. 1990, стр. 71—75).

ченикам: в январе 1918 года убит в Киеве митрополит Владимир, в июне утоплен в реке Тоболе с камнем на шею епископ Гермоген Тобольский, после пыток то ли расстрелян, то ли закопан живьем в землю архиепископ Пермский Андроник, впервые расстреляны крестные ходы (Воронеж, Шацк. Харьков, Тула). Затем (в феврале 1919 года) последовало постановление о вскрытии мошей. Святыни, вокруг которых тысячелетия строилась народная жизнь, становились объектом систематического уничтожения и глумления. Строительство «нового мира» требовало уничтожения мира старого во всех его корнях, уничтожения не только тех, кто словом или делом боролся с новой властью, но и тех, кто просто своим фактом своего существования свидетельствовал о достоинствах уходящего мира. Поэтому именно и мог совершиться в августе 1919 года близ Сарова в канун праздника Преображения расстрел разбитой параличом и тридцать лет прикованной к постели почитаемой народом девицы Дунаши и четырех девушек, пожелавших разделить ее участь. Перед расстрелом красноармейцы секли их. Полутора тысячами кровавых столкновений с 8 тысячами жертв из числа духовных лиц, не считая мирян, сопровождалось изъятие церковных ценностей в 1922 году.

Но не внешний захватчик совершал это — одна часть народа над другой частью и над святынями отцов. Поскольку же русский народ сверху и донизу был право-славный, то и смугу социальную и отпадение значительных масс народа от Церкви следует рассматривать как трагедию самой Русской Церкви. И патриарх Тихон, называя переживаемое время «годиной»² гнева Божия, пишет ко всей Русской Церкви:

«Грех, тяготеющий над нами,— сокровенный корень нашей болезни... Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей... Грех помрачил наш народный разум... Грех разжег пламень страстей, вражду и злобу... Нераскаянный грех вызвал сатану из бездны...

Отложите житейские заботы и попечения и спешите в Божии храмы, чтобы восплакать перед Господом о грехах своих... Пусть каждый из вас попытается очистить свою совесть перед духовным отцом и укрепиться приобщением Животворящего Тела и Крови Христовых. Да омоется вся Русская земля, как живительной росой, слезами покаяния и да процветает снова плодами духа...»³

О Христе свидетельствовали новомученики: «Моя речь кратка,— писал владыка Андроник, готовясь к последнему суду,— радуюсь быть судимым за Христа и Церковь»; «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре — жизнь или смерть,— заявил в последнем слове митрополит Вениамин,— но, что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и скажу: Слава Тебе, Господи Боже, за все!» И таких новомучеников были тысячи.

А между тем возникла «обновленческая смута», поддержанная властью. Патриарх обновленческим «собором» низлагался, вводились незаконные церковные новшества, обновленческая «церковь» солидаризировалась с новой (атеистической) властью, смещивая дела политические и церковные, и поддерживала репрессии против не примкнувшего к ней духовенства. И не только миряне, но и священники, даже иерархи на какое-то время соблазнились новым движением (на июль 1922 года 37 архиереев из 73⁴).

Народ же, теряя ориентацию, если и не вовсе безмолвствовал, то — терпел и смирялся. И с арестами священников примирялся, и с утратой святых. Это видно хотя бы из того, что, как ни велико число 1,5 тысячи конфликтов во время изъятия церковных святых, оно составляет лишь два процента от тех 78 тысяч приходов, которые были в России в 1917 году. В остальных храмах изъятие обошлось без резких протестов. И вот к 1939 году останется лишь четыре правящих иерарха⁵, редки станут действующие храмы, а жизнь христианина сожмется вокруг центра своего — таинств, уже почти не претендуя на какое-либо свое христианское участие или свидетельство в мире. В те годы казалось, что Православная Русская Церковь умирает...

Но два события свидетельствовали о противоположном. Это было свидетельство о Христе множества новомучеников и это была волна множественных обновлений икон, волна чудесных знамений. События, казалось бы, совершенно несопоставимые. Но так ли это? Новомученики свидетельствовали о наличии живой веры, сокрытой под потемневшей народной жизнью; обновления икон — о той благодатной силе, которая не принадлежит разрушающемуся миру и способна почерневшим ликам вернуть чистоту и ясность.

² Послание Патриарха Тихона к Церкви о вступлении на Патриарший Престол («Церковные ведомости», 1918, № 1).

³ «Томские Епархиальные ведомости», 1919, № 10.

⁴ Регельсон Л. В. Трагедия русской Церкви. 1917—1945. Париж. 1977, стр. 310.

⁵ Там же, стр. 557.

Но прежде чем говорить об обновлении икон (определенного рода чуде), следует сказать о самом понятии чуда, потому что в наше время многих ложных чудес принятие их усиливается одной типичной ошибкой.

Чаще всего под чудом разумеют нечто удивительное, выпадающее за рамки естественных, природных законов. Ведь и само слово «чудо» означает чудиться — удивляться. Но и удивляться можно по-разному! Такое понимание чуда схватывает его внешнюю сторону или даже субъективную: чудо зависит от человеческого удивления. Так в языческой древности и понимали. Например, семь чудес света. Творения человеческих рук (сады Семирамиды), вызывая удивление, как бы отождествлялись с чудом. Или теперь мы можем говорить о чуде болгарки Ванги. Ведь и она тоже вызывает удивление.

Размышления о сущности чуда приводят, однако, к выводу, что оно, с одной стороны, не противоречит «законам природы», или «науке», с другой — не всегда является удивительным и редким, далеким от повседневной жизни. Напротив, чудо является стержнем «естественных законов», так как только оно создает их завершенность и полноту. Вне чуда, сами по себе, «естественные законы» неопределенны, не имеют достаточных оснований для собственного осуществления. Именно эту ситуацию отражает современная наука, утратившая свою определенность⁶ и расставшаяся с претензией дать универсальную и единственную картину мира. Чудо создает вертикаль в естественной картине, незавершенную иерархию уровней в ней, а также саму возможность всякого развития. Даже развитие науки (это можно довольно строго показать) основано на удивительном феномене: всякая добротная («правильная») теория содержит в себе знание о том, чего не и не мог вложить в нее ее автор⁷. Знания ученых, их труд — недостаточная причина развития наук: только то, что этот труд окупается стократ и более, то есть что есть причина, благодатно награждающая труд, делает возможным самый феномен науки.

Если же говорить не о чуде, незримо и постоянно совершающемся, но о том, которое замечаем и которому удивляемся, о чуде личностном, вызывающем к сознанию и свободе (а такое чудо лишь условно отделимо от первого), то возражение против распространенного понимания его как необычного феномена состоит в том, что чудо вообще не феномен, а явленная сущность. Древнееврейское слово, выражающее его идею, означает не удивление, а «знамение», «возвешение», обращенное к человеку.

Такое понимание требует различения истинного чуда как явления благодатного и чуда кажущегося, поддельного, прелестного. Причем первое вообще может не сопровождаться никаким внешним проявлением. Сама такая постановка вопроса невозможна для язычества.

Чудо — и не то, что определяется относительно чего-либо отрицательно (как «не природа», как нечто, выпадающее из «чина естества»), суть его в том, что в нем и через него является абсолютное и положительное. Чудо определяется не снизу, а только сверху, не через то, чем оно не является, а через то, что оно в себе являет, — Абсолют, Бога. Если же оно не являет Абсолют, или, как говорят, не от Бога, тогда оно прелестно, лишь кажется чудом, оно — удивление без смысла, «шелуха без зерна», по замечанию С. Аверинцева⁸, и несет в себе пустоту и разрушение. Сообщениями о таких мнимых в сущностном смысле «чудесах» и полна современная пресса. Общественная всеядность, падкость до этих «чудес» — симптом процесса углубляющегося разрушения человека, подготовки к какой-то будущей беспредельной духовной вседозволенности, влекущей за собой катастрофу.

Подлинное чудо есть зримое в вещах, в образах, в мире, но видимое лишь сердцем явление Смысла, Который не вещь, не образ, не мир; явление бесконечного в конечном, вечного во времени, даже в мгновении; благодатный парадокс спасения, соединение несоединимого, особый акт любви Божией. Чудо — это прорыв из мира благодати в мир природы. Величайшим Чудом явилось Боговоплощение Христа.

Истинное чудо обращается к внутреннему, сокровенному в нас человеку: оно говорит в первую очередь сердцу, затем восхищенному разуму и лишь в последнюю очередь глазам. Именно поэтому когда два ученика Христа шли из Иерусалима в Еммаус и с ними шел Некто Третий, то не глаза их, а сердца узнали Его прежде всего (Лк, 24, 13—32). И не глаза, а сердца убедили горстку Его учеников и внушили любовь к Учителю, когда Он был еще с ними, в то время как тысячи видели то же самое и не узнали Христа.

Вся суть такого понимания чуда состоит в том, что оно есть категория духовная и лишь во вторую очередь физическая. Оно есть то, что происходит в нас, наше внутреннее преображение, чудо созидания внутреннего человека. Во внешнем мире

⁶ Утрачена единственность понимания даже таких ключевых категорий математики, как математическая истинность и математическое доказательство.

⁷ Этот парадокс разбирает, например, Е. Вигнер в статье «Непостижимая эффективность математики в естественных науках» («Этюды о симметрии», М. 1971).

⁸ См. также его статью «Чудо» в Философской энциклопедии. М. 1970, т. 5.

как «сверхъестественное событие» оно может совершаться или не совершаться. И порой совершение может быть противоположно истинному чуду. Так было в момент, когда толпа требовала: «Сойди с креста — уверуем!» Каждый не лишенный чутья согласится, что это требуемое внешнее «чудо» противоречило чуду подлинному: оно упразднило бы жертву, подвиг веры и Воскресение. Именно несовершенство его и было в тот момент тем подлинным Чудом, которое определило судьбы человечества. Точно так же вся человеческая жизнь Христа, связанная с неизбежной Его подчиненностью как человека земным законам, Его в этом смысле «нечудесность» и была Чудом, гранью Его воплощения.

Не просто и не сразу выявляется сущность совершившегося чуда, часто оно имеет длительное последствие, созидавая вокруг себя жизнь, души, судьбы. Чудеса евангельские два тысячелетия все по-новому как бы возобновляются в личных судьбах христиан, в истории народов, в истории Церкви — раскрывают в них свое содержание и не истощаются.

Наконец, следует сказать, что вся христианская история, которая есть не что иное, как вождение христианского человечества, Церкви — Богом, по сокровенной своей сущности представляет единое Чудо, зримо явленное множеством отдельных чудес, иногда выраженных внешне, чаще прикровенных, слитых, казалось бы, с естественным ходом вещей. Разве не является чудом само распространение христианства, его победа над языческим миром после трехвекового гонения, подобная древнееврейскому исходу из Египта? Церковь учит христианина рассматривать свою жизнь (как и жизнь народа, как и самой Церкви), и в частях и в целом, как дар Божий. Его промысел — а значит, чудо. В этом смысле тема чуда безгранична. А потому вернемся к частному и конкретному явлению, которое послужило поводом для статьи.

2

Впервые услышал автор об обновлениях икон, когда этим вопросом еще не интересовался, в виде неясного предания, трудно доступного проверке. Например, будто бы после революции завешивали каким-то лозунгом икону Николая Угодника на Никольской башне Кремля, а ткань то рвалась, то сгорала, и икона вновь становилась видна. Была эта икона то ли фресковой, то ли мозаичной, и когда ее закрасили — осыпалась краска, и вновь икона стала видна. И лишь физически уничтожив ее, или замуравав цементом, наконец добились своего.

Второй случай рассказал священник, ему же — член комиссии, «изучавшей» (вернее сказать — разоблачавшей) необычное явление. Распространился слух (все случаи относятся к началу или середине 20-х), будто в подмосковной деревне стал являться в избе прямо на оконном стекле образ Божией Матери. Посланной комиссии крестьяне подтвердили: да, образ является. Как поведет пастух стадо через деревню, зазвонят колокольчики, так и явится образ. Деревенские заранее ждут момента, изба бывает полна. Показали и дом. Комиссия осмотрела стекло: чистое, никаких следов изображения. Но вот вечером вдали послышался звон колокольчиков: пастух гнал стадо. И что же? На окне стал появляться едва заметный образ. Стадо ближе, громче перезвон — яснее образ. Наконец стал он вполне отчетливый, и видно — это икона Казанской Божией Матери. Прогнал пастух стадо, образ побледнел и исчез. Осмотрели стекло — снова оно чистое. А крестьяне смеются над недоумением ученых. Вдруг одного из членов комиссии осенило: «Откуда стекло?» Из барской усадьбы. «А там?» А там, оказывается, раньше закрывало икону, именно Казанскую. Когда барский дом шел под конфискацию, а иконы вывозились или уничтожались, хозяин избы и взял себе оставшееся стекло. Прошло время — и стал на стекле проступать образ. «Ну что же, — заключила комиссия, — все ясно. Краска иконы испарялась, влияла на стекло, шла химическая реакция. Вот и отпечатался на стекле образ. Как солнце начинает садиться, посветит под определенным углом, так образ и проступает». Объяснив все таким «естественнонаучным» способом и оставив без внимания возражения крестьян, что образ проступает и в дождливые дни, комиссия забрала с собой стекло, вызывавшее вредные толки. Затем стекло было уничтожено. Крестьяне остались в убеждении, что было чудо, члены комиссии — в своей атеистической вере. Впрочем, судя по человеку, рассказавшему эту историю, случай произвел на него впечатление и вспоминался через много лет. Однако слух об этом событии не распространился далеко, крестьяне отдали то, что считали святыней, и все смолкло.

Обратимся теперь к обновлениям тех лет, о которых встречаем письменные свидетельства.

В статье К. Притисского «Мотивы чудесного в жизни современной России»⁹ читаем о случае, имевшем место в Киеве в те же годы и, по словам Притисского, почувшившем большую огласку:

«В одно октябрьское утро, — рассказывает очевидец, — меня будят в неурочный час... — В чем дело?!

— Одевайтесь! Бежим к нашей церкви!..

По дороге... мой спутник, волнуясь, рассказывает, что купола нашей церкви вдруг за ночь сделались вызолоченными...

Я с некоторым испугом посмотрел на него... Вчера еще я проходил мимо храма, большой купол которого сквозь сетку октябрьского дождя выглядел темнее обыкновенного. Позолоты на нем почти не было. Большими кусками виднелось бурое железо.

Мы вышли на небольшую площадь. Тысячи народа гудели здесь. Все стояли без шапок, многие крестились, плакали, глядя на церковь. И я посмотрел туда. Купол сиял глубокой «червонной» позолотой... Осеннее серое утро нисколько не смягчало его блеска.

— Архиерей, архиерей приехал! — вдруг понеслось со всех сторон.

Раздался колокольный звон. Народ раздвинулся пред скромной коляской епископа, которого вышло встречать духовенство уже в облачениях. Приложившись к кресту, он вошел в храм.

Над площадью стоял гул голосов. Все новые и новые толпы народа прибывали со всех сторон. Появились конные «милицейские», пробовали было напирать, угрожать, но навстречу им пошел вдруг такой единодушный ропот и затем такая страшная наступила тишина, что видно было, как «милиция» испугалась, сбилась в дальний угол площади и там, затертая массой народа, замерла на одном месте.

На паперти снова показалось духовенство во главе с епископом. Начался молебен, после которого пресвященный при гробовом молчании сказал «слово», где, между прочим, заметил: «Наверное, все происшедшее постараются объяснить каким-нибудь научным подходом к нему... Постараются увидеть явление естественного порядка... Но, православные, разве мы не знаем, что и науке положен предел!.. Будем видеть здесь чудо. Оно не может унизить дух человека, но только поднять его. Тебя, Бога, хвалим!..»

И вся площадь запела этот чудный гимн. Пели долго.

Целый день шли молебны. Видел властей, трусливо приехавших и так же уехавших. Удалось заглянуть потом и в самый храм. Оказывается, что обновился не только купол, но и ряд икон внутри храма, между прочим, старенькая Плащаница, знакомая мне с детских лет. Очень любопытно, что под куполом, со вне, были нарисованы образа, и их совершенно выцветшие краски теперь сияли, как новые. Никогда мне не доводилось видеть такой реставрации.

Конечно, епископ был пророком... Власти заставили ученых, профессоров Киевского университета, все «объяснить». Те, призвав на помощь «химию» и «физику», читали специальные лекции по этому поводу. Причт церкви пострадал, и очень жестоко. Газеты в течение двух недель изрыгали хулу, бесились...

А храм сиял...

В заключение могу передать вам рассказ моего компаньона по делам, еврея, квартира которого окнами выходит на церковную площадь. Он с непередаваемым на лице испугом, оглядываясь во все стороны, шепотом говорил мне: «Было 10 $\frac{1}{2}$ часов вечера. Шел дождь. Вдруг в комнатах сделалось светло-светло. Я бросился к окну. Вижу над храмом яркое облако. «Пожар! — закричал я. — Церковь горит!» Потом вдруг все пропало. Стало темно. Не верил своим глазам. Утром увидел золотой купол!..»

Где еще можно найти сообщения о происходивших обновлениях? В судебных хрониках! Вверху листа — слово «Копия». Далее читаем:

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу о гр-нах Борисове Владимире, Сутокском Иване, Заозерском Никоноре, Шпехине Василии...» — всего 48 имен¹⁰.

Кто же они, эти 31 мужчина и 17 женщин, судимые 12 августа 1925 года в Новгороде? И за что судимы они?

«В конце 1924 года, — читаем в обвинительном заключении, — в Медведской и Самокражской волостях Новгородского уезда распространились слухи о происходящих чудесных обновлениях икон в пределах Ленинградской и Псковской губерний. Эти слухи привлекли на свою сторону религиозно настроенных граждан, которые начали паломничество в места обновления для осмотра икон и поклонения им. Такое паломничество привело к тому, что среди населения стали распространяться всевозможные слухи, имеющие под собой чисто контрреволюционную почву... Религиозный фанатизм распространялся с невероятной быстротой, и эпидемия обновления икон начала поражать одну за другой деревни Медведской и Самокражской волостей Новгородского уезда».

⁹ «Перезвоны» (Рига), 1926, № 14, стр. 404.

¹⁰ Отпечатано в Новгородской гублитографии в количестве 130 экземпляров для служебного пользования. Этот материал предоставил автору о. Александр Салтыков.

Итак, эти 48 обвиняемых всего из двух волостей — те самые свидетели обновления икон, которым место оказалось на скамье подсудимых. Читаем далее: «Вообще... в ряде волостей Новгородского и Старорусского уездов обновилось столько икон, что подсчитать их точно при данных условиях является работой весьма трудной. Однако органами дознания в этих уездах обнаружено более 150 обновленных икон...»

Сколько же их было тогда по всей стране? Очевидно, волна обновлений началась раньше и не ограничивалась Новгородским уездом. Уже в 1921 году состоялся показательный суд Воронежского губтрибунала над верующими, принявшими участие в крестном ходе с обновленной иконой¹¹. О том же говорят и описанные случаи в Киеве, и воспроизведенный выше по устному пересказу подмосковный. Явления происходили во множестве мест. Конечно, не обходилось и без народной психологии, без того бессознательного, но сильного протеста, который мог порой заставить принять желаемое за действительное. Так легко понять, что, когда уничтожались самые устои народной жизни, нравственные и духовные, чувство рушащегося миропорядка, великой неправды, могло отлиться среди крестьян в легковерие к чуду. Свидетельствовали в те годы об обновлении икон не церковные комиссии и экспертизы, а приходские священники (в данном новгородском случае о. Виктор и о. Иван Наговские, о. Тимофей Абусин и другие) и порой признавали обновление подлинным, порой же сомневались или отрицали его. Затем и свидетелями обновления икон и священниками занялась экспертиза, но уже судебная, задача которой была не выявление факта, а подготовка заключения в фальсификациях.

Выпишем из «Обвинительного заключения» несколько типичных свидетельств.

«17 ноября 1924 года, — читаем мы, — Дарья Александрова (д. Закибы, Медведской волости, Новгородского уезда), которая ранее считала себя человеком неверующим и среди населения слыла за коммунистку, объявила об обновлении принадлежащей ей иконы «Троеручицы Божией Матери» и распространила слух о чуде, виденном ею при обновлении. Этим чудом, по рассказам Александровой, явилось то, что от иконы якобы сыпались искры, когда перед нею зажигалась лампадка. Сама Александрова после этого одела на шею крест, коего раньше не носила». За свое свидетельство Д. А. Александрова оказалась на скамье подсудимых и была осуждена по статье 120-й Уголовного кодекса.

Прокофьев Андрей Прокофьевич (деревня Менюши Медведской волости) свидетельствовал, что «в январе месяце, проснувшись ночью, он увидел, что весь его дом охватило сияние. Это сияние продолжалось около получаса, ввиду чего он, Прокофьев, стал молиться Богу. На следующий день утром он пошел в свою нежилую избу и там увидел, что икона Казанской Божией Матери стала светлая. Лицо иконы, риза и руки стали совершенно другими, <чем> какими он видел их раньше». За свое свидетельство Прокофьев был осужден по статье 120-й Уголовного кодекса.

Васильева Дарья Александровна (деревня Уномерье Самокражской волости) свидетельствовала, что «в феврале месяце 1925 года, проснувшись ночью, она увидела в углу какой-то свет. Через несколько дней, обратив внимание на свои иконы, она увидела, что иконы из черных превратились в светлые. После этого ей во сне явилась Богородица и сказала „не скрывай“». За то, что Васильева не скрывает, она была осуждена также по статье 120-й Уголовного кодекса.

Происходили в те годы и обновления икон в храмах. В «Обвинительном заключении» упоминается обновление иконы Старорусской Божией Матери в Спасо-Преображенском монастыре города Старая Русса, и иконы Владимирской Божией Матери в часовне в деревне Овчинкино Астриловской волости. Во всех случаях обновленные иконы отбирались (в дальнейшем, видимо, уничтожались), а свидетели, так же как священники, служившие молебен перед обновившейся иконой, оказывались на скамье подсудимых. Так, в частности, был судим о. Василий Георгиевский. Текст обвинения гласит: «Гр-н Георгиевский обвиняется в том, что, будучи священником Астриловской церкви, 29 мая с. г. из корыстных и иных видов прибыл в дер. Овчинкино Астриловской волости и отслужил перед так называемой обновившейся иконой молебен, чем способствовал укреплению в сознании граждан чудесных обновлений и дальнейшему развитию этого явления, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 16 и 120 У. К.»

Но довольно примеров, подведем итоги. Волна обновлений развивалась в России в особых условиях, когда никто, кроме судебных органов, не создавал следственных комиссий для их изучения. Поэтому информация, которой мы теперь обладаем, недостаточна и, возможно, не всегда достоверна. Но если отдельные случаи можно пытаться объяснить ошибками или естественными причинами, то не все множество их. Волна обновлений, по-видимому, остается вне сомнений. Воссоздать более достоверный ее образ можно и нужно, но доступно это лишь усилиям многих. При этом следовало бы не только увеличивать список подобных явлений, но и критически оценивать достоверность сообщений...

¹¹ «Революция и церковь», 1922. № 1—3, стр. 49.

Что же касается рассматриваемой волны обновлений в 20-е годы, то следует в ней видеть явление благодати, как бы изливавшейся над Россией в начале ее трагического пути¹². Знамена означали надежду и радость тем, кто сохранял веру; свидетельствовали о наличии, близости, неустранимости обновляющей Силы, способной и мир обновить так же, как очищались краски икон и золотились старые купола.

Знамена содержали в себе также попрек, предостережение отрекшимся, тем, кто разрушал храмы и народную жизнь, но также и тем, кто своим молчанием и безразличием способствовал этому. Можно сказать: обновленные купола и иконы, краски, дерево, металл, сами камни свидетельствовали о Боге, когда окаменевшие и ослепшие люди отрекались от Него. Они свидетельствовали о милосердии и любви Бога, который в ответ на уничтожение одних святых посылал новые (в основном разделившие участь старых!). И зов этот не всегда оставался не услышанным, возвращал отдельных людей к Церкви, хотя и не заставил опомниться общество в целом.

Волна обновлений должна быть поставлена в общий ряд знамений XX века, имевших место как на Востоке, так и на Западе.

Патриарх Тихон писал: «Все чаще и чаще раздаются голоса... что «только чудо может спасти Россию». Верно слово и всякого приятия достойно, что силен Бог спасти погибающую Родину нашу. Но достойны ли мы этой милости Божией, того, чтобы над нами было сотворено чудо? Из Св. Евангелия мы знаем, что Христос Спаситель в иных местах не творил чудес за неверствие жителей...» Массовые обновления икон указывали, что благодатная помощь не отнята от России, спасение возможно. И заключенный в этом явлении призыв к глубокому покаянию и очищению сейчас для нас так же насущен, как был в те годы.

В завершение статьи укажем еще на одно событие, которое как бы стоит у истоков описанных знамений обновляемых икон, которое прославлено Русской Православной Церковью и, без сомнения, связано с судьбой России в XX веке. Речь идет об обретении иконы Божией Матери, так называемой Державной. Событие произошло 2 (15) марта 1917 года, точно в тот день, когда император Николай II отрекся от престола. Россия оставалась без традиционной власти, по сути же — с той противобластью, которая хуже любого завоевателя господствовала, разрушая все, чем Россия жила. В этот-то день и было знамение. В недавно изданных Патриархией «Миней» о нем сообщается так:

«Икона Божией Матери, именуемая «Державная», была обретена в подмосковном селе Коломенское 2 марта 1917 года. Жительнице слободы Перерва, прихожанке храма в честь Вознесения Христова Евдокии Адриановой было трижды открыто в тонком сне, что в храме находится позабытая чудотворная икона, которую надлежит с подобающей честью водрузить в храм, так как отныне через нее будет явлено Небесное Покровительство и Заступничество Царицы Небесной. На иконе... Пресвятая Богородица изображена восседающей на троне. В руках Она держит скипетр и державу».

Иконе «Державной», обретенной на пороге российской катастрофы и как бы посылающей надежду в наше трагическое столетие, были составлены служба и акафист с участием святого патриарха Тихона. Строками из этой службы, обращенными к Божией Матери, и хочется завершить рассказ:

Светлое днесь Заступницы наша наста торжество:
да възпрается тварь,
да ликуютствуют человечестии собори,
созывает бо нас Святая Богородица видети икону Свою,
лучами милости вся православныя освещающую.
Темже, радующесе, вопием:
спаси и нас, Пренепорочная,
верных чад земли Твоя...
Неправда, яко море, скры землю Твою,
и ныне люте потопляеми есмы,
но Ты простри десницу Твою,
и, яко Всехвальная, постави ны на камене веры,
и спаси ны, Владычице, спаси ны,
и утверди посреде нас державу Твою...

¹² Существует также свидетельство о явлении Божией Матери и Младенца Иисуса в 1918 или 1919 году в Архангельске. Несколько детей, гимназистов и гимназисток, увидели их над водами Ледовитого океана, благословляющих белые войска (возможно, благословение жертвенности). Об этом был составлен протокол, засвидетельствованный архангельским духовенством, в том числе епископом Павлом. Позже это послужило дополнительным поводом для судебной расправы над ним. Приговор — смертная казнь — был заменен пятью годами заключения (см. «Революция и церковь», 1922, № 1—3, стр. 70).

Литература и искусство

НЕ ВСЕ ПРОПАЛО

Марина Палей. Отделение пропащих. М. «Московский рабочий». 1991. 224 стр.

Можно было б подбираться исподволь, начать издалека, с другого, осторожничать, долго бродить по окраинам, намекать и лишь под конец рецензии огорошить читателя внезапно «найденным словом». Но как раз от этого, от зондирующих почву преамбул и томительных подготовок, от затейливых приутовлений, запрятанных в иносказание, бесконечно далека эта книга. Как раз этому всем своим внутренним строем она противостоит. Предисловие сводится к обложке. Марина Палей, «Отделение пропащих» — краткий вздох, тут еще можно задуматься, заколебаться: о чем бы это могло быть? Однако первое же слово первой страницы (заглавие повести, открывающей сборник) рассеивает все сомнения: «Поминование». Да, это книга о смерти.

Существует выражение «воскресить в памяти» — под воспоминанием мы традиционно понимаем оживление в нашем сознании ушедшего и ушедших; вспоминая, человек и сам входит и живет в мире прошлого полноправным участником событий, «вчера» вытесняет «сегодня». Но у Марины Палей не вспоминают — поминуют: прошлое и настоящее сосуществуют, не сливаясь и не подменяя друг друга, особенно резко граница меж ними проведена в «Поминовании»: образ рассказчицы (нескрываемо близкой автору) все время двоятся — то перед нами маленькая девочка, живущая в большом ветшающем Доме в ленинградском предместье, то взрослая женщина, растящая в городе сына.

Гениальное ахматовское наблюдение («Когда человек умирает, Изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы Улыбаются другой улыбкой») здесь неоспоримо доказывается художественно. Едва уловимая, рационально не объяснимая странность сквозит и в обликах персонажей, и в образе Дома: они увиденны отсюда, на них смотрят сквозь знание об их скорой гибели, знание, помещающее авторские наблюдения в особое измерение — значимость каждого поступка, жеста, детали исчисляется в масштабах уже прожитой, достигнутой до смертного порога жизни. «Когда я долго не видела мою бабушку, еще при ее жизни, она чаще всего вспоминалась мне возле двери в мою детскую» (разрядка моя. — М. К.). Или — о Доме: «И, судя по всему, тогда и сам Дом, и великое хвойное царство вокруг него не воспринималось мною никак... И только теперь, когда Дом продан и утрачен мною

навек, я чувствую его как никогда — всеми чувствами, данными Богом, которых явно не пять...»

Однако сквозь обычную для подобных тем ностальгию и горечь в повести пробивается и самая откровенная неприязнь, граничащая со злопамятностью, — этот Дом нелюбимый, ему желают скорейшего конца, а его хозяин, самодур дед, так и не прощен. Таким образом, внутренняя напряженность и натяжение этих старых, как проза о детстве, сюжетно-бессюжетных линий и мотивов создается не только за счет тонкого умения автора держать дистанцию меж «тем» и «этим» миром, с болью ощущая неодолимость разрыва, но и непривычной жесткостью тона. В нем ясно слышится протест — протест не просто против конкретного человека, сделавшего несчастной свою семью, против конкретного Дома в пригороде, но против традиции говорить о родном гнезде и родных исключительно с благодарностью и любовью и дальше, глубже — против «унизительной неизменности судьбы», против «заданности».

«Всю жизнь я страшилась заданности — хуже, чем тюремной клетки: мне становится трудно дышать, в самом прямом смысле слова». Правда, добавим от себя, заданность заданности рознь. Маленький сын героини уверен, что снег обязан быть белым, ночь черной, зайчик добрым, а волк злым, окружающее ее общество — в том, что Родину надо любить, потому что «С чего начинается Родина...», а свою родню хотя бы уважать, потому что «старикам везде у нас почет». Нетрудно заметить, что у этих законов по крайней мере два автора. Зайчик добр, волк зол, старикам — почет, а Родину с большой буквы — тут автор один. Зайчик ест траву, а волк зайчиков, ночь черна, снег бел, чти отца твоего и мать твою — совсем другой. Марина Палей этого разделения не проводит, под общий знаменатель «заданности» подведены и детские, и советские, и общественные, и бытийные законы — разница лишь в том, что к последним предъявлен особенно строгий счет.

Высшее проявление их «унизительности» увиденно в смерти. Потому что, уточним нашу первоначальную посылку, книга эта по своему окончательному замыслу не столько о смерти, сколько об ее преодолении, о поисках пути к примирению с ней и невозможности его обрести.

Смерть страшна, отвратительна обилием сопровождающих ее физиологических дета-

лей, подмечаемых автором с профессиональной зоркостью бывшего медика; она неизменно переживается как шок, как непереносимый ужас. Как-то трудно сказать об этих героях, что они умерли в своей смерти. Смерть не может быть «своей», Мариной Палей она всегда осознана как зло, как убийство, как жуткое насилие над человеком. Человек — ее беспомощная жертва, часто он даже не понимает, что с ним происходит. Бабушка в «Помино-вении» «до последнего часа верит, что поправится: это просто врачи спортили ногу, выпивав какую-то не ту мазь, зато теперь мазь, наверное, как раз та, что надо». И героиня рассказа «День тополного пуха» из одноименного цикла, умирая, испытывает самые земные желания — просит холодного чая с лимоном, хочет, чтобы ее вынесли на воздух. Что уж говорить о совсем ничего не ведающих младенцах из рассказов того же «больничного» цикла.

Родильное отделение, казалось бы, место, буквально провоцирующее на разговор о зарождающейся, зреющей, растущей на глазах жизни, о чуде появления на свет нового человека. Но — на смерть родимся, по меткому народному слову, и эта обреченность каждого новорожденного ничуть не умозрительна для Марины Палей: умирает странный уродец, родившийся у героини рассказа «Отделение пропавших», умирает девочка из «Сказок Андерсена». Вот как будто название, выпадающее из тона сборника; сказка, волшебство — откуда бы им в этом обнаженно-натуралистическом мире взяться? «Мальшова влюбилась в Светлану и в ее пока безымянную дочь. Не грубо-красная, точно обваренная, кожа была у ребенка, не йодисто-бурая, а белая, чистая, нежная, почти голубая. Мальшка почти не кричала, никогда не кряхтела, а дышала легко и тихо и глядела Светланиными ярко-синими глазами из-под княжих бровей... Эта нездешняя мальшка больше всего была похожа на Снежную королеву: та же белизна, голубизна — мета избранности». Неужели вросвет, неужели жизнь перестала исчерпываться жизнедеятельностью? Не обольщайся, читатель, оставь надежду.

«„Цианоз носогубного треугольника” — вот как называется это на языке, лишенном иллюзий, и является одним из первых показателей дыхательной недостаточности. Мета! То и была мета: приближающейся смерти. Девочка уже тогда посинела, она тихо задыхалась, а ты любовалась ее синюшностью». Таинственная изысканность линий узора оборачивается грубым хаосом и узлами изнанки. Именно так понимается в этой прозе путь к «обнажению» сути вещей, именно так: или — или. Или Снежная королева. Или цианоз носогубного треугольника. Как будто Снежная королева не может приболеть! Как будто необычные лица бывают только у горбунов (рассказ «Приглашение в лето»)!..

Ну как тут не вспомнить знаменитый зошениковский рассказ:

«Мне даже, знаете, смешно делается, когда хвалят чего-нибудь грустное или, например, говорят при виде какой-нибудь особы:

— Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза. И такое печальное поэтическое личико.

Я при этом думаю: „За что ж тут хвалить? Напротив, надо сочувствовать и надо вести названную особу на медицинский пункт, чтоб выяснить, какие болезни подтачивают ее нежный организм и почему у нее сделались печальные глаза”» («Грустные глаза»).

Книга Марины Палей заслужила счастливое право быть объектом иронии, сохраняя при этом к ней иммунитет, потому что здесь есть повесть, далеко отстоящая от этой точно по линейке прочерченной связи между физиологией и тайной, загадочностью и подтачивающими человека болезнями, — «Евгеша и Аннушка».

Две старухи, две соседки в трехкомнатной коммуналке, в третьей комнате живет авторский двойник — Ирина, приветливо, но пристально наблюдающая, слушающая их жизнь. Несмотря на ее постоянное сюжетное присутствие, на то, что нам невольно приходится смотреть на происходящее ее глазами, у нас возникает иллюзия «объективности»: герои говорят и действуют сами по себе, в изображении их почти неощутим авторский диктат. Разумеется, впечатление это обманчиво, и возникает оно оттого, что авторские ходы и приемы направлены не на то, чтобы уловить, исчерпывающе определить героя, а на то, чтобы скромно указать на затаившуюся жизнь и отойти в сторону. Дальше — судите сами.

Этой задаче и подчинена организация текста: судьбы героинь даны в двойном ракурсе. Их допенсионная, «общественная» жизнь рассматривается на историческом фоне (раскулачивание, культ личности, война), а пенсионная (и это безусловная находка автора) — сквозь призму сменяющихся времен года. «Несмотря на давнее переселение в город, их жизнь просто и жестко зависела от времени года, как зависят от него жизни травы, льда, талой воды». Сказано, правда, с некоторым размахом; строго говоря, по календарному графику в повести живет только Евгеша — осенью делает запасы на зиму, зимой справляет свой день рождения, по весне едет на кладбище, летом отправляется на дачу. Аннушкина жизнь зависит от времен года лишь настолько, насколько ей дает это почувствовать Евгеша — осенью утощает дачно-огородными плодами, зимой — именинным пирогом. Сама Аннушка на улицу почти не выходит, главное ее занятие — отдых от жизни: «Это означало, что целыми днями она лежала, смотрела в потолок и молчала». В противовес насковозь земной Евгеше она подчеркнута не укоренена в быту, живя на хлебе, а в основном на воде, позволяя себе — при пенсии в пятьдесят семь рублей — трагить рубль в день, если только не приходится делиться с племянником Колькой, который навещает ее в промежутках между отсидами в тюрьме.

Так, впервые без надрыва и ужаса перед смертью автор показывает, как человек отходит. И когда Аннушка наконец умирает, сквозь неизбежную скорбь Марина Палей оказывается в силах сделать поразительное наблюдение: «В гробу Аннушка была удивив-

тельно на месте, и эту гармонию уже невозможно было сломать». Гармония и смерть встают рядом, ни чувства безысходности, ни отчаяния нет — почему? Конечно, во многом это заслуга Аннушки, заразившей автора собственноручно-спокойным отношением к собственному уходу. Но окончательная разгадка все же кроется глубже. Смерть не страшна, потому что ее... нет, потому что мы все равно вместе, умершие остаются и живут с нами, в нас — в памяти, в слове художника (отказываясь от христианских представлений о загробной жизни, Марина Палей тем не менее уверена, что Аннушкина душа «на месте»). Оттого-то и завершается эта замечательная повесть уверением автора, что и сейчас сидят обе старухи в ее кухне: как всегда, ворчит на «непугевую» Ирину хозяйственная Евгеша, как обычно невольно отвечает ей глуховатая Аннушка.

Телефонный звонок уже умершей Раймонды раздается и в финале повести «Кабирия с Обводного канала», в сборник, увы, не вошедшей; увы — ибо связана с ним глубоким проблемным родством. Раймонда, которую без тела и представить себе невозможно, потому что жизнь ее щедрой души, казалось, и заключалась в жизни ее тела, доверчиво дарящего себя каждому, все-таки звонит и, невидимая, улыбается, конечно, улыбается... И в этих — сквозь непонимание, сквозь тоску — светлых концовках, внезапных, но ожидаемых, и наступают обретение волшебства, или, по меткому слову Джона Р. Толкьена (сказанного, правда, по поводу «хорошего» конца в сказках), благодати, которая не уничтожает ни горя, ни не сбывшихся надежд, но отрицает полное и окончательное поражение человека

и в этом смысле является евангелической благой вестью, дающей мимолетное ощущение радости, радости, выходящей за пределы этого мира, мучительной, словно горе.

...Рассказы, не входящие в цикл «День тополиного пуха», воспринимаются в книге как необязательное добавление, которое еще резче заостряет преимущества напечатанного на предыдущих страницах. Выполненные в несколько вычурной, импрессионистическо-метафорической манере, они лишней раз напоминают о высокой ценности искусства говорить просто, даже, как это часто случается в прозе Марины Палей, ничего и не говорить, предельно приглушив свой голос, просто поставить перед читателем человека или предмет — пусть рассказывают о себе сами. В той же «Евгеше и Аннушке» всего лишь описание полочек над умывальником в ванной содержит более чем полную информацию об их хозяевах — в одной лысой зубной щетке Аннушки целая поэма о ней.

Книга «Отделение пропащих» такая, какой и должна быть первая книга талантливого человека, — с описанием детства и первого «взрослого» большого опыта, с неудачными экспериментами и вещами абсолютно зрелыми, причем, что немаловажно, появившимися друг за другом: «метафорические» рассказы, очевидно, написаны задолго до «Евгешы и Аннушки».

В книге чувствуется присутствие перспективы, это только этап, пусть первый. Стоит ли повторять, что без ощущения пути нет большого писателя. Стоит ли повторять, что этот писатель состоялся.

Мая КУЧЕРСКАЯ.



«И МНОГО ЛЬ НАС, ВНИМАТЕЛЬНЫХ, КАК Я...»

Александр Кушнер. Аполлон в снегу. Заметки на полях. Л. «Советский писатель». 1991. 511 стр.

Продолжим строку Кушнера, вынесенную в заглавие: «...стихом сегодня, может быть, владеют...»

Это реликвия на пушкинское, моцартовское: «Нас мало избранных, счастливых праздных... Единого прекрасного жрецов». Кушнер (о чем еще скажу), как буки, боится слова «избранных», тем более слова «жрецов» и, возможно, хотел бы парировать их своим скромным, в границах его же мысли, емким: **в н и м а т е л ь н ы х**, — но, аукнувшись с Пушкиным, говорит он все о том же: об избранничестве поэта, творца, о даре вдохновения, который ничем ни подменить, ни заменить нельзя:

...И ночь идет, и нету забытья
Сильней, чем это... Звуки пламенеют.
Подделать, кроме, может быть, огня,
Огня, огня, — возможно все на свете.
Служ раскален...

В стихотворении сказано, что область власти, распорядительности, житейской решительности, тщеславного упоения ими — не для

поэта («Никем, никем я быть бы не хотел, И менее всего — царем иль ханом...»), что ему, как герою гофмановского «Золотого горшка» (ох уж эти романтические аналогии, сами лезут на ум — назло вкусам нашего автора!), — что досталась ему в удел иная мыза («под яркой лампой... на столе»), доступны иная власть и решимость: «Ни слова за меня! Я сам скажу...»

Это стихотворение — «о месте поэта», какие пишет каждый думающий поэт, от Пушкина до наших дней, — Кушнер не включил в книгу своих размышлений над лирикой, где эссе перемежаются со стихотворными интерлюдиями, прямо или косвенно варьирующими основные темы. Замечу кстати, что так построить книгу — решение смелое и даже в чем-то наивное и беззащитное. Поэт словно бы «подставляется», дает козыри в руки тем, кто хотел бы доказать, что иные его стихи могут быть продублированы филологической прозой, что он лишен непосредственности, склонен писать поэтические вещи «на тезис». Но Кушнеру и не снится опасность такого подвоха: он-то помнит и знает, что стихи создавались

«раскаленным слухом» и шли впереди рефлексий, а проза о стихах писалась по подсказке внимательного, но уже остывшего уха. В книге, где стихи играют подсобную роль орнаментальных заставок, они все равно первичны и первородны и чаще всего превосходны. Впрочем, в большинстве своем они уже читаны нами прежде.

Так вот, среди них нет цитированного выше стихотворения. То ли автор счел заключенную в нем «декларацию прав» слишком прямой, то ли смутило его в этих строках рельефно выступившее «я» («профиль... надлеповатый», «Выбрать между чаем в гостях и кофе трудно мне...»), некая лирическая фигура, против чего он так воостает в своих суждениях о поэзии и ее сочинителях. А жаль, что эта «декларация» не вошла в предлагаемое скрещенье мыслей. Она бы дополнительно осветила противоречие, которым дышит и держится вся книга, — противоречие безусловно живое, но иногда досаждающее читателю к тому уму: между неизбежным избранным поэтом и принципиальным желанием уподобить его (и уподобиться) «всем», между «переключкой» (так названа одна из лучших и магистральных статей) на просторах русской лирической вселенной, со-жизнью разных поэтов — поверх времен и исторических фаз — и впаивностью их в свою эпоху, подданностью ей («Попробуйте меня от века оторвать» — прибегает тут автор к свидетельству Мандельштама, озаглавив его стихом тоже очень важное размышление)...

Перед нами — книга о стихах, писавшаяся шаг за шагом, наблюдение за наблюдением лет двадцать, не меньше. Сам автор определил ее как «хронику любви» к поэзии, «роман о любви к стихам». Почти все наши известные поэты печатно размышляли и размышляют о стихах предшественников и собратьев, почти все могли бы объединить свои отклики и заметки в общую тетрадь в порядке натуральной хронологии. Но как раз у Кушнера есть достаточные основания полагать, что им написана «книга», «роман». Во-первых, он всегда жил и живет внутри звучащего стихового хора, мира. Чужие стихи составляют события его внутренней жизни не меньше, чем собственные. Он не того сорта писатель, который «не читатель». «Скажи мне, какие стихи ты любишь, и я скажу тебе, кто ты», — предлагает он вполне убедительный афоризм. Об этой якобы «закультуренности» Кушнера в свое (не лучшее!) время было наговорено много глупостей, — на страницах книги то там, то сям автор с ленцой от них отмахивается, а сейчас не хочется о них и вспоминать... Во-вторых, Кушнер один из немногих современных поэтов, создавших свою школу, свой «цех», продолживших этим дело Николая Гумилева. Его интонации, сколько раз обвиненные в переимчивости, сами оказались впечатанными в слух «младших» и зарезательно влекущими к перехвату, его вкусы и склонности обворожили учеников его вольной академии — иногда преданно послушных, как А. Пурин и Е. Ушакова, иногда самостоятельно преломляющих опыт мэтра, как А. Машевский и Н. Кононов. И эта книга, в которой

рядом со свободолобивым упрямством поэта («Я сам скажу...») гнездится железное упрямство воспитателя, тоже своего рода единая студия, классная комната, где от урока к уроку закладываются основы определенного художественного мирозерцания. В ней есть свои малые по объему, но образцовые для научения студийцев (да и вообще прекрасные!) исследования: сопоставление мандельштамовских «Tristia» с блоковскими «Шагами командора», различие поздних путей Пушкина и Баратынского, контрастные параллели между письмами Тютчева и его стихами.

Но, в-третьих, при явной филологической жилке все-таки тут, в силу особого угла зрения, не филология, а действительно своего рода «роман». Только в тексте, просвеченном художественно, а не аналитически, могут быть такие устойчивые лейтмотивы, возвраты, вариации заветного. Их же находим и в стихах, они определяют личный мир автора, а не его умственные чтеи. «Аполлон в снегу» — это бог искусства, перекочевавший из Средиземноморья в Россию и там, в стуже, нашедший жестокою милую родину роднее и требовательнейшей прежней:

Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег, словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел

Здесь, на фоне огромной страны,
На затынутом льдом берегу...

Конечно же, вспоминается фетовское: «В сыртах не встретишь Геликона, На льдинах лавр не расцветет...» Да, лавр не расцветет, откликнется Кушнер, но все же, все же, все же «небожитель, морозом дыша, Пальму первенства нам отдает, Эта пальма, наверное, ель, Обметенная инеем сплошь...», северный лавр на дальнем форпосте — ветвь, дрожащая «в холоде снежных объятий», «ледяной трилистник» Иннокентия Анненского (как о том сказано в другом стихотворении, «Ветвь»). Сколько стихов навеяно Кушнеру дыханием великой замечательной равнины, чьи географические размеры и климатические черты он превратил в, пользуясь словом Блока, «лирическую величину», подавляющую и возвышающую. «Морозоустойчивость русской поэзии как признак ее красоты и свободы» — так можно было бы обозначить этот мотив, вобравший, ясное дело, и гражданскую символику. Он в разных обликах проходит через всю книгу, с него книга и начинается. Только Кушнер мог подойти к комедии «Горе от ума» как к стихотворному циклу и найти в ней «лирическую пространств», тайный музыкальный ее двигатель (о Грибоедове — первый очерк «Аполлона в снегу»). И опять же, только Кушнер мог обнаружить с такой неожиданной точностью у не самого близкого ему поэта, у Тютчева, сквозь все его философское шеллингианство и раздражающую нашего антимперски настроенного автора политическую лирику наиглавнейшее слово — «душа». Кушнер выписывает сплошную страницу тютчевских строк с

этим ключевым словом и завершает: вот «главный интерес. главная привязанность Тютчева. Не это ли, чуть ли не вопреки его воле, сделало поэзию Тютчева бессмертной?». Ответим осторожно: и это. Но то, что «тучка, ласточка, душа» — героиня кушнеровских стихов — отыскала в минувшем столетии столь не похожую на себя старшую сестру, вот что уж точно. Лирика как свободная жизнь человеческой души — об этом стихи, об этом книга.

В литературной эссеистике Кушнера, лишенной какой бы то ни было надуманной затейливости (такой, чтоб знали: поэтом писано, а не так себе литератором), играют не использованные в его стихах, но именно стихам присущие образные блики. Выпуклые фактурные сравнения, которые в лирике выглядели бы несколько примитивно (не может же Кушнер походить на Вознесенского), здесь, в прозе, блестят и радуют находчивостью. Раннее стихотворение Пушкина «забежало вперед, как гонец, объявляющий приближение царского поезда — лирики 30-х годов». «Пастернаковская стая (ассоциаций. — И. Р.) летит хаотично, так летают голуби», а у Мандельштама «ассоциации выстраиваются в цепочку — так летят гуси». «Архилох, сказавший: «Пью, опершись на копьё», делает это и сегодня. Лирическая поэзия живет сегодняшним днем, принадлежанием вечности». «Маяковский улегся на революционную волну, перестал грести и в конце концов, когда огромная волна ушла, — как крупное морское животное, вроде кита, — оказался на мели». Поэзия Фета «так горяча, что над ней клубится пар», а поэзия Вячеслава Иванова «похожа на гипсовые волны». И напоследок самое, быть может, эмблематичное для Кушнера уподобление: «Жесту отчаяния, жесту... которым срывают скатерть с пиришественного стола, противостоит и в жизни, и в искусстве — другой, созидающий, восстанавливающий связи человека с миром, души с Богом, жест, которым снова и снова набрасывают на стол свежую скатерть» («Скатерть, радость, благодать» — прокомментируем эти слова поэта его давней строчкой).

И любимые стихи, конечно, проживаются чувственно, на вкус, нёбными альвеолами, языком, гортанью, долгой дыхания, а входящие в них «технологические» элементы становятся персонажами какой-то увлекательной и динамичной драмы: чего стоит, например, замечание о пиррихии в стихе М. Кузмина — «однообразно и неинтересно», — виртуозно о б о б р а в ш е м этот пятистопный стих!

Такая вот живая, тоже журчащая влажным паром поэтической жизни книга, защищающая права вольного лирического излияния даже там, где защиты, ей-богу, не требуется: защищающая раннего Пастернака от позднего, Пушкина самоуглубленных признаний от Пушкина — всеевропейски отзывчивого «протей», автора антологических и иных в том же духе стихотворений. Книга живая — но и с металлом в голосе. В ней есть творческий, со-творческий подъем поэта-читателя, поэта, влюбленного в психею поэзии. И есть своя поэтическая идеология, на которой Кушнер наступательно и неотступно, как любой иде-

лог, настаивает. Здесь источник противоречий, вскользь отмеченных мною вначале.

Против всего, что я скажу дальше, чувствую, будет выставлен один, казалось бы, неопровержимый довод: любой сколько-то значительный поэт, художник не может с равным расположением относиться ко всем создателям и созданиям родного ему искусства; «несправедливость», избирательность, пристрастность, врезрез с традиционными общезначимыми оценками, не только могут, но и должны быть присущи ему как самобытной творческой фигуре. И если даже пушкинское оно не приметило в свое время Тютчева, а Блок почти не разглядел Мандельштама, почему бы Кушнеру на поэтической переключке неодосчитаться, скажем, Есенина?

Все так, и ни разу не упомянутый Есенин книге не в укор. Она о тех, кто любим: о Баратынском, об Анненском, о Кузмине, Пастернаке, Мандельштаме — и, конечно, о Пушкине. Но есть два способа зарыть своей любовью других: первый — представить любимое в лучшем виде, второй — представить в наихудшем то, что от любимого отлично. В «Аполлоне на снегу» автор прибегает к обоим способам, и, как нетрудно догадаться, именно вторым обесценивается отмеченный выше идеологизм.

Вот сравнительно невинный пример: поэма. Кушнеру очень важно показать чудесные преимущества «чистой» лирики, все более раскрывающиеся от начала XIX к середине XX века «в обход большого жанра». Книга стихов, где каждое стихотворение непосредственно схватывает миг лирического настоящего (вспомним пример с навеки опершимся на копьё Архилохом), всеми своими «интонационными неровностями» дышит текущим мгновеньем, а все вместе они, стихи, являют целостный рассказ о жизни, о времени, о самом поэте, рассказ без рассказа, без, боже упаси, фабулы и повествования, — вот художественный идеал, на пропаганду которого Кушнер тратит массу прекрасных и внушительных слов (не говоря уж о собственном творческом опыте). И ведя счет приобретениям на этом пути — от «Сумерек» Баратынского до «Сестры моей — жизни» Пастернака и книг современных нам поэтов, — он, безусловно, прав: и тенденция схвачена верно, и высокая оценка ее продуктивности не вызывает сомнений. Но непрерываемость, с которой проводится эта мысль, начинает с какого-то момента походить на запрет идти иной дорогой — вопреки непредвиденности путей искусства, всегда опрокидывающего наши диагнозы и прогнозы. А уж когда под отрицательные рекомендации подводится идеологическое основание... Читаешь об эпическом подавлении человека в России нашего столетия и лирическом уважении к нему — и так хочется воскликнуть: не втраивляйте эпос и лирику в одномерный социальный конфликт, у них есть собственные жизненные ритмы и свои внутренние счеты друг к другу! И если уж на то пошло, то не только «Медный всадник» ничего не теряет рядом с наиглавнейшими творениями пушкинской лирики, а «Коробейники» и «Мороз, Красный нос» несколько не

ниже (а по мне — так и выше) лирики Некрасова, но и наш поэтический век я не могу представить себе без «Поэмы конца» и «Крысолова» Цветаевой, а теперь уже без «Погорельщины» Клюева, не говоря о «Двенадцати». И кто знает, что будет завтра; ведь и «книга стихов», это волшебное жанровое образование, истощается, пожалуй, в конце нашего столетия, между тем как заметно набирает силу городская баллада с элементом повествовательности.

Еще более темный и мучительный вопрос — об избранничестве поэта и житейской его общности со всеми. Кушнеру дорога и родственна та лирика, где обнаруживается «стремление соответствовать в самом главном любой человеческой жизни». Лирика же, выводящая на подмостки фигуру «лирического героя» во всей исключительности его судьбы, вызывает у Кушнера сильное раздражение. «Театрализация, конструирование в стихах своего образа, всяческая забота о своем «лице» ведут к почти неизбежным провалам, дурновкусию, потаканию ожиданиям публики. Поэт становится рабом своей выдумки» — этот менторский тон в статье о Блоке (при известной справедливости попреков) немного даже смешон, а сама статья — не столько «антиюбилейная», что и нехудо, сколько попросту ворчливая. И далее: «Такая роль, такая позиция поэта выглядит сегодня несколько старомодной. От нее ближе к Байрону и Лермонтову, чем к нам». «Старомодность» — ужасный укор в устах Кушнера, которому «наше время» всегда было дороже минувших «времен». Ясно, почему он отворачивается от Есенина, с nanoparticles искренностью и зорким артистизмом очертившего в стихах свой легендарный облик, почему устанавливает всего лишь худой мир с «байронической» поэзией Бродского, руководясь здесь больше личными дружескими чувствами, чем эстетическими предпочтениями.

Все бы ничего, все бы хорошо в этой защите права поэта быть частным человеком, подлинным и простым, в этом отказе от лирических котурнов. Но возникает одно двусмысленное следствие. Вместо того чтобы принадлежать современности в качестве захваченного ею у вечности заложника (а не послушного сына), поэт — ведь он «как все», ведь в «москвошвевской» же униформе — оказывается в глазах Кушнера родным чадом своего века, плывущим по его течению и, так сказать, колеблющимся вместе с его линией. Это особенно видно в статье о Мандельштаме, полемически нацеленной на тот образ «противоборца», который создан в воспоминаниях о муже Надежды Яковлевны. Кушнер (я слегка огрубляю его мысль, но не искажаю) доказывает, что это был советский поэт, разделявший все надежды людей 20-х годов, все предрассудки людей 30-х, революцией избавленный от своей еврейской приниженности. Что ж, образ Мандельштама действительно стилизован Надеждой Яковлевной в согласии с ее позд-

ними взглядами («одержимость монархической идеей», «церковными символами», сердится на нее Кушнер). Но нельзя исправлять одну односторонность другой, куда более опасной. Почему — более? Да потому, что не поэт тот, кто, погруженный в воды своего времени и трижды им меченный, не пытается вместе с тем выплывать против его течения. Он избранник, он одарен, и дар обязывает его быть «не как все», разделяя с большинством, быть может, гибельную участь, но не слепоту. И, мы помним, Мандельштаму были свойственны эти головокружительные прыжки с седьмого этажа, о которых как о прирожденном безумстве лирика писал Фет, — эта дерзость в споре с веком. Путь против течения, в недавнее время, хотя в менее тяжелых условиях, пройденный и самим Кушнером с большим достоинством и упорством, напрасно ставится им под сомнение как нереалистичский и претенциозный. Конформизм больших поэтов, сознательный или бессознательный, имеет свои узкие пределы в отличие от беспредельного конформизма толпы. Иначе и не была бы возможна их орлиная перекличка друг с другом через головы современников. Ведь не к одним скрытым цитатам и повторенным интонациям сводится ее суть. В той же статье с первою данной, можно сказать, прямолинейностью «монархические» стихи Пушкина трактованы как попытка выживания. Но как забыть, что у Пушкина могли быть свои взгляды на сей счет, отличные от взглядов, принятых в его близком культурном кругу, однако в будущем повлиявшие на целое течение русской политической мысли? Если история их и отвергла, то далеко не так поспешно, как современники с их благородными клише.

Конечно, и сам Кушнер не избежал того, чтобы в его суждениях запечатлелся специфический дух миновавшей эпохи, именуемой 60-ми. К числу этих черт отнесу утопический, «руссоистский» взгляд на «хорошесть» искусства: оно «нравственно по самой своей природе», «честь и стыд у них» (у стихов) «в крови». В соответствии с этой максимой тема демонизма искусства, демонизма красоты, лирического демонизма, так мучившая Блока, и не его одного, объявляется надуманной и ходульной, а стихи, вложенные Блоком в уста своего демона и обращенные к подруге: «И под божественной улыбкой Уничтожаясь на лету, Ты полетишь, как камень зыбкий, В сияющую пустоту», квалифицируются как «падение» поэта. Быть может, это и впрямь человеческое падение, но стихи-то дивные и сердцу кажутся, как сказал бы Митя Карамзев, «сплошь красотой». Ох, не Кушнеру рубить сей гордиев узел!

Как бы то ни было, книгу эту написал поэт, каких мало. И ее будут читать не только сегодня.

И. РОДНЯНСКАЯ.

НА ПЛАТОЧКЕ

Шмуэль Иосеф Агнон. В сердцеvine морей. Перевод с иврита и комментарий
Израэля Шамира. М. «Радуга». 1991. 335 стр.

Шмуэль Иосеф Агнон. В сердцеvine морей. Роман. Перевод с иврита и комментарий
Израэля Шамира. «Иностранная литература», 1990, № 11.

«В сердцеvine морей и другие утешительные и занимательные рассказы о чудесных избавлениях на водах и на суше, записанные Шмуэлем Иосефом Агноном на Святом языке и пересказанные на эдомитянском наречии Израэлем Шамиром, жителем иерусалимским, а также Путеводитель по Агнону, с раскрытием всех тайн сионских мудрецов, составленный оным Шамиром» — этот причудливый титул (кроме обьчного, соответствующего принятым библиографическим нормам) вполне выражает необычную стилистику и дух книги, которая впервые знакомит отечественного читателя с миром Агнона, чье имя доселе мы только слышали в связи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе (1966). Писатель родился в 1888 году в тогдашней Австро-Венгрии, в Галиции, в городке Бучаче (ныне Тернопольская область Украины). В начале века переехал в Палестину, но вскоре отправился в Германию. А когда его дом там сгорел со всеми рукописями, вернулся в Палестину, уже навсегда. Умер в 1970-м.

Это первое знакомство, к счастью, облегченно уже упомянутым «Путеводителем по Агнону». Подготовленный уроженцем Новосибирска И. Шамиром, эмигрировавшим в Израиль в 1968 году, он оказался для меня не менее привлекательным и увлекательным чтением, чем собственно проза Агнона. В журнальной публикации романа «В сердцеvine морей»¹ первая фраза первой главы звучит так: «Прежде чем взошли первые хасиды на Землю Израэля, закатился в их мидраш² человек один, Хананьей звать»; так вот к пяти (!) словам этой фразы, включая такие, как «взошли» и «закатился», даются примечания переводчика, но комментаторский энтузиазм не выглядит избыточным, поскольку выясняется, что и эти последние тоже нуждаются в объяснении. Дело тут не только в специфической для русского уха лексике. Агнон совершенно не похож на известных нам (мне) еврейских писателей, которые, по мысли И. Шамира, или имитировали приемы иноязычных литератур, как Шолом-Алейхем и Исаак Башевис-Зингер, или входили в иноязычные литературы, как Бабель и Беллоу³; он избрал другой путь — обратился к архаичному средневековому «языку мудрецов», языку религиозной средневековой сло-

весности, в чем-то аналогичному, по мнению переводчика, языку протопопа Аввакума, смешав простецкий разговор с книжной речью и используя своеобразную пунктуацию, как бы размывающую грань между прямой речью, цитатой и авторским текстом. При этом он пишет не столько о прошлом (как бы противоположном настоящему, что делает Башевис-Зингер), сколько о прошедшем, происшедшем. Особое свойство иврита, объясняет переводчик, состоит в том, что даже по очень подробному описанию события на этом древнем семитском языке трудно догадаться, идет речь о еврейской древности или о наших днях. И это не только языковой, но и смысловой феномен: Агнон не спешит с подсказками, поэтому время действия его прозы укладывается, по выражению И. Шамира, в промежуток, когда Храм уже разрушен, а Мессия иудаизма все еще не пришел.

Агнон создал литературу — «современнику и сестру религиозной еврейской словесности, как бы перекинув мост на тысячу лет назад и дописав, — иногда единой фразой, — что написали бы евреи — современники Сервантеса, Данте или Пушкина, если бы они писали светскую прозу», — так объясняет И. Шамир суть феномена Агнона, не случайно вспоминая при этом и Борхеса. Пьер Менар, герой рассказа Борхеса, решил заново написать «Дон Кихота», как две капли воды похожего на сервантесовского, а Агнон решил воссоздать средневековую литературу на иврите, но живую — не холодную стилизацию (тем, кого коробят сами понятия веры и народности, Агнон придется не по вкусу). При этом Агнон (как и Пьер Менар) остается человеком нашего столетия, он уже знает то, чего не мог знать ни средневековый автор, ни литератор прошлого века. Он уже знает, что за это время произошло и что было написано. Но, как выражается И. Шамир, Агнон переборхесил Пьера Менара. Тот переписал то, что было. Агнон — то, чего не было.

«У нас (евреев. — *A. B.*), — объясняет переводчик, — не было средневековой литературы⁴, частью которой могли бы стать его «Сретение невесты», «В сердцеvine морей»... ни литературы такой не было, ни евреев таких не было, а был огромный пробел от классической до новой ивритской словесности, который Агнон запоянил — и заполнил массой жанров». Почему же не было? — спросит наш соотечественник, видимо, впервые (как я, например) узнавший про это удивительное явление. «Евреи в средние века, — продолжает И. Шамир, — от разрушения Второго Храма и

¹ В отдельное издание Агнона вошли также рассказы и три главы из большого романа «Сретение невесты». Кстати, книга оформлена фрагментами витражей Марка Шагала в синагоге Мелдинского центра Иерусалима.

² Мидраш — дом учения и молитвы

³ В том же номере «Иностранной литературы» рядом с Агноном печатается роман Сола Беллоу «Герцог» — как произведение американского писателя, что скорее всего справедливо

⁴ Речь идет, разумеется, о прозе, средневековая поэзия на иврите достаточно широко известна.

до новых времен... заучивали классические образцы — Библию и Талмуд — и обсуждали их с превеликим почтением... Человек агноновского таланта в средние века написал бы еще один комментарий на книгу «Зоар»...» Но не такой роман, как «В сердцеvine морей».

«В сердцеvine морей» — это цитата из Библии, из книги пророка Ионы. Господь велел Ионе проповедовать Слово Божие иноверцам — жителям Ниневии, Иона же пустился в бегство, но Господь нашлал бурю на корабль, на котором хотел скрыться Иона, а потом велел рыбе проглотить пророка. В чреве рыбы Иона уразумел свою вину и, будучи выпущен на свободу, предупредил жителей Ниневии о грядущей каре; те покались и были помилованы, а Господь объяснил Ионе, что Он заботится и об иноверцах: «Тогда сказал Господь: „ты сожалел о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек“...» (Иона, 4, 10—11).

В романе Агнона описывается путешествие галицийских евреев из Бучача (родного города Агнона) в Землю Израиля. Время действия автором не обозначено, но по косвенным признакам комментатор определяет его 1825—1835 годами. Среди переселенцев — и ребе Шмуэль Йосеф (как бы сам Аггон), развлекающий и укрепляющий своих спутников рассказами о чудесных избавлениях и спасениях, и некий безмянный персонаж, несущий тем не менее большую смысловую нагрузку, и нищий праведник Хананья, главный персонаж книги, сочетающий в себе черты и хасидского учителя Бешта, а отчасти и евангельского Иисуса. «Как увидел Хананья, что горе его — на этот раз и впрямь горе, возвел он очи горé и сказал: Властелин Вселенной, нет у меня опоры, кроме Твоей жалости. И вселил Господь в сердце его совет: чтоб бросил он свой платок на воду и уселся на него. Расстелил он платочек и сел на него. И тут же полпыл платочек по морю и пронес Хананью, пока не приплыл в Страну Израиля».

Вообще это на первый взгляд простое, полное поэтической прелести повествование не поддается прямолинейному истолкованию. Столкнувшись с этим обстоятельством комментатор предлагает, казалось бы, безумную трактовку: «Иисус — Иона принес Слово Божие иноверцам, обратил их, а затем пустился в обратный путь из Ниневии Рассеяния в родную Землю Израиля. Иными словами, по этой теории в повести говорится о репатриации Иисуса». В книге Агнона, считает комментатор, присутствие Иисуса несомненно, однако «не Иисус возвращается и ведет народ Израиля, но Народ Израиля, прибывший к тайнам мистического хасидизма (в противоположность рациональному иудаизму.— А. В.), ведет и возвращает Иисуса в Страну Израиля» — движение, как видим, противоположное знаменитому тезису апостола Павла о том,

как «весь Израиль спасется» (Римл. 11, 26): через Спасителя, Иисуса Христа.

Не стоит спрашивать, как видится с христианской точки зрения трактовка, в которой Иисус оказывается просто еврейским пророком, а христианство — разновидностью иудаизма. Но мог ли сам Аггон иметь в виду такое? Мог, уверенно отвечает И. Шамир, имеющий в виду постоянные христианские мотивы его творчества. А возможна ли такая идея в еврействе вообще? Да, столь же уверенно отвечает комментатор: один из еврейских «мессий», Саббатай Цви, хотел спасти душу Иисуса, а, скажем, хороший знакомый Агнона профессор Еврейского университета Давид Флюссер развивал мысль о том, что христианство и иудаизм можно воспринимать теоретически как единую веру.

Самым явным свидетельством «странного романа Агнона с Иисусом» И. Шамир считает рассказ «Правые стези», появление которого сопровождалось скандалом: Агнона обвиняли в отступничестве, главный раввин Израиля написал Аггону письмо с просьбой уничтожить или спрятать рассказ. Герой его, бедный торговец уксусом, оставшись без жены и детей, потеряв смысл жизни, решает хотя бы умереть в Святой Земле и начинает копить деньги. Половину оставил себе на пропитание, половину засыпал в кружку-копилку, а копилка эта была в руке Того Человека (то есть Иисуса — имеется в виду придорожное распятие). «Прост был и не понимал, зачем стоит та кружка, и уверен был, что надежнее места не сыщешь» — деталь невероятная, но в мире писателя совершенно убедительная. Он обретает радость в своем ремесле, приближающем его к заветной цели, и раз в неделю в канун субботы опускает серебро в шель копилки, успевавшую затянуться за неделю паутиной (никто кроме него не жертвовал денег в эту христианскую копилку!). В конце концов брошенный в темницу за взлом копилки (он-то знал, что в ней его деньги), он вдруг видит в своей камере... Иисуса. «Протер старик руки и обнял ими шею Того Человека, и Тот Человек улыбнулся ему и сказал: сейчас я отнесу тебя в Страну Израиля. Обхватил старик шею Того Человека, и тот повернулся лицом к Иерусалиму. Пролетели они один перелет — и исчезла улыбка Того Человека. Пролетели второй перелет — и охладели руки старика. Вылетели в третий перелет — и почуял он, что обнимает лишь холодный камень. Оборвалось сердце его, и ослабли руки. Сорвался и упал на землю. Наутро вошли пленители (в темницу.— А. В.) и не нашли его». Конец рассказа более туманен. «В ту же ночь раздался стук в мидраше «Келель» в Иерусалиме. Вышли и увидели — ангелы летят из стран изгнания, несут образ человека. Взяли его и схоронили в ту же ночь, затем что не оставляют мертвых до утра в Иерусалиме». Но кого несли ангелы? Умершего в тюрьме (или в полете с Иисусом) старого еврея? Или кого-то другого? Кого похоронили в Иерусалиме? «Старик спасся, — размышляет И. Шамир.— Что это значит?

Иисус спасает? Простота спасает? Или спасение так невелико: погребение без талита⁵ в сухой земле. — что любая вера спасает (разрядка моя. — А. В.)? Итак: что же это значит?

«А может быть, это такая ирония?» — сказал мне коллега, литературный критик, по прочтении рассказа. Не знаю. Но думаю, что этот при первом прочтении очень прозрачный, а при повторном рационально необъяснимый рассказ представляет проблему главным образом для нехристианского сознания, такого в котором для Иисуса вообще нет места, он — не называемый по имени Тот Человек. Для христианского же сознания внятно, что Агнон — каковы бы ни были его намерения (которые мне неведомы) — написал прекрасную историю о поистине беспредельном милосердии Иисуса, о Божественной Любви, но также и о том, что Царство Его не от мира сего и эта любовь не служит земным заботам. И я благодарен Агнону независимо от того, что именно он намеревался мне (нам) сказать, независимо от того, знал ли он, что именно говорит.

В предисловии к сборнику Л. Аннинский пытается представить «ту душу, которая смотрит в Агнона, как в перевернутое зеркало», смотрит отсюда — из России. «Что нам до Хананья, до платочка, до «средневекового еврейства»! Что нам в Иерусалиме — ведь не нам уготована эта Земля-Невеста! Что нам Договор, заключенный не нами и не про нас! Но сама магия Договора, сама твердость Закона! Мы, в непредсказуемости нашей волюшки гуляющие по земле, ненавидящие всяческую «крепость», преступающие всяческие «пределы», — разве не чувствуем, что немеренная земля наша стонет стоном от нашей гульбы и души наши разрываются оттого, что нам закон — не писан?.. Мы, помещавшиеся на всепонимании и всеотзывчивости, всему откликающиеся и ко всему причастные, — не чувствуем ли, как мир наш ползет и распадается.. разве не тоскуем мы по какой-то неведомой нам внутренней основе, любой, только бы душа была равна себе?»

Словом что нам Хананья?

Моя душа смотрит в зеркало Агнона, и думаю я не только о том, что русско-еврейский узел не сводится к сумме бытовых, культурных и государственных контактов, что он мистичен и завязан на небесах, и не только о том, что в зеркале Агнона мелькают отблески средневековой русской литературы, Гоголя, Лескова (об этом справедливо пишет Л. Аннинский); я думаю о скучной науке демографии, которая скучно и просто говорит нам (а мы всё не услышим), что после 1995 года численность русского народа начнет сокращаться абсолютно. Она упадет до 136,7 млн в 2000 году, до 107,2 млн. в 2050-м, до 64,9 млн в 2100-м, то есть в течение 100—120

лет русские исчезнут из перечня крупнейших народов мира, а если указанная тенденция будет развиваться и дальше, то к 2200 году останется всего 23 млн. русских, считает американский демограф⁶. С точки зрения истории этноса, два века — это уже завтра. Оглянуться не успела, а зима катит в глаза. Я мысленно представляю разноцветную карту этносов: русская нация будет сокращаться не центрируясь и в этом слугении обретая новую силу, нет, это было бы замечательно, почти чудо. Видится же, к несчастью, иное: рассеянные на огромных пространствах, которые мы простодушно считали своими, мы, русские, будем таять, рассиваться, ассимилироваться, единое тело народа будет разрываться, рассекаться на отдельные, в свою очередь тающие и разрывающиеся очаги, а опустевшее пространство пусто не будет. Итак, в перспективе: народ в рассеянии, вплоть до утраты собственной государственности, народ, проживающий на территории многих иностранных государств. Одна русская диаспора. А дальше — собирание народа из рассеяния на историческую родину, воссоздание национального очага (не будем загадывать где), вплоть, быть может, до военных поселений на опаленных границах маленькой Руси.

Не правда ли, знакомо?

Может быть, тогда то безмерное, бескрайнее (чья безмерность, однако, сильно преувеличена Л. Аннинским в угоду концепции) поневоле сожмется, вязкое, рыхлое (но опять-таки не столь бесформенное, как видится критику) затвердеет, кристаллизуется, а хаотичное обретет порядок — не только государственный, но и духовный строй.

Или уже полное ничто. Американский демограф вспоминает предсказание Шпенглера о том, что коммунистическая революция станет для русских тем, чем для древних римлян стало варварское завоевание; по мысли Шпенглера, в XXI веке не будет русских, как в VI веке уже не было римлян. Может быть, и так. Но еще задолго до этого, может быть, завтра, побредет по евразийским просторам, нет, не Хананья, а Иван (который, как известно, Иоанн) — из рассеяния домой, туда, где верно должен быть русский дом, но где его уже (еще) нет... «Бросились они на землю и целовали прах ее, и плакали о запустении ее, и радовались, что дано им было добраться» («В сердце-вине морей»).

Вот на какие странные мысли навела меня странная и прекрасная книга Шмуэля Иосефа Агнона.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

⁶ Михаил Бернштам, «Сколько жить русскому народу» («Москва», 1990, № 5). Депопуляция, однако, уже началась.

⁵ Галит талес — покрывало с кистями

Политика и наука

ГЛАЗАМИ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ

Д. И. Менделеев. Границ познанию предвидеть невозможно. М. «Советская Россия». 1991. 589 стр.

Д. И. Менделеев. С думою о благе российском. Новосибирск. «Наука». 1991. 230 стр.

Пожалуй, многим из нас со школьной скамьи больше других русских ученых запомнился Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907). Его умное лицо с характерной «сибирской» бородой (он родился в Тобольске), его удивительная таблица, увиденная им во сне, — это надолго сохраняется в памяти.

Менделеев известен не только на родине, он принадлежит к когорте наиболее выдающихся представителей всего человечества. И все же в первую очередь он продолжает оставаться «истинным сыном России», как справедливо назвал Менделеева автор вступительной статьи к сборнику научно-публицистических работ ученого «Границ познанию предвидеть невозможно» Ю. Соловьев.

К этому тому публицистических выступлений великого химика примыкает и другой сборник его трудов, «С думою о благе российском», который несколько позже вышел в Новосибирске. В нем также ошущима озабоченность ученого состоянием российских дел, особенно в экономической области. Разные по своему составу книги в чем-то удачно дополняют друг друга. Чтобы получить более полное представление об экономических воззрениях Д. И. Менделеева, стоит прочесть их обе, особенно же тем, кто непосредственно причастен к историческим преобразованиям экономики на территории бывшего Советского Союза и бывшей Российской империи, происходящим в наши дни. Неплохо бы, конечно, обратиться к полным текстам трудов Менделеева, которые в изданных ныне сборниках представлены фрагментарно, хотя есть определенный смысл и в таком концентрированном собрании мыслей прославленного ученого.

Читая экономические работы Д. И. Менделеева, невольно испытываешь ощущение, что все это очень напоминает то, над чем наши экономисты и политики ломают головы сегодня. Вроде бы и не миновала сотня с лишним лет с того времени, как писал свои статьи Менделеев, и сегодняшние наши проблемы мало отличаются от тех, что заставили великого химика взяться за перо публициста и экономиста.

Причина же, побуждавшая русских ученых мирового класса — от Кропоткина и Вернадского до Сахарова и Юрия Орлова — в ущерб научной карьере и жизненному благополучию отдавать значительную часть своей жизни решению острейших вопросов, поставленных жизнью перед обществом, народом, страной, одна и та же — обостренная совесть.

«Мне говорят — ведь вы же химик, а не экономист, зачем же входите не в свое дело?» — сетовал Менделеев и как на одну из важнейших причин этого указывал на свое

желание «благоденствия, преуспеяния и нравственного могущества России». Революционером он не был, но диссидентства (хотя этот термин тогда еще не употреблялся) не избежал, демонстративно покинув кафедру в Петербургском университете из солидарности с забастовавшими студентами. Но вообще-то он был больше реформатор, видевший будущее России не в «великих потрясениях», а в следовании тому пути, которым идут все цивилизованные страны: «Там впереди (с усилением российской фабрично-заводской промышленности) не только мир и соединение Востока с Западом, но и торжество русского гения на пути промышленного прогресса, а вместе с тем богатство и новое могущество русского народа».

«Фабрично-заводское» развитие он понимал только как путь капиталистический. «Перескочить через капитализм — утопия», — утверждал Менделеев, не закрывая глаза на различные отрицательные явления, связанные с капиталистическими отношениями. Но главное в том, считал он, что «право собственности составляет одну из основ всего общественного устройства, назначенного для обеспечения как личностей, так и их взаимностей». Неравенство людей он называл необходимым «условием жизни человечества», без него «немислимы не только какие-либо успехи (прогресс) в жизни людей, но и неравномерно поставленных и по отношению к самой земле, но даже самое их существование».

Такие мысли высказывал Д. И. Менделеев в своем «Учении о промышленности», работе, которая впервые без купюр публикуется (после 1917 года) в книге, изданной в Новосибирске. Далее он продолжает: «А потому мечтательное представление о возможности достижения всеобщего полного равенства... должно причислить к утопиям, или сказкам, содержащим в себе подчас красивые в идейном смысле стороны, но чуждым достижимости и далеким от того, чтобы служить побуждениям к истинному (материальному и духовному) прогрессу, т. е. к улучшению в общем быте людей и в общем строе их жизни». Как жаль, что к этим словам не прислушались раньше, да их, собственно, не так-то легко было прочитать, поскольку в двадцатипяти томном собрании сочинений Д. И. Менделеева, изданном в 1934—1954 годах, они (как и многие другие высказывания автора Периодической системы элементов) были изъяты бдительными цензорами. Вероятно, их сочли антисоветскими. Менделеев же в этих своих воззрениях исходил, естественно, из простого здравого смысла. Он высоко ценил такое человеческое свойство, как альтруизм, «бескорыстный порыв», но считал, что он нехарактерен для сферы действия

среднего человека, «как не подходит буддийское требование спастись, живя милостивей». Однако в кажущемся своекорыстии промышленников он видел залог всеобщего благосостояния, «почитая труд отцом обеспеченного благополучия, а бережливость матерью, веря в настойчивую волю более, чем в порыв, и опираясь на исторический опыт... более, чем на умственные построения».

Опора на исторический опыт нам сейчас была бы очень кстати. Ведь столетие назад в России шел тот же процесс — первоначально накопления капитала, формирования рынка. И Менделеев писал: «...для образования богатства неизбежно необходимо производить в данный период времени более, чем в то же время потребляется из произведенного...» Капиталу (а это, по Менделееву, «та часть богатства, которая обращена на промышленность») необходим процент (рост), и это основа расширения производства. Менделеев не верил в обязательность капиталистической эксплуатации, резонно замечая в той же работе «Учение о промышленности»: «...привычка действовать сознательно... неизбежно родит свою новую дисциплину; она основывается не на вражде и встрече интересов, а на согласии и общении, которые и дают „новые способности“».

Менделеев говорил о новой дисциплине труда, возникающей на основе экономического освобождения человека: «Истинная «свобода» промышленного свойства... нужнее всяких других свобод...» И еще: «...монополии не дают место конкуренции и вообще сильно стесняют промышленную предприимчивость, а ее у нас нужно именно развивать, убивать же в зародыше — просто грех, а развивать можно только при свободе конкуренции...» Категорически отрицая какую-либо продуктивность системы господства в экономике монополий, автор знаменитого исследования «К познанию России» (работу над которым оборвала смерть) прекрасно понимал, что проповедники социализма и коммунизма как раз и стремятся установить ту самую монополию, которая задушит любые ростки промышленной инициативы. Он писал в 1906 году: «Но я считаю долгом сказать, что не принадлежу к поклонникам многообразных монополий по той причине, что монополии отнимают огромный заработок от народа и, на манер социалистический, всех участников делают чиновниками, действующими хотя для личного интереса, но не способными этих личных интересов, всегда сопряженных с конкуренцией, которая составляет первый задаток всякого рода прогрессивных улучшений...»

В России конца XIX—начала XX столетия Д. И. Менделеев эти «прогрессивные улучшения» уже заметил, хотя и подчеркивал неоднократно, что добиться их было очень непросто в силу ряда особенностей страны и народа. Вот как он представлял себе эти трудности, считая препятствиями два главных обстоятельства — «недостаток капитала и недостаток предприимчивости». А в книге «К познанию

России» написал об этом подробнее, да так, что многое и для нас сейчас делает понятным: «...отсутствиеличной предприимчивости, определяемое преимущественно тем, что русские люди привыкли все получать готовеньким, так сказать, в виде подарка, от кого бы то ни было, сверху или снизу, и если манна небесная сама собой не валится, то наша образованность привыкла обвинять кого-нибудь или вверху, или внизу, а сама ничего не предпринимать, если оно сопряжено с необходимостью личного труда, риска и упорства, как это и нужно для дел промышленности».

Даже гений Менделеева не мог предвидеть, что настанет время, когда эта «манна» будет поступать с аэродромов городов бывшей империи на самолетах военно-воздушных сил той страны, экономикой которой Дмитрий Иванович ставил в пример России. Впрочем, он не предполагал и того, что его родина послужит плащдармом реализованной утопии, не без юмора предлагая избрать для подобного эксперимента... Антарктиду. В книге «Дополнения к познанию России» читаем: «На континенте Южного полюса простору и свободы — сколько угодно, а потому недурно было бы свезти всех утопистов — с запасами — на эту интернациональную землю, предложив то же убежище от житейских зол... А опыт преполозно бы произвести, так как без опыта дело может стоить людям много больше, чем оно может потребовать».

Увы, получилось так, что опытным полем оказалась все же Россия, жители которой вспоминают теперь, столетие спустя, суждения своих «истинных сыновей»... К сожалению, как уже говорилось, обе книги содержат лишь фрагменты основных экономических трудов Д. И. Менделеева, и некоторые цитаты я привожу по первым изданиям.

Хотелось бы обратить внимание и на то, что Менделеев способность глубоко проникать в сущность экономических проблем связывал с основной своей профессией ученого-химика. Он размышлял об экономике, по его словам, «вглядываясь в разнородные заводские дела без предубеждений, глазами естествоиспытателя...». И ему довелось увидеть результат: «...цена (процент) капитала повсюду падает, цена труда возрастает, и становится видным, что на некоторой точке настанет разумная и опытная мировая сделка, без войн, революций и абстракций, взвешенная многими миллионами участников, что неизбежно отразится и на всем прочем». А дальнейшее развитие он видел в том, что должен измениться сложившийся за века порядок, основанный на борьбе стран, народов, людей друг с другом, на тот, при котором «все сводится на добровольный обмен, на соглашение, союз, объединение, понимание общего в личном».

Здесь суждения Д. И. Менделеева смыкаются с представлениями другого мыслителя — П. А. Кропоткина, взгляды которого, считавшего государство отцом всех монополий, он не разделял, но несомненно был солидарен с

ним в понимании естественного пути развития общества, исключаящего насилие, основывающегося на взаимном интересе и добровольном соглашении, то есть на нормальных человеческих взаимосвязях.

Читая экономические работы естествоиспытателя Д. И. Менделеева, укрепляешься в понимании того, как лукавы утверждения, будто в нашем обществе происходит просто смена вывесок — то строили социализм, те-

перь строим капитализм... Ведь происходит нечто совсем другое — возвращение общества к истинному порядку жизни, отвечающему природе человека и природе вообще, частью которой человек является и которую, употребляя модную нынче фразу, «еще никто не отменял», хотя такие попытки и предпринимались...

Вячеслав МАРКИН.

*

СТРАСТИ ВОКРУГ ПРОРОКА

Исаак Дойчер. Троцкий в изгнании. Перевод с английского Н. Н. Яковлева.
М. Политиздат. 1991. 590 стр.

Так и не реабилитированный официальными судебными органами, Троцкий ворвался на книжный рынок России и других республик распавшегося Союза четырехтомным документом из своего архива («Архив Троцкого»), книгами «Сталин», «Сталинская школа фальсификации», «Моя жизнь», «Портреты революционеров» и другими многочисленными статьями о нем, авторы которых (среди них явно больше дилетантов, нежели специалистов) придерживаются подчас прямо противоположных точек зрения. Появился наконец и первый крупный биографический труд на русском языке — перевод последнего тома документальной трилогии Исаака Дойчера «Вооруженный пророк», «Разоруженный пророк» и «Пророк в изгнании», изданной первоначально в Лондоне соответственно в 1954, 1959 и 1963 годах (ранее, в № 3 журнала «Иностранная литература» за 1989 год, была опубликована заключительная глава третьего тома «Адски темная ночь»). Свидетельством все растущего интереса общественности к этому политику является и публикация в журнале «Октябрь» книги Д. А. Волкогонова «Лев Троцкий. Политический портрет», но она еще не завершена, и судить о ней пока рано. Дойчер же на протяжении последних десятилетий остается самым крупным на Западе биографом Троцкого. Вторым весьма авторитетным специалистом можно считать Пьера Бруэ — руководителя Института Троцкого при Гренобльском университете (Франция), редактора журнала «Cahiers Leon Trotsky» («Тетради Льва Троцкого»), издаваемого там же, автора многочисленных статей и вышедшего в Париже в 1988 году объемистого исследовательского тома «Троцкий».

И. Дойчер (1906—1967), журналист и историк, в 20-е — начале 30-х годов член компартии Польши, был исключен из нее за оппозиционную деятельность, одно время был последователем Троцкого, но через несколько лет разошелся с ним, а после второй мировой войны, живя в Великобритании, занялся исследованием истории коммунистического движения. Кроме работ о Троцком, он написал большую биографию Сталина (1949).

В основе рецензируемой книги — ценные документальные свидетельства. Автор в течение ряда лет ознакомился с архивным фондом Л. Д. Троцкого, который с 1940 года находится в Гарвардском университете (ныне фонд в Хогтонской библиотеке этого же университета). Среди обследованных материалов — огромная переписка и другие документы закрытой по распоряжению Троцкого части архива, которая была предоставлена Дойчеру по ходатайству Н. И. Седовой, вдовы Льва Давидовича. Автор собрал и многие другие оригинальные источники; он посетил места, где проживал в эмиграции его герой, записал воспоминания лиц, близко его знавших, широко использовал «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)», который с 1929 года издавался сторонниками Троцкого в Париже, Берлине, а затем вновь в Париже (важную роль в выпуске этого журнала сыграл его сын Л. Седов).

Книга «Троцкий в изгнании» открывается взятой из второго тома главой «Год в Алма-Ате», рассказывающей о «внутреннем изгнании» — жизни Троцкого в ссылке, куда его отправили сталинские сатрапы в начале 1928 года. Завершается глава депортацией Троцкого в Турцию, затем следуют разделы о пребывании его на Принцевых островах, во Франции, Норвегии и наконец в Мексике. Специальные разделы посвящены деятельности руководителя антисталинской оппозиции по изучению недавнего прошлого, его попыткам объединить сторонников в международном масштабе, завершившимся созданием IV Интернационала, его аналитическим трудам о советской действительности и прогнозам относительно дальнейшего мирового развития. Некоторое внимание уделено личной жизни, особенностям характера в духе Фрейда и т. п. При всем трагизме судьбы семьи (достаточно сказать, что еще при жизни отца дочь Троцкого Нина, оставшаяся с детьми в совершенно беспомощном положении после высылки отца и ареста мужа, скончалась от туберкулеза, другая дочь, Зинаида, в состоянии депрессии покончила самоубийством, старший сын Лев умер во Франции при загадочных обстоятельствах после успешного удаления аппендикса, а младший сын Сергей погиб в ГУЛАГе) личные

коллизии остаются на втором плане, в основном речь идет о политическом мышлении и политической деятельности Троцкого. Впрочем, страницы, посвященные изохронной мести Сталина членам семьи и самому главному врагу «вождя и учителя», читаются с огромным интересом.

Дойчер, вначале сторонник Троцкого, позже стал выступать с энергичной критикой IV Интернационала. Тем не менее общий настрой книги — нескрываемая симпатия к герою повествования, сочетаемая со стремлением разобраться и в негативных сторонах его деятельности, их причинах и т. д. Со страниц книги предстает не просто один из крупнейших политиков своего времени — читателя знакомят с ярким интеллектуалом, предлагают убедиться в неукротимом уме, глубокой эмоциональности, красноречии, убийственном сарказме, обширных знаниях, блестящей ориентации в художественной литературе, решительности, самоотверженности и в то же время хладнокровии и расчетливости Л. Троцкого.

В книге часто встречаются выражения «троцкисты» и «троцкизм», однако автор понимает их отнюдь не в том смысле, в каком эти термины до самого последнего времени трактовала псевдонаучная мифология, фигурировавшая под названием истории КПСС. У Дойчера речь идет не о какой-то особой системе взглядов (троцкизме) с ее верными дисциплинированными адептами (троцкистами), а лишь о политических последователях Льва Давидовича, разделявших его критику сталинистского курса, его разоблачения советской бюрократическо-террористической системы, его ориентацию на революцию в западноевропейских странах как условие возвращения СССР к подлинному социализму и окончательности его построения. Никакой особой теоретико-политологической и тем более философской системы здесь не было. Автор умело показывает, что все мышление, все практические действия Л. Троцкого до его последних дней развивались в пределах марксистско-ленинской парадигмы. Из контекста работы вытекает, что взгляды Троцкого не были устойчивыми, изменялись в быстро меняющихся исторических условиях. В одних случаях его позиция вытекала из левых установок по внутренним и международным делам, особенно по крестьянскому вопросу, хотя со сталинской квазилевизной она не имела ничего общего (Дойчер рассказывает, например, о резком осуждении Троцким насильственной коллективизации); в других случаях, в частности в обосновании необходимости совместных действий антифашистских сил задолго до того, как компартии, потеряв драгоценное время, пошли, следуя директивам советского руководства, по этому пути, Троцкий и его последователи оказывались заметно «правее» компартий. Но во всех случаях взгляды их были продолжением ленинской линии.

Именно здесь и обнаруживается не выявленный Дойчером главный порок и источник слабости всей деятельности Троцкого в эмиграции. Он состоял, на наш взгляд, в том, что

борьбу против сталинщины Троцкий вел с позиций возвращения к Ленину, не понимая и не принимая того, что предпосылки сталинщины, основы советского тоталитаризма, были заложены в доктринах Ленина и в практике государственно-политических и хозяйственных преобразований в России сразу же после переворота в октябре 1917 года. В эмиграции Троцкий продолжал оставаться убежденным сторонником этих доктрин, в выработке и реализации которых он сам деятельно (и преступно) участвовал, стремясь нарушить естественноисторическое развитие и навязать обществу антигуманный курс «революционной целесообразности».

Особенно интересна в этом смысле книга Троцкого «Что такое СССР и куда он идет?», известная на Западе под названием «Преданная революция» (1936), анализу которой Дойчер уделил значительное внимание. Здесь ярко показан туниковый характер попыток административно-силового построения социалистического общества. В то же время Троцкий (Дойчер с ним солидарен) критикует тех политологов, которые утверждали, что в СССР сложился государственный капитализм и что бюрократия превратилась в «новый класс». Аргументацию Троцкого, по нашему мнению, не смог преодолеть известный югославский государственный деятель первых послевоенных лет, а позже диссидент М. Джилас, посвятивший этому вопросу книгу «Новый класс». В СССР возник именно «реальный социализм», и таковым он неизбежно становился во всех странах, естественно, в более мягком или более жестком варианте, где в соответствии с коммунистическими догмами «строился» социализм. Однако ни Троцкий, ни его биограф не смогли преодолеть георетических шор. Значительно ближе к истине были «ревиизионисты» II Интернационала, начиная с Э. Бернштейна, их последователи в следующие десятилетия, придерживавшиеся трезвой линии постепенного продвижения к социально ориентированному гуманному рыночному обществу. И тем не менее выдвинутая Троцким программа «политической революции» в СССР весьма интересна. Эта программа во многом перекликается с линией на преобразование, поначалу провозглашенной реформаторами в советской политической элите конца 80-х годов. «Бюрократическое самовластье должно уступить место советской демократии. Восстановление права критики и действительной свободы выборов есть необходимое условие дальнейшего развития страны. Это предполагает восстановление свободы советских партий, начиная с партии большевиков, и возрождение профессиональных союзов. Перенесенная на хозяйство демократия означает радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся... Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мужать. Наука и искусство освободятся от оков», — писал Троцкий. Можно полагать, что перспектива «политической революции» в СССР при всей ее «косметичности», скорее кажущейся, чем подлинной, была

одной из идейных предпосылок того крутого поворота, который происходит в наши дни.

Опыт политика и публициста, проанализированный Дойчером, свидетельствует, что при всей неординарности Троцкого, творческом строе его мышления он не смог освободиться от основополагающих канонов, препятствовавших объективным оценкам и выводам. Он придерживался жесткого классового подхода, исходил из социально-экономической детерминированности всех сторон общественной жизни, что нередко приводило к неразрешимым противоречиям и ошибочным прогнозам. Впрочем, сам Дойчер, приводя свидетельствующий об этом материал, далеко не всегда делает соответствующие выводы.

Через всю книгу четко проходит противопоставление Троцкого и Сталина, с которыми мы сталкиваемся и во многих других историко-политологических работах. Интересно, например, высказывание М. Джиласа: «Троцкий был превосходным оратором, блестящим, искусным в полемике писателем; он был образован, у него был острый ум; ему не хватало только одного: чувства действительности. Он хотел оставаться революционером и возродить революционную партию в то самое время, когда она превращалась во что-то совершенно иное — в новый класс, не заботившийся о высоких идеалах и интересовавшийся только жизненными благами... Он ясно сознавал отрицательные стороны этого нового явления, происшедшего на его глазах, но всего значения этих процессов он не понял... Сталин не оглядывался назад, но и не смотрел вперед. Он стал во главе новой власти, которая зарождалась в то время, — власти нового класса, политической бюрократии и бюрократизма, — и сделался ее вождем и организатором. Он не проповедовал; он принимал решения». Представляется, что именно в таком духе проводит Дойчер сравнение обоих большевистских лидеров — установившего свою кровавую тираническую власть и изгнанного за пределы страны, а позже объявленного вне закона. Как видно из работы Дойчера, на протяжении 30-х годов Троцкий был самым компетентным и активным критиком сталинщины в мировом масштабе. При всей ограниченности и неполноте этой критики, не покушавшейся на глубинные социально-экономические и политические, доктринальные основы всевластия Сталина, именно в ней заключалась историческая заслуга Троцкого-эмигранта.

В связи с этим обратим внимание лишь на два из многих моментов, фиксируемых Дойчером. Автор подробно рассказывает о заседаниях комиссии по расследованию обвинений, предъявленных Троцкому в ходе провокационных московских процессов 1936—1937 годов. Эту комиссию возглавлял знаменитый философ Дж. Дьюи, и работала она в течение недели в доме Троцкого в пригороде Мехико Койоакане (апрель 1937 года). «По временам перекрестный допрос почти превращался в политический спор, когда некоторые из допрашиваемых настаивали на моральной ответственности Троцкого за сталинизм, а Троцкий

отвергал эти утверждения. Не было ни одного вопроса, на который он отказался бы ответить или которого бы избегал». Через тринадцать лет Дьюи с восхищением вспоминал интеллектуальную мощь Троцкого, а тогда, в 1937 году, сообщения мировой печати об этом «контрпроцессе» и затем выпущенная отдельной книгой его стенограмма стали средством разоблачения сталинщины в глазах многих людей за пределами СССР. Второй момент, о котором хотелось бы упомянуть, это отыскание Дойчером следов влияния Троцкого, в частности его книги «Преданная революция», на романы А. Кёстлера, Дж. Оруэлла и других писателей, разоблачавших советский тоталитаризм. «Она (работа Троцкого. — Г. Ч.) произвела сильнейшее впечатление на Джорджа Оруэлла, фрагменты «Книги», занимающие много страниц в его романе «1984», приводят с целью перефразировать «Преданную революцию», а Эммануэль Голдштейн, загадочный противник Старшего Брата, списан с Троцкого». Дойчер, правда, сильно увлекся. Никак нельзя согласиться с тем, что названные писатели «жили крохами богатого стола Троцкого» и «стяжали славу за оригинальность, подав эти крохи под собственным соусом».

Книга И. Дойчера вышла с комментариями и послесловием доктора исторических наук, профессора Н. А. Васецкого, который в последние годы издал несколько книг и опубликовал ряд статей, где с догматических позиций «реального социализма» и апологии КПСС бездоказательно критикует Троцкого и троцкистов. Не изменил он своей манере и здесь. В послесловии, названном, правда, «Возвращающийся пророк», Васецкий на словах солидаризуется с основными положениями книги, но многие его рассуждения контрастируют с логикой изложения, фактическим материалом и выводами Дойчера. В значительной своей части статья повторяет, в смягченном, разумеется, виде, сталинистские наветы на Троцкого и других оппозиционеров. Само понятие «троцкизм» Н. Васецкий употребляет в совершенно другом смысле, нежели Дойчер. В послесловии без каких-либо аргументов вторяются стереотипные утверждения сталинистов второй половины 20-х — 30-х годов о том, что Троцкий якобы «отрицал возможность построения «изолированного социалистического дома» и в соответствии с теорией «перманентной революции» делал ставку на раздувание пожара мировой революции». Иначе говоря, Васецкий пытается противопоставить Троцкого не только Ленину, но и «большинству ЦК» конца 20-х годов, полагая, что последнее, то есть Сталин и его группа, проводило ленинский курс. Между тем изучение книг, статей, выступлений, писем Троцкого (о многих из них говорится в книге) убеждает, что каких-либо существенных различий у Троцкого с установками Ленина не было, что он, как и Ленин, решающим условием закрепления победы революции в России считал революцию в мировом масштабе. Между прочим, и Сталин, «развивая ленинизм», многократно повторял, что полная по-

беда социализма в СССР не является окончательной, пока последний находится в капиталистическом окружении. Жупел «троцкизм» применительно ко второй половине 20-х — 30-м годам был изобретен для того, чтобы как можно надежнее скомпрометировать несогласных, вскрывавших неблагоприятные дела сталинского руководства, а Васецкий через шестьдесят лет повторяет эту фальшь, не утруждая себя аргументами. Троцкий был прав, но лишь отчасти, когда осенью 1928 года, находясь в ссылке, утверждал: «Кампания против старого «троцкизма» была на самом деле кампанией против октябрьской традиции, которая становилась новой бюрократии все более стеснительной и невыносимой. Троцкизмом стали называть все, от чего нужно было оттолкнуться» (ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, ед. хр. 368, л. 2). Но Троцкий расходится здесь с истиной в том, что не видит генетической связи между октябрьской традицией и формированием новой бюрократии.

Подавляющее большинство составленных Н. А. Васецким примечаний посвящено людям и событиям, о которых читатель легко может найти информацию в современных справочных изданиях. Из первого же примечания мы узнаем, кто такой И. В. Сталин, и о том, что он «допустил грубейшие политические ошибки (!), произвол...». Из почти двухсот персоналий, которые здесь фигурируют, в справочниках нет информации приблизительно о двадцати. Создается впечатление, что комментируются лишь широко известные имена, сведения о которых оказались у Васецкого под рукой. Десятки же других лиц, упомянутых Дойчером, оставлены комментатором без внимания. Назовем лишь некоторых: Г. Роланд-Холст, П. Истрати, М. Парижанин, Ж. ван Хейеноорт, И. Силонэ (его фамилия в книге передана — Силон), Г. Реммеле (названный переводчиком Реммелем), Б. Эльцин (он неверно назван Элзиным)... В комментариях много фактических ошибок, неточностей, весьма сомнительных и попросту неверных утверждений, вызванных все той же неприязнью к Троцкому и другим оппозиционерам.

Эти замечания продиктованы вовсе не стремлением обелить Л. Троцкого. Один из ближайших соратников В. И. Ленина в дни

октябрьского переворота, активный теоретик и практик революционных преобразований в России, он не менее других большевистских вождей ответствен за все те авантюристические социально-экономические эксперименты и жесткие репрессивные меры, которые реализовывались в пору пребывания Л. Троцкого у власти. Именно в этом прежде всего вина Троцкого, а не в том, что в эмиграции он, отстаивая догматы марксизма-ленинизма, обличал извращения сталинизма, за что тогдашняя официальная пропаганда называла его наймитом, ренегатом и т. д. Отголоски этих давних оценок подчас угадываются и в ряде характеристик Васецкого.

Некоторые комментарии просто излишни. Так, к примеру, сообщается, что М. Зборовский (Этьен), участвовавший в выпуске «Бюллетеня оппозиции...», оказался агентом ОГПУ. Но об этом же несколькими строками ниже комментируемого места говорит и сам Дойчер. Лишена, на мой взгляд, смысла и полемика Васецкого с Дойчером относительно того, был ли сталинизм течением в ВКП(б) и Коминтерне, тут, кстати, комментатор подменил этим словом использованный Дойчером термин «фракция». Дело в том, что и сам Дойчер и Троцкий вместе с другими оппозиционерами в 20-е годы уже продемонстрировали, что сталинисты действительно образовали в Политбюро ЦК ВКП(б) свою фракцию, которая постепенно овладела всей полнотой власти.

Впрочем, орехи, допущенные комментатором, не могут ослабить общего впечатления от книги И. Дойчера. Взвешенный, спокойный подход автора к этой неординарной личности, умелое использование документов, критический анализ как источников, так и деятельности самого Л. Д. Троцкого (несмотря на встречающиеся иногда элементы идеализации), живое изложение выгодно отличают эту работу от некоторых советских публикаций последних лет, в которых продолжают бушевать страсти вокруг «коммунистического пророка».

Г. ЧЕРНЯВСКИЙ,
доктор исторических наук,
профессор.

Харьков.

*

ДОСТУПНО О КОСМОЛОГИИ

А. С. Потупа. Открытие Вселенной — прошлое, настоящее, будущее. Минск. «Юнацтва». 1991. 558 стр.

Книга эта посвящена созданию теоретических моделей мироздания. В то же время читателю предоставлена возможность осмыслить суть бытия человека на Земле и во Вселенной, а также прошлое и предполагаемое будущее современной научно-технической цивилизации, переживающей в XX веке невероятный взлет и невиданный кризис.

Казалось бы, как далеки столь высокие материи от наших насущных забот и тревог. Однако, как пишет автор, «в конечном счете судьба звезд интересует нас с точки зрения человеческого будущего, точнее того, насколько наше будущее окажется человеческим». Именно устремленность к звездам не раз помогала людям преодолевать трудные полосы

жизни, не позволяя им окончательно опуститься, терять свой человеческий облик. И один из главнейших жгучих вопросов, встающих перед человеком при этом: что означают жизнь и разум homo sapiens по отношению к окружающей природе — результат случайных (закономерных? но тогда чем определяется закономерное и устойчивое усложнение?) соединений косных частиц и мертвых инертных тел? или это частные проявления жизни и разума, одухотворяющих мироздание?

Автор не ставит напрямую эту проблему. Он рассказывает о том, как люди стремились познать окружающий мир, как возникли первые научные представления, основанные на астрономических наблюдениях и математических выкладках; как сначала разумные духи и человек считались неотъемлемыми частями этого мира. Однако научный метод, предполагающий объективность и доказательность утверждений, последовательно отсекал «излишние сущности», не подтверждаемые фактами. В результате восторжествовали модели Вселенной, представляющие ее гигантским сверхмеханизмом. И если у Ньютона эта машина мира была пронизана Высшим Разумом, то в последующем ученые предпочли вовсе отказаться от «гипотезы Бога» (выражение Лапласа). Вот и нынешние космологические модели, предполагающие первоначальный взрыв сверхплотного и сверхгорячего сгустка первоматерии, не нуждаются в признании жизни и разума неотъемлемыми свойствами Вселенной. Таким образом, пытливая мысль человека в стремлении постичь все сущее невольно и неизбежно приходит к самоотрицанию, к отрешению живого мыслящего существа от господствующей повсюду косной природы с ее мертвыми небесными телами. В машине мира человек оказывается излишней деталью, а наши жизнь и смерть — каждого и всего человечества — не имеют никакого смысла.

К счастью, А. Потупа — популяризатор науки, писатель-фантаст и профессиональный ученый — не ограничился простым пересказом и осмыслением космогонических гипотез и связанных с ними астрономических и физических теорий. История научных идей показана им в контексте взаимодействия духовной и материальной культур, судеб цивилизации, особенностей личности того или иного мыслителя. Все это важно для понимания прошлого, но для новых открытий требуется нечто иное: неожиданная, пусть даже фантастическая (безумная, по словам Н. Бора) идея. И такой сюжетный ход в книге присутствует. Из трех ее частей последняя посвящена космическим контактам, поискам землянами собратьев по разуму.

О проблеме контакта написано немало, а за последнее время интерес к ней, пожалуй, несколько ослабел: ведь, несмотря на все усилия, сигналов инопланетян не обнаружено. Особенность концепции А. Потупы в том, что она включает жизнь и разум, бытие человека и общение космических цивилизаций в общую картину Вселенной. Она, пишет автор,

«должна строиться, исходя из более общей теории искусственных систем, включающих в себя системы естественные в качестве очень обширного, но частного подмножества».

Не означает ли это попытку ввести в научную космогонию идею Бога? Вполне возможно, хотя автор об этом не говорит. Надо заметить, что в стремлении представить жизнь и разум естественными и неотъемлемыми качествами мироздания он имеет на своей стороне такого великого союзника, как В. И. Вернадский. На этом пути можно ожидать значительных научных открытий, и даже более того. «Главы космогонии, — считает автор, — соответствующие уровню Контакта... пока целиком состоят из почти чистых страниц. И тут уж совсем трудно сомневаться, что заполнение этих пробелов потребует крупнейшей перестройки нашей цивилизации, перестройки, вовсе не сводимой к тем или иным техническим новинкам». Возникает резонный вопрос: а почему мудрые инопланетные до сих пор не дают нам о себе знать? По мнению А. Потупы, мы просто еще не созрели для этого: «Не умеющий видеть да не увидит!..»

Главное достоинство рецензируемой работы — разнообразие идей и фактов, изложенных квалифицированно и доступно, в сочетании с устремленностью мысли в неведомое — к будущим завоеваниям науки и техники. В наше время, когда романтика интеллектуальных дерзаний заметно поблекла, а оптим техногенных развлечений подавляет жажду познания, подобные книги, рассчитанные на массового молодого читателя, особенно важны. Интерес к ним, к счастью, еще сохраняется. Жаль только, что автор проявил некоторую робость в организации материала, избрав простейшую хронологическую последовательность изложения. Как писатель-фантаст он мог бы отойти от традиционных форм научной популяризации... Вообще, хотелось бы отметить, этот жанр литературы в нашей стране отвечает уровню мировых «стандартов» (данная книга не исключение), а кому много дано, с того и спрос больше. Хотелось бы надеяться, что нынешняя диковатая «коммерциализация» издательского дела не погубит эту чрезвычайно важную область нашей духовной культуры.

Есть в книге и некоторые огрехи. Например, повторена распространенная версия, будто Джордано Бруно сожгли за пропаганду идей Коперника. Но ведь Бруно критиковал гелиоцентрическое учение, отдавая предпочтение взглядам Николая Кузанского: центр мира везде (о чем, кстати, в книге сказано). Нельзя согласиться с тем, что «идея естественного образования примитивных живых организмов еще в 30-х годах нашего века выглядела революционной». Она обрела популярность в средневековье, а в начале нашего века была, насколько это возможно, научно разработана (сошлось хотя бы на работу О. Лемана «Жидкие кристаллы и теории жизни». Одесса. 1907). Жаль, что в этой связи не упомянута оправдавшая себя концепция С. П. Костычева — В. И. Вернадского о геологической веч-

ности жизни. Впрочем, немногие ошибки и пробелы почти неизбежны в научно-популярном исследовании, охватывающем колоссальный объем самой разнообразной информации. Задача эта очень трудная, и автор в целом с ней справился. Удалось ему и нечто большее — избежать догматизма, преодолеть косную монолитность общепризнанных теорий, вовлечь читателя в живой и удивительно многообразный мир научных исканий. Для нашей эпохи он определяется процессом механизации труда, быта, образа мысли. «Техноморфизм современной картины мира, — справедливо отмечает А. Потупа. — уже не является удовлетворительным стилем мышления, и, вероятно, мы стоим на пороге чего-то нового именно в плане всей системы организации знаний». А смена мировоззрения — это и есть открытие новой Вселенной, а значит, и новое осмысление себя в ней.

...Да, конечно, устремленность к звездам как бы переводит наше сознание в иное измерение, в котором существуют неведомые цивилизации, или, по К. Э. Пиолковскому, неизвестные разумные силы. Однако в преддверии космического контакта человечеству предстоит еще осуществить достойный земной контакт с биосферой, живой и прекрасной оболочкой нашей планеты. И тогда человек поистине ощутит себя микрокосмом — разумным существом в живой и разумной Вселенной. Как писал Вл. Соловьев: «Зиждительное начало вселенной (Логос).. образует. формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству. могут наконец послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи»

Р. БАЛАНДИН.

Ч и т а й т е в 1 9 9 2 г о д у :

Д. ШТУРМАН

«Человечества сон золотой...»

* * *

«Читатель, вслушаемся в себя. Что просыпается в нашем сознании при слове «утопия»? Нечто заманчивое и прекрасное, но, увы, — несбыточное. Неосуществимая, но притягательная мечта. Заведомой грустью о не воплотимом в жизнь идеале овевает это слово. Его венчает некий ностальгический нимб, и не изменить уже его манящего и печального смысла. Печаль — от недостижимости воплощенного в утопиях идеала..

Но ведь все эти чувства родились в нас не при чтении книг прославленных утопистов. Многие ли их читали, да еще в зрелом возрасте? Мы, выросшие в СССР, в школьном отрочестве и позднее, в вузах, многократно слышали, что европейские утописты XVI—XIX веков прозорливо предначертали прекрасную гармонию совершенного мира, но не указали к нему реальных путей. Мы в это поверили. Сложился устойчивый смысловой стереотип.

Так, может быть, совершив прогулку по книжным мирам утопий, наделивших сознание XIX и XX веков непреодолимой тягой к социализму? Речь идет не об исчерпывающем изучении всех проектов идеального будущего, бесчисленных в истории разных цивилизаций и частью исследованных, частью нет. Я говорю всего-навсего о небольшой прогулке по «пяточку» европейских социальных утопии сперва XVI—XVII, затем XIX веков».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



ПУШКИН И ПАСТЕРНАК. Eötvös József Collegium Institutum Philologiae Russicae in Universitate Budapestinensi de Rolando Eötvös Nominata (regigunt A. Kovács, J. Nagy). Budapest. 1991. (Studia Russica Budapestinensia. 1). 244 стр.

Первый сборник «новой серии исследований по русской литературе, поэтике и культурологии», выпускаемой Будапештским университетом, включает в себя материалы Второго пушкинского коллоквиума, состоявшегося на кафедре русской филологии университета в мае 1989 г. Сопоставлению творчества Пушкина и Пастернака, впрочем, посвящена лишь одна из публикуемых статей (Е. Фарыно). Остальные материалы всецело посвящены либо пушкинскому (Л. Суханек, И. Смирнов, А. Ковач, А. Палфи, Д. Кирай, В. Шмидт, К. Кроо, В. Комаров), либо пастернаковскому (И.-Р. Деринг-Смирнова, А. Маймескулов, Ш. Мароти, А. Хан, И. Надь) творчеству. Свободное сочетание двух исследовательских тем может оказаться весьма плодотворным: типологические связи, переключки, реминисценции, обнаруженные в результате случайного соприкосновения материала, подчас бывают ценнее вынужденных поисков необходимой преемственности.

Ю. АБЫЗОВ. Русское печатное слово в Латвии. 1917—1944 гг. Библиографический справочник. Ч. I—IV. (Stanford Slavic Studies. 3) Stanford. 1990—1991.

Монументальный труд Ю. И. Абызова, занимающий более полутора тысяч страниц, станет незаменимой поддержкой тем, кто изучает русскую литературу. Но этим значение четырехтомника, выпущенного Стэнфордским университетом, отнюдь не исчерпывается. Каталог, лишенный даже намека на публицистичность, убедительно доказывает, что русская словесность в досоветской Латвии была не элитарным изобретением, не привозной безделицей, но необходимой частью латвийской литературы. Среди тех, кто представлен в библиографии десятками статей, стихотворений, рассказов, книг, — А. Т. Аверченко, М. Алданов, А. В. Амфитеатров, С. А. Аскольдов, М. П. Арцыбашев, К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, М. М. Зощенко, И. А. Ильин, Д. С. Мережковский, В. В. Набоков, И. Северянин, Н. А. Тэффи, В. Ф. Ходасевич, И. Г. Эренбург и многие другие. Доказательством того, что «русская Латвия» не замыкалась на себе, служат как публикации советских авторов в латвийской печати, так и многочисленные статьи о творчестве А. А. Блока, М. А. Булгакова, В. Г. Короленко, В. В. Маяковского, отраженные в указателе. Мощный пласт пе-

реводной литературы (от Блаватской до Гашека) довершает масштабную картину бытования русского печатного слова в Латвии 10—40-х годов, нарисованную Ю. И. Абызовым.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И СЕМИОТИКЕ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 1958—1990. Указатели содержания (сост. Г. М. Пономарева, С. Г. Барсуков; вступ. ст. С. Г. Исакова, Ю. М. Лотмана). Тарту. 1991. 140 стр.

В отличие от предыдущего издания тартуский библиографический указатель представляет нам сравнительно недавнюю эпоху в культурной жизни Балтии. Когда официальное литературоведение в Советском Союзе вытеснило из научной жизни наиболее интересные и перспективные научные направления науки о литературе, маленькая Эстония в лице Тартуского университета взвалила на свои плечи сохранение достоинства русской гуманитарной культуры. Труды по русской и славянской филологии, и в особенности труды по знаковым системам, издававшиеся в Тарту с 1964 г. под редакцией Ю. М. Лотмана, стали вызовом академическому конформизму и одновременно реализацией огромного потенциала советской науки. А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, П. А. Флоренский и даже В. В. Набоков, возвращенные ныне в читательский оборот, анализировались, цитировались, публиковались в тартуских Ученых записках задолго до «перестройки» и «гласности». На семинарах, конференциях и летних школах (материалы которых также учтены в указателе) оттачивались принципы новой семиотической парадигмы, в одночасье приобретшей мировую известность.

Сегодня теоретическое литературоведение уже не нуждается в укрытии от всевластного центра; русистике и семиотике вместе со всей наукой предстоит нелегкая борьба за выживание, и прежние заслуги будут приняты во внимание лишь отчасти. Станет ли указатель библиографической серией или, напротив, окажется лишь памятником ушедшей эпохе, кратковременному, но плодотворному альянсу двух культур? Попытка ответа на этот вопрос содержится во вступительной заметке Ю. М. Лотмана: «Настоящий обзор хотелось бы закончить надеждой, что научные возможности тартуско-московской семиотической школы еще не исчерпаны и что она еще способна породить идеи, неожиданные как для противников этого направления, так и для самих его сторонников».

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

SUMMARY

The poetry section is represented by a number of poems by Anatoly Naiman, Alexander Trunin, Marianna Smirnova, Laura Salmon (translated from Italian by Marina Paley) and by the posthumous publication of Anatoly Klestchenko (1921—1974) pieces introduced by V. Mikushevich.

An Estonian writer Vjivi Lujk is represented by her new novel «Beauty of History» (translated into Russian by Elena Kallonen), narrating of «a love story» of the late 60-s put into context of the XX-th century political history.

In her memoirs «Years of Evel» M. Koniskaya relates the events of 1941—55s and, first of all, of the Nazist occupation years.

There are also short stories by Aleksey Varlamov, Alexander Kurgatnikov, Irina Polianskaya and Maria Golovanivskaya included in the issue.

«From the Literary Heritage» section consists of «The Notes of 1920—30s» by Lidia Ginsburg (publication and foreword by Alexander Kushner; commentary by A. Tchudakov), that give a persuasive and sober view of such her famous contemporaries, like philologists Yu. Tynianov and V. Shklovsky, and others.

Lev Navrosov, the literary critic and prose-writer residing in New York, reflects on the subject: «Does Literature Exist in the West?»

giving a critical perspective of J. Updike's, Ph. Roth's, E. Kosinsky's and of some other writers' works.

In «Taibola» by Oleg Larin, the recollections of the Russian North inhabitants, describing the tragedy of *spetspereselentsy* of various nationalities deported to the North in the years of the Communist terror, are related.

Under the title «The Party Dictatorship is to Spoil the Cause» I. Brainin publicates the unique materials from archives — the various people's letters adressed to Lenin and containing severe criticism of Bolsheviks policy.

In «Religion and the Modern World» section S. Soshinsky tells of the numerous cases of miraculous icons renewal in the light of the Russian and Russian Church history.

The following books are reviewed in the issue: an essays collection by Alexander Kushner; a book of prose by a Petersburgian writer Marina Paley, a collection of a Jewish writer, Nobel Prize winner Sh. J. Agnon, works in criticism of the great Russian scientist D. Mendeleev, Trotsky's biography by I. Deutcher and a popular book on cosmogonical theories by A. Pritula.

In the column «Russian Books Abroad» K. Postoutenko briefly annotates some new Russian editions appeared abroad.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел 200-08-29.

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.

в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Сдано в набор 02 03 92 г. Подписано к печати 22 04 92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 800 экз. Зак. 2008. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5



Attention!

Do you need to reach the most **literate** and **discriminating** audience in Russia and abroad?

Do you want to communicate directly with the country's **movers and shakers**?

Then why not **advertise** your service or products in **Novy Mir**?

Novy Mir's readership is estimated at well over **two million**. Well over two million people, that is, committed to the **best** that's available — in literature, poetry, and social and economic thought.

Novy Mir was the **first** journal to publish Solzhenitsyn's **Gulag Archipelago**, Platonov's **The Pit**, Pasternak's **Dr. Zhivago** and Orwell's **1984**. For years now, it has been in **Russia** and the **Republics**, and in the **Russian-speaking communities of the West**, a **watch-word for quality**, a **symbol of independence**, a **beacon of hope**.

If a **quality** market is what you are after, then; if the **new** is what you have on offer; if **image** and **prestige** are important to your company's profile and/or marketing needs — then look no further. **Reach out** to the leaders in government, education, science and the arts. **Communicate directly** with the technical and industrial élite. **Call at Novy Mir** (095 229-56-92) for a schedule of our advertising rates.

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag